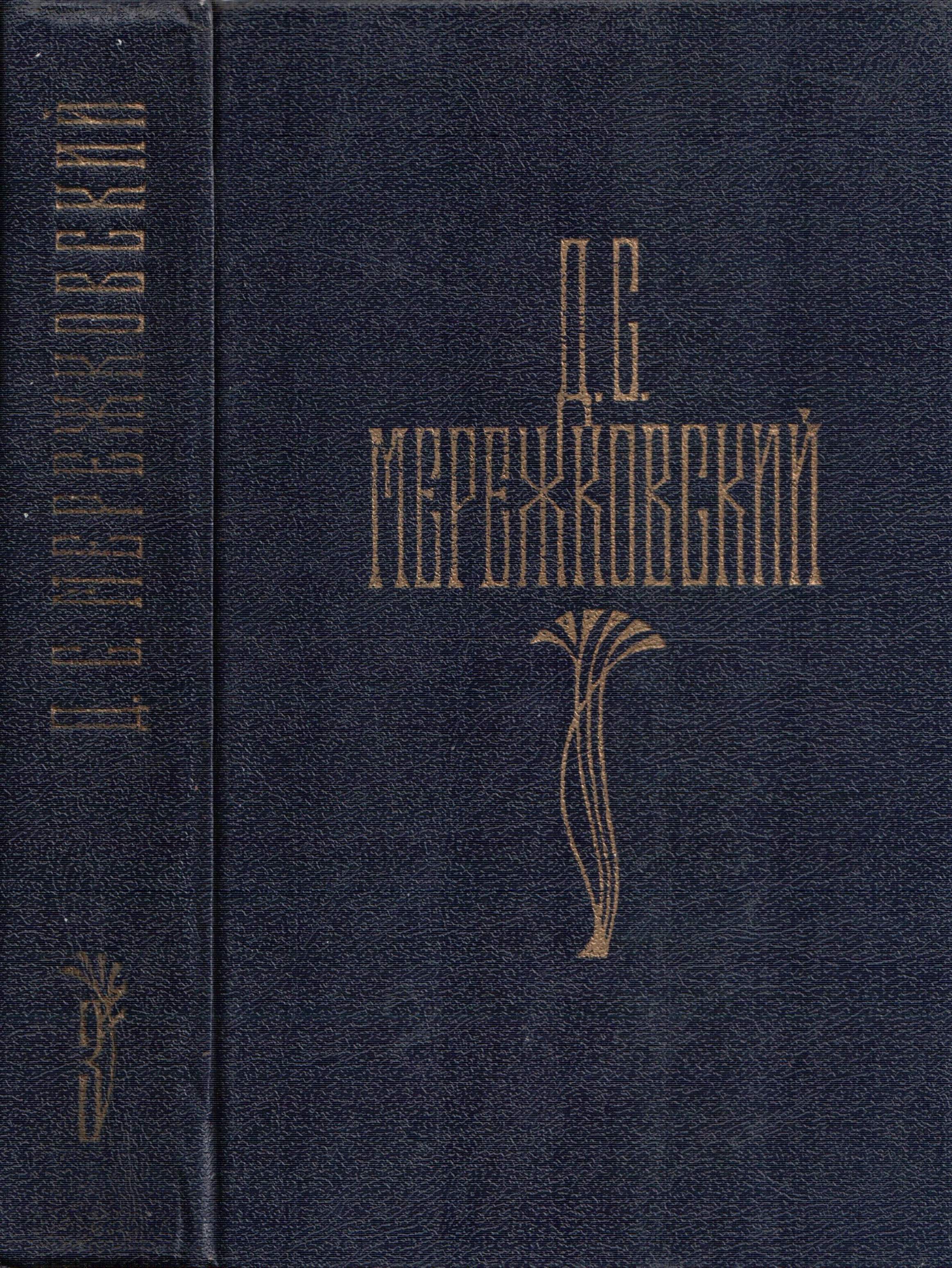

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Д. С.
МЕРЕЖКОВСКИЙ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК"



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА"
1990

84Р
М52

Составление
и
общая редакция
О. Н. Михайлова

Коллажи художника
Анатолия Брусиловского

М $\frac{4702010000—2236}{080(02)—90}$ 2236—90



ЦАРСТВО ЗВЕРЯ

ТРИЛОГИЯ

I

ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Павел I, император.

Александр, сын Павла, наследник.

Константин, сын Павла, великий князь.

Мария Федоровна, императрица.

Елизавета, супруга Александра.

Гр. Пален, военный губернатор Петербурга.

Командиры полков и другие чины военные. Придворные заговорщики.

Действие в Петербурге, от 9 до 12 марта 1801 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Вахт-парад. Площадь перед Михайловским замком. В глубине — замок и Летний сад. Справа — деревья; караульная будка и шлагбаум, полосатые, в три цвета — красный, черный, белый. Слева — крыльцо экзерциргауза со ступеньками, колонками и стеклянною дверью. Раннее зимнее утро. Серое небо. Снег. Вдали слышны барабан и трубы.

Павел; Александр; Константин: Пален, граф, военный губернатор Петербурга; Депрерадович, генерал, командир Семеновского полка; Талызин, генерал, командир Преображенского полка; Яшвиль, князь, капитан гвардии артиллерийского батальона; Мамаев, генерал; Тутолмин, полковник; фельдфебель; солдаты.

Александр и Константин стоят на крыльце, греясь у походной жаровни.

Константин. Зверем был вчера, зверем будет и сегодня.

Александр. Вчера троих засекли кнутом.

Константин. Одних — кнутом, других шпицрутеном. А впрочем, наплевать, все там будем!

Александр. Холодно, холодно, у-у! Рук не согреешь. Намедни генерал Кутузов ухо отморозил,— едва салом оттерли.

Константин. А у немца Канабиха штаны примерзли. Одна пара лосин; сам с утра моет; не высохли да на морозе-то и примерзли; чуть с кожей не отодрали; денщик дерет, а немец орет. Ну, да поделом ему, сволочи; как собака на людей кидается; одному солдату ус выщипнул с мясом, другого за нос укусил. А впрочем, наплевать...

Александр. Вороны-то в Летнем саду как раскаркались! Верно, к оттепели. Когда ветер с юга и оттепель, батюшка сердится.

Константин. Нынче не от ветра, чай, а от княгини Гагариной. Вчера поссорились.

Александр. У меня письмо от нее к батюшке.

Константин. Хорошо, что письмо. Коли сердиться будет, отдай. Родинка, родинка — все наше спасение...

Александр. Какая родинка?

Константин. А на правой щеке у княгинюшки. Я думал сперва, мушка; да нет, настоящая родинка, и прехорошенькая...

Александр. Тише,— идет.

Константин. Спрячемся. Авось, не увидит.

Александр (*крестясь*). Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Солдаты маршируют. Входит Павел, махая военною тростью.

Павел. Раз-два, раз-два, левой-правой, левой-правой, раз-два! (*Останавливаясь.*) Смирно-о!

Из шеренги в шеренгу повторяется команда: «Смирно-о!», «Смирно-о!»

Павел. Стой, равняйся!

Солдаты останавливаются и равняются.

Павел. Строить фронт захождением взводов! Направо кругом марш!

Солдаты маршируют в противоположную сторону. Барабан.

Павел (*махая тростью*). Раз-два, раз-два, левой-правой, левой-правой, раз-два! Ноги прямо, носки вон! Штык равняй, штык равняй! Ноги прямо, носки вон! Раз-два, раз-два, левой-правой, левой-правой, раз-два!

Павел уходит.

Константин. Гляди-ка, Саша, двенадцать шеренг как равняются. Сам бы король Прусский позавидовал. Ах, черт побери, вот это по-нашему, по-гатчински! А все-таки быть беде...

Александр. А что?

Константин. Аль не заметил, в углу рта жилка играет? Как у него эта жилка заиграет, так быть беде... Я намедни в Лавре кликушу видел — монахи говорят, бесноватый: такая же точно жилка; когда подняли Чашу, упал и забился...

Александр. Что ты, Костя? Неужели батюшка?..

Константин. Тс-с... Идет.

Входит Павел, окруженный свитою: командиры — Преображенского полка Талызин, Семеновского — Депрерадович; артиллерийский полковник, кн. Яшвиль; военный губернатор Петербурга, гр. Пален, и другие. Солдаты строятся во фронт.

Павел. Преображенского командира сюда!

Талызин подходнт к Павлу.

Павел. Сведал я, сударь, что вашего полка господа офицеры везде разглашают, будто не могут ни в чем уго-

дить. А посему извольте объявить, что легкий способ кончить сие — вовсе их кинуть, предоставя им всегда таковыми оставаться, каковы прежде мерзки были, что и не премину. Кто не хочет служить, поди прочь — никого не удерживают.

Талызин. Ваше величество...

Павел. Молчать! Когда я говорю, слушать, сударь, извольте, а не умничать. С удивлением усматриваю, что в исправлении должности вашей вы все еще старых обрядов держитесь, кои более четырех лет искоренить стараюсь. Только в передней да пляске обращаться, шаркать по паркету умеете.

Талызин. Государь...

Павел. Молчать! Я из вас потемкинский дух, сударь, вышибу! Туда зашлю, куда ворон костей не заносил!

Павел с Деперадовичем, кн. Яшвилем и прочею свитою, кроме Талызина и гр. Палена, уходят.

Пален. За что это вас, генерал?

Талызин. Солдат не в ногу ступил, а у другого расстегнулась пуговица.

Пален. За пуговицу — вот так штука, не угодно ли стакан лафита![1]

Талызин. Не служба, а каторга. В отставку — и кончено!

Пален. Да, крутенько, крутенько. А все-таки с отставкой погодите-ка, ваше превосходительство! Такие люди, как вы, нам теперь нужны особенно. *(На ухо.)* Эта кутерьма долго существовать не может...

Деперадович вбегает запыхавшись.

Деперадович. Беда! Беда!

Пален. Что такое?

Деперадович. В девятой шеренге черт дернул поручика скомандовать вместо «дирекция[2] направо» — «дирекция налево». И пошло, и пошло. Люди с шагу сбились, ошалели от страха, команды не слушают; командиры, как угорелые, мечутся. А государь только кричит: «В Сибирь!»

---

[1] Выражение, означавшее ссылку в Сибирь. *(Здесь и далее прим. ред.)*

[2] Направление (*франц.* direction).

Пален. Помните, господа, в прошлом-то году Измайловскому полку скомандовал: «Направо кругом марш — в Сибирь!» Так ведь и пошел весь полк к Московской заставе и дальше по тракту — остановили только у Новгорода. Вот и теперь, пожалуй,— прескверная штука, не угодно ли стакан лафита!

Депрерадович. Пропали, пропали мы все!

Солдаты маршируют. Входит Павел.

Павел. Смирно-о!

Солдаты останавливаются.

Константин (*на ухо Александру*). Жилка-то, жилка, смотри. Ну, теперь только держись!

Александр (*крестясь*). Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Павел. В пятой шеренге фельдфебель — коса не по мерке. За фронт!

Фельдфебеля подводят к Павлу.

Павел. Что у тебя на затылке, дурак?

Фельдфебель (*заикаясь*). К-коса, ваше величество!

Павел. Врешь! Хвост мыший. Мерку!

Подают палочку для измерения кос. Мерит.

Павел. Вместо девяти вершков — семь. Букли выше середины уха. Пудра ссыпалась, войлок торчит. Как же ты с этакой прической во фронт явиться смел, чучело гороховое?

Фельдфебель (*заикаясь*). П-парикмахер...

Павел. Я тебе покажу, сукин сын, парикмахера! Букли долой! Косу долой! Все долой!

Срывает с фельдфебеля парик и топчет ногами.

Павел. Срам! Срам! Срам! Бить нещадно! Двести... триста... четыреста палок! Генерал Мамаев!

Входит Мамаев.

Павел. Извольте, сударь, следить за экзекуцией. Тут же на месте, без промедления. С вас взыщется.

Уходит. Фельдфебеля ведут в экзерцциргауз.

Фельдфебель (*падая на колени перед Александром*). Ваше высочество, тридцать лет в походах! У светлейшего князя Суворова... На штурме Измаила ранен...

И как собаку, палками! Уж лучше расстреляли бы!.. Батюшка, смилуйтесь!..

Александр (*закрывая лицо руками*). Господи! Господи!

Мамаев (*толкая ногой фельдфебеля*). Ступай, черт, ступай! (*Солдатам.*) Ну-ка, ребята, живее!

Солдаты втаскивают фельдфебеля в дверь экзерциргауза. Туда же входит Мамаев.

Александр. А ведь он его запорет, Костя?

Константин. Запорет. Скотина прелютая. Отца не пожалеет, только бы выслужиться. Ну, где старику четыреста палок выдержать! Да, жаль... А впрочем, наплевать — все там будем... Да ты письмо-то княгини Гагариной, что ли, скорей бы отдал? Авось, подобреет.

Александр. Сейчас.

Входит Яшвиль.

Пален. Что с вами, князь?

Яшвиль. По щеке меня...

Пален. Ай, ай! Вот и кровь. Должно быть, зуб вышиб. Примочку бы, а то распухнет. И за что вас так?

Яшвиль. За цвет мундирной подкладки у нижнего чина... Сего тиранства терпеть не можно! Честью клянусь, он мне за это...

Пален. Не говорите-ка лишнего... А я вам лучше вот что скажу: (*отводя Яшвиля в сторону*) подлец — кто говорит, молодец — кто делает!

Депрерадович. Господа, глядите: за Тутолминым с палкою гонится между шеренгами. Точно в пятнашки играют. Сюда бегут.

Полковник Тутолмин вбегает.

Тутолмин. Не выдавайте! Убьет!

Перескакивает через шлагбаум и убегает.

Депрерадович (*вдогонку Тутолмину*). В манеж беги — на сеновале спрячешься.

Константин. Ну, с Богом, с Богом, Сашенька! Вот он — ступай.

Александр. Не подождать ли, Костя? Видишь, с палкой. Прибьет. .

Константин. Экий ты, братец, мямля! Чего зевать? Сколько еще народу перепортит. (*Подталкивая Александра.*) Да ну же. Ступай!

Александр (*крестясь*). Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Павел вбегает с поднятою тростью.

Павел. Держи! Держи!

Депрерадович. Кого?

Павел. Тутолмин, сукин сын! Где он?

Депрерадович. Здесь нет, государь!

Павел. Врете! Сюда пробежал. Я сам видел.

Депрерадович. Никак нет, ваше величество!

Александр подходит к Павлу и подает письмо.

Александр. Батюшка...

Павел. К черту!

Александр. От княгини Гагариной...

Павел. Давай.

Павел читает письмо. Депрерадович всходит на крыльцо и становится рядом с Константином.

Константин (*крестясь*). Заступи, Царица Небесная! Заступи, Аннушка!

Депрерадович. Кажись, действует.

Константин. Да, лицо просветлело. Усмехается. Ну, слава Богу, слава Богу! Вывезла родинка... Молодец, Аннушка!

Павел. Monseigneur...[1]

Александр. Sire? [2]

Павел. На одно словечко, ваше высочество! Граф фон дер Пален, извольте команду принять. А я сию минуту...

Все уходят, кроме Константина и Депрерадовича. Павел берет Александра под руку.

Павел. Ты имеешь много благородства в сантиментах, Сашенька,— ты меня поймешь... Ах, зачем, зачем так мало знают люди, что такое любовь, и сколь великое таинство скрывается под сим священным именем...

Отходят.

Депрерадович. А там-то, за дверью, слышите, ваше высочество, экзекуция...

---

[1] Ваше высочество (*франц.*).

[2] Государь (*франц.*).

Константин. Да, воет бедняга, как овца под ножом. Изверг Мамайка, должно быть, с него теперь третью шкуру спускает...

Павел. Анна, Анна! Твой образ везде предо мною. Мое сердце бьется и вечно будет биться для тебя одной. Кто из смертных, кто станет рядом с оною женщиною, несравненною в чувствах моих? Никто из земнородных. Бог и она! Понимаешь, друг мой Сашенька?

Александр. Понимаю, батюшка! Ах, чего бы стоила жизнь человеков, если бы любовь не услаждала ее бальзамом своим!

Павел. Вот, вот именно — бальзам...

Отходят.

Константин. Спелись, видно. На эти дела Сашка мастер: ему бы актером быть... А тот-то все воет!

Депрерадович. Просто мочи нет, ваше высочество! Отойдемте, ради Христа.

Константин. Нельзя. Батюшка, не дай Бог, увидит, подумает, что мы подслушивали. Теперь мешать ему не надо, пусть наговорится досыта. *(Прислушиваясь)*. Как будто затих?.. Нет, опять пуще прежнего. Тьфу, даже слушать противно!.. А впрочем, наплевать — все там будем...

Павел. Я одарен от природы сердцем чувствительным, Сашенька! Однажды увидел я маленькую фиалку: она стояла подле скалы, покрыта камнями, где ни одна капля росы не освежала ее. И нежная меланхолия обняла мою душу, слеза упала из глаз моих на тот цветочек, и он, оживленный влагою, распустился. Такова любовь моя к Анне...

Барабан. Солдаты маршируют. Входят Пален и прочие командиры. Офицеры на ходу салютуют Павлу эспантонами.

Павел. Молодцы, молодцы! Видишь, Саша,— пробрал их как следует, и подтянулись. Раз-два, раз-два, ноги прямо, носки вон, левой-правой, левой-правой, раз-два! Молодцы! Утешили. Лучше не надо.

Военная музыка.

Павел *(махая тростью, напевает)*.

Ельник, мой ельник,
Частый мой березник,
Люшеньки-люли!

Константин. Ну, «Ельник» запел — значит выгорело. Только бы теперь Саша не мямлил.

Константин делает знаки Александру за спиной Павла.

Александр. Осмелюсь ли, батюшка?..

Павел. Говори, братец, не бойся.

Александр. Простите, ваше величество, тех, кто сегодня провинился!

Павел. Прощаю.

Александр. И фельдфебеля...

Павел. Всех.

Александр целует руку Павла и отходит к Константину.

Александр. Скорее, Костя!

Константин. Ну, брат, не поздно ли?

Константин входит в дверь экзерциргауза.

Павел. Граф фон дер Пален! Последней экзерцицией я, сударь, весьма доволен: изрядненько командовать изволили. Благодарю и виновных прощаю. (*Командирам.*) А если погорячился, сказал что лишнее, так и вы, господа, меня простите. (*Солдатам.*) Смирно-о! Стой, равняйся!

Солдаты останавливаются. Музыка стихает.

Павел. Спасибо, ребята!

Солдаты. Рады стараться, ваше величество!

Павел. По чарке вина, по фунту говядины!

Солдаты. Ура!

Солдаты маршируют. Музыка.

Павел (*напевает*).

Ельник, мой ельник.
Люшеньки-люли!

Уходит. Из двери экзерциргауза — Константин.

Александр. Ну, что?

Константин. Еле дышит. Фельдшер говорит, до завтра не выживет. Я велел в лазарет.

Александр. Господи! Господи!

Слева, из-за стены экзерциргауза, выносят на походных носилках фельдфебеля, покрытого рогожею; справа маршируют солдаты с музыкой и знаменами.

Солдаты. Ура! Ура!

Пален (*командирам, указывая на знамена и носилки*). Как в древнем Риме: Ave, Caesar, morituri te salutant [1].

Константин. Что ты, Саша?

Александр. Оставь...

Александр опускается на ступеньки крыльца, закрывает лицо руками и плачет.

Константин. Вишь, разнюнился! Экая баба!.. (*Помолчав.*) Ну, перестань, перестань же, миленький Сашенька, голубчик! Не стоит же, право. Наплевать, все там будем!

Александр. Не могу! Не могу! Не могу!

Пален. Поздравляю, господа, с царскою милостью: всех простил.

Яшвиль. Он-то простил, да мы...

Пален. Тише, князь! Вы опять за свое. Вспомните-ка лучше, что я вам сказал давеча: подлец — кто говорит, молодец — кто делает.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Кабинет Александра в Михайловском замке. В глубине — окно на Летний сад и Фонтанку. Слева — дверь во внутренние покои великого князя; справа — на лестницу, ведущую в покои государя.

Александр. Елизавета, великая княгиня, жена Александра. Павел. Пален.

Александр лежит на канапе с книгой в руках. Елизавета у окна играет на арфе.

Александр. Что это, Лизхен?

Елизавета. Из «Орфея» [2] песнь Евридики. А ты спал?

Александр. Нет, так только, дремлется. Читать темно.

Елизавета. Да, темно. Уж сколько дней солнца не видно. Живем, как в подземелье.

Александр. Что же ты не играешь? Я люблю мечтать под музыку.

Елизавета. Любишь мечтать. Лежать и мечтать...

---

[1] Здравствуй, Цезарь [император], идущие на смерть [гладиаторы] приветствуют тебя! (*лат.*)

[2] Опера К. Глюка (1714—1787) «Орфей и Эвридика», впервые поставлена в России в 1782 г.

Александр. Канапе старенький, еще от бабушки, а удобный. Как ляжешь, так бы и не вставал...

Елизавета *(глядя в окно)*. Небо низкое, темное, точно каменное; а деревья, под инеем, белые, как в саване.— Евридика, Евридика под сводами ада... Мужик идет, шапку снял. Удивительно, что люди шапки снимают перед дворцом. На морозе-то сколько, должно быть, простудилось... Ну, а что же Руссо?

Александр. Руссо? Знаешь, я все о нем думаю. Первобытное состояние натуры... Ах, для чего не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами и братьями!

Елизавета. Как старикашка Куракин поет:

Берега кристальной речки.
И пастушка, и овечки...

Александр. Не смейся, Лизанька! Разве не правда, что в простоте натуры сердце наше живее чувствует все то, что принадлежит к составу истинного счастья, влиянного благодетельным Существом в сосуд жизни человеческой?..

Елизавета. Влиянного, влиянного... Как ты хорошо говоришь, Саша!

Александр. Ах, единая мечта моя — когда воцарюсь, покинуть престол, отречься от власти, показать всем, сколь ненавижу деспотичество, признать священные Права Человека — les Droits de l' Homme, даровать России конституцию, республику — все, что хотят — и потом уехать с тобою, милая, бежать далеко, далеко... Там, на берегах Рейна или на голубой Юре, в пустынной хижине, обвитой лозами, протечет наша жизнь, как восхитительный сон, в объятиях природы и невинности!..

Елизавета. Да, да, в пустынной хижине... А вот кто-то опять без шапки идет, верно, чиновник — шуба с орденом. А кучер в санях двумя руками правит, шапку держит в зубах. Удивительно! А солдат у шлагбаума бьет бабу. Баба плачет, а солдат бьет. Долго, долго. Смотреть скучно. А небо все ниже да ниже... Евридика, Евридика под сводами ада...

Перебирает струны. Молчание.

Александр. О чем ты думаешь? Знаешь, Лизхен, когда ты говоришь, мне все кажется, что ты о другом думаешь...

Елизавета. О другом? Нет. А впрочем, не знаю, может быть, о другом... Ах, струна оборвалась. Нельзя больше играть.

Александр. Поди сюда.

Елизавета (*к Александру, подходя*). Ну, что?

Александр. Как тебе это белое платье к лицу! Когда ты так стоишь надо мною, светлая, светлая, в сумерках, то как будто Евридика или Психея...

Елизавета. Vous êtes trop aimable, monseigneur![1] А рук не целуйте. Оставьте, не надо. Помните, намедни вы сказали, что мы с вами как брат и сестра? Брат и сестра...

Александр. Но ведь все-таки, Лизхен...

Елизавета. Да, все-таки... А правда, что когда Константин целует руки жене, то ломает и кусает их, так что она кричит?

Александр. Кто тебе сказал?

Елизавета. Она сама. А раньше, будто бы, он забавлялся тем, что в манеже из пушки стрелял живыми крысами?

Александр. Зачем ты, Лизхен?..

Елизавета. Затем, что я не хочу быть Психеей! Слышите, не хочу. Надоело, опротивело... Амур и Психея — какой вздор! (*Молчание.*) А о бригадирше Лихаревой слышали?

Александр. Не помню.

Елизавета. Деревенька у них под Петербургом. Муж заболел, жена приехала в город за доктором. Государь тоже встретился — кучер не остановил. Бригадиршу посадили на съезжую. От страха заболела горячкою. Муж умер, а жена сошла с ума.

Александр. Ужасно!

Елизавета. Да, ужасно. «А впрочем, наплевать», как говорит ваш братец. Мы ведь все рабы — и тот мужик без шапки, и я, и вы. Рабы... или нет, крысы, которыми Константин заряжал свою пушку. Выстрелит, и что от крыс останется?

Александр. Господи! Господи!

Елизавета. От раздавленных крыс пятно кровавое... Какая гадость... Я, кажется, с ума схожу, как бригадирша Лихарева. Все мы сходим с ума. Лучше не думать... Лежать и мечтать...

[1] Вы слишком любезны, ваше высочество! (*франц.*)

Берега кристальной речки,
И пастушка, и овечки...

(Падая на колени и закрывая лицо руками.) Скучно, скучно, скучно, Сашенька!..

Дверь направо отворяется бесшумно. Входит Павел и останавливается на пороге.

Александр *(обнимая Елизавету)*. Лизанька, девочка моя бедная...

Павел. Амур и Психея!

Александр и Елизавета вскакивают.

Александр. Что это?

Елизавета. Государь.

Павел. Испугались, друзья мои? Думали — привидение?

Александр. Простите, ваше величество! Темно. Я свечой...

Павел. Не надо. *(Елизавета хочет уйти.)* Куда вы, сударыня? Вы нам не мешаете.

Елизавета отходит к окну.

Павел *(взяв книгу)*. Это что? Руссо. А это? «Брут», трагедия господина де Вольтера. *(Читает.)*

...Rome est libre.
Il suffit. Rendons grâce aux dieux.[1]

Значит: «Царя убили, и слава Богу».— Кто подчеркнул?

Александр. Не могу знать, ваше величество! Книга от бабушки. Не она ли сама изволила?

Павел. Все-то у вас от бабушки, сударь, и сами вы — бабушкин внучек!.. А историю царевича Алексея помните? Вот подлинная трагедия, не то что Вольтеровы глупости! Сын восстал на отца, и отец казнил сына. Помните?

Александр. Помню.

Павел. Ну то-то же! А все-таки перечесть не мешает. Ужо пришлю. Кстати, правда ли, что у вас в полку Вольтера почитывают?

---

[1] ...Свободен Рим.
Сего довольно. Вознесем хвалу богам (*франц.*).

Александр. Виноват, государь! Одно только сочиненьице «Кандид». При бабушке отпечатано.

Павел. Опять бабушка!.. У кого найдено?

Александр. Измайловского полка у штабс-капитана Пузыревского.

Павел. Ну и что же?

Александр. Книга в корпусной пекарне сожжена — сделан выговор!

Павел. Что толку выговор от вас, когда и сами вы, сударь, Вольтера читаете? Каков поп, таков и приход. Однако шутки в сторону, наблюдать извольте впредь, дабы из чинов, управлению вашему вверенных, чтением таковым упражняться никто не осмеливался. Понеже слухи до меня доходят, что французскими натуральной системы книгами многие господа военные заражены, по домам ходят в платье партикулярном, фраки и жилеты носят, явно изображая тем развратное свое поведение. Вот каковы, сударь, следствия философической вольности или, лучше сказать, бешенства, коим вводится язва моральная, правила безбожные и возмутительные, буйственное воспаление рассудка, как то показало нам правление богомерзкое во Франции и оные режисиды, изверги человечества, в злодеянии, учиненном над королевскою особою...

Александр. Батюшка...

Павел. Молчать! Я знаю, сударь, что вы — якобинец, но я разрушу все ваши идеи!.. Да, знаю, знаю все — и то, как бабушкины внучки спят и видят во сне конституцию, республику, Права Человека, а того не разумеют, что в оных Правах заключается дух сатанинский, уготовляющий путь Зверю, Антихристу. О, как страшен сей дух! Никто того не знает, я знаю, я один! Бог мне открыл, и Богом клянусь, искореню, истреблю, сокрушу — или я не буду Павел I!

Александр. Батюшка, я никогда...

Павел. Лжешь! Это кто писал? *(Показывает письмо.)* Говори, кто?

Александр. Я... но не моя воля...

Павел. А чья?

Александр. Бабушки.

Павел. Чертова бабушка!

Александр. Государь, ваша покойная матушка...

Павел. Да, знаю: мать отца убила и меня, сына, в Шлиссельбург хотела заточить, в тот самый каземат, где некогда страдальца безвинного, Иоанна Антоновича, задавили, как крысу в подполье. Тридцать лет я томился в смертном страхе, ждал яда, ножа или петли от собственной матери и глядел, как она со своими приспешниками, цареубийцами, над памятью отца моего ругается,— глядел и терпел, и молчал... Тридцать лет, тридцать лет!.. Как только Бог сохранил мне рассудок и жизнь?.. И ты был с нею!.. Вот что значат слова сии. Читай: «Всею кровью моею не мог бы я заплатить за все то, что вы для меня сделали и еще сделать намерены». Это значит: меня с престола спихнуть, чтоб тебя...

Александр (*падая на колени*). Батюшка! Батюшка! Никогда я не хотел... Да разве вы не видите, и теперь не хочу... Отрешите, умоляю вас, Богом заклинаю, отрешите меня от престола, избавьте, помилуйте!..

Павел. Лжешь, негодяй, опять лжешь! (*Занося трость.*) Я тебя!..

Елизавета (*удерживая Павла за руку*). Как вам не стыдно?..

Павел (*отталкивая Елизавету*). Прочь!..

Елизавета. Рыцарь Мальтийского ордена — женщину?..

Павел (*отступая*). Да, рыцарь... Вы правы, сударыня! Прошу извинения. Погорячился... Какая вы, однако, смелая! Я и не знал. Психея — и вдруг... Мне это понравилось. Я бы хотел, чтобы так все... Благодарю. Ручку позвольте, ваше высочество. Что? Не бойтесь, не укушу. Я еще не кусаюсь... Ха-ха!

Павел целует руку Елизаветы и кланяется с изысканной вежливостью.

Павел. J'ai l'honneur de vous saluer, madame, monseigneur![1] Еще раз прошу извинения. (*Отходя к двери.*) А ведь вы тут надо мною, пожалуй, смеяться будете вдвоем. Амур и Психея?.. Ну что ж, смейтесь на здоровье. Rira bien, qui rira le dernier[2]... А историю царевича Алексея я вам, сударь, все же пришлю. Почитайте-ка, сравните с Брутом!

Уходит.

---

[1] Имею честь приветствовать вас, сударыня, ваше высочество! (*франц.*)

[2] Хорошо смеется тот, кто смеется последним... (*франц.*)

Елизавета. Шут!

Александр. Тише, тише. Пожалуй, подслушает.

Елизавета (*открывая дверь и заглядывая*). Ушел.

Пален входит слева.

Пален. Не он, а я подслушивал. Простите, ваши высочества,— по должности военного губернатора...

Елизавета уходит налево. Александр сидит на канапе, опустив голову на руки. Молчание.

Пален. Прескверная штука, не угодно ли стакан лафита!

Александр. Знает все?

Пален. Ну, все, не все, а кое-что. Не сегодня, впрочем, так завтра узнает. И тогда пропали мы!

Александр. Что же делать?

Пален. Спешить. Остаются не дни, а часы. Наш план вы знаете: овладеть особой императора, объявить больным и принудить к отречению от престола, дабы передать оный вам. Не от себя говорю, а от сената, войска, дворянства — от всего народа российского, коего желание единственное — видеть Александра императором.

Александр. Принудить? Вы его не знаете: он скорее умрет...

Пален. От жестоких болезней — лечение жестокое: если не отречется, то — в Шлиссельбург...

Александр. Что вы, что вы, граф?..

Пален. Будьте покойны, государь: караул из наших — не выдадут.

Александр. Я не о том, а не хочу, слышите, не хочу, чтобы вы так со мной говорили о батюшке!

Пален. Ах, вот что. Слушаю-с. (*Помолчав.*) Я знаю теперь, чего вы не хотите, а чего хотите, все-таки не знаю.

Александр. Ничего, ничего я не хочу! Оставьте меня в покое!..

Пален. Бывают случаи, ваше высочество, когда ничего не хотеть — безумно или преступно...

Александр. Как вы, сударь, смеете?..

Пален. Я говорю то, что велит мне должность гражданина и подданного.

Александр (*вскакивая и топая ногами, подобно Павлу*). Вон! Вон! Не могу я больше терпеть, не могу,

не могу... Не хочу быть орудием ваших низостей! Вы — изменник! Никогда не подыму я руки на государя, отца моего! Лучше смерть! Сейчас иду к батюшке, все донесу...

Пален. Ну, мы, кажется, все сходим с ума. Я человек откровенный, ваше высочество, хитрить не умею: что на уме, то и на языке. Говорил с вами прямо и прямо взойду на эшафот! Честь имею кланяться.

Пален уходит. Александр падает на канапе и лежит, уткнувшись лицом в подушку. Входит слева Елизавета.

Елизавета. Ну, что, как? Решили?

Александр молчит, Елизавета обнимает его и гладит по голове.

Елизавета. Мальчик мой, мальчик мой бедненький...

Александр. Не могу, не могу, не могу я, Лизхен!..

Елизавета. Что же делать, Саша? Надо...

Александр (*приподнимаясь и глядя на нее пристально*). А если кровь?

Елизавета. Лучше кровь, лучше все, чем то, что теперь! Пусть наша кровь...

Александр. Не наша...

Молчание.

Александр. Что же ты молчишь? Говори. Или думаешь, что мы должны — через кровь?..

Елизавета. Не знаю...

Александр. Нет, нет, нет... молчи, не смей... Если ты скажешь, Бог не простит...

Елизавета. Не знаю, простит ли Бог, но мы должны.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Зала в Михайловском замке. Полукруглая колоннада из белого мрамора. Две ниши по бокам — справа со статуей Венеры, слева — Флоры. Три двери: одна в середине — в Тронную; другая справа — во внутренние апартаменты государя; третья слева — в анфиладу зал, которые сообщаются с парадною лестницею. По обеим сторонам средней двери большие, во всю стену, зеркала. Несмотря на множество горящих в люстрах и шандалах восковых свечей, полумрак от густого тумана. Концертный вечер. Издали слышится музыка Гайдна — Чимарозы, Моцарта. Кавалеры — в придворных

мундирах, шитых золотом, в пудре, буклях, чулках и шпагах; дамы — в белых, с тонким золотым или серебряным узором, греческих туниках.

Императрица Мария Федоровна, великая княгиня Елизавета, великие князья Александр и Константин — в нише под статуей Венеры. Их окружают фрейлины Щербатова и Волкова, обер-церемониймейстер гр. Головкин, обер-гофмаршал Нарышкин, шталмейстер кн. Голицын, отставной церемониймейстер гр. Валуев, обер-шталмейстер гр. Кутайсов, военный губернатор гр. Пален и другие придворные.

Мария Федоровна. Что это как темно, граф?

Головкин. Туман от сырости, ваше величество! Здание новое, сразу не высушишь.

Елизавета. А мне нравится туман — белый, мутный, точно опаловый — от свечей радуга, и люди — как привидения...

Голицын. И на дворе туман — зги не видать.

Валуев (*полуслепой дряхлый старик, говорит шамкая*). Девятнадесятый век! Девятнадесятый век! Нынче дни все такие туманные, темные. А в старину, бывало, и зимой-то как солнышко светит! Помню, раз у окна в Эрмитаже стою, солнце прямо в глаза; а покойная государыня подошли и шторку опустили собственными ручками. «Что это, говорю, ваше величество, вы себя обеспокоили?» — А она, матушка, улыбнулась так ласково,— одно солнце там, на небе, а другое здесь, на земле... Отжили, отжили мы красные дни!..

Входит статс-дама гр. Ливен.

Ливен. Извините, ваше величество! Уф, с ног сбилась!.. Присяду.

Мария Федоровна. Что с вами, Шарлотта Карловна?

Ливен. Заблудилась в коридорах да лестницах...

Головкин. Немудрено — сущий лабиринт.

Ливен. Заблудилась, а тут часовые как гаркнут: «Вон!» Прежде «К ружью!» командовали, а теперь: «Вон!» С непривычки-то все пугаюсь. Подхватила юбки и ну бежать — споткнулась, упала и коленку ушибла.

Мария Федоровна. Ах, бедная! Потереть надо арникум.

Константин. А я думал, привидение.

Ливен. Какое привидение?

Константин. Тут, говорят, в замке ходит. Батюшка сказывал...

Мария Федоровна. Taisez vous, monseigneur. Cela ne convient pas.[1]

Волкова. Ах, ваше высочество, зачем вы на ночь? Я ужасти как их боюсь...

Нарышкин. О привидениях спросить бы Кушелева: он фармазон — с духами водится. Давеча отменно изъяснил нам о достижении к сверхнатуральному состоянию через пупок...

Голицын. Какой пупок?

Нарышкин. А ежели, говорит, на собственный пуп глядеть да твердить: Господи помилуй! — то узришь свет Фаворийский[2].

Голицын. Чудеса!

Щербатова. Не чудеса, а магнетизм. В Париже господин Месмер[3] втыкает иголки в сомнамбулу, а та не чувствует и все угадывает.

Нарышкин. Есть и у нас тут в Малой Коломне гадальщица...

Валуев. Девятнадесятый век! Девятнадесятый век! Чертовщина везде завелась...

Щербатова. Вы, господа, ни во что не верите, у вас нынче все — «натура, натура». А мне бы хоть одним глазком заглянуть на тот свет, что там такое? L'inconnu est si seduisant![4]

Голицын. Когда умрем, сударыня, времени будет довольно на неосязаемость, душеньки наши набродятся досыта. А пока живы, милее нам здешние «Душеньки».[5]

Щербатова. Ну вас, шалун, отстаньте...

Гоф-фурьеры вбегают из дверей справа, машут руками и шикают.

Гоф-фурьеры. Его величество! Его величество!

Все становятся в ряд; дамы приседают, кавалеры кланяются. Музыка играет марш. Павел, под руку с кн. Анной Гагари-

---

[1] Замолчите, ваше высочество. Это неприлично *(франц.)*.

[2] Свет Фаворийский.— На горе Фавор было Преображение Господне: «... и просияло лицо Его [Христа], как солнце, ризы же Его сделались белыми, как свет». (Евангелие от Матфея, XVII, 2).

[3] Месмер, Фридрих (2-я пол. XVIII в.) — австрийский врач, создатель теории «животного магнетизма».

[4] Неведомое так увлекательно! *(франц.)*

[5] Героиня одноименной поэмы И. Ф. Богдановича (1744—1803).

ной, проходит через толпу, едва отвечая на поклоны, и садится рядом с Анной в нише под статуей Флоры.

Павел. Аннушка, моя улыбочка...

Хочет взять руку Анны.

Анна. Не надо, не надо, государь,— увидят...

Павел. Пусть видят! Я ничего не вижу, не слышу, не чувствую, кроме тебя. Ты осчастливила жизнь мою. Только ты, достойнейшая из женщин, могла влить кроткие чувствования в сердце мое, только при взоре твоем родились в нем добродетели, как цветы рождаются при майском солнце. Я хотел бы здесь, у ног твоих, Анна...

Анна. Ради Бога, ваше величество! Государыня смотрит...

Павел. Аннушка, моя улыбочка, отчего ты такая грустная? О чем думаешь?..

Анна. Я думаю... Ах нет, простите, ваше величество... Я не умею. Я только хотела бы, чтобы все знали вас, как я... Но никто не знает. А я не умею... Глупая, глупая... Простите, я не так...

Павел. Так. Аннушка! *(Торжественно, поднимая руку и глаза к небу.)* Благодарю, сударыня, благодарю... за эти слова... Знайте, что я, умирая, думать буду о вас!..

Анна. Па́влушка, миленький...

Павел. Ах, если бы ты знала, как я счастлив, Анна, и как желал бы сделать всех счастливыми! Каждого к сердцу прижать и сказать: чувствуешь ли, что сердце это бьется для тебя? Но оно не билось бы, если бы не Анна... Да нет, я тоже не умею... тоже глупый, как ты... Ну и будем вместе глупыми!..

Нарышкин *(тихо указывая на Павла и Анну)*. Голубки воркуют!

Головкин. А у княгини-то платье — из алого бархату, точно из царского пурпура.

Голицын. Субретка в пурпуре!

Нарышкин. Будь поумнее, под башмаком бы его держала.

Головкин. И башмаком бы в него кидала, как, помните, Катька Нелидова.

Мария Федоровна и Пален говорят в стороне тихо.

Мария Федоровна (*всплескивая руками*). Aber um Gottes willen, mein lieber[1] Петр Алексеевич, неужели возможно?..

Пален. В России, ваше величество, все возможно. Да вот сами изволите видеть: в «Ведомостях» пишут. (*Читает.*) «Российский император, желая положить конец войнам, уже одиннадцать лет Европу терзающим, намерен пригласить всех прочих государей на поединке сразиться».

Мария Федоровна. Господи, Господи! На чем же они сражаться будут?

Пален. На мечах или копьях, что ли, как рыцари, бывало, на турнирах.

Мария Федоровна. Рыцари, турниры?.. Aber um Gottes willen, я ничего не понимаю!..

Пален. И я, ваше величество...

Павел (*указывая на Марию Федоровну и Палена*). А я знаю, о чем они судачат.

Анна. О чем?

Павел. Да уж знаю. Давай-ка их дразнить.

Анна. Ах, нет, ради Бога! И без того ее величество...

Павел. Надоело мне ее величество! Не в свое дело суется. Мозги куриные. Ей бы не императрицею быть, а институтской мадамой! (*Вставая.*) Пойдем же.

Анна. Ну, зачем, зачем, Па́влушка?..

Павел. А затем, что весело, шалить хочется. Мы ведь с тобой глупенькие, а они умные, как же не подразнить их?

Павел подходит к Марии Федоровне. За ним — Анна.

Павел. Votre conversation, madame, me paraît bien animée[2]. О чем беседовать изволите?

Мария Федоровна (*дергая потихоньку Палена за край мундира*). О новом прожекте для Павловска, ваше величество: храм Розы без шипов...

Павел. Только о Розе?

Пален. Начали с Розы, а кончили...

Павел. Шипами?

Пален. Почти что так. Кончили вызовом, который

---

[1] Но, Господи, Твоя воля, мой дорогой (*нем.*).

[2] Ваш разговор, сударыня, кажется мне весьма оживленным (*франц.*).

вашему величеству угодно было сделать иностранным государям.

Павел. Ага! Ну и как же вы о сем полагаете, сударыня?

Мария Федоровна. Aber Paulchen, mein lieber Paulchen...[1]

Павел. Извольте говорить по-русски: вы — императрица российская. (*Молчание.*) Отвечайте же!

Мария Федоровна. Ах, Боже мой, Боже мой... Я, право, не знаю, ваше величество... Мысли мои... so verwirrt![2]

Павел. Ну, а вы, граф?

Пален. В царствование императора Павла I Россия удивила Европу, сделавшись не покровительницею, а защитницею слабых против сильных, утесненных против утеснителей, верующих против нечестивцев. И сия истинно великая, истинно христианская мысль возникла в рыцарской душе вашего величества. Поединок же оный — всему делу венец, воскресение древнего рыцарства...

Павел. Хотите быть моим секундантом, ваше сиятельство?

Пален (*целуя Павла в плечо*). Недостоин, государь...

Павел. Достойны, сударь, достойны. Вы меня поняли. Да, воскресение древнего рыцарства. Под стягом Мальтийского ордена соединим все дворянство Европы и крестовым походом пойдем против якобинской сволочи, отродия хамова!

Пален. Помоги вам Бог, государь!

Павел. Не имел и не имею цели иной, кроме Бога. И пусть меня Дон-Кишотом зовут — сей доблестный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так, как я люблю человечество!.. Да вот беда — хитрить не умею и с господами-политиками частенько в дураках остаюсь. За то себя и казню: любил кататься, люби саночки возить. Справедливость требует сего. Не подданные за государей, а государи за подданных должны кровь свою проливать. И я первый на поединке оном пример покажу.

Молчание.

Павел. А господа политики с носом останутся.

---

[1] Но, Паульхен, дорогой Паульхен... (*нем.*)

[2] Так перепутаны (*нем.*).

Меня думали за нос водить, но, к несчастью для них, у меня нос курнос. *(Проводя по лицу рукой.)* Ухватиться не за что!..

Молчание.

Павел *(быстро оборачиваясь и подходя к Анне, напевает)*.

Quand pour le grande voyage
Margot plia bagage,
Des cloches du village
J'entendis la leçon:
Din-di, din-don[1]

Анна *(тихо)*. Перестань, Па́влушка, ради Бога!

Павел. А что?.. Ну, не буду, не буду. Уж очень мне сегодня весело,— так бы и запрыгал, завертелся на одной ножке, император всероссийский, как шалунишка маленький. *(Помолчав.)* Приметил я, что, когда сей род веселости найдет на меня, то всегда перед печалью.

Покинешь матерню утробу —
Твой первый глас есть горький стон;
И отходя отсель ко гробу,
Отходишь ты, стеня, и вон.

Стон и смех, смех и стон. Din-don! din-don!

Мария Федоровна *(тихо Палену)*. Aber um Gottes willen, что с ним такое? Боже мой, Боже... я ничего не понимаю... Пожалуйста, граф, успокойте, развлеките его...

Пален *(подойдя к Павлу)*. Ваше величество, курьер из Парижа, от господина первого консула, генерала Бонапарта.

Павел. Принять, принять!

Адмирал Кушелев подходит к Павлу.

Павел. Наидружественнейшие сантименты господина первого консула... *(К Кушелеву.)* А ты что, братец, головой качаешь?

---

[1] Когда, отправляясь в далекий путь,
Марго складывала вещи,
Деревенские колокола
Дали мне урок:
Дин-ди, дин-дон *(франц.)*.

Кушелев. Помилуйте, ваше величество, какое же дружество самодержца всероссийского, помазанника Божьего, с оным Бонапартом, проходимцем без роду, без племени, выскочкой, говорят, из той же якобинской сволочи?

Павел. Да ведь и меня, сударь, «якобинцем на троне» зовут.

Кушелев. Клеветники токмо и персональные оскорбители...

Павел. Нет, отчего же? По мне пусть так: представьте, господа якобинцы, что у меня красная шапка, что я ваш главный начальник — и слушайтесь меня...

Входит курьер Башилов.

Башилов (*став на колени и целуя руку Павла*). Здравия желаю, ваше величество! От господина первого консула.

Подает письмо.

Павел (*читает сперва про себя, потом вслух*). «La Russie et la France en tenant aux deux extrèmités du globe, sont faites pour le dominer» [1]. Да, Россия и Франция должны мир пополам разделить. А генерала Бонапарта законным государем мы признать готовы. Нам все равно, кто — только бы государь законный. Угомонились господа французы — и слава Богу! А ведь давно ли, как некий исполин беснующийся, терзая собственную свою утробу и с остервенением кидаясь на других, наводило ужас на Европу сие издыхающее ныне богомерзкое правление. (*Башилову.*) Ну, а теперь что, как у вас в Париже?

Башилов. Государь, чувствования благоговейные к священной особе вашего императорского...

Павел. Нет, попросту, братец,— не бойся, говори попросту — как тебе показался Париж?

Башилов по знаку Павла встает.

Башилов. Сказать правду, ваше величество, показался мне Париж большим котлом, в котором что-то скверное кипит. Народ все еще — зверь неистовый.

[1] Россия и Франция, находясь на двух краях мира, созданы для того, чтобы ими владеть (*франц.*).

И везде надписи, омерзение вселяющие: «Вольность, Равенство, Братство». Церкви пусты, а кабаки да театры битком набиты. Господин первый консул между двух шеренг солдат ходит в Оперу, ложа запирается замками, как тюрьма. Во время Декад — пребольшие парады; сим публичным образом показуется гражданам: «Вот я вас, только пикни!» В годовщину революции праздник устроили на полмиллиона народа. Ночью фейерверки и транспаранты вольности горели всюду, но никто уже не кричал: «Да здравствует вольность!»— а все кричали: «Да здравствует Бонапарт!»

Павел. Молодец! Так их и надо. Завтра же, сударь, назад в Париж с ответом. Уповаем, что в союзе с господином первым консулом, даруя мир всему миру, восстановителями будем потрясенных тронов и оскверненных алтарей... *(Кушелеву.)* А ты что, сударь, опять куксишься?

Кушелев. Ваше величество, союз с народом безбожным и буйственным, антихристова духа исполненным...

Павел. Заладила сорока Якова! Говорят же тебе, господа французы образумились.

Кушелев. Образумились, нет ли, что нам до них? Россия — первая держава в мире. Когда все другие народы мятутся, пребывает отечество наше покойно, десницею Божьей хранимое. Да не дерзают же равняться с нами оные державы, мыльным пузырям подобные.

Где, где не слышно имя Россов?
Как буря, мир они прошли;
В сто лет победных сто колоссов
Во всех краях им возросли.

А тебе, государь-батюшка, победителю Зверя Антихриста — осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне! [1]

Павел. За патриотические расположения ваши, сударь, спасибо. А насчет Антихриста не бойся, братец, в обиду не дам!

Патер Грубер подходит к Павлу.

[1] Грядый (*церковнослав.*) — идущий, шествующий. «Осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне!»— Евангелие от Матфея, XXI, 9.

Павел. А, святый отче, Ad-majorem-Dei-gloriam[1], ты откуда?

Павел и Грубер, разговаривая, отходят в сторону.

Мария Федоровна (*тихо Палену*). Зачем пропустили этого патера? Cela ne convient pas[2].

Пален. Да ведь он, ваше величество, и без пропуска всюду пролезает.

Головкин. Втируша!

Мария Федоровна. И о чем это он с государем все шепчется?

Пален. Должно быть, опять оный прожект о воссоединении церквей.

Мария Федоровна. Какое лицо!..

Пален. Да, рожа скверная: как его ни встретишь — быть худу.

Нарышкин. Зато на все руки мастер: шоколад варит, зубы лечит, фарфор склеивает, церкви соединяет...

Голицын. Новый Калиостро![3]

Головкин. Черт в рясе!

Нарышкин. Господа иезуиты все таковы.

Голицын. И с чего они к нам налетели, черные вороны?

Грубер (*следуя за Павлом*). Ваше величество, в прожекте моем...

Павел. Надоел ты мне, братец, со своим прожектом хуже горькой редьки. Отстань!

Грубер. В Писании сказано: един Пастырь, едино стадо.— Когда соединится власть Кесаря, Самодержца Российского с властью Первосвященника Римского — земное с небесным...

Павел. Отстань, говорю, ну тебя, брысь!..

Грубер. Одно только словечко, государь, одно словечко — и его святейшество сам приедет в Петербург...

Павел. Вот привязался! Ну, на что мне твой папа?

Грубер. Ваше величество, папа — глава церкви...

Павел. Врешь! Не папа, а я. Превыше всех пап, царь и папа вместе, Кесарь и Первосвященник — я.

---

[1] К вящей славе Божией (*лат.*) — девиз иезуитского ордена.

[2] Это неприлично (*франц.*).

[3] Граф Калиостро (наст. имя Джузеппе Бальзамо; 1743—1795) — итальянский авантюрист, выдававший себя за чародея: продавал эликсир жизни, воду красоты и т. п.

я, я один во всей вселенной!.. Видал ли ты меня в далматике?

Грубер. Не имел счастья, государь!

Павел. Иван! Иван!

Кутайсов подбегает к Павлу.

Кутайсов. Здесь, ваше величество!

Павел. Сбегай-ка, братец, живее, принеси далматик, знаешь, тот новый, ненадеванный. Кстати ж примерю.

Кутайсов. Слушаю-с, ваше величество!

Кутайсов уходит.

Павел. Подобие саккоса архиерейского, древних императоров восточных одеяние, знаменует оный далматик царесвященство таинственное, по чину Мельхиседекову...[1] Как о сем в Откровении-то, помнишь, Григорий Григорьевич?

Кушелев. *Жена, облеченная в солнце, родила Младенца мужеского пола, коему надлежит пасти все народы жезлом железным.*

Павел. Ну вот, вот, оно самое. Жена — церковь православная, а младенец — царь самодержавный. Се тайна великая. Никто ее не знает, никто, кроме меня!

Кутайсов входит, неся далматик. Павел надевает его перед зеркалом.

Павел. Погляди-ка, Иван, сзади как?

Кутайсов. Сзади хорошо, ваше величество, а с боков будто складочки.

Анна *(тихо)*. Па́влушка, миленький, как можно здесь, при всех?.. Смеяться будут...

Павел *(тихо)*. Пусть. Когда в багряницу облекали Господа, тоже смеялись. *(Груберу.)* Ну что, отче, видишь?

Грубер. Вижу, государь.

Павел. И разумеешь?

Грубер. Разумею.

Павел *(с внезапным гневом)*. Да что это, каких мне зеркал понавесили? Куда ни посмотрюсь — лицо все накриво... точно шею свернули... Тьфу!

---

[1] Мелхиседек — «царь Салимский, священник Бога Всевышнего» (Бытие, XIV, 18—20).

Кутайсов (*бросаясь к зеркалу*). Помутнело, должно быть, стеклышко, заиндевело. Вытереть надо суконочкой.

Павел. Оставь! Пойдем в тронную — там лучше зеркало.

Павел, Анна, Грубер и Кутайсов уходят.

Мария Федоровна (*всплескивая руками*). Aber um Gottes willen, что же это такое, Петр Алексеевич? Поединок... Бонапарт... папа... далматик... царь-священник... Боже мой, Боже мой, я ничего не понимаю!..

Пален. И я, ваше величество! Спросить бы Роджерсона, что ли?

Мария Федоровна. Роджерсона? Лейб-медика? Зачем? Что такое? Граф, граф... неужели вы думаете?..

Пален молча разводит руками; Мария Федоровиа также молча всплескивает руками.

Александр (*Константину*). Что ты?

Константин (*прячась за колонну и трясясь от хохота*).— О-хо-хо!.. Моченьки нет... лопну... Как он тут, Саша... в далматике-то, перед зеркалом. Поверх мундира, да ряса поповская... Бал-маскарад... Обезьяна... обезьяна в рясе... И лицо накриво... шею свернули... О-хо-хо!..

Александр. Перестань, Костя! Не смешно, а страшно...

Константин. Страшно, да... и смешно. Как во сне...

Головкин. А туман-то, туман, господа, посмотрите. Что это будет?..

Голицын. Того и гляди, подымемся вместе с туманом и разлетимся...

Елизавета. Привидения! Привидения!

Стук барабана, военные сигналы.

Нарышкин. Господа, слышите?

Голицын. Что такое?

Головкин. Барабан?

Нарышкин. Да, барабан, рожки, трубы... Что за диво? Ведь зорю давно уже пробили.

Голицын. Да это тревога!

Вбегают гоф-фурьеры.

Гоф-фурьеры *(Палену)*. Ваше сиятельство, тревога! Войска во дворце. Сюда идут!..

Из дверей слева вбегает караульный офицер со шпагою наголо.

Офицер. Где государь?

Пален. Как вы смеете, сударь, в присутствии ее величества, со шпагою?..

Офицер *(в дверь)*. Ребята, за мной!

Солдаты с ружьями наперевес кидаются в залу. Шум, крики, свалка. Слышатся отдельные голоса.

Первый. Где государь? Где государь?
Второй. Что случилось?
Третий. Беда во дворце!
Четвертый. Марш, марш! К знаменам!
Пятый. Куда, черти, прете?
Шестой. Пусти!
Седьмой. Стой!
Восьмой. Я тебя, сукин сын, в морду!
Девятый. Бей! Бей! В штыки их, братцы, изменников!

Женский визг.

Задавили! Ой-ой! Помогите!..

Ливен. Государыне дурно!

Мария Федоровна. Бегите, бегите, господа! Спасайте императора! Paulchen, Paulchen!..

Мария Федоровна падает в обморок. Входит Павел. За ним — Анна.

Павел *(в дверях)*. Что это?.. Что это?.. Бунт?..

Офицер *(солдатам)*. Стой, ребята! Государь.

Павел. Смирно-о!

Солдаты, взяв на караул, строятся. Шум стихает.

Павел *(Палену)*. Скажите же, сударь, на милость, что это? Как осмелились?..

Пален. Не могу знать, ваше величество! Должно быть, опять тревога фальшивая, как тогда, в Павловске, от рожка почтового, и здесь, в Петербурге, от бочки пустой...

Павел. Сами вы, сударь, бочка пустая!.. *(Наступая на солдат.)* Палок! Плетей! Шпицрутенов! Я вас всех!..

Анна (*бросаясь к Павлу*). Государь!

Павел. Нет, нет, княгиня, оставьте!.. Вы не знаете...

Анна (*тихо*). Знаю, Па́влушка, знаю, миленький,— верные все. Разве не видишь, как испугались?..

Павел. Испугались? (*старому гренадеру*). Чего испугались?

Гренадер. Так точно, ваше величество, дюже испугались.

Павел. Да чего же, дураки?

Гренадер. Беда, думали, во дворце. На дворе туман, зги не видать. А тут за гауптвахтой тревогу забили, да кто-то из ребят как крикнет: «Беда во дворце!»— так сразу и кинулись. Сами не рады. Черт, видно, попутал, померещилось...

Павел. Ах, дураки, дураки! Ну, что с вами делать?..

Анна (*тихо*). Прости, Па́влушка!

Павел. Точно ли нет между вами изменников?

Гренадер. Государь-батюшка, все слуги верные. Повелеть изволь — умрем за тебя!

Солдаты. Умрем! Умрем!

Павел. Ну, Бог с вами, прощаю.

Гренадер (*становясь на колени*). Отец ты наш, милостивец! Пошли тебе, Господи! (*Крестясь, целует ноги Павла.*)

Павел. Что ты, что ты, старик? Этакий бравый солдат, а плачет, как баба.

Солдаты (*окружая Павла и становясь на колени*). Государь-батюшка, родимый! Благослови тебя, Господи!

Нарышкин, Головкин и Голицын говорят в стороне тихо.

Нарышкин. Посмотрите-ка, что с ними делается!

Головкин. Точно влюбленные.

Голицын. Как на икону крестятся.

Головкин. Царь-священник.

Нарышкин. Не человек, а Бог.

Анна (*тихо*). Видишь, Па́влушка, как они тебя любят!

Павел. Да, любят. Вот бы на что поглядеть господам якобинцам — узнали бы, что крепко сижу на престоле. (*Солдатам.*) Спасибо, ребятушки!

Солдаты. Рады стараться, ваше величество! Ура! Ура!

Кушелев (*становясь на колени*). Осанна в вышних! Благословен Грядый во имя Господне!

Павел (*подымая глаза к небу*). Не нам, не нам, а имени твоему, Господи!

Елизавета (*тихо Александру*). Какая мерзость!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Библиотека — приемная Павла. Книжные шкафы красного дерева с бронзою. На стенах — виды Гатчины и Павловска. Канапе и кресла, обитые сафьяном. Налево — дверь в парадные апартаменты; направо — через коридор, в кабинет-спальню Павла. В глубине — окно на Нижний Летний сад. У окна маленький столик с бумагами, перьями и чернилами. Полдень. Сперва — луч бледного зимнего солнца; потом — сумерки. Оттепель, мокрый снег хлопьями.

Павел. Мария Федоровна. Александр. Константин. Елизавета. Пален. Роджерсон, лейб-медик. Кутайсов. Аргамаков, плац-адъютант Михайловского замка. Марин, поручик.

Мария Федоровна входит слева, лейб-медик Роджерсон — справа; посередине комнаты встречаются, почти сталкиваются.

Мария Федоровна. Где он? Где он?

Роджерсон. Не угодно ли будет обождать вашему величеству: государь никого принимать не изволят,— меня сейчас прогнали.

Мария Федоровна. Aber um Gottes willen, доктор, что случилось?

Роджерсон. Я и сам не знаю. Кажется, во время обычной прогулки верхом по Летнему саду его величеству дурно сделалось. Обер-шталмейстер Кутайсов бросился на помощь, но все уже прошло, только молвить изволили: «Я почувствовал, что задыхаюсь»,— вернулись домой.

Мария Федоровна (*всплескивая руками*). Господи, Господи, что ж это такое?..

Роджерсон. Не извольте беспокоиться, ваше величество! Даст Бог, все обойдется. Маленький припадок удушья. Должно быть, действие оттепели. Надо бы кровь пустить. Ну да, Бог даст, и так обойдется.

Мария Федоровна. Ах, нет, нет, разве вы не видите,— он болен, не спит, не ест и все такой грустный... Я не знаю, что с ним... Гляжу на него, и сердце болит... и страшно, страшно...

Из дверей слева — Александр и Константин. Подходят к Марии Федоровне и целуют у нее руку.

Мария Федоровна. Слышали, дети, государь болен?

Константин. Государь болен, а мы под арестом.

Мария Федоровна. Под арестом? За что?

Константин. Бог весть. Сейчас водили в церковь присягать.

Мария Федоровна. Кому? Зачем?

Константин. Государю императору Павлу I. А зачем — неизвестно. Должно быть, усомнились в первой присяге. Только отчего вторая лучше первой — опять неизвестно.

Мария Федоровна (*всплескивая руками*). Боже мой, Боже мой, я ничего не понимаю!

Входит Пален.

Пален. И я ничего не понимаю.

Мария Федоровна. Граф! Наконец-то...

Пален. Извините, ваше величество, я к государю.

Мария Федоровна. Нет, нет, постойте, вы нам должны объяснить. Ради Бога...

Пален. Я уже имел честь докладывать вашему величеству: я ничего не понимаю.

Мария Федоровна. Петр Алексеевич, Петр Алексеевич... Я хочу знать, слышите, я хочу знать все... Я вам приказываю... Мы здесь все вместе, одни, и можем обсудить на семейном совете...

Пален. Какой уж тут совет семейный!.. А впрочем, одну минутку, ваше величество. (*Говорит в дверь направо.*) Поручик Марин, вы? Ну, ладно. Смотрите же, сударь, от дверей ни на шаг, и если кто пройдет, доложить извольте немедленно. (*Возвращаясь — к Марии Федоровне.*) Итак, вашему величеству угодно?.. (*Роджерсону.*) Куда вы, господин доктор, подождите, сделайте милость: вы нам нужны, вы нам теперь нужнее, чем кто-либо.

Роджерсон. Даст Бог, все обойдется.

Пален. Кажется, без вас не обойдется.

Мария Федоровна. Да говорите же, говорите, граф, что такое?..

Пален. А то, ваше величество, что надо быть готовым ко всему. Мы объявляем войну пяти-шести европейским державам.

Мария Федоровна (*всплескивая руками*). Herr Iesu![1] Пяти — шести...

Пален. Да. Сколько именно, я, признаться, и счет потерял. А когда доложить осмелился, не много ли будет, то ответить изволили: «Сколько бы мух ни жужжало у меня под носом, я их гоню».— Но нам Европы мало, нужно и Азию; поход на Индию...

Мария Федоровна. На Индию!

Пален. Да, по следам Александра Македонского, к священным водам Инда. Двадцать тысяч Донских казаков уже выступило к Оренбургу и далее, по степям неведомым, без обоза, без продовольствия, без дорог и даже без маршрутов Велено завоевать Индию — и завоюем.

Мария Федоровна. Граф, граф... aber um Gottes willen... что вы говорите? Может ли быть, чтобы мы *ничего не знали*?

Пален. Я и сам не знал до последней минуты и, чай, многого еще не знаю.

Мария Федоровна. Господи, Господи... что же будет?

Пален. А будет, полагаю, то, что англичане Индию даром отдать не согласятся и пожалуют к нам в гости. Не сегодня-завтра флот их появится у наших берегов и начнет бомбардировать сперва Кронштадт, а потом и Петербург.

Мария Федоровна. Петербург! Herr Iesu!

Пален. Да, и мы погибли — погибла Россия.

Мария Федоровна (*всплескивая руками*). Господи, Господи... что же делать?

Пален. Делать нечего, ваше величество,— погибать, так погибать.

Мария Федоровна и Пален говорят тихо.

Константин (*Александру, кивая украдкой на Палена*). Прехитрая бестия!

Александр. А что?

Константин. Разве не *видишь*, к чему клонит?

Александр. К чему?

Константин. А к то́му, что батюшка спятил.

Александр. Что ты, Костя!

---

[1] Господи Иисусе! (*нем.*)

Константин. Ну да, а то как же? И знаешь, Саша, ведь, может быть, и вправду... Голова-то у него умная — умнее, пожалуй, всех наших голов, да есть в ней машинка, на одной ниточке держится,— а как порвется эта ниточка — машинка завернется — и капут!

Александр. Страшно...

Константин. Да, страшно... А впрочем, наплевать — все там будем...

Мария Федоровна (*тихо Палену*). Как? Как? Повторите.

Пален. Я вижу, говорит, что пора нанести великий удар.

Мария Федоровна. Великий удар? Что ж это значит?

Пален. Не знаю, ваше величество, подумать боюсь...

Мария Федоровна (*всплескивая руками.*) Ах, понимаю, я теперь все понимаю. Он хочет меня и нас всех... Боже мой! Боже мой!.. Так вот, что значит... «Ежели, говорит, сударыня, вы Екатерина II, то я вам не Петр III». Я тогда не поняла, а теперь... теперь... Да ведь это значит, что я хочу его... Herr Iesu! Это я-то, я... Paulchen, Paulchen!

Плачет. Входит поручик Марин.

Марин. Государь император!

Все ждут в оцепенении. Входит Павел и, остановившись в дверях, со шляпой на голове, с тростью под мышкой, скрестив руки, тяжело переводя дыхание, глядит на всех молча. Потом подходит по очереди к Марии Федоровне, Александру, Константину и Палену, останавливается перед каждым из них и глядит в упор. Наконец возвращается к двери; вдруг, на пороге, обернувшись, высовывает язык и, громко хлопнув дверью, уходит. Мария Федоровна падает в обморок. Роджерсон приводит ее в чувство. Входит Кутайсов слева, Марин туда же уходит.

Мария Федоровна. Что это было? Что это было?

Роджерсон. Ничего, ваше величество! Даст Бог, все обойдется. Не угодно ли водицы?

Константин (*тихо Александру*). Машинка завернулась.

Пален. Ну что, как вы полагаете, доктор?

Роджерсон. А что, граф?

Пален. Как что? Да вот что тут было сейчас?

Роджерсон. Ничего не было.

Пален. А язык?

Роджерсон. Ну, мы, доктора, к этому привыкли: все пациенты нам язык показывают.

Мария Федоровна. Что это было? Что это было?

Пален. Ничего не было, по мнению господина доктора, нам померещилось. Мы все, должно быть, сходим с ума — прескверная штука, не угодно ли стакан лафита!

Мария Федоровна. Доктор! Доктор! Ступайте же к нему скорее!

Роджерсон. Ваше величество, меня и давеча прогнали, да чуть не прибили. Пусть уж лучше кто-нибудь другой...

Мария Федоровна. Граф!

Пален. Нет, слуга покорный, я в сражениях бывал и ядрам не кланялся, а туда не пойду,— воля ваша, государыня, хоть казните.

Мария Федоровна. Александр! Константин!

Константин. Да ведь мы, матушка, под арестом — куда уж нам!

Кутайсов. Ваше величество, дозвольте, я...

Мария Федоровна. Ах, mein lieber[1] Иван Павлович, ради Бога!

Кутайсов. Ничего-с, ничего-с, будьте благонадежны, ваше величество! Кстати обедать пора — доложить и попробуем. Малой мышки лев не обидит: я мышкою-с, мышкою-с. Вот так, потихоньку, потихонечку...

Уходит.

Константин (*притворяя дверь и заглядывая*). Подкрался.— Слушает.— В щелку глядит.— Скребется.— Отперли.— Вошел.— Ну, что-то будет?

Молчание.

Константин. Вышел!

Входит Кутайсов.

Кутайсов. Премилостивы. После дождика — солнышко-с...

Константин. Идет! Идет!

Входит Павел.

---

[1] Дорогой мой (*нем.*).

Павел *(с изысканною любезностью, целуя руку Марии Федоровны)*. Прошу извинения, ваше величество,— к обеду ждать заставил — что-то аппетита нет. Вы уж, господа, не взыщите, без меня за стол садиться извольте, а я ужо подойду.

Молчание.

Павел. Да что это вы все, как в воду опущенные? Напугал я вас, видно, давеча моею шуточкой? Ну, не буду, не буду. Пошутил — и довольно... *(Марии Федоровне.)* А скажите-ка, сударыня, ведь и я человек?

Молчание.

Павел. Ну, что ж? Отвечайте, коли спрашивают — человек или нет?

Мария Федоровна. Человек, ваше величество...

Павел. А если человек, так, значит, могу ошибаться. И вы — человек?

Мария Федоровна. И я...

Павел. Ну, так значит, можете простить.— Простите же меня, сударыня... И вы все, господа, если я в чем...

Все *(наперерыв)*. Ваше величество!.. Ваше величество!..

Мария Федоровна *(всплескивая руками)*. Paulchen!.. Paulchen!..

Плачет и хочет броситься на шею Павла.

Павел *(отстраняясь)*. Ну, ну, перестаньте! Что за комедия! Терпеть не могу...

Молчание.

Павел. Граф Пален, у меня к вам дело. А вас, господа, не задерживаю...

Все, кроме Павла и Палена, уходят.

Павел. Доклад, сударь, готов?

Пален. Так точно, ваше величество!

Подходят к столику у окна.

Павел. Прошу садиться.

Пален хочет сесть спиной к свету.

Павел *(указывая на другой стул, против себя)*.

Нет, лицом к свету. Когда я с кем говорю, то привык смотреть прямо в лицо, сударь, слышите,— прямо в лицо!

Пален. Слушаю, ваше величество!

Павел. Ну, то-то же. Извольте докладывать.

Пален. По указу вашего императорского величества, два курьера отправлены...

Павел. Что вы делаете, граф, когда не спится?

Пален. У меня, государь, сон — слава Богу.

Павел. Счастливец! Значит, совесть покойна.

Пален *(продолжая доклад)*. Курьер к его величеству королю Прусскому...

Павел. А дурные сны бывают?

Пален. Намедни снился...

Павел. Что?

Пален. Безделица сущая: будто я — куколка такая, что никак не повалишь — упадет и встанет...

Павел. Ванька-встанька? Да это сон превеселый.

Пален. Нет, государь, скучный: упал и встал, упал и встал — так всю ночь и промаялся... *(Продолжая доклад.)* Королю Прусскому предписание княжество Ганноверское войсками занять в двадцать четыре часа...

Павел. А мне хуже снилось: будто бы кафтан парчовый натягивают, узкий-преузкий — никак не влезу, а все тискают — так сдавили, что дохнуть не могу. Закричал и проснулся. С тех пор и бессонница...

Пален *(продолжая доклад)*. Другой курьер — в Париж, к господину первому консулу...

Павел. Печку — льдом! Печку — льдом!.. Вот дураки...

Пален. Печку льдом?

Павел. Ну, да. Головой к печке сплю. Велел топить не жарко, а чтобы в спальне — ровно четырнадцать градусов. Пощупаю, бывало, печку — холодна; посмотрю на градусник — четырнадцать; и сплю. А намедни проснулся — горячехонька. Ничего не сказал, только на другой день встал пораньше из-за ужина да прямо в спальню, гляжу — по всему полу рогожи, и печку льдом натирают: стынет до ночи, пока не пощупаю, а за ночь опять нагревается. Шуты гороховые! А все на меня валят — говорят: «С ума сошел!» А я тут при чем, сударь, а? При чем тут я?

Пален. Ни при чем, государь!

Павел. Ну то-то же! Извольте, сударь, докладывать.

Пален (*продолжая доклад*). В случае неисполнения королем Прусским предписания, господин первый консул приглашается...

Павел. А скажите-ка, граф, в тысяча семьсот шестьдесят втором году, когда государя, отца моего, убили, вы где быть изволили?

Пален. Здесь, в Петербурге, ваше величество!

Павел. Здесь? И что же делали?

Пален. Был молод и в чинах малых. Конной гвардии субалтерн-офицером[1], ничего не знал про заговор...

Павел. Не знали тогда?.. Ну, а теперь знаете?

Оба встают и молча долго смотрят друг другу в глаза.

Павел. Отвечайте же, сударь! Знаете или не знаете, что меня убить хотят?

Пален. Знаю, государь!

Павел. Знаете... и молчите?..

Пален. Ваше величество, я сам во главе заговорщиков...

Павел. Вы?.. вы?.. Что такое?.. (*Отступая в ужасе.*) Сумасшедший!..

Пален. Никак нет, государь, я в совершенном рассудке...

Павел. Так я... я... что ли, я с ума сошел?.. Печку — льдом!..

Пален. Государь, умоляю, минуту спокойствия. Если бы я не был уверен, что ваше величество обладает мудростью высочайшею, не столь человеку, сколь Божеству присущею...

Павел (*топая ногами в ярости*). Да говорите же, говорите, черт побери, что, что, что такое?..

Пален. Дело столь явное, что и говорить почти нечего: я — во главе заговорщиков, дабы знать все, следить за всем и тем вернее охранять от покушения злодейского священную особу вашего императорского величества. И слава Богу, уже все нити заговора в моих руках: шагу не сделают, слова не вымолвят, чтобы я не узнал.

Павел. Умны, сударь, слишком умны, так умны, что с ума свести можете... Ванька-встанька!.. Да как же вы смели не донести мне тотчас же?

---

[1] Младший офицер (*нем.* Subalternoffizier).

Пален. Сколько раз хотел, уже слово было в устах моих. Но, не имея улик достовернейших,— коих и вы, ваше величество, еще не имеете?.. *(Пристально глядит на Павла.)* Не имея оных улик и милосердствуя, простите, государь, слово сие из недр души болящей исторгнуто,— милосердствуя к вам, щадя сердце родительское, я медлил — и в том вина моя единственная; видит Бог, мочи моей не было, мочи моей нет и сейчас сказать отцу, что сын его возлюбленный, первенец...

Павел. Александр!..

Пален. Да, государь-наследник — отцеубийца мысленный...

Павел. Сгинь, сгинь, пропади!.. Никогда не поверю я, чтоб Александр... Александр... дитя мое, мальчик мой милый!..

Пален. Я полагал, что ваше величество знать изволит более. *(Подавая бумагу.)* Вот список заговорщиков: их высочества, оба сына ваши, обе невестки, ее величество и почти все командиры полков, министры, сановники...

Павел *(читая)*. Все. все, все!.. За что, Господи?.. Что я им сделал?..

Пален. Я знал, государь, сколь тяжко...

Павел. Ох, тяжко!.. Тяжко!.. Тяжко!.. Уж лучше бы сразу убили!..

Падает на стул и закрывает лицо руками. Молчание.

Павел *(вскакивая)*. Сию же минуту всех — в кандалы, в Сибирь, в каторгу!.. А его... Александра... его... расстрелять!..

Пален *(вскакивая)*. Ваше величество, взять под арест всю царскую фамилию без явных улик — ни у кого рука не подымется, я не найду исполнителей. Сим возмутить можно всю Россию, не имея через то еще верного средства спасти особу вашего величества...

Павел. Так что же?..

Пален. Одно из двух, государь: или казнить меня извольте тотчас, как изменника, или доверьтесь мне совершенно...

Павел. Не многого, сударь, хотите! Ну, а если вы?..

Пален *(встав на колени и подавая шпагу)*. Пронзите, ваше величество, сердце, пламенеющее верно-

стью,— и с блаженством умру здесь, у ног моего государя!

Павел кладет обе руки на плечи Палена, наклоняется к нему и смотрит в глаза долго.

Павел. Лжет?.. Нет... Так лгать нельзя... А если лжет, то не человек, а дьявол, дьявол, дьявол!..

Пален. Ваше величество!..

Павел. Ну, прости... Верю.

Обнимает и целует Палена, потом отходит к столу и сидит молча, опустив голову на руки.

Пален (*вставая*). Угодно вашему величеству знать?

Павел. Нет, нет... Потом... Будет с меня!.. А теперь говори скорее, что делать.

Пален (*подавая бумагу*). Вот указ, на сей случай мною приготовленный: государя-наследника — в Шлиссельбург, великого князя Константина Павловича — в крепость, ее величество — в Архангельск, великих княгинь — по монастырям отдаленнейшим.

Павел. Подписать?

Пален. Токмо указ оный за вашею подписью в руках имея, действовать могу без промедления.

Павел подписывает.

Павел. Еще что?

Пален. Из покоев государыни в спальню вашего величества двери забить наглухо.

Павел. Велел сегодня. Еще?

Пален. Кавалергардского полка офицеров со всех караулов снять.

Павел. Что вы, сударь? Налгали вам: ребята верные — я их всех знаю...

Пален. Ежели, ваше величество, лучше знать изволите...

Павел. Ну, ладно, ладно — делай, как знаешь... Надоело... Устал я что-то... (*Зевает.*) О-хо-хо-шеньки... Только бы выспаться... Ну, все что ли?

Пален. Все... Виноват, государь,— еще одно...

Павел. Кончай-ка, братец, скорее!.. Говорю, надоело...

Пален. Давеча курьер задержан в Гатчину с подложным указом...

Павел. Аракчееву? Где? Покажи!

Пален подает указ.

Павел. Да это подлинный. Разве не видишь — моя рука?

Пален. Вижу, государь, что генерал Аракчеев, враг мой злейший, на место мое назначается военным губернатором, дабы истребить меня,— вижу и глазам своим не верю...

Павел *(разорвав указ)*. Веришь теперь?

Пален. Верю.

Павел. Ну все?

Пален. Все.

Павел. Когда?

Пален. Завтра или в сию же ночь.

Павел. Опять не спать?

Пален. Почивать извольте с Богом, я за вас не сплю.

Павел. Спасибо, друг... Ну, торопишься, чай,— дела много. Ступай!

Пален, поцеловав руку Павла, отходит к двери.

Павел. Подожди.

Павел идет к Палену и опять, как давеча, положив обе руки на плечи его, смотрит ему в глаза.

Павел. Петр Алексеевич... Петр, любишь ли ты меня?..

Пален. Люблю, государь...

Павел. Любишь?

Пален. Ваше величество, вы сами знаете: у меня только Бог да вы. Я душу мою положу за вас!

Павел. *Душу твою за Меня положишь?* — сказал Господь Петру — и петух пропел...[1] Ну, прости... Верю, больше верить нельзя. Дай перекрещу... Помоги тебе, Господи... *(Крестит, обнимает и целует Палена.)* Ну, с Богом, с Богом!

Пален уходит. Павел опускается в кресло, откидывается головой на спинку, закрывает глаза и дремлет. Входит Кутайсов на цыпочках.

---

[1] «Петр сказал Ему [Христу]: Господи!.. Я душу свою положу за Тебя. Иисус отвечал ему: душу свою за Меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды». *Когда же Христа взяли под стражу, люди вспомнили*, что Петр был с Ним. Петр отрекся, «и тотчас запел петух» (Евангелие от Иоанна, XIII, 37, 38; XVIII, 25—27).

Павел (*просыпаясь и вздрагивая*). Кто? Кто?

Кутайсов. Я, ваше величество, я, Иван.

Павел. А, Иван... Ванька-встанька... Вот напугал... И чего ты все мышью крадешься?..

Кутайсов. Я потихоньку, потихонечку... разбудить боялся...

Павел. Да, вздремнул. Так-то вот днем все дремлется, а по ночам не сплю. А знаешь, Иванушка, ведь нас убить хотят...

Кутайсов. Что вы, что вы, ваше величество!..

Павел. А небось, ежели меня убивать будут, так вы все разбежитесь. *Поражу пастыря — и рассеются овцы*. И ты, Иванушка, ты первый — мышкою-с, мышкою-с...

Кутайсов. Ваше величество...

Павел. Ну, что мое величество? Струсил, а? Полно. Чего трясешься? Пошутил, а ты и поверил, дурак... Не бойся, брат, мы еще с тобою долго будем жить, поживать, печку льдом натирать.

Кутайсов. Не я, государь, видит Бог, не я...

Павел. Не ты, так я. Оба мы с тобою, видно, Иванушки дурачки. Ступай-ка, доложи княгине Анне, что сейчас буду.

Кутайсов идет к дверям направо.

Павел. Постой.

Пишет письмо, запечатывает и отдает.

Павел. Курьеру в Гатчину к генералу Аракчееву. Явиться немедленно. Скакать во весь дух, чтоб к ночи был здесь. Да никому о том не говори,— никому, слышишь?— ни даже графу Палену. Головой отвечаешь!

Кутайсов. Будьте благонадежны, ваше величество,— я потихоньку, потихонечку!

Кутайсов уходит. Павел опять, как давеча, опускается в кресло, откидывается головой на спинку и закрывает глаза. Потом встает, медленно идет к двери направо, зевает и потягивается.

Павел. О-хо-хошеньки!.. Спать, спать, спать!..

Павел уходит направо. Из двери слева входят Пален и полковник Аргамаков.

Пален. По всем городским заставам и шлагбаумам

приказание разослать извольте наистрожайшее, дабы никого в сию ночь не пропускали ни в город, ни из города.

Аргамаков. Слушаю-с.

Пален. Смотрите же, сударь, если, не дай Бог, пропустят Аракчеева...

Аргамаков. Будьте покойны, ваше сиятельство!

Пален. Ну, ступайте. А что же наследник?

Аргамаков. Докладывал. Будут сейчас. Да вот и они.

Аргамаков уходит налево. Оттуда же входит Александр.

Александр. Что такое?

Пален (*подавая указ*). Извольте прочесть, ваше высочество: указ об аресте вашем и всей царской фамилии.

Александр читает и, чтобы не упасть, хватается за спинку кресла.

Пален (*поддерживая Александра*). Дурно вам, государь?

Александр. Ничего... Пройдет... (*Опускается в кресло.*) Я так и знал.

Пален. Еще не все.

Александр. Что же еще?

Пален. Государь сказать изволил...

Александр. Говорите — мне все равно.

Пален. Сказать изволил о вашем высочестве: «Расстрелять его!»

Александр закрывает лицо руками. Молчание.

Александр (*опуская руки, тихо*). Ну, что ж. Один конец. Так лучше...

Пален. Лучше?

Александр. Лучше я, чем он.

Пален. Не вы одни, но и ваша супруга, матушка, братья, сестры, мы все — вся Россия, вся Европа. За всех перед Богом ответите вы...

Александр. Я?

Пален. Да, вы можете...

Александр. Что я могу?

Пален. Спасти себя и всех.

Александр. Да ведь завтра же...

Пален. Завтра мы погибли, но эта ночь наша. Он поверил мне...

Александр. Поверил, что вы...

Пален. Что я во главе заговора, чтобы предать вас...

Александр. И предали?

Пален. Предал, чтобы спасти...

Александр. Да, вот как. Меня — ему, а его — мне. Но в конце-то, в конце, граф, кого же вы предадите — меня, его или обоих?

Пален. Решать извольте сами.

Александр. Мне все равно.

Молчание.

Пален. Ваше высочество, я человек терпеливый, но есть конец и моему терпению...

Александр. Угроза?

Пален. Мне ли грозить? Я и сам на волосок от гибели...

Александр. А скажите-ка, Петр Алексеевич, вы когда-нибудь плакали?

Пален. Что за вопрос? В младенчестве плакал.

Александр. А потом — теперь?

Пален. В мои годы люди редко плачут.

Александр. Не плачете, зато смеетесь. У вас на лице всегда усмешка. Вот и сейчас...

Пален. Сейчас, кажется, смеяться изволите вы. Ну что ж, воля ваша. Я ношу сию шпагу не даром, но отвечать вам не могу, государь...

Александр. Какой государь! Приговоренный к смерти...

Пален. Ужо успеете плакать, а теперь позвольте же и мне поплакать — я ведь тоже умею, хотя вы и не верите... Завтра вы — государь или ничто, но сегодня — человек. Сегодня мы все — люди — и я, и вы, и он...

Александр. Да, и вы — человек...

Пален. Ну, так как же вы думаете, легко человеку вынести то, что я вынес, когда он тут сейчас обнимал меня, целовал, называл своим другом, благодарил за верность и сам доверился мне, как дитя малое?

Александр. Для кого же вы, сударь, стараетесь?

Пален. Для себя, для вас.

Александр. Благодарю покорно.

Пален. Поверили?.. Как вы людей презираете,

ваше высочество!.. Нет, не для себя и не для вас, а для России, для Европы, для всего человечества. Ибо самодержец безумный — есть ли на свете страшилище оному равное? Как хищный зверь, что вырвался из клетки и на всех кидается.

Александр. Как вы его ненавидите!

Пален. Ненавижу? За что? Разве он знает, что делает? Сумасшедший с бритвою... Не его, Богом клянусь, не его, безумца, жалости достойного, я ненавижу, а источник оного безумия — деспотичество. Некогда вы говорить мне изволили, ваше величество, что самодержавную власть и вы ненавидите и что гражданскую вольность России даровать намерены. Я поверил тогда. Но вы говорили — я делаю. А делать труднее, чем говорить...

Александр. Петр Алексеевич...

Пален. Нет, слушайте — уж если говорить меня заставили, так слушайте! Я думал, что Господь избрал нас обоих для сего высочайшего подвига — возвратить права человеческие сорока миллионам рабов. Вижу теперь, что ошибся. Не мы с вами — орудие Божьих судеб. Рабами родились и умрем рабами. Но не знаю, как вы, а я — пусть я умру на плахе — я счастлив есмь погибнуть за отечество и на Божий суд предстану с чистою совестью,— я сделал, что мог...

Александр. Петр Алексеевич, простите...

Пален. Ваше высочество!..

Александр. Я виноват перед вами — простите меня...

Пален. Вы... вы?.. Нет, я... ваше высочество... ваше величество!

Становится на колени.

Александр. Что вы, что вы, граф? Перестаньте...

Пален. Да — ваше величество! Отныне для меня государь император всероссийский — вы, и никто, кроме вас... Ангел-избавитель отечества, Богом избранный, благословенный!..

Целует руки Александра.

Александр. Нет, нет, вы не поняли...

Пален. Понял все...

Александр. Да нет же, нет, слышите — нет, я не хочу!..

Пален. Не хотите? Ну что ж, так я за вас... Я один!.. И никто никогда не узнает... Пусть думают все, что я, а не вы... Пропадай моя голова, только бы вам спастись!..

Александр. Не надо, не надо! Ради Бога, граф, обещайте, клянитесь...

Пален. Клянусь, что сделаю все, что в силах человеческих, чтобы этого не было. Но не говорите больше... Кончено, кончено!.. Слава Богу — спасена Россия! (*Подавая бумагу.*) Только подписать извольте — и кончено.

Александр. Что это?

Пален. Манифест об отречении императора Павла и о восшествии на престол Александра.

Александр долго и молча смотрит на Палена.

Александр. Подписать?

Пален. Да.

Александр. Кровью?

Пален. Зачем кровью? Чернилами.

Александр. А я думал,— договор с дьяволом — кровью...

Пален. Опять смеяться изволите...

Александр. Нет, не я, а вы... опять... (*Вскакивает, комкая бумагу и бросая на пол.*) Прочь! Прочь! Прочь!.. Дьявол!.. (*Падает в кресло, плачет и смеется, как в припадке.*) Уходите, оставьте меня!.. Господи!.. Господи!.. Что вы со мною делаете!.. Не могу! Не могу! Не могу!..

Пален (*подавая воды*). Успокойтесь, ради Бога успокойтесь, ваше высочество... Водицы испейте...

Александр. Уходите! Уходите! Оставьте меня!..

Пален. Уйду — только не кричите же так, ради Бога... услышат...

Пален (*отойдя к двери и глядя на Александра — тихо, с презрением*). Прескверная штука, не угодно ли стакан лафита,— ребенок, женщина!

Александр. Петр Алексеич...

Пален не отвечает.

Александр. Петр Алексеич!

Пален. Государь!

Александр. Ну, давайте же...

Пален. Что?

Александр. Подписать.

Пален (*стремительно бросаясь и подбирая с пола бумагу*). Вот! Вот!

Александр подписывает.

Пален. Уф! (*Вытирает пот с лица.*) Ну, а теперь...

Александр. Нет, нет!.. Уходите!.. Уходите!..Уходите!.. Оставьте меня ради Бога!..

Пален. Ушел, ушел... только ручку позвольте, ручку, коей спасено отечество!

Пален целует руку Александра и уходит. Александр сидит в кресле, точно так же, как давеча Павел, откинувшись головой на спинку и закрыв глаза. Входит Елизавета.

Елизавета. Саша? (*Молчание.*) Ты спишь, Саша?

Александр. Нет.

Елизавета. Тут был Пален?

Александр. Был.

Елизавета. Молчи, молчи... не надо... Я знаю... (*Становясь на колени и целуя руки Александра.*) Саша, Саша, мальчик мой бедненький!..

Александр. Все равно. (*Молчание.*) «Несть бо власть аще не от Бога» [1]. Это нам поп говорил давеча в церкви, когда присягали. Ну, а если государь — сумасшедший, власть тоже от Бога? Сумасшедший с бритвою. И бритва от Бога? Хищный зверь, что вырвался из клетки... И царство зверя — царство Божье? Ничего понять нельзя...

Елизавета. Это я, Саша, я!.. Я тебе сказала, что мы должны...

Александр. Должны — и не должны. Надо — и нельзя. Нельзя — и надо. Кто ж это так сделал? Бог, что ли, а?.. Ты веришь в Бога, Лизхен?

Елизавета. Господи, Господи!.. Это я, я...

Александр. Ты? Нет, не ты и не я. Никто. И все. Ничего понять нельзя. А может быть, и не надо... ничего не надо... ничего нет... и Бога нет?..

Елизавета. Не говори так... Страшно, страшно...

Александр. Все равно.

---

[1] Послание к Римлянам св. апостола Павла, XIII, 1.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Собрание заговорщиков в квартире генерала Талызина, в Лейбкампанском корпусе Зимнего дворца.

Столовая — большая низкая комната, казарменного вида, со сводами и голыми выбеленными стенами. По стенам — портреты царских особ; портрет во весь рост императора Павла I в порфире, в короне, со скипетром. В глубине — дверь на лестницу. Слева — дверь во внутренние комнаты, канапе и кафельная печка. Справа — два окна на Неву и Петропавловскую крепость; оттуда иногда слышится бой курантов. Посередине комнаты — большой накрытый стол со множеством бутылок; между окнами — меньший стол с водками и закусками.

Ночь. Шандалы с восковыми свечами. Только что кончили ужинать. Одни сидят еще за столом и пьют, другие, стоя, разговаривают кучками. Заговорщиков более сорока человек: все — военные. Тесно, душно, накурено.

Гр. Пален, военный губернатор Петербурга; Талызин, командир Преображенского полка; Депрерадович, командир Семеновского полка; Бенигсен, Тучков — генералы; Зубовы — Платон, Валериан, Николай, князья; Клокачев, флотский капитан-командор; Яшвиль, кн. Мансуров, Татаринов, кн.— полковники; Розен, бар.; Скарятин, штабс-капитан; Шеншин, капитан; Титов, ротмистр; Аргамаков, плац-адъютант Михайловского замка; Волконский, кн.; Долгорукий, Ефимович — поручики; Филатов, Мордвинов — подпоручики; Гарданов, корнет; Федя и Кузьмич — денщики.

Голоса. Ура, свобода! Ура, Александр!

Скарятин (*штабс-капитан — Талызину*). Ваше превосходительство, еще бы шампанского дюжинку.

Талызин. Пейте, господа, на здоровье.

Татаринов. Жженку, жженку несут, зажигайте жженку!

Розен (*стоя у стола, читает по тетрадке*). Поелику подобает нам первее всего обуздать деспотичество нашего правления...

Скарятин. Что он читает?

Татаринов. Пункты Конституции Российской.

Филатов. Виват конституция!

Скарятин. Круглые шляпы да фраки, виват!

Татаринов. Пукли, пудру долой!

Филатов. Долой цензуру! Вольтера будем читать!

Скарятин. Банчишко метать, фараончик с макашкою! [1]

Татаринов. На тройках, с бубенцами, с форейтором — катай, валяй, жги! Ура, свобода!

Волконский *(сидя верхом на стуле и раскачиваясь, пьяный, поет).*

Allons, enfants de la patrie!
Le jour de gloire est arrivé [2]

Долгорукий *(сидя перед кн. Волконским на полу, без мундира, с гитарой, пьяный, поет).*

Ах ты, сукин сын, Камаринский мужик,
Ты за что, про что калачницу убил?

Волконский *(Долгорукому).* Петенька, Петенька, пропляши казачка, утешь, родной!

Долгорукий. Отстань, черт!

Розен *(продолжая читать).* Тогда восприимет Россия новое бытие и совершенно во всех частях преобразится...

Депрерадович *(указывая на Платона Зубова).* Что такое с князем?

Яшвиль. Медвежья болезнь — расстройство желудка, от страха.

Талызин. Трус! Под Катькиными юбками обабился. Служба-то отечеству не то, знать, что служба постельная: по ночам, бывало, у дверей спальни мяукает котом, зовет императрицу на свидание; ему двадцать лет, а ей семьдесят — в морщинах вся, желтая, обрюзглая, зубы вставные, изо рта пахнет — брр... с тех пор его и тошнит!

Депрерадович. Зато чуть не самодержцем стал!

Талызин. А теперь стал Брутом[3].

Яшвиль. Брут с расстройством желудка!

Депрерадович. Да ведь что, братцы, поделаешь? Революция в собственном брюхе важнее всех революций на свете!

---

[1] Банк, фараон, макао — азартные карточные игры.

[2] Вперед, отечества сыны!
Настал свободы день («*Марсельеза*»).

[3] Брут, Марк Юний (I в. до н. э.) — друг Юлия Цезаря, возглавивший заговор против него и принявший участие в его убийстве.

Талызин (*подходя к Зубову, который лежит на канапе*). Не полегчало, князь?

Платон Зубов. Какое там!

Талызин. Гофманских капель бы приняли.

Платон Зубов. Ну их, капли! Домой бы в постель, да припарки... А я тут с вами возись, черт бы побрал этот заговор! Попадем в лапы Аракчееву, тем дело и кончится.

Розен (*продолжая читать*). По тринадцатому пункту Конституции Российской...

Талызин. Всех-то пунктов сколько?

Розен. Сто девяносто девять.

Талызин. Батюшки! Этак, пожалуй, и к утру не кончите.

Розен (*продолжая читать*). По тринадцатому пункту Конституции Российской собирается Парламент...

Скарятин. Это что за штука?

Татаринов. Парламент — штука немецкая...

Филатов. Немец обезьяну выдумал!

Скарятин. А знаете, господа, у княгини Голицыной три обезьянки: когда один самец да самочка амурятся, то другой смотрит на них, и представьте себе, тоже...

Говорит на ухо.

Титов. Удивительно!

Трое — у закусочного стола.

Первый. Последняя цена — полтораста.

Второй. Хочешь сто?

Первый. Что вы, сударь, Бога побойтесь! Хотя и крепостная, а все равно, что барышня. Шестнадцать лет, настоящий розанчик. Стирать и шить умеет.

Второй. Сто двадцать — и больше ни копейки.

Первый. Ну, черт с вами,— по рукам. Уж очень деньги нужны: в пух проигрался.

Третий. Так-то вот и у нас в полку штабс-капитан Раздиришин все, бывало, малолетних девок покупал и столько он их перепортил, страсть!

Трое — у печки.

Первый. Все люди из рук природы выходят совершенно равными, как сказал господин Мабли [1].

Второй. В природе, сударь, нет равенства: и на дереве лист к листу не приходится.

Третий. Равенство есть чудовище, которое хочет быть королем.

Первый. Неужели вы, господа, не разумеете, что политическая вольность нации...

Второй. Вольность? Что такое вольность? Обманчивый есть шум и дым пустой.

Мансуров. Все прах, все тлен, все тень: умрем, и ничего не останется!

Третий. Vous avez le vin triste, monsieur! [2]

Шеншин. Ах ты, птенец, птенец! И как тебя сюда затащили?

Гарданов. Из трактира Демута, дяденька, за компанию. Пили там — все такие славные ребята. «Поедем, говорят, Вася, к Талызину». Вот я и поехал.

Шеншин. Ну, куда же тебе в этакое дело, мальчик ты маленький?

Гарданов. Какой же я маленький, помилуйте, мне скоро двадцать лет. Вчера предложение сделал — стишок сочинил, хотите, скажу? Только на ушко, чтоб никто не слышал.

Зачем в безумии стараться
Восток с полуднем съединить?
Чтоб вечно в радости смеяться,
Довольно Машеньку любить.

Ефимович. По исчислению господина Юнга Штиллинга [3], кончина мира произойдет через тридцать пять лет.

Татаринов. Ого! Да вы, сударь, фармазон, что ли?

Ефимович. Мы — священники, перст Горусов [4] на устах держащие и книги таинств хранящие.

Татаринов *(тихо)*. Просто — мошенники: в мутной воде рыбу ловят.

---

[1] Де Мабли, Габриэль Бонно (1709—1785) — французский философ и историк.

[2] Вы грустны во хмелю, сударь! (*франц.*)

[3] Юнг-Штиллинг, Иоганн-Генрих (1740—1817) — немецкий писатель-мистик.

[4] Горус (Гор) — древнеегипетский бог восходящего солнца.

Ефимович. Наша наука в эдеме еще открылась.

Титов. Удивительно!

Ефимович. А известно ли вам, государи мои, что по системе Канта...

Скарятин. Это еще что за Кант?

Ефимович. Немецкий философ.

Филатов. Немец обезьяну выдумал!

Скарятин. А я вам говорю, братцы, у княгини Голицыной три обезьянки: когда самец и самочка...

Клокачев. Как же, знаю, знаю господина Канта — в Кенигсберге видел: старичок беленький да нежненький, точно пуховочка — все по одной аллее ходит взад и вперед, как маятник — говорит скоро и невразумительно.

Ефимович. Ну, так вот, государи мои, по системе Кантовой — Божество неприступно есть для человеческого разума...

Татаринов. А слышали, господа, намедни, в Гостином дворе, подпоручик Фомкин доказал публично, как дважды два четыре, что никакого Бога нет?

Титов. Удивительно!

Талызин. Господа, господа, нам нужно о деле, а мы черт не знает о чем!

Мансуров. Какие дела! Умрем — и ничего не останется: все прах, все тлен, все тень.

Долгорукий (*поет*).

Ах ты, сукин сын, Камарниский мужик,
Ты за что, про что калачницу убил?

Скарятин. А я тебе говорю, есть Бог!

Татаринов. А я тебе говорю, нет Бога!

Волконский. Петенька, Петенька, пропляши казачка, миленький!

Долгорукий. Отстань, черт!

Голоса. Слушайте! Слушайте!

Талызин (*читает*). Отречение от престола императора Павла I. «Мы, Павел I-й, милостью Божьей, император и самодержец Всероссийский, и прочее, и прочее, беспристрастно и непринужденно объявляем, что от правления государства Российского навек отрицаемся, в чем клятву нашу пред Богом и всецелым светом приносим. Вручаем же престол сыну и законному наследнику нашему, Александру Павловичу».

Розен. А где же конституция?

Талызин. Александр — наша конституция!

Голоса. Виват Александр!

Талызин. Мы, господа, на совесть. Извольте и то рассудить, что государь самодержавный не имеет права законно власть свою ограничить, понеже Россия вручила предкам его самодержавие нераздельное...

Бибиков. Помилуйте, господа, из-за чего же мы стараемся? Из-за круглых шляп да фраков, что ли?

Голоса. Круглые шляпы да фраки, виват! Виват свобода!

Клокачев. Не угодно ли будет, государи мои, выслушать прожект о соединении областей Российской империи по образцу Северо-Американской республики?

Платон Зубов. А вот, погодите, задаст вам ужо Аракчеев республику!

Шум, крики.

Одни. Виват самодержавие!

Другие. Виват конституция!

Тучков. А мне что-то, ребятушки, боязно — уж не черт ли нас попутал?..

Талызин. Господа, господа! Дайте же слово сказать...

Голоса. Слушайте! Слушайте!

Талызин. Российская империя столь велика...

Первый. Велика Федора да дура.

Второй. Ничего в России нет: по внешности есть все, а на деле — нет ничего.

Третий. Россия — метеор: блеснул и пропал.

Мансуров. Умрем — и ничего не останется: все прах, все тлен, все тень.

Голоса. Слушайте! Слушайте!

Талызин. Российская империя столь велика и обширна, что, кроме государя самодержавного, всякое иное правление неудобовозможно и пагубно...

Голоса. Верно! Верно! К черту конституцию! Это все немцы придумали, враги отечества, фармазоны проклятые!

Талызин. Ибо что, господа, зрим в Европе? Просвещеннейший из всех народов сбросил с себя златые цепи порядка гражданского, опрокинул алтари и троны и, как поток, надутый всеми мерзостями злочестия и

разврата, выступил из берегов своих, угрожая затопить Европу...

Татаринов. Европа вскоре погрузнтся в варварство...

Талызин. Одна Россия, как некий колосс непоколебимый, стоит, и основание оного колосса — вера православная, власть самодержавная.

Голоса. Виват самодержавие! Виват Россия!

Скарятин. Россия спасет Европу!

Титов. Удивительно!

Мордвинов. Граждане российские...

Волконский. Петенька, Петенька, попляши казачка!

Долгорукий. Отстань, черт!

Голоса. Слушайте! Слушайте!

Мордвинов. Граждане российские! Может ли быть вольность политическая там, где нет простой человеческой вольности и где миллионы рабов томятся под властью помещиков? Звери алчные, пиявицы ненасытные, что мы оставляем крестьянству? То, чего отнять не можем,— воздух[1]. Обратим же взоры наши на человечество и устыдимся, граждане! Низлагая тирана, да не будем сами тиранами — освободим рабов...

Татаринов. А Емельку Пугачева забыли?

Скарятин. Освободи их, отродие хамов, так они нам горло перервут.

Мордвинов. Граждане российские...

Один. Слушайте! Слушайте!

Другие. Довольно!

Мордвинов. Блюдитесь же, граждане! День мщения грядет — восстанут рабы и цепями своими разобьют нам головы и кровью нашею нивы свои обагрят[2]. Плаха и петля, меч и огонь — вот что нас ждет. Будет, будет сие!.. Взор мой проницает завесу времен... Я зрю сквозь целое столетне... я зрю...

Голоса. Молчите! Молчите! Довольно!

Татаринов. Вы оскорбляете, сударь, честь дворянства российского! Мы не позволнм...

---

[1] «Звери алчные...» — цитируется «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.

[2] «День мщения...» — реминисценция из «Путешествия из Петербурга в Москву»».

Талызин. Господа, мы все не о том — нам нужно о деле, а мы черт знает о чем!

Голоса. В чем же дело, говорите!

Талызин. А дело в том, что если государь отреченья не подпишет, как нам быть?

Одни. Арестовать!

Другие. В Шлиссельбург!

Талызин. Легко сказать — Шлиссельбург. Войска ему преданы, освободят и что тогда?

Бенигсен. Messieurs, le vin est tiré, il faut le boire [1]. У государя самодержавного корону отнять и сохранить ему жизнь есть дело невозможное.

Все сразу умолкли; такая тишина, что слышится бой курантов за Невою, на Петропавловской крепости.

Тучков. О-хо-хо! Царя убить — страшное дело...

Депрерадович. Помазанник Божий...

Шеншин. Присяга — не шутка...

Ефимович. И в Писании сказано: Бога бойтеся, царя чтите.

Бибиков. Государи мои милостивые! Для всякого ума просвещенного невинность тираноубийцы есть математическая ясность: ежели, скажем, нападет на меня злодей и, вознесши над главою моею кинжал...

Яшвиль. Эх, господа, чего канитель-то тянуть? Намедни он меня по лицу ударил, а таковые обиды кровью смываются!

Голоса. Верно! Верно! Кровь за кровь. Смерть тирану!

Гарданов *(вскочив на стул)*.

Ликуйте, склепанны народы,
Пылай, кровавая заря —
Се правосудие свободы
На плаху возвело царя![2]

Голоса. Смерть тирану! Смерть тирану! Ура, свобода!

Валериан Зубов *(с деревянной ногою)*. Нет, господа! Я, один на один, хоть с чертом биться готов, но сорок человек на одного — воля ваша, я не запятнаю шпаги моей таковою подлостью!

---

[1] Господа, вино откупорено, и надо его пить *(франц.)*.
[2] Неточная цитата из оды А. Н. Радищева «Вольность».

Бибиков. Лучше сорок на одного, чем один на сорок миллионов — тут, говорю, математика...

Одни. К черту математику! Не хотим! Не надо! Не надо!

Тучков. Жаль Па́влушку...

Другие. А коли вам жаль, так ступайте, доносите!

Платон Зубов. Господа, разойдемся, а то арестуют — тем дело и кончится.

Талызин. Что вы, князь? Сами кашу заварили, а теперь на попятный?

Платон Зубов. Да ведь не я один, а вот и они...

Одни. Князь правду говорит — толку не быть — разойдемся.

Другие. Трусы! Шпионы! Предатели!

Один. Как вы, сударь, смеете?..

Кто-то в кого-то пускает бутылкою.

Голоса. Ваше превосходительство, тут дерутся!

Голоса. Тише, тише вы там, черти, анафемы!

Талызин. Господа, господа, как вам не стыдно? Отечество в опасности, а вы...

Крики, смятение. Платон Зубов пробирается к выходу.

Валериан Зубов. Куда ты, Платон?

Платон Зубов. Домой.

Валериан Зубов. Брат, а брат, да ты и вправду струсил, что ли?

Платон Зубов. А ты чего хорохоришься? На деревяшке-то своей не далеко ускачешь. И не сам ли сейчас говорил, что убивать не пойдешь?

Валериан Зубов. Не пойду убивать, но умирать пойду за отечество.

Платон Зубов. Ну, брат, знаем — Кузькина мать собиралась умирать... Да ну же, полно дурить, пусти!

Валериан Зубов. Не пущу!

Платон Зубов (*толкает его*). Пусти, черт!

Валериан Зубов (*обнажая шпагу*). Стой, подлец! Заколю!

Платон Зубов (*кидаясь на него со шпагою*). Ах ты, каракатица безногая! Я тебя!..

Бьются. Их разнимают.

Талызин. Платон Александрович! Валериан Александрович! Брат на брата!..

Стук в наружную дверь.

Платон Зубов *(в ужасе, падая навзничь на стул).* Аракчеев!..

Смятение.

Голоса. Аракчеев! Аракчеев! Бегите!

Талызин. Господа, что вы? Бог с вами, какой Аракчеев? Это Пален — мы Палена ждем!

Голоса. Пален, Пален! Эк перетрусили!

Талызин *(у двери).* Кто там?

Голос *(из-за двери).* Да я же, я, Николай Зубов. Отпирайте, черт побери, ошалели, что ли?

Талызин отпирает. Входит Николай Зубов.

Талызин. Ну, батюшка, напугали.

Николай Зубов. А что?

Талызин. Думали, Аракчеев...

Николай Зубов. Типун вам на язык — зачем его поминаете к ночи?

Талызин. А вы где же, сударь, пропадали?

Николай Зубов. Болел.

Талызин. Животик тоже, как у братца?

Николай Зубов. Не живот, а черт.

Талызин. Черт? В каком же виде?

Николай Зубов. В виде генерала Аракчеева.

Талызин. Тьфу, скверность!

Николай Зубов. Да, сперва по ночам душил, а потом и днем являться стал: куда ни обернусь, все эта рожа паскудная,— торчит, будто бы, под боком да шепчет на ухо: «Поди, донеси, а то арестую». И такая на меня тоска напала, такая, братцы, тоска — ну, просто смерть! Пойду-ка, думаю, к знахарке: с уголька не спрыснет ли? Поутру сегодня ранешенько иду мимо Летнего сада, по набережной; темень, слякоть, склизко; на мостике Лебяжьем споткнулся, упал, едва ногу не вывихнул; ну, думаю, шабаш, тут меня Аракчеев и сцапает. Гляжу,— а на снегу образок лежит малюсенький, вот этот самый,— видите? Николай Угодник Мценский.

Титов. Удивительно!

Николай Зубов. Подобрал, перебежал по мосткам на Петербургскую к Спасу, отслужил молебен, да как запели: «Отче, святителю Николаю! моли Бога о нас»,— так меня словно что осенило: ах, батюшки, думаю, да ведь это он сам святитель-то, ангел мой, благословил меня иконкою! И все как рукой сняло — ничего я теперь не боюсь и вы, братцы, не бойтесь — Никола вывезет!

Талызин. Никола-то Николою, а мы тут, ваше сиятельство, чуть не перессорились...

Николай Зубов. Из-за чего?

Талызин. А если отреченья государь не подпишет, так что делать?

Николай Зубов. Что делать? Убить как собаку — и кончено!

Голоса. Убить! Убить! Собаке собачья смерть! Смерть тирану!

Бибиков *(в исступлении)*. Не ему одному, а всем! Пока не перережем их всех, не истребим гнездо проклятое,— не будет в России свободы!

Одни. Всех! Всех! Бить так бить!

Другие. Что вы, что вы, братцы!.. Бога побойтесь!

Николай Зубов. Небойсь, ребята, небойсь,— Никола вывезет!

Стук в дверь. Опять, как давеча, смятение.

Голоса. Аракчеев! Вот когда Аракчеев... Бегите! Бегите!

Талызин *(у двери)*. Кто там?

Голос *(из-за двери)*. Граф Пален.

Талызин отпирает дверь. Входит Пален.

Пален. Ну, что, господа, как у вас тут? Все ли готово?

Талызин. Все, ваше сиятельство! Только вот никак сговориться не можем.

Пален. Не говорить, а делать надо. Одно, друзья, помните: не разбивши яиц, не состряпаешь яичницы.

Татаринов. Это что же значит? А?

Скарятин. Яйца — головы царские, а яичница — революция, что ли?

Пален. Ну, господа, времени терять нечего — идем!

Голоса. Идем! Идем!

Пален. На два отряда разделимся: одни со мною, другие с князем Платоном...

Платон Зубов. Нет, граф, на меня не рассчитывайте.

Пален. Что такое?

Платон Зубов. Не могу — болен.

Пален. Что вы, что вы, Платон Александрович, батюшка, помилуйте, в последнюю минуту,— прескверная штука, не угодно ли стакан лафита.

Беннгсен. Не извольте беспокоиться, граф! Князь, правда, болен. Но это пройдет — у меня для него отличное средство... *(Платону Зубову.)* Ваше сиятельство, на два слова. *(Палену.)* А вы, граф, пока разделяйте отряды.

Бенигсен отводит Платона Зубова в сторону.

Пален. Господа, кому угодно со мною, сюда пожалуйте, направо, а прочие, с князем,— налево.

Все стоят, не двигаясь.

Пален. Ну, что же? Разделяйтесь... *(Молчание.)* А, понимаю... *(Сам расставляет всех по очереди).* Со мной — с князем, со мной — с князем.

Платон Зубов и Бенигсен — в стороне.

Платон Зубов. Что вам, сударь, угодно?

Бенигсен. А то что если вы...

Платон Зубов. Оставьте меня в покое!

Бенигсен. Если вы...

Платон Зубов. Убирайтесь к черту!

Бенигсен. Если вы сейчас не согласитесь идти с нами, я вас убью на месте.

Вынимает пистолет.

Платон Зубов. Что за шутки!

Бенигсен. А вот увидите, как шучу.

Взводит курок.

Платон Зубов. Перестаньте, перестаньте же, Леонтий Леонтьевич...

Бенигсен. Решать извольте, пока сосчитаю до трех. Раз — идете?

Платон Зубов. Послушайте...

Бенигсен. Два — идете?

Платон Зубов. Э, черт...

Бенигсен. Три.

Платон Зубов. Иду, иду.

Бенигсен. Ну, давно бы так. *(Палену.)* Князь идет — пилюли изрядно подействовали.

Пален. Ну, вот и прекрасно. Значит, все готово. Хозяин, шампанского! Выпьем — и с Богом.

Депрерадович. Ваше сиятельство, а как же мы в замок войдем?

Пален *(указывая на Аргамакова)*. А вот Александр Васильич проведет — ему все ходы известны.

Аргамаков. От Летнего сада через канавку по малому подъемному мостику.

Яшвиль. А если не опустят?

Аргамаков. По команде моей, как плац-адъютанта замка, опустят.

Депрерадович. А потом?

Аргамаков. Потом через Воскресенские ворота, что у церкви, во двор и по витой лестнице прямо в переднюю к дверям спальни.

Яшвиль. Караула в передней много ли?

Аргамаков. Два камер-гусара.

Депрерадович. Из наших?

Аргамаков. Нет. Да с двумя-то справимся.

Денщики подают на подносах бокалы с шампанским.

Пален *(подымая бокал)*. С новым государем императором Александром Павловичем. Ура!

Все. Ура! Ура!

Бенигсен *(отводя Палена в сторону)*. Игра-то, кажется, не стоит свеч?

Пален. Почему?

Бенигсен. А потому, что с этими господами революции не сделаешь. Низложив тирана, только утвердим тиранство.

Пален. Ваше превосходительство, теперь поздно...

Бенигсен. Поздно, да,— или рано. А жаль. Ведь можно бы... Эх!.. Ну, да все равно. Le vin est tiré, il faut le boire. Идемте.

Пален. Идемте, господа!

Голоса. Идем! Идем! Ура!

Талызин. Ваше сиятельство, как же так? — ведь мы ничего не решили...

Голоса. Довольно! Довольно! Идем! Ура!

Все уходят. Два денщика, старый — Кузьмич и молодой — Федя, гасят свечи, убнрают со стола, сливают из бокалов остаткн вина и пьют.

Федя. Дяденька, а дяденька, грех-то какой — ведь они его убьют?

Кузьмич. Убьют, Федя, не миновать, убьют.

Федя. Как же так, дяденька, а? Царя-то?.. Ах ты, Господи, Господи!

Кузьмич. Да что, брат, поделаешь? От судьбы не уйдешь: убили Алешеньку[1], убили Иванушку[2], убили Петеньку[3], убьют и Павлушку. Выпьем-ка, Федя, за нового.

Федя. Выпьем, Кузьмич! А только как же так, а? И какой-то еще новый будет?

Кузьмич. Не лучше старого, чай. Да нам, что новый, что старый, все едино,— кто ни поп, тот и батька.

Федя поднимает с пола гитару, брошенную кн. Долгорукнм, и, как бы о другом думая, тихонько перебирает струны. Кузьмич сперва тоже тихо, потом все громче подпевает.

Кузьмич.

Ах ты, сукин сын, Камаринский мужик,
Ты за что, про что калачницу убил?
Я за то, про то калачницу убил,
Что не с солию калачнкн пекла,
Не поджаристые.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Комната княгнни Анны Гагариной. Налево — дверь в спальню; в глубине — дверь на лестницу, ведущую в апартаменты государя. Направо — камин с огнем. В углу стенные часы. Ночь.

Павел и Анна.

Анна сидит в кресле у камина. Павел у ног Анны, положив голову на ее колени, дремлет.

Анна. Баю-баюшки-баю! Спи, Па́влушка, спи, родненький!

Павел. Какие у тебя глазки ясные — точно два зеркальца — вижу в них все и себя вижу маленьким,

---

[1] Царевича Алексея Петровича.
[2] Принца Иоанна Антоновича.
[3] Императора Петра III.

маленьким... А знаешь, Аннушка, когда я так лежу головой на коленях твоих, то будто и вправду я маленький, и ты на руках меня держишь, баюкаешь...

Анна. Спи, маленький, спи, деточка!

Павел. Сплю, не сплю, а все что-то грезится давнее-давнее, детское, такое же маленькое, как вот в глазах твоих. Большое-то забудешь, а малое помнится. Бывало, за день обидит кто, ляжешь в постель, с головой одеялом укроешься и плачешь так сладко, как будто и рад, что обидели... Ты это знаешь, Аннушка?

Анна. Знаю, милый! Нет слаще тех слез — пусть бы, кажись, всегда обижали, только бы плакать так...

Павел. Вот, вот!.. А тебя кто обижал?

Анна. Мачеха.

Павел. А меня мать родная... Ну, да не надо об этом... Зато, когда весело, так весело — расшалимся, бывало, с Борей Куракиным[1], со стола учительского скатерть сдернем и ну кататься, валяться — пыль столбом. Из шкапов книжных полки повытаскаем, мосты военные строим. А лошадки, солдатики! А там уж и дела сердечные... Влюбляться-то чуть не с колыбели начал. В томах Энциклопедии Французской — книжищах преогромных, больше меня самого — все изъяснение к слову Amour ищу и с фрейлинами — против нас жили во флигеле — в окна переглядываемся. Не знал еще, что такое любовь, а уж дня не мог прожить без страсти. Подышу на зеркало и выведу пальцем имя возлюбленной, а услышу, идут — сотру поскорее. Раз на балу персик украл, спрятал в карман, чтоб любезной отдать, да забыл, сел, раздавил, по штанам потекло — срам! А красавицы-то, не шутя, на плутишку заглядывались: я ведь тогда — не то что теперь, курносый урод,—мальчик был прехорошенький. Портретик мой помнишь? Где он? Покажи-ка.

Анна снимает с шеи цепочку с медальоном и подает Павлу.

Павел *(глядя на портрет)*. А-а! Я и забыл, что мы тут вдвоем: на одной половинке — я, на другой — он. Ровесники. Обоим лет по двенадцати. И похожи-то как! Две капли воды. Не разберешь, где я, где он.

---

[1] С Павлом воспитывался кн. Александр Борисович Куракин, впоследствии видный государственный деятель и дипломат.

Точно близнец, аль двойник. Ну да и не диво — ведь сын родной, первенец, плоть и кровь моя, мальчик мой милый!.. Александр, Александр!

Ломает медальон и бросает в огонь.

П а в е л. Будь он проклят! проклят! проклят!

А н н а. Что ты, Па́влушка? Сына родного...

П а в е л. Отцеубийца!

А н н а. Нет, нет, не верь, налгали тебе — Александр невинен...

П а в е л. Невинен? Он-то невинен? Да знаешь ли, что он со мною сделать хотел? Пусть бы просто убил — как разбойник, ночью пришел и зарезал... Так нет же, нет! Не тело, а душу мою умертвить он хотел — лишить меня разума... С ума-то свести можно всякого, только стой все кругом, да подмигивай: «Вот, мол, сходит, сходит с ума!» Хоть кого, говорю, возьми, не выдержит — взбесится... А сошел бы с ума,— посадили бы на цепь, пришли бы дразнить, как зверя в клетке, и я бы выл, выл, выл, как зверь, или как ветер — слышишь? — в трубе воет — у-у-у!..

А н н а. Не надо, не надо, Па́влушка миленький! А то ведь и вправду можно...

П а в е л. Можно! А ты что думала? Когда тяжесть России, тяжесть Европы, тяжесть мира, вся на одной голове — с ума сойти можно. Бог да я — больше никого, вот что тяжко,— человеку, пожалуй, и не вынести... Трон мой — крест мой, багряница — кровь, корона — терновый венец, иглы пронзили мне голову... За что, за что, Господи?.. Да будет воля Твоя... Но тяжко, тяжко, тяжко!..

Падает на колени.

А н н а *(обнимая и целуя голову Павла)*. Па́влушка, бедный ты мой, бедненький!..

П а в е л. Да,— «Бедный Павел! Бедный Павел!» Знаешь, кто это сказал?

А н н а. Кто?

П а в е л. Петр.

А н н а. Кто?

П а в е л. Государь император Петр I, мой прадед.

А н н а. Во сне?

П а в е л. Наяву.

А н н а. Привидение?

Павел. Не знаю. А только видел я его, видел вот как тебя вижу сейчас. Давно было, лет двадцать назад. Шли мы раз ночью зимою с Куракиным по набережной. Луна, светло почти как днем, только на снегу тени черные. Ни души, точно все вымерло. На Сенатскую площадь вышли, где нынче памятник. Куракин отстал. Вдруг слышу, рядом кто-то идет — гляжу — высокий, высокий, в черном плаще, шляпа низко — лица не видать. «Кто это?»— говорю. А он остановился, снял шляпу — и узнал я — государь император Петр I. Посмотрел на меня долго, скорбно да ласково так, головой покачал и два только слова молвил, те же вот, что ты сейчас: «Бедный Павел! Бедный Павел!»

Анна. И что же?

Павел. Не помню. Упал я, верно, без чувств. Только как пришел в себя, вижу, Куракин надо мною хлопочет, снегом виски трет. «Это, говорит, у вас от желудка». Что ж, может быть, и от желудка. Никто ничего не знает. А ты веришь в привидения, Аннушка?

Анна. Не знаю... Не надо об этом... страшно...

Павел. Да, страшно. Все страшно,— о чем ни подумаешь, как в яму провалишься... Никто ничего не знает... Паскаль [1] говаривал, что вещь наималейшая такая для него есть бездна темноты, что рассудку на то не достанет... Так вот и я всего боюсь, а больше всего бояться боюсь... Ну, да правда твоя — не надо об этом... Лучше опять так — головой на коленях твоих — тихо, тихо — баю-баюшки-баю...

Анна. Баю-баюшки-баю! Спи, Па́влушка, спи, родненький.

Павел. Давнее-давнее, детское... Клеточка для чижиков, один чижик прикован к столбику с обручем, а внизу вода — сам таскает ведерышком; клеточка, будто бы, пустынь, а чижик — пустынник, «Дмитрием Ивановичем» звать, а другой на воле, тот — «Ванька-слуга»... А еще столовые часики фарфоровые, белые, с цветочками золотыми да розовыми... Когда солнце на них, то в цветочках веселие райское...

Часы на стене бьют три четверти одиннадцатого.

---

[1] Паскаль, Блез (1623—1662) — французский религиозный философ, физик, математик, писатель.

Павел. Спать пора. Даст Бог, усну сегодня сладко — сниться будет, что баюкаешь.. А ветер-то в трубе опять как воет, слышишь? — у-у-у! Точно мой Шпиц. Собачонка проклятая — весь день выла — под ногами все вертится, в глаза глядит и воет... Ну, прощай, Аннушка, спи с Богом!

Павел встает. Анна, с внезапиным порывом обияв его, прижимается к нему.

Павел. Что ты?

Анна. Не уходи! Не уходи!

Павел. Да что, что такое?

Анна. Не знаю... Страшно...

Павел. Напугал привидениями, что ли?

Анна. Не знаю... Нет... Не то...

Павел. Так что же?

Молчание. Анна еще крепче прижимается к Павлу и дрожит.

Павел. А, вот что! Думаешь, убьют. Небось, не убьют. Пусть-ка сунутся, попробуют. Ребятушек моих намедни видела, как любят меня? Коли что — умрут, а не выдадут. Ну, да и Пален, чай, не дурак.

Анна. Пален — изменник.

Павел. А вот посмотрим — я уже послал за Аракчеевым — завтра же узнаем все.

Анна. Завтра? А если в эту ночь?..

Павел. Небось, говорю, не успеют. Да и как им войти сюда? После вечерней зори — все ворота заперты, мосты подняты: мы тут в замке, как в осажденной крепости — рвы глубокие, стены гранитные, бойницы с пушками — целым войском не взять.

Анна. А все-таки страшно, Па́влушка!.. Прости ты меня, глупую... Видно, и я, как собачка твоя... Ну, родненький, ну, миленький, ну что тебе стоит?.. Останься, побудь со мной до утра...

Павел. Что вы, княгиня? «Cela ne convient pas», как говорит ее величество... Нет, не шутя, сударыня, я не хочу, чтоб называли любовницей Павла ту, которую скоро назовут императрицею Всероссийской... Завтра же... Какой завтра день?

Анна. Понедельник.

Павел. А, тяжелый день... Ну да для кого — понедельник, а для нас — воскресенье. Завтра же я нанесу

великий удар — падут на плахе головы, некогда мною любимые... Завтра старому конец — и новая, новая жизнь — воскресение!.. Ну, прощай, а то ведь и вправду, пожалуй...

Анна. Останься! Останься!

Павел. Нет, нет! Как вам не стыдно? Трус я, что ли? Мне ли, самодержцу, великого Прадеда правнуку, бояться этой сволочи? Взгляну — и побегут, дохну — и рассеются! Яко тает воск от огня, побегут нечестивые! С нами Бог! Не бойся же, Анна, и помни — с нами Бог!

Павел обнимает Анну и уходит. Анна падает в кресло и сидит неподвижно, как бы в оцепенении, глядя на огонь в камине. Потом подбегает к двери, в которую ушел Павел.

Анна. Па́влушка! Па́влушка! (*Прислушивается.*) Ушел...

Возвращается на прежнее место у камина, садится и опускает голову на руки.

Бедный Павел! Бедный Павел!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Две комнаты, разделенные стеною; направо — узкая прихожая-коридор; налево — спальня государя. В стене — двойная дверь, соединяющая обе комнаты.

В глубине прихожей запертая дверь на маленькую витую лестницу во двор. Далее — печка и скамья для часовых. Направо — дверь в приемную и окно на Нижний Летний сад. На полу фонарь.

В глубине спальни — маленькая походная кровать без занавесок, с ширмами; ночник. Направо — голландская печка на ножках; забитая наглухо дверь в апартаменты государыни. Стены обложены деревом, крашеным в белый цвет.

Павел, в белом полотняном камзоле, в ночном колпаке спит на постели.

В прихожей два часовых камер-гусара, Ропшинский, помоложе, и Кириллов, постарше, дремлют на скамье у печки.

Ропшинский встает, зевает, потягивается, подходит к двери спальни, приотворяет первую наружную дверь, прикладывает ухо к замочной скважине и прислушивается.

Кириллов. Спит?

Ропшинский. Спит.

Кириллов. Ну слава Богу.. Теперь до утра, чай, не проснется. Умаялся, столько-то ночей не спавши.

Ропшинский. Как лег, так и заснул, точно ключ ко дну пошел. И помолиться не успел.

Кириллов. Ну, Бог простит! Что другое, а к молитве усерден. В прежние-то годы, в Гатчинском дворце, бывало, так-то ночью тоже стоишь на часах у спальни и все сквозь двери слышишь, как молится, вздыхает да охает, лбом об пол колотит, земные поклоны кладет — на паркете протерты, и нынче видать, словно две ямочки.

Павел (*во сне*). Часики фарфоровые белые с цветочками... Когда на них солнце, то в цветочках веселие райское...

Ропшинский (*прислушиваясь*). Бредит.

Кириллов. Ничего. Всегда во сне говорит, иной раз по-русски, а иной по-французски, внятно так, будто наяву; ежели в день был весел, то бредит спокойно, а ежели какие противности, то и сквозь сон говорит угрюмо и гневаться изволит... О-хо-хо, грехи наши тяжкие... Сохрани и помилуй Царица Небесная... Ложись-ка, Степа!

Ропшинский. Нет, я посижу, Данилыч, а то как лягу, не добудишься.

Кириллов. Ну, с Богом! А я тут у печки прикорну — дело наше старое — поясницу что-то ломит — не к морозу ли? Дай Бог морозца да солнышка...

Кириллов расстилает шинель на полу и укладывается. Ропшинский дремлет, сидя на скамье и прислонившись головой к печке. Сначала издали, потом все ближе и ближе, наконец, у самых окон, на деревьях Летнего сада, слышится воронье карканье.

Ропшинский. Слышишь, Данилыч?

Кириллов. А что?

Ропшинский. Воронье-то раскаркалось.

Кириллов. Да, вишь, проклятые! И с чего это ночью им вздумалось? Не к добру, ой, не к добру!.. То собачонка выла весь день, а то воронье. Как бы государя не вэбудили. Спугнул их, что ли, кто? Да кому ночью по саду ходить?.. Погляди-ка, Степка, что там такое?

Ропшинский (*глядя в окно*). Не видать — стекло замерзло. Вверху будто прояснело, вызвездило, а внизу не то вьюга метет, не то люди идут — много людей... войско...

Кириллов. Какое там войско, Господь с тобой! Спросонок, чай, мерещится.

Ропшинский. Может, и мерещится — мутно, бело — не видать...

Отходит к скамье.

Кириллов. Ну то-то... Дело ночное — всяко бывает. А то оградись крестом да молитвою — чур нас, чур,— тебя и не тронет. (*Крестится и зевает.*) О-хо-хо, грехи наши тяжкие... Сохрани и помилуй, Царица Небесная...

Кириллов и Ропшинский засыпают. Воронье карканье стихает. Фонарь чадит и гаснет. В окне голубоватый отсвет лунной вьюги.

Павел (*во сне*). Сашенька, Сашенька, мальчик мой миленький!..

Стук с лестницы в наружную дверь прихожей.

Кириллов (*просыпаясь*). Стучат!.. Степа, а Степа?

Ропшинский (*в полусне*). Воронье... воронье... Ох, Данилыч, что мне приснилось-то... (*Совсем проснувшись.*) А? Что?.. Стучат?..

Кириллов. О, Господи! Уж не беда ли какая?.. Помилуй, Царица Небесная!.. (*Надев саблю и подойдя к двери.*) Кто там?

Голос Аргамакова (*из-за двери*). Отворяй! Отворяй!

Кириллов. Да кто? Кто такой?

Голос Аргамакова. Оглох ты, старая тетеря, не слышишь, что ли, по голосу? Я, я — Аргамаков, плац-адъютант...

Кириллов. Александр Васильевич, ваше высокоблагородие, чего угодно?..

Голос Аргамакова. Продери-ка глаза, пьяная рожа! Аль забыл, с кем говоришь?.. Я к его величеству с рапортом.

Кириллов. Государь почивать изволят, ваше высокоблагородие,— будить не велено...

Голос Аргамакова. Врешь, дурак! О пожарах и ночью докладывать велено.

Кириллов. Пожар? Где пожар?

Голос Аргамакова. В Адмиралтействе. Да черт тебя дери, долго ли мне тут с тобой разговаривать?.. Ужо на гауптвахте выпорю, так узнаешь, сукин сын, как команды не слушаться... Отворяй!

Кириллов. Сейчас, сударь! Сейчас. Фонарь потух, темно, ключа не найду... (*Тихо Ропшинскому.*) Степа, а Степа? Беды бы не вышло?.. Не взбудить ли государя, что ли?..

Ропшинский. Нет, Данилыч, упаси Боже будить — убьет... Пусть уж полковник сам, как знает, а наше дело — сторона.

Голос Аргамакова. Отворяй же! Отворяй, черт, анафема!

Ропшинский. Вишь, как лют,— пожалуй, и вправду засечет. Отворяй-ка скорее, Данилыч!

Кириллов. О, Господи, Господи! Помилуй, Царица Небесная...

Отпирается дверь. Входит Аргамаков. За ним — Беннгсен, кн. Яшвиль, Бибиков, Татаринов, Скарятин, Николай и Платон Зубовы, с глухими фонарями и шпагами наголо.

Кириллов. Кто такие?.. Кто такие?.. Ой, ой... Батюшки... Караул!..

Ропшинский (*убегая направо*). Караул!

Кириллов (*выхватив саблю из ножен и становясь перед дверью спальни*). Стой! Стой!

Заговорщики окружают Кириллова.

Николай Зубов. Саблю долой!

Ударом шпаги выбивает у Кириллова саблю и ранит его в руку.

Кириллов (*падая*). Государь! Государь! Бунт!

Павел (*на мгновенье проснувшись, приподнимается на постели*). Кто там? Кто там? (*Падает навзничь и опять, засыпая, бредит.*) Сашенька, Сашенька, мальчик мой милый... Я так и знал... Ну, слава Богу...

Яшвиль (*приставив дуло пистолета к виску Кириллова*). Молчи — убью!

Аргамаков (*хватая кн. Яшвиля за руку*). Что вы, князь,— всех перебудите.

Николай Зубов. Рот платком! Тащи вниз!

Кириллову затыкают рот и стаскивают по лестнице.

Аргамаков. А другой?

Николай Зубов. Убежал.

Платон Зубов. Беда! Тревогу подымет.

Бенигсен. Не успеет. А наши-то где?

Николай Зубов. Разбежались. Кто на лестнице да на дворе отстал, а кто — в саду; как давеча вороны-то раскаркались, все перетрусили.

Бенигсен. Ну, черт с ними! Нас и так довольно. Только скорее, скорее! (*Подойдя к дверям спальни, отворяет наружную дверь и пробует отворить внутреннюю.*) Изнутри заперся — значит там. (*Прислушивается.*) Верно, спит. У кого инструмент?

Аргамаков. Здесь.

Бенигсен. Отпирайте.

Аргамаков (*Платону Зубову*). Фонарь подержите.

Голоса заговорщиков (*с лестницы*). Бегите! Бегите! Тревога!

Платон Зубов. Господа, слышите?..

Дрожит и роняет фонарь.

Бенигсен. Эх, князь, теперь не время дрожать!

Павел (*просыпаясь*). Кто?.. Кто?.. Кто?..

Соскочив с постели, подбегает к двери и прислушивается.

Бенигсен. Инструмент, что ли, испортился?

Аргамаков. Нет, да замок аглицкий, с фокусом — отмычка не берет.

Николай Зубов. Ну-ка, плечом,— авось, подастся.

Напирает плечом на дверь. Дверь трещит. Павел отбегает в противоположный конец спальни, забивается в угол у печки за ширмами и плотно прижимается, как будто расплющивается, весь белый на белой стене, почти невидимый. Дверь открывается. Заговорщики вбегают в спальню.

Яшвиль (*осветив постель фонарем*). Убежал!

Николай Зубов. Куда? Не в окно же выскочил?

Бенигсен (*пощупав постель*). Le nid est chaud, l'oiseau n'est pas loin [1].

Ищут, заглядывают в шкафы, под кресла, под стол, под кровать.

Платон Зубов (*указывая под ширмы*). Ноги!

---

[1] Гнездышко еще теплое, стало быть, птичка недалеко (*франц.*).

Бибиков. Тьфу! Точно в прятки играем...

Бенигсен (*отодвигая ширмы*). Он!

Николай Зубов. Да что с ним такое? Будто не живой...

Бенигсен. Ваше величество...

Аргамаков. Не слышит.

Скарятин. От страха ошалел — столбняк.

Николай Зубов. А вот посмотрим.

Подносит фонарь к лицу Павла и тихонько одним пальцем дотрагивается до руки его. Павел весь, с головы до ног, вздрагивает и отпрядывает от стены, как будто хочет броситься на заговорщиков. Все отступают.

Павел (*быстро и невнятно, как в бреду*). Что?.. Что?.. Что?.. Что?.. Что?.. Что?..

Бибиков. Экая мерзость!.. Господа, нельзя же так... Черт знает, что такое! Кончайте скорее!

Бенигсен (*Платону Зубову*). Князь, отречение у вас? Ступайте же, ступайте, говорите, как решили. Да ну же, ну!..

Платон Зубов (*вытирая пот с лица*). Сейчас... сейчас... я только немного...

Бенигсен (*подталкивая Платона Зубова*). Да ну же, ну, ступайте!.. Э, черт вас дери!..

Платон Зубов выступает вперед, держа в руках манифест.

Платон Зубов. Sire, nous venons au nom de la patrie...[1] Нет, не могу... Дурно... Воды!..

Бенигсен (*вырвав у Платона Зубова манифест*). Ну вас к черту! (*Подойдя к Павлу.*) Ваше величество, вы арестованы...

Павел. Арестован?.. Арестован?.. Что значит арестован?..

Бенигсен. Арестованы и низложены. Государь-наследник, Александр Павлович, объявлен императором. На вашу жизнь никто посягнуть не осмелится: я буду охранять особу вашего величества. Только предайтесь нам совершенно. В случае же сопротивления малейшего, я не отвечаю...

Павел. Господи!.. Господи!.. Господи!.. Что я вам сделал?.. Что я вам сделал?..

Николай Зубов. Четыре года тиранил, злодей!

[1] Государь, мы пришли от имени родины... (*франц.*)

Татаринов. Давно бы с тобою покончить!

Бенигсен. Господа, перестаньте! Мы пришли сюда для спасения отечества, а не для низкого мщения. (*Подавая Павлу манифест.*) Sire, ayez l'obligeance de signer sur le champs cet act d'abdication...[1]

Николай Зубов. Эх, генерал, чего французить! Лучше мы по-русски... Ну-ка, Павел Петрович, добром говорим — отрекайся, а то, сударь, плохо будет!

Павел (*подымая руки вверх, торжественно, внезапно изменившимся голосом*). Я... я... я... помазанник Божий... Самодержец Всероссийский!.. Убейте, убейте!.. Не отрекусь!.. С нами Бог!.. С нами Бог!..

Николай Зубов. Видите, совсем рехнулся! Что с ним разговаривать?.. Кончать надо!

Скарятин. Не разбивши яиц, не сделаешь яичницы!

Толпа остальных заговорщиков вбегает с лестницы в прихожую. Шум, крики, смятение.

Голоса (*в прихожей*). Бегите! Бегите! Спасайтесь!

Бенигсен. Что такое?

Талызин (*вбегая из прихожей в спальню*). Скорее, скорее! Кончайте! Караул идет!

Павел (*бросаясь к двери*). Караул! Караул! Помогите!

Бенигсен (*со шпагою наголо, заступая дорогу Павлу*). Restez tranquil, Sire, il y va de vos jours![2]

Павел. Пустите! Пустите! Караул!

Николай Зубов. Чего орешь.

Хватает Павла за руку. Павел вырывает у него руку. Николай Зубов ударяет его кулаком по виску. Он падает. Толпа из прихожей врывается в спальню.

Голоса. Скорее! Скорее! Скорее! Идут!

Павел (*подымаясь*). Помогите! Помогите, ребятушки!

Кн. Яшвиль кидается на Павла. Оба падают. На них наваливаются другие, передние — на задних, образуя кучу копошащихся тел. Ширма опрокинута. Ночник погас. Свалка.

---

[1] Государь, благоволите немедленно подписать манифест об отречении (*франц.*).

[2] Государь, будьте благоразумны, от этого зависит ваша жизнь! (*франц.*)

Бенигсен. Стой! Стой!

Николай Зубов. Небось, братцы, Никола вывезет. Бей!

Голоса. Бей! Смерть тирану!

Яшвиль. Шпагу! Шпагу давай!

Николай Зубов. Зачем шпагу? Не надо крови. Души!

Татаринов. Веревку!

Аргамаков. Веревки-то нет.

Скарятин. Подушками!

Николай Зубов. Где тут возиться!

Татаринов. Шарфом!

Скарятин. Вот!

Татаринов. Петлю!

Скарятин. Готово!

Николай Зубов. Надевай!

Скарятин. Выбился, черт!

Павел. Помогите, помогите!

Татаринов. Ну же, тяни!

Скарятин. Руку подсунул — не стянешь!

Павел. Ради Бога! Ради Бога! Помолиться!

Татаринов. Стягивай! Стягивай! Стягивай!

Павел. Александр! Александр!

ВТОРАЯ КАРТИНА

Парадная лестница Михайловского замка; гранитные ступени между двумя балюстрадами из серого сибирского мрамора и пилястрами из полированной бронзы. Две площадки, верхняя и нижняя; с нижней — две лестницы между мраморными колоннами, направо — во двор замка, налево — в апартаменты Александра; с верхней — дверь направо в апартаменты Павла, налево — в Тронную залу; в глубине — большое окно-дверь на балкон и площадь перед замком.

Раннее, еще темное утро. Потом светает..

Мария Федоровна; Александр; Константин; Елизавета; Пален, гр.; Бенигсен; Талызин; Аргамаков; Николай и Платон Зубовы; кн. Яшвиль; кн. Татаринов; Скарятин; Марин; Полторацкий; Роджерсон; Головкин; гр. Голицын; кн. Нарышкин; Кушелев; Ливен, кн.; Амвросий — Митрополит; Исидор — духовник. Духовенство. Придворные чины. Истопник. Чиновник. Солдаты.

На лестнице никого. Темнота. Тишина. На нижнюю площадку справа выбегает Мария Федоровна, с распущенными волосами, в

ночной рубашке, в туфлях на босую ногу, в шубе, накинутой на одно плечо, спадающей и волочащейся по полу. За нею — княгиня Ливен.

Мария Федоровна. Paulchen! Paulchen! Paulchen!

Взбегает наверх по лестнице, спотыкается, падает, теряет туфлю, встает и бежит дальше.

Ливен. Ваше величество... погодите... туфля, туфля... ваше величество!

Мария Федоровна убегает направо; за нею — кн. Ливен. На нижнюю площадку справа входит поручик Полторацкий, за ним — солдаты.

Полторацкий. Ребята, за царя!

Полторацкий с обнаженною шпагою взбегает до середины лестницы, за ним — солдаты. На верхнюю площадку справа выходят Пален и Бенигсен.

Пален. Караул, стой!

Солдаты останавливаются.

Пален. Его величество государь император Павел I скончался апоплексическим ударом. Государь наследник Александр Павлович изволил вступить на престол.

Молчание, потом глухой ропот солдат.

Солдаты. Не верь, братцы, не верь!.. Убили, убили! Злодеи!..

Пален. Смирно-о! (*Полторацкому.*) Извольте, поручик, сводить караул!

Полторацкий. Ваше сиятельство...

Пален. Молчать! Как вы смеете, сударь, команды не слушаться?.. (*Солдатам.*) Я вас всех ужо, сукины дети... Пикни только!

Полторацкий (*солдатам*). Смирно-о!

Ропот стихает.

Полторацкий. На плечо-о!

Солдаты берут на плечо.

Полторацкий. Направо — кругом — марш!

Полторацкий и солдаты, сойдя по лестнице, уходят направо.

Пален. Уф! Еще минута — и бросились бы на нас... Прескверная штука, не угодно ли стакан лафита!

Бенигсен. Только покойник и спас.

Пален. Покойник?

Бенигсен. Ну, да, вышколил так, что довольно скомандовать, чтобы стали машинами.

Голос Марии Федоровны (*за дверью*). Пустите! Пустите! Пустите!

Пален. Что такое?

Бенигсен (*заглядывая в дверь*). Государыня!

Голос кн. Яшвиля. Вытащите вон эту бабу!

Голос Марии Федоровны. Paulchen! Paulchen!.. Ой-ой-ой!..

Бенигсен. Однако, не церемонятся... Видели?

Пален. А что?

Бенигсен. Татаринов схватил ее в охапку и понес, как ношу.

На верхнюю площадку справа входит лейб-медик Роджерсон.

Пален. А, доктор! Ну что, как у вас там?

Роджерсон. Раньше ночи не поспеем.

Пален. Что вы, сударь, помилуйте! Сегодня же надо выставить.

Роджерсон. Невозможно, граф! Сами видеть изволили, на что похож — узнать нельзя, так искалечили.

Пален. Мерзавцы! Как же, генерал, хоть вы бы удержали?

Бенигсен. Удержишь их! Звери! Мертвого били.

Пален. Что же делать, доктор, а?

Роджерсон. Сделаем, что можно — только не торопите. Там теперь два живописца работают.

Пален. Живописцы?

Роджерсон. Да, красят. Только, знаете, господа, с мертвеца-то на мертвеце портрет писать не очень приятно. Старичок, учитель рисования — из Академии Художеств привезли — так испугался, что едва паралич не хватил. Другой, помоложе, все храбрится. Только если и он за эту ночь поседеет, я не удивлюсь... Что еще сказать-то я хотел?.. Затем и пришел, да вот не вспомню... Кажется, и у меня голова не в порядке... Да, да, за такие ночи люди седеют...

Пален. Успокойтесь, доктор! А то ежели все мы потеряем голову...

Роджерсон. Постойте-ка, дайте припомнить... Ах, да — язык!

Пален. Язык?

Роджерсон. Ну да, что с языком делать? Высунулся, распух, никак в рот не всунешь,— придется отрезать...

Пален. Ну, будет, будет! Ступайте, делайте, что хотите,— только ради Бога, оставьте нас в покое и кончайте скорее.

Роджерсон уходит. Поручик Марин входит на нижнюю площадку слева.

Марин. Его величество.

Пален. Не пускать! Скажите, что нельзя...

Марин. Говорили. Не слушает, плачет, рвется сюда. Не удержишь. Руки на себя наложить хочет... Да вот и сам.

Александр взбегает по лестнице.

Александр. Батюшка! Батюшка! Батюшка!

Хочет войти в дверь направо. Пален не пускает.

Пален. Ваше величество, государь родитель...

Александр. Вы его...

Пален. Скончался.

Александр. Убили!

Падает без чувств на руки Бенигсена и Палена.

Пален. Доктора!

Марин выбегает и тотчас возвращается с Роджерсоном. Александра кладут на пол и стараются привести в чувство.

Пален. Ну, что?

Роджерсон. Надо быть осторожнее, граф, а то может скверно кончиться... Пока отнести бы в спальню.

Пален. Несите!

Марин (*в дверь направо*). Ребята, сюда!

Входят караульные солдаты.

Марин. Подымай! Легче, легче!

Марин, Роджерсон и солдаты сносят на руках Александра по лестнице. Все уходят. Лестница долго остается пустою. Светает. В окне ясное зимнее утро, голубое небо и первые лучи солнца. На нижнюю площадку справа входят истопник и чиновник.

Чиновник. Умер ли? Точно ли умер, а?

Истопник. Да говорят же, умер, Фома Неверный![1]

Чиновник. А бальзамируют?

Истопник. Сейчас потрошат, а к вечеру и бальзамируют.

Чиновник. Ну, значит, умер! Слава Те, Господи!.. (*Крестится.*) Аллилуия, аллилуия и паки аллилуия![2] С новым государем, кум! Поцелуемся...

Истопник. Ну тебя, отстань! Вишь, нализался...

Чиновник. Выпил, брат, есть грех, да как на радостях-то не выпить. Весь город пьян — в погребах ни бутылки шампанского. А на улицах-то — народу тьма-тьмущая. Снуют, бегают, словно ошалели все — обнимаются, целуются, как в Светлое Христово Воскресение. И денек-то выдался светлый такой,— то все была слякоть да темень, а нынче с утра солнышко, будто нарочно для праздника. Ну, да и подлинно праздник — Воскресение, Воскресение России... Ура!

Истопник. Тише ты! Услышат — долго ли до греха? — беды с тобой наживешь...

Чиновник. Небось, кум, теперь — свобода... Иду я давеча сюда по Мойке, а навстречу офицер гусарский по самой середине панели верхом скачет, кричит: «Свобода! Гуляй, душа,— все позволено!»

Истопник. Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела... Да ну же, ступай, говорят, ступай — слышь, идут...

Истопник и чиновник уходят направо. Роджерсон и Марин входят на нижнюю площадку слева.

Марин. Пойду, доложу его сиятельству.

Роджерсон. Попросите же, чтоб граф поосторожнее, а то, ежели опять, как давеча,— я ни за что не отвечаю — рассудка может лишиться.

Марин. Слушаю-с.

Марин, взойдя по лестнице, уходит направо. Роджерсон — налево. Кн. Платон Зубов и обер-церемониймейстер граф Головкин входят на верхнюю площадку слева.

---

[1] Апостол Фома, услышав, что Христос воскрес, не поверил в это. Тогда Христос явился ему, и Фома уверовал (Евангелие от Иоанна, XX, 24—28).

[2] Аллилуия (*евр.*) — хвалите Бога; паки (*церковнослав.*) — снова.

Платон Зубов. Всем чинам военным и гражданским в Зимний дворец, в Большую церковь съезжаться для учинения присяги. Митрополита и духовенство повестить не забудьте.

Головкин. Митрополит внизу, в церкви ждет.

Платон Зубов. Зачем? Кто просил?

Головкин. Сам приехал. Панихиды служить.

Платон Зубов. Панихид не будет, пока тело не выставят. Так и скажите дураку — пусть во дворец едет.

Головкин. Слушаю-с.

Платон Зубов. Eh bien, comte, qu'est ce qu'on dit du changement? [1]

Головкин. Mon prince, on dit que vous avez eté un des romains. [2]

Платон Зубов. Да, дело было жаркое — потрудились мы на пользу отечества...

Уходят. Александр входит на нижнюю площадку слева. Елизавета и Роджерсон ведут его под руки.

Роджерсон. Потихоньку, потихоньку, ваше величество! Присядьте, отдохнуть извольте...

Камер-лакей приносит стул и уходит. Александр садится. Елизавета дает ему нюхать спирт.

Александр. Ничего... прошло... Только вот голова немного... Все забываю... Что, бишь, я говорил-то, Лизанька? А?

Елизавета. Об отречении, Саша!

Роджерсон, взойдя по лестнице, уходит направо.

Александр. Да, отречение... А ты мне что? Вот опять забыл...

Елизавета. Я говорила, что сейчас нельзя — после...

Александр. После... После... Всю жизнь... Всегда — каждый день, каждый час, каждую минуту — то же, что сейчас вот — это — и больше ничего... Как с этим жить, как с этим царствовать? Ты знаешь?.. Я не знаю... Я не могу... Пусть кто может... А я не могу...

Елизавета. Что же делать, Саша? Надо...

---

[1] Ну, граф, что говорят о перемене? (*франц.*)

[2] Говорят, князь, что вы были одним из римлян (*франц.*).

Александр. Надо... И нельзя — опять, как тогда, помнишь? — надо и нельзя, нельзя и надо. Что ж это, что ж это такое, Господи?.. Сойти бы с ума, что ли... Не думать, не помнить... Забыть... О-о-о... Нет, не забудешь... Годы пройдут, вечность пройдет, а это — никогда, никогда!..

Елизавета становится на колени, обнимает и целует голову Александра.

Елизавета. Ну, полно же, полно... Сашенька... Родненький...

Александр. Хорошо... Не буду... Только что еще сказать-то я хотел? Что, бишь, такое?.. Да, да... Власть от Бога... *«Несть бо власть аще не от Бога...»* И это — опять, как тогда... А знаешь, Лизанька, ведь тут что-то неладно... А ну, как не от Бога власть самодержавная? Ну, как тут место проклятое — станешь на него и провалишься?.. Проваливались все до меня — и я провалюсь... Ты думаешь, с ума схожу, брежу?.. Нет, я теперь знаю, что говорю,— может, потом и забуду, а теперь знаю... Тут, говорю, черт к Богу близко, близехонько — Бога с чертом спутали так, что не распутаешь!

Мария Федоровна входит на нижнюю площадку справа. Она в утреннем шлафроке, волосы не убраны, на голове шаль.

Александр. Матушка!

Подходит к Марии Федоровне, хочет обнять ее, но, взглянув ей в лицо, отступает. Она смотрит на него долго и пристально, как будто не узнает.

Мария Федоровна. А-а, ваше высочество... ваше величество... Вы здесь. А там были?.. Нет?.. Я оттуда сейчас... Не пускали... Задним ходом прошла — караул поставить забыли... Видела... Ступайте же и вы посмотрите...

Александр. Матушка! Матушка!

Мария Федоровна. Теперь вас поздравляю: вы — император!

Александр падает на колени, закрыв лицо руками. Мария Федоровна, не взглянув на него, проходит мимо, налево. Елизавета и Роджерсон бросаются к Александру, поднимают и усаживают. Пален, Беннгсен, Аргамаков, Талызин, Депрерадович, Николай Зубов, Татаринов и другие заговорщики входят на верхнюю площадку справа.

Аргамаков (*тихо Палену*). Ваше сиятельство, в Преображенском неладно.

Пален. Что такое?

Аргамаков. Шумят, команды не слушают, «покажите, говорят, государя покойного, а то присягать не будем!»

Пален. Сейчас нельзя — не убрано.

Аргамаков. Как бы не вышло беды, уж очень бунтуют.

Пален (*тихо*). Подождите, приберем немного и пустим два ряда, покажем издали. Черт с ними, коли так преданы, пускай наглядятся.

С площади доносится стук барабанов, звуки труб, возрастающий гул голосов, крики войск. Заговорщики в смятении приходят, уходят, бегают, кричат, машут руками, указывают и заглядывают в окна.

Голоса заговорщиков. Слышите? Бунт? Бунт? Чего же смотрите? Где государь? Государя к войскам! Скорее! Скорее! Скорее!

Пален, Бенигсен, Николай Зубов, Татаринов и другие заговорщики сбегают по лестнице и окружают Александра.

Пален. Ваше величество, пожалуйте... Что такое? Опять обморок?

Елизавета. Ничего, пройдет. Только погодите минутку.

Пален. Ждать ни минуты нельзя. Если государь к войскам не выйдет тотчас же, может быть бунт. Пожалуйте, ваше величество!

Александр. Не надо! Не надо!

Пален. Полно, государь! Не время теперь. Благополучие сорока миллионов людей зависит от вашей твердости. Пожалуйте, пожалуйте же, ваше величество!..

Пален и Бенигсен с одной стороны, Николай Зубов и Татаринов — с другой, берут Александра под руки и ведут, как будто насильно тащат, вверх по лестнице. На верхней площадке открывают стеклянную дверь на балкон.

Александр. Что я скажу им, что я скажу?

Пален. Скажите только: «государь император скончался ударом — все при мне будет, как при бабушке». Но, ради Бога, повеселее, ваше величество — нельзя же так... Слезки-то, слезки вытереть извольте. Ну, с Богом!

Александр выходит на балкон.

Войска (*с площади*). Ура! Ура! Ура!

Великий князь Константин, обер-церемониймейстер гр. Головкин, обер-гофмаршал Нарышкин, адмирал Кушелев и другие придворные в парадных мундирах выходят на верхнюю площадку слева. На нижнюю справа — дворцовые караулы Семеновского, Преображенского, Лейб-гренадерского, Конно-гвардейского и других полков со знаменами и штандартами. Караулы становятся по обеим сторонам лестницы с эспантонами наголо.

Александр (*с балкона*). Государь император скончался. Все при мне будет, как при бабушке...

Войска (*с площади*) Ура! Ура! Ура!

Талызин (*указывая на Александра*). Точно ангел в лазури небесной парит!

Депрерадович. А солнце-то, солнце — се Александровых дней восходящее солнце!

Константин (*Кушелеву, указывая на заговорщиков*). Я бы их всех повесил!.. А впрочем, наплевать...

На верхней площадке толпа расступается. митрополит Амвросий с духовенством входит справа.

Головкин. Пожалуйте, владыка, карету подали.

Амвросий. Иду, иду — только вот государя поздравить...

Александр выходит с балкона.

Амвросий (*подойдя к Александру и благословляя его*). Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого.

Александр опять, как давеча, падает на колени, закрыв лицо руками.

Амвросий (*положив руки на голову Александра*). Благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего, императора Александра Павловича спаси, Господи, и помилуй. Силою Твоею возвеселится царь и о спасении Твоем возрадуется. Положил еси на главе его венец от камене честна, да́си ему благословение во веки веков[1]. Аминь.

Пален. Господа, в Зимний дворец! Владыка, пожалуйте. Пожалуйте, ваше величество!

---

[1] «Силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем радуется безмерно. ... Ты... возложил на голову его венец из чистого золота». (Псалом 20, 1, 4) Даси (*церковнослав.*) — дай.

Пален и другие заговорщики берут Александра под руки и сводят по лестнице, как будто несут на руках. Он идет с опущенной головой, с мертвенно-бледным лицом, едва передвигая ногами. Караул, отдавая честь императору, склоняет к ногам его знамена и штандарты. С площади слышатся «ура!» и военная музыка — Екатерининский марш «Славься сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать!»[1]

Все. Ура! Ура! Ура! Александр!

Голицын (*тихо Нарышкину*). Не на престол, будто, а на плаху ведут.

Нарышкин. Еще бы! Дедушкины убийцы[2] позади, батюшкины убийцы впереди...

Талызин (*заговорщикам*). Господа, слышали, Аракчеев здесь — у государя просит аудиенции.

Депрерадович. А вот посмотрим, примет ли.

Платон Зубов. Как не принять? Рубашками-то с тела поменялись недаром, братья названые!

Бенигсен. Помяните слово мое, господа: умер Павел, жив Аракчеев — умер зверь, жив зверь!

Кушелев (*забегая вперед и становясь на колени перед Александром*). Благословен Грядый во имя Господне. Осанна в вышних!

Все. Ура! Ура! Ура! Александр!

---

[1] Торжественный полонез для хора и оркестра О. А. Козловского (1757—1831) на слова Г. Р. Державина (1743—1816).

[2] Убийцы Петра III.

II

АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Очки погубили карьеру князя Валерьяна Михайловича Голицына.

— Поди-ка сюда, карбонар! За ушко да на солнышко. Расскажи, чего напроказил? Что за история с очками? А? Весь город говорит, а я и не знаю,— сказал, подставляя бритую щеку для поцелуя князю Валерьяну, дядя его, старичок лысенький, кругленький, катавшийся, как шарик, на коротеньких ножках, все лицо в мягких бабьих морщинах, какие бывают у старых актеров и царедворцев,— министр народного просвещения и обер-прокурор Синода, князь Александр Николаевич Голицын.

Когда князь Валерьян, после двухлетнего отсутствия (он только что вернулся из чужих краев), вошел в министерскую приемную, большую, мрачную комнату с окнами иа Михайловский замок, так и пахнуло на него запахом прошлого, вечною скукою повторяющихся снов.

На том же месте опустилась под ним ослабевшая пружина в старом кожаном кресле. Так же на канцелярском зеленом сукне стола лежали запрещенные духовною цензурою книги; «О вреде грибов», прочел он заглавие одной из них: грибы постная пища,— догадался,— нельзя сомневаться в их пользе. Теми же снимками со всех изображений Спасителя, какие только существуют на свете, увешаны были стены приемной: лик Господень превращен в обойный узор. Так же рдела в глубине соседней комнаты-молельни темно-красная лампада в виде кровавого сердца; так же пахло застарелым, точно покойницким, ладаном.

— Помилосердствуйте, дядюшка! Вы уже двадцатый меня об этом сегодня спрашиваете,— сказал князь Валерьян, глядя на старого князя из-под знаменитых очков, с тонкой усмешкой на сухом, желчном и умном лице. напоминавшем лицо Грибоедова.

— Да ну же, ну, говори толком, в чем дело?

— Дело выеденного яйца не стоит. На вчерашнем дворцовом выходе в очках явился; отвык от здешних порядков — из памяти вон, что в присутствии особ высочайших ношение очков не дозволено...

— Поздравляю, племянничек! Камер-юнкер в очках! И свой карьер испортил, и меня, старика, подвел. Да еще в такую минуту...

— Из-за очков падение министерства, что ли?

— Не шути, мой друг, не доведут тебя до добра эти шутки...

— Что за шутки! Завтра к Аракчееву являться. Ежели в крепость или в тележку посадят с фельдъегерем,— только на вас и надежда, дядюшка!

— Не надейся, душа моя! Я от тебя отступился: советов не слушаешь, сам лезешь в петлю. Думаешь, не знает начальство, какая у вас каша заваривается? Все знает, мой милый, все. Погоди-ка, ужо выведут вас на чистую воду, господа карбонары... А письмо-то, письмо? Это еще что такое? Откровенничать вздумал по почте? Уж если так приспичило, можно бы, чай, и с оказией...

В перехваченном тайной полицией и представленном государю письме князь Валерьян называл Аракчеева «гадиной». Князь Александр Николаевич ненавидел Аракчеева; не кланялся с ним даже во дворце, в присутствии государя. Князь Валерьян знал, что за это письмо дядя готов простить ему многое.

— Я всегда полагал, ваше сиятельство,— проговорил он с еще более тонкой усмешкой на слегка побледневших губах,— что заглядывать в частные письма все равно, что у дверей подслушивать...

Старик зашикал, замахал руками.

— Если желаете, сударь, продолжать со мною знакомство, извольте выбирать выражения ваши,— сказал он по-французски.

— Виноват, ваше сиятельство, но, право, мочи нет! Вся кровь в желчь превращается. Я понимаю, что можно здоровому человеку привыкнуть жить в желтом доме с сумасшедшими, но честному с подлецами в лакейской — нельзя.

— Вы, очень изменились, мой милый, очень изменились,— покачал головой дядюшка.— И скажу прямо, не к лучшему: эти заграничные знакомства вам не впрок.

«Успели-таки донести, мерзавцы!» — подумал князь Валерьян. Заграничное знакомство был вольнодумный философ Чаадаев, с которым он сблизился во время своего пребывания в Париже.

— Я вижу, дорогой мой, вы все еще не можете освободиться от самого себя и обратиться в то ничто, которое едино способно творить волю Господню,— проговорил дядюшка и завел глаза к небу.— Как блудный сын, покинули вы отчий дом и рады питаться свиными рожками на полях иноплеменников...

«Свиные рожки — конституция»,— догадался князь Валерьян.

Долго еще говорил дядюшка об Иисусе сладчайшем, о совлечении ветхого Адама и воскрешении Лазаря, о состоянии Марии, долженствующем заменить состояние Марфы, о божественной росе и воздыханьях голубицы [1].

Князь Валерьян слушал с тоскою. «Тюлевый бы чепчик с рюшками тебе на лысинку, и точь-в-точь Крюденерша пророчица!» [2] — думал он, глядя на старого князя.

— Всякая власть от Бога. Христианин и возмутитель против власти, от Бога установленной, есть совершенное противоречие,— кончил старик тем, чем кончались все подобные проповеди.

— А ведь я и забыл, ваше сиятельство,— успел, наконец, вставить князь Валерьян,— поручение от Марьи Антоновны...

Взял со стола сверток, развязал и подал, не без камер-юнкерской ловкости, шелковую подушечку, из тех, какие употреблялись для коленопреклонений во время молитвы, с вышитым католическим пламенеющим сердцем Иисусовым.

— Собственными ручками вышить изволили. Пусть, говорят, будет князю память о друге верном всегда, особенно же ныне, в претерпеваемых им безвинно гонениях.

— Ах, милая, милая! Вот истинная дщерь Израи-

---

[1] Божественная роса — в Св. писании символ блага. Голубица — образ скорби или кротости.

[2] Баронесса Юлия Крюднер (1764—1825) — «пророчица», пытавшаяся воздействовать на Александра I.

ля! — умилился дядюшка.— Будешь у нее сегодня на концерте Вьельгорского?

— Буду.

— Ну, так скажи ей, что завтра же приеду расцеловать ручки.

В любовных ссорах государя с Марьей Антоновной Нарышкиной князь Александр Николаевич Голицын был всегдашним примирителем, за что злые языки называли его «старою своднею».— «Тридцатилетний друг царев, угождая плоти, миру и диаволу, князь всегда был заодно с царем, в таких делах, о них же нельзя и глаголати»,— обличал его архимандрит Фотий.

— И еще порученьице, дядюшка: узнать о министерских делах, о кознях врагов.

— Сам расскажу ей... А, впрочем, вы, может быть, там больше нашего знаете? Ну-ка, что слышал? Рассказывай.

— Много ходит слухов. Говорят, министерства вашего дни сочтены; в заговоре, будто, отец Фотий с Аракчеевым...

— И с Магницким.

— Быть не может! Магницкий — сын о Христе возлюбленный... А ведь говорил я вам, дядюшка: берегитесь Магницкого. Шельма, каких свет не видал,— помесь курицы с гиеною.

— Как, как? Курицы с гиеною? Недурно. Ты иногда бываешь остроумен, мой милый...

— А помните, ваше сиятельство, как исцеляли бесноватого? — спросил князь Валерьян.

— Да, представь себе, кто бы мог подумать? Мошенники... Ну, да что Магницкий! Бог с ним. А вот отец Фотий, отец Фотий,— какой сюрприз!

Сбегал в кабинет и вернулся с двумя письмами.

— Читай.

«Ваше сиятельство, высокочтимый князь! Ты и я — как тело и душа. Сердце одно мы. Христос посреди нас и есть будет»,— кончалось одно письмо, от Фотия.

Другое — черновик, ответ Голицына.

«Высокопреподобный отче Фотий! Свидания с вами жажду, как холодной воды в жаркий день. Орошаюсь слезами и прошу у Господа крыл голубиных, чтобы лететь к вам. Воистину Христос посреди нас».

— Ах, дядюшка, дядюшка, погубит вас доброе сердце! — едва удержался князь Валерьян от злорадного смеха.

— Бог милостив, мой друг! Сколько люди меня ни обманывают, а я в дураках не бывал. Так вот и нынче. Министерство отнять хотят. Да я радешенек! Только того и желаю, чтобы на свободе подумать о спасеньи души...

Опять завел глаза к небу.

— У государя — вот у кого доброе сердце,— вздохнул с умилением.— Ну, *тот* этим и пользуется...

«Тот» был Аракчеев: старый князь так ненавидел его, что никогда не называл по имени.

— Подойдет тихохонько, склонив голову набок, и пригорюнится: «Государь батюшка, ваше величество, одолели меня, старика, немощи, увольте в отставку»...

Князь Валерьян взглянул на дядюшку и замер от удивления: мягкие бабьи морщины сделались жесткими, глаза потухли, щеки впали, лицо вытянулось,— живой Аракчеев. Но исчезло видение, и опять сидел перед ним благочестивый проповедник; только где-то, в самой глубине глаз, искрилась шалость.

Вспомнился князю Валерьяну рассказ, слышанный от самого дядюшки, как однажды в юности, еще камер-пажем, побился он об заклад, что дернет за косу императора Павла I. И действительно, стоя за государевым стулом во время обеда, изловчился,— дернул, государь обернулся. «Ваше величество, коса покривилась, я исправил».— «А, спасибо, дружок!»

— Так-то, мой милый,— продолжал дядюшка.— Говоря между нами, это министерство просвещения у меня вот где! Сыт по горло. Не министерство, а гнездо демонское, которого очистить нельзя,— разве ангел с неба сойдет. Все училища — школы разврата. Новая философия изрыгнула адские лжемудрствования и уже стоит среди Европы с поднятым кинжалом. Кричат: науки! науки! А мы, христиане, знаем, что в злохудожную душу не внидет премудрость, ниже́ обитает в телеси, повинном греху. И что можно сделать доброго книгами? Все уже написано. Буква мертвит, а дух животворит... Я бы, мой друг, все книги сжег! — закончил он с тою же резвостью, с которою, должно быть, дергал императора за косу.

«Ах, шалун, шалун! — думал князь Валерьян.— Сколько зла наделал, а ведь вот невинен, как дитя новорожденное».

— Ты что на меня так уставился? Аль не по шерстке? Ничего, брат, стерпится, слюбится. Ты еще вернешься к нам...

Посмотрел на часы.

— В Синод пора, два архиерея ждут. Ну, Господь с тобой. Дай перекрещу. Вот так,— теперь не бойся, ничего тебе *тот* не сделает. А право же, возвращайся-ка к нам, блудный сынок!

— Нет уж, дядюшка, куда мне? Горбатого разве могилка исправит.

— Не могилка, а девица Турчанинова.

— Какая девица?

— Не слышал? Удивительно. Исцеляет взглядом горбатых и глухонемых. Я собственными глазами видел сына генерала Толя, с одной ногой короче другой, и — представь себе! — через месяц ноги сравнялись. Силу эту уподобить можно помпе или — как это? — насосу, что ли, извлекающему из натуры магнетизм животный... Сейчас некогда, потом расскажу. Хочешь к ней съездить?

— С удовольствием. Может быть, и меня выправит?

— А ты что думал? Богу все возможно. Или не веришь?

— Верю, дядюшка! А только знаете, что мне иногда в голову приходит: если бы Сам Христос стал творить чудеса и проповедовать на Адмиралтейской или Дворцовой площади, тут и до Пилата не дошло бы, а первый квартальный взял бы Его на съезжую. И архиереи ваши не заступились бы...

«Ни вы, ни вы, ваше сиятельство!» — едва не сорвалось у него с языка — и, не дожидаясь ответа, выбежал из комнаты.

Старый князь только пожал плечами.

— Беспутная голова, а сердце доброе. Жаль, что скверно кончит!

ГЛАВА ВТОРАЯ

. . . .

Вскоре после Аустерлица появилось в иностранных газетах известие из Петербурга: «Госпожа Нарышкина победила всех своих соперниц. Государь был у нее в первый же день по своем возвращении из армии. Доселе

связь была тайной; теперь же Нарышкина выставляет ее напоказ, и все перед ней на коленях. Эта открытая связь мучит императрицу».

Однажды на придворном балу государыня спросила Марью Антоновну об ее здоровье.

— Не совсем хорошо,— ответила та,— я, кажется, беременна.

Обе знали от кого.

«Поведение вашего супруга возмутительно,— особенно, маленькие обеды с этой тварью, в собственном кабинете его, рядом с вами»,— писала дочери своей, русской императрице, великая герцогиня Баденская. Шла речь о разводе.

Но за двадцать лет к этому все привыкли, и уже никто не удивлялся. Марья Антоновна была так хороша, что не хватало духа осудить ее любовника.

«Разиня рот, стоял я в театре перед ее ложей и преглупым образом дивился красоте ее, до того совершенной, что она казалась неестественной, невозможной»,— вспоминал через много лет один из ее поклонников.

«Скажи ей, что она ангел,— писал Кутузов жене,— и что если я боготворю женщин, то для того только, что она — сего пола: а если б она мужчиной была, тогда бы все женщины были мне равнодушны».

Всех Аспазия милей
Черными очей огнями,
Грудью пышною своей...
Она чувствует, вздыхает,
Нежная видна душа;
И сама того не знает,
Чем всех боле хороша,—

пел старик Державин.

Никто не удивлялся и тому, что у мужа Марьи Антоновны, Дмитрия Львовича Нарышкина, две должности: явная — обер-гофмейстера и тайная — «снисходительного мужа» или, как шутники говорили, «великого мастера масонской ложи рогоносцев».

Добродетельная императрица Мария Федоровна писала добродетельной супруге Марье Антоновне: «Супруг ваш доставляет мне удовольствие, говоря о вас с чувствами такой любви, коей, полагаю, немногие жены, подобно вам, похвалиться могут».

Любовник, впрочем, был не менее снисходителен, чем

муж. Однажды застал он Марью Антоновну врасплох со своим адъютантом Ожаровским. Но она сумела убедить государя, что ничего не было, и он поверил ей больше, чем глазам своим. Следовали другие, бесчисленные, большею частью из молоденьких флигель-адъютантов . . . .

. . . .

Обе дочери государя от Елизаветы Алексеевны умерли в младенчестве. Первая дочь от Марьи Антоновны умерла тоже. Вторая, Софья, осталась в живых, но с детства была слаба грудью. Опасались чахотки. Этот последний и единственный ребенок, которого государь считал своим, о чем, однако, спорили,— маленькая Софочка — была его любимицей.

Благодаря дяде своему, старому другу дома, князь Валерьян Михайлович принят был у Нарышкиных как родной. Софья любила его как сестра. Он ее — больше, чем брат, хотя сам того не знал. Надолго разлучались,— Софью часто увозили на юг,— как будто забывали друг друга, но сходились опять как родные.

— Лучшего жениха не надо для Софьи,— говорила Марья Антоновна.

Но на Веронском конгрессе государь представил ей другого жениха, графа Андрея Петровича Шувалова, только что зачисленного в коллегию иностранных дел, молодого дипломата меттерниховской школы.

Как все Шуваловы, граф Андрей был искателен, ловок и вкрадчив; втируша, тихоня, ласковый теленок, который двух маток сосет. Такие, впрочем, государю нравились.

Старая графиня, мать жениха, долго жившая в Италии, перешла в католичество. Римские отцы-иезуиты начали свадьбу, а парижские шарлатаны кончили. Месмерово лечение тогда снова входило в моду. Принялись лечить и Софью. Граф Андрей магнетизировал ее, по предписанию ясновидящих. Пятнадцатилетняя девочка, почти ребенок, отдала ему руку свою, как отдала бы ее первому встречному, по воле отца, сама не зная, что делает.

Князь Валерьян, тоже бывший тогда в Вероне, только утратив Софью, понял, как ее любил. Он уехал в Париж к Чаадаеву. Беседы с мудрецом не утешили его, но дали надежду заменить любовь к женщине любовью к Богу и к отечеству.

Года через два, с дозволения ясновидящих, Софью привезли в Петербург, где назначена была свадьба. Зимой начались обычные среды у Нарышкиных, на Фонтанке, близ Аничкина моста.

Урожденная княгиня Святополк-Четвертинская, Марья Антоновна была ревностной полькой и собирала вокруг себя польских патриотов. Уверяли, будто конституцией Польша обязана ей. И русские либералы видели в ней свою заступницу. Салон ее был единственным местом в Петербурге, где можно было говорить свободно не только о вреде взяток, но и о самом Аракчееве, которого она ненавидела.

По средам, в Великом посту, у Нарышкиных давались концерты. В ту среду, в которую собрался к ним князь Валерьян, в первый раз по возвращении своем в Петербург, назначен был концерт знаменитого музыканта-любителя, графа Михаила Виельгорского.

Когда князь Валерьян вошел в белый зал с колоннами и огромным, во всю стену, зеркалом, отражавшим портрет юного императора Александра Павловича, первая половина концерта кончилась, и последний звук виолончели замер, как человеческое рыдание. Послышались рукоплескания, шум отодвигаемых стульев, шорох дамских платьев и жужжащий говор толпы. Раззолоченные арапы высоко поднимали над головами гостей подносы с мороженым; поправляли восковые свечи в жирондолях.

Голицын увидал издали своего приятеля, лейб-гвардии полковника, князя Сергея Трубецкого, директора Северной управы Тайного Общества, и хотел подойти к нему, чтобы переговорить окончательно о своем, уже почти решенном, поступлении в члены Общества, но раздумал: решил — потом.

Опять, как давеча, в приемной у дядюшки, пахнуло на него знакомым запахом прошлого, вечною скукою повторяющихся снов.

Все так же, как два года назад: так же воскликнула, повторяя, видимо, заученную фразу, пожилая дама с голыми костлявыми плечами:

— Граф Михаил играет, как ангелы на концертах у Господа Бога!

Так же склонился и шепчет что-то на ухо графине Елене Радзивилл о. Розавенна, иезуит, молодой, краси-

вый итальянец, идол петербургских дам, похожий, в своей шелковой черной сутане, на черного, гладкого кота, который, выгнув спину, ласково мурлычет; нельзя понять, любезничает или исповедует; с одинаковым искусством передает любовные записочки и причащает из тайной дароносицы, тут же, на великосветских раутах, своих поклонниц, новообращенных в католичество. «Ушком» прозвали графиню Елену за то, что она краснела не лицом, а одним из своих прелестных, как перламутровые раковинки, ушек. И теперь под ласковый шепот о. Розавенны недаром у нее краснеет ушко: может быть, по примеру хорошенькой графини Куракиной, сожжет себе пальчик на свечке, чтобы уподобиться христианским мученицам. А девяностолетняя бабушка Архарова, в пунцовом халдейском тюрбане, с ярко-зелеными перьями, нарумяненная, похожая на свою собственную моську, которая вечно храпит у нее на коленях, смотрит ехидно в лорнет на эту парочку — отца-иезуита с графиней Ушком — и, должно быть, готовит злую сплетню.

На своем обычном месте, поближе к печке, сидит баснописец Крылов. Видно, как пришел,— завалился в кресло, чтобы не вставать до самого ужина: «Спасибо хозяюшке-умнице, что место мое не занято; тут потеплее». В поношенном, просторном, как халат, фраке табачного цвета, с медными пуговицами и потускневшей орденской звездой, эта огромная туша кажется необходимой мебелью. Руки уперлись в колени, потому что уже не сходятся на брюхе; рот слегка перекошен от бывшего два года назад удара; лицо жирное, белое, расползшееся, как опара в квашне, ничего не выражающее, разве только что жареного гуся с груздями за обедом объелся и ожидает поросенка под хреном к ужину, несмотря на Великий пост: «У меня, грешного,— говаривал,— по натуре своей, желудок к посту неудобен». Дремлет; иногда приоткроет один глаз, посмотрит из-под нависшей брови, прислушается, усмехнется не без тонкого лукавства — и опять дремлет:

Не движась, я смотрю на суету мирскую
И философствую сквозь сон.

А подойдет к нему сановник в золотом шитье: «Как ваше драгоценное, Иван Андреевич?» — и дремоты как

не бывало: вскочит вдруг с косолапою ловкостью, легкостью медведя, под барабан танцующего на ярмарке, изогнется весь, рассыпаясь в учтивостях,— вот-вот в плечико его превосходительство чмокнет. Потом опять завалится — дремлет.

Так и пахнуло на Голицына от этой крыловской туши, как из печки, родным теплом, родным удушьем. Вспоминалось слово Пушкина: «Крылов — представитель русского духа; не ручаюсь, чтобы он отчасти не вонял; в старину наш народ назывался *смерд*». И в самом деле, здесь, в замороженном приличии большого света, в благоуханиях пармской фиалки и буке-а-ля-марешаль, эта отечественная непристойность напоминала запах рыбного садка у Пантелеймонского моста или гнилой капусты из погребов Пустого рынка.

— Давно ли, батюшка, из чужих краев? — поздоровался Крылов с Голицыным, проговорив это с такою ленью в голосе, что, видно было, его самого в чужие края калачом не заманишь.

— В старых-то зданиях, Иван Андреевич, всегда клопам вод,— продолжал начатый разговор князь Нелединский-Мелецкий, секретарь императрицы Марии Федоровны, директор карточной экспедиции, маленький, пузатенький старичок, похожий на старую бабу: — вот и в Зимнем дворце, и в Аничкином, и в Царском — клопов тьма-тьмущая, никак не выведут...

Почему-то всегда такие несветские разговоры заводились около Ивана Андреевича.

— Да и у нас, в Публичной библиотеке, клопов не оберешься, а здание-то новое. От книг, что ли? Книга, говорят, клопа родит,— заметил Крылов.

— Была у меня в Москве, у Харитонья, фатерка изрядненькая,— улыбнулся Нелединский приятному воспоминанию,— и светленько, и тепленько,— словом, всем хорошо. А клопов такая пропасть, как нигде я не видывал. «Что это, говорю хозяйскому приказчику, какая у вас в доме нечисть?» А он: «Извольте, говорит, сударь, посмотреть — на стенке билет против клопов». Велел принести: какое-нибудь, думаю, средство или клоповщика местожительство. И что же, представьте себе, на билете написано,— святому священномученику Дионисию Ареопагиту молитва!

— Н-да, точно, Ареопагит клопу изводчик,— про-

мямлил Крылов, зевая и крестя рот.— Ежели который человек верит, то по вере ему и бывает...

— А меня почечуй, батюшки, замучил,— не расслышав, о чем говорят, зашамкал другой старичок, сенатор, дряхлый-предряхлый, с отвислой губой.— И еще маленькие вертижцы...[1]

— Какие вертижцы? — спросил Нелединский с досадой.

— Вертижцы... когда голова кругом идет... Помню, во дни блаженной памяти Екатерины матушки...— начал он и, как всегда, не кончил: его никто не слушал; со своим почечуем-геморроем он лез ко всем, даже, по рассеянности, к дамам.

— Опять разболтал! И какой тебя черт за язык дергает? — выговаривал князь Вяземский Александру Ивановичу Тургеневу.— Ну, можно ли такие письма в клубе показывать? Разблаговестят по городу, попадет в тайную полицию — и поминай Сверчка как звали...

Голицын прислушался. Он знал, что Сверчок — арзамасское прозвище Пушкина. Вместе с Тургеневым и Вяземским случалось ему не раз хлопотать у дядюшки за ссыльного коллежского секретаря Пушкина.

— Слышали, князь? — обратился к нему Вяземский.

— Нет. Какое письмо?

— А вот какое,— зашептал ему Тургенев на ухо знаменитые строки, которые так часто повторял, что затвердил их наизусть:— «ты хочешь знать, что я делаю. Беру уроки чистого афеизма. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная».

— Ну, посудите сами, князь, неужели за такой вздор...

— Да ты где живешь, братец, на луне, что ли? — опять загорячился Вяземский: — будто не знаешь, что нынче в России за какой угодно вздор...

— Ну, не ворчи, полно, не буду... А Сверчок-то, говорят, опять в пух проигрался?

— Мало ли врут? Вот распустили намедни слух, будто застрелился...

— Ну, нет, не застрелился,— усмехнулся Тургенев,— словечко-то его помнишь: «Только бы жить!» Кто другой, а Пушкин, небось, не застрелится...

---

[1] Головокружения (*франц.* vertiges).

Подошел хозяин, Дмитрий Львович Нарышкин; одетый по-старинному, в пудре, в чулках и башмаках с красными каблучками — настоящий маркиз Людовика XV; иногда судорога дергала лицо его, так что он язык высовывал, точно поддразнивал; но все же величествен, как старый петух, хотя и с продолбленной головой, а шагающий с важностью.

— А ваш-то пострел Пушкин опять пресмешные стишки сочинил, слышали? — сказал он, присоединяясь к собеседникам.

— А ну-ка, ну? — залюбопытствовал Тургенев и подставил ухо с жадностью.

По знаку Дмитрия Львовича головы сблизились, и он прошептал с игривой улыбкой прошлого века:

Свобод хотели вы,— свободы вам даны:
Из узких сделали широкие штаны.

— Да это не Пушкина! — рассмеялся Вяземский.— Сказал бы я вам стишки, да боюсь, не прогневались бы, ваше высокопревосходительство: уж очень вольные...

— Ничего, ничего, говори, князь,— ободрил его Дмитрий Львович.— Я вольные стишки люблю. Ведь и мы, сударь, небось, в наше время наизусть Баркова [1] знали...

Глядя на портрет государя с таким вольномысленным видом, как будто делал революцию, Вяземский прочел:

Воспитанный под барабаном,
Наш... был бравым капитаном,
Под Аустерлицем он бежал,
В двенадцатом году — дрожал;
Зато был фрунтовой профессор,
Но фрунт герою надоел;
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел. [2]

Нарышкин тихонько захлопал в ладоши и высунул язык от удовольствия: был верноподданный и сердечный друг царя, но недаром, видно, учился у Баркова вольномыслию.

— А доктор говорит, одышка от гречневой каши,— жаловался Нелединский Крылову.— И так я от этих уду-

[1] Барков, Иван Семенович (1732—1768) — поэт, известный непристойными стихами.

[2] Неточно цитируемое стихотворение А. С. Пушкина.

ший ослаб, так ослаб, что надо бы за мной приставить маму...

— А у меня все маленькие вертижцы...— зашамкал опять старичок.

— Плюнь-ка ты на докторов, князенька! — вдруг оживился Крылов, даже оба глаза раскрыл.— Возьми с меня пример: чуть задурит желудок,— вдвое наемся, а там он себе как хочешь разведывайся. У Степаниды Петровны, на масляной, перед самым обедом,— рубцы и потрох у нее готовят ангельские,— так подвело, что хоть вон беги. Да вспомнил, что на Щукином — грузди отменные. Только что доложил о том, Степанида Петровна, матушка, сию же минуту,— пошли ей Господь здоровья, кормилице,— спосылала на Щукин верхом, и грузди поспели к жаркому. Принял я порцию, в шести груздях состоящую, и с тех пор свет увидел. А ты говоришь, доктора...

Вяземский вольнодумничал уже не в стихах, а в прозе, говорил о «затмении свыше», о цензурных неистовствах, которые дошли до того, что нельзя сказать «голая истина», потому что непристойно лицу женского пола являться голым; о запрещении Филаретова Катехизиса; об изуверствах Магницкого, который предлагал разрушить до основания Казанский университет и заставил профессоров похоронить весь анатомический кабинет, трупы, скелеты и человеческих уродцев, потому что находил «мерзким и богопротивным употреблять человека, образ и подобие Божие, на анатомические препараты», вследствие чего заказаны были гробы, в коих поместили препараты и, по отпетии панихиды, в торжественном шествии понесли их на кладбище.

Слушая одним ухом Крылова, другим Вяземского, Голицын сравнивал обоих, и ему казалось, что пылающий свободомыслием Вяземский лопнет, как мыльный пузырь, а чугунный дедушка Крылов не поколеблется. «Неужели же это лицо — опара, из квашни расползшаяся,— лицо всей России?» — думал он со смехом и ужасом.

Но перестал думать, увидя на другом конце залы Марью Антоновну с графом Шуваловым.

На ней — всегдашнее простое, белое платье, туника с прямыми складками, как на древних изваяниях; старая мода, а на ней — новая, вечная; никаких украшений,

только вместо пряжки на плече — камея-хризолит, подарок императрицы Жозефины, да гирлянда незабудок в черных волосах. Лет за сорок, а все еще пленительна. Сегодня — особенно. Не вторая, а двадцатая молодость. Глубокая ясность осенних закатов, душистая зрелость осенних плодов.

Всех Аспазия милей
Черными очей огнями.

Сегодня — чернее, огненнее, чем когда-либо. «Минерва в час похоти» назвал ее кто-то. Ресницы стыдливо опущены, и во всех движениях — тоже стыдливость, опущенность, как в томном трепете плакучих ив.

«Что с нею?» — удивлялся Голицын. Он знал ее хорошо: недаром был почти влюблен в нее когда-то; знал, что такой, как сегодня, она бывает всегда, когда меняет любовника. Кто же теперь?

Вгляделся пристальней в Шувалова. Лицо красивое до наглости, как у Платона Зубова, героя «постельных услуг». По этому лицу, хотелось верить ходившим о нем слухам, будто брал он деньги у старых женщин и отказался от поединка за дело чести. Безукоризненный английский фрак с преувеличенно узкой, по последней моде, талией; точеные ножки, затянутые в черный атлас; галстучек, завязанный небрежно, по-шатобриановски; хохолок, взбитый тщательно, по-меттерниховски. «А хорошо бы подержать у барьера, под пистолетом эту смазливую рожицу!» — подумал Голицын с ненавистью.

И вдруг показалось ему, что на слишком ласковый блеск в глазах Марьи Антоновны глаза Шувалова ответили таким же блеском.

«Так вот кто! — промелькнула у Голицына мысль, которая ему самому показалось нелепой.— Мать — с женихом дочери!.. С ума я схожу, что ли?»

Насильно отвел глаза в другую сторону и увидел Софью. Она разговаривала с князем Трубецким. Для нее одной пришел сюда Голицын, но как будто испугался,— спрятался от нее за колонну, и по тому, как забилось у него сердце, как не хотел давеча говорить с Трубецким о Тайном Обществе,— вдруг понял, что все еще не исполнил советов мудреца Чаадаева — не заменил любви к женщине любовью к отечеству.

— Принимая вещи даже в самой строгой сцептике[1], должно, полагаю, согласиться, что в России не может быть хуже того, что есть,— заговорил князь Козловский, отвечая Вяземскому, в постепенно расширяющемся круге собеседников.

Козловский, бывший посланник в Сардинии, «за неосновательность поступков» от службы уволенный, был полуполяк, тайный католик и, по слухам, даже иезуит, но в то же время человек вольного образа мыслей в политике. Наружностью не то Бурбон, не то Фальстаф. Дородства не меньшего, чем дедушка Крылов, но живой, бойкий, подвижный. Когда говорил о политике, не только лицо его, но и вся тюленья туша трепетала, как будто искрилась умом. В такие минуты влюблялись в него даже молоденькие женщины.

— Освободили Европу, Россию возвеличили! С нами Бог! А у князя Меттерниха на посылках бегаем. Каланчой пожарной сделалась российская политика: стережем, не загорится ли где, и скачем, высуня язык, по всей Европе, с конгресса на конгресс, заливая чужие пожары собственной кровью. Революция здесь, революция там. Уж не ошиблись ли народы, низложив Бонапарта? Вместо одного великого тирана — сотни маленьких. Льва свалили и достались волкам на добычу...

— Зато, говорят, правление нынче законное,— поддразнил его Вяземский.

— Законное? Где? Видели, князь, на Литейном вывеску: Комиссия составления законов? Буква «с» выпала: Комиссия ...оставления законов. Не вернее ли так? Не пора ли оставить законы? К чему они, когда скрижали их о первый камень самовластья разбиваются?..

Ударил жирным кулаком по жирной ладони с демократической яростью. Фальстаф превратился в Мирабо. А дамы слушали с такой же приятностью, как давеча Виельгорского: второй концерт не хуже первого.

— Да, сударь, в России нет законов! — гремел Козловский, как с трибуны.— Указы, то от любимца-истопника исходящие, то от курляндца-берейтора[2], то от

[1] Скептицизм (от *лат.* scepticus).

[2] Герцог Курляндский Эрнст-Иоганн Бирон (1690—1772), фаворит императрицы Анны Иоанновны, начал свою карьеру в качестве конюха.

турка-брадобрея[1], то от Аракчеева, нельзя считать законами: это только право сильного, анархия, где лучше задущить, чем быть задушенным. Мы как Дон-Кишоты действуем: освобождая других, сами стонем под ненавистным игом...

— Да за это, батюшка, на съезжую! — прошипела Архарова, и зеленые перья на пунцовом токе грозно заколебались, моська на ее коленях проснулась с ворчанием. Крылов тоже проснулся, зашевелился с таким видом, что откуда-то сквозняк. А пан Вышковский, и пан Хлоповский, и пан Храповицкий, и пан Салтык хлопали в ладоши, как на Варшавском сейме: «Bravo! Bravo! Bravissimo!». Тургенев наклонил голову, загнув ухо ладонью руки, чтобы не пропустить ни слова, запомнить и разнести по городу. Вяземский наслаждался и завидовал. Ушко графини Елены пылало. О. Розавенла решил о Козловском по Жозефу де Местру[2]: «университетский Пугачев». Дмитрий Львович высовывал язык от восхищения, а Марья Антоновна улыбалась, как добрая хозяйка, радуясь, что гости довольны.

Голицын смотрел на Софью. Она тихонько подошла, присела на кончик стула, положила на колени худенькие детские ручки,— казалось, пальцы должны быть в чернилах, как у школьницы, и, вытянув шею, никого не видя, вся замерла, недвижная, устремленная, как стрела на тетиве. Глаза — ясновидящей. «Человек с нечистой совестью не мог бы в них смотреть»,— сказал однажды Голицын об этих глазах. Вся не от мира сего; слишком хрупкая, тонкая, прозрачная; кажется, душа видна сквозь тело, как огонь сквозь алебастр: вот-вот не выдержат стенки лампады, огонь разобьет их и вырвется наружу.

Голицыну вспомнилось то, что он слышал о ней: как тринадцатилетняя девочка носила пояс, вываренный в соли, разъедавший тело; стояла на солнце, пока кожа на лице не трескалась, хотела убежать в монастырь, принять пострижение и странствовать в мужской одежде под именем умершего юного послушника Назария.

Для таких, как она, от слова до дела — только шаг. И теперь для нее одной, в этой толпе, речь Козловского — не музыка, а проповедь.

---

[1] Фаворит Павла I и его камердинер Иван Павлович Кутайсов (1759? — 1834), по национальности был турок.

[2] Местр Жозеф Мари де (1753—1821) — граф, французский публицист, политический деятель и религиозный философ.

— Суровость покойного императора Павла, без обмана, без лести, не в тысячу ли раз сноснее того, что мы терпим в наши дни? — продолжал Козловский все вдохновеннее.— Не вздыхаем ли о временах Павловых, терпя, чего терпеть без подлости не можно? Всякий день оскорбляется у нас человечество, правосудие, просвещение — все, что мешает земле превратиться в пустыню или вертеп разбойничий. Когда видишь все мерзости, на каждом шагу в России совершающиеся, хочется бежать за тридевять земель...

Бабушка Архарова встала, гневная, собираясь уходить, моська на руках ее, поджав хвост, залаяла. Крылов тоже привстал, но, должно быть, вспомнив об ужине, снова опустился в кресло и только рукой махнул. У Нелединского сделалась одышка хуже, чем от гречневой каши. Старичок с вертижцами, казалось, готов был упасть в обморок. А паны повскакали и захлопали неистово — видно было по лицам их: «Еще Польска не сгинела».

Но звук виолончели раздался — и все затихло, успокоилось, словно кто-то пролил масло на бурные волны.

Виельгорский играл духовный концерт Гайдна. Слышался ангельский хор. И рабство, свобода, Россия, политика — все земное вдруг сделалось ничтожным. Казалось, по хрустальной лестнице, звенящей и поющей, как солнечный дождь златокрылые, с золотыми ведрами, восходят и нисходят ангелы.

Голицын подошел к Софье. Но она не заметила его, погруженная в мысли свои или музыку.

— Софья Дмитриевна...

Обернулась, вздрогнула.

— Вы... здесь?.. А я и не знала. Господи!..

Вся покраснела от радости. На вопрос его о здоровьи ответила по-французски, совсем как большая светская барышня:

— Не надо о моем здоровьи, ради Бога! Расскажите-ка лучше о ваших очках...

А глаза, полные детским восторгом, говорили другое, родное, милое, старое.

Несмотря на модную, сложную прическу, на парижское длинное платье попелинового серо-серебристого газа с вышитым зеленым вереском, видно было по глазам,

что она все та же маленькая девочка в коротеньком белом платьице, в соломенной шляпке-мармотке, голубоглазая, пепельнокудрая, с которой он бегал в горелки в селе Покровском, подмосковной Нарышкиных, удил пескарей в пруду, за теплицами, и читал «Людмилу» Жуковского.

Ах, невеста, где твой милый,
Где венчальный твой венец?
Дом твой — гроб; жених — мертвец...

прочла непонимающим детским голоском и вдруг задумалась, как будто поняла,— выронила книгу, побледнела, закинула ему тоненькие руки на шею и вся прижалась доверчиво: «Как страшно!..» Тогда в первый раз поцеловал он ее, не как брат сестру:

О, не знай сих страшных снов,
Ты, моя Светлана! [1]

Все та же, родная, любимая, вечная, Богом данная,— сестра и невеста вместе. А Шувалов? Ну, что ж, пусть Шувалов. «А ну ее к черту, эту парикмахерскую куклу!» Знал, что ее не отнимут у него сорок тысяч Шуваловых.

Отошли вместе на другой конец залы и сели рядом у большого зеркала, против портрета юного императора: семнадцатилетний улыбающийся мальчик похож был на голубоглазую, пепельнокудрую девочку. Говорили шепотом, под музыку, под певучие звоны солнечного ливня, который лили на землю золотые ведра ангелов, восходящих и нисходящих по хрустальной лестнице. Чувствовали оба, что не говорили бы так, если б не музыка.

— Правда, что вы карбонаром сделались?

— Что значит карбонар, Софья Дмитриевна?

— Какая Софья Дмитриевна? — поправила она с ребяческим кокетством в улыбке и строгою лаской в глазах.— Забыли Верону? Забыли Покровское? Забыли все?

— Ничего не забыл, Софочка... Ах, если б вы знали... Ну, да что говорить? Вы же знаете...

— Что значит карбонар? — перебила она его, с детским усилием мысли, сдвинув тонкие брови.— Карбо-

---

[1] Из баллады В. А. Жуковского «Светлана».

нары — те, кто против Бога и царей? Мне еще намедни Михаил Евграфыч объяснил...

Михаил Евграфович Лобанов был Софьин учитель русского языка, ревностный поклонник Магницкого.

— А разве нельзя быть против царей с Богом? — усмехнулся Голицын.

— Не знаю,— задумалась она.— Нет, нельзя... У нас в России нельзя. Спросите нянюшку Прокофьевну и Филатыча дворецкого, и дедушку Власия, покровского пчельника,— помните, он такой умный,— и самого дедушку Крылова,— он ведь тоже умница... Ну, чего вы смеетесь? Я сказать не умею. Но это так: все скажут, что в России царь от Бога.

— *А почему же правда, что́ все говорят? И разве* одна Россия на свете?.. По-итальянски карбонары значит *угольщики*. Это простые добрые люди, которые в Бога веруют не меньше нашего и хотят свободы отечеству от чужеземного ига...

— Да разве у нас чужеземное иго?

— А слышали, что говорил Козловский?

— Козловский — поляк: они все ненавидят Россию, готовы сделать ей всякое зло. А ведь вы ее любите?

— Не знаю, люблю ли, но можно и любя ненавидеть. И чья вина, что наша любовь похожа на ненависть?.. Только лучше не надо об этом, милая, право, не надо... Посмотрите-ка на дедушку Крылова. Вот кто чужеземного ига не чувствует! Когда его спросили однажды, какое по-русски самое нежное слово, он ответил, не задумавшись: «Кормилец мой». Какая рожа, Господи! А умен, еще бы! Может быть, умнее нас всех... Только вот никак не решит:

Не больше ли вреда, чем пользы от наук?

— Зачем вы?.. Не надо, не смейтесь.

— Да я не смеюсь, Софья! Мне страшно...

— Слушайте, Валя, голубчик, скажите, скажите мне все, что думаете! Со мной никто никогда не говорит об этом, а мне так нужно, если бы вы знали... Так нужно!

— Что сказать?

— Все, все! Почему в России чужеземное иго? Почему любовь похожа на ненависть? Почему вам страшно?..

Он взглянул на нее и опять, как давеча, увидел

в лице ее недвижную стремительность: стрела на тетиве, слишком натянутой. Понял, что от того, что́ скажет, будут зависеть их общие судьбы. Душа ее обнажена перед ним, беззащитна, и может быть, слова его пройдут ее, как меч: будут подобны убийству. Но нельзя молчать.

И он заговорил уже не под музыку, а против музыки: она — о небесном, он — о земном, о великой неправде земли, о человеческом рабстве.

Говорил о русских помещиках-извергах, которые раздают борзых щенят по деревням своим для прокормления грудью крестьянок. Не все ли мы эти щенки, а Россия раба, кормящая грудью щенят? Говорил о барине, который сек восьмилетнюю дворовую девочку до крови, а потом барыня приказывала ей слизывать языком кровь с пола. Не вся ли Россия эта девочка? О княгине помещице, которая велела старосте отбирать каждый день по семи здоровых девок и присылать на господский двор; там надевали на них упряжь, впрягали в шарабан; молоденькая княжна садилась на козлы, рядом с собой сажала кучера, брала в руки вожжи, хлыст и отправлялась кататься; вернувшись домой, кричала: «Мама, мама! Овса лошадям!» Мама выходила; приносили кульки орехов, пряников, конфет, насыпали в колоду и подгоняли девок; они должны были стоять у колоды и есть. Не все ли величье России, ее победоносное шествие — катанье на семерке баб?

Он говорил,— и с жалобным звоном хрустальная лестница рушилась, и в черную пропасть падали ангелы. Он видел, как лицо Софьи бледнеет, но уже не мог остановиться; чувствовал восторг разрушения, насилия, убийства. Вечная правда земли — против вечной правды небес.

— Почему же государю не скажете? — прошептала Софья, когда он умолк: — ведь не вы один так думаете?

— Не я один.

— Ну, так вы должны сказать ему все...

Он взглянул на портрет государя, такой похожий на нее, и вдруг ему обоих стало жалко, страшно за обоих. Но опять — небесная музыка, опять хрустальная лестница — и восторг святого разрушения, святого насилия, святого убийства.

— А вы, Софья, почему государю не скажете?

— Разве он меня послушает? Я для него ребенок...

— Ну, так и мы все ребята, щенята: сосем рабью грудь и пищим, а когда надоест наш писк, удавят, как щенят...

Последний звук виолончели замер; последние осколки хрустальной лестницы рухнули — и наступило молчание, мрак; и во мраке — белое, жирное, как опара, из квашни расползшаяся,— лицо Крылова, лицо всей рабьей земли: «Долго ли до поросенка под хреном?»

В лице Софьи было такое страдание, такой ужас, что Голицын сам ужаснулся тому, что сделал.

— Софочка, милая...

— Нет, оставьте, не надо, не надо, молчите! Потом...— проговорила она, еще больше бледнея; быстро встала и пошла от него. Он хотел было идти за ней, но почувствовал, что не надо,— лучше оставить одну. Ужаснулся. Но радость была сильнее, чем ужас; радость о том, что теперь любовь к Софье и любовь к свободе для него — уже одна любовь.

Захотелось играть, шалить, как школьнику. Подсел к дедушке Крылову и шепнул ему на ухо с таинственным видом:

— Все ли с огурцами, дедушка?

— Ну, ну, чего тебе? Каких огурцов? — покосился тот недоверчиво.

— Из вашей же басни, Иван Андреевич! Помните, «Огородник и Философ»:

У Огородника взошло все и поспело,
А Филосо́ф —
Без огурцов.

Это ведь о нас, глупеньких. А вы, дедушка, умница — единственный в России филосо́ф с огурцами...

— Ну, ладно, ладно, брат, ступай-ка, не замай дедушку...

— А только как бы и вам без огурцов не остаться? — не унимался Голицын.— У дядюшки-то моего в министерстве, знаете что? На баснописца Крылова донос...

И рассказал, немного преувеличивая, то, что действительно было. Филарет Московский, составитель Катехизиса, предлагал запретить бо́льшую часть басен Крылова за глумление над святыми, так как в этих баснях

названы христианскими именами бессловесные животные: медведь — Мишкою, козел — Ваською, кошка — Машкой, а самое нечистое животное, свинья — Февроньей.

Крылов остолбенел, вытаращил глаза, и рот у него перекосился так, что, казалось, вот-вот сделается с ним второй удар. Голицын уже и сам не рад был шутке своей.

Подошла Марья Антоновна и, когда узнала, в чем дело, рассмеялась.

— Крылышко, миленький, как же вы не видите, что он пугает вас нарочно? Никакого доноса нет, а если б и было что, разве мы вас в обиду дадим?

— Матушка!.. Марья Антоновна!.. Кормилица!..— лепетал Крылов и целовал ее руки, и готов был повалиться в ноги.

Долго еще не мог успокоиться, все крестился, чурался, отплевывался:

— Ахти, ахти!.. Грех-то какой!.. Февронья-Хавронья... А мне и невдомек... Господи, Матерь Царица Небесная!..

Наконец позвали ужинать. Только войдя в столовую и увидев поросенка, который, оскалив мордочку, улыбнулся ему ласково, как внучек дедушке,— Иван Андреевич успокоился окончательно, выпил рюмку водки, подвязал салфетку, и опять воцарилась на лице его ясность невозмутимая:

А мне, что говорить ни станут,—
Я буду все твердить свое:
Что впереди — Бог весть, а что мое — мое.

Уходя от Нарышкиных, Голицын встретился на лестнице с князем Трубецким и сказал ему, что о своем поступлении в Тайное Общество завтра, после свидания с Аракчеевым, даст решительный ответ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Милый друг Софа, сегодня я не приду к вам, как обещал. Я устал на заупокойной обедне и, хотя ноге моей лучше, но она все-таки дает себя чувствовать. Штофрегент говорил мне, что вы опять больны. Он жалуется, что вы недостаточно бережетесь. Если б вы знали, как это огорчает меня! Прошу вас, дитя мое, исполняйте

советы медиков в точности: всякая неосторожность в здешнем климате может быть для вас пагубна. Будьте же умницей, слушайтесь докторов и лечитесь как следует. Только что выберу свободную минуту, приеду к вам и надеюсь видеть вас уже здоровой. Государыня целует вас. Медальон с ее портретом почти готов; я сам привезу его вам. Храни вас Бог.

11 марта 1824 г.
С.-Петербург».

Это письмо государя, написанное по-французски, передала Софье старая няня, Василиса Прокофьевна. Когда Софья прочла его, ей захотелось плакать.

— Ну, хорошо, ступай,— проговорила она, едва удерживая слезы.

— Лекарство принять извольте, барышня!

С решительным видом Прокофьевна взяла склянку с лекарством и ложку.

— Не надо, оставь. Потом. Сама приму... Ступай же!

— Давеча не приняли и теперь не хотите!..

— Ах, няня, няня! Господи, какая несносная... Да ступай же, говорят тебе, ступай!..— прикрикнула на нее Софья, и слезы детского упрямства, детской обиды задрожали в голосе.

Но старушка не уходила и, налив лекарство в ложку, продолжала ворчать:

— Доктор, небось, велел аккуратно, а вы что? И маменьке обещали, и папеньке...

Поднесла к самым губам ее ложку.

— Сейчас принять извольте.

Ложка дрожала в старых руках, вот-вот расплещется. Когда Софья представила себе, что проглотит мутно-желтую густую жидкость с отвратительно-знакомым вкусом, вкусом болезни, ей показалось, что ее стошнит. Склоненное над нею, с поджатым, ввалившимся ртом, сморщенное лицо старушки, незапамятно-родное, милое, все, до последней морщинки, нежно любимое,— вдруг сделалось ненавистным, тошным, как вкус лекарства. Ей казалось, что она больна не от болезни, а от няни, от мамы, от доктора, от Шувалова, от всех, кто к ней пристает, мучит ее. Злобно оттолкнула протянутую руку. Ложка упала на пол, лекарство пролилось.

— Матерь Царица Небесная! — взахалась Про-

кофьевна.— Ковер залили! Ужо Филатыч увидит... Что же это такое, Господи? Что за ребенок! Ни лаской, ни сердцем! Погоди-ка, сударыня, вот ужо скажу папеньке...

«Какому папеньке?» — подумала Софья. Няня называла когда-то Дмитрия Львовича папенькой, теперь — государя, а прежнего папеньку — дяденькой или просто барином,— его превосходительством; только иногда путалась и стыдилась. Разве она маленькая? Разве не знает всего? Чего же стыдиться? Два — так два.

Старушка вышла. Слава Богу, теперь можно подумать, поплакать. Но только что уселась поудобнее, поджала под себя ноги, закуталась в старенький нянин платок и начала думать — послышались старческие, шаркающие шаги. Прокофьевна вернулась с полотенцем. Кряхтя, опустилась на колени, вытерла пол и опять начала наливать лекарство в ложку. Софья вскочила, вырвала у нее склянку, бросила ее в камин,— бутылка разбилась вдребезги, лекарство зашипело на горящих угольях,— и закричала, затопала:

— Вон! Вон! Вон!

— Воля ваша, Софья Дмитриевна, а только, как заболеете опять, сляжете,— хуже будет. Бог вам судья, не жалеете вы папеньку...

— И не жалею, и заболею, и слягу, и умру, умру, подохну... И пусть! Так мне и нужно. Оставьте меня, оставьте!.. Ради Бога! не мучьте... Не могу я больше, не могу... Уходи же! Уходи! Уходи!

Бросилась лицом в подушку, зарыдала; худенькие плечи задергались от разрывающей судороги кашля.

Когда успокоилась и подняла лицо, няни уже не было в комнате. На носовом платке увидела привычное алое пятнышко. Надо будет спрятать от няни, от маменьки, от папеньки, от доктора, от всех. А то опять пойдут разговоры: кровью кашляет, на юг везти. А лучше умереть, чем уехать сейчас.

Жаль няню. За что обидела? Где-нибудь плачет теперь. Пойти помириться. Но когда встала, почувствовала, что ноги подкашиваются, в глазах темнеет. А может быть, это день такой темный? На дворе бесконечная мартовская оттепель с мокрым снегом.

Опять опустилась на диван, поближе к огню, уселась «какорою», как говорила няня, подобрала ноги,

руками обняла колени, съежилась вся, сделалась маленькой, с головой закуталась в платок.

Перечла письмо; поцеловала то место, где сказано о государыне. Вспомнила свои редкие, словно запретные и влюбленные, встречи с нею, то в церкви, то во время прогулки на набережной, в Летнем саду или на Крестовском острове; вспомнила ее усталое, почти старое, но все еще прекрасное, не женское, а девичье лицо; благоуханную свежесть, как будто не духов от платья, а от нее самой, как от цветка; торопливые, словно тоже запретные и влюбленные, ласки; теплоту поцелуев и слез ее на лице своем и робкие взоры, которыми оглядывалась императрица, как будто боялась, чтобы их не увидели вместе; и почти безумный, жадный, страстный шепот: «Девочка моя милая, любишь ли ты меня хоть чуточку?» — и свой ответный, такой же безумный, страстный шепот: «Люблю, маменька, маменька!» — и такое при этом счастье, какое бывает только во сне. Тогда, ребенком, сама не понимала, что́ говорит; потом поняла. Да, другая настоящая мать, как другой настоящий отец. Два отца, две матери. Но она ведь знает, что настоящая мать одна. Так почему же?.. Нет, лучше об этом не думать. Страшно.

Хотелось опять кашлять, но удерживалась, а то будет кровь; если много, то не спрячешь. Вспомнилась крошечная обезьянка Тинька, ее любимица, которая не вынесла петербургской зимы, простудилась, долго кашляла, дрожала от озноба, вся скорчившись и сидя тоже какорою, поближе к огню; глядела на всех жалкими детскими глазами, странно, по-птичьи, языком щелкала и, наконец, умерла от чахотки.

Тинькой ее прозвала няня, потому что несколько похожа была на эту обезьянку Софьина француженка, мадам д'Аттиньи; няня звала ее тоже Тинькой, недолюбливая обеих — мартышку, похожую на черта, и мадам, похожую на ведьму. Ходили слухи, будто в ранней молодости, еще во время Великой революции, мадам д'Аттиньи была первосвященницей Авиньонского тайного общества, основанного графом Фаддеем Грабянкою, который занимался черной магией. Через него мадам д'Аттиньи, «великая матерь богов, Геката[1], Диана, ца-

[1] Покровительница злых духов ночи и колдовства (*греч. миф.*).

рица неба и ада, современная хаосу», как называли ее адепты, поступила гувернанткой к Нарышкиным. Умерла в глубокой старости; перед смертью впала в детство, сморщилась, ссохлась и сделалась еще больше похожа на обезьяну.

Всю ночь сегодня в бреду Софье снилась Тинька, не то мадама, не то мартышка: бегает, будто, прыгает по комнате, языком щелкает: «Я — Геката, я — Диана, я — великая матерь богов!» Потом вдруг вскочила ей на грудь, стала душить. Снилось также, что дедушка Крылов сечет маленькую девочку до крови и кричит ей: «Тинька, Тинька, слижи кровь языком!» — и девочка, ползая на карачках по полу, сморщивается, ссыхается, становится Тинькою и языком слизывает кровь. А потом — будто множество маленьких, черненьких полущенят, полумартышек присосались к белым, толстым грудям бабы Ненилы, покровской скотницы. Вот и сейчас, кажется, забралась к ней Тинька под платок и холодной лапкой щекочет ей горло, так что хочется кашлять до крови.

Очнулась; с усилием открыла глаза; поняла, что бредит. Неужели, и правда, заболеет, сляжет опять, как в прошлом году, до самого лета,— так и не увидит «настоящей маменьки»? Нет, вздор, не надо поддаваться болезни. Вот угрелась — и прошел озноб; только жарко, душно под платком. Скинула его, встала, подошла к окну.

Окно зеркальное, в полукруглом балконе-фонарике, выходящем на Фонтанку. Посмотрела в обе стороны, к Симеоновскому мосту и к Невскому, не промелькнет ли знакомая, темно-синяя карета с бородатым кучером Ильею? Намедни тоже папенька писал, что не будет, а потом приехал.

Кареты не было, а тянулись похоронные дроги с маленьким гробиком, сосновым, белым, парчой не прикрытым; вместо парчи — серый мокрый снег. За гробиком шел старый, плешивый, красноносый чиновник в куцей шинелишке, похожей на женский салоп; шатался, как пьяный, не то от горя, не то от водки; крошечная девочка вела его за руку, должно быть, сестрица покойника. По ухабам и ямам раскачивались дроги так, что вот-вот гробик свалится в грязь.

Небо мутно-желтое с темно-серыми пятнами. И сып-

лется оттуда изморозь, не то льдистый дождь, не то мокрый лед. Оттепельный черный, страшный город похож на труп, с которого сорвали саван. И трупным запахом проникает мутно-желтый, удушливо-едкий туман сквозь окно в комнату, сжимает горло, саднит грудь так, что нечем дышать. А на другой стороне Фонтанки, на челе казенного здания Екатерининского института, парит с распростертыми крыльями двуглавый орел. Над черной петербургской слякотью, над черным, оголенным трупом кажется он зловещим и нелепо-торжественным.

Опять подкосились ноги, потемнело в глазах. Оперлась о подножие бюста. Это был снимок с Торвальдсенова мрамора — изваяние императора Александра I.

Когда прошла темнота в глазах, вгляделась в мрамор. Он ей не нравился: родное лицо казалось чужим; напоминало виденных в музеях древних римских императоров: Траяна, Антонина, Марка-Аврелия,— та же печально-покорная, как бы вечерняя, ясность и благость в чертах. Пухлые бритые щеки с ямочками; короткий, тупой, упрямый нос; плешивый, крутой лоб; на лбу суровая, почти жестокая, морщинка, а на извилистых, тонких, немного вдавленных, как будто старушечьих, губах — неподвижно-любезная улыбка.

Взглянула, сравнивая, на висевший в той же комнате портрет императрицы Екатерины. Да, у обоих, у внучка и бабушки,— одна улыбка. Двусмысленное противоречие между этой слишком ласковой улыбкой губ и жестокой морщиной лба.

Вспомнилось, как, бывало, ребенком, когда долго не видала отца и соскучивалась по нем,— тайком от всех, подходила к бюсту, взбиралась на стул, становилась на цыпочки и, закрыв глаза, целовала холодный мрамор, пока не теплел он,— как будто отвечал на ее поцелуй поцелуем.

Так и теперь прижалась к нему жаркой щекой. Но тотчас отняла ее: озноб пробежал по телу, как холод смерти; в мутно-желтом свете дня желтизна мрамора напоминала тело покойника. Слепыми белыми зрачками смотрела на нее страшная кукла с двусмысленной улыбкой.

Софья закрыла глаза, стараясь увидеть живое лицо его, но не могла. Сделалось так больно, что, казалось, умрет, если не увидит его, живого, сейчас.

Внизу, у крыльца, послышался стук кареты. «Папенька! Папенька!» Бросилась к окну. Но это была карета Шувалова. Он вошел в подъезд. Неужели сюда, к ней? Прислушалась. По далекому хлопанью дверей поняла, что прошел к маменьке. Слава Богу!

Продолжала смотреть на улицу, все еще надеясь. Там громыхали только телеги мясников, должно быть, с бойни, из-под мокрых рогож торчали окровавленные, раскоряченные туши. Ей казалось, что она слышит запах сырого мяса, видит, как теплая красная кровь капает на черную грязь.

Зажмурила глаза, чтобы не видеть. С трудом волоча ноги, вернулась на диван у камина, повалилась в изнеможении, но не закрывала глаз, чтобы опять не начался бред, смотрела пристально сквозь открытые двери в соседнюю, белую залу с колоннами, где вчера давался концерт. Почти против двери — большое зеркало, в котором отражался портрет юного императора. Из таинственной, зеркально-темной, как будто подводной, глубины улыбался ей все той же вечной, двусмысленной улыбкой голубоглазый, пепельнокудрый мальчик.

О чем уже давно хотела подумать? Да, о Шувалове и Голицыне. Почему граф Андрей, непонятный, ненужный, далекий — ее жених, а не Валя, родной, близкий? Дурочкой была, когда согласилась: ничего не знала; теперь знает, что́ значит быть замужем.

В прошлом году в Париже, во время укладки вещей,— маменьки не было дома,— попалась ей в руки маленькая золотообрезанная книжечка в пергаменте, антверпенское издание с непристойными картинками. Долго рассматривала их, удивлялась, ужасалась, но не понимала. Вдруг поняла все или почти все; поняла, почему, много лет назад, когда раз нечаянно вошла в комнату, тогдашний маменькин друг, молодой генерал-адъютант Ожаровский, вскочил, испуганный, красный, растрепанный, похожий на непристойную картинку, и маменька на нее закричала, едва не прибила, неизвестно за что; поняла, почему и другие бесчисленные маменькины друзья, чужие люди, становились как будто родными; сажали ее, Софочку, к себе на колени, ласкали, называли своей дочкою, а ей было скучно, страшно от этих ласк. Вспомнила рассказ в старинном московском «Журнале для милых»: как Аглантин и Аннушка купались

вместе в речке, подобно Адонису и Венере; а потом, когда Аннушка горько о чем-то заплакала, Аглантин ее утешал: «Я тебя уверяю, мой друг, что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное»...

Тогда, после тех антверпенских картинок, заболела от ужаса и отвращения к матери, к Шувалову, к себе, ко всем людям, ко всему миру. Один Валя казался ей чистым, и она была уверена, что он бы понял ее. «Натуральное наслаждение!» Если такова натура и Сам Бог устроил так, то она не хочет мира, не хочет Бога. Ей казалось, что она больна и, может быть, умрет не от болезни, а от этого.

В соседней белой зале послышались приближающиеся голоса: Шувалов, маменька. Софья вскочила, чтобы убежать: не могла их видеть сейчас. Но вдруг остановилась, окаменела, глядя широко раскрытыми глазами в глубину зеркала. Опять бредит, что ли? Нет, слишком ясно видит то, что видит: Шувалов целует Марью Антоновну, и у обоих такие лица, как тогда, когда Софья вошла нечаянно в комнату, где Ожаровский делал что-то с маменькой. Непристойная картинка. Жених — с матерью. А голубоглазый мальчик улыбался им двусмысленной улыбкой.

С тихим стоном, протянув руки вперед, как будто защищаясь от привидения, Софья упала навзничь на диван. Все помутилось, поплыло в глазах ее, и сама она плыла, утопала в бездонной глубине.

Очнулась. Увидела над собой лицо матери и опять лишилась чувств.

Но матери уже не было в комнате, когда очнулась во второй раз, окончательно. Послышались шаркающие шаги Прокофьевны — и вдруг вблизи знакомый голос:

— Да скоро ли доктор?

— Папенька! Папенька!

Он обернул к ней лицо, испуганное, бледное, бросился к дивану, стал на колени и, наклонившись над ней, поцеловал ее в лоб.

— Ну, слава Богу, слава Богу! — перекрестился.— Софочка, милая, вот напугала-то!..

Обвив ему шею руками, она вся прижималась к нему, цеплялась за него, как утопающая.

— Папенька! Папенька! Папенька!

Немного приподнялась, отстранилась и всего оглядывала, ощупывала, как будто желала убедиться, что это он. Да, он, живой, настоящий, не холодная мертвая кукла, не древний римский император, а живой, родной, теплый, настоящий папенька. Оглядывала, ощупывала, трогала пальцами. Вот пухлые бритые щеки с ямочками, с двумя полосками золотистых бакенов, и мягкий раздвоенный подбородок, и гладкий плешивый лоб с остатками белокурых вьющихся волос, начесанных кверху, и между нависшими бровями — морщинка, не гневная, а только грустная, жалкая; и жалкие, грустные, детские прозрачно-голубые глаза; и на губах, прелестно очерченных, юных, улыбка не лукавая, а пленительно-нежная, тоже детская, беспомощная. И сутулые плечи, немного наклоненные вперед; и тучный, но все еще стройный стан, затянутый в узкий темно-зеленый кавалергардский мундир с серебряными погонами; и стройные, словно изваянные, ноги в лакированных ботфортах с острыми кончиками. Да, весь родной, любимый, возлюбленный.

Опять прижалась к нему, полузакрыв глаза, улыбаясь.

— Ну, вот видишь, дружок: не надо было вставать; доктор правду говорил: лежала бы — ничего бы не было...

— Да ничего и нет, папенька! Я совсем здорова. Маленький жар. Пройдет...

— Ну, где же здорова? Вон кашляешь, голова горячая, и руки как лед. Будь умницей, пойдем-ка, ляг: сейчас доктор придет.

— Зачем доктор? — заговорила она по-французски, изредка вставляя русские слова, как обыкновенно говорила с ним.— Я не буду больна, не буду кашлять. Только не уходите, ради Бога, не уходите! Не могу я без вас. Если бы вы знали, как страшно, как страшно...

— Да что тут было? Что такое? Скажи...

— Нет, не надо. Не говорите, не спрашивайте! Ничего не надо. Только бы так с вами долго, долго, всегда. И все хорошо будет, все пройдет. И никого не надо. Только вы и маменька... ох, нет, нет... не та, а другая, настоящая маменька...

Он думал, что она бредит; но, вглядевшись в лицо ее, понял, что это не бред.

— Что ты, дружок? Господь с тобой! Разве можно так о матери?..

— Не мать! Не мать! Не могу я больше, не могу, не хочу!.. Страшно, гадко... Папенька, папенька, возьми меня отсюда! Разве не видишь, что я не могу...

Зарыдала и, бросившись к нему на шею, опять охватила его руками, уцепилась за него, как утопающая.

— Ну, полно же, полно, дружок! О чем ты? Ведь я же тебе обещал: когда выйду в отставку, уедем с тобой и будем вместе, всегда вместе...

— Да, папенька, ты обещал, помнишь? Только когда же, Господи?..

Заглянула ему в глаза пристально. Увидела, что он думает или сейчас думал о другом, о своем,— может быть, таком же страшном, как и то, что было с нею. О чем же? Вдруг вспомнила: 11-е марта — годовщина смерти императора Павла I. Знала, какой это день для него; знала, что дедушка умер не своею смертью, и что отец всегда об этом думает, мучается этим, хотя никогда ни с кем не говорит. Если и не знала всего, то угадывала. Сколько раз хотела заговорить, спросить; но не смела. И теперь не посмела; только повторила вслух:

— Одиннадцатое марта, одиннадцатое марта...

Он смотрел на нее так же пристально, как она, и по лицу его пробежала тень; появилось, как в мраморном лице, двусмысленное противоречие между слишком суровой морщиной лба и слишком ласковой улыбкою губ.

— Вы сегодня в церкви, папенька... Заупокойная обедня длинная... Устали, измучились?.. А тут еще я... И нога болит? Ведь болит, а?

— Нет, ничего.

— Ну, зачем приехали? Сидели бы дома... Нет, нет, нет, хорошо, что приехали! Ох, хорошо, Господи! Я бы тут умерла без тебя...

Он больше не расспрашивал. Оба чувствовали, что между ними то, о чем нельзя говорить: лучше понимать и жалеть молча. Он был так же одинок и беспомощен, как она; так же за нее цеплялся, как утопающий. Одной рукой держал ее голову, другой — тихонько гладил волосы,— качал, баюкая.

Опять, улыбаясь, полузакрыла глаза, дышала все тише и тише, но заснуть боялась, чтобы не ушел во сне. И сквозь дремоту казалось ей, что в селе Покровском,

у пруда, за теплицами, тринадцатилетняя девочка в коротеньком белом платьице, вместе с братом — женихом возлюбленным, читает старую, страшную, милую сказку:

Кончен путь; ко мне, Людмила!
Нам постель — темна могила,
Завес — саван гробовой.
Сладко спать в земле сырой...

— Папенька... Валенька...— шептала в полусне.

И кто — отец любимый, кто — жених возлюбленный, уже не могла отличить. Оба — одно. И любит вместе обоих.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Свиданье с Аракчеевым было страшно князю Валерьяну Голицыну, хотя он и смеялся над этим свиданьем.

Знал, что у государева любимца — белые листы бумаги, бланки за царскою подписью; он мог вписать в них, что угодно — чины, ордена, или заточение в крепость, ссылку, каторгу. Мог также оскорбить, ударить — и чем ему ответить?

«Я друг царя,— говаривал,— и на меня жаловаться можно только Богу».

Несколько лет назад прошел слух, будто сочинителя Пушкина высекли розгами в тайной полиции; лучшие друзья поэта передавали об этом с добродушной веселостью.— «Может ли быть?» сомневались одни.— «Очень просто,— объясняли другие: — половица опускная, как на сцене люк, куда черти проваливаются; станешь на нее и до половины тела опустишься, а внизу, в подполье, с обеих сторон по голому телу розгами — чик, чик, чик. Поди-ка пожалуйся!»

Да что поэт или камер-юнкер, когда великие князья трепетали перед *змием*. Преображенским офицером, стоя на карауле в Зимнем дворце, князь Валерьян увидел однажды, как Николай Павлович и Михаил Павлович, тогда еще совсем юные, сидя на подоконнике, ребячились, шалили с молодыми флигель-адъютантами; вдруг кто-то произнес шепотом: «Аракчеев!» — и великие князья, соскочив с подоконника, вытянулись, как солдаты, руки по швам.

Да, страшно, но под страхом — надежда.

Года два тому назад Голицын подал государю записку об освобождении крестьян и о конституции, как о близком будущем, воле самого императора, с высоты престола объявленной.

О записке с тех пор ни слуху, ни духу, как в воду канула. Да он уже и сам не верил в мечты свои, знал, что надеяться не на что; а все-таки надеялся: что если государь пожелает видеть его,— он скажет ему все,— и тот поймет.

Вспоминал портрет юного императора: белые, в пудре, вьющиеся волосы, цвет кожи бледно-розовый, как отлив перламутра, темно-голубые глаза с поволокою, прелестная, как будто не совсем проснувшаяся, улыбка детских губ. Похож на Софью, как брат на сестру.

Иногда Голицыну снилось это лицо, и не знал он, чье оно, отца или дочери,— но во сне влюблен был в обоих вместе, как некогда влюблена была вся Россия в прекрасного отрока.

— Я желал бы видеть всюду республики: это единственная форма правления, сообразная с правами человечества,— говаривал государь с этой детскою улыбкою. А потом, после чугуевской бойни[1], где проводили людей сквозь строй по двенадцати тысяч раз,— плакал на груди Аракчеева: «Я знаю, чего это стоило твоему чувствительному сердцу!»

Отец Софьи и друг Аракчеева, республика и шпицрутены, ожидание чуда и ожидание розог — все смешалось, как в бреду, в мыслях Голицына. Чтобы отвязаться от них, лег спать.

Дурной сон приснился: похоронное шествие; в открытых гробах — скелеты и уродцы в банках со спиртом; все знакомые лица — старые приятели, члены Тайного Общества; он и сам плавает в спирту, похожий на бледную личинку,— гомункул в очках.

Проснувшись, долго не мог понять, что это было; наконец понял: профессора́ Казанского университета хоронили анатомический кабинет, по предложению Магницкого.

Когда на следующий день, в назначенное время,

---

[1] В 1819 году было восстание военных поселенцев Чугуевского полка, требовавших отмены военных поселений.

к шести часам вечера, князь Валерьян вошел во флигель-адъютантскую комнату Зимнего дворца, находившиеся там генерал-адъютанты Уваров, Закревский, князь Меншиков, Орлов, приветствовали его особенно ласково.

— За твое здоровье, князенька, свечку пудовую: обругал подлеца, как следует! — сказал, пожимая ему руку, Меншиков.

— Воистину — *гадина!* — воскликнул Орлов.

— Змий! — добавил Закревский.

— Ну, какой змий? Просто *ночанка!* — возразил Уваров и рассказал, как у одного мужика в Грузине нашли в платье засушенную летучую мышь, «ночанку», которую носил он при себе для того, будто бы, чтобы извести колдовством Аракчеева; а тот засек его до смерти, приговаривая: «Буду я тебе сам ночанкою!» — Так вот и для всей России ночанкою сделался.

— И неужели же никого не найдется, чтобы открыть государю глаза на этого изверга? — заключил Уваров.

Из приотворенной двери высунул голову с плоским деревянным, кукольным лицом адъютант Аракчеева, немец Клейнмихель.

— Пожалуйте, князь!

Голицын вошел в секретарскую, большую темную комнату с окнами на дворцовый двор.

У стола, крытого зеленым сукном, сидел Аракчеев. Перед ним стоял старый генерал, может быть, один из боевых генералов двенадцатого года, сподвижников Багратиона и Раевского в тех славных боях, в которых царский любимец не принимал участия «по слабости нервов». Слушая выговор, как школьник, виновато горбил он спину и вбирал голову в плечи; не видя лица его,— он стоял к нему спиною,— Голицын видел, по гладкой и красной, как личико новорожденного, лысине, по вздувшейся над воротником сине-багровой складке шеи, что старик ни жив, ни мертв.

— Не думаете ли вы, сударь, отлынять от службы, видя, что у меня камер-юнкерствовать не можно? — говорил Аракчеев гнусавым, ровным, тихим, почти шепотным голосом: нельзя говорить громко в покоях государевых.— Предписание за нумером тысяча восемьсот семьдесят третьим, которое поставило, будто бы, вас в невозможность исполнять обязанность вашу в точности, совсем не требует от вашего превосходительства ника-

ких невозможностей, коих, впрочем, по службе и быть не должно...

Видно было, что может говорить так, не переводя духа, не изменяя выражения лица и голоса, час, два, три — сколько угодно.

Голицыну случалось видеть Аракчеева; но теперь вглядывался он с особенным любопытством, как будто видел его в первый раз.

Лет за пятьдесят. Высок ростом, сутул, костляв, жилист. Поношенный артиллерийский темно-зеленый мундир; между двух верхних пуговиц — маленький, как образок, портрет покойного императора Павла I. Лицо — не военное, а чиновничье. Впалые бритые щеки, тонкие губы, толстый нос, слегка вздернутый и красноватый, как будто в вечном насморке. Ни ума, ни глупости, ни доброты, ни злобы — ничего в этом лице, кроме скуки. Полуоткрытые над мутными глазами веки делали его похожим на человека, который только что проснулся и сейчас опять заснет.

— Я люблю, чтобы все дела шли порядочно,— скоро, но порядочно; а иные дела и скоро делать вредно. Все сие дано нам от Бога на рассуждение, ибо хорошее на свете не может быть без дурного, и всегда более дурного, чем хорошего...

За окном шел мокрый снег. В комнату вползали серые, как паутина, сумерки. И в серой паутине сумерек, в серой паутине слов была скука нездешняя, которой, должно быть, в гробах скучают мертвые; страшно было от скуки.

Аракчеев кивнул головой в знак того, что аудиенция кончена. Пыхтя и отдуваясь, потный и красный, как из бани, генерал вышел из комнаты.

Голицын подошел к столу.

— Князя Александра Николаевича племянничек?

— Точно так, ваше сиятельство!

— Ну, князь, два дела к вам. Первое: за ношение очков в присутствии особ августейших государь повелел сделать вам замечание строжайшее. Второе — касательно записки вашей...

Подал ему бумагу, на которой большими буквами, красным карандашом, его, Аракчеева, собственной рукой написано было с тремя ошибками, в пяти словах: «Возвратить бумаги сии по ненадобию в оных».

— Вы уж на меня, старика, не погневайтесь,— посмотрел ему не в глаза, а в брови (никогда не смотрел собеседнику прямо в глаза), и лицо его вдруг сделалось ехидно-ласковым.— Я человек простой, неученый; как бедный новгородский дворянин, совершенно по-русски воспитан; у дьячка учился грамоте, по Часослову[1]: мудрено ли, что мало знаю? Вот и в записке вашей,— при простом уме моем, никак в толк не возьму,— о какой конституции писано? Сколько лет на свете живши, о том не слыхал и полагал доселе, что у нас в России правление самодержавное...

Опять нескончаемая паутина слов; опять страшно, скучно нездешнею скукою.

Вдруг встал, перешел от стола к камину и поманил Голицына пальцем: не хотел, должно быть, чтобы адъютант слышал. Когда Голицын подошел, взял его за пуговицу и зашептал почти на ухо, еще ласковей, вкрадчивей:

— Я всегда, ваше сиятельство, в оном несчастлив, что обо мне дурно публика думает. Ну, да ведь и то сказать, один умный человек спрашивал: сколько дураков нужно, чтобы составить публику? Посему и не весьма опасаюсь санкт-петербургского праздноглаголания: собака лает, ветер носит. Была бы совесть чиста... Вещица сия, изволите видеть, как называется?

— Экран, ваше сиятельство!

— Экран, да-с! Ну, так вот и ваш покорный слуга все равно, что экран; за моей спиной что ни делается, а моим лицом все покрывается. Валят на меня, как на мертвого. И ругают за все: Аракчеев — злодей, Аракчеев — изверг, Аракчеев — *гадина*. А вся-то вина моя, что никому не льщу, по прямому моему характеру, да волю государя императора исполняю в точности. Что велит, то и делаю. Хоть конституцию, хоть самую республику, велит — сделаю... Мне что?

«А ведь не глуп,— удивился Голицын.— Только что ему от меня надо?»

— Вот и дядюшка ваш, князь Александр Николаевич, меня, старика, не жалует; а я зла никому не помню, по закону евангельскому: любите ненавидящих вас. И в тебе, голубчик, князь Валерьян Михайлович,

[1] Церковно-служебная книга.

уверен, что ты меня полюбишь, видя, что я с тобой обхожусь как истинный христьянин...

Умолк,— и веки, над мутными глазами полузакрытые, закрыл совсем, как будто забыл о собеседнике и, угревшись у камина, стоя, задремал. Голицын тоже молчал, рассматривая лицо его вблизи; заметил неожиданную в этом лице странную, мягкую, на раздвоенном подбородке, ямочку и почему-то не мог отвести от нее глаз. Вспомнилось ему «чувствительное сердце» Аракчеева, которого пожалел государь после чугуевской бойни; вспомнилась также дворовая девка, Настасья Минкина, которая в минуту нежности целовала Аракчеева, должно быть, в эту самую ямочку.

А тот вдруг медленно-медленно приоткрыл один глаз, как будто исподтишка подмигивая, и посмотрел Голицыну опять не в глаза, а в брови.

— А что, князь, давно ли вы членом Тайного Общества?

— О каком Тайном Обществе, ваше сиятельство, говорить изволите? — ответил Голицын с таким спокойным недоумением, что сам себе удивился; но сердце у него упало,— подумал: «Начинается!»

— Не знаете? Ну, а мы все знаем, все знаем, и не только о вас, но и о дядюшке...

— Дядюшка — в Тайном Обществе! — не удержался Голицын и, хотя спохватился тотчас, но было поздно.

— Что же так удивились, если ничего не знаете? А, может, и знаете что, да забыли? А?

— Если бы и знал что, ваше сиятельство, то не мог бы ничего сказать, не быв подлецом и доносчиком! — ответил Голицын, бледнея уже не от страха, а от злобы.

— Ну, полно, князь, полно! Не хочешь, и не надо. Я ведь с тобой как отец говорю, тебе же добра желаючи, чтобы сделать из тебя, по уму твоему, государю человека полезного. Очки — пустое, а ты на хорошем счету: по Веронскому конгрессу помнит тебя государь вместе с графом Шуваловым, женихом Софьи Дмитриевны, и всегда отзываться изволит милостиво. Сегодня — камер-юнкер, завтра — камергер. Ни за что я, дружок, тому не поверю, что есть такой на свете камер-юнкер, который не желал бы камергером сделаться... Подумай, князь, подумай хорошенечко. Утро вечера мудренее. Да приезжайка в Грузино — там потолкуем. Посети старика, милости

просим, я очень желаю видеть ваше сиятельство у себя в Грузинской пустыне...

«Твоим вниманием не дорожу, подлец!» — вспомнился Голицыну рылеевский стих, когда к двум протянутым пальцам Аракчеева — знак редкой милости — прикоснулся он, чувствуя, что этою ласкою хуже, чем розгою, высечен.

Прием кончился. Клейнмихель ушел.

Аракчеев, подойдя на цыпочках, словно крадучись, к двери в первую из двух зал, которые отделяли Секретарскую от кабинета государева, приотворил дверь осторожно и позвал шепотом:

— Ефимыч? А Ефимыч?

— Здесь, ваше сиятельство! — тем же осторожным шепотом ответил государев камердинер, Мельников.

— Не звал государь?

— Никак нет.

— Никого не было?

— Никого.

Все так же крадучись, на цыпочках, прошли обе пустынные залы. Когда половица скрипнула под ногой Мельникова, Аракчеев замахал на него руками. Во всех движениях его была бесшумно-шуршащая мягкость летучей мыши-ночанки.

Остановившись у двери кабинета, затаив дыхание, как будто умирающий был там за дверью, прислушались. Сперва Мельников, потом Аракчеев наклонился привычно ловким движением к замочной скважине и приложил к ней глаз: государь сидел один, читая книгу. Переглянулись молча.

Опять вернулись в Секретарскую.

— Проводи отца Фотия, чтоб никто не видал.

— Слушаю-с, ваше сиятельство!

— Князевой кареты с набережной не было?

— Не было.

— А с Эрмитажа?

— И оттуда не было. Везде люди поставлены: не пропустят.

— Смотри же: если что, сейчас доложи.

— Будьте покойны, ваше сиятельство!

— Да кучеру Илье скажи, не забудь: ежели государь на Фонтанку поедет,— курьера ко мне на Литейную тотчас же.

На Фонтанку — значило: к министру духовных дел, князю Александру Николаевичу Голицыну.

Аракчеев вынул из кармана золотую табакерку и сунул в руку Мельникова. Тот не понял, открыл ее, понюхал с таким благоговением, как будто к мощам приложился, и хотел отдать.

— Возьми, Ефимыч, на память.

— Ваше сиятельство! И так милостями осыпан... не знаю, как за вас Бога молить! — проговорил, целуя ему руку, Мельников.

— Смотри же, братец, чтоб все в аккурате было.

— Будьте покойны, ваше сиятельство!

Когда камердинер ушел, Аракчеев сел в кресло у камина и вынул из портфеля письмо.

«Любезный мой отец и благодетель, батюшка, ваше сиятельство! Нет вас — нет для меня веселья и утешенья, окроме слез: все плачу, да плачу; воображаю, мой отец, что выходите из спальни и целуете меня за сюрприз. А подумаю, что вас нет,— так слезами и зальюсь. Если вы останетесь еще долго там один, то лучше уж прямо к вам, на Литейную, в тележке приеду, чем представлять вас каждую минуту с растерзанным сердцем. А у нас, батюшка, на мызе благополучно. Люди здоровы, а также скот и птицы. Только в молошнике разбил крышку фарфоровую Матюшка, и я его за то высекла; и Нефеда, и Финогена повара, по вашему, отец, приказу, также высекла хорошенечко. А Француженка и Осенняя Фаворитка отелились на прошлой неделе. В оранжерейных рамах стекла вставили. А соленой телятины две кадушки попортились; я людям на кухню сдала. Поберегите себя, душа моя, ради Христа! В сырую погоду не выходите. На молоденьких не заглядывайся, дружок. Часто в вас сомневаюсь, зная ваш карахтер непостоянный, но все вам прощаю, по любви моей: ежели мне вас не любить, то недостойна я и по земле ходить. Вашего сиятельства по гроб жизни своей слуга вечная, Настя. И за галстучек тоже целую».

Закрыв глаза, представил себе, как она целует его за галстук и в подбородок, в самую ямочку. Задремал; послышалась музыка ветра в *эоловой арфе* на одной из грузинских башен, и в этой музыке — баюкающий голос Настеньки: «Почивайте, батюшка, покойно — вашему слабому здоровью нужен покой...»

Вздрогнул, очнулся. Не ровен час — пропустит Голицына.

Чтобы отогнать дремоту, принялся считать в уме: сколько нужно метелок для грузинской мызы: в кухню господскую по 2 в неделю — 104 штуки в год; в службы людские по 5 — 260 в год; в оранжереи, конюшни, флигеля — всего 1890 в год; на 5 лет — 9450, на 25—47.250.

Задача была слишком простая; придумал посложнее: сколько надо щебенки для шоссейной дороги от Грузина до Чудова.

В каждой куче: в вышину — 3 аршина 7 вершков; в окружности — 6 аршин 13 вершков; по откосу — 4 аршина 9 вершков. Трудно было сосчитать в уме; взял клочок бумаги, карандашик обгрызенный и начал делать выкладки, ставя цифры как можно теснее, так чтобы все уместилось на одном клочке: был скуп на бумагу.

Хорошо стало, тихо, спокойно, безгорестно-безрадостно, как в вечности.

Вдруг, в самой середине выкладок, когда расчет подходил уже к миллионам кубических вершков, приотворилась дверь из флигель-адъютантской.

— Ваше сиятельство, от его высочества, великого князя,— доложил Клейнмихель.

— Я тебе, чертов сын, говорил: в шею гони! — произнес Аракчеев, бросился на него, выругался нехорошим словом и поднял руку.

Клейнмихель не шелохнулся, подставляя бесчувственно-кукольное лицо свое: казалось, удар прозвучит по лицу, как по дереву.

Аракчеев опустил руку и только прибавил неистовым шепотом:

— Вон!

Вернулся в кресло у камина; но уже не мог продолжать счет: помешали — запутался; огорчился, почувствовал сердцебиение и расстройство нервов.

— О, Бог мой, Бог мой! — тяжело вздыхал.— Минутки не дадут покоя...

Принял миндально-анисовых капель; отдохнул, успокоился и опять погрузился в выкладки.

Опять хорошо стало, тихо-тихо, безрадостно-безгорестно, как будто никогда ничего не было, нет и не будет, кроме совершенно тождественных, правильных, единообразных каменных куч, уходящих по обеим сторонам шоссейной дороги в бесконечную даль.

После свидания с Аракчеевым князь Валерьян поехал к своему приятелю, князю Сергею Петровичу Трубецкому, директору Северной Управы Тайного Общества, объявил ему о своем решении поступить в члены Общества и через несколько дней был принят.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Прекрасная Юлия, вздыхая о возлюбленном своем Лиодоре, бродит кротчайшими шагами, бледная, унылая, с поникшей головой, в мрачной пустоте березовой рощи, где осенний Борей осыпает землю пожелтевшими листьями; картина осени вливает в состав растерзанного существа ее нечто мрачнейшее, нежели самая мрачная меланхолия»...

«Лиодор и Юлия, или Награжденная постоянность — сельская повесть». Бывало, во дни императора Павла, сидя под арестом на Гатчинской гауптвахте, в долгие осенние вечера, от скуки читывал Александр Павлович такие же точно романы и повести. Потом уже было не до книг; иногда целые годы ничего, кроме газетных вырезок да военных реляций, в руки не брал. Но, во время последней болезни, опять пристрастился к чтению.

Чем романы скучнее, глупее, стариннее, тем успокоительней, как старые детские песенки. Пожелтевшие страницы шуршат, как пожелтевшие листья осени, и осенью пахнет от них — сладостно-унылым запахом прошлого — того, что было юностью и стало стариной почти незапамятной. Двадцать пять лет, а как будто два с половиной столетия,— так все изменилось, так постарело все — постарел он сам.

«Прошла зима, и возлюбленный Лиодор вернулся к прекрасной Юлии. Отдыхая, при корне черемух благоухающих, обоняли они весенние амбры. Кроткая луна плавала в эмальной гемисфере.

— Коль восхитителен феатр младых прелестей натуры! — восклицала Юлия, в объятиях своего Лиодора предаваясь живейшей томности.

— О священная природа,— ответствовал Лиодор,— токмо во храме твоем человек добродетельный может существенно блаженствовать. Хотел бы я с чувствительностью прижать весь мир к моему меланхолическому сердцу, так же как прижимаю тебя, о Юлия!..»

Читал, сидя в покойном кресле и протянув больную ногу на подставку с мягким сафьянным валиком — устройство, придуманное государыней.

Рожистое воспаление на левой ноге была первая, за всю его жизнь, опасная болезнь. Язва доходила до берцовой кости, и врачи одно время опасались антонова огня. Теперь зажило все; но надо было беречься; нога все еще болела иногда, опухала после долгого стояния, как сегодня в церкви, во время заупокойной обедни. Сегодня — двадцать третья годовщина смерти императора Павла I: 11-е марта 1801—11-е марта 1824 года.

«Одной ногой в могиле»,— усмехнулся он, глядя на свою протянутую ногу, той грустной усмешкой над самим собою, которая являлась у него в последнее время все чаще.

От слишком долгой неподвижности нога затекала, немела. Надо было переменить положение. Но встать, пошевельнуться — лень.

В пять назначил себе приняться за работу; пробило пять, половина шестого, шесть, а он все откладывал.

Теперь, после болезни, часто находила на него эта лень, желание сидеть так, целыми часами, не двигаясь, уставив глаза в одну точку, ничего не делая, ни о чем не думая, только чувствуя, что душа затекает, немеет, как отсиженная нога, и бегают в уме, как мурашки в теле, маленькие мысли, случайные слова, Бог весть когда и где слышанные, прилипшие к памяти, назойливые. Все одна и та же, бесконечно, однозвучно тикает да тикает в ушах, как маятник, глупая песенка. Один стих забыл, старался вспомнить и не мог; выходила бессмыслица:

Но на счастье прочно...
К розе, как нарочно,
Привилась полынь.

Какая рифма на полынь? Простынь? Пустынь? Аминь? Нет, бессмыслица. Но чем бессмысленней, тем прилипчивей.

Или еще другое. Давеча, когда государыня советовала ему, вместо скучных русских романов, читать Вальтер Скотта, вспомнился ему анекдот Константина Павловича, большого любителя таких вздоров: как уезд-

ная барыня-старушка, слушая разговор о Вальтер Скотте, удивилась: «Конечно, господин Во́льтер большой вольнодумец, но право же, *скотом* нельзя его назвать».— «Вальтер Скотт, Во́льтер скот; Вальтер Скотт, Вольтер скот»,— если повторять быстро, с ударением на первом слоге, выходит, в самом деле, похоже.

«А воспаление-то сделалось там, где нога уже болела раз»,— подумал вдруг и вспомнил, как года три назад, на кавалерийских маневрах шальная лошадь зашибла ему ударом копыта это самое место — берцовую кость левой ноги. Так и в душе больное место, кажется, совсем зажило, а потом вдруг опять заболит: ушиб на ушиб, рана на рану — хуже всего: может антонов огонь сделаться. Нет, не надо, не надо об этом; уж лучше — «Вальтер Скотт, Во́льтер скот».

Но на счастье прочно
К розе, как нарочно,
Привилась полынь.

Встал, потянулся и медленно-медленно, судорожно, до боли в скулах, зевнул. «Иногда бывает тяжеле знать, может быть, в аду — не плач и скрежет зубов, а только зевота, скука — вечность скуки?»

Часы опять пробили. «Который час? — Вечность.— Кто это сказал? Да, сумасшедший поэт Батюшков,— намедни Жуковский рассказывал... Час на час, вечность на вечность, рана на рану — 11-е марта... Нет, не надо, не надо»...

Подошел к столу, сел, хотел начать работу; но заметил пыль на малахитовой чернильнице. Слугам не позволял сметать пыль со столов, чтоб не рылись в бумагах. Стер замшевой тряпочкой. Заметил также, что один из двух канделябров по обеим сторонам часов на камине снят. Нарушенный порядок в комнате мешал ему работать. Отыскивая недостающий канделябр, оглядывал комнату близорукими глазами в лорнет, старенький, простенький, черепаховый, всегда хранившийся за обшлагом рукава.

Кабинет был угловая зала окнами на Неву и Адмиралтейство. Ни резьбы, ни позолоты: серые голые стены; на потолке — темно-зеленой краской живопись в древнеримском вкусе: крылатые победы, трофеи, колесницы, всадники. Мебель красного лака, с бронзою,

наполеоновской империи; при малейшем пятнышке или царапине заменялась новою; вся в чехлах, дешевеньких, бланжевых с розовыми полосками, три раза в год мытых. Паркет гладкий и скользкий, как лед. Большой письменный стол — в простенке, между окнами, а посредине — столики маленькие, вроде ломберных, крытые зеленым сукном, как в канцеляриях; на каждом — дела особого ведомства, одинаковые чернильницы и одинаковые пачки гусиных перьев, очиненных заново: перо, употребленное раз, хотя бы только для подписи, заменялось новым; за этим следил камердинер Мельников, получавший три тысячи в год за чинку перьев. И под каждым столом одинаковый коврик, красный с голубыми разводами. Всюду чистые платки и замшевые тряпочки для сметания пыли. Два камина, один против другого, тоже одинаковые: бюст Паллады — на одном, бюст Юноны — на другом; часы с бронзовым Ахиллесом и часы с бронзовым Гектором; канделябры здесь и канделябры там. Все одинаково, правильно, соответственно, единообразно. «Я люблю единообразие во всем»,— говорил Аракчеев и повторял государь.

Отыскал, наконец, канделябр на круглом шахматном столике, в дальнем углу; отнес и поставил на место.

Вдруг вспомнил недостающий стих:

Но на счастье прочно
Всяк надежду кинь:
К розе, как нарочно,
Привилась полынь.

Это удовлетворило его так же, как поставленный на место канделябр; теперь все в порядке. Опять сел за стол.

Перед ним лежали две записки члена Государственного Совета, адмирала Мордвинова, о смертной казни и о кнуте.

«Прошло более семидесяти лет, как смертная казнь отменена в России [1],— писал Мордвинов.— Восстановление оной казни в новоиздаваемом уголовном уставе, при царствовании императора Александра I, приводит

[1] Смертная казнь в России была отменена императрицей Елизаветой Петровной.

меня в смущение и содрогание. Я не дерзаю и помыслить, что казнь сия, при благополучном его величества правлении, сделалась нужнее, нежели в то время, когда была отменена...»

«Да, нужнее,— подумал,— если будет суд над *ними...*»

Сморщился, как от внезапной боли, поскорее отложил записку о казни и стал читать другую — о кнуте.

«С того знаменитого для человечества времени, когда все народы европейские отменили пытки, одна Россия сохранила у себя кнут, что дает повод народам иностранным заключать, что отечество наше находится еще в состоянии варварском. Кнут есть мучительное орудие, которое раздирает человеческое тело, отрывает мясо от костей, метает по воздуху брызги крови и потоками оной обливает тело; мучение лютейшее из всех известных, ибо все другие менее бывают продолжительны; тогда как для двадцати ударов кнута нужен целый час; при многочисленности же ударов мучение продолжается от восходящего до заходящего солнца».

Предлагалось «уничтожить навсегда кнут, орудие казни, не соответственной настоящей степени просвещения и благонравия русского народа».

Семь лет назад, по высочайшему повелению, предложено было Государственному Совету уничтожить кнут; в семь лет ничего не сделано, и если опять предложить,— пройдет еще семь лет,— и ничего не сделают.

Не проще ли взять перо, обмакнуть в чернила и написать тут же, на полях записки: «Быть по сему»? Уж если нельзя и этого, то на что самодержавие? А вот нельзя. Быть по сему, быть по сему — и ничему не быть.

Что Аракчеев скажет? То, что уже говорил: «Доложу вам, батюшка: Мордвинов — пустой человек. Поговорю с ним, но наперед знаю, что ничего доброго не услышу». А старички сенаторы, столпы отечества, во всех углах зашушукают: «Нельзя России быть без кнута!» Если их послушать, то конец кнута — начало революции.

Вспомнил указ о снятии шлагбаумов, никому не нужных, кроме пьяных инвалидов, чтобы клянчить на водку с проезжих да срывать верхи с колясок. Указ

готов был к подписи, но государь подумал и не подписал. «Как не мудри, все будет по-старому»,— говорит Аракчеев и прав. Стоит ли ворошить кучу?

«Покрасили бы комнату»,— сказал кто-то баснописцу Крылову, увидев сальное от головы его пятно на стене.

«Эх, братец, выведешь одно, будет другое. Не накрасишься».

Так и он: ни сальных, ни кровавых пятен уже не мечтает вывести; мечтал об отмене самодержавия — и вот не отменил шлагбаумов, не отменит кнута. «Как ни мудри, все будет по-старому».

Но верил же когда-то, что все будет по-новому. «Что бы ни говорили обо мне, я в душе республиканец и никогда не привыкну царствовать деспотом». Если не отрекся от самодержавия тотчас же, как вступил на престол, то только потому, что раньше хотел, даруя свободу России, произвести лучшую из всех революций — властью законною. Помешало Наполеоново нашествие. Но, по освобождении от врага внешнего, не вернулся ли к мысли об освобождении внутреннем? Что же такое — Священный Союз, главное дело жизни его, как не последнее освобождение народов? Евангелие — вместо законов; власть Божия — вместо власти человеческой. Верил: когда все цари земные сложат венцы свои к ногам единого Царя Небесного, да будет Самодержцем народов христианских не кто иной, как Сам Христос,— тогда, наконец, совершится молитва Господня: да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе.

Да, верил и доныне верит. Но, как ни мудри, все будет по-старому.

«Болтовня безобидная, памятник пустой и звонкий»,— говорил Меттерних о Священном Союзе.

Евангелие — Евангелием, а кнут — кнутом. Пусть же брызги крови по воздуху мечутся, мясо от костей отрывается,— в час двадцать ударов, в три минуты удар,— и так от восходящего до заходящего солнца. Может быть, и сейчас, пока он думает...

Но если не отменить, то хоть смягчить?.. Смягчить кнут? «Кнут на вате» — вспомнилось ему из доносов тайной полиции чье-то слово о нем. Любил подслушивать и собирать такие словечки — посыпать солью раны свои.

Вспомнил и то, как, приготовляясь к речи о конституции на Польском сейме, учился красивым движениям тела и выражениям лица, точно актер перед зеркалом,— и вдруг вошел адъютант. Теперь еще, вспоминая, краснел. Когда потом называли Польскую конституцию «зеркальной», он знал почему.

«Господин Александр, по природе своей, великий актер, любитель красивых телодвижений»,— говорила о нем Бабушка.

Неужели — так? Неужели все в нем — ложь, обман, красивое телодвижение, любование собой перед зеркалом? И последняя правда — то, что сейчас подступает к сердцу его тошнотой смертной,— презрение к себе?

Хоть бы — ужас; но ужаса нет, а только скука — вечность скуки, та зевота, которая хуже, чем плач и скрежет зубов.

А может быть и лучше, покойнее так? Вернуться бы в кресло, усесться поудобнее, протянуть больную ногу на подушку и приняться опять за «Лиодора и Юлию»; или уставиться глазами в одну точку, ничего не делая, ни о чем не думая, пока душа опять не затечет, не онемеет, как отсиженная нога, и маленькие мысли в уме, как мурашки в теле, не забегают: «Вальтер Скотт, Во́льтер скот»...

С неимоверным усилием встал, торопливо, как будто боясь, что не хватит решимости, подошел к столу в простенке между окнами, торопливо-торопливо отпер ящик и вынул бумаги.

То был донос генерала Бенкендорфа и его, государя, собственная записка о Тайном Обществе.

Донос подробнейший: вся история Общества; его зарождение, развитие, разделение на две Управы: Северную в Петербурге и Южную в Тульчине, Василькове, Каменке; имена директоров и главных членов; цели: у Северных — ограничение монархии, у Южных — республика; способы действия: у одних — тайная проповедь, у других — военный бунт и революция с цареубийством.

Легко было по этому доносу схватить всех заговорщиков и уничтожить заговор: протянуть руку и взять, как гнездо птенцов.

Четыре года назад был подан донос и четыре года

пролежал в столе, нетронутый: прочел его, положил в ящик, запер на ключ и не вынимал с тех пор, как будто забыл. Ничего не сделал, никому не сказал. Бенкендорфа избегал, в глаза ему не смотрел, точно гневался, а тот не мог понять, за что немилость.

Как будто забыл,— но не забывал. Как преступник, не думая о своем преступлении, чувствует его во сне и наяву; как неизлечимо больной, не думая о своей болезни, никогда ее не забывает,— так не забывал и он, за все эти четыре года, ни на один день, ни на один час, ни на одну минуту.

Тогда же, при первом чтении, начал было составлять записку для себя самого, чтобы успокоить, отдалить и выяснить свои собственные, слишком страшные, близкие и смутные мысли, а также для Аракчеева, которому хотел сказать все; тогда хотел, потом уже не мог. Но едва начал писать, как почувствовал, что нет сил: думать трудно, а говорить и писать невозможно.

Перечел донос и взглянул на первые слова неоконченной записки:

«Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается между войсками. Заражение умов генеральное...»

И еще в другом месте по-французски:

«Эти господа хотят меня застращать; они обладают большими средствами: кого угодно могут возвысить или уничтожить. Дело идет об изыскании средств для борьбы с так называемым *духом времени* — духом сатанинским, распространяющим господство зла быстро и тайно, как в Европе, так и в России. Один только Спаситель может доставить это средство Своим божественным словом. Воззовем же к Нему из глубины наших сердец, да пошлет Он нам Духа Своего Святого. Карбонары рассеяны всюду. Но, с помощью Божественного Промысла, я буду посредником для ограждения Европы, а следовательно, и России от язвы революции...»

И теперь, так же как тогда, почувствовал, что продолжать записку нет сил. Надо терпеть, молчать, скрывать от всех эту страшную и постыдную язву.

Он знал, что делает; знал, что ни дня, ни часа, ни минуты медлить нельзя; что за эти четыре года заговор

неимоверно усилился; что он, бездействуя, потворствует злу, губит Россию и за это даст ответ Богу,— все знал и ничего не делал.

И чем утешал себя, чем оправдывал?

Всегда носил в кармане записную книжку, подарок князя Меттерниха, главного советника своего в борьбе с революцией; на первой странице вместо заглавия — *Не давать ходу*,— и далее в азбучном порядке — список лиц подозрительных в Европе и в России. Меттерних начал, Александр продолжал. Когда представляли ему новое лицо, справлялся о нем по *Сибиллиной книге*, как называла ее Марья Антоновна,— и если находил имя,— не давал ходу, преследовал тайно или явно. Были в списках и члены Тайного Общества; за четыре года много имен прибавилось, которых в доносе Бенкендорфа не было. И вот чем утешался: «Все они,— думал,— у меня в руках; когда наступит время, уничтожу всех».

Так и теперь попробовал утешиться; достал из кармана книжку, перечел список; на букву Г прибавил: «Камер-юнкер Голицын — в очках».

«Вот бы с кем поговорить. Он Софьин друг; не может быть и мне врагом. Обличить, пристыдить, довести до раскаяния. Сначала его, а потом и других. Кто знает, может быть, преувеличено? Никакого заговора нет, а только детская шалость? Подождать,— само пройдет».

Утешался, но не утешился. Похоже было на то, как если б кто-нибудь, видя чумной нарыв на теле своем, говорил себе: это ничего,— так, прыщик, само пройдет. Теперь уже знал, что само не пройдет, и что эта книжечка — против Тайного Общества — тряпочка с маслом на чумной нарыв.

И Крылов, опять Крылов, лентяй — лентяю вспомнился. Над самым диваном, где обыкновенно сиживал Крылов, большая, в тяжелой раме, картина висела наискось: с одного гвоздя сорвалась и на другом едва держалась.

«Берегитесь, Иван Андреевич,— убьет».

«Небось, по закону механики, кривую линию опишет, падая: как раз мимо головы пролетит».

«Пролетит мимо»,— думал когда-то и он о заговоре; но теперь знал, что не мимо.

Во время болезни, ожидая смерти, понял, что нельзя оставлять России такого наследства, и дал себе клятву, если выживет, решить, наконец, что-нибудь о Тайном Обществе, что-нибудь сделать. И вот именно сегодняшний день, самый для него святой и страшный — 11-е марта — назначил себе, чтобы решить.

Что же? Суд? Казнь?

«Не мне их судить и казнить: я сам разделял и поощрял все эти мысли, я сам больше всех виноват»,— сорвалось у него с языка при первых слухах о Тайном Обществе, которые сообщил ему, еще раньше доноса Бенкендорфа, генерал Васильчиков.

Да, первый и главный член Тайного Общества — он сам. «Негласный комитет», собиравшийся здесь же, в покоях Зимнего дворца,— пять молодых заговорщиков — Чарторыжский, Новосильцев, Кочубей, Строганов и он, государь,— вот колыбель Тайного Общества.

К Бенкендорфову доносу приложен был устав Союза Благоденствия. Цели союза: ограничение монархии, народное представительство, уничтожение крепостного права, гласность судов, свобода тиснения, свобода совести,— все, чего желал он сам. .

Сколько раз говорил: желал бы сделать и то и то,— но где люди? Кем я возьмусь? Вот кем. Вот люди. Сами шли к нему, но он их отверг; и если пойдут мимо, против него,— кто виноват?

Говорил — услышали; учил — учились; повелел — исполнили. Он изменил тому, во что верил; они остались верными. За что же их судить? За что казнить? Если им на шею петлю, то ему — жернов мельничный за соблазн малых сих. Судить их — себя судить; казнить их — себя казнить.

Он — отец; они — дети. И казнь их будет не казнь, а убийство детей. Отцеубийством начал, детоубийством кончит. Взошел на престол через кровь и через кровь сойдет: 11-е марта — 11-е марта.

Так вот ужас, который он звал,— пробуждение от страшного смертного сна. Что еще жива душа его, он только и знал по этому ужасу.

Нет, никогда ничего не решит, ничего не сделает. Будь что будет,— молчать, терпеть, скрывать до конца страшную и постыдную язву.

Собрал бумаги, положил их опять в тот же ящик

стола и запер с таким чувством, что уже никогда не вынет.

На самом дне заметил отдельный листок очень старой пожелтевшей бумаги — чье-то письмо. Знал чье, к кому, о чем; хотел было перечесть, но раздумал, решил — потом; оставил в ящике, только положил на виду, сверху, так, чтобы найти тотчас, когда надо будет.

Подошел к окну, посмотрел. Прояснило,— должно быть, подморозило. Мокрый снег перестал. Слышался железный скрежет скребков: счищали снег с набережной — знакомый петербургский звук, напоминающий весеннюю оттепель. Посыпáли гранитные плиты желтым песком: государь любил весенние прогулки по набережной. Через белую скатерть Невы перевоз подтаявший, с наклоненными елками, уже чернел по-весеннему. Светлый шпиль Петропавловской крепости пересекал темно-лиловые полосы туч и бледно-зеленые полосы неба, тоже весеннего; а там, на западе, над многоколонною биржею, похожей на древний храм, небо еще бледнее, зеленее, золотистее,— бездонно-ясное, бездонно-грустное, как чей-то взор. Чей?

«Не надо, не надо»...— хотел сказать еще раз, но уже не мог,— вспомнил все.

То был последний, накануне страшной ночи, семейный обед императора Павла I; все они, жена и дети, думали, что он — сумасшедший, а он, отец, думал, что они — убийцы. Но ели, пили, говорили, шутили, как ни в чем не бывало. Только на прощание Павел подошел к Александру, обнял его, поцеловал, перекрестил, положил ему обе руки на плечи и посмотрел прямо в глаза, долго-долго, с такой любовью, как никогда. Один миг казалось обоим, что они друг другу скажут все и все простят.

И вот опять бледно-зеленое небо смотрит ему прямо в душу, бездонно-ясное, бездонно-грустное, как тот последний взор. Но теперь уже нельзя сказать, нельзя простить.

И кажется, тот миг и этот — один; между ними нет времени, как будто время шло не вперед, а назад: наступало прошлое, наступило, пришло — и уже никогда не уйдет. И двадцать три года жизни — Наполеон, пожар Москвы, взятие Парижа, победы, слава, величие,— все исчезло, как сон,— ничего не было, а было, есть и будет одно — вот этот вечный миг.

Теперь только понял, почему не может судить и казнить заговорщиков. Не он — их, а они его будут судить и казнить. Божий суд над ним, Божья казнь ему — в них. Кровь за кровь. Кровь сына за кровь отца.

Повалился на стул и закрыл лицо руками.

Кто-то постучался в дверь. Вздрогнул, обернулся, побледнел так, как в ту страшную ночь.

Откликнулся не сразу. Но когда через несколько минут вошел камердинер Мельников со свечами — уже стемнело — и с докладом об архимандрите Фотии, государь сидел опять в кресле, как давеча, протянув больную ногу на подушку, с книгой в руках, и лицо его было так спокойно, что никто не догадался бы, что он сейчас думал и чувствовал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дежурный камердинер Мельников доложил государю об архимандрите Фотии. Государь велел принять.

Потайной Зубовской лестницей, такой темной, что среди дня ходили по ней с огнем, введен был Фотий во дворец.

В былые годы раздавалось по ночам на этой лестнице мяуканье, которым фрейлины звали юного кота к дряхлой кошурке, Платона Зубова — к Бабушке; а потом к внуку пробирались тайком на духовные беседы статская советница Татаринова — хлыстовка, Крюденерша — пророчица, придворный лакей Кобелев — посол скопческого бога Селиванова, и граф Жозеф де Местр — посол римского папы, и английские квакеры, и русский юрод, барабанщик Никитушка, и еще много других.

Идучи по лестнице, Фотий крестился и крестил все углы, переходы, и двери, и стены дворца, помышляя, что «тьмы здесь живут сил вражьих».

Когда вошел в кабинет государя, тот встал навстречу ему и хотел подойти под благословение. Но Фотий как будто не видел его; искал глазами по углам, перебегая взором от мраморной Паллады над каминным зеркалом к триумфальным колесницам и крылатым победам на потолке. Там, под ними, в углу, нашел, наконец, образок. Истово, медленно перекрестился и тогда только взглянул на государя.

Тот понял: сначала Богу поклонись, Царю Небесному, а потом — земному. Понравилось.

— Благословите, отец Фотий!

— Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого. Благослови тебя, Господи!

Тем же истовым, широким крестом перекрестил его так, как простых мужиков крестит сельский священник. Опять понравилось.

Государь поцеловал руку монаха, и тот не отдернул ее, как будто даже нарочно сунул, почти с грубостью. Этого учить не придется, как прочих, чтоб не кланялся в ноги царю — скорее сам потребует, чтобы ему поклонился царь.

Страхом расширенными глазами смотрел Фотий на государя; но то был страх нечеловеческий; продолжал, как давеча, на лестнице, крестить себя, крестить во все стороны воздух; еще бóльшие тьмы вражьих сил живут здесь, близ царя, а может быть, и в нем самом.

— Прошу вас, присядьте, ваше преподобие...

Государь запнулся: не был уверен, что архимандрита зовут преподобием; не тверд был в церковных чинах, как и в русском языке вообще, когда речь шла о предметах духовных: привык говорить о них по-французски и по-английски.

Фотий сел, но не там, где государь указывал, рядом с собой, а поодаль, у окна, неловко, на самый край стула.

— Я очень рад вас видеть,— продолжал государь, затрудняясь и не зная, с чего начать.— Я много слышал о вас от князя Голицына... и от графа Аракчеева,— поспешил прибавить, вспомнив, что Фотий Голицыну враг.— Я давно желал поговорить с вами о делах церкви, которые, к душевному прискорбию моему, не так идут, как следует. Об одном прошу вас: говорите всю правду... Если бы вы знали, отец, как редко слышу я правду и как в этом нуждаюсь,— заключил с искренним чувством.

— Государь всемилостивейший, ваше императорское величество! — начал было Фотий торжественно, видимо, заранее приготовленную речь, но вдруг остановился, как будто забыл все, что хотел сказать; вытер платком пот с лица, растерянно махнул рукою, приподняв полу рясы, открывая высокий мужичий сапог, и вы-

нул из-за голенища пачку листков, мелко исписанных.

— Тут все, все,— забормотал, торопясь и оглядываясь: — если хочешь знать все, государь, слушай... Тут все, по Писанию, до точности...

И прочел заглавие:

План разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо.

Государь плохо слышал — был туг на ухо — и думал о другом: вспоминал рассказы Голицына о Фотии.

Сын бедного сельского причетника, родился на соломе, в хлеву, как оный Младенец в яслях вифлеемских. Всю жизнь был в бедах, ранах, болезнях, биениях, потоплениях многократно; нищ, наг, хладен и гладен. Когда учился в петербургской семинарии, бегал по праздникам из Лавры на Васильевский, к тетке, за концом пирога или пятачком на сбитень. Служа в первом кадетском корпусе законоучителем, вступил в борьбу с масонами, иллюминатами, мистиками и прочими слугами антихристовыми. Исполнившись Ильиною ревностью [1], небоязненно голос свой, как трубу, возвышал; как юрод, ходил всюду; вопиял, обличал, хотел взять штурмом крепость вражью. На корпусном дворе, в присутствии кадет, собрав кучу книг еретических, сжег в огне с громогласной анафемой. Подкупил слуг в домах, где происходили сборища мистиков; слуги проламывали стены под потолком, просверливали дыры, и он наблюдал за тем, что творилось внизу, а потом доносил митрополиту или обер-полицеймейстеру. Наконец, враги обещали, будто бы, миллион за убийство Фотия. Он бежал от них при помощи кадет, выскочив ночью в одной рубахе через окно в сад и через стену сада на улицу. Боролся с бесами, которые являлись ему в страшных подобьях телесных, били его и таскали за волосы до бесчувствия, или, в образе ангелов светлых, искушали хитрою лестью: «Преподобный отче Фотий, сотворил бы ты некое чудо,— перешел бы у дворца по Неве, яко по суху». Был девственник, плоти истязатель, великий постник; носил железные вериги, спал в гробу, целыми неделями питался одним липовым цветом с медом, как Божья пчела, даже

---

[1] Ветхозаветный пророк Илья безбоязненно обличал идолопоклонство и нечестие при царе Ахаве и его жене Иезавели.

чая не имел у себя в келье, а пил укропник. Так ослабевал от поста, что едва стоял на ногах и шатался, как тень; дрожал в вечном ознобе и летом ходил в шубе. В Страстную же седьмицу[1] желудок его в ореховую скорлупу сжимался, и потом, чтобы привыкнуть к пище, постепенно увеличивая приемы, развешивал их, как лекарство, на аптекарских весках.

Вспоминая все это, государь с любопытством вглядывался в лицо Фотия.

Худенький, сухонький, востренький, будто весь колючий с колючими, как рыбьи косточки, быстро сверкающими серыми глазками, хищными, как у хорька, с пушистыми, рыжими, как хорьковый мех, волосами и рыжей бородкой; сквозь прозрачно-восковую бледность кожи проступает синева пятнами, как на лице покойника. Не посидит на месте, все шевелится, боязливо оглядываясь, тоже как дикий хорек в клетке. Но в этой дикости — что-то жалкое, детское, что внушало невольное желание погладить и приручить его,— только бы не укусил.

Фотий продолжал читать, бормоча себе под нос, невнятно, быстрым задыхающимся шепотом,— отдельные слова долетали до государя, похожие на бред. «Число звериное 666[2]. Се — тайна последних времен, тайна великая. На 1836 год готовится царство Зверя... Пароль на все наложен: раскопать алтари и разрушить престолы... Под видом тысячелетнего царствования, феократического правления — новая религия во грядущего Антихриста... всемирная революция»...

— Прошу вас, отец Фотий,— остановил его государь: — я плохо слышу на левое ухо, пересядьте сюда, поближе.

Фотий вздрогнул и дико воззрился, но тотчас пересел; продолжал читать. Государь слушал и не верил ушам своим: Священный Союз — революционный заговор.

---

[1] В Страстную неделю (седьмица — церковнослав.— неделя), т. е. в неделю Страстей (Страданий) Христа.

[2] Зверь в восточной символике означал разрушительные стихии, злую силу. Действуя по воле сатаны. Зверь несет в себе его черты. Число 666 — имя антихриста: в греческом, как и в церковнославянском алфавите каждая буква имеет цифровой эквивалент, соответствующий ее месту в алфавите.

— Как же так, отец Фотий? О тысячелетнем царствии святых на земле не молится ли сама церковь?

Это слышал он от Голицына; тот именно так объяснял Священный Союз, о котором, при заключении его, объявлено было торжественно, во всех церквах Российской империи.

— Чего молиться? Все исполнилось,— проворчал Фотий сердито.

— Когда же? Где?

— Со дней святого Константина Равноапостольного — в церкви православной, кафолической [1]; иного же царства не будет. Так отцы предали, так и мы веруем. А что сверх сего, то от лукавого...

Государь не возражал более, но покачал головой сомнительно: войны, смуты, революции, разделение церквей, братоубийственная ненависть народов — это ли царство Божие на земле, как на небе?

— Тут все у меня, все по Писанию, до точности. Вот слушай...

Опять засуетился, отыскивая нужные листки, лазил за голенища, за отвороты рукавов и за пазуху; весь был обложен доносами, как воин доспехами.

Государь испугался, что чтение никогда не кончится.

— Знаете что, отец Фотий: оставьте мне ваши записки, я прочту ужо внимательно, а теперь поговорим. Скажите мне все, что на сердце у вас...

Фотий начал было снова суетиться, креститься, но вдруг положил листки на стол, привстал, наклонился, вытянул шею, приблизил губы к самому уху царя и зашептал уже внятным шепотом:

— Как пожар, в России вскоре возгорится революция; уже дрова подкладены и огонь подкладывают... Министерство духовных дел, Библейское Общество, иллюминаты, масоны и прочих мистиков сволочь зловредная — один всеобщий заговор. Готовится вдруг всегубительство. Торжественно о том опубликовано, дабы мечи взять и всех заколоть нечаянно... А всему причина главная, всем злодеям злодей — знаешь кто?

— Кто?

— Голицын.

---

[1] Вселенской, всемирной.

— Что вы, отец? Я князя Александра Николаевича знаю, вот уже тридцать лет: вместе росли; люблю, как родного. Да если он, то и я...

— И ты, и ты, государь благочестивейший, помазанник Божий, сам себе, по неведению, изрываешь ров погибели. Если не покаешься, будешь и ты в сетях дьявольских!..

Вскочил и, весь дрожа, как лист, глядя на него горящими глазами, закричал неистово:

— С нами Бог! Господь сил с нами! Что сделает мне человек? Ты, царь, можешь все: наступишь на меня, яко путник на мравия,— и нет меня... Казни же, убей, возьми душу мою! Ничего не боюсь! На всех врагов Господних — анафема!..

В поднятой руке его что-то блеснуло, как нож: то был крест.

Государь тоже встал и невольно отступил. «Сумасшедший!» — промелькнуло в голове его.

— Да воскреснет Бог и да расточатся врази его! Яко тает воск перед лицом огня, да исчезнут! — потрясал Фотий крестом, как ножом.— Если и ты, царь, не послушаешь, одно осталось: взять в одну руку Евангелие, в другую — крест и на площадь пойти, возгласить в народ: «Православные, ратуйте!» И вся Россия узнает... Многие вступятся... Революция, так революция! С нами Бог! Господь сил с нами! Пошли, Боже, громы твои, блесни молнией и разжени врагов! О, Господи, спаси же! О, Господи, поспеши же!..

С воплем, ломая руки, упал к ногам государя; трясся весь, как в припадке.

— Встаньте же, встаньте, прошу вас, не надо...— старался его поднять государь.

Но Фотий не вставал, ухватившись за него руками судорожно, как утопающий.

— Спаси, защити, помилуй, царь мой, Богом данный, возлюбленный! Я тебе верный слуга, яко Богу... Хочешь, все скажу, все?.. Как план революции вдруг уничтожить тихо и счастливо?

И опять зашептал ему на ухо:

— Было мне от Господа видение: шли мы втроем по воде, яко по суху,— я, ты и *он*...

— Кто он? — с каким-то суеверным страхом спросил государь.

— Граф Аракчеев,— ответил Фотий.— Граф Аракчеев — столп отечества, муж преизящнейший. Яко Георгий Победоносец явится; верен, правдив, церковь Божию истинно любит; ему можно все поверить — все сделает... И я с ним. Я, ты и он. Вместе втроем, по воде, яко по суху... Государь батюшка, ваше величество, в двенадцатом году победил ты Наполеона телесного; самого же Антихриста — Наполеона духовного, победить можешь ныне в три минуты одною чертою пера! Только указ подпиши: Общество Библейское закрыть, Голицына удалить, министерство духовных дел упразднить,— и в три минуты, в три минуты одною чертою пера уничтожишь всю революцию!..

Встал, но не удержался на ногах и в изнеможении, почти в беспамятстве, упал на стул; рыжие волосы прилипли к потному лбу; смотрел в одну точку бессмысленно, как будто ничего не видел и не сознавал, где он, что с ним. Синева проступила еще больше сквозь трупную бледность лица; кончик носа заострился, как у мертвого.

«Сумасшедший? — думал Александр.— Почему сумасшедший? Потому ли, что красно говорить не умеет,— не царедворец в рясе, а простой мужик, неученый, немудрый, как те галилейские рыбари, коих избрал Господь[1], дабы пристыдить мудрых века сего? И не все ли почти правда, что он говорит? Не в Голицыне же дело. А что сам я служил духу своеволия безбожного, духу революции сатанинскому и теперь еще, быть может, служу, по неведению,— разве не так? И откуда он знает, как будто прочел в сердце моем? Полно, уж не он ли муж Господень в духе и силе, для моего спасения посланный?..»

Фотий очнулся, зашевелился и с трудом, через силу, встал на ноги: должно быть, понял, наконец, что нельзя сидеть, когда царь стоит; понял также, что беседа кончена. Торопливо достал откуда-то забытый листок, приложил к остальной пачке на столе государевом. И опять что-то было детское, жалкое в этом движении,

---

[1] Апостолы Петр, Андрей, Иоанн и Иаков были галилейскими рыбаками.

отчего государь еще сильнее почувствовал, что обидел его.

— Отец Фотий,— проговорил он, взяв его за руку,— обещаю вам обо всем, что вы мне сказали, подумать и, верьте, все, что могу, сделаю... А если что не так сказал,— простите, Бога ради, и помолитесь за меня, прошу вас, очень прошу...

Как это часто с ним бывало, умилился и растрогался от собственных слов.

Медленным движением, морщась от боли в ноге,— но чем больнее, тем приятнее,— опустился на колени перед Фотием; красоту смиренного величия своего тоже почувствовал, как будто увидел себя в зеркале,— и еще больше растрогался; что-то подступило к горлу, защекотало привычно-сладостно.

Вот кому исповедаться во всем, сказать все, как Самому Христу Господню,— самое страшное, тайное,— об этой вечной муке своей,— о пролитой крови отца: уж если он простит, разрешит на земле, то будет разрешено и на небе.

И, о красоте не думая, почти не сознавая, что делает, государь поклонился в ноги Фотию.

Упоительней, чем запах мускуса от черных кружев баронессы Крюденер, был запах дегтя от мужичьих сапог. И так легко стало, как будто кровавая тяжесть венца, которая всю жизнь давила его, вдруг спала на одно мгновение.

Радость засверкала в глазах Фотия, и он положил руки на голову царя, как на свою добычу.

— Благослови тебя, Господи!

Потом наклонился и еще раз шепнул ему на ухо:

— Помни же, помни, помни: вместе втроем — я, ты и он!

Уходя в одну дверь, Фотий увидел в другой, чуть-чуть приотворенной, глаз Аракчеева: он подслушивал и подглядывал.

Когда Фотий ушел, дверь приотворилась шире, и Аракчеев, не входя, просунул голову.

— Алексей Андреич, ты? — позвал государь тем осторожным голосом, которым говорил с ним одним: так любящий говорит с тяжелобольным любимым другом.— Войди.

Аракчеев вошел.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Давняя вражда двух царских любимцев, Аракчеева и Голицына, в последнее время так усилилась, что самому государю от них житья не стало. Надо было сделать выбор и кем-нибудь из двух пожертвовать. Но в обоих нуждался он одинаково: в Аракчееве для дел земных, в Голицыне — для дел небесных.

Голицын обратил государя в христианство: вместе молились, вместе читали Писание, вместе издавали сочинения мистиков, устраивали Библейское Общество и Священный Союз, мечтали о Царствии Божием на земле, как на небе. А без Аракчеева, как без рук и без ног,— пошевелиться нельзя.

И хуже всего было то, что Аракчеев, как подозревал государь, вступил в заговор против Голицына с митрополитом Серафимом и Фотием. Голицына все духовенство ненавидело, но скрывало ненависть, покорялось и терпело молча. Когда же явился Фотий, то осмелело и взбунтовалось.

— Голицын патриархом стал, все священство разрушил, все себе в руки забрал! — вопил Фотий, и повторяли за ним другие.— Из Святейшего синода министерскую канцелярию сделал и един, просто сказать, нечистый заход...

Между Синодом и министерством началась такая свара, что хоть святых вон выноси. Но государь надеялся, по своему обыкновению, примирить непримиримое, сделать так, чтоб и овцы были целы и волки сыты.

Об этом и хотел говорить с Аракчеевым. Но слишком скрытны были оба, чтобы начать сразу; говорили о другом, ходили вокруг да около, притворялись, точно в жмурки играли; высматривали и ощупывали друг друга, как бойцы перед битвою.

Государь хвалил Фотия; Аракчеев поддакивал.

— Святой человек, ваше величество, батюшка, воистину, святой. Таких только два и есть у нас: отец Фотий да отец Серафим, подвижник Саровский [1]...

Как все глухие, государь был застенчив и мните-

---

[1] Преподобный Серафим Саровский (1759—1833) — один из наиболее чтимых русских святых.

лен: не любил, когда говорили слишком громко,— это напоминало ему глухоту; а когда тихо — боялся не расслышать. Один Аракчеев умел говорить, не возвышая голоса, но так внятно, что государь слышал каждое слово.

— Как же нам, Алексей Андреич, с Голицыным быть? — начал он с притворною беспечностью, убедившись, наконец, что Аракчеев об этом первый ни за что не начнет; но, взглянув исподлобья, украдкою,— по лицу его, сразу окаменевшему, понял, что дело плохо.

— Уж не знаю, право, как быть? — продолжал государь боязливо и вкрадчиво: — все дела стали, просто беда... Съездил бы ты к митрополиту, поговорил бы с ним — может, и помирятся? Устроил бы как-нибудь... сделай это для меня, голубчик...

— Рад стараться, ваше величество! Как повелеть изволите, так и сделаю,— ответил Аракчеев по-солдатски, сухо, почти грубо, и лицо его еще больше окаменело.

— Только не подумай чего, ради Бога, Алексей Андреич! Я ведь только так... Если ты... если тебе...— начал государь и умолк под каменным безмолвием своего собеседника,— вдруг испугался, растерялся окончательно; уже не рад был, что заговорил.

Долго молчали оба, не глядя друг на друга.

— Ваше величество,— произнес, наконец, Аракчеев тем глухим, уныло-торжественным, как будто замогильным, голосом, которого боялся государь пуще всего,— почитаю себя в обязанности, по долгу верноподданного, говорить всю правду вашему величеству: вы столько были ко мне милостивы, что сами приучили меня к тому. И ныне, боясь гнева Божьего...

— Да нет же, нет, Алексей Андреич, я не о том,— тщетно пытался государь остановить его.

— ...И ныне, боясь гнева Божьего,— продолжал Аракчеев неумолимо,— скажу вам всю правду, как перед Богом истинным. Я ничьих дел не знаю, а только, видя на опыте, что злых людей больше, чем добрых, и всегда худого больше на свете, чем хорошего, поставил себе непременным правилом никакого не иметь ни с кем знакомства и единственно своею заниматься должностью. Но грешно мне было б не открыть того, что знаю, вашему величеству. Князь Александр Николаевич Голицын...

Голос его оборвался, визгливый, пронзительный, плачущий. Государь слушал, уже не пытаясь остановить, покорно наклонив голову, с таким же виноватым лицом, как давеча тот старый генерал, которому Аракчеев делал выговор.

— Князь Голицын — царю и отечеству враг, злодей государственный. Появление книг богоотступных пронзает горестью сердца благомыслящих подданных. Уже и в подлом народе от чтения рассылаемых повсюду Библий о вольности толки рождаются. Далеко ли до бунта? Заражение умов есть генеральное... неблагонамеренность, разврат и революция...

Со страхом ждал государь, что он заговорит о Тайном Обществе. Но и теперь, как всегда, Аракчеев говорил так, что нельзя было понять, знает он или не знает, держал угрозу, как меч, над головой царя.

— Впрочем, буди воля вашего величества, а я изъяснил мысли мои, по слабому моему разумению; молчать и повиноваться не стать мне учиться в пятьдесят один год от роду, с самых юных лет жизни моей приобыкнув к сему. Как прикажете, так и сделаем,— заключил он, вставая и вытягиваясь, как во фронт: руки по швам.

— Алексей Андреич, Алексей Андреич! — воскликнул государь горестно.— Ты знаешь, как я тебе...— хотел сказать: предан,— как я тебя люблю... Сколько лет вместе! И вот неужели же, неужели теперь?..

Что теперь будет,— предвидел: хотя по давнему опыту мог знать, что ничего не будет, но при каждой ссоре боялся, что Аракчеев уйдет от него,— и он пропал.

— Я, ваше величество, батюшка, знаю, что как милостей ко мне ваших нет примера, так и преданности моей нет пределов. Ни разума столько, ни слов не имею, чтобы изъяснить вам всю благодарность мою. Но, чувствуя слабость здоровья, должен просить увольнения. Старость пришибла, кости болят; час от часу слабею, таю, как воск. Пора на покой, надобно и честь знать. Прошусь совсем прочь от дел, кои мне наскучили и здоровье мое тяготят, по прямому моему характеру... Пусть уж другие, а я не могу, не могу... Нет льсти на языке моем... Правдивая душа в Бозе почивающего благодетеля моего, государя императора Пав-

ла I, призирает с горних и одобряет чувства, меня одушевляющие...

Поднял глаза к небу и начал всхлипывать, сперва тихо, потом все громче и громче. Государь смотрел на него с возрастающим ужасом: слез его не мог вынести.

— Алексей Андреич! Алексей Андреич! — повторял с мольбою.— Что ж это такое? За что? Господи, Господи!..

И всплескивал руками, и протягивал к нему руки, и хватался за голову.

— Увольте, увольте, батюшка! — вдруг зарыдал Аракчеев, закашлялся, задохся, затрясся весь, как в припадке, повалился на стул и сквозь кашель и плач завизжал каким-то не своим, тонким, страшным, бабьим голосом.— На покой, на покой! В Цуруканскую крепость! Плац-майором! По шапке дурака старого! Аракчеев — изверг! Аракчеев — змий! Аракчеев — гадина!..

Государь вскочил, весь бледный, дрожащий, и, пока тот отхаркивал мокроту в платок,— смотрел, не будет ли крови: давно уже пугал его Аракчеев своим кровохарканьем. Вдруг, отчаянно махнув рукой, государь тоже повалился в кресло, уперся локтями в стол, стиснул руками голову и закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать.

Аракчеев высморкался оглушительно, мало-помалу затих, посмотрел на него украдкой, долго, спокойно и проницательно, как бы решая, готов ли он; решил,— готов. Тихонько встал и, весь изогнувшись, крадучись на цыпочках, подошел,— черная тень на серой стене промелькнула, как тень исполинской *ночанки*. Опустился на колени, на коленях подполз.

— Прости, батюшка! Огорчил я тебя, прости старика глупого, ради Христа...

Тихонько взял руку его и поцеловал. Государь вздрогнул, обернулся, с боязливой улыбкой, как будто не веря своему счастью, посмотрел на него и вдруг весь просиял, заплакал, бросился к нему на шею. Лицо у него было в эту минуту такое же, как у Софьи, больной девочки, когда она к нему ласкалась давеча.

— Алексей Андреич, дружочек миленький... *Ты* меня прости за все!.. И не надо больше, не надо об

этом. Ну, разве я... Боже мой, Боже мой, разве я могу без тебя? Да если б ты от меня...

— Не уйду, батюшка, не уйду, небось! Куда мне? Только ты да Бог,— больше никого не имею на свете...

— А Голицына,— лепетал государь, торопясь и захлебываясь от радости,— Голицына, будь покоен... я и сам хотел... Голицына завтра же не будет!

— Нет, государь, оставь Голицына, не тронь. Ужо к митрополиту съезжу, даст Бог, уладим все.

— Ну, хорошо, хорошо. Все, как ты... как вместе решим... только бы вместе — и все хорошо будет! — проговорил он, глядя на него с блаженной, сквозь слезы, почти влюбленной, улыбкой.— Да побереги ты себя, голубчик, ради Бога, о своем здоровье подумай. Ведь кашляешь-то как опять! Простудился, должно быть... А молоко кобылье пьешь?

— Пью, батюшка, пью. Только не молоко, а милость твоя мне лучше всех бальзамов целительных... Ничего больше не надо,— умереть бы у ног твоих, как псу, издохнуть...

Положил голову на колени государя, прижавшись к руке его мокрою от слез щекою, и смотрел снизу вверх, в самом деле, как старый верный пес.

— Одни мы с тобою, одни на свете, батюшка! Сироты бедные. Никто-то нас не любит, никто не жалеет... Вот в отставку выйдем вместе ужо, уедем в Грузино,— лепетал, как в бреду,— по полям, по лесам будем гулять, цветки собирать, песенки петь, два брата названые... Только нас двое всего, ты да я, да вот *он* еще, он промеж нас двух — третий...

Указал на медальон императора Павла I, висевший у него на груди. Всегда в этот день — 11-го марта, единственный день в году,— вместо портрета царствующего, надевал портрет покойного императора. Поднес его к губам благоговейно, перекрестился и поцеловал, как образ.

— Прильпни язык мой к гортани моей, аще не помяну тя во вся дни живота моего! — прошептал молитвенным шепотом.— Как ручки-то наши соединил, помнишь?..

Александр кивнул головой молча. В день восшествия своего на престол император Павел I в Зимнем дворце, рядом с комнатой, где умирала императрица Ека-

терина, соединяя руки Александра и Аракчеева, сказал: «Будьте вечными друзьями».

— А рубашечку помнишь?..

Государь кивнул опять с нежной улыбкой. В тот же памятный день, когда прискакавший из Гатчины на фельдъегерской тележке, под проливным дождем, и промокший весь до нитки Аракчеев должен был переменить белье,— Александр дал ему свою рубашку; и он завещал похоронить себя в ней.

— Во сне-то нынче опять видел *его*,— шептал все тем же благоговейным шепотом.

— Опять?

— Опять, батюшка! Каждый год в эту самую ночь. Марта 11-го каждый год. В прошлом-то году — будто смутненький такой, темненький и личико все отворачивает, шляпочку низко надвинул — лица не видать, вот как в гробу лежал. А нынче, будто, с открытым личиком, только весь желтенький, жалкенький такой, и на височке на левом малое черное пятнышко...

— Не надо! Не надо! — простонал Александр, почти в беспамятстве, закрывая лицо руками.

— Не буду, батюшка, небось, не буду. Прости меня, глупого...

— Нет, говори, говори все. Как же нынче?

— А нынче, будто все шейкою вертит.— «Что это, говорит, какой галстух тугой? Не умеют впору и галстуха сделать!» И сердится будто. А потом о тебе говорит: «Смотри, говорит, Алексей Андреич, чтоб и с ним *того же* не было. Береги его, будь ему в отца место!»

Александр слушал, содрогаясь, холодея весь, как будто доносилась к нему в этом шепоте нездешняя весть.

— «В отца место»...— повторил, рыдая, и прильнул губами к портрету Павла I на груди Аракчеева: ему казалось, что он целует живого отца. Было дальнее, дальнее детство в прикосновении жестких, бритых щек и в запахе старого зеленого мундирного сукна — знакомый казарменный гатчинский запах, запах отца. Последнее убежище, где ему уютно, покойно и ничего не страшно ни в прошлом, ни в будущем — только здесь, на груди Аракчеева, на груди отца, как будто оба — одно, и он уже не различает их.

Плакали оба, и слезы их смешивались. Аракчеев гладил волосы его, ласкал, как маленького мальчика. И государю казалось, что ласкает его, прощает отец.

Опомнился, когда Аракчеев кашлянул; затревожился.

— Горяченького бы тебе, дружок? Малины хочешь, аль пуншику?

— Чайку бы! — простонал Аракчеев болезненно.

Государь любил чай, и с Аракчеевым особенно. Захлопотал, засуетился, позвонил камердинера. Знал, что государыня ждет; привыкла во время болезни его пить с ним чай, дорожила этим единственным временем, когда были они вместе. Но послал ей сказать, что не придет,— не задумался пожертвовать ею «другу любезному».

Сам заварил чаю, особого, зеленого, аракчеевского, из свежего цыбика; перемыл чашки, полотенцем вытер тщательно; налил не жидко, не крепко, а в пору как раз. Колол для прикуски мелкие кусочки сахару: знал все его привычки и прихоти. Ухаживал, потчевал.

— Крендельков анисовых? Любимые твои. Сливочек?

— Сырых не пью, батюшка.

— Вареные. Ефимыч знает: сырых не подаст. Видишь, пеночка. Ты с пеночкой любишь?

— Люблю с пеночкой,— вздохнул Аракчеев жалобно; и, жалобно дуя губами, сложенными в трубочку, смиренно пил с блюдечка. Государь смотрел на него с умилением, как мать на больного ребенка.

Беседовали о мелочах военной службы — предмет излюбленный, неиссякаемый и всегда успокоительный.

Рассматривали нового образца щеточку для солдатских усов и дощечку для чищения пуговиц. Тут же сделали пробу: вычищенные на мундире Аракчеева пуговицы заблестели, как жар. И щеточка оказалась восхитительной.

Потом заговорили о новом указе: «Дабы по всей армии делали шаги в аршин, тихим шагом, по 75 в минуту, а скорым, той же меры, по 120 шагов; и отнюдь бы с оной меры и кадансу [1] не отступать».

О военном параде на Марсовом поле. В лейб-гвар-

---

[1] Ритм (*франц.* cadence).

дии саперном батальоне тишины надлежащей в шеренгах не было, много колен согнутых, игры в носках мало, и во фронте кашляют.

— Ну, а зато измайловцы утешили, батюшка,— заметил Аракчеев.— Ах, хороши, молодцы измайловцы! Уподобить должно стенам движущимся: не маршируют, а плывут. Заглядение! Кажись, вели на руки вверх ногами стать, и то пройдут!

— Недурны,— скромничал государь, краснея от удовольствия при этой похвале своему полку любимому.— А все-таки жаль, что, когда стоят на месте, приметно дыхание,— видно, что люди дышат...

Вспомнили одного ординарца времен павловских, который выучен был носить стакан воды на кивере, не расплескивая; теперь уже не выучишь: не те люди, не те времена.

Наконец погрузились в бесконечное рассуждение о том, как на обшлаге нового мундира егерского, вместо зубчатой вырезки клапана, сделать прямую и, вместо трех пуговиц, пять.

Лицо у государя было, как в детстве, когда играл он в солдатики. И в этой беседе — то же родное, милое, гатчинское, как будто опять между ними двумя — третий — он, отец. И хорошо, тихо-тихо, безрадостно, безгорестно, как в вечности. Кажется, что ничего не было, нет и не будет, кроме плутонг, шеренг, эшелонов, батальонов, правильных, тождественных, единообразных человеческих куч, уходящих, подобно щебенным кучам, по обеим сторонам дороги, в бесконечную даль.

На часах пробило десять. Государь опять затревожился: Алексею Андреичу спать пора; поздно ляжет — не заснет. Прекратил беседу на полуслове, велел ему уходить, напомнил о кобыльем молоке, чтоб на ночь выпил. Обнялись на прощанье, перекрестили друг друга.

Когда Аракчеев ушел, государь начал тоже собираться ко сну. Обряд неизменный. Прочел по одной главе из Ветхого Завета, Евангелия, Апостола[1]. Много лет читал вместе с Голицыным одни и те же главы,

---

[1] Апостол — часть Нового Завета, включающая Деяния св. Апостолов, Послания св. Апостолов и Апокалипсис (Откровение).

по расписанию на целый год; иногда, в походах, в путешествии, чтобы не сбиться со счету глав, присылал к нему курьеров за справками из-за тысячей верст.

Перешел в спальню рядом с кабинетом; стал на молитву; стоял недолго, потому что нога болела; а прежде от этих стояний, вечерних и утренних, мозоли на коленях делались.

Умылся, подошел к окну, отворил форточку минут на десять: к «воздушным ваннам» приучила его с детства Бабушка, по совету философа Гримма.

Лег. Постель односпальная, узкая, жесткая, походная, с Аустерлица все та же: замшевый тюфяк, набитый сеном, тонкая сафьянная подушка и такой же валик под голову.

Обыкновенно засыпал тотчас, как ляжет: повернется на левый бок (спал всегда на левом боку), перекрестится, подложит левую руку под щеку, закроет глаза и уже спит таким глубоким сном, что, бывало, дежурный камердинер с камер-лакеями, тут же рядом, в спальне, прибирая платье, ходят, стучат, кричат, как на улице, потому что знают, что государя «хоть из пушек пали, не разбудишь».

Но после болезни начались бессонницы. Так и теперь — уже засыпал, вдруг послышались голоса, голоса и шаги бегущих людей по гулким переходам и лестницам, приближающиеся — вот-вот войдут, как в ту страшную ночь. Вздрогнул и проснулся с тяжело бьющимся сердцем. Чтобы успокоиться, стал думать о правильных, подобных движущимся стенам, шеренгах, о пяти пуговицах, вместо семи, на обшлаге мундира и начал забываться опять. Но Аракчеев зашептал ему на ухо: «Желтенький-желтенький, жалкенький такой... И на височке, будто, на левом малое черное пятнышко»... Опять вздрогнул, проснулся, широко раскрыл глаза в ужасе — сна как не бывало; почувствовал, что не заснет во всю ночь.

Встал, надел шлафрок, пошел в кабинет, отпер ящик стола, где лежали бумаги о Тайном Обществе, взял отдельный, старый, пожелтевший листок, положенный давеча сверху, и стал читать. То было письмо князя Яшвиля, одного из цареубийц 11 марта. По-французски написано.

«Государь, с той самой минуты, как злополучный отец ваш вступил на престол, решился я пожертвовать собою, если нужно будет для блага России, которая со времени Петра I сделалась игрушкой временщиков и, наконец, жертвой безумца. Отечество наше находится под властью самодержавной; участь миллионов зависит от великости ума или сердца одного... Бог правды знает, что руки наши обагрились кровью царя не из корысти: да будет же небесполезна жертва! Поймите, государь, призвание ваше, будьте на престоле человек и гражданин. Знайте, что для отчаяния есть всегда средства, и не доводите отечество до гибели. Человек, который жертвует жизнью, вправе вам это сказать. Я теперь более велик, чем вы, потому что ничего не желаю, и если бы нужно было для вашей славы, которая для меня так дорога только потому, что она — слава России,— я готов был бы умереть на плахе. Но это не нужно; вся вина падает на нас,— вы же чисты: и не такие преступления покрывает царская порфира. Удаляясь в свои поместья, потщусь воспользоваться кровавым уроком и пещись о благе подданных. Царь царствующих простит или покарает меня в мой смертный час; молю Его, дабы жертва моя была небесполезна. Прощайте, государь. Перед государем я — спаситель отечества; перед сыном — отцеубийца. Прощайте. Да будет благословение Всевышнего на Россию и на вас, ее земного кумира,— да не постыдится она его вовеки».

«...Теперь мы увидим, кто Александр,— похититель престола или сын отечества, готовый на великую жертву?..» — вспомнил государь из другого письма — лифляндского дворянина фон Бока, который за эти слова посажен был в Шлиссельбургскую крепость и там сошел с ума.

Как сам сходил с ума,— тоже вспомнил. В Москве, во время коронации, просиживал целые дни, запершись в комнате, уставившись глазами в одну точку, так же как и теперь часто сиживал, ни о чем не думая, только чувствуя приближающийся ужас безумия, трусливый, животный, отвратительный, от которого холодеют и переворачиваются внутренности. Потом прошло,— думал, навсегда, но вот опять начинается.

Граф Пален, глава заговорщиков, двадцать три года живущий безвыездно на своей курляндской мызе Эк-





кау, в полном душевном спокойствии, когда речь заходит об 11 марта, говорит: «за что другое, а за это я сумею дать ответ Богу!» Так говорит, а сам каждый год в эту ночь напивается мертвецки пьян.

С него, что ли, взять пример, чтобы как-нибудь провести эту ночь?

Вернулся в спальню, достал пузырек с опиумом, накапал в рюмку с водой, выпил и опять лег.

Опять голоса, голоса и шаги бегущих людей по гулким переходам и лестницам, приближающиеся: вот-вот войдут, как в ту страшную ночь. И на левом виске желтенького, жалкенького личика малое черное пятнышко растет, растет, ширится, углубляется чернотой бездонною, в которую он, как в яму, проваливается.

А в это же время по темным залам дворца пробиралась женщина в сером платье, в сером платке, на лицо опущенном, похожая на изваяние древних плакальщиц или надгробный памятник. В ее движениях видно было то, что она сама о себе говорила: «Я всю жизнь пробиралась по стенке». Так и теперь пробиралась по стенке, крадучись, как воровка, которая боится быть пойманной, или привидение души нераскаянной.

У входа в государевы покои два часовых взяли ружья на караул; молодой офицер, дремавший в кресле, едва успел вскочить, отдал ей честь обнаженною шпагою и, когда она прошла, опустив низко голову, закрывая лицо платком, посмотрел ей вслед с благоговейною жалостью: узнал императрицу Елисавету Алексеевну.

Государь, пока был болен, требовал, чтобы она не отходила от него; когда же выздоровел, она сделалась ненужной. Так всегда: в горе — с ним, без горя — одна. Не смея зайти к нему проститься на ночь, приходила тайком и целовала сонного: он был ей ближе так.

Вошла в спальню, наклонилась, перекрестила и поцеловала спящего в лоб.

Амуру вздумалось Психею,
Резвяся, поймать,—

вспомнилась державинская ода новобрачным, пятнадцатилетнему мальчику и четырнадцатилетней девочке. Теперь плешивого Амура целовала старая Психея.

И опять по темным залам пошла назад, все так же пробираясь по стенке, крадучись, как воровка, которая боится быть пойманной, или привидение души нераскаянной.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Быть или не быть России, вот о чем дело идет!

— Россия, какова сейчас, должна сгинуть вся!

— Ах, как все гадко у нас, житья скоро не будет!

— Давно девиз всякого русского есть: чем хуже, тем лучше!

— А вот ужо революцию сделаем — и все будет по-новому...

Это еще из передней, входя к Рылееву, услышал князь Валерьян Михайлович Голицын.

Один из директоров Тайного Общества, отставной подпоручик Кондратий Федорович Рылеев, жил на Мойке у Синего моста, в доме Российско-Американской компании, где служил правителем дел. По воскресеньям бывали у него «русские завтраки». Убранство стола — скатерть камчатная, ложки деревянные, солонки петушьими гребнями, блюда резные,— так же, как напитки и кушанья — водка, квас, ржаной хлеб, кислая капуста, кулебяка,— все было знамением древней российской вольности. «Мы должны избегать чужестранного, дабы ни малейшее к чужому пристрастие не потемняло святого чувства любви к отечеству: не римский Брут, а Вадим Новгородский [1] да будет нам образцом гражданской доблести»,— говаривал Рылеев.

Окна — в нижнем этаже с высокими чугунными решетками. Квартира маленькая, но уютная. Хозяйкин глаз виден во всем: кисейные на окнах занавески, белые, как снег; горшки с бальзамином, бархатцем и под стеклянным запотелым колпаком лимончик, выросший из семечка; клетка с канарейками; пол, све-

[1] Вадим Храбрый (?—864) — полулегендарный вождь новгородцев, возглавивший восстание против Рюрика и им убитый.

жею мастикою пахнущий; домашнего изделия половички опрятные; образа с лампадками и пасхальными яйцами.

Солнце било прямо в окна, кидая на пол косые светлые четырехугольники с черною тенью толстых, как будто тюремных, решеток. Канарейки заливались оглушительно. И казалось, что все это — не в Петербурге, а в захолустном городке, в деревянном домике: такое простенькое, веселенькое, невинное, именинное или новобрачное.

Гостей много — все члены Тайного Общества. Сидели, стояли, ходили, беседуя, закусывая, покуривая трубки. Чтоб освежить воздух, открыли форточку: с улицы доносилось весеннее дребезжание дрожек, детски-болтливая капель и воскресный благовест.

Хотя уже с месяц, как Голицын принят был в Общество, но на собраниях почти не бывал. Софья после разговора с ним на концерте Виельгорского тяжело заболела. Он целые дни проводил у Нарышкиных, в тоске и тревоге, считая себя виновником ее болезни. Тем сильнее была радость выздоровления: накануне доктор сказал, что опасность миновала.

Голицын решил пойти к Рылееву, куда уже давно звал его Трубецкой.

— А что, Нева еще не тронулась? — сказал кто-то среди наступившего молчания, когда они вошли с Трубецким.

— Нет, а скоро, должно быть: лед потемнел, полыньи большие, мостки сняли, мосты развели.

Такое же весеннее, веселое почудилось Голицыну в этих словах, как и в тех, при входе услышанных: «А вот ужо революцию сделаем — и все будет по-новому».

С любопытством вглядывался в лица — не похожи на лица заговорщиков: все молодые, тоже весенние, веселые. «Милые дети»,— думал он. Или как пьяному кажется, что все пьяны, так ему, счастливому,— что все счастливы.

Трубецкой познакомил его с Рылеевым.

Лицо смуглое, худое, скуластое, мальчишеское; тонкие, насмешливо-дерзкие губы; большие прекрасные глаза, спокойно-печальные, но в минуту страсти загоравшиеся таким огнем, что становилось жутко. Одет

щеголем, но чуть-чуть безвкусно: пюсовый[1] фрак, шитый, видимо, русским иностранцем с Гороховой; слишком пестрый жилет со стеклянными пуговицами; кружевные рукавчики, слишком узкие. И в нем самом, так же, как в квартире,— что-то простенькое, веселенькое, невинное, именинное или новобрачное. Беленький батистовый галстучек повязан тщательно, должно быть, жениными ручками, потрепавшими его при этом по щеке с обычною лаской: «Ах ты, моя пыжечка, пульпушечка!» Волосы причесаны и напомажены гладко резедовой помадой, а один вихор на затылке торчит, непокорный: видно, мальчик — шалун, только притворился паинькой.

— А я вас помню, князь, по ложе Пламенеющей Звезды, и еще раньше, в четырнадцатом году, в Париже,— сказал Рылеев Голицыну: — вы, кажется, служили в Преображенском, а я в первой артиллерийской бригады конной роте подпрапорщиком.

— Да, только вы очень изменились, я и не узнал бы вас,— сказал Голицын, который вовсе не помнил Рылеева.

— Еще бы, за десять-то лет! Ведь совсем дети были...

«И теперь дети»,— подумал Голицын.

— Русские дети взяли Париж, освободили Европу,— даст Бог, освободят и Россию! — восторженно улыбнулся Рылеев и сделался еще больше похож на маленького мальчика.

— А вы у нас десятый князь в Обществе,— прибавил с тою же милою улыбкою, которая все больше нравилась Голицыну.— Вся революция наша будет восстание варяжской крови на немецкую, Рюриковичей на Романовых...

— Ну, какие мы Рюриковичи! Голицыных, как собак нерезаных,— все равно, что Ивановых...

— А все-таки — князь и камер-юнкер,— продолжал Рылеев с немного навязчивою откровенностью, как школьный товарищ с товарищем: — люди с положением нам весьма нужны.

— Да положение-то прескверное: Аракчеев намедни сделал выговор; хочу в отставку подать...

[1] Темно-коричневый (от *франц.* puce — блоха).

— Ни за что не подавайте, князь! Как можно, помилуйте! У нас такое правило: службу не покидать ни в коем случае, дабы все места значительные, по гражданской и военной части, были в наших руках. И что ко двору вхожи,— пренебрегать отнюдь не следует. Если там услышите что, уведомить нас можете. Вон Федя Глиночка [1] — мы Глинку так зовем — правителем канцелярии у генерал-губернатора,— так он сообщает нам все донесения тайной полиции, этим только и спасаемся...

— Да я еще не знаю, принят ли в Общество,— удивился Голицын тому простодушию, с которым Рылеев делал его своим шпионом.— Не нужно разве обещания, клятвы какой, что ли?

— Ничего не нужно. Прежде клялись над Евангелием и шпагою; пустая комедия, вроде масонских глупостей. А нынче просто. Вот хоть сейчас: даете слово, что будете верным членом Общества?

Голицын удивился еще больше, но неловко было отказывать, и он сказал:

— Даю.

— Ну, вот и дело с концом! — крепко пожал ему руку Рылеев.

— А насчет княжества, не думайте, что я из тщеславия... Хоть я и дворянский сын, а в душе плебей. Недаром крещен отставным солдатом-бродягой и нищим. Кондратом, мужичьим именем, назван по крестному. Оттого, должно быть, и люблю простой народ...

Прислушались к общей беседе.

— В наш век поэт не может не быть романтиком; романтизм есть революция в словесности,— говорил драгунский штабс-капитан, Александр Бестужев, молодой человек с тою обыкновенною приятностью в лице, о которой отзываются товарищи: «Добрый малый», и барышни на Невском: «Ах, душка гвардеец!» Тоже на мальчика похож: самодовольно пощупывал темный пушок над губою, как будто желая убедиться, растут ли усики. Говорил темно и восторженно.

— Неизмеримый Байрон — вот истинный романтик! Его поэзия подобна эоловой арфе, на которой играет буря...

---

[1] Глинка, Федор Николаевич (1786—1880) — участник Отечественной войны 1812 г.

— Романтизм есть стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах! — воскликнул молодой человек в штатском платье, коллежский асессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер, или попросту Кюхля, русский немец, белобрысый, пучеглазый, долговязый, как тот большой вялый комар, которого зовут *караморой*; лицо странно перекошенное, слегка полоумное, но, если вглядеться, пленительно-доброе.

— Прекрасное есть заря истинного, а истинное — луч Божества на земле, и сам я вечен! — вдохновенно махнул он рукою и опрокинул стакан: был близорук и рассеян, на все натыкался и все ронял.

Заспорили о Пушкине. Как будто желая перекричать споривших, канарейки заливались оглушительно; должны были накрыть клетку платком, чтоб замолчали.

— Пушкин пал, потому что не постиг применения своего таланта и употребил его не там, где следует,— объявил Бестужев, самодовольно пощупывая усики.

— Предпочитаешь Булгарина? — усмехнулся князь Одоевский, конногвардейский корнет, хорошенький мальчик, похожий на девочку, веселый, смешливый, любивший дразнить Бестужева, как и всех говорунов напыщенных.

— А ты что думаешь? — возразил Бестужев: — Фаддей лицом в грязь не ударит. Погоди-ка, «Иван Выжигин» будет литературы всесветной памятник... А Пушкин ваш — милая сирена, прелестный чародей, не более. Аристократом, говорят, сделался, шестисотлетним дворянством чванится,— маленькое подражание Байрону? Это меня рассмешило. Ума настоящего нет — вот в чем беда. «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата»,— о себе, видно, сказал... Зашел к нему както приятель: «Дома Пушкин?» — «Почивают» — «Верно, всю ночь работал?» — «Как же, работал! В картишки играл»...

— Талант ничто, главное — величие нравственное,— уныло согласился Кюхля, любивший Пушкина, своего лицейского товарища, с нежностью.

— «Будь поэт и гражданин!» — добил Бестужев Пушкина рылеевским стихом.— Предмет поэзии — полезным быть для света и воспалять в младых сердцах к общественному благу ревность...

Одоевский поморщился, как от дурного запаха, и

уставился на своего противника со школьническим вызовом.

— А знаешь, Бестужев, что сказал Пушкин своему брату Лёвушке?

— Блёвушке-пьянице?

— Ему самому. «Только для хамов — все политическое. Tout ce qui est politique n'est fait que pour la canaill...»

— Так значит, и мы хамы, потому что занимаемся политикой?

— Хамы все, кто унижает высокое! — сверкнул на него глазами Одоевский, и в эту минуту был так хорош, что Голицыну хотелось его расцеловать.

— Что выше блага общего? — самоуверенно пожал плечами Бестужев.— И чего ты на стену лезешь? Святой ваш Пушкин, пророк, что ли?

— Не знаю, пророк ли,— вступился новый собеседник, все время молча слушавший,— а только знаю, что все нынешние господа-сочинители мизинца его не стоят...

С простым и тихим лицом, с простою и тихою речью, Иван Иванович Пущин между этими пылкими юношами казался взрослым между детьми. Тоже лицейский товарищ Пушкина, покинул он блестящую службу в гвардейском полку для должности губернского надворного судьи, веруя, что малые дела не меньше великих и что в самом ничтожном звании можно сохранить доблесть гражданскую. Голицын чувствовал в тишине и простоте его что-то иное, на остальных не похожее, невосторженное и правдивое, пушкинское; как будто не случайно было созвучие имен: Пущин и Пушкин.

— Мы вот все говорим о деле, а он сделал,— сказал Иван Иванович тихо, просто, но все невольно прислушались.

— Да что же, что сделал? — начинал сердиться Бестужев.— Заладили: Пушкин да Пушкин — только и света в окошке. Ну, что он такое сделал, скажите на милость?

— Что сделал? — ответил Пущин.— Научил нас говорить правду...

— Какую правду?

— А вот какую.

Все так же просто, тихо прочел из только что начатой третьей главы «Онегина» разговор Татьяны с нянею.

Когда кончил, все, точно канарейки под платком, притихли.

— Как хорошо! — прошептал Одоевский.

— Да, стих гладок и чувства много, но что же тут такого? — начал было Бестужев и не кончил: все молча посмотрели на него так, что и он замолчал, только презрительно пощупал усики.

Рядом со столовой была гостиная, маленькая комната, отделенная от супружеской спальни перегородкою. Как во всех небогатых гостиных,— канапе с шитыми подушками, круглый стол с вязаной скатертью, стенное овальное зеркало, плохонькие литографии Неаполя с извержением Везувия, хрустальные кенкеты с восковыми свечами, ковер на полу с арапом и тигром. У окна пяльцы с начатой вышивкой: голубая белка со спиной в виде лесенки. Плющевой трельяж и клавесин с открытыми нотами романса:

Места, тобою украшенны,
Где дни я радостьми считал,
Где взор, тобой обвороженный,
Мои все чувства услаждал...

Накурено смолкою, но капуста и жуков табак из столовой заглушают смолку.

Наталья Михайловна, жена Рылеева — совсем еще молоденькая, миловидная, слегка жеманная, не то институтка, не то поповна. И от нее, казалось, как от мужа, пахнет новобрачной или именинной резедою. Платьице — домашнее, но по модной выкройке; бережевый шарфик *тру-тру*, должно быть, задешево купленный в Суровской линии. Прическа тоже модная, но не к лицу — накладные, длинные, вдоль ушей висящие букли. Натали — вместо Наташи. Но по рукам видно — хозяйка; по глазам — добрая мать.

Голицын, Пущин и Одоевский перешли в гостиную. Здесь Наталья Михайловна читала вслух, краснея от супружеской гордости, «Литературный Листок» Булгарина:

«Издатели имели счастье поднести по экземпляру «Полярной Звезды» их императорским величествам, государыням императрицам и удостоились высочайшего внимания: Кондратий Федорович Рылеев получил два

бриллиантовых перстня, а Александр Александрович Бестужев — золотую, прекрасной работы табакерку».

— Ну, чего еще желать? — усмехнулся Пущин: — бывало, Тредьяковский, поднося оду императрице, от дверей к трону на коленях полз, а нынче сами императрицы подносят нам подарочки.

Наташа не поняла, покраснела еще больше, не вытерпела, принесла показать футляр с перстнями; хвастала и жаловалась:

— Атя такой чудак, право! Ни за что не хочет носить, а какие алмазы-то! — любовалась игрой камней на солнце.

— Не к лицу республиканцу, что ли? — продолжал усмехаться Пущин.

— Да почему же? Я и сама республиканка, а царскую фамилию боготворю. Особенно, императрицы — такие, право, добрые, милые...

— Республика с царской фамилией?

— А что же? — подняла Натали брови с детским простодушием.— Кондратий Федорович сам говорит: республика с царем вместо президента, как в Северо-Американских Штатах...

— Натали, не болтай вздора! — крикнул издали Рылеев.

В столовой спорили о двухпалатной системе, о прямых и косвенных выборах в будущий русский парламент. Рылеев что-то доказывал и кричал, стучал кулаками по столу.

— Ну вот, опять! Ах, несносный какой! — оглянулась на него Натали с насмешливой нежностью.— Намедни также вот заспорил, закричал, застучал кулаками, не захотел ничего слушать да без шапки на двор по морозу и выбежал. Просто беда!

— О чем же? О республике с царской фамилией?

— Не помню, право. Все о пустяках: выеденного яйца не стоит, а он горячится...

Улыбка Пущина сделалась печальной и кроткой.

— А что Настенька, все еще кашляет?

— Нет, слава Богу, прошло. А уж боялась-то я как! Коклюш, говорят, по городу ходит. Сегодня гулять вышла. Трофим обещал из деревни живого зайчика. Ждем не дождемся,— ответила уж не пустенькая Натали, а умная и добрая Наташа.

В укромном уголке за трельяжем беседовала парочка: капитан Якубович и девица Теляшева, Глафира Никитична, чухломская барышня, приехавшая в Петербург погостить, поискать женихов, двоюродная сестра Наташина.

Якубович, «храбрый кавказец», ранен был в голову; рана давно зажила, но он продолжал носить на лбу черную повязку, щеголял ею как орденскою лентою. Славился сердечными победами и поединками; за один из них сослан на Кавказ. Лицо бледное, роковое, уж с печатью байронства, хотя никогда не читал Байрона и едва слышал о нем.

Перелистывал Глашенькин альбом с обычными стишками и рисунками. Два голубка на могильной насыпи:

Две горлицы укажут
Тебе мой хладный прах.

Амур, над букетом порхающий:

Пчела живет цветами,
Амур живет слезами.

И рядом — блеклыми чернилами, старинным почерком: «О, природа! О, чувствительность!..»

— Вы, господа кавалеры, считаете нас, женщин, дурами,— бойко лепетала барышня,— а мы умом тонее вашего: веку не станет мужчине узнать все наши женские хитрости. Мужчину в месяц можно узнать, а нас никогда...

— Ваша правда, сударыня,— любезно говорил капитан, поводя черными усами, как жук: — вся натура женская есть тончайший флер, из неприметных филаментов сотканный. Легче найти философский камень, нежели разобрать состав вашего непостоянного пола...

— Почему же непостоянного? И мы умеем верно любить. Хотя наш пол, разумеется, не то, что ваш: всякая женщина должна обвиваться вокруг кого-нибудь, вот как этот плющ, а без опоры вянет,— вздохнула Глафира, указывая на трельяж и томно играя узкими калмыцкими глазками с пушистыми ресницами, кидавшими тень на розово-смуглое личико. Ей двадцать восемь лет; еще год-другой — и отцветет; но пока пленительна той общедоступною прелестью, на которую так падки мужчины.

— Ну, полно! Расскажите-ка лучше, капитан, как вы на Кавказе сражались...

Якубович не заставил себя просить: любил порассказать о своих подвигах. Слушая, можно было подумать, что он один завоевал Кавказ.

— Да, поела-таки сабля моя живого мяса, благородный пар крови курился на ее лезвии! Когда от пули моей падал в прах какой-нибудь лихой наездник, я с восхищением вонзал шашку в сердце его и вытирал кровавую полосу о гриву коня...

— Ах, какой безжалостный! — млела Глашенька.

— Почему же безжалостный? Вот если бы такое беззащитное создание, как вы...

— И неужели не страшно? — перебила она, стыдливо потупившись.

— Страх, сударыня, есть чувство, русским незнакомое. Что будет, то будет — вот наша вера. Свист пуль стал для нас, наконец, менее, чем ветра свист. Шинель моя прострелена в двух местах, ружье — сквозь обе стенки, пуля изломала шомпол...

— И все такие храбрые?

— Сказать о русском: он храбр, все равно что сказать: он ходит на двух ногах.

— Не родился тот на свете,
Кто бы русских победил! —

патриотическим стишком подтвердила красавица.

Одоевский, подойдя незаметно к трельяжу, подслушивал и, едва удерживаясь от смеха, подмигивал Голицыну. Они познакомились и сошлись очень быстро.

— И этот — член Общества? — спросил Голицын Одоевского, отходя в сторону.

— Да еще какой! Вся надежда Рылеева. Брут и Марат вместе, наш главный тираноубийца. А что, хорош?

— Да, знаете, ежели много таких...

— Ну, *таких*, пожалуй, немного, а *такого* много во всех нас. Чухломское байронство... И каким только ветром надуло, черт его знает! За то что чином обошли, крестика не дали,—

Готов царей низвергнуть с тронов
И Бога в небе сокрушить,—

как говорит Рылеев. Скверно то, что не одни дураки подражают и завидуют Якубовичу: сам Пушкин когда-то жалел, что не встретил его, чтобы списать с него «Кавказского пленника»...

Подошли к Пущину. Когда тот узнал, о чем они говорят,— усмехнулся своею тихою усмешкою.

— Да, есть-таки в нас, во всех эта дрянь. Болтуны, сочинители, Репетиловы: «Шумим, братец, шумим!» Или как в цензурном ведомстве пишут о нас: «Упражняемся в благонравной словесности». А господа словесники,— сказал Альфиери,— более склонны к умозрению, нежели к деятельности. «Наделала синица славы, а моря не зажгла...» [1]

И прибавил, взглянув на Голицына:

— Ну, да не все же такие, есть и получше. Может быть, это не дурная болезнь, а так только, сыпь, как на маленьких детях: само пройдет, когда вырастем...

Все трое вернулись в столовую. Там князь Трубецкой, лейб-гвардии полковник, рябой, рыжеватый, длинноносый, несколько похожий на еврея, с благородным и милым лицом, читал свой проект конституции:

«Предложение для начертания устава положительного образования, когда его императорскому величеству благоугодно будет...»

— После дождичка в четверг! — крикнул кто-то.

— Слушайте! Слушайте!

— «...благоугодно будет с помощью Всевышнего учредить Славяно-Русскую империю. Пункт первый: опыт всех народов доказал, что власть неограниченная равно гибельна для правительства и для общества; что ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка несогласна оная; русский народ, свободный и независимый, не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства...»

С первым пунктом согласны были все; но по второму, об ограничении монархии, заспорили так, что Трубецкому уже не пришлось возобновлять чтения. Все говорили вместе, и никто никого не слушал: одни стояли за монархию, другие — за республику.

— Русский народ, как бы сказать не соврать, не

[1] Из басни И. А. Крылова «Синица».

поймет республики,— начал инженерный подполковник Гаврила Степанович Батенков.

Он еще не был членом Общества, собирался вступить в него и все откладывал. Но ему верили и дорожили им за редкую доблесть: в походе 1814 года, в сражении при Монмирале, так долго и храбро держался на опаснейшей позиции, что окружен был неприятелем, получил десять штыковых ран, оставлен замертво на поле сражения и взят в плен. В штабном донесении сказано: «Потеряны две пушки с прислугою от чрезмерной храбрости командовавшего ими офицера Батенкова». Был домашним человеком у Сперанского, который любил его за отличные способности; служил у Аракчеева в военных поселениях, но хотел выйти в отставку. Превосходный инженер, глубокий математик. «Наш министр»,— говорили о нем в Обществе.

Сутул, костляв, тяжел, неповоротлив, медлителен, в тридцать лет своеобразен, и, подобно Пущину, в этом собрании, как взрослый между детьми. Высокий лоб, прямой нос, выдающийся подбородок, сосредоточенный, как бы внутрь обращенный взгляд. Говорил с трудом, точно тяжелые камни ворочал. Курил трубку с длинным бисерным чубуком и, усиленно затягиваясь, казалось, недостающие слова из нее высасывал.

— Русский народ не поймет республики, а если поймет, то не иначе, как боярщину. Одни церковные ектеньи не допустят нас до республики... Да и не в пору нам никакие конституции. Императрица Екатерина II правду сказала: не родился еще тот портной, который сумел бы скроить кафтан для России...

— Говорите прямо: вы против республики? — крикнул Бестужев, который побаивался и недолюбливал Батенкова.

— Да, значит, того... как бы сказать не соврать,— опять заворочал свои тяжелые камни Батенков: — по особливому образу мыслей моих, я не люблю республик, потому что угнетаются оныя сильным деспотичеством законов. А также, по некоторым странностям в моих суждениях, я воображаю республики Заветом Ветхим, где проклят всяк, кто не пребудет во всех делах закона; монархии же — подобием Завета Нового, где государь, помазанник Божий, благодать собою представляет и может добро творить, по изволению благодати.

Самодержец великие дела беззаконно делает, каких никогда ни в какой республике, по закону, не сделать...

— Если вам самодержавие так нравится, зачем же вы к нам в Общество вступили?

— Не вступил, но, может, и вступлю... А зачем? Затем, что самодержавия нет в России, нет русского царя, а есть император немецкий... Русский царь — отец, а немец — враг народа... Вот уже два века, как сидят у нас немцы на шее... Сперва немцы, а там жиды... С этим, значит, того, как бы сказать не соврать, прикончить пора...

— Верно, верно, Батенков! Немцев долой! К черту немцев! — закричал Кюхельбекер восторженно.

— Да ты-то, Кюхля, с чего, помилуй? Сам же немец...— удивился Одоевский.

— Коли немец, так и меня к черту! — яростно вскочил Кюхельбекер и едва не стащил со стола скатерть со всею посудою.— А только в рожу я дам тому, кто скажет, что я не русский!..

— Поймите же, государи мои, ход Европы — не наш ход,— выкатил насилу Батенков свой самый тяжелый камень.— История наша требует мысли иной; Россия никогда ничего не имела общего с Европою...

— Так-таки ничего? — улыбнулся Пущин.

— Ничего... то есть, в главном, значит, того, как бы сказать не соврать, в самом главном... ну, в пустяках,— о торговле там, о ремеслах, о промыслах речи нет...

— И просвещение — пустяки?

— Да, и просвещение — перед самым главным.

— Все народное — ничто перед человеческим! — заметил Бестужев.

Батенков только покосился на него угрюмо, но не ответил.

— Да главное-то, главное что, позвольте узнать? — накинулись на него со всех сторон.

— Что главное? А вот что,— затянулся он из трубки так, что чубук захрипел.— Русский человек — самый вольный человек в мире...

— Вот тебе на! Так на кой нам черт конституция? Из-за чего стараемся?

— Я говорю: вольный, а не свободный,— поправил Батенков: — самый рабский и самый вольный; тела в рабстве, а души вольные.

— Дворянскне души, но не крепостные же?

— И крепостные, все едино...

— Вы разумеете вольность первобытную, дикую, что ли?

— Иной нет; может быть, и будет когда, но сейчас нет.

— А в Европе?

— В Европе — закон и власть. Там любят власть и чтут закон; умеют приказывать и слушаться умеют. А мы не умеем, и хотели бы да не умеем. Не чтим закона, не любим власти — да и шабаш. «Да отвяжись только, окаянный, и сгинь с глаз моих долой!» — так-то в сердце своем говорит всякий русский всякому начальнику. Не знаю, как вам, государи мои, а мне терпеть власть, желать власти, всегда были чувства сии отвратительны. Всякая власть надо мной — мне страшилище. По этому только одному и знаю, что я русский,— обвел он глазами слушателей так искренно, что все вдруг почувствовали правду в этих непонятных и как будто нелепых словах. Но возмущались, возражали...

— Что вы, Батенков, помилуйте! Да разве у нас не власть?..

— Ну, какая власть? Курам на смех. Произвол, безначалие, беззаконие. Оттого-то и любят русские царя, что нет у него власти человеческой, а только власть Божья, помазанье Божье. Не закон, а благодать. Этого не поймут немцы, как нам не понять ихнего. А это — главное, это — все! Россия, значит, того, как бы сказать не соврать, только притворилась государством, а что она такое, никто еще не знает... Не правительство правит у нас, а Никола Угодник...

— И Аракчеев?

— Аракчеев с благодатью?

— Не оттого ли и служите в военных поселениях, что там благодать?

Но Батенков не замечал насмешек, как будто не слышал; тяжело и неповоротливо следовал только за собственною мыслью; разгорался медленно, и казалось, что перед этим тяжелым жаром легкий пыл прочих собеседников,— как соломенный огонь перед раскаленным камнем.

Помолчал, задумался, затянулся, набрал дыму в рот и выпустил кольцами.

— Все, что в России хорошо,— по благодати, а что по закону — скверно,— заключил, как будто любуясь окончательно ясностью мысли: видно было — математик.

— Какая подлость, какая подлость! — послышался вдруг негодующий окрик.

Там, в углу у печки, стоял молодой человек с невзрачным, голодным и тощим лицом, обыкновенным, серым, точно пыльным лицом захолустного армейского поручика, с надменно оттопыренной нижней губой и жалобными глазами, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина. Поношенный черный штатский фрак, ветхая шейная косынка, грязная холстинная сорочка, штаны обтрепанные, башмаки стоптанные. Не то театральный разбойник, не то фортепианный настройщик. «Пролетар» — словечко это только что узнали в России.

В начале спора он вошел незаметно, почти ни с кем не здороваясь: с жадностью набросился на водку и кулебяку, съел три куска, запил пятью рюмками; отошел от стола и, как стал в углу у печки, скрестив руки по-наполеоновски, так и простоял, не проронив ни слова, только свысока поглядывая на спорщиков и усмехаясь презрительно.

— Кто это? — спросил Голицын Одоевского.

— Отставной поручик Петр Григорьевич Каховский. Тоже тираноубийца. Якубович — номер первый, а этот — второй.

Когда Каховский крикнул: «Какая подлость!» — все оглянулись, и наступила тишина. Думали, Батенков обидится. Но он проговорил спокойно и задумчиво, как будто продолжая следовать за своею собственною мыслью:

— Правильно, сударь, заметить изволили: превеликою сие может быть подлостью; подлость одна и есть нынче в России. Но не всегда же было так. Для того и нужна революция, чтобы снова неподлым стало...

— Ну чего, брат, канитель-то тянуть,— возмутился наконец, Рылеев: — скажи-ка лучше попросту: за царя ты что ли?

— За царя? Нет, то есть, значит, того, как бы сказать не соврать, если и за царя, то не за такого, как нынешний. Истинный-то царь — все равно что святой; душу свою за народ полагает; страстотерпец и муче-

ник; сам от царства отрекается. Богу всю власть отдает, народ освобождает... А этот что?

— Да ведь и этот,— возразил Рылеев,— в Священном-то Союзе, помнишь: «все цари земные слагают венцы свои у ног единого Царя Христа Небесного...»

— Великая, великая мысль! Величайшая! Больше сей мысли и нет на земле и не будет вовеки. Только исподлили, изгадили мерзавцы так, что разве самому Меттерниху или черту под хвост. За это их убить мало! — потряс он кулаком с внезапною яростью, и по лицу его в эту минуту видно было, что он мог потерять всю команду с пушками от чрезмерной храбрости.

— А коли так,— засмеялся Рылеев,— нам все равно: царь так царь. Кто ни поп, тот и батька. Только бы революцию сделать!

Батенков умолк и сердито выбил пепел из потухшей трубки, как будто сам потух; увидел, что никто ничего не понимает.

Одни смеялись, другие сердились.

— Темна вода во облацех!

— Министр-то наш, кажется, того, сбрендил!

— Какие-то масонские таинства!

— Уши вянут!

— Ермалафия! [1]

— За царя да без царя в голове! Этак и вправду, пожалуй, революции не сделаешь...

— Шпион, как же вы, господа, не видите? Просто аракчеевский шпион! — шептал соседям на ухо Бестужев, сам не веря, и зная, что другие не поверят.

А между тем все продолжали чувствовать, что есть у Батенкова что-то, чего не победишь смехом.

Один только Голицын понял: парижские беседы с Чаадаевым о противоположном подобии двух вечных двойников, русского царя и римского первосвященника, вспомнились ему — и вдруг со дна души поднялось все тайное, страшное, что давно уже мучило его, как бред. Знал, что говорить не надо,— все равно никто ничего не поймет. Но что-то подступило к горлу его, захватило неудержимым волнением. Он встал, подошел к Батенкову и проговорил слегка дрожащим голосом:

---

[1] Пустословие.

— Давеча Каховский назвал это подлостью; но это хуже, чем подлость...

— Хуже, чем подлость? — посмотрел на него Батенков, опять без обиды, только с недоумением и любопытством.

— Что может быть хуже подлости? — спросил кто-то.

— Кощунство,— ответил Голицын.

— В чем же тут, как бы сказать не соврать, полагаете вы кощунство? — продолжал любопытствовать Батенков.

— Царя Христом делаете, человека — Богом. Может быть, и великая, но чертова, чертова мысль! Кощунство кощунств, мерзость мерзостей!..

Вдруг замолчал, оглянулся, опомнился. Губы скривились обычною усмешкой, злою не к другим, а к себе; живой огонь глаз покрыли очки мертвенным поблескиваньем стеклышек; сделался похож на Грибоедова в самые насмешливые минуты его. «С чего это я?» — подумал с досадою. Было стыдно, как будто чужую тайну выдал.

А Батенков в неменьшем волнении, чем он, опять задвигался, зашевелился неуклюже-медлительно, как будто тяжелые камни ворочал.

— Может быть, тут и правда есть, как бы сказать не соврать... Я и сам думал... Ну, да мы еще с вами потолкуем, если позволите.

Хотел что-то прибавить, но не успел: поднялся общий говор и смех.

— Неужели вы о черте серьезно? — спросил Бестужев.

— Серьезно. А что?

— В черта верите?

— Верю.

— С рогами и с хвостом?

— Вот именно.

— Тут по-вашему он и сидит?

— Пожалуй, что так.

— Ну, поздравляю, черта за хвост поймали!

— Договорились до чертиков!

Из гостиной вышел Якубович, прислушался и вдруг вспылил неизвестно на кого и на что; должно быть, как всегда, обиделся умным разговором, в котором не мог принять участия.

— Нам о деле нужно, а мы черт знает о чем...

— Слушайте! Слушайте!

— О каком же деле?

— А вот о каком. Государь всему злу есть первая причина, а посему, ежели хотим быть свободными...

— Ну, полно, брат, полно. Знаем, что ты молодец,— успокаивал его Рылеев.

— Закройте хоть форточку, а то квартальный услышит! — смеялся Одоевский.

— Ничего,— подумает, что мы переводим из Шиллера, упражняемся в благонравной словесности.

— Если хотим быть свободными,— продолжал Якубович, не слушая и выкрикивая с таким же неестественным жаром, как давеча о своих кавказских подвигах,— то прежде всего истребить надо...

— Папенька! Папенька! Лед пошел! — закричала, вбегая в комнату с радостным визгом, Настенька, маленькая дочка Рылеева, такая же смугленькая и востроглазая, как он.— На Неве-то как хорошо, папенька! Мосты развели, народу сколько, пушки палят, лед пошел! лед пошел!

Так и не досказал Якубович, кого надо истребить. Все занялись Настенькой. Батенков наклонился, расставил руки, поймал ее, обнял и защекотал.

— Сорока-воровка кашку варила, на порог скакала, гостей созывала, этому дала, этому дала...

— А вот и не боюсь, не боюсь! — отбивалась от щекотки Настенька.— Батя, а батя, спой-ка «Совочку»...

Батенков присел перед ней на корточки, съежился, нахохлился, сделал круглые глаза и запел сначала тоненьким, а потом все более густым, грубым голосом:

Сидит сова на печи,
Крылышками треплючи;
Оченьками лоп-лоп,
Ноженьками топ-топ...

И хлопал себя руками по ляжкам, точно крыльями, и притопывал ногами тяжело, неповоротливо, медлительно, так что в самом деле похож был на большую птицу.

Настенька тоже прыгала, топала и хлопала в ладоши, заливаясь пронзительно-звонким смехом.

Когда кончил песенку, схватил ее в охапку, поднял

высоко над головой — сова полетела — и опустил на пол. Девочка прижалась к нему ласково.

— Дядя — бука! — указала вдруг на Якубовича, который свирепо поправлял черную повязку на лбу, неестественно вращал глазами, делал роковое лицо и действительно был так похож на «буку», что все расхохотались.

Якубович еще свирепее нахмурился, пожал плечами и, ни с кем не прощаясь, вышел.

Рылеев увел Голицына в кабинет.

— Ну что, как? Нравится вам у нас?

— Очень.

— А только молодо-зелено? Детки шалят, деток — розгою? Так, что ли?

— Я этого не говорю,— невольно улыбнулся Голицын тому, что Рылеев так верно угадал.

— Ну, все равно, думаете, признайтесь-ка... Да ведь что поделаешь? Русский человек, как тридцать лет стукнет, ни к черту не годен. Только дети и могут сделать у нас революцию. А насчет розги... Вы где воспитывались?

— В пансионе аббата Никола.

— Ну, так значит, березовой каши не отведали. А нас, грешных, в корпусе как сидоровых коз драли. Меня особенно: шалун был, сорванец-мальчишка. А ничего, обтерпелся. Лежишь, бывало, под розгами, не пикнешь,— только руки искусаешь до крови, а встанешь на ноги и опять нагрубишь вдвое. Убей — не боюсь. Вот это бунт, так бунт! Так бы вот надо и с русским правительством... Вся революция в одном слове: дерзай!

— А у вас лампадки везде,— сказал Голицын, заметив здесь, в кабинете, так же, как в столовой и гостиной, затепленную лампадку перед образом.

— Да, жена любит. А что?

Голицын ничего не ответил, но Рылеев опять угадал.

— Мне все равно — лампадки. Я в Бога не верую. А впрочем, не знаю. Мало думал. Что за гробом, то не наше. Но кажется, есть что-то такое... А вы?

— Я верю.

— То-то вы о черте давеча... А зачем?

— Что зачем?

— Да вот верить?

— Не знаю. Но, кажется, без этого нельзя ничего...

— И революцию нельзя?

— И революцию.

— Ну, а я хоть не верю, а вот вам крест,— через два года революцию сделаем!

Жуткий огонь сверкнул в глазах его, а упрямый на затылке хохол торчал все так же детски-беспомощно, как у сорванца-мальчишки в корпусе.

— Зайчик! Зайчик! Зайчик! — послышался опять из столовой радостный Настенькин визг.

Староста Трофимыч принес на кухню обещанного зайчика. Он вырвался у Настеньки, игравшей с ним, и побежал по комнатам. Она ловила его и не могла поймать. Спрятался в столовой под стол. Поднялась суматоха. Кюхля ползал по полу длинноногой караморой, залез под скатерть, задел за ножку стола, едва не опрокинул, растянулся, а зайчик, перепрыгнув через голову его, убежал в гостиную и шмыгнул под Глашенькин подол. Она подобрала ножки и завизжала пронзительно. В суматохе свалилась шаль с клетки; канарейки опять затрещали неистово, как будто стараясь перекричать и оглушить всех. В открытую форточку слышался воскресный благовест, как песнь о вечной свободе,— весенний, веселый звон разбитых льдов.

«Милые дети! — думал Голицын.— Кто знает? Может быть, так и надо? Вечная свобода — вечное детство?..»

Солнце кидало на пол косые светлые четырехугольники окон с черною тенью как будто тюремных решеток. И ему казалось, что свобода — как солнце, а рабство — как тень от решеток: через нее даже Настины детские ножки переступают с легкостью.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Рылеев и Бестужев, сидя у камелька в столовой, той самой, где происходили русские завтраки, разговаривали о делах Тайного Общества.

Дрова в камельке трещали по-зимнему, и зимний ветер выл в трубе. Из окон видно было, как на повороте Мойки, у Синего моста, срывает он шапки с прохожих, вздувает парусами юбки баб и закидывает воротники шинелей на головы чиновникам.

Первый ледоход, невский, кончился и начался второй, ладожский. Задул северо-восточный ветер; все, что растаяло,— замерзло опять; лужи подернулись хрупкими иглами; замжилась ледяная мжица, закурилась низким белым дымком по земле, и наступила вторая зима, как будто весны не бывало.

Но все же была весна. Иногда редели тучи; полыньями сквозь них голубело, зеленело, как лед, прозрачное небо; пригревало солнце, таял снег; дымились крыши; мокрые, гладкие, лоснились лошадиные спины, точно тюленьи. И уличная грязь сверкала вдали серебром ослепительным. Все — надвое, и канарейки в клетке чирикали надвое: когда зима,— жалобно; когда весна,— весело.

— Никто ничего не делает,— говорил Рылеев в одном из тех припадков уныния, которые бывали у него часто и проходили так же внезапно, как наступали.— А ведь надо же что-нибудь делать. Начинать пора...

— Да, пора начинать,— сказал Бестужев, потягиваясь и удерживая зевоту. Не выспался: сначала — карты в клубе, потом — тройки в Екатерингоф, и в Желтом кабачке — всю ночь с цыганками. Не о делах бы теперь, а выпить с похмелья да порассказать о ночных похожденьях.

Бестужев был добрый малый: в самом деле, добрый товарищ, храбрый офицер и остроумный писатель, сотрудник «Полярной Звезды». Но в заговор попал, как кур во щи,— из мальчишеского ухарства, байронства, подражания Якубовичу; играл в заговорщики, как дети играют в разбойники. Но начинал понимать, что игра опасна; все чаще подумывал, как бы, не изменяя слову, выйти из Общества; летом женится в Москве и уедет за границу.

«Теперь еще куда ни шло, буди воля Божья,— мечтал наедине,— но, если женюсь, ни за что не останусь в Обществе, хоть расславь меня по всему свету, чем хочешь!»

— Да, пора начинать! — повторил он с особенным жаром, под испытующим взором Рылеева, отвернулся, поправил щипцами огонь в камельке и торопливо, деловито прибавил:

— А Пестель, говорят, уже здесь...

— Пестель? Быть не может! Чего же он прячется, глаз не кажет? — удивился Рылеев.

— Боится, что ли? — продолжал Бестужев.— Следят за ним очень. У самого государя на примете. Да и за нами, чай, следят. Проходу нет от шпионов. Глиночка-то намедни, помнишь, говорил: «Смотрите в оба!» А ведь вот и Пестель начинает торопить: в южной армии дела, будто, в таком положении, что едва можно удерживать: довольно одной роте взбунтоваться, чтобы само началось. Предлагает нам соединиться с Южными...

— Было бы кому соединяться! — горько усмехнулся Рылеев.

— Да, людей мало,— подтвердил Бестужев и с тем же преувеличенным жаром прочел стихи Рылеева:

Всюду встречи безотрадные;
Ищешь, суетный, людей,—
А встречаешь трупы хладные
Иль бессмысленных детей.

— Да, трупы хладные,— вздохнул Рылеев и опустил голову.— Ты что думаешь, Саша: других обличаю, а сам?.. Нет, брат, знаю: и сам — подлец! За жену, за дочку, за теплый угол да за звучный стих отдам все,— все свободы. А Якубович, тот — за свою злобу, Каховский — за свою славу, Пущин — за свою честность, Одоевский — за свою шалость...

— А я?

— А ты — за картишки, за девчонок, за аксельбанты флигель-адъютантские... Ну, да что говорить, все хороши! В Писании-то, помнишь, сказано: никтоже, возложа руку свою на рало и зря вспять, управлен есть в Царствие Божие. А мы все зрим вспять. Щелкоперы, свистуны, фанфаронишки; наговорим с три короба, а только цыкни — и хвост подожмем... Эх, Саша, Саша, знаешь, брат... все мне кажется: осрамимся, в лужу сядем, ничего у нас не выгорит, ни черта лысого! Не по силам берем, руки коротки. «Наделала синица славы, а моря не зажгла»,— правду говорит Пущин...

Положил руку на плечо Бестужева и произнес торжественно, с тем невольным актерством, в которое все они впадали, как бы ни были искренни:

— И на твоем челе, Александр, я читаю противное благу Общества!

— Да ну же, полно, брось, говорят! Это ведь, душа моя, из «Разбойников» Шиллера. И что на меня-то валить, с больной головы на здоровую? Вы все — мечтатели, а я — солдат: гожусь не рассуждать, а действовать. Начинать, так начинать. По мне хоть сейчас! — с тем же актерством ответил и Бестужев.

И не хотел, и знал, что не надо говорить, да само говорилось. Но если лгал, то не совсем: как хорошему актеру, стоило ему вообразить, что он что-нибудь чувствует, для того, чтобы действительно почувствовать; а иной раз бывали чувства противоположные, и он сам тогда не знал, какое настоящее.

— Нет, сейчас нельзя,— начал Рылеев уже другим, повеселевшим голосом: как всегда, облегчив сердце в жалобе, ободрился.— Сейчас нельзя. А вот будущей весной, на майском параде или на петергофском празднике, летом, что ли?.. Якубовича бы можно хоть сейчас с цепи спустить,— у него рука не дрогнет. Да боюсь: беды наделает, сразу вооружит всех против Общества...

— Берегись, Рылеев: твой Каховский хуже Якубовича. Намедни опять в Царское ездил...

— Врешь!

— Спроси самого... Государь нынче, говорят, все один, без караула, в парке гуляет. Вот он его и выслеживает, охотится. Ну, долго ли до греха? Ведь ни за что пропадем... Образумил бы его хоть ты, что ли?

— Образумишь, как же! — проговорил Рылеев, пожимая плечами с досадой.— Намедни влетел ко мне, как полоумный, едва поздоровался, да с первого же слова — бац: «Послушай, говорит, Рылеев, я пришел тебе сказать, что решил убить царя. Объяви Думе, пусть назначит срок...» Лежал я на софе, вскочил, как ошпаренный: «Что ты, что ты, говорю, сумасшедший! Верно, хочешь погубить Общество...» И так, и сяк. Куда тебе! Уперся, ничего не слушает. Вынь да положь. Только уж под конец, стал я перед ним на колени, взмолился: «Пожалей, говорю, хоть Наташу да Настеньку!» Ну, тут как будто задумался, притих, а потом заплакал, обнял меня: «Ну, говорит, ладно, подожду еще немного...» С тем и ушел. Да надолго ли?

— Вот навязали себе черта на шею! — проворчал Бестужев.— И кто он такой? Откуда взялся? Упал как снег на голову. Уж не шпион ли, право?..

— Ну, с чего ты взял, какой шпион! Малый пречестный. Старой польской шляхты дворянин. И образованный: к немцам ездил учиться, в гвардии служил, французский поход сделал, да за какую-то дерзость переведен в армию и подал в отставку. Именьице в Смоленской губернии. В картишки продул, в пух разорился. На греческое восстание собрался, в Петербург приехал, да тут и застрял. Все до нитки спустил, едва не умер с голоду. Я ему кое-что одолжил и в Общество принял...

Раздался звонок в передней, голос Каховского и казачка Фильки:

— Дома барин?

— Дома, пожалуйте.

— Никак он? — прислушался Рылеев.— Он и есть, легок на помине...

Еще более голодный, испитой, оборванный, чем в день русского завтрака, вошел Каховский и поздоровался, по обыкновению, молча, свысока, двумя пальцами, как будто из милости. Присел к огню; грел озябшие руки и сушил на каминной решетке свои рваные, облепленные грязью сапоги, рядом с щегольскими, лакированными флигель-адъютантскими ботфортами Бестужева.

— Что, Петя, озяб? Хочешь закусить? — прервал неловкое молчание Рылеев.

Каховский не ответил, только сердито и болезненно, как от озноба, передернул плечами.

— Еду завтра. Прощайте.

— Куда?

— В Смоленск.

— С чего ты вздумал?

— А что мне тут с вами? Как собака живу, голодаю, побираюсь, обносился весь, сапог вон купить не на что. А вы когда-то еще...

— Скоро, Петя, скоро. Только не от нас ведь это зависит...

— От кого же?

— От Верховной Думы. Как она решит...

— Невидимые Братья?

— Ну да, и они. Мы ведь с тобою не более, как рядовые в Обществе, сам знаешь.

— Ничего не знаю и знать не хочу! Наплевать

мне на Думу! Секреты какие-то масонские. Невидимые Братья! Людей только морочите, за нос водите... Да чем я хуже ваших Невидимых Братьев, черт их дери! Что отставной армеец, голоштанник, нищий, пролетар,— так и чести нет, что ли? Да, пролетар! — ударяя себя в грудь, повторил он это новое словечко с особенной гордостью,— пролетар, а честью моей дорожу не менее ваших сопливых дворянчиков, гвардейских шаромыжников, князьков да камер-юнкеров, придворной сволочи!

— Чего же ты ругаешься? Никто твоей чести не трогает. А уходить вздумал, ну, и с Богом, держать не будем, и без тебя много желающих. Ты вот все о чести, а найдутся люди, которые для блага общего не только жизнью, но и честью пожертвуют...

— Кто же это? Кто? — побледнел и вскочил Каховский, как ужаленный.— Уж не Якубович ли?

— А хотя бы и он...

— Шут гороховый!

— Ты так завистлив, душа моя, что осуждаешь все, чего сам не можешь.

— Не могу — низости...

— Какая же низость?

— Мщенье оскорбленного безумца — низость, подлость! А под видом блага общего — еще того подлее... Пойти убить царя не штука,— на это всякого хватит. Но надо право иметь, слышишь, право!

— Право на убийство?

— Не убийство тут, а другое... Может быть, и хуже убийства, да совсем, совсем другое... Только не понимаете вы... Никто ничего не понимает. О, Господи, Господи...

Вдруг опустился на стул, закрыл глаза, и лицо его помертвело.

— Что с тобою, Петя? Нездоровится?

— Нет, ничего, пройдет. Голова кружится. Дай воды или стакан вина...

Как всегда перед завтраком, в столовой Рылеева пахло чем-то вкусным, жареным. Каховского тошнило от голода и от этого запаха.

Рылеев догадался, сбегал на кухню, принес тарелку щей с мясом и графин водки. Когда тот кончил есть, повел его в кабинет.

— Послушай, Петя, ну как тебе не стыдно: голодаешь, а денег не берешь, ну разве так друзья поступают, а?

Отпер конторку.

— Если не хочешь обидеть меня... Вот тут, кажется, двести...— совал ему в руку синенькую пачку ассигнаций.

— Куда мне столько? — отвертывался Каховский; оттопыренная нижняя губа еще дрожала.— Хозяйке бы только, да в лавочку, да вот еще портному Яухци. Пристает жид проклятый, каждый день шляется, в яму посадить грозит...

Портному Яухци заказан был военный мундир; по настоянию Рылеева Каховский согласился поступить снова на службу и подал прошение в Елецкий пехотный полк.

Наконец взял деньги, не считая, и торопливо, неловко сунул пачку в боковой карман брюк, точно кисет с табаком.

— Мундир-то готов? — спросил Рылеев.

— Готов.

— Ну и ладно. Не к лицу тебе фрак: в мундире будешь виднее, и легче действовать... А насчет крестьян как же? — прибавил, подумав.— Продал бы их, что ли? По пятисот нынче за душу. Тринадцать-то душ — деньги тоже, на улице не валяются. Я бы тебе живо устроил: у меня в палате заручка...

— Да нет, где уж... Заложены, процентов давно не платил, уж, чай, и просрочены,— солгал Каховский и покраснел мучительно: не заложил, а проиграл эти последние тринадцать душ родового наследия в карты какому-то шулеру на Лебедянской ярмарке.

— Ну, так, значит, мир, Петя, голубчик, а? Не сердишься? — сказал Рылеев, пожимая ему руку и заглядывая в лицо со своей милою, мальчишескою улыбкою.

Но тот все еще отвертывался, не смотрел ему в глаза и думал: «Где уж сердиться, коли деньги взял?» Каждый раз, когда брал их, испытывал такое чувство, как будто собственную душу свою черту проигрывал.

— Не сержусь, Атя, нет... За что же?.. А только скверно, иной раз так на душе скверно, что хоть пулю в лоб. Не могу я больше, не могу, мочи моей нет!..

— Ну полно, полно,— видимо, о другом думая, уте-

шал его Рылеев: — ведь уж недолго теперь, потерпи как-нибудь... А в Царское зачем ездил?

— В Царское? Сам знаешь... Эх, брат, ведь только прицелиться. В десяти шагах. Один одинешенек. Точно дразнит...

— Да ведь сам говоришь: убить не штука, а надо, чтобы...

— Ну, да уж знаю, знаю. А только не могу больше... Господи! Господи! Когда же?

— Да говорю же — скоро. Ну вот, ей Богу, вот тебе крест! — перекрестился Рылеев на образ, точно так же, как намедни в беседе с Голицыным.— Ты, ты один — и больше никого! Так и знай. И Думу о том известим, и срок назначим. Ты достоин... Я же знаю, Петя милый, ты один достоин.

В глазах Каховского загорелось что-то, как блеск отточенной стали. А Рылеев смотрел на него, как точильщик, который пробует нож: остер ли? — Да, остер.

Бестужев, при начале беседы, вышел в гостиную, чтобы не мешать; потом, когда они ушли в кабинет, вернулся в столовую, присел к огню, закурил было трубку, но уронил ее на пол и задремал. Видел во сне, будто мечет банк, загребает кучи золота, а цыганка Малярка сидит у него на коленях, щекочет, смеется, путает игру. Проснулся с досадою, не кончив приятного сна, когда вышли из кабинета Каховский с Рылеевым, Рылеев посмотрел на часы: ему надо было зайти в правление Российско-Американской Компании, перед завтраком. Собрался и Бестужев, вспомнив о предстоящем визите тетушке-имениннице.

— Подвезти вас, Каховский?

— Благодарю, я привык пешком. Да и не по дороге нам.

Бестужев отвел его в сторону, так чтобы Рылеев не слышал.

— Прошу вас, поедемте; мне нужно с вами поговорить о делах Общества.

— Ну что ж, поедем,— сказал Каховский, посмотрев на него с удивлением: они друг друга недолюбливали и о делах никогда не говорили.

Вышли вместе. Каховский надел широкополую, черную, карбонарскую шляпу и странный, легкий, точно летний, плащ-альмавиву, сделавшись в этом наряде еще

более похож не то на театрального разбойника, не то на фортепианного настройщика.

У подъезда ждала флигель-адъютантская коляска Бестужева, щегольская, английская, на высоком ходу; кучер лихой, в шляпе с павлиньими перьями; пристяжная лебедкою. Двоим тесно; Бестужев сел боком, неловко: «гвардейский шаромыжник» уступал место «пролетару» с почтительной любезностью. Попросил позволения завезти корректуры «Полярной Звезды» в типографию.

Выглянуло солнце, но под ним — еще пустыннее, однообразнее однообразная пустынность улиц, широких, как площади, с рядами сереньких, низеньких, точно к земле приплюснутых домиков, да пожарной каланчой, одиноко кое-где торчащей; и бледно-желтая под бледно-зеленым небом, унылая охра казенных домов еще унылее.

Выехали на Невский. От Полицейского моста до Аничкина насажен бульвар из липок, по приказу императора Павла, в тридцать дней, среди лютой зимы, так что приходилось рубить ямы топорами и разводить в них костры, чтобы оттаять мерзлую землю. Теперь под ледоходным ветром эти чахлые липки, зябко дрожавшие голыми сучьями, похожи были на больных детей и, казалось, никогда не распустятся. Но уже весеннее гулянье началось на бульваре. Проходили военные в треуголках с петушьими перьями, чиновники во фризовых шинелях, купцы в длиннополых сибирках, и у Гостиного двора из карет ливрейные лакеи высаживали дам в русских меховых салопах и парижских ярких, как цветы, весенних шляпках. Проносились барские шестерки цугом с нескончаемым «и-и-и!» — сокращенным «пади!», которое тянули тончайшим дискантом мальчишки-форейторы. На почтовой тележке фельдъегерь скакал, сломя голову, и, дребезжа и подпрыгивая по булыжным арбузам, плелись извозчичьи дрожки-гитары, на которых сидели верхом, как на седлах, держа кучера за пояс, а на спине у него болталась жестяная бляха с номером. Перед взводом марширующих солдат играла военная музыка.

И в однообразии движущихся войск, в однообразии белых колонн на желтых фасадах казенных домов веял дух того, кто сказал: «Я люблю единообразие во всем». Казалось, весь этот город — большая казарма

или плац-парад, где под бой барабана вытянулось все во фронт, затаило дыхание и замерло.

Бестужев что-то говорил Каховскому, но тот не слушал, глядел на толпу и думал: вот, никто в этой толпе не знает о нем; но близок час, когда все эти люди, вся Россия, весь мир узнает и содрогнется от ужаса, от величия того, что он совершит.

— Пришлю вам статейку, прочтите...

— Какую статейку?

— Да мою же: «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 года»...

Бестужев говорил о своей статье, о своей лошади, о своей тетушке, о своей цыганке с таким веселым видом, как будто не могло быть сомнения, что это для всех занимательно.

— Впрочем, литература — только ничтожная страничка жизни моей... Я, как Шенье у гильотины, могу сказать, ударяя себя по лбу: «Тут что-то было!» Мое нервозное сложение — эолова арфа, на которой играет буря...

Это сказал он однажды о Байроне и потом стал повторять о себе.

Каховский посмотрел на него угрюмо:

— Вы, кажется, хотели говорить со мной о делах?

— Да, да, о делах, как же! Но не совсем удобно, знаете, на улице?.. Кучер может услышать. За нами очень следят. Я не уверен даже в собственных людях,— прибавил он по-французски.— А вот если бы вы позволили к вам на минутку?..

— Милости просим,— ответил Каховский сухо.

Заехав по дороге в Милютины ряды, Бестужев накупил закусок и шампанского. Каховский не спрашивал, зачем: всю дорогу молчал, насупившись.

Жил в Коломне, в доме Энгельгардта, в отдельном ветхом, покосившемся, деревянном флигеле.

Крутая, темная, пахнущая кошками и помоями лестница. Бестужев должен был наклониться, снять кивер с белым султаном, чтобы не запачкаться, проходя под сушившимся на веревке кухонным тряпьем. Две старухи, выскочив на лестницу, ругались из-за пропавшей селедки, и одна другой тыкала в лицо ржавым селедочным хвостиком. Тут же из-за двери выглядывала простоволосая, нарумяненная, с гитарой в руках, деви-

ца, а вдали осипший бас пел излюбленную канцеляристами песенку:

Без тебя, моя Глафира,
Без тебя, как без души,
Никакие царства мира
Для меня не хороши.

Комната Каховского, на самом верху, на антресолях, напоминала чердак. Должно быть, где-то внизу была кузница, потому что оклеенные голубенькой бумажкой, с пятнами сырости, дощатые стенки содрогались иногда от оглушительных ударов молота. На столе, между Плутархом и Титом Ливием во французском переводе XVIII века, стояла тарелка с обглоданной костью и недоеденным соленым огурцом. Вместо кровати — походная койка, офицерская шинель — вместо одеяла, красная подушка без наволочки. На стене — маленькое медное распятие и портрет юного Занда[1], убийцы русского шпиона Коцебу; под стеклом портрета — засохший, верно, могильный, цветок, лоскуток, омоченный в крови казненного, и надпись рукою Каховского, четыре стиха из пушкинского «Кинжала»:

О юный праведник, избранник роковой,
О Занд! твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался след в казненном прахе.

Войдя в комнату, он сделался еще угрюмее,— должно быть, стыдился своей нищеты. Сел на койку и предложил гостю единственный стул. Оба молчали. Бестужев держал на коленях кулек с вином и закусками, не зная, куда его девать; наконец положил под стол.

— Послушайте, Каховский,— начал он вдруг, торопясь и тоже, видимо, стесняясь,— вам Рылеев ничего не говорил о Думе?

— Ничего.

— Не понимаю, право, что он таится? Такому человеку, как вы, можно бы открыть все... Никакой, впрочем, Думы и нет, вся она — в одном Рылееве...

---

[1] Студент Занд — убийца немецкого писателя Августа Коцебу (1761—1819).

— А как же Трубецкой, Пущин, Одоевский? — спросил Каховский, притворяясь равнодушным, а на самом деле с жадным любопытством ожидая ответа Бестужева.

— Пешки в руках Рылеева; он берет все на себя и объявляет мнения свои волею диктатора; обманывает всех и себя самого. Революция — точка его помешательства. Недурной человек, но весь в воображении, в мечтах, ну, словом, поэт, сочинитель, как и все мы, грешные. Годится только для заварки каш, а расхлебывать приходится другим...

Помолчал и прибавил:

— Ну так вот, я счел своим долгом вас предостеречь. Ни обманывать, ни в западни ловить я никого не желаю! Пусть он, а я не желаю. Надобно, чтобы всякий знал, что делает и на что идет... Не говорил ли он вам, что цареубийство не должно быть связано с Обществом?

— Говорил.

— Ну, так в этом вся штука. Он приготовляет вас быть ножом в его руках: нанесет удар и сломает нож. Вы — лицо отверженное, низкое орудие убийства, жертва обреченная... Впрочем, все эти Невидимые Братья...

— Он из них?

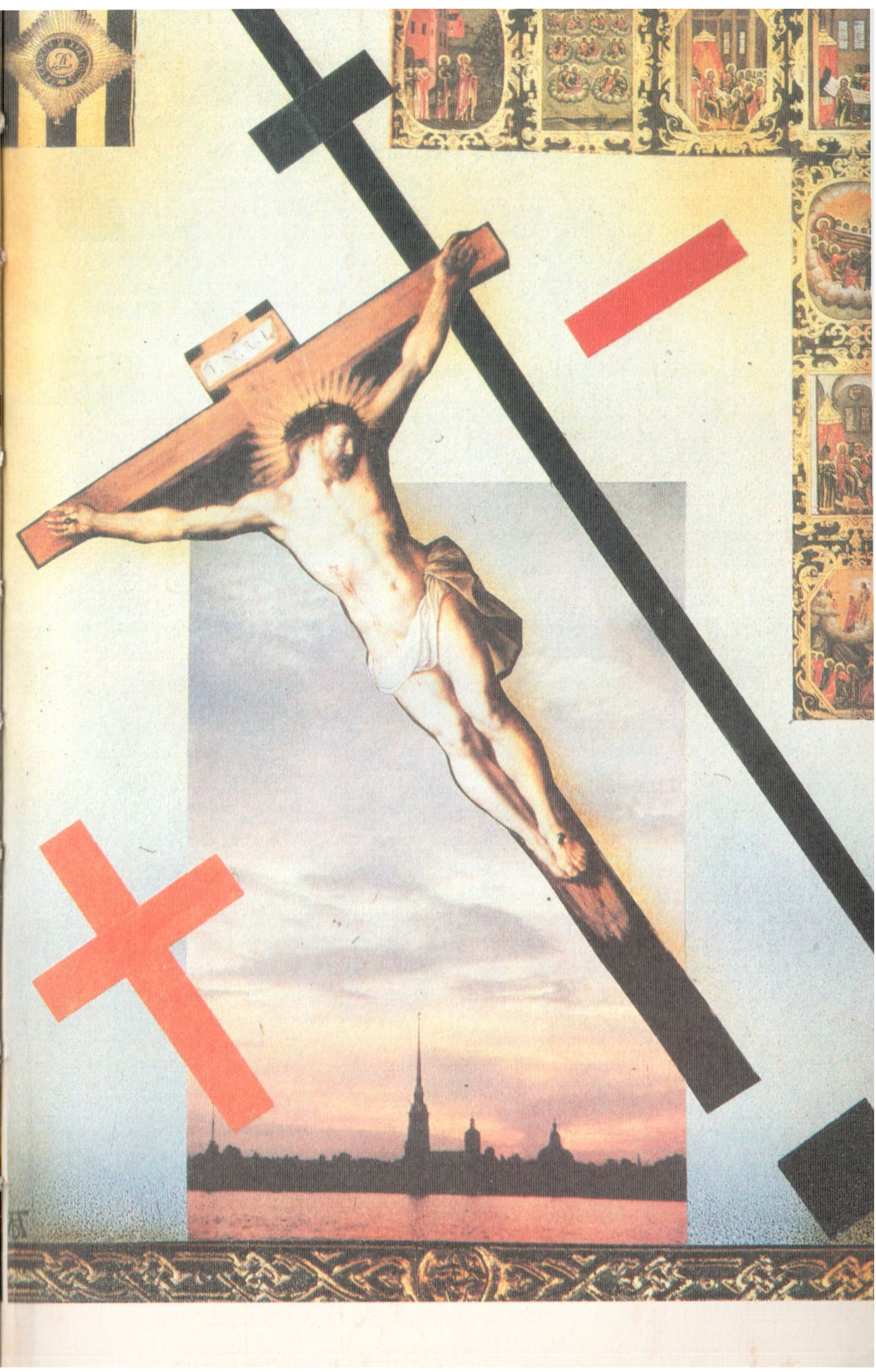
— Из них. Ну, так эти господа, говорю я, все таковы: чужими руками жар загребают... Так же вот и с вами: кровь падет на вашу голову, а они умоют руки и вас же первые выдадут. Якубовича, того берегут для украшения Общества: кавказский герой. Ну, а вы... Рылеев полагает, что вы у него на жалованьи — деньги берете... Наемный убийца...

— Я... Я... Рылеев... Деньги... Не может быть! — пролепетал Каховский, бледнея.

— Да неужто вы сами не видите? А я-то, признаться, думал...— начал Бестужев, но не кончил, взглянул на собеседника. Тот закрыл лицо руками и долго сидел так, не двигаясь, молча. Снизу доносились удары кузнечного молота, и ему казалось, что это удары его собственного сердца.

Вдруг вскочил, с горящими глазами, с перекошенным от ярости лицом.

— Если я нож в руках его, то он же сам об этот нож уколется! Скажите это ему...





Схватился за голову и забегал по комнате.

— Я чести моей не продам так дешево! Никому не лягу ступенькой под ноги... Я им всем, всем... О, мерзавцы! мерзавцы! мерзавцы!

Опять в изнеможении опустился на койку.

— Что же это такое, Бестужев?.. А я-то верил, дурак... не видел преступления для блага общего, думал — добро для добра, без возмездия... Пока не остановится биение сердца моего,— Отечество дороже мне всех благ земных и самого неба...

Отчаянно взмахнул руками над головой, как утопающий.

— Отдал все — и жизнь, и счастье, и совесть, и честь... А они... Господи, Господи! Не за себя оскорблен я, Бестужев, поймите же, а за все человечество... Какая низость, какая грязь — в человеке, сыне небес!..

Говорил напыщенно, книжно, как будто фальшиво, а на самом деле искренно.

Бестужев развязал кулек, вынул вино и закуски; вертя в руках бутылку, искал глазами штопора. Не нашел; отбил горлышко; налил в пивной стакан и в глиняную кружку с умывальника.

— Ну, полно, мой милый, полно,— сказал, потрепав его по плечу уже с развязностью.— Даст Бог, перемелется — мука будет... А вот лучше подумаем вместе, что делать... Да выпьем-ка сначала, это прочищает мысли.

Выпил, подумал и снова налил.

— А знаете что? — проговорил так, как будто это пришло ему в голову только что: — уничтожить бы Общество, да начать все сызнова; вы будете главным директором, а я вам людей подберу. Хотите?

Не создать новое, а уничтожить старое,— такова была его тайная мысль; и так же, как Рылеев, думал он сделать Каховского своим орудием. Но тот ничего не понимал и почти не слушал.

— Нет, зачем? Не надо,— сказал, махнув рукою.— Никого не надо. Я один. Если нет никого, нет Общества,— я один за всех. Пойду и совершу. Так надо... Все равно, будь что будет. Теперь уже никто не остановит меня. Так надо, надо... Я знаю... Я один...

Говорил, как в бреду; пил с жадностью стакан за стаканом; с непривычки быстро хмелел. Бестужев пред-

ложил ему выпить на *ты*. Выпили, поцеловались; еще выпили, еще поцеловались.

— Знаешь, Бестужев? — вдруг начал Каховский, уже без гнева, с неожиданно ясной и кроткой улыбкой.— Может быть, и к лучшему все? Я сирота в этом мире. Ни друзей, ни родных. Всегда один. От самого рождения печать рока на мне. Обреченный, отверженный... Ну, что ж? Видно, быть так. Один, один за всех! Не нужно мне ничего — ни счастья, ни славы, ни даже свободы. Я и в цепях буду вечно свободен. Силен и свободен тот, кто познал в себе силу человечества! Умереть на плахе или в самую минуту блаженства — не все ли равно? О, если бы ты знал, Александр, какая радость в душе моей, какое спокойствие, когда я это чувствую, как вот сейчас!

«Эк его, Шиллера, куда занесло!» — думал Бестужев с досадою. Понял, что делового разговора не будет: поплачет, подуется, а кончит все-таки тем, что вернется к Рылееву: сам черт, видно, связал их веревочкой.

Долго еще беседовали, но уже почти не слушали друг друга и не замечали, что говорят о разном.

— Без женщин, mon cher, не стоило бы жить на свете! — воскликнул Бестужев после второй бутылки, а после третьей выразил желание «потонуть в пламени любви и землекрушения». После четвертой Каховский рассказывал, как рвал цветы и плакал на могиле Занда, а Бестужев восклицал, подражая Наполеону-Якубовичу: «моя душа из гранита,— ее не разрушит и молния». И уже слегка заплетающимся языком продолжал рассказывать о своих любовных победах:

— На постоях у польских панов волочились мы за красавицами. Что за жизнь! Пьянствуем и отрезвляемся шампанским. Vogue la galere![1] Цимбалы гремят, девки пляшут. Чудо! Да ты, Петька, монах, мизантроп? Еще, пожалуй, осудишь?.. Но что же делать, брат? Натура меня одарила не кровью, а лавой огнедышащей. Бешеная страсть моя женщин палит, как солому. Поверишь ли, в Черных Грязях дамы чуть не изнасиловали. Стоило свистнуть, чтоб иметь целую дю-

---

[1] Была не была! (франц.)

жину... Я, впрочем, всегда презирал то, что называется светом, потому что давно знаю, как легко его озадачить; я не создан для света; сердце мое — океан, задавленный тяжелой мглой...

Бестужев говорил еще долго. Но Каховский опять замолчал и нахохлился: чувствовал, что слишком много выпито и сказано; мутило его не то от вина, не то от речей нового друга; казалось, что это от них, а не от лимбургского сыра такой скверный запах.

Бестужев вспомнил, наконец, о своей тетушке-имениннице.

— Еще, пожалуй, рассердится старая ведьма, если не приду поздравить, а сердить ее нельзя: к моему старикашке имеет протекцийку...

Старикашка был герцог Вюртембергский, у которого он служил во флигель-адъютантах.

— А старая ведьма с протекцийкой иной раз лучше молоденьких? — усмехнулся Каховский уже с нескрываемой брезгливостью, но Бестужев не заметил.

— Протекцией, mon cher, ни в каком случае брезгать не следует: это и у нас в правилах Тайного Общества...

Полез целоваться на прощание.

«И как я мог открыть сердце этому шалопаю?» — подумал Каховский с отвращением.

Когда гость ушел,— открыл форточку и выбросил недоеденный лимбургский сыр. Смотрел в окно через забор на знакомые лавочные вывески: «Продажа разных мук», «Портной Иван Доброхотов из иностранцев». Со двора доносились унылые крики разносчиков:

— Халат! Халат!

— Точи, точи ножики!

А внизу, на лестнице — гитара:

Без тебя, моя Глафира,
Без тебя, как без души...

И опять:

— Точи, точи ножики!

— Халат! Халат!

Отошел от окна и повалился на койку; голова кружилась; кузнечные молоты стучали в висках; тошнота — тоска смертная. Вся жизнь, как скверно пахнущий лимбургский сыр.

Достал из-под койки ящик, вынул из него пару пистолетов, дорогих, английских, новейшей системы — единственную роскошь нищенского хозяйства — осмотрел их, вытер замшевой тряпочкой. Зарядил, взвел курок и приложил дуло к виску: чистый холод стали был отраден, как холод воды, смывающей с тела знойную пыль.

Опять уложил пистолеты, надел плащ-альмавиву, взял ящик, спустился по лестнице, вышел на двор; проходя мимо ребятишек, игравших у дворницкой в свайку, кликнул одного из них, своего тезку Петьку. Тот побежал за ним охотно, будто знал, куда и зачем. Двор кончался дровяным складом; за ним — огороды, пустыри и заброшенный кирпичный сарай.

Вошли в него и заперли дверь на ключ. На полу стояли корзины с пустыми бутылками. Каховский положил доску двумя концами на две сложенные из кирпичей горки, поставил на доску тринадцать бутылок в ряд, вынул пистолеты, прицелился, выстрелил и попал так метко, что разбил вдребезги одну бутылку крайнюю, не задев соседней в ряду; потом вторую, третью, четвертую — и так все тринадцать, по очереди. Пока он стрелял, Петька заряжал, и выстрелы следовали один за другим, почти без перерыва.

Прошептал после первой бутылки:

— Александр Павлович.

После второй:

— Константин Павлович.

После третьей:

— Михаил Павлович.

И так — все имена по порядку....................................

Дойдя до императрицы Елизаветы Алексеевны, прицелился, но не выстрелил, опустил пистолет — задумался.

Вспомнил, как однажды встретил ее на улице: коляска ехала шагом; он один шел по пустынной Дворцовой набережной и увидел государыню почти лицом к лицу; не ожидая поклона, первая склонила она усталым и привычным движением свою прекрасную голову с бледным лицом под черной вуалью. Как это бывает иногда в таких мимолетных встречах незнакомых людей, быстрый взгляд, которым они обменялись, был ясновидящим. «Какие жалкие глаза!» — подумал

он, и вдруг почудилось ему, что почти то же, почти теми же словами и она подумала о нем: как будто две судьбы стремились от вечности, чтобы соприкоснуться в одном этом взгляде мгновенном, как молния, и потом разойтись опять в вечности.

Не тронув «Елизаветы Алексеевны», он выстрелил в следующую по очереди бутылку.

Когда расстрелял все тринадцать, кроме одной, поставил новые. И опять:

— Александр Павлович.

— Константин Павлович.

— Михаил Павлович...

Стекла сыпались на пол с певучими звонами, веселыми, как детский смех. В белом дыму, освещаемом красными огнями выстрелов, черный, длинный, тощий, он был похож на привидение.

И маленькому Петьке весело было смотреть, как Петька большой метко попадает в цель — ни разу не промахнулся. На лицах обоих — одна и та же улыбка.

И долго еще длилась эта невинная забава — бутылочный расстрел.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Столько народу ходило к Рылееву, что, наконец, в передней колокольчик оборвали. Пока мастер починит, расторопный казачок Филька кое-как связал веревочкой. «Не беда, если кто и не дозвонится: за пустяками лезут!» — ворчал хозяин, усталый от посещений и больной: простудился, должно быть, на ледоходе.

Однажды, в конце апреля, просидев за работой до вечера в правлении Русско-Американской Компании, вспомнил, что забыл дома нужные бумаги. Правление помещалось на той же лестнице, где он жил, только спуститься два этажа. Сошел вниз, отпер, не звоня, входную дверь ключом, который всегда имел при себе. Филька спал на сундуке в прихожей. Не запирая двери, хозяин прошел в кабинет, отыскал синюю папку с надписью: «Колония Росс в Калифорнии» и хотел вернуться в правление. Но, проходя через столовую, услышал голоса в гостиной. Удивился; думал, что никого дома нет: жена давеча вышла; Глафира собиралась

с нею. Кто же это? Подошел к неплотно запертой двери, прислушался: Якубович с Глафирою.

Давно уже Рылеев замечал их любовные шашни. Просил жену спровадить гостью от греха домой, в Чухломскую усадьбу к тетенькам. Якубович — не жених, а осрамить девушку ему нипочем. На то и *роковой человек*. Еще недавно была у Рылеева дуэль из-за другой жениной родственницы, тоже обманутой девушки. Неужто ему снова драться из-за дурищи Глафирки?

— Я — как обломок кораблекрушения, выброшенный бурей на пустынный берег,— говорил Якубович.— Ах, для чего убийственный свинец на горах кавказских не пресек моего бытия... Что оно? Павший лист между осенними листьями, флаг тонущего корабля, который на минуту веет над бездною...

— Любящее сердце спасет вас,— томно ворковала Глашенька.

— Нет, не спасет! — простонал Якубович.— Душа моя, как океан, задавленный тяжелой мглой...

Рылеев удивился: вспомнилось, что эти самые слова об океане говорил и Бестужев. Кто же у кого заимствовал?

Слова замерли в страстном шепоте; послышался девственный крик:

— Ах, что вы, что вы, Александр Иванович! Оставьте, не надо, ради Бога...

Рылеев отворил дверь и увидел Глашеньку в объятиях Якубовича: по тому, как он ее целовал, ясно было, что это уже не в первый раз.

Глафира взвизгнула, хотела упасть в обморок, но так как не шутя боялась *братца*,— так называла она Рылеева,— предпочла убежать в кухню и там спрятаться в чулан, как пойманная с кадетом шестнадцатилетняя девочка.

Рылеев взял Якубовича за руку и повел в столовую.

— Ну что ж, поздравляю. Честным пирком да свадебку?

Якубович молчал.

— Отвечайте же, сударь, извольте объяснить ваши намерения...

— Я, видишь ли, друг мой, почел бы, разумеется, за счастье... Но ты знаешь мои обстоятельства: не могу я жениться, не вправе связать жизнь молодого существа...

— А вправе обесчестить?

— Послушай, Рылеев, кажется, Глафира Никитична не маленькая...

— Еще бы маленькая! Старая девка. Но пока она в моем доме, я никому не позволю...

— Да что ты горячишься, помилуй? У нас ведь ничего и не было...

Если бы случилось это на Кавказе, Якубович принял бы вызов; у него была храбрость тщеславия, и он стрелял превосходно, а Рылеев плохо; но здесь, в Петербурге, на виду государя, поединок грозил новою ссылкою, окончательным расстройством карьеры, а может быть, и раскрытием Тайного Общества — и тогда неминуемой гибелью.

— Ты знаешь, душа моя, я не трус и всегда готов обменяться пулями,— но на тебя рука не подымется. Да и не за что, право...

— А, так ты вот как, подлец! — закричал Рылеев, и вихор поднялся на затылке его, угрожающий, как, бывало, в корпусе, перед дракою.— Так не будешь, не будешь драться?

Еще в начале разговора послышался в прихожей звонок; потом второй, третий, четвертый,— все время звонили; испорченный колокольчик дребезжал слабо и, наконец, в последний раз глухо звякнув, совсем умолк: верно, опять оборвался.

«Э, черт! Кого еще принесла нелегкая? А Филька, подлец, дрыхнет»,— думал Рылеев полусознательно, и это усиливало бешенство его.

— Так не будешь? Не будешь?..— наступал на противника, бледнея и сжимая кулаки.

Росту был небольшого и довольно хил; Якубович перед ним силач и великан. Но в тонких сжатых, побледневших губах Рылеева, в горящих глазах и даже в мальчишеском вихре на затылке что-то было такое неистовое, что Якубович потихоньку пятился; и если бы в эту минуту Рылеев вгляделся в него, то, может быть, понял бы, что «храбрый кавказец» не так храбр, как это кажется.

— Кондратий Федорович Рылеев? — произнес чей-то голос.

Тот обернулся и увидел незнакомого молодого человека в армейском, темно-зеленом мундире с высоким красным воротником и штаб-офицерскими погонами.

— Прошу извинить, господа,— проговорил вошедший, поглядывая с недоумением то на Рылеева, то на Якубовича,— не дозвонился: должно быть, испорчен звонок, дверь отперта...

— Что вам, сударь, угодно? — крикнул хозяин.

— Позвольте представиться,— продолжал гость с едва заметной усмешкой: — полковник Павел Иванович Пестель.

— Пестель! Павел Иванович! — бросился к нему навстречу Рылеев, и лицо его просветлело, с тем внезапным переходом от одного чувства к другому, который был ему свойствен.

— Прошу вас, господа, не стесняйтесь. Я в другой раз...— начал было Пестель.

— Нет, что вы, что вы, Павел Иванович! Милости просим,— засуетился Рылеев, пожимая ему руки и отнимая шляпу; о Якубовиче забыл. Тот прошмыгнул мимо них в прихожую, торопливо оделся и выбежал.

Хозяин повел гостя в кабинет, продолжая суетиться с преувеличенной любезностью.

— Не угодно ли трубочку?

— Спасибо, не курю.

— Ну, слава Богу, наконец-то залучили вас,— опять засуетился Рылеев, сбиваясь и путаясь.— А я уж, признаться, думал, что так и уедете, не повидавшись.

— За мною следят, надо было выждать,— заговорил Пестель чистым русским говором, но слишком правильно, отчетливо, и в этом виден был немец.— Я приехал с генералом Киселевым, начальником штаба. Государь обо мне спрашивал. Надо быть весьма осторожным... А это кто у вас?

— Якубович.

— А, знаю... Дверь, кажется, не заперли? Ваш мальчик спит.

— Ах, в самом деле,— спохватился Рылеев. Сбегал, запер, растолкал Фильку, приказал ждать барыню и вернулся в кабинет.

— Ну что, как у вас, в Южном Обществе? — видимо, затруднялся он, с чего начать; вглядывался в Пестеля.

Ему лет за тридцать. Как у людей, ведущих сидячую жизнь, нездоровая, бледно-желтая одутловатость

в лице; черные, жидкие, с начинающейся лысиной, волосы; виски по-военному наперед зачесаны; тщательно выбрит; крутой, гладкий, точно из слоновой кости точеный лоб; взгляд черных, без блеска, широко расставленных и глубоко сидящих глаз такой тяжелый, пристальный, что, кажется, чуть-чуть косит; и во всем облике что-то тяжелое, застывшее, недвижное, как будто окаменелое. Говорили о сходстве его с Наполеоном; но если и было сходство, то не в чертах, а в чем-то другом.

Росту ниже среднего; мешковат, сутул, одно плечо выше другого, как у людей много пишущих. Одет небрежно; длиннополый мундир сшит плохо, должно быть, каким-нибудь уездным жидом; зеленое сукно на спине выгорело; золото погон потемнело. Ордена св. Владимира с бантом, св. Анны, Пурлемерит [1] и золотая шпага за храбрость: герой Двенадцатого года.

«А ведь и в самом деле, пожалуй, Наполеона из себя корчит!» — подумал Рылеев, почему-то сразу насторожившись с безотчетною враждебностью.

Пестель, не затрудняясь, приступил к делу.

— Я приехал в Петербург, дабы предложить вам соединение Северного Общества с Южным,— начал он, глядя на Рылеева в упор своим пристальным, как будто косящим, взглядом.— А для сего нам нужно бы знать с точностью ваши намерения, как всей Директории здешней, так и лично ваши, Кондратий Федорович: я хотел бы знать, какой именно образ правления полагаете вы для России удобнейшим?

Беседа длилась больше двух часов. Пестель предлагал по очереди — Северо-Американскую республику, Наполеоновскую империю, революционный террор, Английскую, Французскую, Испанскую конституции; выхвалял достоинства каждого из этих правлений, а когда Рылеев указывал на недостатки, торопливо соглашался и переходил к следующему. Похоже было не то на судебный допрос, не то на школьный экзамен.

— У вас метод сократовский,— заметил Рылеев, давая понять неприличие допроса.

— Да, я люблю древних,— не понял или не пожелал понять Пестель и продолжал экзамен.

---

[1] За заслуги (*франц.* pour les mérites).

Рылеев злился, и чем больше злился, тем больше себя выдавал; но в то же время наслаждался беседою, как умною книгою, от которой нельзя оторваться. «Умный человек в полном смысле этого слова»,— вспомнился ему отзыв Пушкина о Пестеле. Что бы ни говорил он, приятно было слушать: в самом звуке голоса была чарующая учтивость, и логика пленяла, как женская прелесть.

Время летело так быстро, что Рылеев удивился, заметив, что уже темнеет: казалось, прошло не два, а полчаса. И еще казалось, что, слушая Пестеля, впадает он в какой-то магнетический сон, жуткое и сладкое оцепенение,— как змея под музыкой. А может быть, и лихорадка начиналась к вечеру; иногда пробегал по телу легкий озноб, как бывает в самом начале жара, похожий на чувство уютной сонности.

— Послушайте, Пестель,— попытался он стряхнуть чару,— у вас все ясно и просто, как дважды два четыре, но политика — не математика, люди — не цифры и чувства — не выкладки...

— О, разумеется! — согласился Пестель: — политика — не умозрение отвлеченное, а плоть и кровь, сама жизнь народов, сама история. Обратимся же к истории...

«И, начав от Немврода [1],— рассказывал впоследствии Рылеев,— медленно переходил он через все изменения законодательств; коснулся Греции, Рима, показывая, сколь мало понята была древними вольность, лишенная представительства народного; пронесся быстро мимо Средних веков, поглотивших гражданскую вольность и просвещение; приостановился на революции французской, не упуская из виду, что и оной цель не достигнута; наконец, пал на Россию и ввел меня в свою республику».

— Должно сознаться, что все предшественники наши в преобразовании государств были ученики, да и сама наука в младенчестве! — воскликнул Рылеев с восхищением.

Но Пестель, пропустив мимо ушей похвалу, продолжал экзамен.

— Итак, мы с вами согласны?

— Да, во всем!

---

[1] Немврод — царь Вавилонский (2-е тысячелетие до н. э.).

— Какое же ваше мнение насчет меры к приступлению к действию? — проговорил Пестель медленно, упирая на каждое слово.

Рылеев давно уже предчувствовал этот вопрос; видел его сквозь магический сон, как змея видит чарующий взор своего заклинателя. Понял, что Пестель — не то, что все они,— романтики, словесники, мечтатели: для него понять — значит решить, сказать — значит сделать. И впервые показалось Рылееву все легкое в мечтах — на деле грозным, тяжким, ответственным.

— Не знаю,— невольно потупился он, но и не видя чувствовал на себе тяжелый взгляд: — мы еще не готовы, не решили многого...

— Не решили? Не знаете? У вас тут Никита Муравьев все пишет конституции. А нам не перьями действовать... Да, от размышления до совершения весьма далече... Так как же, Кондратий Федорович?

— Что вы меня все спрашиваете, Павел Иванович? — поднял Рылеев глаза и вдруг почувствовал, что вот-вот разозлится окончательно, наговорит ему дерзостей.— А вы-то сами как?

— Как мы? — ответил Пестель тотчас же с готовностью, тихо и как будто задумчиво.— Мы полагаем,— всех...

— Что всех?

— Истребить всех, начать революцию покушением на жизнь всех членов царской фамилии. Les demimesures ne valent rien; nous voulons avoir maison nette... Вы по-французски говорите?

— Нет, не понимаю.

— Полумеры ничего не стоят; мы хотим — дотла, дочиста,— на всякий случай перевел он и прислушался к шагам в соседней комнате.

— Кто это?

— Жена моя.

— При ней можно?

— Можно,— невольно усмехнулся Рылеев.— Впрочем, если вы беспокоитесь...

— Нет, помилуйте. Я, кажется... Извините, Бога ради, я иногда бываю очень рассеян: о другом думаю,— улыбнулся Пестель неожиданной, простодушной улыбкой, от которой лицо его вдруг изменилось, помолодело и похорошело.

«Чудак!» — подумал Рылеев, и ему показалось, что как ни пристально глядит на него Пестель, а не видит лица его, смотрит поверх или сквозь него, как сквозь стекло.

Шаги затихли.

— О чем, бишь, мы? — продолжал Пестель.— Да,— всех или не всех?.. Так вы не решили, не знаете?

— Знаю одно,— опять хотел возмутиться Рылеев,— ежели — всех, то вся эта кровь на нас же падет. Убийцы будут ненавистны народу и мы с ними. Подумайте только, какой ужас подобные убийства произвести должны! Мы вооружим всю Россию...

— О, конечно, мы об этом подумали и решили принять меры. Избранные к сему должны находиться вне Общества; когда сделают они свое дело, оно немедленно казнит их смертью, как бы отмщая за жизнь царской фамилии, и тем отклонит от себя всякое подозрение в участии. Нам надобно быть чистыми от крови. Нанеся удар, сломаем кинжал.

Рылеев вспомнил, что почти теми же словами думал он о Каховском; но это была его самая тайная, страшная мысль, а Пестель говорил так просто.

— Сколько у вас? — спросил он так же просто.

— Сколько чего?

— Людей, готовых к действию.

— Двое.

— Кто?

— Якубович и Каховский.

— Надежные?

— Да... Впрочем, не знаю,— замялся Рылеев, вспомнив давешний свой разговор с «храбрым кавказцем».— Якубович, тот, пожалуй, не совсем. Каховский надежнее.

— Значит, один-двое. Мало. У нас десять. С вашими двенадцать или одиннадцать. И то мало...

— Сколько же вам?

— А вот, считайте.

Сжал пальцы на левой руке, готовясь отсчитывать правою.

— Ну-с, по одному на каждого. Сколько всех?

Держа руки наготове, ждал.

Ночь была светлая, но от высокой стены перед самыми окнами темно в комнате; и в темноте еще белее белая рука с алмазным кольцом, которое слабо поблескивало в глаза Рылееву. Опять чарующий взор заклинателя, опять магический сон.

— Ну, что ж, называйте,— как будто приказал Пестель.

И Рылеев послушался, стал называть:

— Александр Павлович.

— Один,— отогнулся большой палец на левой руке.

— Константин Павлович.

— Два,— отогнулся указательный.

— Михаил Павлович.

— Три,— отогнулся средний.

— Николай Павлович.

— Четыре,— отогнулся безымянный.

— Александр Николаевич.

— Пять,— отогнулся мизинец.

Темнело ли в глазах у Рылеева, темнело ли в комнате, но ему казалось, что Пестель куда-то исчез, и остались только эти белые руки, отделившиеся от тела, висящие в воздухе, призрачные. И пальцы на них шевелились, проворные, как белые кости на счетах. Он все называл, называл; пальцы считали, считали, и, казалось, этому конца не будет.

— Этак и конца не будет! — проговорил из темноты чей-то голос, тоже призрачный.— Если убивать и в чужих краях, то конца не будет; у всех великих княгинь — дети... Не довольно ли объявить их отрешенными? Да и кто захочет окровавленного престола? Как вы думаете?

Рылеев хотел что-то сказать, но не было голоса: душная тяжесть навалилась на него, как в бреду.

— А знаете, ведь это ужасное дело,— заговорил опять из темноты тот же призрачный голос: — мы тут с вами, как лавочники на счетах, а ведь это кровь...

Мысли у Рылеева путались; не знал, кто это,— он ли сам думает, или тот говорит.

— Да ведь как же быть? С филантропией не только революции не сделаешь, но и шахматной партии не выиграешь. Редко основатели республик отличаются нежною чувствительностью... Не знаю, как вы, а я уже давно отрекся от всяких чувств, и у меня остались одни правила. И в Писании сказано: никто же возложа руку свою на рало и зря вспять, не управлен есть в царствие Божие...

Рылееву вспомнилось, как эти самые слова говорил он Бестужеву. Да кто же это? Пестель? Какой Пестель?

Откуда взялся? Вошел прямо с улицы. Может быть, совсем и не Пестель, а черт знает кто?

Рылеев с усилием встал и пошел к двери.

— Куда вы?

— За лампой. Темно.

Вернулся в кабинет с лампою. При свете Пестель оказался настоящим Пестелем. Опять заговорил о чем-то. Но Рылеев уже не отвечал и почти не слушал; думал об одном: поскорей бы гость ушел. Голова кружилась; когда закрывал глаза, то мелькали белые руки по красному полю.

— Нездоровится вам? — наконец заметил Пестель.

— Да, немного, голова болит... Ничего, пройдет. Говорите, пожалуйста, я слушаю.

— Нет, зачем же? Я вас и так утомил. Лучше зайду в другой раз, если позволите. Да мы, кажется переговорили уже обо всем.

Вышли в столовую.

— Не знаете ли, Кондратий Федорович,— сказал Пестель, прощаясь,— где бы тут у вас в Петербурге шаль купить?

— Какую шаль?

— Обыкновенную, турецкую или персидскую. Для подарка.

— Не знаю. Надо жену спросить. Натали, поди сюда,— крикнул он в гостиную.

Вошла Наталья Михайловна. Рылеев представил ей Пестеля.

— Вот Павел Иванович спрашивает, где бы турецкую шаль купить.

— А вам для кого, для пожилой или молоденькой? — спросила Наталья Михайловна.

— Для сестры. Ей семнадцать лет.

— Ну, тогда не турецкую, а кашемировую, легонькую. Я намедни у Айбулатова, в Суконной линии, видела прехорошенькие *блё-де-нюи* [1], со звездочками. Нынче самые модные...

Пестель спросил номер лавки и записал в книжечку.

— Только смотрите, торговаться надо. Умеете?

— Умею. В английском магазине намедни эшарп [2]

---

[1] Темно-синий (*франц.* bleu de nuit).

[2] Шарф (*франц.* écharpe).

тру-тру [1] купил за двадцать пять и блондовых кружев по девяти с половиной за аршин. Не дорого?

— Ну и не дешево,— засмеялась Наталья Михайловна: — мужчинам дамских вещей покупать не следует.

Промолчала и прибавила с любезностью:

— Сестрица с вами живет?

— Нет, в деревне. У меня их две. Уездные барышни. Петербургских гостинцев ждут не дождутся. Каждой надо по вкусу,— вот по лавкам и бегаю...

— Избаловали сестриц?

— Что поделаешь? Они у меня такие красавицы, умницы. Особенно старшая. Мы с нею друзья с детства. Меня вот все в полку женить хотят. А по мне, добрая сестра лучше жены...

— Ну, влю́битесь — же́нитесь.

— Да я уж влюблен.

— В кого?

— Да в нее же, в сестру.

— Ну, что вы, Бог с вами! Разве можно?..

— Еще как! — улыбнулся Пестель, и опять лицо его помолодело, похорошело.

Но Рылееву почудилось в этой улыбке что-то робкое, жалкое, как в улыбке тяжелобольного или бесконечно усталого. Понять — значит решить, сказать — значит сделать,— полно, так ли? Счет убийств по пальцам и эшарп *тру-тру*; чувств не имеет, а в сестрицу влюблен. Не такой же ли и он мечтатель, как все они,— только лжет искуснее? Не говорит ли больше, чем делает? «Наполеон без удачи...» — усмехнулся Рылеев и решил окончательно: «он враг; или я, или он».

Пестель ушел. Подали ужин. Рылеев ничего не ел и лег спать. Наталья Михайловна проверила счет по хозяйству, помолилась и тоже легла.

Как всегда перед сном, говорила мужу о делах: о продаже сена и овса в подгородной деревушке Батове, Рождествене тож, о переводе мужиков с оброка на барщину, о недоимках, о мошеннике-старосте, о взносе семисот рублей процентов в ломбард, о взятке секретарю в Сенате по тяжебному делу матушки. Наконец заметила, что он ее не слушает.

---

[1] Ряд дырочек, в которые пропускается лента (*франц.* trou-trou).

— Спишь, Атя?

— Нет, а что?

— Как что? Я говорю, а ты не слушаешь... Так вот всегда! Ни до чего тебе дела нет, кроме Общества. Но если тебе Общество дороже всего, так и скажи прямо. Ведь ты не один. «Конституция, революция, республика»,— а мы-то с Настенькой чем виноваты?..

Говорила плачущим голосом; подождала, не ответит ли. Но он молчал.

— Ну, подумай, Атя: ведь, если что, не дай Бог, случится с тобой, я не вынесу! Так и знай, погубишь и меня и Настеньку...

— Наташа,— сказал он, сердито переворачиваясь с боку на бок,— сколько раз просил я тебя не говорить пустяков. Ну, какое там Общество! Одни разговоры... Можешь быть спокойна: ничего со мной не будет... Ну, полно же, полно, дружок, не мучай себя, не расстраивай, спи с Богом.

— Ах, Атя, Атечка, родненький!.. Ну, что тебе, что тебе это Общество? Ведь сколько можно и так добра сделать! Ведь какой ты у меня умница, какие стихи пишешь, как начальство тебя любит! Ушел бы совсем от них. Зажили бы тихо, смирно, счастливо. Ну, чего еще нужно, Господи!..

Он обнял ее молча, с нежностью. Затихла, еще несколько раз тяжело вздохнула, как маленькие дети, когда засыпают, наплакавшись, и скоро услышал он знакомый, смешной, тоненький храп. В первые дни после свадьбы, когда он восхвалял ее в стихах:

Краса природы, совершенство,
Она моя! она моя!

— удивлял и огорчал его этот храп; а теперь сладко баюкал, как старая детская песенка.

Но сегодня и под эту песенку долго не мог уснуть. Было душно от натопленной печки, от пуховиков двуспальной постели, от собственного жара и жаркого тела Наташи, от этих милых, слабых сонных рук, которые обвили его, сковали, как тяжкие цепи.

Мне нет преграды, нет законов.
И чтоб ее не уступить,
Готов царей низвергнуть с тронов
И Бога в небе сокрушить! —

писал когда-то. А вот теперь наоборот: чтоб *их* низвергнуть, надо *ее* уступить.

Наконец задремал, но тотчас же проснулся; видел во сне что-то страшное, не мог вспомнить что и только повторял про себя, в ужасе: «Что это? Что это?..»

Часы в столовой тикали: зеленая лампадка теплилась; слышался тоненький храп. Все, как всегда. Но во всем — новое, страшное — наяву, как во сне. Что это? Что это?

Вдруг понял что́. На одно мгновение с ослепляющей ясностью, какая бывает только у внезапно проснувшихся ночью, в совершенной тишине, в совершенном одиночестве,— понял, что не когда-то, не где-то, а тут же, сейчас — вот она, смерть.

Готов ли он? Не права ли Наташа? Не уйти ли, пока еще не поздно?

Но мгновенье прошло, смерть отступила, уже перестал он ее понимать и подумал с обычною ложью, с обычною легкостью:

«Нет, поздно... Ну, что ж, смерть, так смерть!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Свадьба Софьи Нарышкиной с графом Шуваловым назначена была летом. Уже привезли из Парижа с особым курьером великолепное подвенечное платье, но невеста отказалась наотрез примеривать его, как ни упрашивала мать; а потом уже не могла, потому что опять заболела. Улучшение, которому так радовался князь Валерьян, оказалось обманчивым. Во время ледохода болезнь усилилась, и началось кровохарканье. Государю врачи объявить не решались, но про себя знали, что дни больной сочтены.

Софья была слишком слаба, чтобы везти ее за границу или на юг России. Врачи советовали ей переехать за город.

Весна была ранняя, дружная; дни лучезарные. В тени лесных оврагов лежал еще снег, а на солнечных дорогах уже пахло летнею пылью. Небо целыми днями — безоблачно-синее, как синее лампадное стекло с огнем внутри; а если долго смотреть в него, то казалось темным, дневное — ночным, как в глубине колодца. И за всей этой чрезмерной ясностью — темнота, пустота зияющая.

Дача Нарышкиных по петергофской дороге — настоящий маленький дворец, с бельведером, откуда виден Финский залив, Петербург и Кронштадт; с плоским зеленым куполом и белыми столбами римского портика. Английский стриженый сад со шпалерами, лабиринтами и усыпанными желтым песком дорожками; одна только высокая аллея старых плакучих берез.

В покоях — тяжелое великолепие павловских времен: расписные потолки, штофные обои, золоченая мебель, тусклые зеркала, в которых лица живых, как лица покойников. Но несколько комнат отделала Марья Антоновна в новом, веселеньком французском вкусе, особенно комнату больной во втором этаже, окнами на море. Обои, нарочно из Парижа выписанные,— серебристо-белый атлас с бледно-алыми гвоздичками; легкая дачная мебель лакированного светлого тополя; балкон, уставленный цветущими померанцами в оранжерейных кадках. «Настоящее гнездышко любви — nid d'amour — для моей бедненькой, бедненькой девочки»,— говорила Марья Антоновна. Но на веселенькой мебели, как на тычке, больной ни присесть, ни прилечь. «Ох, болят мои старые косточки!» — горестно шутила Софья. Белый атлас напоминал ей ненавистное подвенечное платье, которое теперь она как будто вечно примеривала; алые гвоздички утомляли глаза, как мелькание бреда.

Софья переносила болезнь мужественно; только что становилось легче, вставала, бродила по комнате и уверяла, что уже почти совсем здорова. Но Валерьяну Голицыну, который опять проводил с ней целые дни, казалось, что она рада болезни и не хочет выздороветь. Лекарств не принимала, докторов не слушалась.

Однажды утром, вскоре после переезда на дачу, чувствуя или вообразив, что чувствует себя бодрее, перешла с постели на кресло, старое-престарое, с рваною кожею и торчавшею кое-где из дыр волосяной набивкою,— родное среди этой чужой мебели; из городского дома вытребовала его нарочно, потому что только на нем и могла сидеть.

Утро было ясное, как все эти дни; небо лампадно-синее; тишина, какая бывает только раннею весною на пустынных дачах: щебет птиц, скрежет грабель, далекий-далекий топор,— должно быть, рыбак чинит лодку на взморье,— тишина от этих звуков еще беспредельнее.

Открыта дверь на балкон; запах весеннего утра, березовых почек смешивался с душным запахом лекарств.

Стоя перед Софьей на коленях, Голицын кормил ее с ложечки предписанной врачами молочной овсянкой. Софья только из его рук соглашалась глотать ее, как лекарство, по ложечке. Старая няня, Василиса Прокофьевна, вдали у двери, пригорюнившись, глядела на «кормление зверя», как называла больная свой утренний завтрак.

Отдыхая между двумя ложками, Софья наклонилась к Голицыну и разглядывала лицо его с внимательною улыбкою.

— А ну-ка, погодите, сделайте лицо серьезное. Нет, еще, еще серьезнее... Да, ну же, ну! Больше не можете?

— Не могу.

— А морщинка осталась.

— Какая морщинка?

— Вот здесь, около губ. Как будто всегда усмехаетесь. Помните мраморного дедушку Вольтера в нашей библиотеке? Вот и у вас, пожалуй, такая же усмешка будет к старости... Над чем вы смеетесь, ваше сиятельство?

— Не знаю, милая... Над собою разве?

— А очки вам не к лицу. И не думайте, пожалуйста: вовсе не карбонар, а просто немецкий профессор в отставке. Ну, зачем вы их носите? Из упрямства, что ли? Государь прав, что терпеть не может очков... Ну, будет, не хочу больше,— оттолкнула она ложку.— Это которая?

— Восьмая, а вы обещали двенадцать.

— Нет, не могу... Няня, голубушка, позволь больше не есть. Нельзя же человека как каплуна откармливать....

— Что это, право, сударыня, точно маленькая! — заворчала старушка.— Да хоть совсем не ешьте. Оттого и больны, что докторов не слушаете.

Прокофьевна отвернулась, чтобы не заплакать, но не уходила, как будто ждала чего-то.

— Так вот и будет стоять, пока не выгоню,— шепнула Софья по-французски Голицыну.— Как мучает, если бы вы знали, как она меня мучает, Господи! А все оттого, что любит... Злейшие враги — любящие. Разве не так?

— Так-то так, да уж очень зло... Пожалуй, злее усмешки Вольтеровой.

— У меня теперь все такие злые мысли, острые. Больно от них, как если иголку раскалить на огне и воткнуть в тело. Вот и в вас втыкаю, бедненький, вижу, как от боли корчитесь...

— Ничего, только бы вам полегче,— проговорил он, целуя прозрачно-бледную, с голубыми жилками, руку ее, такую мертвую, такую детскую.

— Ну, давайте овсянку кончать, а то ни за что не уйдет,— оглянулась Софья на Прокофьевну.— Одним духом. Девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая... Уф! Уберите скорей эту гадость. Ну, няня, видишь,— кончила. Не сердись же, не плачь, глупенькая! Мне лучше. Ну, право, совсем хорошо. Ступай с Богом. Князь почитает, а я отдохну.

Голицын начал читать «Светлану» Жуковского.

— Нет, не надо, не надо, лучше другое! — остановила Софья.— Помнишь, в Покровском у пруда за теплицами?

Где, невеста, где твой милый,
Где венчальный твой венец?
Дом твой — гроб, жених — мертвец.

Помнишь, как я тогда испугалась, а ты меня утешал.

О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!

А вот узнала-таки!.. О, какие страшные, страшные сны, Валенька! Как давно, Господи! Какие мы старые, древние! Кажется, не семнадцать, а семьдесят лет... Душно здесь, лекарствами пахнет; пойдем на балкон.

Он поднял ее на руки: каждый раз, как подымал,— чувствовал, что все легче и легче легкая ноша, как будто она в руках его таяла. Перенес на балкон и усадил в кресло. Луч солнца скользнул по золотистой пряди волос и бессильно повисшей руке; еще бледнее бледная рука, еще голубее голубые жилки на солнце.

Софья прижалась лицом к лицу его и болезненно щурила глаза от света.

— Как хорошо! Какое море! Какие паруса! Куда они плывут? Может быть, далеко-далеко. А когда доплывут...

«Когда доплывут, меня уже не будет»,— угадал он, как угадывал все ее мысли.

— Душа бессмертна, говорят... Ты веришь?

— Верю.

— А я не знаю... Если только душа,— зачем?.. Я хочу, чтобы и *там* все, все, как здесь... Чтобы так же как вот сейчас, разрытою землею от цветочных грядок пахло и березовыми почками. Вон комар жужжит. Пусть и комар тоже. Паучок, видишь, ползет, маленький, красненький. Пусть и он. И бородавку над губой у няни тоже хочу. Все, как здесь...

— И меня в очках?

— Нет, очков не надо. Ведь я их не люблю. И морщинки, которая смеется, не надо. Да где она? Пропала? Нет, вот... Только другая стала,— бедная. Ну, такую ничего, пожалуй,— можно. Все, что люблю, пусть и *там*, как здесь... А если только душа, то не надо, ничего не надо. Смерть — так смерть. Один конец... Ну, устала я что-то. Холодно. Пойдем.

Он перенес ее в комнату и опять усадил в кресло; укутал потеплее, потому что начинался озноб; обложил подушками; думал — задремлет, хотел отойти, но она подозвала его.

— А что у *вас*? Как дела? Давно не рассказывал...

Он понял, что она спрашивает о Тайном Обществе.

Знала о нем; он долго не хотел рассказывать,— боялся, как бы не проговорилась государю, не выдала нечаянно; но, наконец, рассказал, только не называл никого по имени. Не мог скрыть: она все о нем знала, как и он о ней, вещим знанием. И потом, здесь, в комнате больной, может быть, умирающей, Тайное Общество, революция, республика казались ему игрушками, которыми он тешил ее, как больное дитя. Но иногда чувствовал с ужасом, что она понимает больше, чем он говорит, и что игрушки эти опасные: не одна ли из них — тот острый нож, которым он ранил ее до смерти?

Так и теперь начал рассказывать что-то, думая только об одном,— как бы развлечь и не ранить — подальше спрятать нож.

— Зачем не говоришь всего? — вдруг остановила

она и заглянула ему в глаза пристально.— У тебя революция точно детская сказочка: Серый Волк — тиран, а свобода — Красная Шапочка. Но ведь это не так. Не так было — не так будет. Я же знаю...

> О стыд! О ужас наших дней!
> Как звери, вторглись янычары!..
> Падут бесславные удары...
> Погиб увенчанный злодей [1].

Вот как, а не Красная Шапочка... Ты эти стихи знаешь?

— Знаю. А ты откуда? Кто тебе дал?

— Дядя, Дмитрий Львович. Добренький он. Все что хочу, с ним делаю. Вот и дал, только велел никому не показывать, а то ему достанется... Это об убийстве императора Павла Первого. И няня тоже рассказывала...

Помолчала и вдруг шепнула ему на ухо:

— А как ты думаешь: *он* знал?

Опять заглянула ему в лицо еще пристальней.

Голицын понял: спрашивала, знал ли государь-наследник Александр Павлович о том, что заговорщики хотят убить отца его, императора Павла I.

— Что же ты молчишь? Говори...

— Не надо, Софья! Зачем? Кто может судить, кроме Бога?

— Нет, надо. Я хочу знать все, что ты думаешь. Говори же, только не скрывай, не обманывай. Знал ли *он*?

— Я думаю, всего не знал,— ответил он через силу.

— А если бы знал,— продолжала она,— если бы знал, то все-таки... Ведь нельзя иначе? Ведь император Павел злодеем был, извергом?

— Какой изверг! Просто больной, несчастный...

— Все равно,— сумасшедший.

> Ты ужас мира, стыд природы,
> Упрек ты Богу на земле [2].

Пятьдесят миллионов людей в руках сумасшедшего,— разве можно это терпеть? Надо было убить. Никто не виноват, никто не может судить, кроме Бога. Сам Бог устроил так, что убивать надо. Умирать и убивать.

[1,2] Из оды А. С. Пушкина «Вольность».

Уж лучше бы не было Бога!.. И ты, и ты убил бы, если бы надо?.. Молчишь? Не хочешь сказать? Ну, все равно, я знаю, что ты думаешь...

И вдруг опять зашептала ему на ухо:

— Намедни-то что́ мне приснилось. Будто входим с тобой в эту самую комнату, а у меня на постели кто-то лежит, лица не видать, с головой покрыт, как мертвец саваном. А у тебя в руках будто нож, убить хочешь того на постели, крадешься. А я думаю: что, если мертв? — живых убивать можно,— но как же мертвого? Крикнуть хочу, а голоса нет; только не пускаю тебя, держу за руку. А ты рассердился, оттолкнул меня, бросился, ударил ножом, саван упал... Тут мы и увидели, кто это... Знаешь кто? Знаешь кто?..— повторяла она задыхающимся шепотом, и он слышал, как зубы у нее стучат.— Ох, Валенька, Валенька, знаешь кто?

Он знал: ее отец!

— Не надо, Софья, не надо!— сказал он, закрывая лицо руками.— Ведь это только сон, дурной сон от болезни. Пройдет болезнь — и не будет страшных снов...

— Опять лжешь? Опять скрываешь? Не говоришь всего? Я хочу знать все, слышишь, все! Я же понимаю, что от крови — Шапочка Красная. Знаешь, от чьей? Думал ты о крови, когда шел к ним? Можно ли идти на кровь во имя Господа?.. Что вы все о крови думаете? Что? Говори...

— Не надо! Не надо! — повторял он одно только слово, ломая руки в отчаянии.

— Убивать надо, а говорить не надо?.. Нет, говори! Я больше не могу, не хочу! Говори же, не лги! Я знаю все, не обманешь! — проговорила она и отняла руки насильно от лица его, посмотрела на него в упор — в этом взгляде был острый нож, ранящий до смерти.— Говори: его убить хотите?

— Что ты делаешь, Софья...

— Что делаю? Иглу раскаленную втыкаю в тебя — острый нож в живого, а не в мертвого. Что, больно? Ну, ничего,— потерпи, не мне же одной от боли корчиться...

Злоба засверкала в глазах ее, и от этой злобы стало ему еще жальче.

— Не со мною, а с собою, что делаешь, Господи! Ну, зачем?..

— Нет, не я, а ты, что ты со мной сделал?.. Ничего я не знала, была глупая девочка, ребенок; спокойна, счастлива. Ты пришел и разрушил все, возмутил, соблазнил... Помнишь, на концерте Виельгорского? От этого я и больна, умираю. Ведь об этом сказано: *лучше бы мельничный жернов на шею...*[1] Я же тебя не спрашивала. Начал,— так и кончай... И чего теперь испугался? Что донесу, что ли? А может, и донесу... Знаю все, не обманешь, знаю, чего вы хотите... И за что? Что *он* вам сделал? Как у вас рука на *него* подымется? И у тебя, Валенька родненький, любимый мой, единственный! На него, на отца моего! Уж лучше бы ты меня!..

Он встал с мертвенно-бледным, но как будто спокойным лицом.

— Бог тебе судья, Софья! Думай, как хочешь: злодеи, убийцы, изверги... А может быть, глупые дети,— я ведь иногда и сам думаю: ничего не сделают, никого не спасут, только себя погубят. А все-таки правда Божья у *них*. И пусть недостоин я, пусть беру не по силам, не вынесу, а уйти от *них* не могу, даже если тебя, Софья...

Голос его оборвался, лицо исказилось, и, закрыв его руками, он только повторял сквозь рыдания:

— Не уйду, не уйду! И если тебя потеряю, от *них* не уйду!

— Да кто тебя держит? — усмехнулась она с тою же злобою, как давеча.— Ступай к ним! Ступай! Ступай!

Упала навзничь на подушки и вся затрепетала, забилась, как раненая птица, сначала в неистовых рыданиях, потом в раздирающем кашле. Ему казалось, что она задохнется, умрет сейчас на его руках.

Наконец кашель затих; но долго еще лежала с лицом белее белых подушек и с закрытыми глазами, как мертвая. Он думал, не позвать ли на помощь. Но пошевелилась, открыла глаза.

— Ты здесь? Не ушел? Ничего, не бойся, прошло. Дай воды... Как руки у тебя дрожат! Не бойся же, мне хорошо. Только не уходи, побудь со мною...

Вдруг наклонилась и стала целовать руки его; плакала, но лицо было ясное, тихое; тихая, ясная улыбка.

— Прости меня, Валя, голубчик! Это в последний раз, больше не будет. Только прости, не уходи, не покидай меня, я без тебя не могу...

---

[1] Евангелие от Матфея, XVIII, 5.

Он упал перед ней на колени; она обняла голову его, гладила и целовала ему волосы.

— Ничего, ничего, полно, не плачь, все хорошо будет. Я знаю. Господь нам поможет. Мне будет полегче. Вот уже теперь так легко, так хорошо с тобою... Только обещай, что возьмешь меня к себе. Я не могу здесь больше, не могу, не хочу! Я должна быть с тобою. Где ты, там и я. Если надо будет, убежим... Да? Далеко, далеко от всех... А потом и *он* будет с нами. Он ведь мне обещал оставить все и жить со мною. Вот и будем втроем: он, ты да я... И тогда все ему скажем. Он поймет, сделает! Ведь и он того же хочет, что вы? Ты сам говорил, что и он хочет того же... И не будет крови. Не надо крови... А если надо, то он сам отдаст свою кровь, вместе с вами, за вольность, за счастье России! Так будет, Валя, будет, да? Скажи, что будет! — повторяла, как безумная.

— Будет! Будет! — повторял и он, чувствуя, что в этом безумии — пророчество: когда-то, где-то, может быть, в мире нездешнем,— но *так будет.*

Вдруг оба прислушались. На мосту у ворот застучали копыта; песок садовой аллеи заскрипел под колесами. Голицын выбежал на балкон.

— Он? — спросила Софья, когда Голицын вернулся в комнату.

— Да, прощай...

— Нет, погоди. Слышишь: к маменьке прошел. Успеешь... Постой же, я хотела еще что-то сказать... Да, может быть, и лучше, если умру? Помирю вас, мертвая, скорее, чем живая... Но, живая или мертвая, всегда с тобою! И гнать будешь, не уйду,— *оттуда* приходить буду. Помни же: куда ты, туда и я. И если Бог тебя осудит, то пусть и меня... Но не осудит Бог! Ну, дай, благословлю. Сохрани, помоги, помилуй вас всех, Господи! Спаси, Матерь Пречистая!

Перекрестила и поцеловала его с тою же тихою, ясною улыбкою.

— Ну, ступай, ступай скорее!

Он выбежал из комнаты. Но было поздно: шаги государя слышались на лестнице; Голицын встретился с ним; посторонился с низким поклоном. Государь посмотрел на него, как будто хотел что-то сказать, но молча нахмурился, кивнул головой и прошел мимо.

Давно уже просил он Марью Антоновну не принимать

Голицына. Софья, под предлогом болезни, не пускала к себе на глаза жениха своего, графа Шувалова, а Голицын проводил с нею целые дни. Это казалось государю неприличным; к тому же заметил он, что беседы эти вредно влияют на ее здоровье, волнуют ее, расстраивают. Решил ей самой это высказать.

Но когда увидел ее, забыл о своем решении: такая перемена произошла в ней за два дня, что он испугался, как будто теперь только понял, что она смертельно больна.

Обрадовалась, ласкалась к нему, как всегда. Но оба чувствовали, что разделяет их какая-то неодолимая преграда. Обнимая, целовала его; но в лице двусмысленное противоречие между слишком нежною улыбкою губ и жестокой морщиною лба опять поразило ее, так же как некогда в Торвальдсеновом мраморе; вдруг вспомнилось ей, как в детстве обнимала, целовала она этот мрамор, и как теплел он под ее поцелуями, казался живым.

И стало страшно,— как бы теперь, когда целовала живого, не показалось, что целует мертвого.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В первых числах мая назначено было у Рылеева собрание Тайного Общества, чтобы выслушать предложение Пестеля.

В маленькой квартире все было перевернуто вверх дном. Ненужную мебель вынесли; открыли двери настежь в кабинет и гостиную; Наташа с Настенькой уехали ночевать к знакомым.

Заседание назначено в восемь часов вечера, а сходиться начали к семи. Это было редкостью: обыкновенно опаздывали или не приходили вовсе. На лицах — тревога и торжественность. Многие явились в орденах и мундирах. Говорили вполголоса; курить выходили на кухню. Ожидали Пестеля; каждый раз, как открывалась дверь, оборачивались: не он ли?

Никита Михайлович Муравьев, капитан гвардейского генерального штаба, лет тридцати с небольшим,— бледно-желтый геморроидальный цвет лица, бледно-желтые редкие волосы, бледно-желтые, точно полинялые, от света прищуренные глаза,— настоящий петербургский чиновник,— сидя за столом, поодаль от всех, читал

бумаги и делал на полях отметки карандашом. Только что кончик тупился,— чинил торопливо и тщательно: мог писать только самым острым кончиком, подобно Сперанскому, которому поклонялся и подражал во всем. Напишет два-три слова и чинит, каждый раз привычным движением подымая бумагу к близоруким глазам и сдувая кучку графитовой пыли с таким озабоченным видом, как будто судьба предстоящего собрания зависела от этого. Сочинитель северной конституции, главный противник Пестеля за его республиканские крайности,— готовился ему возражать; но волновался и не мог сосредоточиться.

Друзья считали Муравьева единственным в Обществе умом государственным: что Сперанский для нынешней России, то Муравьев для будущей. Кабинетный ученый, осторожный и умеренный, он составлял законы Российской конституции так же кропотливо, как часовщик собирает под лупою пружинки, колесики, винтики. Работал в Тайном Обществе, как в министерской канцелярии. Написанное казалось ему сделанным. Признавал необходимость революции, но втайне боялся ее, как всякой чрезмерности. Пестель шутил, что Муравьев похож на человека, который просит ваты заткнуть себе уши, чтобы не надуло, когда его ведут на смертную казнь. Действовать в революции мешала ему эта вечная вата в ушах, и геморрой, и жена: чуть что, она увозила его в деревню и там держала под замком, пока все успокоится.

Чиня карандаши, невольно прислушивался к мешавшим ему разговорам.

В ожидании Пестеля говорили о нем. Рассказывали об отце его, бывшем сибирском генерал-губернаторе,— самодуре и взяточнике, отрешенном от должности и попавшем под суд; рассказывали о самом Пестеле — яблочко от яблони недалеко падает,— как угнетал он в полку офицеров и приказывал бить палками солдат за малейшие оплошности по фронту.

— Бить-то их бьет, а они его все-таки любят: лучшего, говорят, командира не надо.

«Годится на все: дай ему командовать армией, или сделай каким хочешь министром, везде будет на месте»,— приводили отзыв графа Витгенштейна, главнокомандующего второю армией.

— Государь на Тульчинском смотру был особенно доволен полком Пестеля. «Превосходно, точно гвардия!» — изволил сказать и три тысячи десятин земли ему пожаловал. А как узнал, что Пестель — в Тайном Обществе, испугался, говорят, не на шутку...

— Государь вообще боится нас,— усмехнулся Бестужев, самодовольно поглаживая усики.

«Умный человек во всем смысле этого слова»,— напоминали отзыв Пушкина о Пестеле.

— Умен, как бес, а сердце мало,— заметил Кюхля.

— Просто хитрый властолюбец: хочет нас скрутить со всех сторон... Я понял эту птицу,— решил Бестужев.

— Ничего не сделает, а только погубит нас всех ни за денежку,— предостерегал Одоевский.

— Он меня в ужас привел,— сознался Рылеев: — надобно ослабить его, иначе все заберет в руки и будет распоряжаться как диктатор.

— Знаем мы этих армейских Наполеошек! — презрительно усмехался Якубович, который успел в общей ненависти к Пестелю примириться с Рылеевым после отъезда Глафиры в Чухломскую усадьбу.

— Наполеон и Робеспьер вместе. Погодите-ка ужо, доберется до власти — покажет нам Кузькину мать! — заключил Батенков.

Слушая, как сквозь сон, князь Валерьян Михайлович Голицын смотрел в окно на вечернюю звезду в золотисто-зеленом небе и вспоминал глаза умирающей девочки. Ее спасение или спасение России — что ему дороже? Ну, пусть революция, а ведь все-таки — смерть. И почему судьба человека меньше, чем судьба человечества? Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Перед смертью, перед вечностью не прав ли тот, кто сказал: «Политика только для черни»? И как непохоже то, что говорят эти люди, на вечернюю звезду в золотисто-зеленом небе и на глаза умирающей девочки.

Непохоже, *несоединено*. В последнее время все чаще повторял он это слово: «несоединено». Три правды: первая когда человек один; вторая, когда двое; третья когда трое или много людей. И эти три правды никогда не сойдутся, как все вообще в жизни не сходится. «Несоединено».

— Он! Он! — пронесся шепот, и все взоры обратились на вошедшего.

Однажды, на Лейпцигской ярмарке, в музее восковых фигур, Голицын увидел куклу Наполеона, которая могла вставать и поворачивать голову. Угловатою резкостью движений Пестель напомнил ему эту куклу, а тяжелым, слишком пристальным, как будто косящим, взглядом — одного школьного товарища, который впоследствии заболел падучею.

Уселись на кожаные кресла с высокими спинками, за длинный стол, крытый зеленым сукном, с малахитовой чернильницей, бронзовым председательским колокольчиком и бронзовыми канделябрами — все взято напрокат из Русско-Американской Компании; зажгли свечи без надобности,— было еще светло,— а только для пышности. Хозяин оглянул все и остался доволен: настоящий парламент.

— Господа, объявляю заседание открытым,— произнес председатель, князь Трубецкой, и позвонил в колокольчик, тоже без надобности, было тихо и так.— Слово принадлежит директору Южной Управы, полковнику Павлу Ивановичу Пестелю.

— Соединение Северного Общества с Южным на условиях таковых предлагается нашею Управою,— начал Пестель.— Первое: признать одного верховного правителя и директора обеих управ; второе: обязать совершенным и беспрекословным повиновением оному; третье: оставя дальний путь просвещений и медленного на общее мнение действия, сделать постановления более самовластные, чем ничтожные правила, в наших уставах изложенные, понеже сделаны были сии только для робких душ, на первый раз, и, приняв конституцию Южного Общества, подтвердить клятвою, что иной в России не будет...

— Извините, господин полковник,— остановил председатель изысканно-вежливо и мягко, как говорил всегда: — во избежание недоумений, позвольте узнать, конституция ваша — республика?

— Да.

— А кто же диктатор? — тихонько, как будто про себя, но так, что все услышали, произнес Никита Муравьев, не глядя на Пестеля. В этом вопросе таился другой: «Уж не вы ли?»

— От господ членов Общества оного лица избрание зависеть должно,— ответил Пестель Муравьеву, чуть-чуть нахмурившись, видимо, почувствовав жало вопроса.

— Не пожелает ли, господа, кто-либо высказаться? — обвел председатель глазами собрание.

Все молчали.

— Прежде чем говорить о возможном соединении, нужно бы знать намерения Южного Общества,— продолжал Трубецкой.

— Единообразие и порядок в действии...— начал Пестель.

— Извините, Павел Иванович,— опять остановил его Трубецкой так же мягко и вежливо.— Нам хотелось бы знать точно и определительно намерения ваши ближайшие, первые шаги для приступления к действию.

— Главное и первоначальное действие — открытие революции посредством возмущения в войсках и упразднения престола,— ответил Пестель, начиная, как всегда в раздражении, выговаривать слова слишком отчетливо: раздражало его то, что перебивают и не дают говорить.— Должно заставить Синод и Сенат объявить временное правление с властью неограниченною...

— Неограниченною, самодержавною? — опять вставил тихонько Муравьев.

— Да, если угодно, самодержавною...

— А самодержец кто?

Пестель не ответил, как будто не слышал.

— Предварительно же надо, чтобы царствующая фамилия не существовала,— кончил он.

— Вот именно, об этом мы и спрашиваем,— подхватил Трубецкой: — каковы по сему намерения Южного Общества?

— Ответ ясен,— проговорил Пестель и еще больше нахмурился.

— Вы разумеете?

— Разумею, если непременно нужно выговорить,— цареубийство.

— Государя императора?

— Не одного государя . . . .

. . . .

. . . .

Говорил так спокойно, как будто доказывал, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым; но в

этом спокойствии, в бескровных словах о крови было что-то противоестественное.

Когда Пестель умолк, все невольно потупились и затаили дыхание. Наступила такая тишина, что слышно было, как нагоревшие свечи потрескивают, и сверчок за печкой поет уютную песенку. Тихая, душная тяжесть навалилась на всех.

— Не говоря об ужасе, каковой убийства сии произвести должны и сколь будут убийцы гнусны народу,— начал Трубецкой, как будто с усилием преодолевая молчание,— позволительно спросить, готова ли Россия к новому вещей порядку?

— Чем более продолжится порядок старый, тем менее готовы будем к новому. Между злом и добром, рабством и вольностью не может быть середины. А если мы не решили и этого, то о чем же говорить? — возразил Пестель, пожимая плечами.

Трубецкой хотел еще что-то сказать.

— Позвольте, господин председатель, изложить мысли мои по порядку,— перебил его Пестель.

— Просим вас о том, господин полковник!

Так же как в разговоре с Рылеевым, начал он «с Немврода». В речах его, всегда заранее обдуманных, была геометрия — ход мыслей от общего к частному.

— Происшествия тысяча восемьсот двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого годов, равно как предшествовавших и последовавших времен, показали столько престолов низверженных, столько царств уничтоженных, столько переворотов совершенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобностями совершать оные. К тому же, имеет каждый век свой признак отличительный. Нынешний — ознаменован мыслями революционными: от одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая Англии и Турции, сих двух противоположностей, дух преобразования заставляет всюду умы клокотать...

Говорил книжно, иногда тяжелым канцелярским слогом, с неуклюжею заменою иностранных слов русскими, собственного изобретения: революция — *превращение*, тиранство — *зловластье*, республика — *народоправление*. «Я не люблю слов чужестранных»,— признавался он.

«Планщиком» назвал Пушкин стихотворца Рылеева; Пестель в политике был тоже планщик. Но в отвлеченных планах горела воля, как в ледяных кристаллах — лунный огонь. Говорил, как власть имеющий, и очарование логики подобно было очарованию музыки или женской прелести.

Одни пленялись, другие сердились; иные же пленялись и сердились вместе. Но чувствовали все, так же как намедни Рылеев, что бывшее далекою мечтою становится близким, тяжким, грозным и ответственным.

Перейдя к разбору муравьевской конституции, не оставил в ней камня на камне. С неотразимою ясностью обнаружил сходство ее с древнею удельною системой, от которой едва не погибла Россия,— «ужасное вельможество и аристокрацию богатств».

— Сии аристокрации, главная препона благоденствия общего и главное утверждение зловластия, одним только республиканским образованием правления устранены быть могут.

Муравьев хотел произнести свою речь, когда Пестель выскажет все до конца, но сидел как на иголках и, наконец, не выдержал.

— Какая же аристокрация, помилуйте! Ни в одном государстве европейском не бывало, ни в Англии, ни даже в Америке, такой демокрации, каковая через выборы в нижнюю палату Русского Веча, по нашей конституции, имеет быть достигнута...

— У меня, сударь, имя не русское,— заговорил вдруг Пестель с едва заметною дрожью в голосе,— но в предназначение России я верю больше вашего. «Русскою Правдою» назвал я мою конституцию, понеже уповаю, что правда русская некогда будет всесветною, и что примут ее все народы европейские, доселе пребывающие в рабстве, хотя не столь явном, как наше, но, быть может, злейшем, ибо неравенство имуществ есть рабство злейшее. Россия освободится первая. От совершенного рабства к совершенной свободе — таков наш путь. Ничего не имея, мы должны приобрести все, а иначе игра не стоит свеч...

— Браво, браво, Пестель! Хорошо сказано! Или все, или ничего! Да здравствует «Русская Правда»! Да здравствует революция всесветная! — послышались рукоплескания и возгласы.

Если бы он остановился вовремя, то увлек бы всех, и победа была бы за ним. Но его самого влекла беспощадная логика, посылка за посылкой, вывод за выводом,— и остановиться он уже не мог. В ледяных кристаллах разгорался лунный огонь,— совершенное равенство, тождество, единообразие в живых громадах человеческих.

— Равенство всех и каждого, наибольшее благоденствие наибольшего числа людей,— такова цель устройства гражданского. Истина сия столь же ясна, как всякая истина математическая, никакого доказательства не требующая и в самой теореме всю ясность свою сохраняющая. А поелику из оного явствует, что все люди должны быть равны, то всякое постановление, равенству противное, есть нестерпимое зловластие, уничтожению подлежащее. Да не содержит в себе новый порядок ниже́[1] тени старого...

Математическое равенство, как бритва, брило до крови; как острый серп — колосья — срезывало, скашивало головы, чтоб подвести всех под общий уровень.

— Всякое различие состояний и званий прекращается; все титулы и самое имя дворянина истребляется; купеческое и мещанское сословие упраздняются; все народности от права отдельных племен отрекаются, и даже имена оных, кроме единого, великороссийского, уничтожаются...

Все резче и резче режущие взмахи бритвы. «Уничтожается», «упраздняется» — в словах этих слышался стук топора в гильотине. Но очарование логики, исполинских ледяных кристаллов с лунным огнем подобно было очарованию музыки. Жутко и сладко, как в волшебном сне — в видении мира нездешнего, Града грядущего, из драгоценных камней построенного Великим Планщиком вечности.

— Когда же все различия состояний, имущества и племен уничтожатся, то граждане по волостям распределятся, дабы существование, образование и управление дать всему единообразное — и все во всем равны да будут совершенным равенством,— заключил он общий план и перешел к подробностям.

Цензура печати строжайшая; тайная полиция со шпионами из людей непорочной добродетели; свобода

---

[1] Даже (*церковнослав.*).

совести сомнительная: православная церковь объявлялась господствующей, а два миллиона русских и польских евреев изгоняются из России, дабы основать иудейское царство на берегах Малой Азии.

Слушатели как будто просыпались от очарованного сна; сначала переглядывались молча, затем послышались насмешливые шепоты, и, наконец, негодующие возгласы.

— Да это хуже Аракчеева!

— Военные поселения, а не республика!

— Мундир бы завести для всех россиян одинаковый, с двумя параллельными шнурами в знак равенства!

— Не русская правда, а немецкая!

— Самодержавие злейшее!

А Пестель, ничего не видя и не слыша, продолжал говорить, как будто наедине с собою.

Голицын вглядывался в него, и маленький человек, со спокойным лицом, в треуголке и сером плаще, вспоминался ему на высотах Шевардинского редута, в пороховом дыму и в огне, над грудами убитых и раненых, ходивший взад и вперед шагами такими тяжелыми, что, казалось, не от пушечных выстрелов, а от этих шагов дрожит и стонет земля. Маленький человек похож был на свою собственную куклу, автомат в музее восковых фигур. Неземная тяжесть, роковая одержимость. Как будто не сам он двигается, а кто-то двигает, дергает его, как петрушку за ниточку.

Пестель вынул из портфеля перечерченную военную карту Российской империи, разложил ее на столе и начал объяснять разделение областей будущей Российской республики, с новою столицею, соединяющей Европу с Азией, Нижним Новгородом, под названием Владимир, в честь св. Владимира. Карта приложена была к «Русской Правде».

— Неубитого медведя шкуру делим,— заметил кто-то.

— А Польша где?

— Здесь,— указал Пестель на карту.

— Как здесь? За рубежом?

— Да, отделена от России.

— Не знаю, как вы, господа,— вдруг побледнел и вскочил Рылеев,— а я никому не позволю разыгрывать в кости судьбу моей родины!

Повскакали и другие, закричали в ярости:

— Не позволим! Не позволим!

— Вот они, Южные, вот, куда гнут!

— Кромсать Россию! Да черт вас дери с вашею республикою!

— Предатели!

— Враги отечества!

Неистовый Кюхля схватил карту и разорвал ее пополам.

Председатель изо всей силы звонил в колокольчик, но долго еще шум не унимался.

— Я полагаю, господин полковник, что отторжение столь коренных областей, как Польша, от державы Российской многим не понравится,— начал было Трубецкой примирительно, когда стало потише.

— А я полагаю, господин председатель, что мы исповедуем либеральные взгляды не для того, чтобы нравиться людям, из коих большинство глупцы,— усмехнулся Пестель так высокомерно, что даже кротчайшего Трубецкого передернуло.

— А главное, хамы все; не от огня или потопа, а от хамства погибнет земля! — выпалил вдруг доселе безмолвный Каховский и опять замолчал на весь вечер.

— С одним не могу никак согласиться,— заключил Рылеев: — в республике вашей смертная казнь уничтожается, а вам без нее не обойтись, гильотина понадобится, да еще как: нам же первым головы срубите...

— Не гильотина, а пестелина! — крикнул Бестужев.

Одоевский закорчился и закашлялся от смеха так, что должен был выйти в другую комнату.

Голицыну казалось, что все, навалившись кучею, бьют спящего или пьяного.

Заранее предчувствуя победу, Муравьев попросил слова. Заговорил — и с отрадой почувствовали все, как вещи, сдвинутые Пестелем, возвращаются на старые места; опять становится все нетяжким, негрозным, неответственным; режущая бритва окутывалась ватою; ледяные кристаллы таяли и превращались в теплую воду.

Муравьев доказывал необходимость медленного действия.

— В самой натуре постепенное течение времени дает жизнь, рост и зрелость всему; крупные же и быстрые события производят вихри, бури, землетрясения и разрушения. Точно так же народу, пребывшему века без

сознания вольности гражданской, дарование оной располагаемо должно быть с постепенностью. Поставлять же внезапно и насильственно, на место правления законного, самовластие временных диктаторов,— людей, никому неведомых, есть дело безрассудное. Уверены будучи в том,— заключил оратор,— что Россия не может быть иначе управляема, как монархом законным и наследственным, отвергает Северное Общество всякую мысль о республиканском образе правления и единственной целью своей полагает конституцию монархическую.

— Браво, браво, Муравьев! — закричали и захлопали ему те же, кто давеча кричал и хлопал Пестелю.

— Не бывать республике!

— Да здравствует монархия!

— Да здравствует конституция Северная!

Голицын давно уже видел, как лицо Пестеля бледнело, искажалось, и в тускло-черных глазах загорался тяжелый, припадочный блеск. Вдруг ударил он изо всей силы кулаком по столу.

— Так будет же республика!

Все на минуту притихли. Но тотчас же опять поднялся неистовый крик:

— Долой диктаторов!

— Долой Пестеля!

— Второго Бонапарта!

— Второго самодержца!

— Павла Второго!

Пестель, как будто просыпаясь, обвел всех медленным взором.

— Господа,— заговорил он изменившимся голосом, с тихим и грустным недоумением в потухших глазах,— я ни на какие личности отвечать не буду. Я пришел сюда не с тем. Ежели обидел кого, прошу извинить... Но стыдно будет тому, кто подозревает личные виды. Последствие покажет, что таковых не было. Впрочем, если я один мешаю всему, я готов удалиться из Общества.

Остановился, помолчал и вяло, рассеянно, точно о другом думая, потер лоб рукой:

— Я хотел еще что-то... Ну, да все равно...

В лице и в голосе его что-то было такое простое, правдивое и печальное, что все на мгновение опомнились и, так же как давеча, затаили дыхание, потупились, не глядя друг на друга. И тихая душная тяжесть опять

навалилась на всех. Почувствовали, что не надо было говорить того, что говорили, и что не в нем, а в самих себе они что-то унизили.

Голицын встал и подошел к Пестелю.

— Я хочу вам сказать при всех, Павел Иванович! Со многим я не согласен, но главное верно у вас, и я того же мнения до корня: низвержение династии, провозглашение республики. Что бы ни говорили,— это так, и без этого ничего не будет, ничего не будет!

Пестель посмотрел на Голицына с удивлением, как будто все еще не понимая, но вдруг улыбнулся простодушною улыбкою, той же самою, с которой спрашивал намедни Рылеева о персидской шали для сестры и от которой лицо его сразу молодело, хорошело до неузнаваемости.

— Спасибо вам... Я не знаю вашего имени.

— Князь Валерьян Михайлович Голицын.

— Ну, спасибо, спасибо вам, князь!— сказал, крепко, до боли, пожимая ему руку.

Голицын заглянул в глаза Пестелю и тоже улыбнулся,— почувствовал, что может полюбить его, как брата. Но в то же мгновение увидел глаза умирающей девочки.

Пестель, собираясь уходить, складывал в портфель бумаги, листки «Русской Правды» и половинки разорванной карты Российской республики,— верно, дома склеит тщательно. Никто его не удерживал.

Зеленое сукно, взятое напрокат из Русско-Американской Компании, сняли со стола, чтобы не запачкать, и покрыли стол белою скатертью. Потушили свечи, зажгли ананасовый пунш; сахарная голова запылала в голубых волнах спиртового пламени; захлопали пробки, полилось шампанское. Пир вскладчину: с каждого гостя по двадцати рублей ассигнациями.

От грозной и душной Пестелевой тяжести с наслаждением возвращались к обыденной легкости, как будто, проснувшись, потягивались, расправляли члены и торопились наверстать упущенное. Говорили о последнем параде, о чинах и производстве, о танцовщице Истоминой и закулисных шалостях гвардейцев, о Семеновой, которая провалилась иамедни в Лобановской «Федре» [1]; спорили о цыганках, Фешке и Малярке,

---

[1] Лобанов, Михаил Евстафьевич (1787—1846) — русский писатель, драматург, переводчик. Перевел трагедию Ж. Расина «Федра».

кто лучше поет,— почти с таким же увлечением, как только что о республике и монархии.

Чимбиряк-чимбиряк-чимбиряшечки!
С голубыми вы глазами, мои душечки! —

пел Бестужев, подражая Фешке.

Затянули хором:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
. . . .
. . . .
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами...

Кюхля пошел плясать казачка и растянулся при общем хохоте. Якубович произнес речь:

— Господа, я не хочу принадлежать ни к каким тайным обществам, чтобы не плясать по чужой дудке. По моему мнению, один человек решительный полезнее всех обществ. Я жестоко оскорблен государем. Разве вы не знаете, зачем я проживаю в Петербурге? Разве не написана на лбу моем кровавая причина?

Сорвал повязку с головы и, вынув из бокового кармана полуистлевший листок, штабный приказ по гвардии, с чином капитана вместо полковника, помахал над головой:

— Вот пилюля, которую восемь лет ношу у ретивого; восемь лет жажду мщения. *Ему* не ускользнуть от меня... Тогда пользуйтесь случаем, делайте, что хотите, созывайте ваш Великий Собор и дурачьтесь досыта!

Выслушали молча и заговорили тотчас о другом: где бы провести остаток ночи, в Красный ли кабачок закатиться на тройках, или по соседству в Фонарный, к «дамочкам». Но говорили уже вяло, со скукою; сразу устали, опьянели и отяжелели. Веселье потухало, как бледно-голубое пламя пунша в бледно-зеленой тусклости утра.

Затянули еще раз на прощанье, но тоже со скукою:

Отечество наше страдает...
. . . .

И опять:

Чимбиряк-чимбиряк-чимбиряшечки!
С голубыми вы глазами, мои душечки!

Один в кабинете, забившись в угол дивана и закрыв лицо руками, сидел Одоевский. Голицын подошел к нему. Тот услышал и отнял руки от лица.

— А знаете, князь,— проговорил он, и Голицыну казалось, что слезы у него на глазах,— ведь Пестель-то прав: стыдно, Боже мой, как стыдно и гадко все! Ничего не будет. Болтуны несчастные: наделала синица славы, а моря не зажгла...

Голицын молча простился и вышел на улицу.

Светло, тихо, пусто. Внизу — опрокинутое в Мойке белое небо, и вверху — оно же, белое, слепое, как остеклевший глаз покойника; серая каланча над серою съезжею; у полосатой будки сонный будочник; грохочущие телеги со смрадными бочками; ругань двух пьяных гуляк у трактира с красным фонариком и гул барабана вдали,— должно быть, на гауптвахте бьют зорю.

На углу Вознесенской нагнал его Рылеев. Долго шли молча.

— Ну что, как? — начал было Голицын, но тот замахал на него руками:

— Да уж не говорите. Скверно...

И опять молча пошли по светлой, тихой и пустой, точно вымершей, улице с белым небом вверху.

Вдруг оба вздрогнули. Могучий звук прокатился одиноко в мертвой тишине, задрожал, как задетая у самого уха струна, и медленно замер. Первый, второй, третий — и весь воздух наполнился медленно-мерными медными гулами. У Вознесения благовестили к заутрене.

Остановились, прислушались.

— Да, ничего не будет, ничего не сделаем,— заговорил Рылеев, как будто повторяя то, что говорил благовест,— а все-таки надо начать! Раздастся глас свободы и разбудит спящих...

Говорил, как всегда, высокопарно, торжественно; но не в словах, а в лице и голосе его что-то было такое же простое, правдивое, как давеча у Пестеля.

Голицын положил ему руки на плечи и заглянул в лицо, бледное в бледной тусклости утра, точно мертвое.

— Да, начать надо,— произнес и он, как бы отвечая на то, о чем спрашивал колокол.— Хотя вы и не верите в Бога, а помоги вам Бог!

Обнялись и поцеловались молча.

Когда Рылеев ушел, Голицын долго еще слушал благовест, потом снял шляпу и перекрестился с молитвою, с которой благословила его Софья:

«Сохрани, помоги, помилуй нас всех, Господи! Спаси, Матерь Пречистая!»

На следующий день у Полицейского моста на Невском встретил он Пестеля; лица не видал — шел сзади,— но узнал тотчас же. У Пестеля под мышкою был сверток, должно быть, персидская шаль, подарок сестре. Нагнав его, Голицын пошел рядом; но Пестель не замечал его и продолжал идти, не глядя по сторонам. Лицо безжизненное, взор невидящий, шаг размеренный: кажется, будь на дороге яма,— не остановился бы, как пущенный в ход автомат.

Солнце пекло уже по-летнему; тощие липки бульвара, едва распустившиеся, кидали слабую тень. Пестель присел на скамейку, снял фуражку и вытер платком пот со лба; все еще не узнавал или не видел Голицына, присевшего рядом.

— Здравствуйте, Павел Иванович!

— Ах, Валерьян...— видимо, с трудом вспомнил он имя,— Валерьян Михайлович, извините, я очень рассеян, никого не узнаю...

Голицын заговорил о вчерашнем, но Пестель едва слушал и отвечал неохотно, как будто думал о другом, не рад был встрече и о своей вчерашней благодарности забыл.

— А нехорошо у вас в Петербурге,— вдруг, среди разговора, оглянулся он и поморщился: — жара, пыль, вонь... Я, впрочем, весны не люблю. То ли дело осень, особенно в деревне, самая глухая осень в самой глухой деревне. Читали вы «Утехи меланхолии?»

— Нет, что это?

— Книжечка такая, старинная. Мне нравится. Давеча по Невскому шел, все вспоминал. Погодите, как это? «Счастливый уголок безмятежности, уединенное сельцо, мирное лоно твое в шуме осенних бурь нежит скорбный дух мой; любезная пустынька питает меланхолию...» Не правда ли, чувствительно? Глупо, но чувствительно. Точно перевод с немецкого. Потому, должно быть, мне и нравится...

— А к памятнику Петра пройти как? — спросил он, вставая.

— Тут недалеко. Я проведу вас, если позволите.

Пошли вместе. По дороге Пестель опять вычитывал ему из «Утех меланхолии»:

— «Среди октябрьских непогод в дико-густейшей мгле, при порывистых вихрях, приветствуемый мерцанием дружественной Цинфии». Что такое Цинфия? Из мифологии, что ли? А дальше не помню...

— Как вы и это-то запомнили? — рассмеялся Голицын.

— С матушкой читал, давно еще, мальчиком, а потом с сестрой. Бывало, в осенние сумерки, все ходим по березовой аллее над озером,— у нас большое озеро в парке, оттуда вид прекрасный,— желтые листья под ногами шуршат, и читаем Ламартина, Шатобриана или вот эту самую меланхолию.

— Вы и стихи любите?

— Нет, стихов не люблю... впрочем, не знаю, мало читал, только вот с сестрою. Одному некогда и скучно.

— А Пушкина?

— И Пушкина мало знаю.

— Вы, кажется, встречались?

— Да, в Кишиневе раз, давно. Всю ночь проговорили о политике и о бессмертии души.

— Ну и что же?

— Ничего. Как всегда, каждый при своем остался. Он доказывал, что Бога и бессмертия нет, а я ему, что этого доказать нельзя; тут все надвое: по сердцу — Бога нет, а по разуму — есть. Mon coeur est materialiste, mais ma raison s'y réfuse [1].

— Наоборот, казалось бы? — удивился Голицын.

— Нет, у меня так,— немного нахмурился Пестель, и в глазах его появилось выражение, которое и раньше заметил Голицын, как будто перед носом любопытного гостя захлопнулась дверь во внутренние комнаты хозяина; и тотчас заговорил о другом, рассказал, как Пушкин хотел к ним в Общество, да его нельзя — ненадежен.

По новому Адмиралтейскому бульвару вышли на Сенатскую площадь, к памятнику Петра.

Пестель обошел его, разглядывая с простодушным любопытством, потом остановился, приложил лицо к

---

[1] У меня сердце материалиста, но мой разум отвергает материализм (*франц.*).

решетке и, глядя в лицо изваяния, как в лицо живого человека, долго молчал, словно забыл о собеседнике; наконец сказал по-французски, шепотом:

— А ведь тут пропасть: если конь опустит копыто, Всадник полетит к черту...

— Да, костей не соберет.

— И мы с ним.

— Разве мы — с ним?

— А где же?

— Вот змея под копытами лошади,— крамола, революция...

— Вы думаете? А Пушкин говорит, что с *него-то*,— кивнул Пестель на памятник,— с *него* и началась революция в России...

— И самодержавие с него же,— заметил Голицын.

— Да, крайности сходятся... Ну, так как же: мы-то с ним или против него? — опять, помолчав, спросил Пестель.

— Не знаю,— усмехнулся Голицын,— не знаю, как мы, Павел Иванович, а вы, наверное, с ним.

— Почему я?..— проговорил Пестель, но уж опять рассеянно, как будто о другом думая; дверь во внутренние комнаты захлопнулась, и не дожидаясь ответа, внезапно простился, кликнул извозчика и уехал.

Голицын, оставшись один, долго еще вглядывался с тем же вопросом в лицо Медного Всадника: против него или с ним?

Ответа не было, и, наконец, решил: «А все-таки надо начать — с ним или против».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Фотий в гробу полеживал с приятностью.

В доме графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской на Дворцовой набережной, где гостил по целым месяцам, он устроил себе подземную келью. В темный подвал, освещаемый только огнями неугасимых лампад, вела узкая лестница; пол мраморный, черными и белыми шашками; иконостас, блистающий золотом и драгоценными каменьями. Он любил их: в детской простоте, не зная цены деньгам, принимал в подарок от Анны блюдо рубинов или яхонтов, как блюдо земляники. Посередине кельи — гроб. Фотий спал в нем ночью, а иногда и днем отдыхал.

Анна сперва ужасалась, а потом привыкла, и гроб стал ей казаться диваном, тем более, что надоевшую черную обивку заменил он светлою, серебряным глазетом снаружи и белым атласом внутри, «дабы гроб светел был и приятен». Когда в одеянии подобносхимническом, нарочно сшитом по его заказу, как святые на иконах пишутся, лежал он в этом веселом гробу, Анна любовалась на него с умилением:

— Ах, отец, отец, как он мил!

Весь день провел Фотий в хлопотах и разъездах по делу Голицына; устал, измучился; вернувшись домой, завалился в гроб отдыхать. Выпить бы горячего укропника — укропник пил вместо чая, зелья бесовского. Но никто, кроме Анны, не умел варить, а ее дома не было, уехала с визитами.

Фотий сердился, ругался. Держал ее в строгости, помыкал, как последнею дворовою девкою. А все-таки с приятностью полеживал в гробу своем, благодушествовал, вспоминая последнее свидание митрополита с Аракчеевым.

Аракчеев исполнил обещание, данное государю: поехал к митрополиту и сделал попытку помирить его с князем Голицыным, но ничего не вышло. Сняв с головы белый клобук, митрополит бросил его на стол:

— Граф, донеси царю, что видишь и слышишь. Вот ему клобук мой. Я более митрополитом быть не хочу, с князем Голицыным не могу служить, как явным врагом церкви, престола и отечества!

«Аракчеев смотрел на сие, как на вещь редкую»,— вспоминал впоследствии Фотий. Воистину, редкая вещь в России после Петра I,— белый клобук, венец православия, спорящий с венцом самодержавия.

Митрополита Серафима Фотий называл «мокрою курицею». Однажды, готовясь произнести проповедь, в присутствии императора Павла, преосвященный так оробел, что не мог произнести ни слова и должен был удалиться в алтарь. А намедни, собираясь в Зимний дворец по делу Голицына, трижды входил и трижды выходил из кареты; наконец Фотий захлопнул дверцы и крикнул кучеру: «Ступай!» А Магницкий поехал сзади на дрожках, и когда замечал, что кучер, по приказанию владыки, заворачивает в сторону, приказывал от себя ехать прямо во дворец. Вернулся владыка домой, весь мокрый от пота, «как бы из водопада был облит,— по слову Фотия: — такой у него был пот от страха царева».

Мокрой курице не бывать орлом, митрополиту Серафиму — Никоном [1]. «От Фотия потрясется весь град св. Петра»,— было пророчество. Не оно ли исполняется? Не потрясется ли Россия, вселенная от *патриарха* Фотия?

Прислушался к стуку подъезжавшей кареты. Не раздеваясь, в салопе, шляпке и вуали, запыхавшаяся, испуганная, вбежала в подземную келью графиня Анна.

Лицо плоское, круглое, красное, веснушчатое, как у деревенской девушки. Росту большого — гренадер в юбке. Лет под сорок, а умом ребенок. «Мозги птичьи»,— говаривал Фотий. Но в глазах чистых, как вода ключевая, сквозь глупость ума ум сердца светился. Готовилась к тайному постригу; носила власяницу под шелковым

---

[1] Никон (1605—1681) — патриах Московский и всея Руси. Имел сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику, что, в конце концов, привело к разрыву с царем Алексеем Михайловичем.

фрейлинским платьем; всю жизнь замаливала грех отца графа Алексея Орлова, злодеяние Ропшинское — убийство Петра III.

Ходили слухи о блудном сожительстве Фотия с Анной, но это была клевета.

«Я, в мире пребывая, ни единажды не коснулся плоти женской, не познал сласти,— говорил Фотий: — чадо мое о Господе есть девица непорочная во всецелости. Сам Господь мне ее в невесты нескверные дал».

— Не моя вина, батюшка,— залепетала Анна бестолково и растерянно, вбегая в келью: — княгиня Софья Сергеевна без чая отпустить не хотела, о патере Госнере сказывала. Ах, отец, отец, если бы вы знали, какие новости!..

Княгиня Софья Мещерская, одна из духовных дочерей Фотия — большая сплетница, а патер Госнер — заезжий «проповедник Антихриста, сатана-человек,— по мнению Фотия,— публично изрыгавший хулу на Богородицу». При помощи Магницкого и обер-полицеймейстера Гладкова, заговорщики выкрали из-под станка листы печатавшейся книги Госнера, и Фотий сочинял по ним донос, желая приплести это дело к делу Голицына. В другое время о новостях расспросил бы с жадностью, но теперь пропустил мимо ушей: очень сердился.

Долго лежал, не открывая глаз, не двигаясь, точно покойник в гробу; наконец посмотрел на Анну в упор и спросил:

— Где пропадала, подол трепала, чертова девка? На гульбище, небось?

— Да,— потупилась Анна, краснея; лгать не умела.— Один только разок прошлась...

Весеннее гулянье в Летнем саду, куда изредка езжала Анна тайком от Фотия, называл он сатанинским гульбищем.

— Женишка не подцепила ли? Много их нынче там, по весне-то, кобелей бесстыжих, военных да штатских, за вашей сестрой, сукою, задравши хвосты, бегает.

— Ну что вы, батюшка! У меня и в мыслях нет, сами знаете...

— Знаю, что знаю. А ты бы хоть то рассудила, что уже не молода и красоты не имеешь плотской; то богатства токмо ради женихи-то подманивают, а денежки вытрясут — и поминай, как звали.

Поднял ногу из гроба, и с привычной ловкостью Анна стащила с нее смазной, подбитый гвоздями мужичий сапог.

— Ох, мозоли, мозолюшки! Ноют что-то, верно, к дождичку,— кряхтел он, подымая другую ногу.

На светлых перчатках у Анны — второпях не успела их снять — от смазных голенищ остались пятна дегтя.

— Думаешь, не знаю, девонька, что у тебя на уме? — усмехнулся вдруг Фотий язвительно:— знаю, голубушка, все вижу насквозь; вот, мол, какая особа, миллионщица, Орлова-Чесменского дочь, графиня светлейшая, ручки изволит марать о сапоги мужичьи поганые! А только мне на графство твое наплевать и на миллионы тоже. Тридцать миллионов — тридцать сребреников — цена крови. Знаешь, чья кровь? Грех отца знаешь? Ну, чего молчишь? Говори, знаешь?

— Знаю,— прошептала Анна, бледнея и опуская голову.

— А коли знаешь — кайся, отца духовного слушай. Аль отца по плоти взлюбила больше, чем отца духовного? Послушание паче поста и молитвы. Вот скажу тебе: «Анна, скажу, обругай отца!» Ты и обругать должна...

Она отвернулась и молча горько заплакала. Готова была терпеть все; но чтобы он над памятью отца ее ругался — не могла вынести.

— Ну, чего нюни распустила, дура? Любя говорю.

— Простите, батюшка! — сказала она, припадая к руке его и уже забыв обиду.

— Бог простит. Ступай, завари-ка укропничку.

Послышался стук в дверь.

— Кто там?

— Его сиятельство, князь Александр Николаевич Голицын,— доложил келейник.

Анна заторопилась, хотела бежать навстречу гостю.

— Стой! Куда? — удержал ее Фотий: — ничего, подождет, не велика птица. Давай сапоги.

Надел их опять с помощью Анны, встал из гроба, подошел к аналою, зажег свечу, положил Евангелие, поставил чашу с Дарами, взял в руки крест, делая все нарочно медленно; наконец велел позвать Голицына. Анна побежала за ним.

«Входит князь и образом, яко зверь-рысь, является»,— рассказывал впоследствии Фотий.

— Благословите, отче!

— В богохульной и нечестивой книжице, «Таинство Креста» именуемой, под твоим надзором, княже, опубликовано: «Духовенство есть зверь». А понеже и аз, грешный, из числа онаго есмь, то благословить тебя не хочу, да тебе и не надобно.

— Ну что ж,— сразу вспыхнул Голицын,— пожалуй, и лучше так:— война так война! Довольно хитростей, довольно лжи...

— Какая ложь? Какая война? О чем говоришь, князь, не разумею.

— Не разумеете? Ну, так я вам скажу, извольте! Я знаю все, отец Фотий: знаю, как с негодяем Аракчеевым вступили вы в союз; как государю на меня клевещете; одной рукой обнимаете, а другой точите нож; предаете лобзанием иудиным [1]; говорите: «Христос посреди нас»,— а посреди нас дьявол, отец лжи. Листы печатные из-под станка выкрали,— да ведь это мошенничество! Как вам не стыдно, отец? Погодите, ужо обо всем доложу государю. Посмотрим, кто кого!

Фотий молчал. Оба хитрые, хищные, стояли они друг против друга, два маленьких зверька, готовые сцепиться в смертном бое,— рысь и хорек.

— Убойся Бога, князь,— заговорил, наконец, Фотий:— за что на меня злобствуешь? От личности твоей я чист, зла на тебя не имею. Господь с тобою...

— Не лгите, хоть теперь-то не лгите! Во второй раз не обманете. Дурак я вам дался, что ли? Говорите лучше прямо: что вам от меня нужно?

— Покайся, останови книги богопротивные, в коих сеется разврат и революция,— начал было Фотий.

— Да сколько же раз мне вам повторять: не могу я ничего остановить! Не меня обвиняйте, а государя.

— Ну, так поди к царю, стань перед ним на колени и скажи, что сам делал худо и его...

— Как вы смеете,— вдруг закричал Голицын и затопал ногами,— как вы смеете говорить так о государе императоре? В революции других обвиняете, а сами же — революционист отъявленный...

---

[1] Иуда обещал первосвященникам и народу, хотевшим распять Христа, дать им знак: кого он поцелует, тот и есть Христос.

— Аз есмь раб Господа моего, Иисуса Христа, послан тебя обличить, да покаешься! — закричал и Фотий.— Предстану с тобою на Страшном суде, обличу, сокрушу, осужу в геенну огненную!

Оба кричали. Анна слушала из-за дверей в ужасе: «Ох, подерутся!»

— Ну, с вами, отец, не сговоришь,— попятился Голицын к лестнице, думая уже только о том, как бы уйти от греха.— Нога моя здесь больше не будет, так и доложу государю. Честь имею кланяться...

— Стой, погоди! Так не уйдешь, не отвертишься! Се, аз простираю руку мою...

— Пустите же, пустите! — кричал Голицын в испуге, стараясь вырвать руку, но Фотий не пускал: одной рукой держал князя, другою поднял крест, и так страшно было лицо его, что вдруг показалось Голицыну, что он сейчас ударит его крестом, как ножом,— убьет.

— Се, аз руку мою простираю к небу, и суд Божий изрекаю на тя и на всех! Много ли вас? Тьмы ли тем бесчисленные? Выходите все! Да поразит вас всех Господь! Отлучаю! Извергаю! Проклинаю! Анафема!

Голицын побледнел. «Сумасшедший!» — промелькнуло в голове его, точно так же, как намедни у государя. Последним отчаянным усилием вырвал он руку и пустился бежать; вверх по лестнице и через все покои дома бежал так быстро, что на груди его орденская звезда прыгала и фрачные фалды развевались.

Фотий гнался за ним: лицо искаженное, глаза горящие, волосы дыбом — хорек бешеный.

Келейник разинул рот и присел от ужаса. Синодский чиновник Степанов, похожий на старого сома (это он корректурные листы Госнеровой книги выкрал), остолбенел и глаза выпучил. А когда бежали они через большую парадную залу с портретами царских особ, то казалось, что и они все,— от Петра I, который начал, до Павла I, который завершил плен церкви властью мирской,— смотрели с удивлением на невиданное зрелище: как обер-прокурор Синода, око царево, от церкви отлучается.

— Анафема! — гремел Фотий вслед убегавшему.— Будь ты проклят! Бога не узришь, снидешь во ад! И все с тобою, все прокляты! Анафема! Анафема! Анафема всем!

Анна бежала за Фотием и ловила его за полы.

— Отец! Отец!

Уже Голицын добежал до сеней. Фотий не отставал: казалось, готов был выскочить на улицу. Но Анна успела его догнать, охватила руками, повисла у него на шее.

В последний раз закричал, завизжал он осипшим голосом: «Анафема!»,— и повалился на руки подскочивших слуг, которые перенесли его в залу и усадили в кресло, бьющегося в припадке, рыдающего и хохочущего.

Совершилось пророчество; от Фотия потряссся весь град св. Петра: анафема Голицыну, обер-прокурору Синода, тридцатилетнему другу цареву,— анафема самому царю.

Все ожидали, что-то будет? Ходили слухи, что царь гневен. Анне казалось, что вот-вот схватят Фотия и сошлют в Сибирь. Заболела от страха.

— Небось, Аннушка! Что мне обер-прокурор? Блоха, ее же убивает пес трясением ушей. С нами Бог! Господь сил с нами! Кто против нас? — храбрился Фотий, но тоже робел.

Мая 15-го, в день Вознесения, сидел он у постели больной Анны и утешал ее, советовал, не прибегая к помощи медиков, немцев поганых, натереть с молитвою все тело оподельдоком:

— Помни, в зеленых банках худой, а самый лучший — в белых. Натрешься — все как рукой снимет.

Говорил также, чтобы развлечь ее, о колоколе большом, в 2000 пуд весом, во имя Купины Неопалимой [1], который собирался отлить для Юрьевской обители из дешевой краденой меди.

— Сколь приятен будет звон и утешителен!

Но Анна не слушала, думала все об одном: как придут, схватят и увезут батюшку.

Постучался келейник у двери и подал письмо.

— От кого? — спросила Анна.

— От митрополита,— ответил Фотий, распечатывая дрожащими пальцами.

У Анны сердце захолонуло: уж не о ссылке ли указ?

Вдруг Фотий вскочил, захлопал в ладоши и запел по-церковному.

---

[1] Икона Богоматери. «Купина неопалимая» — куст, который горел, но не сгорал,— прообраз Ее в Ветхом Завете (Исход, III, 2).

— Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия! Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе! Ад сокрушен, сатана побежден! Пало мирское владычество над церковью! Министр наш един — Иисус Христос! Слава Фотию! Слава Господу! Слава Аракчееву!

Анна смотрела и не верила глазам своим: батюшка поднял рясу и притопывал, как будто собираясь плясать.

— Восстань, дщерь,— воскликнул он, схватив ее за руку: — ничего, небось, поясница пройдет и оподельдока не надобно, вот оподельдок наш божественный! — махал письмом.— Восстань с одра, пой, пляши, девонька!

— Что вы, что вы, отец! Я же не одета...

— Бог простит, не стыдись, пляши во славу Господа!

— Да что, что такое, батюшка миленький, что с вами? — говорила, бледнея от ужаса, Анна: ей казалось, что он сошел с ума.

— А вот что,— бросил ей Фотий письмо,— читай!

Митрополит извещал его о только что подписанном указе: обер-прокурор Св. Синода, князь Голицын, отставлен от должности; министерство духовных дел уничтожено; Синоду быть по-прежнему.

И опять все затаило дыхание, притихло, пришипилось. От государя ни слуху, ни духу, как будто забыл он о Фотии.

Наконец 13 июня, поздно вечером, пришло в Лавру высочайшее повеление явиться Фотию на следующий день в Зимний дворец.

Не знал он, что ожидает его — в архиереи ли посвятят, или в Сибирь сошлют; на всякий случай исповедался и причастился.

Так же, как в первый раз, взошел Фотий с камердинером Мельниковым потайною Зубовской лестницей, днем с огнем, так же, идучи по ней, крестился и крестил все углы, переходы, двери и стены дворца, помышляя, что «тьмы здесь живут сил вражьих». А войдя в кабинет государев, сначала медленно, истово перекрестился и потом уже взглянул на государя. Государь принял благословение и усадил Фотия за свой письменный стол. Но тут же пошло все по-иному. Взглянув на лицо государя, Фотий сразу понял, что дело плохо, и как начал дрожать мелкою дрожью, так уже не переставал до конца свидания. Рассказывал впоследствии,

будто бы на теле его, во время этой беседы, выступил кровавый пот.

— Я пригласил вас, отец, для того, чтобы узнать, правда ли, что вы князя Александра Николаевича Голицына предали анафеме?

— Ваше величество, не я, а Сам Господь с небесе рече...

— Извольте отвечать, о чем спрашивают! — прикрикнул на него государь, и в голосе его послышались те же визгливые звуки, как у императора Павла, когда он гневался.— Правда или неправда? Отвечайте!

— Правда.

— Какой же властью вы это сделали?

Фотий молчал, дрожал, смотрел в окно и крестился маленькими, частыми крестиками.

Лицо государя было гневно; сперва хотел он только постращать его, но потом увлекся,— как актер, вошел в свою роль и заговорил почти искренно.

— Какой властью вы это сделали? — повторил, возвышая голос.— Кто вас поставил судить между мной и церковью, между мной и Богом? И за что вы все напали на Голицына? Из-за чего бунтуете? Чего хотите? Свободы церкви от власти мирской? Да не вы ли сами поработились мирскому владычеству? Много мы, государи, всякой низости видим, но такой, как у вас, господа духовные, Богом свидетельствуюсь, я нигде не видывал. Когда главою церкви, вместо Христа, объявили самодержца Российского, человека сделали Богом,— кощунство из кощунств, мерзость из мерзостей! — где вы были тогда, где была свобода ваша? Все предали, всему изменили, надругаться дали над святынею. Не все ли вы, от первого до последнего, пастыри церкви Российской, припадали к ногам моим, кричали: «Осанна!» как Самому Христу Господню? Не я ли должен был повелевать указами, чтобы не было сего, чтобы с Богом меня не равняли, Благословенным, Бессмертным не называли? Вспомнить, выговорить стыдно и страшно, но у вас, отцы, давно уже ни страха, ни стыда в глазах... А туда же, бунтовать вздумали! О свободе церви говорить смеете... Ну, что ж, не захотели Голицына,— будет вам Аракчеев. А вы, отец Фотий,— я думал, что вы лучше других, поверил вам,— и вот чем отплатили вы! Бог вам судия. Но понимаете ли, понимаете ли, что вы сделали?..

Встал и быстрыми шагами ходил по комнате. Как всегда в гневе, не все лицо его, а только лоб краснел; и он закрывал его платком, как будто вытирал пот.

А Фотий по-прежнему глядел в окно на небо, молчал, дрожал и крестился.

— Понимаете ли? — повторил государь, остановившись перед ним, и, вглядевшись в лицо его, увидел, что он ничего не понимает и никогда не поймет: все — как горох об стену.

Государь опустился в кресло и вдруг почувствовал, что весь гнев его потух.

— Ну, что же вы молчите? Говорите, отвечайте же.

— Что мне тебе сказать, государь? — робко взглянул на него Фотий.— Аще бы не токмо князь Голицын, но ангел, сшед с небесе, глаголал учению церкви противное и о царе злое, я сказал бы: анафема!

— И мне сказал бы?

Фотий молчал.

— Ну, ничего, говорите, говорите, я слушаю,— усмехнулся государь едва уловимой, брезгливой усмешкой.

— Что делать мне дано было свыше, яко послал меня Бог возвестить правду царю моему, то я и сделал,— уже смелее взглянул на него Фотий.— Видя, что вся святыня испровергается, едина злоба возвещается, ужели я молчать должен, поверив, что все сие зло ты, царь, сотворил, чему верит Голицын, да и меня хотел научить веровать? Святитель Николай Чудотворец на Вселенском соборе заушил [1] нечестивого Ария...

Подал государю выдранный из жития листок — рассказ о том, как отцы Никейского собора за пощечину Арию присудили св. Николая архиерейского сана лишить.

— Вот видите, что со святителем Николаем сделали,— произнес государь, не дочитав листка.

— Неправильно сделали.

— Как неправильно?

— Чти до конца: отцы осудили угодника Божьего, Господь же, явившись Сам, подал ему св. Евангелие, а Матерь Божья — омофор, во знамение, что свыше сила небесная защитить его имеет всегда...

---

[1] Заушить (*устар.*) — оскорбить, опорочить, опозорить.

Долго еще говорил Фотий, постепенно возвышая голос, и, наконец, так же как в первое свидание, закричал, завопил, занеистовствовал, начал вытаскивать бесчисленные листки из-за рукавов, из-за голенищ, из-за пазухи — весь был обложен ими, как воин доспехами.

Государь слушал молча, со скукою.

Доставая один из листков, Фотий распахнул рясу; хотел закрыть, но государь не дал ему, наклонился, раздвинул складки и увидел под железными веригами, на голой груди его, страшную, железом натертую, до костей зияющую рану.

— Что дивишься, царь? — воскликнул Фотий: — Гляди, когда хочешь, и знай, что, себя не жалеючи, никого не пожалею ради Господа!

Государь отвернулся; лицо его болезненно сморщилось. Жалко было Фотия, но и себя жалко; жалко и стыдно. Вспомнил, как в первое свиданье поклонился ему в ноги, готов был видеть в нем своего избавителя, посланника Божьего. Не то одержимый, не то помешанный,— вот за кого ухватился, как утопающий. Быть смешным боялся больше всего на свете, а с Фотием был смешон; этого никому никогда не прощал,— не простил и ему.

А тот продолжал неистовствовать.

Государь встал, налил стакан воды и подал ему.

— Успокойтесь, отец, выпейте. Я зла против вас не имею: что сказал, то сказал, и больше ничего не будет. Я всегда рад вас видеть, а теперь прошу меня извинить,— дела неотложные.

И позвонил Мельникова.

То было последнее свидание государя с Фотием.

Торжество его, впрочем, как будто продолжалось. Патер Госнер, по высочайшему повелению, выслан был за границу, и книга его сожжена в печах кирпичного завода Александро-Невской лавры; жгли три часа, в двадцати печах, и при этом присутствовал Фотий, возглашая анафему. Аракчеев исходатайствовал ему панагию «за торжество православия»

«Порадуйся, старче преподобный,— писал Фотий симоновскому архимандриту Герасиму,— нечестие пресеклось, армия богохульная диавола паде, ересей и расколов язык онемел; общества все богопротивныя, якоже

ад, сокрушились. Министр наш один — Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. Молись об Аракчееве: он явился, раб Божий, за св. церковь и веру, яко Георгий Победоносец».

Но этим торжество и кончилось. Внезапно, точно сговорившись, все отшатнулись от Фотия. Долго не понимал он, за что; когда же понял, что милостям царским — конец, то пал духом, заболел, едва не умер и, только что оправился, уехал из Петербурга, «бежал из града, яко из ада», в свой новгородский Юрьевский монастырь добровольным изгнанником, вместе с Анною.

Министром же духовных дел оказался не Иисус Христос, а граф Аракчеев. Все доклады по делам Св. Синода представлялись государю через него. Сразу ввел он порядок военный в духовном ведомстве: святые отцы при нем пикнуть не смели, стали тише воды, ниже травы. И пожалели о Голицыне.

В Андреевском соборе села Грузина появился в те дни новый образ — Спаситель, держащий на деснице Евангелие; образ покрыт был литою серебряною ризою; ежели открыть стеклянную раму, то можно увидеть, что один из серебряных листов Евангелия на едва заметном шарнире отгибается, и под этим листом — другой образок: Аракчеев — в парадном генеральском мундире, со всеми орденами, сидящий на облаках, как бы грядущий со славой судить живых и мертвых.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Государь похож на того спартанского мальчика, который, спрятав под плащом лисицу, сидел в школе и, когда зверь грыз ему внутренности, терпел и молчал, пока не умер».

Так думал князь Александр Николаевич Голицын, когда в беседах с ним государь бывал откровенен и, казалось, вот-вот заговорит о главном, единственном, для чего, может быть, и начинал разговор,— о лисице, грызущей ему внутренности — о Тайном Обществе; но вдруг умолкал, и собеседник чувствовал, что если бы он заговорил о том первый,— это ему никогда не простилось бы, и тридцатилетней дружбе наступил бы конец.

— Ты на меня не сердишься, Голицын?

— За что же, ваше величество? Сами знать изволите, я уж давно собирался в отставку...

— Правда, не сердишься? Ни капельки, ни чуточки? — допытывался государь с той милой улыбкой, за которую некогда Сперанский назвал его «сущим прельстителем».

— Ну, право же, ни чуточки! — невольно улыбнулся и Голицын.

Если в тайне сердца был обижен, то не отставкой, не анафемой Фотия и даже не тем, что предали его, тридцатилетнего друга, негодяю Аракчееву, а тем, что лукавят с ним и не верят ему.

— Бог лучше нашего знает, что для нас нужно; предадимся же воле Его и будем надеяться, что все к лучшему,— произнес Голицын тем пустым голосом, которым подобные изречения всегда произносятся.

— Да, все к лучшему, все к лучшему,— согласился государь с такою безнадежностью, что Голицын, уже забыв обиду, взглянул на него, как добрая няня на больного ребенка.— Что ты на меня так смотришь? Что думаешь?

— Позволите быть откровенным, ваше величество?

— Прошу тебя.

— Думаю, как многие, должно быть, глядя на ваше величество, думают: не стоит ли он на высоте могущества? Спаситель России, освободитель Европы, Агамемнон между царями: —

Александр, о ангел мира!
Щедрый дар благих небес,
Щит царей — твоя порфира,
Меч — орудие чудес,—

как пели мы некогда, встречая Благословенного. Чего же ему еще надобно? Что с ним? О чем он грустит?..

Беседа эта происходила в министерском доме, на Фонтанке, против Михайловского замка, в маленькой комнатке, рядом с домовою церковью Духа Св. Единственное окно закладено было наглухо, так что ни один луч дневной не проникал сюда и ни один звук, кроме церковного пения; а когда службы не было,— тишина могильная. Над плащаницею, перед большим деревянным крестом, вместо лампады висело огромное сердце из темно-красного стекла, с огнем внутри, как бы истекающее кровью.

— Я и сам не знаю, что это,— продолжал государь после молчания.— Когда астрономии учила нас Бабушка, то давала смотреть на солнце сквозь стекло закопченое. Так вот и теперь как сквозь темное стекло гляжу на все: tout a une teinte lugubre autour de moi [1],— точно затмение. Знаешь молитву: не отве́ржи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отъими от мене. Кажется, молитва моя не исполнилась: Он отверг меня...

— Не говорите так, ваше величество, не искушайте Господа!

Государь взглянул на Голицына: угодливая ласковость в мягких морщинах, как у доброй няни или старой сводни; не камень, на который можно опереться, а подушка, в которую можно плакать, кричать от боли,— никто не услышит.

— Я не ропщу, Голицын, сохрани меня Боже! Мне ли забыть о милостях Его неизреченных? «Ангелам своим заповесть о тебе»,— помнишь, как мы загадали и нам открылся этот псалом, когда Наполеон переступал через Неман? Исполнилось пророчество: ангелы понесли меня на руках своих, и было мне так спокойно среди страхов и ужасов, как младенцу на руках матери. Господь шел впереди нас; Он побеждал врагов, а не мы. И какие победы, от Москвы до Парижа! Какая слава,— не нам, не нам, а имени Твоему, Господи! Когда на площади Согласия служили мы молебен, очищая кровавое место, где казнен Людовик XVI, и вместе с нами преклонила колени вся Европа,— я дал обет довершить дело Божье: призвать все народы к повиновению Евангелию; закон божественный поставить выше всех законов человеческих; сложить все скипетры и венцы к ногам единого Царя царей и Господа господствующих,— вот чего я хотел, вот для чего заключил Священный Союз...

Говорил спеша и волнуясь; встал и ходил по комнате. Несмотря на красный свет лампады, видно было, как лицо его бледно. Потом опять сел и, упершись локтями в колени, опустил голову на руки.

— В чем же вина моя? Ищу, вспоминаю, думаю: что я сделал? Что я сделал? За что меня покинул Бог?..

Голицын хотел что-то сказать, но почувствовал, что

---

[1] Все вокруг меня окрашено мрачными красками (*франц.*).

говорить не надо, нельзя утешать; только тихонько, взяв руку его, поцеловал ее и заплакал.

Оба — грешники, оба — мытари [1]; но правда Божья была в том, что грешник над грешником, мытарь над мытарем сжалился.

— Спасибо, Голицын! Я знаю, ты любишь меня,— проговорил государь сквозь слезы, целуя склоненную лысую голову.

— Не я, не я один, ваше величество: вся Россия, пятьдесят миллионов верноподданных ваших...

— Ну, верноподданных лучше оставим,— поморщился государь с брезгливостью.— Чего стоит их любовь, я знаю. В Москве, во время коронации, толпа меня стеснила так, что лошади негде было ступить; люди кидались ей под ноги, целовали платье мое, сапоги, лошадь; крестились на меня, как на икону. «Берегитесь,— кричу,— чтоб лошадь кого не зашибла!» А они: «Государь батюшка, красное солнышко, мы и тебя, и лошадь твою на плечах понесем,— нам под тобою легко!» А в двенадцатом году, в Петербурге, в день коронации, когда пришла весть о пожаре Москвы,— с минуты на минуту ждали бунта. В Казанский собор к обедне надо было ехать; и вот, как сейчас помню: всходили мы с императрицами по ступеням собора между двумя стенами толпы, и такая тишина сделалась, что слышен был только звук наших шагов. Я не трус, Голицын, ты знаешь,— но страшно было тогда. Какие взоры! Какие лица! Никогда не забуду... А потом, при первой же удаче, опять: «Государь батюшка, красное солнышко!» Но я уже знал, чего любовь их стоит. Люди подлы, и народы иногда бывают так же подлы, как люди...

— Не будьте несправедливы, ваше величество: слава ваша — слава России. Не встала ли она, как один человек, в годину бедствия?

— И медведица на задние лапы встает, когда выгоняют ее из берлоги,— сказал государь, пожимая плечами опять с тою же брезгливостью.— Ну, да что об этом? Им подо мною легко, да мне-то над ними тяжко — тяжко презирать свое отечество. Веришь ли, друг, такие бывают минуты, что разбить бы голову об стену!

---

[1] Мытари, древнееврейские сборщики податей, возбуждали всеобщую ненависть.

Что-то промелькнуло в глазах его, отчего опять показалось Голицыну, что вот-вот заговорит он о звере, грызущем ему внутренности; но промелькнуло — пропало и заговорил о другом.

— Помнишь, что я тебе сказал, когда подписывал акт о престолонаследии?

— Помню, ваше величество.

— Ну, так понимаешь, к чему веду?

Манифест об отречении Константина Павловича от престола и о назначении Николая наследником подписан был осенью в Царском Селе. На запечатанном конверте государь сделал надпись: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до моего востребования, а в случае моей кончины открыть прежде всякого другого действия». Знали о том только три человека в России: писавший этот манифест, Голицын, Аракчеев и Филарет, архиепископ московский. Тогда же произнес государь несколько загадочных слов о своем собственном возможном отречении от престола. Голицын удивился, испугался и понял, что слова на конверте: «до моего востребования», означают это именно возможное отречение самого императора Александра Павловича.

— Понимаешь, к чему веду? — повторил государь.

— Боюсь понять, ваше величество...

— Чего же бояться? Солдату за двадцать пять лет отставку дают. Пора и мне. О душе подумать надо...

Голицын смотрел на него с тем же испугом, как тогда, в Царском Селе: отречение от престола казалось ему сумасшествием.

— Давно уже хотел я тебе сказать об этом,— продолжал государь: — ты так хорошо написал тогда; попробуй, может, и теперь удастся?

— Увольте,— пролепетал Голицын в смятении.— Могу ли я? Подымется ли у меня рука на это? И кто поверит? Кто согласится? Да если только, Боже сохрани, народ узнает о том, подумайте, ваше величество, какие могут быть последствия...

— А ведь и вправду, пожалуй,— усмехнулся государь так, что мороз пробежал по спине у Голицына: вспомнилась ему усмешка императора Павла, когда он сходил с ума.— Не поверят, не согласятся, не отпустят живого... Как же быть, а? Мертвым притвориться,

что ли? Или нищим странником уйти, как те, что по большим дорогам ходят,— сколько раз я им завидовал? Или бежать, как юноша тот в Гефсиманском саду, оставив покрывало воинам, бежал нагим? [1] Так что ли? Так что ли? А?..

Говорил тихо, как будто про себя, забыв о Голицыне; вдруг взглянул на него и провел рукой по лицу.

— Ну, что? Испугался, думаешь, с ума сошел? Полно, небось, пошутил; мертвым не прикинусь, голым не убегу... А об отречении подумай. Да не сейчас, не сейчас, не бойся, может, еще и не скоро. А все же подумай... И спасибо, что выслушал. Некому было сказать, а вот сказал,— и легче. Спасибо, друг! Я тебе никогда не забуду.

Встал, обнял его и что-то шепнул ему на ухо. Голицын отпер потайной шкапчик в подножьи креста, вынул золотой сосудец, наподобие дароносицы, и плат из алого шелка, наподобие антиминса. Разложил его на плащанице и поставил на него дароносицу.

Поцеловались трижды с теми словами, которые произносят в алтаре священнослужители, приступая к совершению таинства.

— Христос посреди нас.

— И есть, и будет.

Опустились на колени, сотворили земные поклоны и стали читать молитвы церковные, а также иные, сокровенные. Читали и пели голосами неумелыми, но привычными:

Ты путь мой, Господи, направишь,
Меня от гибели избавишь,
Спасешь создание свое.—

любимую молитву государя, стихи масонской песни, начертанные на образке, который носил он всегда на груди своей; пели странно-уныло и жалобно, точно старинный романс.

— Не отве́ржи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отъими от мене! — воскликнул государь дрожащим голосом и слезы потекли по лицу его, в алом сияньи лампады, точно кровавые.— Не отъими,

[1] В Гефсиманском саду был взят под стражу Христос. Об упомянутом юноше рассказано в Евангелии от Марка, XIV, 51, 52.

не отъими! — повторял, стуча лбом об пол с глухим рыданием, в котором что-то послышалось, отчего вдруг опять мороз пробежал по спине у Голицына.

Голицын встал и благословил чашу со словами, которые возглашал иерей [1] во время литургии, при освящении Даров:

— Примите, ядите: сие есть Тело Мое, за вас ломимое...

И причастил государя; потом у него причастился.

Если бы в эту минуту увидел их Фотий, то понял бы, что недаром изрек им анафему [2].

Священник из города Балты, уроженец села Корытного, о. Феодосий Левицкий, представил государю сочинение о близости царствия Божьего. Государь пожелал видеть о. Федоса. На фельдъегерской тележке привезли его из Балты в Петербург, прямо в Зимний дворец. Он-то и научил государя этому сокровенному таинству внутренней церкви вселенской, обладающему большею силою, нежели евхаристия, во внешних поместных церквах совершаемая. И государь предпочитал, особенно теперь, после анафемы Фотия, это сокровенное таинство — явному, церковному.

Причастившись, прочли молитву, которой научил их тоже о. Федос, о спасении всего рода человеческого, о исполнении царства Божьего на земле, как на небе, о соединении всех церквей во единой церкви вселенской.

— Спаси, Господи, мир погибающий!— заключалось каждое из этих прошений.

Поцеловавшись трижды поцелуем пасхальным: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»— заперли в шкапик дароносицу с антиминсом [3] и вышли в кабинет.

Холодный свет дневной ослеплял после алого теплого сумрака, как будто перешли они из того мира в этот. И лица изменились: вместо таинственных братьев церкви невидимой опять — царь и царедворец.

Заговорили о делах житейских.

---

[1] Священник.

[2] Совершать таинство Евхаристии и причащать вправе только лица, имеющие священнический сан.

[3] Плат с изображением положения во гроб Христа. Кладется на церковный престол, и на нем совершается освящение св. Даров.

— А кстати, Голицын, просил я намедни Марью Антоновну не принимать князя Валерьяна, племянника твоего. Не знаю, о чем они говорят с Софьей, но беседы эти волнуют ее, а ей покой нужен. Скажи ему, извинись как-нибудь, чтоб не обиделся.

— Помилуйте, ваше величество! Смеет ли он?

— Нет, отчего же?.. Кажется, добрый малый и неглупый; а только с этим нынешним вольным душком, а?

— Ох, уж не говорите, государь! Наградил меня Бог племянничком. Сущий карбонар. Волосы дыбом встают, как этих господ послушаешь. Вы себе представить не можете, на что они способны. В Сибирь их мало!

— Ну, полно, за что в Сибирь? Жалеть надо. Наши же дети, и с нас, отцов, за них взыщется...

Опять промелькнуло что-то в глазах его; опять показалось Голицыну,— вот-вот заговорит он о главном, единственном, для чего, может быть, и весь разговор этот начал.

Но промелькнуло — и пропало, и Голицын понял, что никогда ничего не скажет он, хотя бы страшный зверь загрыз его до смерти,— будет терпеть и молчать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Князь Александр Николаевич Голицын передал племяннику своему, князю Валерьяну волю государя о том, чтобы он перестал бывать у Нарышкиных. Но Марья Антоновна, узнав об этом, объявила, что не хочет лишать свою больную, может быть, умирающую дочь последней радости, и просила князя бывать у них по-прежнему, обещая взять на себя перед государем всю ответственность. С женихом Софьи, графом Шуваловым, поссорилась и говорила, что если бы даже Софья выздоровела, то государь как себе хочет, а она ни за что не выдаст дочь за этого «проходимца»: во вражде своей была столь же внезапна и неудержима, как в любви.

Так решила Марья Антоновна, так и сделалось, князь Валерьян продолжал посещать Софью, стараясь только не встречаться с государем. Избегая этих встреч, уезжал в Петербург, где проводил бóльшую часть вре-

мени с новым другом своим, князем Александром Ивановичем Одоевским; из членов Тайного Общества сошелся с ним ближе всех.

Двадцатилетний корнет, красавец — розы на щеках, легкие пепельные, точно седые, кудри, голубые глаза, всегда немного прищуренные с улыбкою,—«красная девица»,— говорили о нем в полку. Казалось бы, ему не заговорщиком быть, а в пятнашки играть и бабочек ловить с такими же детьми, как он.

— Я от природы беспечен, ветрен и ленив,— говорил сам о себе:— никогда никакого не имел неудовольствия в жизни; я слишком счастлив.

Сорвем цветы украдкой
Под лезвием косы,
И ленью — жизни краткой
Продлим, продлим часы.

— это о таких, как я, сказано.

Среди пламенных споров о судьбах России, о вольности, о «будущем усовершении человечества» молчал, усмехался, потом вдруг вскакивал, хватал свой кивер с белым султаном. «Куда ты?» — «На Невский». И гремел по тротуару саблею с таким легкомысленным видом, как будто, кроме гуляний да парадов, ничего для него не существует. Или сладкими пирожками объедался в кондитерской, как убежавший с урока школьник.

Но под этой детскостью горел в нем тихий пламень чувства.

Мать любил так, что когда она умерла, едва выжил. «Матушка была для меня вторым Богом,— писал брату.— Я перенес все от слабости; я был слаб — слабее, нежели самый слабый младенец». Она снилась ему часто, как будто звала к себе, и он этот зов слышал: иногда вдруг, в самые веселые минуты, загрустит, и уже иная песня вспоминается:

Как ландыш под серпом убийственным жнеца...

После матери больше всего на свете любил музыку.

— Все слова лгут, одна только музыка никогда не обманывает.

И речи о вольности были для него музыкой. Всякая ложь в них оскорбляла его, как фальшивая нота, оставляла смутный след на душе, как дыханье на зеркале.

— Вы стремитесь к высокому, я тоже: будем друзьями!— предложил он Голицыну чуть ли не на второй день знакомства.

Тот усмехнулся, но протянул ему руку. С тех пор, когда находили на Голицына сомнения в себе, в других, в общем деле,— стоило вспомнить ему о милом Саше, о тихом мальчике,— и становилось легче, верилось опять.

Друзья вели беседы бесконечные; начинали их дома и продолжали на улице или за городом, где-нибудь на островах.

На Крестовском, по аллее, усыпанной желтым песком, с белыми, новой краской пахнущими тумбами, прохаживались чинно молоденькие коллежские секретари с тросточками и старые статские советники с женами и дочками в соломенных шляпках и блондовых чепчиках. Слушали роговую, церковному органу подобную музыку с великолепной дачи «Монплезир» на Аптекарском острове и наслаждались «бальзамическим воздухом». Тут же на траве, под вечернее кваканье лягушек в болотных канавах и уныло-веселые звуки: «Ах, мейн либер Аугустин, Аугустин», немецкие мастеровые выплясывали гросфатера. Пахло свежей травою, смолистыми елками из лесу и жареными сосисками, жженным цикорием из «Новой Ресторации», где пиликали скрипки, визжали цыганки и гвардейские офицеры, подвыпив, буянили. На Крестовском острове царствовала вольность нравов, как в золотом веке Астреевом[1]: даже курить можно было везде, тогда как на петербургских улицах забирала полиция курильщиков на съезжую. Гостинодворские купчики катались по Малой Невке на яликах, заезжали на тони, варили уху, орали песни и спорили об игре актера Яковлева в «Дмитрии Донском»[2]. А старые купцы со своими купчихами, сидя на прибрежных кочках, поросших мхом и брусникою, попивали чай с блюдечек, за самоварами, такими же, как сами они, толстопузыми, медно-красными на заходящем солнце.

В сосновых рощах сдавались в наем избы чухонцев и строились редкие дачки, карточные домики, где лю-

---

[1] Время, когда богиня справедливости Астрея пребывала на земле, было счастливым, «золотым веком» (*греч. миф.*).

[2] «Д м и т р и й Д о н с к о й» — трагедия В. А. Озерова (1769—1816).

бители сельской природы могли утешаться колокольчиками стада и берестовым рожком пастуха на туманных зорях: «Совсем как в Швейцарии».

Здесь, в «Новой Ресторации», за шатким столиком с бутылкою пива или сантуринского, два друга вели беседы о таких предметах, что если бы кто и подслушал,— не понял бы. Голицын рассказывал Одоевскому о своих парижских беседах с Чаадаевым и под уныло-веселые звуки «Аугустина» шептал ему на ухо те слова молитвы Господней, которым суждено было, как верил Чаадаев, сделаться осанной грядущей свободной России: Adveniat regnum tuum [1],— так не по-русски о русской вольности звучали эти слова для самого учителя.

Больше всего занимала Одоевского мысль Чаадаева о том, что без Бога нет свободы, без церкви вселенской нет для России спасения.

— Да, это главное, главное!— повторял тихий мальчик, весь волнуясь и краснея от стыдливой радости:— это главнее всего! А ведь никто не поймет...

— А ты понял? — вдруг спросил Голицын, взглянув на него с тою внезапною усмешкою, которой немного побаивался Одоевский; сходство с Грибоедовым, тоже другом его, именно в этой, всегда внезапной и как будто недоброй, усмешке, давно заметил он в Голицыне, и оно не нравилось ему, но почему-то никогда не говорил он об этом сходстве, только смутно чувствовал в нем что-то жуткое.— А ты понял?

— Не знаю, может быть, и не понял,— покраснел Одоевский и застыдился еще больше:— я насчет философии плох, умом не понимаю многого, ну, да ведь не все же одним умом...

— Нет, Саша, тут и умом надо, тут один волосок отделяет истину от лжи, вольность от рабства. Две пропасти: сорвешься в одну — не удержишься, до дна докатишься. Надо выбрать одно из двух. Ты выбрал? Понял? А может быть, и понял, да не так?

— Не так, как кто?

— Как я, как мы с Чаадаевым.

— А может быть, и вы не так?

— Ну, значит, мы самих себя не поняли...

— А ты что думаешь? Иногда и себя самого не поймешь.

---

[1] Да приидет Царствие Твое (*лат.*).

В тот же день на Елагином острове с государем встретились.

Он ехал верхом один — только дежурный флигель-адъютант следовал издали — по лесной аллее-просеке от нового Елагинского дворца ко взморью. Остановились. Камер-юнкер снял шляпу, офицер отдал честь. Государь поклонился им с той милостивой улыбкой, с которой он один умел кланяться,— для всех одинаковой и для каждого особенной, единственной.

— Что ты?— спросил Голицын Одоевского, который смотрел вслед государю, с лицом, сияющим от радости.

— Ничего... так...— как будто опомнился тот и опять покраснел, застыдился.— Сам не знаю, что со мною делается, когда вижу его... Как посмотрел-то на нас, улыбнулся!

— Так любишь его?

Одоевский молчал, все больше краснея.

«Зачем же ты в Тайном Обществе?»— хотел было спросить Голицын, но тот сам, без вопроса, ответил.

— Если бы он только знал, чего мы хотим, то первый бы с нами был...

— Как же с нами? Против себя самого?

— Ну, да. Не пожалел бы и себя для блага отечества, отдал бы все за счастье, за вольность России. Ежели царь — отец, то как может он желать, чтоб народ, дети его были рабами. Помнишь в Писании: сыны суть свободны...

— Да ведь это не о царе, а о Боге...

— Все равно.

— Нет, не все равно...

Замолчали и посмотрели друг на друга с тем удивлением, которое слишком поспешной дружбе свойственно, как будто впервые друг друга увидели.

— За что же мы его убить хотим?— вдруг усмехнулся Голицын опять давешней жуткой усмешкой.

— Убить?— воскликнул Одоевский.— Эх, душа моя, мало мы, что ли, вздору мелем, сами на себя врем? Да если кто и вправду пойдет на убийство, то увидит лицо его, глаза, улыбку,— вот как давеча нам улыбнулся,— и рука не подымется, сердце откажет! Изверга такого нет, чтоб не полюбил его и не был бы рад сам за него умереть. Сказать не умею, а только знаешь,

как простой народ говорит: «Государь батюшка, красное солнышко!» У кого *этого* нет, тот не русский. А ведь мы русские; у нас у всех это есть, да забыли, а вспомним когда-нибудь.

— Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик; один — царя, другой — вольность,— рассмеялся Голицын:— но нельзя же царя и вольность вместе любить...

— Отчего нельзя?

— Ну, вот видишь, недаром я спрашивал давеча, так ли ты понял.

— Не то, не то...

— Нет, Саша, то самое.

Опять посмотрели друг на друга с удивлением и, как часто бывает в дружбе, почувствовали, что любят, но не знают друг друга. Да уж полно, любят ли? Не поторопились ли дружбой?

Вернулись на Крестовский, наняли лодку и выехали на взморье.

Была белая ночь, светло как днем, но краски все полиняли, выцвели; осталось только два цвета — белый да черный, как на рисунке углем: белая вода, белое небо, пустое — одна лишь последняя, прозрачная, с востока на запад тянувшаяся гряда перламутровых тучек; и черная полоска земли, как будто раздавленная, расплющенная между двумя белизнами — воды и воздуха; черная тоня, избушка на курьих ножках; черные тростники на отмелях, а дальше — все плоско-плоско, бело-бело, не отличить воды от воздуха. Тишина мертвая. Рыба всплеснет вблизи; вдали на барке топор застучит; пироскаф Берда, идущий в Кронштадт, первый и единственный пароход в России, по воде, невидимый, зашлепает колесами,— и тишина еще беспредельнее.

Бросили весла; лодка, как люлька, качаясь, баюкала.

Разговор зашел о Грибоедове.

— Когда граф Завадовский дрался с Шереметевым из-за танцовщицы Истоминой, Грибоедов был секундантом,— рассказывал Одоевский:— без него и дуэли бы не было; оба шли на мировую, да Грибоедов опять их стравил. «Для чего,— говорит,— и сам не знаю, черт меня дернул!» Шереметев упал, раненный насмерть, и заметался по снегу, а другой секундант, гусар Каверин, пьяница, но добрый малый, подбежал к нему, присел

на корточки, хлопнул себя руками по ляжкам и закричал: «Вот тебе, Вася, и репка!» Когда Грибоедов об этом рассказывал, то смеялся, знаешь, как всегда он смеется, точно сухие кости из мешка сыплются, а на самом лица нет. Тоска, говорит, на него нашла ужасная, места себе не найдет: все перед ним раненый по снегу мечется, и кровь на снегу.

Одоевский умолк, как будто задумался. Потом вдруг спросил, глядя на Голицына в упор:

— А что, князь, подумал ты давеча, как о царе говорили, что подлецом могу я сделаться, предателем?

— Нет, Саша, не за тебя я боюсь, а за нас всех. Мечтатели мы, романтики...

— «Любители того, чем от самовара пахнет»,— это он же, Грибоедов, сказал о романтиках,— рассмеялся Одоевский.— А ведь хорошо сказано?

— Да, хорошо. От угара-то этого когда-нибудь нас всех стошнит — вот чего я боюсь... Правда твоя, что много врем лишнего, болтаем зря. Ну, вот, поболтаем, помечтаем, а как до дела дойдет,— в лужу и сядем. А может, и то правда, что все еще любим царя, верим, что от Бога царь. «Благочестивейшего, самодержавнейшего»... С этим и Крови Господней причащаемся, это и в крови у нас у всех. Куда уйдешь? Сами того не знаем, забыли, а как вспомним, тут-то вот подлецами и окажемся, ослабеем, перетрусим, как малые дети, нюни распустим: «Государь батюшка, красное солнышко!»— и в ножки бух. От всего отречемся, во всем покаемся, все предадим. Унизим великую мысль. И никогда, никогда это нам не простится! Будем и мы по кровавому снегу метаться, прокричит и над нами черт отходную: «Вот тебе, Вася, и репка!»

— Ох, страшно, как страшно ты это сказал, Валерьян! Сохрани, Боже, Матерь Пречистая!— проговорил Одоевский и перекрестился набожно.

И опять замолчал, как будто задумался. Обоим хотелось еще что-то сказать, но тишина заглушила слова; только под кормою струйки звенели, звенела в ушах тишина. Лодка качалась, как люлька,— баюкала. Одоевский лег на дно и, закинув руки за голову, смотрел в небо.

— А знаешь, какой мне намедни сон приснился удивительный,— вдруг улыбнулся детски-радостно:—

сижу, будто зимою, рано, когда еще темно на дворе, в деревне у брата Володи, а он у окна, при лампе, книгу какую-то немецкую читает, философа Шеллинга, что ли. «Ну, говорю, будет глаза слепить, а скажи-ка лучше, в Бога Шеллинг твой верует?» — «Верует».— «И в Матерь Божью?» — «И в нее, говорит, верует».— «А что же, говорю, такое, по-вашему, *Пречистой Матери Покров?*» Перелистал книгу, отыскал страницу, строку и пальцем указывает: «читай», говорит. Я и прочел: «Es herrscht eine allweise Güte über die Welt. Премудрая Благость над миром царствует».— «Это, говорит, по-немецки, а по-русски: Пречистой Матери Покров. Понял?»— «Понял». И светло-светло вдруг сделалось, будто от солнца,— от чашечек зеленых с ободками золотыми: детьми, бывало, молоко из них пили, в деревне, у матушки на антресолях с полукруглыми окнами прямо в рощу березовую, всегда я эти чашечки в счастливых снах вижу: золотые, зеленые, как солнце сквозь лист березовый. И светло-светло от них, как от солнца. И будто уже не Володя, а какая-то музыка или матушкин голос шепчет мне на ухо: «верь, Саша, будет все, чего вы хотите,— и правда, и счастье, и вольность,— только верь, что над вами, надо всеми — Пречистой Матери Покров». Тут я и проснулся...

Последние струйки под кормой отзвенели; последние тучки в небе растаяли — и пусто-пусто в нем, бело-бело, как будто и неба вовсе нет, ни земли, ни воды, ни воздуха, ничего нет — пустота, белизна беспредельная. Только там, где Петербург, светлеет игла Петропавловской крепости, да чернеют какие-то точечки, как щепочки, что на отмель водой нанесло, водой унесет. Пустота, белизна остеклевшая, как незакрытый глаз покойника. И тихо-тихо, душно-душно, как под смертным саваном. Это ли Пречистой Матери Покров?

— Саша, а Саша!— позвал Голицын, только бы услышать чей-нибудь голос.

Но тот не ответил,— уснул. Может быть, опять снились ему золотые, зеленые чашечки и мама, и музыка.

А Голицыну страшно стало; хотелось крикнуть, как давеча, но голоса не было, а если б и крикнул, то, кажется, не он сам, а из него — ночной, пустой, белый черт: «вот тебе, Вася, и репка!»

Вернувшись в город, нашел у себя на квартире по-

сланного с письмом от Марьи Антоновны: она писала ему, что Софье худо, и просила его приехать немедленно.

Он понял, что она умирает.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Что Софья умирает, государь знал; и что с этою смертью порвется для него последняя связь с жизнью — тоже знал. Но, по обыкновению, скрывал свое горе от всех. Никому не жаловался, не оставлял занятий, не изменял привычек. Жил, как всегда в летние месяцы, то на Каменном острове, то в Царском и Красном, где готовились большие маневры, на которых он должен был присутствовать. Но где бы ни был, два-три раза в день фельдъегери привозили ему известия о больной, и сам он ездил к ней почти каждый день.

Большею частью сидел у ее постели молча или читал, все равно что,— она почти не слушала, лежала без движения, закинув голову, закрыв глаза, вся вытянувшись и вытянув худые руки, прозрачно-бледные, с голубыми жилками. Одеяло сбрасывала (все казалось ей тяжелым, как это бывает перед концом у чахоточных) и лежала под одной простыней, так что от маленьких ножек до едва обозначенной детски-девичьей груди видно было все тело, облитое белою тканью, как будто обнаженное, изваянное, тонкое, острое, стройное, стремительно-недвижное — стрела на тетиве, слишком натянутой.

Иногда открывала глаза и смотрела на него подолгу, все так же молча; и тогда казалось ему, что он в чем-то виноват перед нею и что надо сказать, сделать что-то, чтобы искупить вину, пока не поздно; казалось также, что она уходит от него в недосягаемую даль, погружается в глубину бездонную,— и вдруг исчезла боль,— уже не страшно, не жалко, только завидно: хотелось туда же, за нею.

В середине июня дни стояли жаркие, с грозовыми белыми тучами, с темно-яркою, влажною, точно мышьяковою зеленью трав, с душною, пахнущею мхом, болотною сыростью, с тихим, сонным ворчанием грома и бессонным трепетаньем зарниц по ночам.

Однажды, в послеполуденный час, когда он читал

ей вслух Евангелие, она открыла глаза, и по лицу ее он понял, что она хочет что-то сказать. Наклонился, подставил правое, лучше слышавшее ухо к самым губам ее, и она прошептала чуть слышным шепотом, подобным шелесту сухих ночных былинок:

— Сенокос, папа?

— Да, как бы только не пропало сено — все дожди.

— Хорошо теперь в поле,— шептала она:— лечь в траву, с головой укрыться, уснуть. Хорошо, свежо. А здесь жарко, душно, нечем дышать... а по ночам Атька...

— Какая Атька?

— Обезьянка. Разве не помнишь?

— Ах, да, как же, помню...

Говорили, думая о другом, только бы сказать что-нибудь, прервать молчание, слишком тяжелое.

— А маменька тоже больна?

Маменькой называла она императрицу Елизавету Алексеевну, он к этому привык и сам при ней называл ее так.

— Скажи ей, что снилось мне намедни, будто вместе живем где-то далеко, у моря, в Крыму, что ли...— сказала Софья.

Он часто говорил с ней о том, как, отрекшись от престола, выйдя *в отставку*, купит Ореанду, свое любимое местечко на Южном берегу, построит маленький домик у самого моря, в лесу, и там будет жить с нею и с маменькой.

— В Крыму?— удивился он:— а ведь и маменьке тоже снилось намедни, будто вместе живем в Ореанде.

Но Софья не удивилась.

— Да, вместе скоро...— проговорила так тихо, что он не расслышал.

Продолжал читать Евангелие:

«Кто бо от вас, хотяй столп создати, не прежде ли сед разчтет имение, аще имать, еже есть на совершение, да не когда положит основание и не возможет совершити, вси видящие начнут ругатися ему, глаголюще: сей человек начат здати и не може совершити»[1].

---

[1] «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для свершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить» (Евангелие от Луки, XIV, 28—30).

Остановился, посмотрел на нее: лежала, закрыв глаза, как будто спала.

Задумался, вспомнил давешний разговор свой с Голицыным об отречении от престола. Не о таких ли, как он, это сказано? Не начал ли он строить башню, положил основание и не мог совершить? Не вся ли жизнь его — развалина недостроенного здания? Мечтал о великих делах — о Священном Союзе, о царствии Божьем на земле, как на небе, а единственное малое, что мог бы сделать — дать счастье хоть одному человеку, вот ей, Софье,— не сделал. Зачем ее родил? Дал ненужную муку, непонятную жизнь, непонятную смерть? Чем искупит? Что сказать, что сделать, пока еще не поздно? Или уж поздно?

Софья открыла глаза, посмотрела на него молча, пристально, как смотрела все эти дни, и вдруг показалось ему, что она о том же думает,— все видит, все обличает,— судит его, как равная равного.

— Не надо, папенька, милый,— опять зашептала, когда наклонился он к ней:— не думай, не бойся. Все хорошо будет, все к лучшему, ты же сам всегда говоришь: все к лучшему...

В недосягаемо-далекой, чуждой улыбке была ясность и мудрость, как будто насмешка над ним: если бы над грешными людьми смеялись ангелы, у них была бы такая улыбка.

Что-то еще шептали, шелестели сухие губы, сухие ночные былинки,— но он уже не слышал, хотя слушал с усилием, нагнув свою лысую голову, вытянув шею, так что жилы вздулись на ней и выпучились бледно-голубые близорукие глаза.

«Смешные глазки, совсем как у теленочка!»—вдруг вспомнилось ей, как смеялась она маленькой девочкой, ласкаясь, шаля и целуя эти бледно-голубые глаза с белокурыми ресницами; вспомнилась также подслушанная в разговоре старших давнишняя шутка Сперанского, который однажды в письме к приятелю, перехваченном тайной полицией, назвал государя «белым теленком»: «Наш Вобан — наш Воблан». Вобан — знаменитый французский инженер, строитель крепостей (государь в то время осматривал крепости); а Воблан по-французски: veau blanc, белый теленок. Государь за эту шутку так разгневался, что в первую минуту хотел

расстрелять Сперанского. Софья не поняла тогда, за что: «Ну, да, белобрысенький, лысенький, розовенький весь, прехорошенький теленочек. Что же тут обидного?» Ей казалось иногда, что от него и пахнет молочным теленочком. Видела раз в церкви Покровской, на падуге свода, херувима золотого, шестикрылого, с ликом Тельца; он был похож на папеньку: такое же в обоих — кроткое, тихое, тяжкое, подъяремное.

Все это промелькнуло теперь в улыбке ее, полной нездешней ясностью, нездешней мудростью, когда шептала она детскую ласку предсмертным шепотом:

— Теленочек беленький!

Слов не расслышал он, но понял, и сердце заныло от жалости; чтоб не заплакать, вышел из комнаты.

На площадке лестницы увидел Дмитрия Львовича Нарышкина. Часто стоял он так, в темном углу, у двери, не смея войти, прислушиваясь, и тихонько плакал. Обманутый муж, над которым все смеялись, любил чужое дитя, как свое.

Увидев государя, сделал лицо спокойное.

— Ну, что? Как?— спросил шепотом, но не выдержал, высунул язык и всхлипнул детски-беспомощно.

Государь обнял его, и оба заплакали.

Два дня не приезжал он к Софье: много было неотложных дел. 18-го июня назначены маневры. Накануне весь день провел на даче Нарышкиных. Приехав, узнал, что больная причащалась; испугался, подумал, что конец. Но нет, все по-прежнему; только очень слаба; почти не говорила, не открывала глаз, лежала в забытьи. Когда наклонялся он к ней, спрашивала:

— Ты здесь? Не уехал? Не уезжай, не простившись. Если буду спать, разбуди...

Видно было, что ей страшно чего-то; и ему сделалось страшно. Каждый раз, уходя, думал: что, если приедет завтра и не застанет ее в живых? Сегодня страшнее, чем когда-либо. Уж не остаться ли? Не отложить ли маневров и всех прочих дел? Остаться совсем, подождать конца,— ведь уж недолго?

Но стыд, который столько раз в жизни делал его, любящего, страдающего, наружно бесчувственным,— нашел на него и теперь: неодолимый стыд, отвращение, нежелание выставлять горе свое напоказ людям; чувство почти животное, которое заставляет больного зверя

уходить в берлогу, чтобы никто не видел, как он умирает. И чем сильнее боль, тем стыд неодолимее.

Решил уехать и вернуться завтра, тотчас после маневров; утешал себя тем, что такие же припадки слабости бывали у нее и раньше, но проходили: даст Бог, и этот пройдет.

Только что решил, больная затревожилась, зашевелилась, проснулась, подозвала его взглядом, спросила:

— Который час?

— Девятый.

— Поздно. Поезжай скорее. Вставать рано,— устанешь. Нет, погоди. Что я хотела? Все забываю... Да, вот что.

Он приподнял голову ее и положил к себе на плечо, чтобы ей легче было говорить ему на ухо.

— Вы князя Валерьяна очень не любите?— заговорила по-французски, как всегда о важных делах.

— Нет, отчего же? За что мне его не любить?..— начал он и не кончил; по тому, как спрашивала, почувствовал, что нельзя лгать.

— Я его мало знаю,— прибавил, помолчав:— но, кажется, не я его, а он меня не любит...

— Неправда! Если меня, то и вас любит, будет любить,— проговорила, глядя ему в глаза тем взглядом, который, казалось ему, видел в нем все и все обличал.

— А ты что о нем вспомнила?

— Хотела просить: позовите его, поговорите с ним.

— Сейчас?

— Нет, потом...

Он понял, что «потом» значит: «когда умру».

— Сделайте это для меня, обещайте, что сделаете.

— О чем же нам с ним говорить?

— Спросите, узнайте все, что он думает, чего хочет... чего *они* хотят для блага России... Ведь и вы того же хотите?

— Кто они?

— Ты знаешь,— кончила по-русски:— не спрашивай, а если не хочешь, не надо, прости...

Да, он знал, кто *они*. Какая низость! Восстановлять дочь против отца, ребенка больного, умирающего делать орудием злодейских замыслов. Вот каковы они все! Ни стыда, ни совести. Травят его, как псы добычу,

окружают, настигают даже здесь, в последней любви, в последнем убежище.

А она все еще смотрела ему в глаза тем же светлым, всевидящим взором; и вдруг почувствовал он, что наступила минута что-то сказать, сделать, чтоб искупить вину свою,— теперь, сейчас или уже никогда — поздно будет.

— Хорошо,— сказал он, бледнея:— поговорю с ним и все, что могу, сделаю.

Радость блеснула в глазах ее, живая, земная, здешняя, как будто из недосягаемой дали, куда уходила, она вернулась к нему на одно мгновение.

— Обещаешь?

— Даю тебе слово.

— Спасибо! Ну, теперь все, кажется, все. Ступай...

В изнеможении опустилась на подушки, вздохнула чуть слышным вздохом:

— Перекрести.

— Господь с тобою, дружок, спи с Богом!— поцеловал он ее в закрытые глаза и почувствовал, как под губами его ресницы ее слабо шевелятся — два крыла засыпающей бабочки.

Подождал, посмотрел,— дышит ровно, спит,— пошел к двери, остановился на пороге, оглянулся: почудилось, что она зовет. Но не звала, а только смотрела ему вслед молча, широко раскрытыми глазами, полными ужаса; и ужасом дрогнуло сердце его. Не остаться ли?

Вернулся.

— Еще раз... Обними... Вот так!— прильнула губами к губам его, как будто хотела в этом поцелуе отдать ему душу свою.

— Ну, ступай, ступай!— оторвалась, оттолкнула его.— Не надо, полно, не бойся... Скоро вместе, скоро...

Не договорила или не расслышал он, только часто потом вспоминал эти слова и угадывал их недосказанный смысл.

Выйдя из комнаты, велел Дмитрию Львовичу, если что случится ночью, послать за ним фельдъегеря. Сел в коляску, давно у крыльца ожидавшую, и уехал в Красное.

На следующее утро проснулся поздно. Посмотрел на часы: половина восьмого, а маневры в девять. Позвонил камердинера, спросил, не было ли за ночь фельдъ-

егеря. Не было. Успокоился. Напился чаю в постели. Торопливо умылся, оделся, вышел в уборную, где ожидали бывший начальник главного штаба, многолетний друг и спутник его во всех путешествиях, князь Петр Михайлович Волконский, старший лейб-медик, баронет Яков Васильевич Виллие, родом шотландец, и лейб-хирург Дмитрий Клементьевич Тарасов, который приступил к обычной перевязке больной ноги государевой.

Вглядываясь украдкою в лица, государь тотчас догадался, что от него скрывают что-то.

— Quomodo vales?[1] — заговорил он с Тарасовым по-латыни, шутливо, как всегда это делал во время перевязки.

— Bene valeo, autocrator[2],— ответил тот.

— А на дворе, кажется, ветрено? — продолжал государь с той же притворною беспечностью, переводя взор с лица на лицо, все тревожнее, все торопливее.

— К дождику, ваше величество!

— Дай Бог. Посвежеет — людям легче будет.

И, быстро обернувшись к Волконскому, который стоял у двери, опустив голову, потупив глаза, спросил его тем же спокойным голосом:

— Какие новости, Петр Михайлович?

Тот ничего не ответил и еще ниже опустил голову.

Виллие странно-внезапно и неуклюже засуетился, подошел к государю, осмотрел ногу его и сказал по-английски:

— Прекрасно, прекрасно! Скоро совсем здоровы будете, ваше величество!

— До свадьбы заживет? — усмехнулся государь, вдруг побледнел и, все больше бледнея, посмотрел на Виллие в упор.

— Что такое? Что такое? Да говорите же...

Но и Виллие также не ответил, как Волконский. В это время Тарасов надевал осторожно ботфорт на больную забинтованную ногу государя. Государь оттолкнул его, сам натянул сапог, вскочил, схватил Виллие за руку и тихо вскрикнул:

— Фельдъегерь?

---

[1] Как здоровье? (*лат.*)
[2] Хорошо, самодержец. (*лат.*)

— Точно так, ваше величество, только что прибыл...

И с решительным видом, с каким во время операции вонзал нож, подтвердил, что уже прозвучало в безмолвии:

— Все кончено: *ее* не существует.

Государь закрыл лицо руками. Тарасов перекрестился. Волконский, отвернувшись в угол, всхлипывал.

— Ступайте,— проговорил государь, не открывая лица.

Все вышли. Думали, маневры отменят. Но через четверть часа послышался звонок из уборной. Туда и назад и опять туда пробежал камердинер Мельников, неся государеву шпагу, перчатки и высокую треугольную шляпу с белым султаном.

Минуту спустя государь вышел в приемную, где ожидали все штабные генералы, начальники дивизии, батальонные командиры, чтобы сопровождать его на военное поле. Вступив с ними в беседу, он предлагал вопросы и пояснял ответы с обычною любезностью.

«Я наблюдал лицо его внимательно,— вспоминал впоследствии Тарасов,— и, к моему удивлению, не увидел в нем ни единой черты, обличающей внутреннее положение растерзанной души его: он до того сохранял присутствие духа, что, кроме нас троих, бывших в уборной, никто ничего не заметил».

В двенадцатом году в Вильне, когда государь танцевал на балу, уже зная, что Наполеон переступил через Неман, было у него такое же лицо: совершенно спокойное, неподвижное, непроницаемое, напоминавшее маску или Торвальдсенов мрамор, ту холодную белую куклу, которую маленькая Софья когда-то согревала поцелуями.

На часах было девять, когда он сошел с крыльца и сел на лошадь.

Начались маневры. Обычным бравым голосом, от которого солдатам становилось весело, выкрикивал команду: «Товсь!» («К стрельбе изготовься!»); с обычным вниманием замечал все фронтовые оплошности: качку в теле, шевеление под ружьем, неравенство в плечах, и версты за две, в подзорную трубку,— султаны не довольно прямые; у одного штаб-офицера — уздечку недостающую, у другого — оголовие на лошади неформенное. Но вообще остался доволен и милостиво всех благодарил.

Когда маневры кончились, вернулся во дворец, отказался от полдника, переоделся наскоро, сел в коляску, запряженную четверней по-загородному, и поскакал на дачу Нарышкиных.

Кучер Илья, все время понукаемый, гнал так, что одна лошадь пала на середине дороги, и в конце, при выезде на Петергофское шоссе,— другая.

Что произошло на даче Нарышкиных, государь не мог потом вспомнить с ясностью.

Темный свет, как во сне, и незнакомо-знакомые лица, как призраки. Он узнавал среди них то Марью Антоновну, которая бросалась к нему на шею с театрально-неестественным воплем: «Alexandre!» и с давнишним запахом духов противно-приторных; то Дмитрия Львовича, который хотел плакать и не мог, только высовывал язык неистово; то старую няню Василису Прокофьевну, которая твердила все один и тот же коротенький рассказ о кончине Софьи: умерла так тихо, что никто не видел, не слышал; рано утром, чуть свет, подошла к ней Прокофьевна, видит,— спит, и отойти хотела, да что-то жутко стало; наклонилась, позвала: «Софенька!»— за руку взяла, а рука как лед; побежала, закричала: «Доктора!» Доктор пришел, поглядел, пощупал: часа два, говорит, как скончалась.

В комнате, обитой белым атласом с алыми гвоздичками, открыта дверь на балкон. Пахнет после дождя грозовыми цветами, земляною сыростью и скошенными травами. Вдали, освещенные солнцем белые, на черно-синей туче, паруса. От ветра колеблется красное пламя дневных свечей, и легкая прядь волос, из-под венчика вьющихся, на лбу покойницы шевелится. В подвенечном платье, том самом, которого не хотела примеривать, лежала она в гробу, вся тонкая, острая, стройная, стремительная, как стрела летящая.

Он прикоснулся губами к холодным губам, увидел на груди ее маленький портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, из золотого медальона вынутый,— нельзя класть золота в гроб,— и глаза его встретились с глазами князя Валерьяна Михайловича Голицына, стоявшего у гроба с другой стороны: Софья была между ними, как будто соединяла их — любимого с возлюбленным.

Но темный свет еще потемнел, дневные огни закружились зелено-красными пятнами, и захрапела, как на

дороге давеча, уткнувшаяся в пыль лошадиная морда с кровавой пеной на удилах и с глазами такими же кроткими, как у императрицы Елизаветы Алексеевны.

— Ничего, ничего, маленький отлив крови, сейчас пройдет,— услышал государь голос лейб-медика Римана, одного из двух докторов, лечивших Софью; а другой — лейб-медик Миллер — подавал ему рюмку с водой, мутной от капель.

Зубы стучали о стекло, и с виноватою улыбкою старался он поймать губами воду.

И опять едет. Туда или оттуда? Вперед или назад? И все, что было, не было ли сном? Опять равнина бесконечная, ни холмика, ни кустика, только однообразные кочки торфяных болот, да на самом краю неба, где тучи ровно, как ножницами, срезаны,— заря медно-желтая. И, кажется, он едет так уже давно-давно и никогда никуда не приедет.

— Тпру, тпру!— кричал Илья, натягивая вожжи. Коляска накренилась, едва не опрокинулась. Одна из двух лошадей, загнанных давеча, лежала на дороге. Живые испугались мертвой, взвились на дыбы, шарахались, пятились. Каркая, поднялась стая воронов с падали и полетела, черная, к желтой заре.

Илья, соскочив с козел, налаживал сбрую и вытаскивал колесо из рытвины. Заглянул в коляску: но государя не видно, не слышно. Спит?

Нет, не спит: откинулся в темный угол; лицо побледнело, исказилось от ужаса, и широко раскрытыми глазами смотрит на дорогу, где нет никого.

Вернулся не в Красное, а в Царское. Не велел о своем приезде докладывать, хотя знал, что государыня ждет и тревожится, потому что он обещал приехать.

Прошел к себе в спальню; вспомнив, что не ел с утра, почувствовал тошноту от голода; велел подать чаю. Спать хотелось так, что едва стоял на ногах, но лег не сразу, а написал два письма. Одно — к императрице (часто переписывался с нею из комнаты в комнату). Записочка в одну строку, по-французски:

«Elle est morte. Je reçois le châtiment de tous mes égarements.— Она умерла. Я наказан за все мои грехи».

Другое письмо к Аракчееву:

«Не беспокойся обо мне, любезный друг, Алексей Андреевич. Воля Божья,— и я умею покоряться ей.

С терпением переношу мое сокрушение и прошу Бога, чтобы Он подкрепил силы мои душевные. Ожидаю удовольствия с тобою видеться завтра и надеюсь, что поездка моя и предметы, коими в оной заниматься буду, рассеют несколько печальные мои мысли.

Навек тебя искренно любящий Александр».

Лег. Уже засыпал — вдруг, как от внезапного толчка, проснулся. Вспомнил о том, что видел на дороге давеча, когда стая воронов, каркая, летела, черная, к желтой заре.

Старичок, похожий на тех нищих странников, что ходят по большим дорогам, собирают на построение церквей. Лысенький, седенький, с голубыми глазками,— «бедненькие глазки, совсем как у теленочка»,— как у него самого в зеркале. Он уже видел его раз, вскоре после смерти отца, когда казалось, что сходит с ума; не узнал тогда, теперь знает: это он сам, государь, от престола отрекшийся и сделавшийся нищим-странником.

Видеть себя — к смерти. «Ну, что ж,— подумал,— ведь смерть тоже отречение, и, может быть, лучшее. Все к лучшему!»—усмехнулся с неожиданной легкостью, повернулся на привычный левый бок, положил щеку на руку и тотчас же заснул.

На следующий день отправился осматривать военные поселения вместе с Аракчеевым.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Российское воинство подвигами своими не токмо отечество, но и всю Европу спасло и удивило: да вкусит же сладкую награду»,— сказано было в манифесте об окончании войны двенадцатого года; этой сладкою наградою и были военные поселения.

Мечты о грядущем Иерусалиме, о феократическом правлении, о царстве Божием на земле, как на небе, привели к Священному Союзу в Европе и к военным поселениям в России.

«Государь иногда делает зло, но всегда желает добра»,— сказал о нем кто-то. И, учреждая поселение, желал он добра. Если ошибался, то не он один. Сперанский сочинил книгу «О выгодах и пользах военных по-

селений»; Карамзин полагал, что «оныя суть одно из важнейших учреждений нынешнего славного для России царствования»; генерал Чернышев писал Аракчееву: «Все торжественно говорят, что совершенства поселений превосходят всякое воображение. Иностранцы не опомнятся от зрелища для них столь невиданного».

И государь этому верил. Когда же доносился до него плач народа: «Защити, государь, крещеный народ от Аракчеева!» — недоумевал и решал делать до конца добро людям, не ожидая от них благодарности. «Мы, государи, знаем,— говорил,— что так же редка на свете благодарность, как белый ворон».

Выехав из Царского, провел девять дней в осмотре поселений, расположенных по берегам Волхова.

Но в первые дни путешествия поглощен был горем и старался только оглушить себя быстрым движением: что оно успокаивает, знал по давнему опыту.

Отрадна была ему также близость к Аракчееву. Как всегда в горе, искал у него помощи, жался к нему, точно испуганное дитя к матери.

Едучи с ннм в одной коляске, оправлял на нем шинель: только что повеет холодком или сыростью, укутывал его, застегивал; от комаров и мошек обмахивал веткою.

На девятый день утром переехали на пароме через Волхов. Отсюда начиналась Грузинская вотчина. Мужики, крепостные Аракчеева, поднесли госуда́рю хлеб-соль.

— Здравствуйте, мужички!

— Здравия желаем, ваше величество!— крикнули те по-военному, становясь во фронт.

— Никогда я не видывал таких здоровых лиц и такой военной выправки,— заметил государь по-французски спутникам. «Чудесные красоты поселений» начинали на него оказывать свое обычное действие.

— По всему видно, что поселяне блаженствуют,— согласился генерал Дибич, новый начальник главного штаба.

Дорога шла высокою дамбою, обсаженною березами; слева — плоская равнина, справа — мутный Волхов. День пасмурный, тихий и теплый. Небо с тесными рядами сереньких туч, как будто деревянное, из ветхих бревен сколоченное, подобно стенам новгородских

изб. Вдали — белые башни Грузина. Шоссе великолепное: колеса по песку едва шуршали.

— А что, брат, какова дорожка?

— Не дорога, а масло, ваше величество! Везде бы такие дороги — и умирать не надо! — проговорил кучер Илья, оборачиваясь к государю и лукаво усмехаясь в бороду: знал, чем угодить; знал также, что по этой чудесной дороге никто не смел ездить: чугунными воротами запиралась она, от которых ключи хранились у сторожа в Грузине; а рядом — боковая, общая, с ухабами и грязью невылазной.

Продолжали осмотр поселений Грузинской вотчины второй и третьей дивизии гренадерского корпуса. Тут порядок еще совершеннее; такая правильность, тождественность, «единообразие» во всем, что трудно отличить одно селение от другого.

Одинаковые розовые домики вытянулись ровно, как солдаты в строю, на две, на три версты, так что улица казалась бесконечною; одинаковые аллеи тощих березок, по мерке стриженных; одинаковые крылечки красные, мостики зеленые, тумбочки белые. Все чисто, гладко, глянцевито, точно лакировано.

Правила точнейшие на все: о метелках, коими подметаются улицы; о стеклах оконных — «битых отнюдь бы не было, понеже безобразие делают, а с трещинкой дозволяется»; о свиньях: «свиней не держать, потому что животныя сии роют землю и, следовательно, беспорядок делают; если же кто просить будет позволения держать свиней с тем правилом, что оныя никогда не будут ходить по улице, а будут всегда содержаться во дворе, таковым выдавать билеты; а если у такого крестьянина свинья выйдет на улицу, то брать оную в гошпиталь и записать виновного в штрафную книгу».

Все работы земледельческие — тоже по правилам: мужики по ротам расписаны, острижены, обриты, одеты в мундиры; и в мундирах, под звук барабана, выходят пахать; под команду капрала идут за сохою, вытянувшись, как будто маршируют; маршируют и на гумнах, где происходят каждый день военные учения.

«Обмундирование детей с шестилетнего возраста,— доносил Аракчеев государю,— по распоряжению моему, началось в один день, в шесть часов утра, при ротных командирах, в четырех местах вдруг; и продолжалось

таким образом, к центру, из одной деревни в другую, причем ни малейших неприятностей не было, кроме некоторых старух, которые плакали. Касательно же обмундированных детей, то я на них любовался: они стараются поскорее окончить работы, а, возвратясь домой, умывшись, вычистив и подтянув мундиры, немедленно гуляют кучами, из одной деревни в другую, а когда с кем повстречаются, то становятся сами во фрунт».

Так и теперь, завидев государя, маленькие солдатики вытягивались во фронт и тоненькими голосками выкрикивали:

— Здравия желаем, ваше величество!

— Ангелочки!— умилялся Дибич.

На улицах тишина мертвая: кабаки закрыты, песни запрещены; дозволялось петь лишь канты[1] духовные.

Внутри домов — такое же единообразие во всем: одинаковое расположение комнат, одинаковая мебель, крашенная в дикую краску; на окошке за номером четвертым — занавеска белая коленкоровая, задергиваемая на то время, пока дети женского пола одеваются.

Здесь тоже правила на все: в какие часы открывать и закрывать форточки, мести комнаты, топить печки и готовить кушанье; как растить, кормить и обмывать младенца — 36 параграфов. Параграф 25-й: «Когда мать рассердится, то отнюдь не должна давать грудей младенцу»; 36-й: «Старшина во время хождения по избам осматривает колыбельки и рожки. Правила сии должны быть хранимы у образной киоты, дабы всегда их можно было видеть».

Для совершения браков выстраивались две шеренги, одна — женихов, другая — невест; опускались в одну шапку билетики с именами женихов, в другую — невест и вынимались по жребию, пара за парою. А если кто заупрямится, то резолюция: «согласить».

— У меня всякая баба должна каждый год рожать,— говорил Аракчеев:— если родится дочь, а не сын,— штраф, и если баба выкинет, тоже штраф, а в какой год не родит, представь 10 аршин холста.

---

[1] Хвалебные песни.

Государь и спутники его восхищались всем.

— Ах, ваше сиятельство, избалуете вы мужичков!— всплеснул руками Дибич, увидев на печных заслонках чугунных амуров, венчавших себя розами и пускавших мыльные пузыри.

К обеду во всех домах подали такие жирные щи и кашу такую румяную, что генерал-майор Угрюмов, отведав, объявил торжественно:

— Нектар и амброзия!

Когда же появился поросенок жареный, то все убедились окончательно, что поселяне блаженствуют.

— Чего им еще надобно?

— Не житье, а масленица!

— Век золотой!

— Царствие Божие!

Слезы навернулись на глазах у генерала Шкурина, а деревянное лицо Клейнмихеля так преобразилось, как будто созерцал он не деревню Собачьи Горбы, а Иерусалим Небесный.

Осмотрели военный госпиталь. Здесь прекраснейшего устройства ватерклозеты изумили лейб-хирурга Тарасова.

— Отхожие места истинно царские!— доложил он государю не совсем ловко.

— Иначе здесь и быть не может,— заметил тот не без гордости и объяснил, что английское изобретение сие введено в России впервые именно здесь, в поселениях.

Аракчеев на минуту вышел. В это время один из больных потихоньку встал с койки, подошел к государю и упал ему в ноги.

Это был молодой человек с полоумными глазами и застывшим испугом в лице, как у маленьких детей в родимчике; опущенные веки и раздвоенный подбородок с ямочкой придавали ему сходство с Аракчеевым.

— Встань,— приказал государь, не терпевший, чтоб кланялись ему в ноги.— Кто ты? О чем просишь?

— Капитон Алилуев, графа Аракчеева дворовый человек, живописец. Защити, спаси, помилуй, государь батюшка!— завопил он отчаянным голосом; потом затих, боязливо оглянулся на дверь, в которую вышел Аракчеев, и залепетал что-то непонятное, подобное бреду, об иконе Божией Матери в подобии великой

блудницы, прескверной девки Настьки Минкиной, и о другой иконе самого графа Аракчеева; о бесах, которые ходят за ним, Капитоном, мучают его и не далее, как в эту ночь, задерут его до смерти; о тайных злодействах Аракчеева, «сатаны в образе человеческом», которого, однако, называл он почему-то «папашенькой».

Государь заметил, что от него пахнет водкой; как достают водку в больницах, не полюбопытствовал, только поморщился. И все немного сконфузились, как будто пробежала тень по золотому веку Собачьих Горбов.

Вошел Аракчеев и, увидев Капитона Алилуева, тоже как будто сконфузился, но сделал знак, и больного схватили, потащили в другую палату. Отбиваясь, кричал диким голосом:

— Черти! Черти! Черти вас всех задерут! И тебя, папашенька!

Государю объяснили, что это пьяница в белой горячке. Он велел Тарасову осмотреть больного и оказать ему врачебную помощь.

Сам из простого звания, сын бедного сельского священника, Дмитрий Клементьич Тарасов знал и любил простых людей. Они тоже верили ему, чувствовали, что он свой человек, и охотно отвечали на его расспросы.

Оставшись в больнице, по отъезде государя, узнал он вещи удивительные.

Капитон Алилуев, приемыш и воспитанник грузинского протоиерея, о. Федора Малиновского, по слухам, незаконный сын Аракчеева, взят был в графскую дворню, обучался мастерству живописному, а также снимке планов и черчению карт у военного инженера Батенкова. Писал одновременно, по заказу Аракчеева, святые иконы в соборе и непристойные картины в одном из павильонов грузинского парка. Был набожен, с детства собирался в монахи. Кощунственные образа считал грехом смертным. Совесть его замучила; начал пить и допился до белой горячки. Хотел утопиться; вытащили, высекли. Пуще запил и однажды в исступлении бросился на икону Божией Матери, написанную им, Капитоном, с лицом Настасьи Минкиной, чтобы изрезать ее ножом; а когда схватили его, объявил, что и живую Настьку зарежет. «Высечь хорошенько и показать»,— велел Аракчеев. Это значило: показать спину, хорошо

ли высечен. Палачи сжалились, облили ему спину кровью зарезанной курицы, как это иногда делали в подобных случаях, и этим спасли его от смерти. Но все же полумертвого после экзекуции отправили в госпиталь.

Узнал Тарасов кое-что и о военных поселениях.

Больницы прекрасные, а всюду в деревнях — горячки повальные, цинга, кровавый понос, и люди мрут, как мухи; полы паркетные, но больные не смеют по ним ходить, чтоб не запачкать, и прыгают с постели прямо в окна; ученые бабки, родильные ванны, а беременную женщину высекли так, что она выкинула и скончалась под розгами; тридцать шесть правил для воспитания детей, а мать убила дитя свое: если, говорила, отнимают дитя у матери, то пусть лучше вовсе не будет его на свете.

Чистота в домах изумительная, но чтобы приучить к ней, истребляются воза шпицрутенов. Мужики метут аллеи, а в поле рожь сыплется; стригут деревца по мерке, а сено гниет. Печные заслонки с амурами, а топить нечем. К обеду поросенок жареный, а есть нечего; один шалун из флигель-адъютантов государевых отрезал однажды поросенку ухо в первой избе и приставил на то же место в пятой: пока государь переходил из дома в дом по улице, жаркое переносилось по задворкам. Кабаки закрыты, а посуду с вином провозят в хвостах лошадиных. Все пьют мертвую, а кто не пьет — мешаются в уме или руки на себя накладывают. Целые семейства уходят в болота, *во мхи*, чтобы там заморить себя голодом.

«Спаси, государь, крещеный народ от Аракчеева!»— готов был воскликнуть Тарасов, слушая эти рассказы. Любил царя, знал доброе сердце его и не понимал, как может он обманываться так. Или прав Капитон, что тут наваждение бесовское?

А государь въехал в Грузино с тем чувством, которое всегда испытывал в этих местах: как будто усталый путник возвращался на родину; вот где все позабыть, от всего отдохнуть, успокоиться. «Я у тебя, как у Христа за пазухой!»— говаривал хозяину.

Было и другое чувство еще более сладостное: вспоминая «рай земной» военных поселений, вкушал отраду единственную, которая оставалась ему в жизни,— будучи самому несчастным, делать других счастливыми.

С этой отрадой в душе уснул так спокойно в ту ночь, как уже давно не спал.

У Аракчеева бывали бессонницы: ляжет, потушит свечу, закроет глаза, но вместо того, чтобы заснуть, начнет думать о смерти и почувствует тоску, сердцебиение, расстройство нервов и совершенную бессонницу.

Такой припадок случился с ним и в эту ночь. Долго с боку на бок ворочался; принял миндально-анисовых капель с пырейным экстрактом,— не помогло. Встал, надел серый длиннополый сюртук, вроде шлафрока, который всегда носил в Грузине — щегольства не любил, и пошел бродить по комнатам.

Искал, чем бы заняться, чтоб рассеять скуку. Проверял висевшие на стенах инвентари вещей в каждой комнате, с предостерегающей надписью: «Глазами гляди, а рукам воли не давай». Осматривал, все ли в порядке, расставлены ли вещи, как следует, не пропало ли что, нет ли где изъяна — паутины, грязи, пыли; мочил слюною платок, ложился на пол, подлезал под мебель и пробовал, чисто ли выметен пол, не потемнеет ли платок от пыли. Но пыли не было. Кряхтя и охая, подымался опять на ноги и начинал бродить.

Уставал, присаживался, перебирал лежавшие на столах презенты и сувениры; нашел стихи поэта Олина к портрету графа Аракчеева:

Как русский Цинциннат, в душе своей спокоен,
Венок гражданский свой повесил он на плуг.
Друг Александра, правды друг,
Нелестный патриот, он вечных бронз достоин.

Стихи не утешили. Просматривал счетные книги, в которые мельчайшим почерком заносились домашние расходы: когда сахарная голова куплена и на куски изрублена; сколько вышло бутылок вина, ложек постного масла в тертую редьку людям на ужин, миткалю дворовым девкам на косынки, пестряди кучерам на рубахи. Расходы непомерные: этак и разориться недолго! Лучше не думать, а то еще больше расстроишься.

Принялся читать *винные книжки*, в которых вины и штрафы записаны: кому за какую вину сколько розог. Вспомнил у дежурного мальчика незавитые волосы; записал и начал воображаемый выговор воображаемому дворецкому: «Предписываю тебе строгое за оным смотрение иметь, а то спина твоя долго заживать не будет...»

Начав говорить, не мог остановиться: ровным, гнусавым и тягучим голосом выматывал душу незримому слушателю:

— Люди должны делать все, что нужно, а если дурно будут делать, то на оное розги есть. Мне очень мудрено кажется, будто людей нельзя содержать так, чтобы все аккуратно делали...

То хныкал жалобно:

— Огорчил ты меня, старика, а всякое огорчение меня убивает и приближает к концу дней моих, к чему и готовлюсь. Знаешь мой мнительный характер, что со мною нужно обходиться ласково...

То гневно покрикивал:

— В Сибирь не сошлю, а лучше сам забью!

И повторял много раз тихим, замирающим, как будто ласковым, шепотом:

— Высечь хорошенечко! Высечь хорошенечко!

Опомнился, оглянулся, увидел, что никого нет, махнул рукою безнадежно и опять пошел бродить; не находил себе места: такая скука, что хоть плачь; стонал и охал от скуки, как от боли. Не зайти ли к Настеньке? Нет, не хочется. Кваску бы — в горле что-то смякло? Нет, и кваску не хочется. Ничего не хочется. Скука смертная, пустота зияющая, которой ничем не наполнить. С ума сойти можно. Испугался, опять принял капель, опять не помогло.

Сам не помнил, как очутился внизу, в библиотеке; тут же арсенал и застенок; кадки с рассолом, в котором мокнут свежие розги. Попробовал на языке одну, солона ли как следует.

Взглянул на корешки любимых книг, на особую полку отставленных, единственных, которые читал: «Молодой дикий или опасное стремление первых страстей».— «Дикий человек, смеющийся учености и нравам нынешнего света».— «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами».— «Великопостный конфект».— «Путь к бессмертному сожитию ангелов».— «Египетский оракул, или полный и новейший гадательный способ».— «Опыт употребления времени и самого себя»

Попробовал читать «Опыт». Нет, скучно, да и темно. Заглянул в рисунки шлагбаумов и будок; на минуту заняло; но сделалось душно, запахло от книг мышами и сыростью, от моченых розог — банным веником. Захо-

телось на свежий воздух: не полегчает ли хоть там?

Надел вязаный шарф и кожаные калоши; носил их даже в сухую погоду: неровен час, дождик пойдет, ноги промочишь, простудишься, горячку схватишь,— много ли человеку надо?

Проходя в передней мимо зеркала, увидел нечаянно лицо свое,— испугался еще больше: худ, бледен, зелен — «шкелет шкелетом». Отвернулся и плюнул с досадою.

Вышел в сад. Белая, жаркая, душная ночь. Тишина — только комары жужжат да лягушки квакают. Серая, в сером свете, зелень, как пепел. Туман, как банный пар. Березовым веником пахнет и здесь, как моченою розгою. Дышать нечем. И нельзя понять, есть ли тучи на небе,— такое оно ровное, белое, пустое: кажется, и там, в небе, как в нем, пустота зияющая, скука бездонная.

Осматривал дорожки, чисто ли выметены. Чистоты в саду требовал такой же, как в комнатах: кто бы ни прошел по аллее,— дежурный садовник заметал след метлою.

Множество памятников, надгробных плит: «Милой Дианке», «Верному Жучку», «Сын в память родителям». Похоже на кладбище, и сам он, как могильный выходец: может быть умер давно, встает из гроба, ходит по кладбищу и будет ходить так до скончания века.

Вернулся к дому. На крыльце у бокового флигеля кто-то сидел. Место глухое; тут и днем редко ходят: слева — дремучие кусты акации, справа — стена нежилого флигеля. Кто это? Серый, страшный, похожий на призрак Капитон Алилуев, сумасшедший. В сером больничном халате и белом колпаке, сидит на завалинке, высматривает, как будто ждет кого-то. Уж не его ли? «Зарежет»,— подумал Аракчеев и хотел шмыгнуть в кусты, но было поздно: тот увидел его и закивал головою, поманил пальцем. Без голоса, только по движению губ, видно было, шепчет:

— Папашенька! Папашенька!

И тихо смеется.

За углом флигеля парадное крыльцо; там часовые под окнами спальни государевой. Закричать бы, да голоса нет, побежать бы, да ноги не слушают. А тот все манит да манит, как будто знает, что он от него не уйдет.

И вдруг потянуло к нему Аракчеева. Подошел, опустился рядом на завалинку. Капитон молча глядел на него, смеялся, кивал головой,— и на белом колпаке качалась кисточка.

— Что ты, что ты здесь, Капитоша, делаешь, а?— произнес Аракчеев осторожно, хитро и ласково.

— Государя жду,— подмигнул ему сумасшедший с таким лукавством, что видно было, перехитрить его не так-то легко.

— А зачем тебе государь?

— Донос имею.

— На кого?

— На вас, папашенька!

— А как ты сюда из больницы пришел?

— Черти принесли; все черти носят, а скоро и совсем унесут, задерут до смерти.

— Ох, Капитоша, миленький, не говори лучше о них на ночь, не накликай!

— Чего накликать? И так всегда с вами. Вишь, их сколько! Бес Колотун на плече, бес Щекотун на пупе, бес Болтун на языке,— три больших, а десять маленьких Свербей Свербеичей, на каждом пальчике...

Аракчеев хотел перекреститься, но рука не поднялась.

— А за что же они тебя задерут, Капитошенька?

— За иконы бесовские: девки поганой Настьки во образе Владычицы да Аракчеева изверга во образе Спасителя. Только вы не думайте, папашенька: не меня одного — и вас. Вместе на суд предстанем!

Опять помолчали, глядя друг на друга так, что казалось, уже не один, а два сумасшедших.

— За что же ты на меня государю жаловаться хочешь?

— Будто не знаете? За кровь неповинную! За утопленных, удавленных, расстрелянных, запоротых, за детей, за жен, за стариков, за весь народ православный, за всю Россию! И за самого государя! И за мою, за мою кровь!..

Послышался стук барабана, бившего зорю вдали, на гауптвахте, и вблизи, по дороге, шаги часовых.

— Караул!— хотел крикнуть Аракчеев, но крик его был слабым шепотом.

В последний раз погрозил ему сумасшедший кулаком и вдруг пустился бежать,— замелькали только полы серого халата в сером сумраке.

— Караул!— закричал Аракчеев уже во весь голос.— Лови! Лови! Лови!

Прибежали часовые; долго не могли понять, что случилось. Наконец растолковал он кое-как. Начали искать; обыскали, обшарили все и никого не нашли. Алилуев исчез; как будто сквозь землю провалился или, в самом деле, черти его унесли.

Вернувшись домой, Аракчеев вошел в спальню, лег не раздеваясь и погрузился не то в сон, не то в обморок.

Встал поутру больной, разбитый; но никому не говорил о том, что было ночью,— должно быть, стыдился.

После утреннего чая повел государя в сад показывать новые затеи — цветники, дорожки, беседки.

Увидев кошку, подозвал дежурного мальчика-садовника: велено кошек в саду ловить и вешать, чтоб соловьев не пугали; Аракчеев был так чувствителен к соловьиному пению, что иногда, слушая, плакал. В другое время высек бы мальчика, но при гостях совестно; только взял его за ухо, ущипнул и спросил:

— Кошечка?

— Виноват, ваше сиятельство!

— А знаешь, какая разница между трутом и мальчиком?

— Не знаю.

— Ну, так я тебе скажу, дусенька: трут прежде высекут, а потом положат, а мальчика сперва положат, а потом высекут. Помни!

Спустился к пруду, сели в лодку и переправились на островок с беседкой-храмом, посвященным памяти генерал-от-артиллерии Мелессино, у которого граф начал свою карьеру. В беседке находились непристойные картины, писанные Капитоном Алилуевым, скрытые под зеркалами, которые открывались на потайных пружинах.

Хозяин первый вошел посмотреть, все ли в порядке.

— Он! Он! Он! Не входите! Зарежет!— закричал он, выбегая, в ужасе и повалился на руки государю, почти без памяти.

Гости бросились в беседку. В ней было темно от высоких деревьев, заслонявших окна. В самом темном углу, между двух зеркал, стоял кто-то; не видно было, что он там делает.

Дибич подошел, увидел посиневшее лицо, выпученные глаза и высунутый язык; протянул руку, дотро-

нулся и тотчас отдернул ее; стоявший качнулся, как будто хотел на него упасть.

— Удавился кто-то,— сказал Дибич.

— Выньте же из петли скорее!— велел государь, входя в беседку.— Осмотри-ка, Тарасов, нельзя ли в чувство привести.

Самоубийцу сняли с петли,— он висел так низко, что согнутые ноги почти касались пола,— и положили на пол. Государь наклонился и узнал Капитона Алилуева.

— Умер?

— Точно так, ваше величество,— ответил Тарасов: — должно быть, еще в ночь повесился.

— Что это?— указал государь на бумагу, которую сжимал мертвец в окоченевшей руке так крепко, что Тарасов едва мог вынуть ее, не разорвав. Запечатанный конверт с надписью: «Его императорскому величеству, секретно».

Тарасов подал письмо государю. Тот хотел передать Клейнмихелю, но подумал и сунул за обшлаг рукава.

Аракчеев не входил в беседку; сидя на крыльце, стонал, охал и пил воду из ковшика, который подавали ему солдаты-гребцы. Почти на руках снесли его в лодку и отвели домой под руки. От испуга сделалось у него сильнейшее расстройство желудка. Государь встревожился, но Тарасов успокаивал его, что болезнь пустячная, велел пить ромашку и поставить промывательное. Государь весь день не отходил от больного, ухаживал за ним, заварил ромашку и собственными руками готов был ставить клистир.

Ночью, оставшись один, распечатал письмо Алилуева; но, увидев донос на Аракчеева, не стал читать, только заглянул в начало и конец.

«Ваше императорское величество, государь всемилостивейший! Единая мысль о военных поселениях наполняет всякую благомыслящую душу терзанием и ужасом»...

А в конце:

«Военные поселения суть самая жесточайшая несправедливость, какую только разъяренное зловластье выдумать могло»...

«Нет, это не он писал, куда ему, пьянице,— подумал государь:— кто-нибудь сочинил для него. Уж не из *них* ли кто?

Они всегда и везде были члены Тайного Общества.

Взял свечу, зажег бумагу и бросил в камин.

Спал так же спокойно, как в прошлую ночь.

На следующий день назначен был отъезд государя. Аракчееву сразу полегчало, когда доложили ему, что мертвое тело Алилуева, зашитое в мешок с камнем, брошено в Волхов. Перекрестился и начал играть с Клейнмихелем в бостон по грошу: значит, выздоровел.

В центре Грузинской вотчины, в деревне Любуни, на пригорке, стояла башня, наподобие каланчи пожарной. Отсюда видно было все, как на ладони. На верхушке башни — золотое яблоко, сверкавшее, как огонь маяка, и Эолова арфа с натянутыми струнами, издававшими под ветром жалобный звук. Поселяне, проходя мимо под вечер, шептали в страхе:

— С нами сила крестная!

На башню эту пригласил хозяин гостей своих в день отъезда, чтобы в последний раз полюбоваться Грузиным.

Поднялись на вышку, уставили подзорную трубку и начали обозревать с высоты птичьего полета селенья: Хотитово, Модню, Мотылье, Катовицу, Выю, Графскую слободку. Не сельский вид, а геометрический чертеж: правильно, как по линейке и циркулю, расположенные поля, луга, сенокосы, пашни,— каждый участок за номером; прямые шоссе, прямые канавы, прямые просеки и уходящие вдаль бесконечными прямыми линиями сажени дров — каждая сажень тоже за номером. Там, где росли когда-то сосны мачтовые, теперь и трава не растет, все вырублено, выровнено, вычищено, как будто надо всем пронесся вихрь опустошающий. На лице земли — неземная скука, такая же как на лице Аракчеева.

Вспомнился Тарасову слышанный в больнице рассказ о том, как производится военная нивелировка местности: солдаты сносят целые селенья, разрушают церкви, срывают кладбища и воющих старух стаскивают с могил замертво, а старики шепчут друг другу на ухо: «светопреставление, антихрист пришел!»

Но, кроме Тарасова, все восхищались, а государь больше всех. Он готов был верить в давнюю мечту свою — распространить на всю Россию военные поселения: одинаковые повсюду деревни-казармы, одина-

ковые розовые домики, белые тумбочки, зеленые мостики; прямые аллеи, прямые канавы, прямые просеки; и везде мужики в мундирах, за сохой марширующие; везде к обеду поросенок жареный; на заслонках амуры чугунные, ватерклозеты «истинно царские». Никаких революций, никаких Тайных Обществ. Рай земной, Царствие Божие, Грядущий Сион. По Писанию: всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся; кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими.

— Любезный друг, Алексей Андреевич,— сказал государь, обнимая Аракчеева,— благодарю тебя за все твои труды.

— Рад стараться, ваше величество! Все для вас, все для вас, батюшка,— всхлипнул Аракчеев и упал на грудь государя.— Повелеть извольте — и всю Россию военным поселением сделаем...

А на Эоловой арфе струны гудели жалобно и, казалось, плачет в них душа Капитона Алилуева вместе с душами всех замученных:

— Антихрист пришел!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗАПИСКИ КНЯЗЯ ВАЛЕРЬЯНА МИХАЙЛОВИЧА ГОЛИЦЫНА

1824 года, генваря 1. «Государи Российские суть главою церкви». Изречение сие находится в акте о престолонаследии, читанном в Москве в Успенском соборе, при восшествии на престол императора Павла Первого. Разговор о том с Чаадаевым весьма примечательный. Поставление царя земного главою церкви на место Христа, Царя Небесного, не только есть кощунство крайнее, но и совершенное от Христа отпадение, приобщение же к *иному*, о коем сказано: «Иной приидет во имя свое: его примете».

1824 года, июля 2. Более года, как записки сии в Париже начаты и оставлены. Тот разговор с Чаадаевым последний. Приехавши в Россию не до записок было.

Теперь опять пишу на досуге; болезнь досужим делает. Болен, а чем — не знаю. Полковой штаб-лекарь Коссович, старичок добренький, сущая божья коровка, который пользует меня, говорит надвое: то ли меланхолия от расстройства печени, то ли скрытая горячка нервическая.

— Вам,— говорит,— надобно пьявки поставить.

— Ну что ж,— говорю,— ставьте, будут пьявки на пьявку...

Испугался он, думает, брежу.

— Как это,— говорит,— пьявки на пьявку?

— Да вы же, доктор, сами говорили давеча, что люди, одно худое во всем видящие, цирюльничьим пьявкам подобны, сосущим кровь негодную. В этом и болезнь моя. Помогите, если можете.

— Нет,— говорит,— лекарства наши от этого не пользуют: тут иное потребно лечение, духовное.

— Философия, что ли?

— Зачем философия? Светильник оной в буре бедствий человеческих озаряет менее, чем одна малая лампада перед образом Девы Святой...

— Благодарю покорно, с меня и дядюшкиных лампадок довольно: нынче постное масло дешево. Лучше уж пьявки!

Рассмеялся я; преглупый и прегадкий смех, а не могу удержаться: иной раз плакать хочу, а смеюсь.

А старичок мой рассердился и сделался похож на сердитую божью коровку. Тоже ведь мистик, тоже член Тайного Общества (не мы одни на свете). Филадельфийской церкви госпожи статской советницы Татариновой.

Июля 3. Третья неделя с кончины Софьи. Если бы я плакать мог,— и пьявок не надо бы, да вот не могу.

Софьина няня, Василиса Прокофьевна, на панихидах все чашку с водою на подоконник ставила: «Чтоб душеньке омыться было в чем»,— говорила с такою уверенностью, как бы живой умыться давала. А для нас, дряхлого дедушки Вольтера дряхлых внучков, «мнения о бессмертии души — не без некоторого мрака», как родной мой дедушка, вольтерьянин, сказывал. «Увидимся, если не сшалим»,— он же говаривал: сшалить, значит умереть. А мы, дедушкины внучки, и сшалить не умеем как следует.

Недаром, видно, Софья остерегала, что оный поганый смешок и у меня к старости будет. А чай, и теперь уже есть?

Не в Премудрую Благость, которая над миром царствует, по Шеллингу, а в *Обезьяну*, по Гольбаховой системе, веруем. «Представь себе судьбу в виде огромной обезьяны. Кто ее посадит на цепь? Ни ты, ни я. Значит, делать нечего и говорить нечего»,— писал Пушкин Вяземскому, когда у того ребенок умер. Делать нечего и плакать нечего. А смеяться можно; видеть во всем дурное, смешное и наливаться, как пьявка, черною кровью.

Сумасшедшие сами с собой разговаривают: кажется, записки сии — такой разговор сумасшедшего.

Июля 4. Письмо от тетушки; в деревню зовет. Нет, не поеду. Мне и здесь хорошо, в пустой квартире, в старом Бауеровом доме, у Прачешного моста. Окна мелом замазаны; зеркала и мёбли в чехлах; пустые комнаты, по которым ходить можно взад и вперед, а когда устанешь — о Кульмской битве [1] реляции читать на пожелтевшем листке «Сенатских Ведомостей»,— ваза в них, на столике в углу, завернута; или, на диване лежа, уткнуться носом в заплату старого чехла: столько, глядючи на нее, передумано, что заплатка сия будет мне памятна. А если жарко,— окно открыть; тогда из Фонтанки тухлою рыбою пахнет, дегтем с торцовой мостовой, которую чинят, и сосновыми дровами, что барочники возят в тачках по узеньким доскам на набережной. А иногда вдруг из Летнего сада повеет медовою свежестью лип, и старые липы покровские вспомнятся у пруда, за теплицами, где читали мы с Софьей «Людмилу» Жуковского.

Кончен, кончен путь, Людмила!
Нам постель — темна могила,
Завес — саван гробовой.
Сладко спать в земле сырой...

Сладко спать — если бы только не страшные сны. Все Атька мартышка снится, в виде той Обезьяны, о которой писал Пушкин Вяземскому; на лицо мне мохна-

[1] Кульм — селение в Чехии, под которым соединенные русские и прусские войска сразились с французами и победили их (1813).

тою шерстью навалится, душит; а тут же где-то, точно комарик, жужжит мне на ухо мой милый Саша, мой тихий мальчик: «Премудрая Благость над миром царствует».

И я смеюсь, я и во сне смеюсь; кажется, и умирать буду с этим поганым смехом.

Июля 8. Сочинитель Грибоедов живет у Одоевского. Они — друзья. А я не люблю Грибоедова. Иные — ножом, иные — пулей, иные — петлей, а он смехом себя убивает.

Я, говорят, на него похож. Не дай Бог! Неужели и у меня такой же смех,— точно мертвые кости из мешка сыплются?

Намедни читал он «Горе от ума» в большом обществе. Сел за стол, положил рукопись. А Василий Михайлович Федоров, старичок простенький, плохой сочинитель плохой драмы «Лиза, или Следствие обольщения и гордости», подошел, взял рукопись и взвесил ее на руке.

— Ого,— говорит,— тяжеленька: стоит моей «Лизы»!

Грибоедов поглядел на него из-под очков и процедил сквозь зубы:

— Я не пишу пошлостей.

Федоров сконфузился.

— Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич. Я не только не хотел вас обидеть сравнением со мной, но, право, готов первый смеяться...

— Вы над собой смеяться можете, а я никому не позволю.

— Ну, право же, я вовсе не думал...

— О, я уверен, что вы сказали не подумавши!

Хозяин видел, что дело плохо; подошел к Федорову и взял его за плечи.

— А вот мы в наказание Василия Михайловича в задний ряд кресел посадим.

— Сажайте, куда угодно, но я при нем читать не буду,— объявил Грибоедов, встал и начал ходить по комнате, куря сигарку.

Федоров краснел, бледнел, чуть не плакал, бедненький; наконец взял шляпу.

— Очень жалею, Александр Сергеевич, что невин-

ная шутка моя была причиной такой неприятности, но чтобы не лишать хозяина и гостей удовольствия слышать вашу комедию, я ухожу.

Одоевский говорит: «Узнать Грибоедова, значит полюбить». Может быть, я не люблю его, потому что себя не люблю, боюсь его как двойника своего.

Июля 9. У Одоевского завтракал. Голова разболелась. Хозяин уложил меня в своем кабинете, опустил шторы и обвязал мне голову полотенцем с уксусом. Задремал я. Проснулся от разговора в соседней комнате.

— Сочинитель Фамусова и Скалозуба, следовательно, веселый человек. Тьфу, злодейство! Да мне вовсе не весело, скучно, несносно, отвратительно. Завиваюсь чужим вихрем, живу не в себе. А время летит; в душе горит пламя, в голове рождаются мысли. Отчего же я нем, нем как гроб? Гожусь ли я на что-нибудь, умею ли писать,— право, для меня все еще загадка. Душа черствеет, рассудок затмевается; впереди темно, тоска неизвестная... Воля твоя, если это еще долго меня промучит, я никак не намерен вооружиться терпением,— пусть оно останется добродетелью тяглого скота... Саша, Саша, голубчик, ну, помоги, ради Христа, скажи, что мне делать, чем избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди...

«Вот тебе, Вася, и репка!» — вспомнилось мне словцо секунданта Каверина над убитым Шереметевым.

Жутко стало, как будто подслушал я двойника своего, который мне же обо мне рассказывал.

Одоевский утешал Грибоедова, но тот, уже не слушая, сел за клавесин и начал играть. Играл долго. Так целыми часами может импровизировать, забыв обо всем. Кажется иногда, что настоящее призвание его не литература, а музыка.

Я опять задремал и не слышал, как собрались наши. Говорили, должно быть, о делах Тайного Общества. Проснулся оттого, что музыка умолкла, и мертвые кости из мешка посыпались: Грибоедов смеялся.

— Ну, полно, господа, вздор молоть!

— Почему вздор?

— Сто человек прапорщиков хотят в России сделать революцию!

— Не сто человек, а весь народ...

— Ну, народ лучше оставьте.

Я вошел в комнату. Грибоедов сжал свои тонкие губы, посмотрел из-под очков и прибавил уже без смеха, с неизъяснимою горечью:

— Народу до нас дела нет. Он разрознен с нами навеки. Господа и крестьяне в России — двух разных племен. И каким черным волшебством это сделалось, что мы чужие между своими? Изверги, шуты гороховые, хуже, чем немцы. Петрушкины дети...

— Какой Петрушка?

— Да он же, любимчик ваш, Петр Великий, чтоб ему...

Выругался, засмеялся опять и забренчал одним пальцем по клавишам рылеевскую песенку:

Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы? [1]

— Ну, право же, господа, поедемте-ка лучше в Шустер-клуб. Сколько там портеру и как дешево! Зададим тринкену и к черту политику!

Идучи домой с Иваном Ивановичем Пущиным, напомнил я ему, как намедни Грибоедов звал нас в церковь: «В храмах Божьих,— говорит,— собираются русские люди, думают и молятся по-русски. Мы — русские только в церкви».

Пущин задумался.

— Что ж,— говорит,— а ведь это, пожалуй, и правда?

— Какая правда? Вы-то сами,— говорю,— в церковь ходите?

— Хожу.

— И за царя молитесь?

— Нет; да ведь это не главное.

— Как же не главное, когда царь — глава церкви?

— Не царь, а Христос.

— У кого Христос, а у нас царь.

— Почему у нас?

— А потому, что *государи российские суть главою церкви.*

---

[1] Песня написана К. Ф. Рылеевым в соавторстве с А. А. Бестужевым-Марлинским.

— Вы это откуда?

Я сказал, откуда. Удивился он.

— Чудно́. Как же этого никто не знает?

— Да,— говорю,— самодержавие свергаем, а на чем оно стоит, не знаем.

Помолчали.

— Так-то,— говорю,— Иван Иванович. Уж лучше в Шустер-клуб, чем в церковь. А то ведь — кощунство: что для народа — святыня, то для нас — трын-трава, по рылеевской песенке...

— Или *сухая курица*,— усмехнулся Пущин.

— Как это,— говорю,— сухая курица?

— А в Москве,— объясняет,— такой человек был: нарочно ездил в Киев, чтобы отведать мощи, и на вопрос, какого они вкуса, отвечал: «Точно сухая курица,— ни сока, ни вкуса»...

Я не понял было, а потом рассмеялся так, что задохся, а Пущин посмотрел на меня с удивлением.

— Вот именно, святые мощи, как сухую курицу, жуем!

Июля 11. Булгарин и Греч — издатели подлейших «Литературных Листков». Об этой парочке в «Сумасшедшем доме» Воейкова:

Тут кто? Гречева собака
Забежала вместе с ним:
То Булгарин забияка
С рылом мосичьим своим.

Собаки — оба, Греч и Булгарин: гадят при всех и глядят на всех невинными глазами.

— Правда, что Греч служит в тайной полиции? — спросил намедни Рылеев.

— Вздор! Он предлагал себя, да его не взяли,— ответил Булгарин.

А подвыпив, начал обнимать и целовать Греча.

— Гречик мой, Гречишечка моя, я ведь понимаю, что ты, как верноподданный, обязан доносить обо всем; но мне, старому другу, признайся, чтобы я мог принять свои меры...

— Когда будет революция, мы тебе, Булгарин, на твоих «Литературных Листках» отрубим голову! — пугает его Рылеев.

— Помилуйте, господа, за что же? Ведь я либерал, не хуже вас. Отец мой — республиканец, по прозванию Шальной, сослан в Сибирь за Польское восстание, а я Фаддеем назван в честь Костюшки...

— И все-то ты врешь, Фаддей!

— Клянусь же сединами матери!

— А вчера говорил, что мать твоя умерла?

— Ну, все равно, тенью матери!

Грибоедов называет Булгарина своим Калибаном и ласкает его с нежностью.

— Я ведь знаю, душа моя, что ты каналья, но люблю тебя за то, что ты умница.

Помирает со смеху, когда «великий сочинитель» рассказывает, как он спас Наполеона при переправе через Березину.

Намедни у Булгарина за ужином, нагрузившись Клико под звездочкой, пели мы сначала похабные, а потом революционные песни. Квартира в нижнем этаже, на Офицерской, недалеко от съезжей. Булгарин то и дело выбегал в соседнюю комнату посмотреть, не взобрался ли на балкон квартальный подслушивать.

— Я не трус, коханые, я доказал это под Лейпцигом, где ранен был...

— Куда?

— В грудь.

— А не в зад?

— Нет, в грудь, клянусь сединами матери! Я не трус, а только двух вещей на свете боюсь: синей куртки жандармской да тантиной красной юбки...

«Танта», не то теща, не то женина тетка, старая сводня, бьет его так, что синие очки приходится ему частенько носить на подбитых глазах.

С этими двумя негодяями у нас такая дружба, что водой не разольешь. Одного не хватает, чтоб и они вступили в Тайное Общество.

И как только втерлись к нам? И за что мы их полюбили? Пущин говорит, что это особое русское свойство — любовь к свинству.

Когда один приятель мой сходил с ума, то все казалось ему, что дурно пахнет; так и мне кажется все, что пахнет Булгариным.

Сорок тысяч Булгариных не разубедят меня в том, что есть у нас правда; но мы унижаем ее, себя унижая.

Грибоедов в дни юности, служа в гусарах в Бресте-Литовском, забрался однажды в иезуитский костел на хоры. Собрались монахи, началась обедня. Он сел к органу,— ноты были раскрыты,— заиграл; играл чудесно. Вдруг смолкли священные звуки и с хоров зазвучала камаринская.

Как бы и нам, начав обедней, не кончить камаринской?

Шли на кровь, а попали в грязь.

Июля 12. А из грязи — опять в кровь.

Вчера собрание у Пущина. Рылеев представлял нам кронштадтских моряков, молоденьких лейтенантов и мичманов. У них образовалось, будто бы, свое Тайное Общество, независимо от нашего.

Сущие ребята, птенцы желторотые; все на одно лицо — Васенька, Коленька, Петенька, Митенька.

— Как легко,— говорит Митенька,— произвести в России революцию: стоит только разослать печатные указы из Сената...

— Ежели,— говорит Коленька,— взять большую книгу с золотою печатью, написать на ней крупными буквами: «Закон», да пронести по полкам, то сделать можно все, что угодно...

— Не надо и книги,— говорит Петенька,— а с барабанным боем пройти от полка к полку — и все полетит к черту!

По низложении государя предлагали объявить наследником малолетнего великого князя Александра Николаевича с учреждением регенции; или поднести корону императрице Елизавете Алексеевне,— она-де, по известной доброте своей, согласится на республику; или же, наконец, основать на Кавказе отдельное государство с новой династией Ермоловых, а потом завоевать Россию. Но главное, не теряя времени, завести тайную типографию в лесах и фабрику фальшивых ассигнаций.

Я уже хотел уйти, вспомнив изречение графа Потоцкого, когда предлагали ему удить рыбу: «Предпочитаю скучать по-иному». Но Рылеев оживил собрание, произнеся речь о цареубийстве.

— Стыдно,— говорит,— чтобы пятьдесят миллионов страдали от одного человека и несли ярмо его...

— Верно! Верно! — закричали в один голос Колень-

ка, Петенька, Васенька, Митенька.— Мы все так думаем, все пылаем рвением! Надобно истребить зло и быть свободными!

— Купить свободу кровью!

— Последнюю каплю крови с веселым духом пролить за отечество!

— Как Курций [1], броситься в пропасть, как Фабий [2], обречь себя на смерть.

— Господа, я за себя отвечаю,— выскочил вдруг самый молоденький мальчик; голубые глазки, как васильки, румяные щечки с пушком, как два спелые персика, одет с иголочки,— видно, маменькин сынок.— Я готов быть *режисидом* [3], но хладнокровным убийцею быть не могу, потому что имею доброе сердце: возьму два пистолета, из одного выстрелю в него, а из другого — в себя: это будет не убийство, а поединок насмерть обоих...

А другой, постарше, точно веселую игру объяснял с такой улыбкой, которой, сто лет проживу, не забуду:

— Нет,— говорит,— ничего легче, как убить государя во дворце на выходе: сделать в рукоятке шпаги пистолетик маленький и, нагнув шпагу, выстрелить.

Взял карандашик, бумажку и нарисовал рукоятку шпаги с отверстием, в которое вкладывается пистолетик игрушечный, наподобие тех, что детям на елку дарят.

— Пулька тоже маленькая, но можно хорошенько прицелиться, прямо в глаз, либо в висок; а то сильным ядом отравить пульку,— тогда и царапины довольно, чтобы ранить насмерть.

И опять заговорили все вместе: убить одного государя мало,— надо всех. . . . .

— Всех изгубить, не щадя ни пола, ни возраста!

— Уничтожить всех без остатка!

— И самый прах развеять по ветру!

— Славные ребята! — начал хвастать Рылеев, когда они ушли.— Вот бы из кого составить *обреченную когорту*...

---

[1] По преданию, в 362 г. до н. э. на площади в Риме разверзлась пропасть, означающая, как объясняли жрецы, что отечество в опасности, которая может быть предотвращена, если Рим пожертвует своим сокровищем. Тогда юноша Марк Курций бросился в пропасть, и она после этого закрылась.

[2] Возможно, имеется в виду Фабий Руллиан, прославившийся в боях с самнитянами.

[3] Цареубийцей (франц. régicide).

— Задрав рубашонки, розгой бы их, как следует! — проворчал Каховский.— Молоко на губах не обсохло, а уже о крови мечтают...

— А вы что думаете, князь? — спросил меня Рылеев.

— Знаете,— говорю,— как называется то, что мы делаем?

— Как?

— Растление детей.

Он, кажется, не понял; по уходе моем, спрашивал всех, за что я на него сердит.

Да, растление детей. Убивать гнусно, а говорить об убийстве, зная, что не убьешь, еще гнуснее.

Убить государя ничего не стоит: в Царском Селе, на разводах, на выходах, на улице — всегда один, без караула; пожалуй, и вправду, из игрушечного пистолетика убить можно, а вот не убьем: «рука не подымется, сердце откажет».

Трусы, что ли? Нет, не трусы. В полку у нас был храбрый капитан: под картечью и ядрами — как за шахматной партией, а в спальне полотенце убирал на ночь, чтобы мертвеца не увидеть. Так вот и мы с царем: не знаем, полотенце или привидение?

И Софьин страшный сон вспоминается мне, как бросился я с ножом убить мертвого. И лицо *его*, над гробом ее,— живое, но мертвее мертвого.

Выйти из Общества — подло, а оставаться в нем с такими мыслями — еще подлее. Я не хочу святые мощи как сухую курицу жевать; не хочу растлевать детей; не хочу обедню с камаринской, кровь с грязью смешивать.

Июля 13. Объявил Рылееву, что выхожу из Общества. Он хотел все обратить в шутку, а когда увидел, что я шутить не намерен,— вспылил, объяснения потребовал, наговорил дерзостей. Я уже, было, надеялся, что кончится вызовом, но вмешался Пущин и уладил все. Да и сам Рылеев как-то вдруг затих, присмирел, замолчал и отошел от меня, опечаленный, точно пришибленный.

Мне жаль его: видит, что дела идут скверно, а все бодрится, бедняжка. «Ежели и все оставят Общество,— объявил намедни,— я не перестану полагать оное существующим во мне одном».

Может быть, он и прав: блажен, кто верует.

Июля 14. Коссович рассказывал мне о духовном Союзе Татариновой.

— Я,— говорит,— буду хранить в сердце моем ясное свидетельство, что пророческое слово Екатерины Филипповны есть дар Святого Духа Утешителя. Господь дал ей надо мною власть: немощи мои несет, питает и животворит мне. Истинно, мать моя, Богом данная. Чувствую, что в отеческий дом пришел, как дитя к матери.

Катерине Филипповне был вещий сон обо мне, грешном; велела передать свое благословение.

Он зовет меня к ней; «Одно-де маменькино словцо исцелит вас лучше всех лекарств».

Может быть, пойду. Не все ли равно куда, в Английский клуб, на ужин к Булгарину или в Филадельфийское Общество?

Июля 15. Ездили с Коссовичем к Татариновой.

На краю города, за Московской заставой, у соснового бора, три деревянные дачи; ворота на запоре, собаки на цепях, высокий тын с острыми бревнами; не то острог, не то скит. Внутри — темные переходы и лесенки. Комнаты имеют вид моленных: иконы, хоругви, паникадила, ставцы со свечами. В большой зале — изображение Духа Св., в виде голубя, на потолке, и «Тайная вечеря», во всю стену, картина академика Боровиковского.

Госпожа Татаринова приняла нас в спальне, тесной келейке, где пахло лекарствами, ладаном и мускусом. Несмотря на июль месяц, натоплено и народу множество. Кого тут только не было: тайный советник, директор департамента в бывшем дядюшкином министерстве, Василий Михайлович Попов; статский советник, директор Человеколюбивого Общества, Мартын Степанович Пилецкий; штабс-капитан Гагин; отставной поручик, племянник генерал-губернатора, мой бывший соперник по танцовщице Истоминой, Алеша Милорадович; командир лейб-гвардии егерского полка, генерал-майор Головин; и какой-то старенький приказный, Лохвицкий, в сюртучке мухояровом, так называемое кувшинное рыло; и девица Пипер, госпожи Загряжской ключница; и прачка Лукерья; и Прасковья Убогая, должно быть, нищенка с церковной паперти.

Но любопытнее всех — Никитушка. Солдат, бывший музыкант Первого кадетского корпуса, а ныне титулярный советник (в сей чин возведен за пророчества), Никита Иванович Федоров — после маменьки первый у них наставник и пророк; старичок плюгавый, в засаленном фраке, со Станиславом в петлице и медною серьгою в ухе; похож на старого будочника; малограмотен, буквы с нуждою ставит, а музыкант отменный: слагает священные гимны на голос русских песен.

Никитушка сидел у маменькиных ног на низенькой скамеечке и перебирал тихонько струны на гуслицах.

Госпожа Татаринова полулежала, больная, в спальных кожаных креслах. Лицо изможденное, сухое, смуглое; на верхней губе усики; похожа не то на старую цыганку, не то на Божью Матерь Одигитрию, чей образ тут же висел, в головах над постелью. Глаза — прозрачно-желтые,— должно быть, в темноте как у кошек светятся. Никогда я не видывал у женщин таких мужских глаз; и это мужское в женском весьма привлекательно.

Обращение светское: урожденная баронесса Буксгевден, воспитанница Смольного; говорит по-французски лучше, чем по-русски.

— Если вам не понравится в нашем Филадельфийском Обществе,— сказала мне с достоинством,— покорнейше просим только не рассказывать: мир имеет и без того довольно предметов для осуждения.

И потом — на ухо, с таким ласковым видом, как будто мы с нею старые друзья:

— Я знаю, у вас большое горе; но имейте надежду на Господа...

Я боялся, что заговорит о Софье; кажется, тотчас же встал бы и ушел. Но, должно быть, поняла, что нельзя об этом говорить, замолчала и потом прибавила:

— Сердце человеческое подобно тем древам, кои не прежде испускают целебный бальзам свой, пока железо им самим не нанесет язвы...

Наконец спросила прямо, просто, почти грубо,— но и грубость сия мне понравилась: верю ли в Бога? И когда я сказал, что верю:

— Не знаю,— говорит,— как вы, князь, а я давно заметила, что никто не отвергает Бога, кроме тех, кому не нужно, чтобы существовал Он.

— Или, быть может,— добавил я,— кому нужно, чтобы не существовал Он.

— Вот именно,— сказала, наклонив голову, как бы в знак совершенного согласия нашего.

Заметив, что я удивляюсь, как Никитушка с генералом Головиным обходится вольно, а тот с ним — почтительно, сказала по-французски, не без тонкой усмешки:

— Не надобно удивляться тому, что действия духовные открываются в наше время преимущественно среди низшего класса, ибо сословия высшие, окованные прелестью европейского просвещения, то есть утонченного служения миру и похотям его, не имеют времени предаваться размышлениям душеспасительным; наконец, при самом начале христианства, на ком явились первые знаки действия Духа Божьего? Не на малозначащих ли людях, в народе презренном и порабощенном, минуя старейшин, учителей и первосвященников?

И заключила по-русски, положив руку на голову Никитушки с материнскою нежностью:

— Непостижимый Отец Светов избрал некогда рыбарей и простых людей; так и ныне изволит Он обитать с ними. Ты что думаешь, Никитушка?

— Точно так, маменька; ручку позвольте, ваше превосходительство! Немудрое избрал Бог, дабы постыдить мудрых века сего! Как и в песенке нашей поется:

Дураки вы, дураки,
Деревенски мужики,
Ровно с медом бураки!
Как и в этих дураках
Сам Господь Бог пребывает,—

запел вдруг голоском тонким, перебирая струны на гуслицах. И прачка Лукерья, и Прасковья Убогая, и девица Пипер, и приказный, кувшинное рыло, и статский советник Попов, и генерал-майор Головин — все подпевали Никитушке.

Вспомнились мне слова Грибоедова о том, что простой народ разрознен с нами навеки; а ведь вот не разрознен же тут? Полно, уж не это ли путь к спасению, к соединению несоединенного?

— Ну что, как?— спросил меня Коссович, выходя от маменьки.

— Умна,— говорю,— чрезвычайно умна!

Старичок покачал головой.

— Вы,— говорит,— князь, приписываете уму то, что проистекает из Премудрости Божественной...

От Бога ли, не знаю, а только, и впрямь, вещая баба.

Июля 19. Повадился я к маменьке. Думал, будет смешно,— нет, жутко. И все еще не знаю, что это, мудрость или безумие, святыня или бесовщина? А может быть, то и другое вместе! Как в Никитушкиных песенках,— слова святые, а музыка такая, что плясать бы ведьмам на шабаше. А ведь и маменькины детки пляшут, *радеют* под эту музыку.

— Радение есть радование,— говорит Коссович:— как бы духовный бал, в коем сердце предвкушает тот брачный пир, где ликуют девственные души. Сам царь Давид пред Кивотом Завета плясал. Пляшем и мы, яко младенцы благодатные, пивом новым упоенные, попирая ногами всю мудрость людскую с ее приличиями. И вот что скажу вам, князь, как медик: святое плясанье, движение сие, как бы в некоем духовном вальсе, укрепляет нарочито здравие телесное, ибо производит в нас такую транспирацию, после коей чувствуем себя, как детки малые, резвыми и легкими...

Так-то все так,— а жутко.

Престранную запел намедни Никитушка песенку:

На седьмом на небеси
Сам Спаситель закатал!
Ах, душки́, душки́, душки́!
У Христа-то башмачки
Сафияненькие,
Мелкостроченные!

В словах сих, почти бессмысленных, некий священный восторг сочетался с кабацкою удалью. А у тайного советника Василия Михайловича Попова, вижу, и руки, и ноги вдруг зашевелились, задергались,— кажется, вот-вот пойдет плясать, как на Лысой горе.

И смех, и ужас напал на меня,— *хлад мраза тонка*, как говорят мистики.

Июля 20. Тайный советник Попов намедни при всех объявил:

— Я, маменька, имею намеренье сапоги чистить,

что принимаю за совершенную волю Божью,— только стыжусь...

— Чего же ты стыдишься, дружок?

— А Прошка что скажет?

— А ты, Вася, смирись,— посоветовал Никитушка.

— Были мы в субботу в баньке с Мартыном Степанычем,— продолжал Попов:— окатились холодною водою трижды, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. А Мартын Степаныч и говорит: «Дай, говорит, Вася, я тебя еще раз окачу». Взял шайку и во имя Святой Девы Марии вылил на меня воду, и тотчас же как бы разверзлась некая хлябь из внутреннего неба моего и чистейшею рекою всего меня потопила. И ощутил я, что Матерь Господа пременяет звездное тело души моей на лунное свое тело и в ночи Сатурна открывает свет премудрости...

И Мартын Степанович Пилецкий все это подтвердил в точности.

А с приказным, кувшинным рылом, тоже на днях было чудо.

— Сижу я,— говорит,— у именинника, головы купеческого, Галактиона Ивановича, и вижу, штаны у меня худы, в дырах; устыдился, хотел закрыть, а внутренний глас говорит: «не закрывай, се слава твоя!» И внезапно приятным ужасом духовным исполнился я, так что все бытие мое трепетало...

Потом о новоявленных мощах преподобного Феодосия Тотемского заговорили.

— Вот,— говорит штабс-капитан Гагин,— премудрый Невтон, соединивший математику с физикой, умер и сгнил, а наш русский простячок, двести лет в земле лежа, не сгнил...

Тут все глумиться начали над суетным разумом человеческим, коего свет подобен-де свету гнилушки.

А Попов покосился в мою сторону. Лицо у него бескровно-бледное, бледно-голубые глаза «издыхающего теленка» (как сказала одна дама о Сперанском), а огоньки ведьмины в них так и прыгают.

— Многие,— говорит,— нынче стали смердеть ученостью и самым смердением сим похваляться. Пяточки бы им поджарить, предать плоть во измождение, да спасется дух...

Уж не заболел ли я и вправду белой горячкой?

Маменька — умная женщина. Как же терпит она? Или ей на руку?

Дураки вы, дураки,
Ровно с медом бураки...

Должно, однако, согласиться, что есть в меду сем ложка дегтю.

Июля 21. Алеша Милорадович изъяснял мне таинственное учение о бесстрастном лобзании.

— Человек сообщает в оном магическую тинктуру для зачатия потомства, как некогда Адам в раю, и хотя уже ныне тинктура сия сообщается через грубый канал, но в небесной любви состояние сверхнатуральное вновь достигается, в коем деторождение происходит не по уставу естества, от плотского смешения, а от лобзания бесстрастного...

Бедный Алеша! Сверхнатуральное состояние довело его до злой чахотки.

Денщиком своим, рядовым Федулом Петровым, обращен был в скопчество, влюбился в ихнюю богородицу, девку распутного поведения, лебедянскую мещанку Катасанову, и сам едва не оскопился.

Когда узнали о том при дворе,— взбеленились наши кумушки: лейб-гвардии поручик, генерал-губернатора племянник, красавец Алеша — скопец! Дело дошло до государя, и Кондратия Селиванова, учителя скопцов, из Петербурга выслали.

Филадельфийская церковь многое от них заимствует: сама, говорят, маменька была у них на выучке. «Господи, если бы не скопчество, то за таким человеком пошли бы полки за полками!»— говорит Попов о Селиванове.

Когда кончил Алеша о бесстрастном лобзании:

— И вы,— говорю,— во все это верите?

— Верю. А что? Разве мало и в христианских таинствах уму непостижимого?

— Да, конечно... А помните, Алеша, Истомину? Помните балы у Вяземских? Как чудесно танцевали вы мазурку!

— Что,— говорит,— вспоминать безумства?

Потупился, а потом вдруг поднял глаза, улыбнулся, прежней улыбкой, и на бледных щеках зардели два алые пятнышка.

— Нет,— говорит,— я не жалею о прошлом. Вот, князь, вы говорите — балы, а знаете, раденья лучше всех балов...

Бедный Алеша!

Июля 22. Не влюблены ли и мы в маменьку, как Алеша в свою богородицу?

— Маменька! Голубица моя! Возьми меня к себе!— стонет, как томная горлица, краснорожий, толстобрюхий штабс-капитан Гагин.

— Малюточка моя,— утешает маменька,— жалею и люблю тебя, как только мать может любить свое дитятко. Да будет из наших сердец едино сердце Иисуса Христа!

А генерал-майор Головин, водивший некогда фанагорийцев в убийственный огонь Багратионовых флешей, теперь у маменькиных ног,— лев, укрощенный голубкою.

Старая, больная, изнуренная, более на мертвеца, чем на живого человека, похожая,— а я понимаю, что в нее влюбиться можно. Страшно и сладостно сие утонченное кровосмешение духовное: детки, влюбленные в маменьку.

Только дай себе волю,— и затоскуешь о желтеньких глазках, как пьяница о рюмочке.

Июля 23. Хорошо сказал о мистиках мистик Лабзин: «Господа сии заходят к Богу с заднего крыльца». И еще: «От ихней премудрости божественной — *человечиною* пахнет».

Июля 24. Никитушке было пророчество:

Что же делать? Как же быть?
Надо кровью Русь омыть.

И Прасковье Убогой тоже:

Я великого царя
В сыру землю уложу...

Должно быть, заметил Коссович, когда мне сказывал о том, как я побледнел.

Какой царь? Какая кровь?

А что, если пророчество исполнится? Соединение двух Тайных Обществ?

Июля 25. Говоря о гонениях, на Филадельфийскую церковь воздвигнутых, генерал-майор Головин объявил:

— Сам дьявол поселился ныне в сердцах всех лиц высшего правительства.

А у меня и ушки на макушке: недаром, думаю, мечтали некогда издатели «Сионского Вестника» о конституции Христовым именем.

Заговорил я о политике. Но не тут-то было — маменька остановила меня:

— Мы,— говорит,— надежды наши простираем за пределы сего ничтожного мира, где бедствия полезнее радостей, а посему и не входим ни в какие суждения о делах политических...

Из одного Тайного Общества — в другое: в одном — люди без Бога, в другом — Бог без людей; а я между сих двух безумств, как между двух огней.

Опять — *не соединено.*

Июля 26. Жара, пыль, вонь. Скверно в Петербурге летом. Из лавочек кислою капустою несет, из строящихся домов — сыростью и нужником: каменщики, где строят, там и гадят. Ломовые везут железные полосы с оглушающим грохотом. С лесов белая известка сыплется. А голубое небо — как раскаленная медь.

Брожу по улицам, точно во сне; иногда очнусь и не знаю, где я, что я, куда и откуда иду; голова кружится, ноги подкашиваются — вот-вот свалюсь.

Намедни в Шестилавочной вижу, пьяный маляр висит в люльке на веревках, красит стену, поет что-то веселое, а когда опускают люльку,— качается, вертится в ней, точно пляшет; гляжу на него и смеюсь так, что прохожие смотрят; вспомнился тайный советник Попов, под Никитушкину песенку пляшущий:

Ай, душки́, душки́, душки́!
У Христа-то башмачки
Сафьяненькие,
Мелкостроченные!

Смеюсь, смеюсь, а, пожалуй, и вправду досмеюсь до белой горячки.

Июля 27. Художник Боровиковский — старый добрый хохол, кажется, горький пьяница. Затащил меня намедни в ресторацию «пить с ромом», то есть чай с ромом.

Подвыпив, доказывал, что «Божество есть высшая красота», и что он в художестве красоте этой служит, да никто его не понимает. На Филадельфийских братьев жаловался.

— Ни одного нет искреннего ко мне и любящего, а где нет любви, там все ничто. Да вот хоть Мартына Степановича взять: сей господин Пилецкий, как пилой, пилит сердце мое, отчего прихожу в крайнее уныние и безнадежность. А тайный советник Попов...

Тут рассказал он такое, что не знаю, верить ли; а вспоминаю желтенькие глазки, что в темноте как у кошки светятся,— и, пожалуй, верить готов.

Дочь Попова, Любенька, пятнадцатилетняя девочка, чувствует омерзение к Филадельфийским таинствам и маменьку в глаза ругает старою ведьмою, а кроткий изувер Попов, полагая, что дочь его одержима бесами, для изгнания оных, истязает ее, запирает в чулан, морит голодом и сечет розгами так, что стены чулана обрызганы кровью,— того и гляди, засечет до смерти. И все это, будто бы, по приказанию маменьки, полученному от Бога.

Без Бога — цареубийство, с Богом — детоубийство; от крови ушел я и к крови пришел. Несоединенного соединения, двух Тайных Обществ основание единое — кровь.

Нет, тут уж не *человечиной* пахнет.

Белая горячка! Белая горячка!

Полно, будет с меня. Пока не поздно — бежать.

Июля 28. Нельзя бежать, надо испить чашу до дна, понять чужое безумие, хотя бы самому рассудка лишиться.

Алеша Милорадович поведал мне учение скопцов о Царе-Христе.

Кондратий Селиванов есть государь император Петр Третий; он же второй Христос. Царь над всеми царями и Бог над всеми богами; вскоре воцарится на российском престоле, и весь мир признает его Сыном Божиим.

Так вот что значит «государи российские суть главою церкви»! Вот кого хотели мы убить из игрушечного пистолетика! Это уже не полотенце, которое привидением кажется, а оно само.

Что в парижских беседах с Чаадаевым видели мы

смутно, как в вещем сне, то наяву исполнилось; завершено незавершенное, досказано недосказанное, замкнут незамкнутый круг.

Бежать от этого — бежать от истины.

Я попросил Алешу сводить меня к скопцам.

Июля 31. Был у скопцов. Спасибо дядюшке, Александру Николаевичу Голицыну. Они считают его своим благодетелем, и меня, как родного, приняли.

— Ну, князенька, да ты никак *приведен?* — сказал мне уставщик ихний, Гробов.

«Приведен» — значит обращен в скопчество.

Когда же я от сей чести отказался, он усмехнулся лукаво.

— Я сквозь тебя вижу, ваше сиятельство; вам не скрыть, не стаить, за спиной не схоронить: вы, благодетели наши, того же хотите...

— Чего мы хотим?

— А чтоб Господь на земле самодержавно царствовал.

Августа 1. На Васильевском острове, на углу 13-й линии и Малого — трактир купца Ананьева; в нижнем этаже заведение или, попросту, кабак, а в верхнем — горницы «чистые», хотя тоже довольно грязные. В одной из них происходят беседы наши.

Солнце бьет в окна, мухи жужжат. На столе — самоварище; пар такой, что запотело зеркало. Скопцы любят чай: за одну беседу выпивают самоваров полдюжины; а когда распарятся, пахнет от них потом,— запах, напоминающий выхухоль. Лица — желтые, сморщенные, точно водянкой раздутые. Жутко мне было сначала, а потом ничего, привык. Люди как люди; без бород, без усов и без прочего, но не без ума. Природные философы.

Еще бóльшая здесь демократия, чем у маменьки. Сам хозяин трактира, купец Ананьев, Милютин, Ненастьев, Солодовников — все миллионщики,— и тут же саечный разносчик, мещанин Курилкин; беглый солдат артиллерийского гарнизона, фейерверкер Иван Будылин; рядовой Федул Петров, тот самый, что обратил Алешу в скопчество; и канцелярист Душечкин, во фраке, с медалью 12-го года; а самая важная особа — при-

дворный лакей Кобелев. Сослан в Соловецкий монастырь, бежал оттуда и проживает в столице по фальшивому паспорту. Старичок слепенький, глухенький; шамкает невразумительно. В Ропше был в 1762 году и «своими глазами видел все». Свидетельствует, что Кондратий Селиванов есть государь император Петр Третий.

Мы с Алешею сидим на диване, скопцы на стульях, по стенке, а посередине комнаты уставщик Гробов читает наизусть, как дьячок, «Страданий света истинного государя батюшки оглашение»— повесть о том, как российский самодержец «пошел волей на страды».

Сын пренепорочной девы, императрицы Елизаветы Петровны, воспитан и оскоплен в Голштинии. Супруга его императрица Екатерина Вторая, предавшись *лепости* — похоти, задумала убить мужа, когда узнала, что он неспособен к сожительству брачному. Но тот бежал из Ропшинского дворца в платье убитого за него часового. В Москве схвачен обер-полицеймейстером Архаровым, бит кнутом и сослан в Сибирь на каторгу, где скован кандалами поножно с разбойником Иваном Блохою, первым исповедником Сына Божиего. Опять бежал; укрывался в падежной яме, во ржи, в подполье, в свином корыте. «Так было мне, Богу Всевышнему, небо — свиное корыто»,— говорит искупитель; и опять схвачен: шейку железом оковали, ротик рвали, били плетьми, окровянили рубашечку, из тюрьмы в тюрьму волочили. «Я,— говорит,— сто тюрем обошел и вас, детушек, нашел».

— Так страдал творец от твари!— заключает Гробов, и слушатели все вздыхают:

— Столько-то наш государь-батюшка изволил страдать, а мы за него не хотим!

От умиления плачут и еще больше потеют,— такая в воздухе выхухоль[1], что мне почти дурно.

А из кабака снизу пьяные песни доносятся. «У меня-де, отца, много детушек еще за кабаками валяется, а мне и пьяниц-то жаль!»— говорит искупитель.

Уставщик продолжает читать «Оглашение» и открывает последнюю тайну Царя-Христа. Белый Царь — значит *убеленный*, оскопленный:

---

[1] Здесь: вонь.

Как Христова пелена,
Наша плоть убелена.

«Ныне-де порфира царская — от крови алая, но кровью Агнца убелится паче снега,— и тогда и будет Белый Царь. Белым станет красное солнышко,— и весь мир убелится».

«И тогда,— говорит искупитель,— соберу я всех детушек под единый кров. И вся земля мне поклонится; все цари земные повергнут скипетры и венцы к стопам моим, и будет царствие мое на земле, как на небе».

Безумство, бред,— а что-то знакомое слышится: не мечта ли императора Александра Благословенного — феократия, царство Божье, монаршею волей объявленное,— Священный Союз?

И еще иная мечта (об этом никто не знает, а я слышал от Софьи) — отречение государя от престола — не те же ли *страды?* Не мечта ли всей России — страдающий царь, страдающий Бог?

Августа 2. «В русском царе — сам Бог Саваоф и с ручками, и с ножками»,— говорят скопцы и смотрят невинно, как дети. Тоже растление детей.

Кто это сделал? Кто виноват?

Не всей ли России вина — на малых сих, и не даст ли ответ за них Богу вся Россия?

Августа 3. Намедни беглый солдат Иван Будылин показывал старинный серебряный рубль и полтину:

— Знаете,— говорит,— детушки, чьи портреты?

— Знаем: батюшкин и матушкин.

И, крестясь, целовали на рубле изображение Петра Третьего, а на полтине — Елизаветы Петровны,— Христа и Божьей Матери.

Августа 4. Оскопляют себя, лишают естества мужского, дабы пламенеть любовью женственной к Царю. Жениху единому.

Августа 5. Не все у них бред, не все сказка — есть и быль.

В 1805 году, осенью, перед Аустерлицким походом, император Александр I посетил Кондратия Селиванова, долго беседовал с ним наедине, и тот будто бы предсказал ему неудачу похода.

О свидании том в ихних песнях поется:

Как во Питере, во граде,
Чудеса тут претворились:
Не два солнца сокатились,—
Пришел явный государь
Ко небесному в алтарь.

«Я всего отрекся и все Алексаше отдал»,— говорит искупитель.

У дядюшки моего, министра, видел я секретную записку Магницкого, поданную государю в прошлом 1823 году: *План воспитания народного*. «В России в основное начало народного воспитания должно положить две религии — первого и второго величества». Слова сии тогда же, у дядюшки, я выписал. И далее: «Верный сын церкви православной истинным помазанником, Христом Божиим, не может признать никого, кроме Помазанного на царство церковью православною».

Так вот что значит *религия двух величеств:* одно величество — Христос, Царь Небесный; другое — Христос, царь земной, самодержец российский;

Пришел явный государь
Ко небесному в алтарь.

Завершено незавершенное, досказано недосказанное, замкнут незамкнутый круг.

Августа 6. Алеша Милорадович достал у придворного лакея Кобелева прожект скопца-камергера, статского советника Алексея Михайловича Еленского об учреждении в России феократического образа правления. В 1804 году, незадолго до свидания «двух величеств», прожект подан государю через товарища министра юстиции, Николая Николаевича Новосильцева.

Для успешной борьбы с Наполеоном камергер Еленский предлагал учредить *Божественную Канцелярию* из православных иеромонахов и скопцов-пророков. Иеромонахи должны быть учеными, а пророки — «простячками», потому что «вся благодать в простячках». По одному иеромонаху с пророком на каждый военный корабль и в каждую дивизию действующей армии, дабы секретно пророческим гласом совет предлагать. Сам камергер Еленский с двенадцатью пророками обязан всегда находиться при главном военном штабе: «а наш

Настоятель Богодухновенный Сосуд (Кондратий Селиванов) — при лице самого государя императора». Когда все это будет исполнено, то «и без великих сил военных победит Господь всех врагов и защитит возлюбленную Россию Свою, да познает весь мир, яко с нами Бог».

Камергер Еленский заточен в Суздальскую крепость, а через десять лет прожект исполнен, учреждена, под видом Священного Союза, Божественная Канцелярия.

Августа 7. Видел Рылеева издали на улице.

Как давно, как далеко, точно в мире ином!

Я перешел на другую сторону, как будто испугался, застыдился. Чего же? Разве я в чем виноват перед ними и разве не совсем ушел от них?

А как бы им надо знать то, что я теперь знаю. Если бы поняли! Да нет, не поймут.

Августа 8. На раденьи у скопцов — с шести часов вечера до шести утра. Шатаюсь, как пьяный; горячка, должно быть, начинается. Ну что ж, слава Богу! Надо же, чтоб все это чем-нибудь кончилось.

Горний Сион — дом купца Солодовникова, в Хлебном переулке, Литейной части, у Лиговки, одноэтажный, деревянный, окруженный садом, с горенкой вверху, где жил искупитель. Над дверями горенки золотыми буквами: *Святый Храм.* Стены выкрашены небесно-голубою краскою; потолок расписан херувимами; на полу ковер с вытканными ангелами и архангелами. Высокое ложе с кисейным пологом и золотыми кистями. Здесь, на пуховиках, как на облаках небесных, возлежал некогда царь-батюшка, сам Бог Саваоф. Тут же на стене — портрет его: древний старик, похожий на бабу; на голове и бороде волосы тонкие, редкие; седина с желтизной; острижен по-крестьянски. Одет в богатый левантиновый шлафрок. На коленях белый, с голубыми и красными цветочками, платок — «Божий покров». Скопцы прикладываются к портрету, как к образу, крестясь и приговаривая: «Здравствуй, государь-батюшка, красное солнышко!» Многие чувствуют при сем теплоту, как от живого тела, и благоухание.

Раденье происходило внизу, в двух больших горницах с гладким липовым полом; одна — для мужчин, другая — для женщин. Комнаты разделены узким про-

ходом с двумя широкими и низкими, почти вровень с полом, окнами-дверьми, одно против другого — в мужскую половину и в женскую. Здесь ставилось высокое ложе царское, с коего батюшка благословлял радеющих.

Мужчины в длинных белых рубахах-саванах; женщины в белых сарафанах сидели на лавках чинно; в левой руке — белый платок, а в правой — зажженная восковая свеча; ноги босы.

Среди женщин — та самая лебедянская мещанка, девица Катасанова, матушка Акулина Ивановна, богородица, в которую влюблен Алеша. Красавица, а по лицу видно, что могла сделать то, что о ней говорят: девке Фекле из ревности выжгла сосцы раскаленным железом, «до косточки».

Запели голосами протяжными, глухими, как бы далекими:

Царство, ты царство, духовное царство,—

песню, коей всегда начинается раденье.

В мужской половине на середину комнаты вышел старичок благообразный, на скопца непохожий, отставной солдат инвалидной команды, Иван Плохой, вестник от заточенного в Суздале государя-батюшки. Все встали, крестясь обеими руками (птица не летает об одном крыле, а молитва есть полет белого голубя); поклонились ему трижды. Он ответил земным поклоном и начал раздавать из кулька батюшкины гостинцы: от царского стола корочки, сухарики, жамочки, финифтяные образки и «части живых мощей» — ладанки с волосами и обрезками ногтей, пузырьки с водою, в которой батюшка мыл ноги, и лоскутки его, государевых, подштанников. По тому, как принимаются дары сии, видно, что он для них воистину Бог, «и с ручками и с ножками».

Потом громким голосом, так что слышно было в обеих горницах, вестник проговорил слова, которые велел сказать батюшка:

— «Я,— говорит отец,— весел и только телом в неволе, а духом всегда с вами, детушки! Не оставлю вас; вы мои последние сироты!»

Дальше старичок от умиления говорить не мог — заплакал, и все начали плакать. Плач перешел в вопль, в рыдание и в песню, пронзительно-унылую, подобную тем, коими причитают бабы в деревнях над покойником:

Ах, ты, свет, наше красно-солнышко,
Государь ты наш, родимый батюшка!
Укатило наше красно-солнышко,
Ты во дальнюю сторонушку!

Расстройство ли нервов, действие ли звуков сих, хватающих за сердце, но я едва удерживался от слез. Как бы истина во лжи мне слышалась: все та же молитва — adveniat regnum tuum,— из преисподней возглашенная.

Наконец рыдание стихло, и зашептали все друг другу на ухо тайную весть:

— Батюшка родимый от нас недалече, из темницы выведен и скоро явится...

— Явится! Явится!— пронесся радостный шепот в толпе, как в лесу весенний шум.

Лица просветлели, и вдруг плясовая, веселая песня грянула:

Как у нас на Дону,
Сам Спаситель во дому!

Пели и хлопали в ладоши, ударяли себя по коленям, по ляжкам; топали ногами в лад и тяжело, отрывисто дышали, все враз, как один человек.

Как у нас иа Дону,
Сам Спаситель во дому
И со ангелами,
Со архангелами.

Вдруг смолкли, и в тишине зазвенел женский голос, чудесный — сама Каталани позавидовала бы; то пела Катасанова:

Мой сладимый виноград —
Паче всех земных отрад.
Сокол с неба сокатнся,
Дух небесный встрепенися!

Мороз пробежал у меня по спине; раскаленное железо, коим сосцы у девки Феклы выжжены, послышалось мне в этом голосе.

И опять все голоса слились торжественно, дико и грозно, как голоса налетающей бури:

Претворилися такие чудеса,
Растворилися седьмые небеса,
Сокатилися златые колеса,
Золотые, еще огненные...

И вдруг что-то покатилось, закружилось, белое. Трудно было поверить, что это человек: ни лица, ни рук, ни ног — только белый вертящийся столб, как столб снега в метели, а там и другой, и еще, и еще, и еще — вся комната наполнилась белыми вихрями. Рубахи-саваны, вздувшись от воздуха, образовали эти столбы. Вертятся, вертятся, вертятся — и ветра вой, свист, визг, как от снежной бури в степи.

Я глядел, и голова у меня кружилась; иногда забывался, как будто терял сознание, и казалось мне, что вместе со всеми лечу и я; иногда опоминался и видел, как плясуны, изнеможенные, остановившись, выжимали мокрые от пота рубахи, вытирали полотенцами лужи пота на полу, и знакомый острый запах душил меня, как выхухоль; но тотчас же опять забывался я.

Испытывал чувство неизъяснимое: сквозь ужас — восторг, подобный тому, который я испытывал уже раз, много лет назад, когда на Лейпцигском поле, перед сражением, мимо нашей дивизии проскакал на коне государь император, и с пятидесятитысячною громадою войск кричал я «ура!» и готов был, умирая, сказать царю моему, Богу моему: «Здравствуй, государь-батюшка, красное солнышко!»

Тогда — красное, а ныне — белое. И с белой метелью к белому солнцу лечу...

Сентября 9. Возобновляю записки сии через месяц, в Царском Селе, в Китайском домике, куда перевез меня дядюшка.

Я был болен, дней десять лежал без памяти, едва жив остался. Поправляюсь медленно, но все еще слаб.

Дни тихие, теплые, точно весенние. Желтые листья кружатся, как золотые бабочки; паутинки летают осенние в хрустально-чистом воздухе; темно бледнеют астры, ярко темнеют георгины печальные. А из голубого неба журавлей невидимых крики доносятся, как будто зовут они в страну, откуда путник не возвращается.

Сентября 10. Царское Село опустело. Государь уехал 16 августа в восточные губернии. Императрица Елизавета Алексеевна живет во дворце одна, ее почти не видно и не слышно.

Государь перед отъездом обо мне спрашивал дядюшку, желал видеть меня и, когда узнал, что я болен, послал ко мне лейб-медика Штофрегена, который, говорят, спас мне жизнь: Коссович залечил бы до смерти. Так вот отчего был так заботлив дядюшка: не ему, а государю обязан я спасением жизни.

Штофреген говорит: «Скоро молодцом будете». Да, тело здорово, жив,— а жить нечем.

Сентября 12. Николай Михайлович Карамзин — мой сосед по Китайскому домику. Мы с ним знакомцы давние: встречались у Олениных и Вяземских. Дядюшка поручил меня заботам Катерины Андреевны Карамзиной; она ко мне добра; Николай Михайлович тоже: знает, конечно, и он о государевой милости; намекает на камергерство мое в скором будущем.

Милый старик — весь тихий, тишайший, осенний, вечерний. Высокого роста; полуседые волосы на верх плешивой головы зачесаны; лицо продолговатое, тонкое, бледное; около рта две морщины глубокие: в них — «Бедная Лиза» — меланхолия и чувствительность. Смеяться не умеет: как маленькие дети, странно и жалобно всхлипывает; зато улыбка всегдашняя,— скромная, старинно-любезная,— так теперь уже никто не улыбается. Орденская звезда на длиннополой бекеше, тоже старинной; и пахнет от него по-старинному, табачком нюхательным да цветом чайного деревца. Тихий голос, как шелест осенних листьев.

Гуляем в парке; Штофреген позволил мне прогулки недолгие. Шагами тихими и ровными ходим, оба опираясь на палочки, как старики-ровесники.

Царскосельские кущи в багреце и золоте осени: бледные мраморы статуй, как бледные призраки, желтые листья, под ногами шуршащие; лебединые клики с туманных озер в наступающих сумерках — все наводит ту меланхолию сладкую, коей некогда был Карамзин певцом столь пленительным.

А когда вижу императрицу издали, в вечерней тени, как тень, проходящую, то кажется,— все мы трое — тени, отошедшие в царство теней, в безмолвный Элизиум.

Сентября 18. Жизнь Карамзина единообразна, как маятника ход в старинных часах английских. Утром

работа над XII томом «Истории Государства Российского». «В хорошие часы мои,— говорит,— описываю ужасы Иоанна Грозного». Потом — прогулка пешком или верхом, даже в самую дурную погоду: «После такой прогулки,— говорит,— лучше чувствуешь приятность теплой комнаты». Обед непременно с любимым рисовым блюдом. Трубка табаку, не больше одной в день. Нюхательный французский — всегда у Дазера покупается, а чай с Макарьевской ярмарки выписывается, каждый год по цибику. На ужин — два печеных яблока и старого портвейна рюмочка.

Катерина Андреевна еще не старая женщина: прекрасна, холодна и бела, как снежная статуя, настоящая муза важного историографа. Когда благонравные детки собираются вокруг маменьки вечером, за круглым чайным столом, под уютною лампою, и она крестит их перед сном: «bonne nuit, papa! bonne nuit, maman!» [1]— залюбоваться можно, как на картинку Грезову. Потом жена или старшая дочь читает вслух усыпительные романы госпожи Сюза́. Николай Михайлович садится спиной к лампе, сберегая зрение, и в чувствительных местах плачет. А ровно в десять, с последним ударом часов, все отходят ко сну.

— Лета и характер,— говорит,— склоняют меня к тихой жизни семейственной: день за день, нынче как вчера. Усердно благодарю Бога за всякий спокойный день.

— Ваше превосходительство,— говорю,— вы мастер жить!

А он улыбается тихой улыбкой.

— Счастье,— говорит,— есть отсутствие зол, а мудрость житейская — наслаждаться всякий день, чем Бог послал. В тихих удовольствиях жизни успокоенной, единообразной хотел бы я сказать солнцу: «остановись!» Теперь главное мое желание — не желать ничего, ничего. Творца молю, чтоб Он без всяких прибавлений оставил все, как есть...

Может быть, он и прав, а только все мне кажется, что мы с ним давно уже умерли и в царстве мертвых о жизни беседуем.

---

[1] Спокойной ночи, папа! Спокойной ночи, мама! (*франц.*)

Сентября 19. Золотая осень кончилась. Дождь, слякоть, холод. Осенний Борей шумит в оголенных ветвях, срывает и гонит последний желтый лист.

У Катерины Андреевны флюс; у Андрюши горло подвязано; у маленькой кашель — не дай Бог, коклюш. Николай Михайлович на ревматизмы жалуется, брюзжит:

— Повара хорошего купить нельзя, продают одних несносных пьяниц и воров. Отослал намедни Тимошку в полицию для наказания розгами и велел отдать в рекруты.

Я молчу. Он знает, что я решил отпустить на волю крестьян, и не одобряет, хочет наставить меня на путь истины.

— Не знаю,— говорит,— дойдут ли люди до свободы гражданской, но знаю, что путь дальний и дорога не гладкая.

Я все молчу, а он смотрит на меня исподлобья, нюхает табак и тяжело вздыхает.

— Бог видит, люблю ли человечество и народ русский, но для истинного благополучия крестьян желаю единственно того, чтобы имели они добрых господ и средства к просвещению.

Встал, подошел к столу, отыскал письмо к своим крестьянам в нижегородское имение Бортное и, как будто для совета с Катериной Андреевной, а на самом деле для моего наставления, прочел:

— «Я — ваш отец и судия; я вас всех люблю, как детей своих, и отвечаю за вас Богу. Мое дело знать, что справедливо и полезно. Пустыми просьбами не докучайте мне, живите смирно, слушайте бурмистра, платите оброки, а если будете буянствовать, то буду просить содействия военного генерал-губернатора, дабы строгими мерами принудить вас к платежу исправному».

И в заключение приказ: «Буянов, если не уймутся, высечь розгами».

А вечером над романом госпожи Сюза́ опять будет плакать.

Сентября 20. Хвалит Аракчеева:

— Человек государственный,— заменить его другим не легко. Больше лиц, нежели голов, а душ еще меньше.

Бранит Пушкина:

— Талант, действительно, прекрасный; жаль, что нет мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия. Ежели не исправится,— будет чертом еще до отбытия своего в ад.

Октября 10. Опротивел мне Китайский домик. Иногда хочется бежать куда глаза глядят от этого милого старика, от любезной улыбки его и прилизанных височков, от белоснежной Катерины Андреевны и благонравных деток, от черешневой трубки (не больше одной трубки в день) и макарьевских цибиков чая, от слезливых романов госпожи Сюза́ и писем бурмистру о розгах, и двенадцати томов «Истории», в коих он —

Доказывает нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Николай Михайлович, кажется, знает, что я — член Тайного Общества, и душу у меня выматывает разговорами о политике.

— Основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание. Не так ли?

Я соглашаюсь, а он продолжает:

— Я хвалю самодержавие, а не либеральные идеи, то есть хвалю печи зимою в северном климате. Свободу нам дает не государь, не парламент, а каждый из нас самому себе с помощью Божьей. Я презираю либералистов нынешних и люблю только ту свободу, которую никакой тиран у меня не может отнять...

Я опять соглашаюсь, а он опять продолжает:

— Пусть молодежь ярится; мы, старики, улыбаемся: будет чему быть — и все к лучшему, когда есть Бог. Моя политика — религия. Не зная для чего, знаю, что все должно быть, как есть...

А я молчу, молчу,— мне все равно, только бы отпустил душу на покаяние.

Но иногда кажется, что этот старик, милый, умный, добрый, честный, опаснее самых отъявленных злодеев и разбойников. Если погибнет Россия, то не от глада, труса и мора, а от этой тишайшей мудрости: все должно быть, как есть.

Октября 13. Николай Михайлович любит жить на даче до первого снега. Вот и дождались: сегодня зареяли белые мухи, а к вечеру повалил снег хлопьями и на черную землю опустился белым саваном. Все звуки заглохли, как под мягкою подушкою; только откуда-то далекий-далекий, точно похоронный, доносится колокол.

Сижу у камелька, гляжу на пепел гаснущий и вспоминаю о том, что было в жизни,— как, должно быть, вспоминают мертвые.

Я знал когда-то, что *все не должно быть, как есть;* я и теперь знаю, что те, от кого я ушел, члены Тайного Общества, правы правотою вечною перед людьми и перед Богом. Белой горячкой, которой больна вся Россия, мне надо было самому переболеть, чтобы это узнать; зато знаю теперь, как никогда еще не знал, что правы они. И пусть все, что делают,— безумство, ничтожество, кровь и грязь: но все, чего хотят,— истина, и сейчас для России иной истины нет, нет иного спасения от буйного бреда белой горячки и от оной тишайшей мудрости: все должно быть, как есть. И пусть их подвиг не свершенье, а только возвещенье, пророчество, но если не будет оно услышано,— погибнет Россия.

Да, все это знаю, как знают мертвые. Я изменил, ушел от крови и грязи. Вот и чист,— чист и мертв.

Черная земля под белым саваном, тишина могильная, похоронный колокол. Конец всему: «не зная для чего, знаю, что все должно быть, как есть».

Октября 14.

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла.
О, друг, я все земное совершила:
Я на земле любила и жила.
Нашла ли их, сбылись ли ожиданья?
Без страха верь: обмана сердцу нет;
Сбылося все: я в стороне свиданья,
И знаю *здесь*, сколь ваш прекрасен свет.
Друг! на земле великое не тщетно!
Будь тверд, а здесь тебе не изменят.
О, милый, здесь не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.

Стихи Жуковского. Зачем я их выписал?

Я думал, Софья хочет, чтоб я ушел из Тайного Общества, и когда уйду, она вернется ко мне. Но вот не вернулась. И мне теперь кажется, что, уходя от них, я от нее ушел.

Октября 15. Что это было? Сон, призрак, виденье — не знаю. Знаю только, что было. Исполнила она свое обещание предсмертное: «Всегда с тобою, и оттуда приходить буду».

Проснувшись, я плакал от радости. Отчего эта радость, не помню; помню только, что Софья велела мне вернуться к *ним*, мои же слова мне напомнила: «Ничего не сделают, никого не спасут, только себя погубят, а все-таки правда Божья у *них*. И пусть недостоин я, пусть беру не по силам, а от них не уйду...»

Только теперь понял я, что эти слова значат. И пусть будет опять страх, смех, уныние, отчаянье, кровь и грязь, но того, что понял, я уже никогда не забуду.

Друг! на земле великое не тщетно!
Будь тверд, а *здесь* тебе не изменят.
О, милый, здесь не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.

Опять могу плакать, могу молиться, как сегодня я с нею молился.

«Сохрани, помоги, помилуй нас всех, Господи! Спаси, Матерь Пречистая!»

Октября 16. Переехал в Петербург, к Одоевскому. Сказал Пущину, что хочу вернуться в Тайное Общество: примут ли? не считают ли изменником? Он молча обнял меня и поцеловал, как брат.

Октября 17. Видел всех. Обрадовались мне. Рылеев кинулся на шею и заплакал. Кюхля замахал руками так, что опрокинул бутылку и разбил стакан. Батенков возобновил разговор о монархическом и республиканском правлении, за шесть месяцев начатый, как будто ничего не случилось. А Каховский все так же стоял у печки, скрестив руки на груди по-наполеоновски, и усмехался презрительно.

Милые, родные! Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Хороши или плохи, они у меня единственные и других не будет.

Октября 24. Предлагают мне для переговоров с Южными ехать в Васильков к Сергею Муравьеву и в Тульчин к Пестелю. Я готов хоть сейчас.

Октября 26. Нет, сейчас не поеду. Вчера вернулся государь, и дядюшка говорит, что обо мне спрашивал. Подожду свидания с государем: так Софья хочет.

Ноября 5. Пущин показывал *«Православный Катехизис»* для возмущения войск и простого народа, Сергеем Муравьевым составленный. В «Катехизисе» сказано:

«Для чего русский народ и русское воинство несчастны?

Для того, что похитили... у него свободу.

Что же святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству?

Раскаяться в долгом раболепии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться, да будет всем един Царь на небеси и на земли — Иисус Христос».

Точнее, прямее нельзя сказать — и доколе этого не скажут все, в России свободы не будет.

Я думал, что я один знаю; но вот уже не один.

И пусть мы только знаем, только скажем другим, а сами ничего не сделаем,— когда другие сделают, то вспомнят и о нас.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Императрица Елизавета Алексеевна, стоя перед зеркалом, надевала головной убор с райскою птичкою, мужнин подарок. Такие уборы были в моде лет десять назад; но то, что ему, государю, нравилось, было для нее вечною модою.

Наряжалась, как влюбленная девочка; подумала об этом — и покраснела, глядя в зеркало.

«Ну разве такая может нравиться? Старая, злая немка. Вон и кончик носа красный, как у всех старых плакс. Это оттого, что, когда плачу, слишком часто сморкаюсь. И губы поджаты с видом жертвы,— как это по-русски? Да, *подскима...*»

Отвернулась с досадой от зеркала и перешла в свой кабинет. Здесь, у камина, в уютном уголке из мягкой мебели, столиков и ширмочек, приготовлен был чайный прибор: ждала государя к вечернему чаю. Осмотрела, все ли в порядке: заварен ли чай, как следует; есть ли крендельки с анисом, варенье,— все, что он любит; а на другом столике — шашки, бирюльки, карты: иногда в экарте или в мушку игрывал. Переменила на лампе розовый щиток на зеленый — его любимый цвет.

Присела к камину, задумалась.

Теперь, когда не смотрелась в зеркало, лицо ее было прекрасно. Психеей называли ее в юности. Тогда у нее были детски удивленные глаза, детски падающие плечи и, под слишком тяжелым золотом волос, шея детски-тонкая, как стебель, гнущийся под бременем цветка. Та юная прелесть увяла. Но теперь — иная, неувядаемая: если тогда была музыка, то теперь тишина после музыки.

Думала, зачем в последнее время государь так часто с нею видится. Знала по опыту, что, когда ему хорошо,

она не нужна, и привыкла к этому так, что каждый раз, как он приближался к ней, спрашивала себя: «Зачем? Что с ним?» — и всегда угадывала. Но теперь не могла угадать, только чувствовала, что есть что-то страшное для них обоих. Вспомнилась кроткая, как будто стыдливая, улыбка его во время последней болезни, когда он говорил:

— Не знаю, оттого ли, что я очень болен, или уже годы не те, но я не имею силы бороться с болезнью.

Вспомнилось и то, что сказал он князю Васильчикову, когда выздоравливал:

— Я дешево отделался, но в сущности был бы не прочь сбросить это бремя короны, страшно тяготящей меня.

Рад был сбросить ее вместе с жизнью.

Чем больше думала об этом, тем больше боялась; знала, что он сам никогда не заговорит, а спросить — как бы хуже не было.

Услыхав шаги его, покраснела опять, как влюбленная девочка. Он вошел и поцеловал руку ее, а она его — в голову.

— Уф, едва вырвался! Семейный обед в Аничковом,— заговорил он по-французски, как всегда с ней говорил: — сегодня маменька весь день за мной по пятам. В последнюю минуту послал им сказать, что не буду, а то не отпустили бы... Ну, а вы как?

— Ничего, лихорадки днем, кажется, не было, и меньше кашляю.

— Слава Богу! Только берегитесь, не выезжайте, погода ужасная; слякоть, ветер с моря. Вода поднялась; пожалуй, наводнение будет...

Пили чай, играли в шашки; говорили о маленьких придворных событиях и сплетнях. Она старалась казаться веселой.

Зашла речь о последней семейной сваре из-за фрейлины Протасовой, полоумной старухи, которую императрица-мать взяла под свое покровительство, в пику государыне.

— Ах, если бы вы знали, мой друг, как я устала от этих дрязг! Маменька, Никс, Мишель, Александрин — все против меня. Настоящий заговор...

— Полно, Lise, оставьте, не думайте. Ну, что вам до них? Вы же знаете, чем они хуже к вам, тем лучше я...

— Этого-то и не могут мне простить! Готовы на все, чтобы повредить мне в ваших глазах. Особенно — маменька. И что я им сделала? За что такая ненависть?..

Говорили о родных, как о чужих, почти о врагах. *Враги человеку домашние его,*— оба понимали, что это значит.

— Неужели вы думаете, Lise, что все это может иметь на меня какое-нибудь влияние? — произнес он ласково и взял ее за руку.

Она молчала, потупившись.

— Не верите? — повторил он еще ласковее.

— Верю, но если мне трудно, не моя вина...

— А чья? Говорите, говорите же все, Lise, ради Бога!

— Я узнаю иногда от других то, что должна бы знать от вас,— сказала она и, подняв глаза, посмотрела на него решительно.

— Что же именно?

— Отреченье от престола.

— Сколько раз я говорил вам. Забыли?

— Говорили в шутку.

— Ну, не совсем...

— Да, не совсем: Константин уже отрекся, и Николай — наследник.

— Откуда вы знаете? Ничего не решено. Может быть, после моей смерти...

— Нет, при жизни. Вы так и сказали им. Маменька спрашивала меня: «Не показывал ли он вам чего-нибудь?» Значит, есть что-то...

Наклонившись над кучкой бирюлек, он старался выудить боченочек.

— Скучные дела, мой друг! Вы знаете, я никогда не говорю с вами о политике...

— Тут не политика, а ваша судьба и моя. Как могли вы решить, не сказав мне? Им говорите, а от меня скрываете...

— Ну, вот вы теперь знаете, Lise! И разве не рады? Быть свободными, жить вместе,— помните, как мы мечтали детьми...

Она покачала головой.

— Нет, не то. Вы не хотите сказать, а я знаю. Тут другое...

— Что другое? Что вы знаете? — спросил он тихо и посмотрел на нее, молча, долго; разрушил кучку бирюлек, отвернулся и стал мешать угли в камине.

— Тайное Общество,— сказала она так же тихо, не отводя от него глаз.

Он быстро обернулся. Лицо исказилось, как от внезапной боли, и что-то промелькнуло в нем такое жалкое, трусливое, как у человека, который сходит с ума, знает это и боится, чтоб другие не узнали.

— Глупые сплетни! — сказал уже спокойно, овладев собою; встал, прошелся по комнате, взял со стола книгу, прочел заглавие: «Бахчисарайский фонтан» Пушкина,— перелистал и бросил.

— Прошу вас, Lise, никогда не говорить со мной об этом. Ни со мной и ни с кем. Слышите?

— Не я говорю, а мне говорят,— ответила она, бледнея.

Старая обида заныла в душе, как старая рана. Что ему доставляются тайной полицией письма ее и что он вскрывает их так же, как письма всех членов царской фамилии,— давно уже знала; но никогда не говорила с ним об этом — стыдилась; гнусным казался ей этот обычай, сохранившийся от времен Павловых. Теперь вспомнила о нем и подумала, что он смотрит на нее такими же глазами, какие у него должны быть во время чтения вскрытых писем. В тысячный раз обманулась, поверив близости его, и в тысячный раз все так же больно, как в первый; за тридцать лет не привыкла и никогда не привыкнет.

— Кто? Кто вам сказал? — повторял он все настойчивей, все подозрительней.— Мне нужно знать, Lise! Ну, будьте же рассудительны. Прошу вас, если вы меня любите...

И вдруг опять промелькнуло в лице его что-то трусливое, жалкое, подлое: «Да, подлое!» — подумала она с возмущением. Разве не подлость — выпытывать, допрашивать так, смотреть на нее глазами сыщика?

Отвернулась, стала наливать чай; но руки так тряслись, что уронила чашку; заплакала.

— Что вы, Lise? О чем? Вы меня не так поняли. Я сам давно уже собирался сказать вам об этом. Но вы больны: я не хотел...

— Да разве лучше так? — воскликнула она горестно.— Хуже, хуже всего, не может быть хуже! Оттого и больна. Вы молчите, а я... Как же вы не видите, что я не могу, не могу больше, сил моих нет!

Он подошел к ней и опустился на колени.

— Ну, полно, Lise, ради Бога, не надо...— целовал ей руки.— Неужели я не сказал бы, если б что-нибудь было? Но ничего нет; по крайней мере, я не знаю. Может быть, вы больше моего знаете? Мне иногда самому приходит в голову, нет ли тут поважнее лиц? — прибавил с хитростью.

Она вдруг перестала плакать; забыв о себе, думала только о нем, о грозящей ему опасности.

— Мне говорил Карамзин и мой секретарь Лонгинов. Но, кажется, об этом знают все...

И рассказала все, что слышала. Когда кончила, он посмотрел на нее с улыбкою.

— Охота же вам из-за таких пустяков мучиться!

Утешал ее, успокаивал: все это ему давно уже известно; в руках его все нити заговора; он даже знает по именам заговорщиков; истребить их ничего не стоит; если же медлит, то потому, что жалеет несчастных, «заблуждения коих суть заблуждения нашего века»; ждет, чтобы сами одумались; впрочем, все меры приняты, и нет никакой опасности.

Говорил так искренно, что она почти поверила; умом верила, а сердцем знала, что он лжет; в глазах его видела ту ясность, которой всегда боялась,— бездонно-прозрачную и непроницаемую, как у женщин, когда они лгут. Но не имела силы бороться с ложью; готова была на все, только бы не видеть опять того трусливого, подлого, что промелькнуло в лице его давеча. Изнемогла, покорилась.

«Может быть, и прав он,— думала,— что на помощь ее не надеется: где уж ей помогать, других поддерживать, когда сама от слабости падает?»

Ничего не сказала, только посмотрела на него так, что вспомнились ему кроткие глаза загнанной лошади, которая издыхала на большой Петергофской дороге, уткнув морду в пыль, с кровавою пеною на удилах.

— А знаете, Lise, что больше всего меня мучает? То, что от меня несчастны все, кого я люблю,— заговорил он, и сразу почувствовала она, что он теперь не лжет.

— Несчастны от вас?

— Да. Софьина смерть, ваша болезнь — все от меня. Вот чего я себе никогда не прощу. Знать, что мог бы любить и не любил,— больше этой муки нет на свете... О, как страшно, Lise, как страшно думать, что нельзя вернуть, искупить нельзя ничем... А все-таки в последнюю минуту я к вам же приду, и ведь вы меня...

Не дала ему кончить, охватила руками голову его и прижала к себе, без слов, без слез, только чувствуя, что один этот миг вознаграждает ее за все, что было, и за все, что будет.

Кто-то тихонько постучался в дверь, но они не слышали. Дверь приоткрылась.

— Ваше величество...

Оба вскочили, как застигнутые врасплох любовники.

— Кто там? — воскликнула она.— Я же велела... Господи, ну, что такое? Войдите.

— Ваше величество, их императорское величество, государыня императрица Мария Федоровна,— доложила фрейлина Валуева.

Государыня взглянула на мужа с отчаянием; тот поморщился. Валуева смотрела на них с любопытством, как будто делала стойку и нюхала воздух.

— Ну, чего вы стоите? Не знаете ваших обязанностей? — прикрикнула на нее государыня.— Ступайте же, просите ее величество.

— Не бойтесь, Lise, я как-нибудь спроважу ее поскорее; скажу, что вы больны, и дело с концом.

Государыня вышла в уборную.

— Вот вы где, Alexandre! А мы вас ищем, ищем, думаем: куда пропал? — заговорила, входя, императрица Мария Федоровна.

В шестьдесят пять лет — свежая, крепкая, гладкая, сдобная, румяная, как хорошо пропеченная булка из немецкой булочной; несмотря на полноту, затянута, зашнурована так, что, казалось, платье на круглой спине лопнет по швам; все лицо в ямочках-улыбочках, которые хотят быть любезными, но иногда вдруг сладким ядом наливаются. Всегда в суете, впопыхах, «точно на пожар торопится», как покойный супруг ее, император Павел, говаривал.

— А ведь я не одна, Alexandre: мы все вместе к вам, по-семейному,— и Никс, и Мишель, и Александр,

и Элен, и Мари. Они сейчас будут. Уж вы меня, дорогой, извините: я им позволила; сами не смеют, да и я сюда без доклада не смею. А мы все по вас так соскучились! — болтала, трещала без умолку на скверном французском языке с немецким выговором.— Да где же она? Где Lise?..

И все ямочки-улыбочки налились вдруг сладким ядом.

— Я, кажется, некстати? Если мешаю, вы скажите, мой друг, не стесняйтесь, пожалуйста...

— Что вы, маменька, помилуйте! Lise всегда вам рада. Только на минутку вышла в уборную. Да вот и она.

Вошла государыня. Императрица-мать поцеловала ее долгим поцелуем, родственным, с присасыванием и причмокиванием.

— Ну, что? Как? Молодцом, а? А мы к вам все вместе, вечерок провести по-семейному... Ах, душенька, нельзя так близко к огню! Сколько раз я вам говорила: тут окно, тут камин, а вы на самом сквозняке,— оттого и простужаетесь.

— Ничего, маменька, я привыкла.

— Нет, нет, пересядьте! Вот так. А шаль где? Беречься надо. Как говорится по-русски: сберегаемого и Бог сберегает... Ах, да что это, право, милая,— вы как будто еще похудели? Все огорчаетесь, расстраиваете себя, много думаете, мало кушаете. Сколько раз я вам говорила: надо кушать яйца всмятку. Много, много яиц: три яйца к завтраку, три яйца к обеду, три яйца к ужину. И тогда молодцом, молодцом, вот как я...

У государыни от этой болтовни в глазах темнело, левый висок ныл привычной болью, и в голове как будто стучала, молола кофейная мельница. Но ничего нельзя было сделать: надо застыть, замереть и терпеть, пока не кончится.

Послышались шаги и голоса в соседней комнате.

— А вот и они! Сюда, сюда, дети мои! — закричала маменька.

Великие князья Николай Павлович и Михаил Павлович, великие княгини Александра Федоровна, Елена Павловна, Мария Павловна [1] — вошли все вместе, гурь-

---

[1] Александра Федоровна — жена Николая Павловича, Елена Павловна — жена Михаила Павловича, Мария Павловна — дочь Павла I.

бою; перецеловались, расселись; молчали; только императрица-мать болтала, трещала без умолку. И тщетно государь, думая, как бы спровадить гостей, пробовал ее остановить.

Всем было томно, тошно, скучно до одури. Великие княгини сидели, как в воду опущенные; великие князья — чинные, важные, с вытянутыми лицами. Николай Павлович, Никс,— прямой, сухой, как сосна, с необыкновенно правильными чертами лица, но с таким выражением, как будто вечно на кого-то дуется: «Аполлон, страдающий зубною болью»,— сказал о нем кто-то. Михаил Павлович, Мишель,— добродушный, косолапый увалень, настоящий мишка-медведь, умеющий только плясать под бой барабана.

— Никс, Мишель, где же вы? — оглянулась на них маменька.— Ах, какие несносные! Вот так всегда: забьются в угол и сидят буками. Это они вас боятся, Lise! А у меня, в Павловске, расшалятся,— не уймешь... Ну, ступайте же, ступайте сюда, кавалеры, занимайте дам. Alexandrine, Hélène, бедненькие, какие у вас мужья нелюбезные!

Оба сразу, как по команде, встали и вытянулись. В присутствии старших держали себя, как два кадета, отпущенные домой из корпуса.

— Ну, что с ними делать? Просто беда. Совсем от рук отбились,— продолжала маменька: — манеж да развод, ничего больше знать не хотят. А ведь вам, дети мои, не в казарме жить: надо привыкать к обществу... Хоть бы вы, Alexandre, поучили их, что ли? Вы, слава Богу, не так воспитаны: в свое время были кавалер очаровательный, да и теперь хоть куда. Не правда ли, в него еще влюбиться можно, Lise? Ну, что вы на меня так смотрите? Разве я дурное сказала? Уж вы меня простите, дружок: я всегда говорю, что думаю. После тридцати лет супружества жена, влюбленная в мужа,— это в наши дни редкость. И пусть другие смеются, а я счастлива. Когда я смотрю на счастье детей моих, я сама счастлива. Ведь мой дорогой Alexandre — все, все для меня! — закатила глаза от умиления.

А государыня уже ничего не слышала; левый висок ныл нестерпимо, в голове молола кофейная мельница, и лицо ее так побледнело, что государь боялся, как бы ей дурно не сделалось.

— Маменька, Lise, кажется, устала. Доктора велели ей пораньше ложиться,— сказал и встал решительно; понял, что без него не уйдут.

— Ах, Боже мой, Lise, правда, мы вас утомили?

— Нисколько, маменька! Куда же вы? Посидите еще.

— Нельзя: муж не велит, надо мужа слушаться. А я думала, проведем вечерок вместе, поболтаем, поиграем в птижё. Шараду бы в лицах Никс нам представил, ту, что намедни в Павловске,— мы так смеялись! Он ведь только притворяется букою, а если захочет, умеет быть душою общества. Как это, Никс? Мое первое — *cor*...

— Точно так, маменька: *cor* — охотничий рог.

— Да, да, заиграл на губах, как в рожок... Мое второе — *pue*...

— *Pue* — воняет, маменька,— подсказал Никс.

— Да, да, зажал нос и сморщился, как от дурного запаха... А мое третье — *lance* — копье: замахнулся биллиардным кием на старушку Нелидову, так что она закричала от страха. А мое целое — *cor-pu-lence* — тучность: обвязался подушками и стал ходить с трудом, едва ногами двигаясь. Не правда ли, мило?

Государыне казалось, что еще минута, и она упадет в обморок.

— Ну пойдемте же, дети мои! Надоели мы вам, Lise, а? Как говорится по-русски: незваный гость хуже... хуже чего, Никс?

— Хуже татарина, маменька!

— Да, хуже татарина.

И опять на лице все ямочки-улыбочки налились вдруг сладким ядом.

— Прощайте, душенька,— присосалась долгим поцелуем, родственным.— Поправляйтесь же скорее, будьте умницей. Молодцом, молодцом, вот как я! Помните, яйца всмятку. Много, много яиц: три яйца к завтраку, три яйца к обеду, три яйца к ужину...

Наконец ушли; и государь — с ними, чтоб не обиделись.

Оставшись одна, государыня упала на диван и долго лежала, закрыв глаза, не двигаясь, как в обмороке. Потом позвонила камермедхен, велела снять головной убор с райскою птичкою и подать душистого уксуса.

Мочила виски, нюхала. Все тело ныло, как избитое палками, и в голове молола кофейная мельница.

Когда легла в постель и потушила свечу,— вспомнив разговор с государем, ужаснулась: как могла поверить или сделать вид, что верит?

Вдруг поняла так ясно, как никогда, что он гибнет и что она спасти его не может.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В ту ночь она плохо спала. Голова болела, мучил жар, и в полусне чудилось ей, что выколачивают исполинские ковры исполинскими палками: то были пушечные выстрелы с Петропавловской крепости, возвещавшие прибыль воды.

Когда поутру затопили камин, пошел дым.

— Говорила я вам, что печи испорчены,— сказала она с досадою дежурной фрейлине Валуевой.

— Никак нет, ваше величество: печи исправны, а это от ветра...

— От ветра... от ветра в вашей голове, сударыня! Я вам еще третьего дня велела истопнику сказать.

— Не мне, а мадемуазель Саблуковой.

— Все равно, кому. Вы всегда отговорки находите!

— Чем же я виновата, помилуйте, ваше величество? Кто что ни сделает, все на мою голову! — приготовилась плакать Валуева, и некрасивое, неумное, птичье лицо ее сделалось еще некрасивее.— Мадам Питт, княжна Волконская, мадемуазель Саблукова — все в милости. Только я одна, несчастная... Все на меня, все на меня! Я ведь знаю, ваше величество меня не изволите жаловать...

Такие сцены повторялись каждый день: фрейлины все перессорились, ревновали императрицу и мучили. Давно уже решила она, что этому надо положить конец.

Теперь, при виде плачущей Валуевой, хотелось ей вскочить, закричать, затопать ногами и выгнать ее вон.

Но удержалась и проговорила с холодною злобою:

— Послушайте, Валуева, я знаю, что глаза у вас на мокром месте и что вы плакать умеете, но я этого больше терпеть не намерена, слышите! Если мой характер вам не нравится, уходите, пожалуйста,— никто вас

не держит. Хороша или дурна,— я не переменюсь для вас. Находят же другие, что со мной жить можно... Ну, ступайте, истопника позовите.

Валуева вышла, заливаясь слезами.

Пришел истопник и, осмотрев камин, подтвердил, что все исправно, а топить нельзя от ветра: такая буря, что трубы на крыше ломает.

Государыня перешла в кабинет; здесь было натоплено с вечера. Дрожа и кутаясь, но привычным усилием воли перемогая озноб, напилась чаю и занялась делами Патриотического Общества. Разбирала бумаги; одни подписывала, другие откладывала, чтобы обсудить их с Лонгиновым, секретарем своим.

Вспоминая сцену с Валуевой, стыдилась: за что обидела бедную девушку? Чем виновата она, что глупа? И разве другие лучше? Не права ли императрица-мать, когда жалуется на ее, государыни, скверный характер? Вечно не в духе — «злая немка» — оттого и больна.

Думала, как бы позвать Валуеву, помириться с ней. Но та сама вбежала.

— Ваше величество, посмотрите, что это?

Государыня взглянула в окно и глазам не поверила: вода в Неве поднялась так, что почти сравнялась со стенкою набережной. Волны вздымались, огромные, серосвинцовые, черно-чугунные, как злые чудовища, которых гладят против шерсти, и они щетинятся. По тому, как тучи брызг неслись, подобные пару над кипящей водой, можно было судить о силе ветра.

Люди толпились на набережной. Дети смеялись и прыгали, любуясь, как вода сквозь решетки подземных труб бьет фонтанами и заливает мостовую лужами.

Вдруг все побежали; в одну минуту опустела набережная. То там, то здесь перехлестывали, переливались волны через гранитную стенку, как через край водоема, слишком полного. Еще минута — и скрылась под водою улица, и волны забились в стену дворца.

— Наводненье! Наводненье! — кричала Валуева с таким испугом, как будто вода сейчас вольется в комнату.

А государыня радовалась тою радостью, которая овладевает людьми при виде ночного пожара, заливающего темное небо красным заревом. Хотелось, чтобы вода подымалась выше и выше — все затопила, все разрушила,— и наступил конец всему.

Вошел секретарь Лонгинов и рассказал свои приключения: едва не утонул; карету залило; он должен был сидеть на корточках; промочил ноги; только что переобулся; показывал, смеясь, чужие башмаки, не впору. И дамы смеялись.

— Ужасное бедствие! Под водой уже две трети города,— заключил Лонгинов.— Я всегда говорил: нельзя жить людям там, где могут быть такие бедствия. Когда-нибудь участь Атлантиды постигнет Петербург...

Ужасались, ахали, охали:

— Бедные люди! Сколько несчастий! Сколько жертв!

А государыне казалось, что им всем весело.

Весело смотреть, как фельдъегерь в почтовой тележке (колеса роют воду, точно маленькая водяная мельница) остановился, потому что вода вот-вот подымет тележку, как лодку; седок с кучером вылезли, впрягли и, держа лошадей за уши, поскакали — поплыли. Весело смотреть, как мужик лезет на фонарный столб; расшатанный напором ветра и волн, деревянный столб качается; мужик, сорвавшись, падает; нырнул, вынырнул; бежит, плывет,— должно быть, утонет. А вон собака на крыше будки, подняв морду, воет. За двойными рамами окон звуков не слышно — ни рева бури, ни шума волн, ни криков о помощи, как будто мертвое молчанье — над мертвою пустыней вод. От Зимнего дворца до крепости — один кипящий, клокочущий, бушующий омут, где несутся барки, лодки, галиоты, плоты, заборы, крыши, гауптвахты, рыбные садки, бревна, доски, бочки, тюки товаров, трупы животных и кресты с могил размытого кладбища.

Шесть градусов выше нуля, а барометр опустился, как во время грозы.

Свет — темный, как у человека перед обмороком, когда в глазах темнеет; похоже на светопреставление; иногда выглянет солнце сквозь тучи, как лицо покойника сквозь кисею гробовую,— и тогда еще больше похоже на кончину мира.

У государыни лихорадка прошла. Она чувствовала себя бодрою, сильною, легкою, как в детстве, во время самых буйных игр. А иногда казалось ей, что вода опустится, войдет в берега, и будет все опять, как было — та же скука, пошлость и уродство жизни, те же глупые

сцены с Валуевой, разговоры с императрицей-матерью, дела Патриотического Общества. И становилось жалко чего-то; озноб пробегал по телу, ноги бессильно подкашивались, и вся она опять — больная, слабая, старая.

— Ну, Николай Михайлыч, у нас много дела,— говорила секретарю.

Он читал ей доклад, и она слушала, стараясь не думать о наводнении.

Но Валуева кричала:

— Смотрите, смотрите, ваше величество! Вон уже где!..

И опять — ужас и радость конца.

— Пойдемте в угольную, там лучше видно,— предложила государыня.

Проходя коридором, услышала крик:

— Утонули! Утонули! Светики, родимые!..

Степанида Петровна Голяшкина, камер-лакейская вдова, старуха лет восьмидесяти, плакала в толпе дворцовых служителей.

— Ваше величество, государыня-матушка, смилуйтесь! Приказать извольте лодку!..— закричала, увидев императрицу и повалившись ей в ноги.

Не могла говорить. За нее объяснили другие, что Голяшкиной дочь за аудиторским чиновником замужем, в Чекушах живет, на Васильевском острове, в маленьком домике, на самом берегу Невы; там теперь все уже залило, потому что место низкое; поутру отец уходит в должность, мать — на рынок; люди бедные, не могут держать прислуги; уходя, запирают двух детей своих, мальчика и девочку, одних в доме. Вот и боится бабушка, чтобы внучки не утонули.

— Нельзя ли лодку? — сказала государыня Лонгинову.

— Не извольте беспокоиться, ваше величество,— заговорил седой, степенный камер-лакей.— Сама не знает, что говорит. Ума лишившись от горя. Какие тут лодки! Кто повезет? Да и все уж, чай, разосланы... Ну, полно, Петровна, может, еще и живы. Молиться надо. Пойдем-ка, бабушка, не докучай государыне...

Старуху увели под руки; но долго еще слышался крик ее и, как будто в одном этом крике соединились все бесчисленные вопли погибающих,— государыня вдруг поняла, что происходит.

— Ступайте, Николай Михайлыч, узнайте, где государь.

Лонгинов хотел было что-то сказать, но она закричала:

— Ступайте же, ступайте, делайте, что вам велят!

Вошла в угольную и стала смотреть в окно.

На Неве, против Адмиралтейской набережной, тонула плоскодонная барка, флашкот Исаакиевского моста. Водой подняло мост, как гору, и разорвало на части; они понеслись в разные стороны; на тонущем флашкоте люди, как муравьи, сновали, копошились, бегали. Государыня узнала плывший к ним на помощь дежурный восемнадцативесельный катер гвардейского экипажа, стоявший всегда у дворца на Неве. В беловато-мутной мгле урагана волны играли лодкою, как ореховой скорлупкою,— вот-вот опрокинется и пойдет ко дну. Что если там государь?

А Лонгинов пропал. Не послать ли Валуеву? Да нет, глупа,— ничего не сумеет.

Молоденький офицер пробегал через комнату. Вымок весь,— должно быть, только что был по пояс в воде. Простое, милое, как у деревенских мальчиков, лицо его посинело от холода, а в глазах был тот радостный ужас, который испытывала давеча сама государыня. Увидев ее, остановился и отдал честь.

— Не знаете ли, где государь?

— Не могу знать, ваше величество,— ответил он, стуча зубами и стараясь удержать улыбку.— Кто говорит,— здесь, во дворце, а кто — с генерал-адъютантом Бенкендорфом на катере.

— Ну, хорошо, ступайте.

Он побежал, оставляя на паркете лужицы.

Наконец вернулся Лонгинов.

— Никто ничего не знает. Просто беда! Толку не добьешься. Все потеряли голову, мечутся как угорелые...

— Ах, Николай Михайлович, нельзя же так! — воскликнула она со слезами в голосе.— Боже мой, Боже мой!.. Ну, так я сама, если вы ничего не умеете...

— Ваше величество...

— Ступайте за мной!

И все трое побежали,— государыня, Валуева, Лонгинов.

Встретили камердинера Мельникова. Он тоже не знал, где государь.

— Сами ищем. Ее величество, государыня императрица Мария Федоровна очень беспокоиться изволят. Никак найти не можем,— говорил Мельников, хлопая себя по ляжкам с таким видом, как будто пропала иголка.

— Дурак! — воскликнула государыня по-французски и побежала дальше.

Генерал-адъютант князь Меншиков немного успокоил ее, сообщив, что государя видели внизу, на Комендантской лестнице. Чтобы попасть туда, надо было пробежать множество комнат.

Дворец напоминал разрытую кочку муравейника: люди бегали, кишели, суетились, метались, сталкивались, ссорились, ругались, кричали и не понимали друг друга.

Государыне казалось, что все это уже было когда-то во сне: так же лазила она по нескончаемым лестницам, искала государя, не находила — и никогда не найдет.

Солдаты носили по лестнице из залитых комнат золоченую штофную мебель, картины, вазы, люстры, зеркала и кухонную посуду, домашнюю рухлядь дворцовой челяди. Великан с добродушным лицом, нагнувшись, как Атлас, под тяжестью, тащил на спине огромный кованый сундук, на нем кровать с подмоченной периною, а в зубах держал клетку с чижиком.

По одному из коридоров нельзя было пройти. Слышался топот копыт и ржанье. Лонгинов ступил в навоз: коридор превращен был в конюшню. Лошадей великой княгини Марии Павловны, стоявших на Дворцовой площади, выпрягли и втащили сюда, в первый этаж, чтоб спасти от воды.

На крутой и темной лестнице кто-то крикнул снизу грубым голосом, не узнав государыни:

— Куда лезете? Ходу нет: вода.

И почудилось ей, что невидимые струйки в темноте лепечут, плещут, как будто сговариваясь о чем-то грозном,— тоже как во сне.

Какие-то люди приносили что-то завернутое в белое.

— Что это? — спросила государыня.

— Утопленница,— ответили носильщики.

Валуева взвизгнула, готовая упасть в обморок: боялась покойников.

Когда прибежали на Комендантскую лестницу, то узнали, что государь здесь давеча был, но ушел в Эрми-

таж, где с Миллионной большое судно прибило. Надо было бежать наверх по тем же лестницам, а по дороге опять кто-то крикнул, что государя нет во дворце — только что уехал на катере.

Пробегая через собственные покои, государыня увидела стол, накрытый к завтраку, и удивилась, что можно есть. Но Лонгинов успел захватить хлебец с ломтиком сыру и на бегу закусывал.

В больших парадных залах все еще было спокойно. За окном — кончина мира, а у окна два старичка камергера уютно беседуют о новом балете «Зефир и Флора».

Увидев государыню, склонили почтительно лысые головы.

Эти спокойные лица ее утешили было; но тотчас подумала: «Такие лица у таких людей будут и при кончине мира».

В голубой гостиной великая княгиня Александра Федоровна и фрейлина Плюскова стояли на диване, подобрав юбки.

— Ай! Ай! — визжала фрейлина.— Я сама видела, ваше высочество: тут их множество! По стенке ползут...

— Что такое?

— Крысы, ваше величество! Да какие злющие... Едва меня не укусили за ногу.

Валуева тоже взвизгнула и вскочила на диван: боялась крыс не меньше покойников.

— Снизу бегут, из подвалов да погребов,— шамкал старичок, сгорбленный, сморщенный, облезлый весь и как будто заплесневелый, похожий на мокрицу, отставной камер-фурьер Изотов.

— В бывшее семьсот семьдесят седьмого лета наводнение тоже крыс да мышей по всему дворцу столько размножилось, что блаженной памяти покойная государыня императрица Екатерина Алексеевна мышеловки сами ставить изволили...

— Вы то наводнение помните? — сказала государыня, которая хотела и не могла вспомнить что-то.

— Точно так, ваше величество! И лета семьсот пятьдесят пятого, ноября восемнадцатого, и семьсот шестьдесят второго, августа двадцать пятого, и семьсот шестьдесят четвертого, ноября двадцатого,— все наводнения помню. Сам тонул, и батюшка, и дедушка. От-

того воды и боюсь: от огня убежишь, а от воды куда денешься?

Помолчал и опять зашамкал про себя, точно забредил:

— Старики сказывают,— на Петербургской стороне, у Троицы, ольха росла высокая, и такая тут вода была, лет за десять до построения города, что ольху с верхушкою залило, и было тогда прорицание: как вторая-де вода такая же будет, то Санкт-Петербургу конец, и месту сему быть пусту. А государь император Петр Алексеевич, как сведали о том, ольху срубить велели, а людей прорицающих казнить без милости. Но только слово то истинно, по Писанию: не увидеша, до́ндеже[1] прииде вода и взят вся...

С вещим ужасом слушали все, и казалось возможным пророчество: там, где был Петербург,— водная гладь с двумя торчащими, как мачты кораблей затопленных, шпицами, Адмиралтейским и Петропавловским.

Вдруг вспомнила государыня и то другое, забытое пророчество: 1777 год — год рождения государева; тогда наводнение было великое, и такое же будет в год смерти его.

В комнату вбежала императрица-мать.

— Lise! Lise! Где он? Где государь?

— Не знаю, маменька, сама ищу...

— Herr Jesu! Что ж это такое? А Никс, бедняжка, там, в Аничковом, и не знает, где мы, что с нами. Может быть, утонули,— думает. И послать некого. Никто ничего не слушает, все нас покинули... И что вы тут стоите? Бежимте же, бежимте скорей к государю!

Все побежали. Один старичок Изотов остался и шамкал, точно бредил:

— Месту сему быть пусту, быть пусту...

Когда бежали по залам, выходившим на Дворцовую площадь, послышался треск, как от разбитого стекла; двери захлопали, и завыл, засвистел, загудел сквозняк неистовый. Такова была сила бури, что железные листы, сорванные с крыш и свернутые в трубку, как бумага, носились по воздуху; один из них ударился в оконное стекло и разбил его вдребезги.

Императрица-мать остановилась, вскрикнула и побе-

---

[1] До тех пор, пока (*церковнослав.*).

жала назад. Все — за нею, кроме государыни; никто не заметил, что она осталась одна. Вздуваемая ветром занавесь в дверях, окутав ее, едва не сбила с ног. Когда она вбежала в соседнюю комнату, то увидела разбитое стекло; осколки еще сыпались; пахнущий водою ветер врывался в окно. И в шуме близких волн, и в вое урагана чудился вопль утопающих.

Оглянулась, увидела, что все ее покинули; почти без памяти упала в кресло и закрыла глаза.

Когда очнулась, граф Милорадович, петербургский генерал-губернатор, говорил ей что-то, но она не слышала.

— Где государь? — спросила уже без надежды, только по привычке повторять эти слова.

— Здесь, рядом, в Белой зале, ваше величество! Проводить прикажете?

— Прошу вас, граф, воды.

Он засуетился, отыскивая воду, не нашел и побежал было в соседнюю комнату.

— Нет, не надо,— остановила она.— Пойдемте.

— Воды слишком много, а нет воды! — пошутил он с любезностью и, молодцевато изгибаясь, расшаркиваясь, позвякивая шпорами, как на балу, подал ей руку.

У него была походка танцующая и одно из тех лиц, которые как будто вечно смотрятся в зеркало, радуясь: «Какой молодец!»

И как это иногда бывает в минуту смятения, пришел государыне на память глупый анекдот: любитель мазурки, граф учился танцевать у себя один в кабинете; выделывая па перед зеркалом, разбил его ударом головы и порезался так, что должен был носить повязку.

Идучи с ней, говорил о потопе, как о забавном приключении, вроде дождика во время увеселительной прогулки с дамами.

— Все кричат: ужас! ужас! А я говорю: помилуйте, господа, нам ли, старым солдатам, тонувшим в крови, бояться воды?

Вошли в Белую залу.

За столом, у стеклянной двери, выходившей на Неву, сидел государь, согнувшись, сгорбившись, опустив голову и полузакрыв глаза, как человек очень усталый, которому хочется спать.

В начале наводнения хлопотал, как все, бегал, суетился, приказывал. Когда никто не решался ехать на катере, хотел сам; но Бенкендорф не допустил до этого, тут же, на глазах его, снял мундир,— по шею в воде добрался до катера и уехал. За ним — другие, и никто не возвращался. Все сообщения были прерваны. Дворец — как утес или корабль среди пустынного моря. И государь понял, что ничего нельзя сделать.

Не заметил, как вошла государыня. Она не смела подойти к нему и смотрела на него издали. В обморочно-темном свете дня лицо его казалось мертвенно-бледным. Теперь, больше чем когда-либо, в нем было то, что заметила Софья,— кроткое, тихое, тяжкое, подъяремное: «теленочек беленький», агнец безгласный, жертва, которую ведут на заклание; и еще что-то другое,— то самое, что промелькнуло в нем вчера, когда государыня говорила с ним о Тайном Обществе: лицо человека, который сходит с ума, знает это и боится, чтобы другие не узнали.

Глупым казался ей давешний страх: здесь, в безопасной комнате, страшнее за него, чем в волнах бушующих. Теперь уже не сомневалась, что он вчера не сказал ей всего, утаил самое главное.

Обер-полицеймейстер Гладков доносил государю о том, что происходит в городе.

На Петербургской Стороне, на Выборгской и в Коломне, где почти все дома деревянные,— снесены целые улицы. В Галерной гавани вода поднялась до 16 футов, и там почти все разрушено.

Государь слушал, но как будто не слышал.

Через каждые пять минут подходили к нему, один за другим, флигель-адъютанты, донося о прибыли воды.

Одиннадцать футов два дюйма с половиною. Шесть дюймов. Восемь. Девять. Десять с половиною.

Теперь уже на 2 фута 4 дюйма — выше, чем в 1777 году. Такой воды никогда еще не было с основания города.

Был третий час пополудни.

— Если ветер продолжится еще два часа, то город погиб,— сказал кто-то.

Государь услышал, поднял голову, перекрестился, и все — за ним. Наступила тишина, как в комнате

умирающего. В стоявшей поодаль толпе дворцовых служителей кто-то всхлипнул.

— Покарал нас Господь за наши грехи!

— Не за ваши, а за мои,— сказал государь тихо, как будто про себя, и опустил еще ниже голову.

— Lise, вы здесь, а я и не знал,— увидел, наконец, государыню и подошел к ней.— Что с вами?

— Ничего, устала немного, бегала, искала вас...

— Ну, зачем? Какая неосторожность! Везде сквозняки, а вы и так простужены.

Бережно поправил на ней плащ, где-то на бегу накинутый. И от мысли, что он может о ней беспокоиться в такую минуту, она покраснела, как влюбленная девочка.

— Вот какое несчастье, Lise,— проговорил он с той жалобной, как будто виноватой, улыбкой, которая бывала у него часто во время последней болезни.— Помните, в Писании: *страшно впасть в руки Бога живаго...*

Хотел сказать еще что-то, но почувствовал, что все равно не скажет самого главного,— только повторил шепотом:

— Страшно впасть в руки Бога живаго.

Кто-то указал на Неву. Все бросились к окнам. Там несся плот, а за ним — огромный сельдяной буян, сорванный бурею,— вот-вот настигнет и разобьет. Люди на плоту, одни стояли на коленях,— должно быть, молились; другие, протягивая руки к берегу, звали на помощь.

Государь велел открыть дверь на балкон и вышел. Может быть, погибавшие увидели его. Ему показалось, что сквозь вой урагана он слышит их вопль. Но буян столкнулся с плотом, и люди исчезли в волнах. Государь закрыл лицо руками.

Вернулся в комнату, опять сел, как давеча, согнувшись, сгорбившись, опустив голову. Слезы текли по лицу его, но он их не чувствовал.

В начале наводнения флигель-адъютант, полковник Герман, отправлен был из дворца в Коломну, в казармы гвардейского экипажа для рассылки лодок. Он провел весь день в спасании утопающих. Проезжая по Торговой улице, усталый, продрогший и вымокший, вспомнил, что

здесь живет его приятель, князь Одоевский, и заехал к нему напиться чаю. Отдохнув, предложил хозяину и гостю, князю Валерьяну Михайловичу Голицыну, поехать с ним на лодке.

Наступали ранние сумерки; фонарей нельзя было зажечь, и скоро затонувший город погрузился в ночную тьму; казалось, что это последняя ночь, от которой не будет рассвета.

По Офицерской, Крюкову каналу и Галерной выехали на Сенатскую площадь.

Здесь еще сильнее выла буря, а над белеющей во мраке пеною возвышался памятник: на бронзовом коне гигант с протянутой рукой. И нельзя было понять, что значит это мановенье: укрощает или подымает бурю?

В это же время с другой стороны подъехал катер генерала Бенкендорфа с пылающим факелом. Красные блески, черные тени упали на Медного Всадника, и как будто ожил он, задвигался. Гранитное подножье залило водою; черная вода, освещенная красным огнем, стала как кровь. И казалось, он скачет по кровавым волнам.

Голицын смотрел в лицо его, и вдруг почудились ему в шуме волн и в вое бури клики восстания народного.

Вспомнилось, как стоял он здесь, полгода назад, с Пестелем, и, думая о Тайном Обществе, спрашивал:

— С *ним* или против *него?*

И теперь, как тогда, ответа не было.

Но вещий ужас охватил его, как будто все это уже было когда-то,— было и будет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После наводнения сразу начались морозы. Дома, уцелевшие от воды, сделались необитаемы от холода; промокшие стены обледенели, покрылись инеем, а топить нельзя, печи водою разрушены, и воду нельзя откачивать,— замерзла. Люди погибали без одежды, без крова, без пищи. А в Неве каждый день подымалась вода, угрожая новым бедствием. Казалось, Самим Богом обречен на гибель злополучный город.

Государь посетил наиболее пострадавшие местности — Коломну, Васильевский остров, Гавань, Чугунный завод.

— Я бывал в кровопролитных сражениях, но это ни с чем сравниться не может,— говорил он спутникам.

Зашел однажды в церковь на Смоленском кладбище. Во всю ширину ее стояли гробы с телами утопленников. Он заплакал и весь народ — с ним.

Учредили комитет для пособия пострадавшим от наводнения. Рассказывали чувствительные анекдоты: о бедной старушке, отказавшейся от шубы при раздаче теплого белья: «Я свою шубенку спасла, а мне чулочки пожалуйте»; о добродетельном чиновнике Иванове, хоронившем бедных на свой счет; о младенце, приплывшем в сахарном ящике к старому холостяку, который взял дитя на воспитание.

А также — анекдоты веселые: в одном доме окотившаяся кошка перенесла котят на ту именно ступеньку лестницы, где остановилась вода; в подвал Публичной библиотеки заплыл сиг, и библиотекарь Иван Андреевич Крылов поймал его, зажарил и съел; приезжий барин думал, что сошел с ума, когда, встав поутру, увидел полицеймейстера Чихачева, плывущего в лодке по двору; а графиня Толстая так рассердилась за наводненье на Петра I, что, проезжая мимо памятника его, высунула язык.

Цензурой запрещено было печатать о наводнении что бы то ни было, и в Москве уверяли, что вода поднялась выше Адмиралтейского шпица. В простом народе шли толки, что Божий гнев постиг столицу за военные поселения и зверства помещиков.

Отец Феодосий Левицкий проповедовал, что наводнение — «не простое и слепое действие натуры, но, собственно, удар праведного суда Божия, воздающего нам по делам нашим, поелику не видно со стороны правительства ни малого движения к покаянию». Два фельдъегеря явились ночью к о. Федосу, усадили его в тележку и увезли неизвестно куда: оказалось потом — в Коневец на Ладожском озере.

Наконец Нева стала. Там, где бушевали волны потопа, белело теперь снежное поле, скрипели возы, на коньках бегали дети, плясал на морозе, ударяя валенком о валенок, веселый сбитенщик, и чухны с кудластыми клячами везли с прорубей колотый лед, сверкавший на солнце прозрачно-зелеными глыбами.

Намело сугробы по улицам; дребезжание дрожек сменилось беззвучным бегом саней, и все вдруг затихло, заглохло, замерло, только снег хрустел под ногами прохожих, и голоса раздавались на улице, как в комнате.

Петербург стал похож на глухую деревню, занесенную вьюгами. Уснул, как дитя в колыбели под белым пологом; как мертвец в могиле под белым саваном. И тишина колыбельно-могильная сладостно-жутко баюкала.

Государыня была больна: как простудилась во время наводнения, так и не могла поправиться. Доктора опасались чахотки. «Та же болезнь, что у Софьи,— думал государь: — две загнанных лошади; одна пала, и другая падет».

Он проводил с нею целые дни. Доктора запретили ей говорить: от разговора кашляла. Говорил он, а она писала ответы.

Разговор о Тайном Обществе, в тот вечер накануне наводнения прерванный, не возобновлялся у них. Но когда она смотрела на него глазами загнанной лошади, он знал, о чем она думает. И оба молчали. Тихо в комнате, тихо на улице — тишина колыбельно-могильная.

Он оставил все дела: они казались ему ничтожными, как будто во время наводнения понял он бессилье власти. Той страшной смертной лени, с которой прежде боролся, предался теперь окончательно; похож был на пловца изнеможенного, уносимого течением к омуту.

Новому министру народного просвещения, Александру Семеновичу Шишкову — за восемьдесят. Сед, как лунь, лицо мертвенно-бледное, глаза впалые; голова трясется; жует губами, шамкает. Однажды, явившись к государю с докладом, не мог отпереть портфель,— так дрожали руки от слабости. Государь помог ему, вынул бумаги и прочел их сам.

Шишков был изувер в политике. Сочиненный им цензурный устав называли «чугунным», его самого — «гасильником», а министерство просвещения — «министерством затмения».

Доклады его были сплошными доносами.

— Так называемый дух времени есть дух безбожья, дух революции, дух, истребленьем и убийствами дышащий, от коего гибнет власть, умолкает закон, потрясаются престолы и кровавое буйство свирепствует. Опасность сия ужаснее пожара и потопа...

Шамкает, шамкает, пока не заметит, что государь не слушает, тогда опустит голову, помолчит, пожует и вдруг захнычет жалобно:

— Государь всемилостивейший! Трудно мне, старику, нести на плечах столь тяжкое бремя; чувствую, что упаду под ним. Дух времени взял силу: везде — в Сенате, в Совете, в публике и при самом дворе — сей дух находит защиту. Что делать? Головой стену не прошибешь... Бог доселе хранил Россию, но, кажется, ныне рука Его тяготеет на нас. Быть худу, быть худу...

Каркает, каркает, и от этого карканья еще темнее темные зимние дни, и тишина колыбельно-могильная еще усыпительнее.

Военный министр Татищев, министр юстиции Лобанов, министр внутрених дел Ланской — все такие же старые, дряхлые, похожие на призраки.

«И вот кому отданы судьбы России,— думал государь: — какою молодостью начал, какою старостью кончает!»

А в народе не прекращались слухи о зловещих знамениях: то колокола на церквах сами звонили похоронным звоном; то неизвестиая птица прилетала ночью на крышу дворца и выла жалобно; то рождались уроды: младенец с рыбьим хвостом, теленок с головой человечьей.

В конце февраля сделалась оттепель; потемнел тлеющий снег, закапало с крыш, лед загрохотал из водосточных труб, пугая прохожих; зашлепали лошади в зловонной слякоти. Люди стали умирать, как мухи, от гнилых горячек. Поползли туманы черно-желтые, и все что-то мрежило, мрежило, пока не вышло из туманов смешное страшилище — поп с рогами.

Сначала у Троицы, во время обедни, выставил он морду из царских врат и заблеял по-козлиному; потом видели его у Николы Морского и, иаконец, в Казанском соборе. Толпа собралась на площади. Полицеймейстер Чихачев убеждал разойтись, но толпа не расходилась и напирала на двери собора; уверенность, что там прячут попа с рогами, усиливалась тем, что двери были заперты и охранялись полицией, а духовенство не выходило; говорили, будто бы сам митрополит служит молебствие, дабы Господь помиловал попа и роги у него отпали.

В черно-желтом тумане, в темном свете ночного дня все было так призрачно, что и этот призрак казался действительным. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы кто-то не пустил слух, что попа увезли подземным ходом.

А на следующий день собралось еще больше народа у Невской лавры. Попа уже многие видели; одни уверяли, будто он похож на Аракчеева, другие — на Фотия. Монахи заперли ворота, а толпа шумела, чтоб отперли.

— Да что, братцы, смотреть? Сами отворим, тащи лестницу! — крикнул кто-то.

Но появилась рота солдат, и все разбежались. А вечером стало известно, что во многих соседних домах обворовано, пока прислуга бегала смотреть попа.

Из Петербурга поп исчез, зато начал являться в других городах Российской империи.

Когда доложили о том государю, сначала Шишков, а затем обер-полицеймейстер Гладков с таким видом, как будто начиналась революция, государь вышел из себя, обругал Гладкова старою бабою и велел исследовать дело Аракчееву.

Оказалось, что поп с рогами — не пустая выдумка. В глухом украинском селении один священник убил козла и надел шкуру с рогами, чтоб нарядиться чертом «для соделания некоего неистовства». Клейкая шкура присохла к телу, и, думая, что она приросла, поп взвыл от ужаса. Сбежался народ; слух дошел до начальства; произведено следствие, дело поступило в Синод, а оттуда молва разнеслась по городу.

Только что поп исчез, появилось новое чудо: каждый день игла Петропавловской крепости начала светиться красным светом; думали, заря, но и в облачные дни был свет. Государь собственными глазами видел: игла светилась, как будто лезвие тонкого ножа висело на темном небе, кровавое. Причина света так и осталась неизвестной; только много времени спустя узнали, что на пустыре, близ крепости, обжигали известь, и свет из устья печи, заслоняемый домамн и заборамн, падал прямо на шпиц.

А начальник тайной полиции фон Фок заваливал государя доносами.

Среди белого дня на Невском проспекте кто-то

кому-то сказал: «Скоро будет революция!» — сыщик бросился ловить злоумышленника, но тот исчез в толпе. По другому доносу, предлагалось ставить на ночь караулы у всех колоколен, «дабы нельзя было ударить в набат, подавая тем сигнал к революции». А в грамматических таблицах сочинителя Греча для взаимного обучения нижних чинов найдены возмутительные изречения: «Императрица-перепелица. Где сила, там закон — ничто. Сила солому ломит. Воды и царь не уймет». Таблицы запрещены, и Греч отдан под надзор полиции.

Когда же государь узнал, что и сам Аракчеев состоит под тем же надзором, то подумал, что фон Фок помешался, хотел было рассердиться, но махнул рукою: «Делайте, что знаете».

Никто не смел говорить с ним о Тайном Обществе, а ему казалось, что все о нем знают и, думая, что от страха ничего не делает, смеются над ним.

«Подозрительность его доходила до умоисступления,— рассказывала впоследствии Марья Антоновна Нарышкина: — достаточно ему было услышать смех на улице или увидеть улыбку на лице одного из придворных, чтобы вообразить, что над ним смеются».

Однажды вечером, когда у Марьи Антоновны сидела кузина ее, приезжая молоденькая полька, и подали чай, государь налил одну чашку хозяйке, другую — гостье. А Марья Антоновна шепнула ей на ухо:

— Когда вы вернетесь домой, то будете, конечно, гордиться тем, кто наливал вам чай?

— О, да, еще бы! — ответила та.

Государь, по глухоте, не слышал, но видел, что они улыбаются, и тотчас нахмурился, а оставшись наедине с Нарышкиной, сказал:

— Видите, я всюду делаюсь смешным... И вы, и вы, мой старый друг, которому я верил всегда, не можете удержаться от смеха! Скажите же мне, ради Бога, скажите, что во мне смешного?

Генерал-адъютанты Киселев, Орлов и Кутузов, стоя у окна во дворце и рассказывая анекдоты, смеялись. Вдруг вошел государь; они перестали, но на лицах еще виден был смех. Государь взглянул на них и прошел, не останавливаясь, а через несколько минут послал за Киселевым. Тот, войдя в кабинет, увидел, что го-

сударь стоит перед зеркалом и вертится, оглядывая себя то с одной, то с другой стороны.

— Над чем вы смеялись? Что во мне смешного?

Киселев остолбенел и едва мог пролепетать, что не понимает, о чем государь изволит спрашивать.

— Ну, полно, Павел Дмитриевич,— продолжал тот ласково: — я же видел, что вы надо мною смеялись. Скажи правду, будь добрым: нет ли сзади моего мундира чего-нибудь смешного?

Иногда снился ему гадкий сон: будто где-то на балу или на дворцовом выходе он — в полном мундире, с Андреевской лентой через плечо, но без штанов; все на него смотрят, и он чувствует, что осрамился навеки: такое же чувство было у него теперь наяву.

Не только в лицах человеческих, но и во всех предметах что-то подсмеивалось: из вечерних туманов, на небе клубившихся, глядело смешное страшилище — поп с рогами; в Летнем саду вороны каркали, как в ту страшную ночь, 11 марта, когда спугнули их батальоны семеновцев; и на темно-багровой зимней заре красные стены Михайловского замка, отраженные в черной воде канала, напоминали кровь.

От петербургских туманов и призраков спасался он в Царское.

Здесь, в уединении, было легче. Он жил зимой в трех маленьких комнатках церковного флигеля — кабинете, спальне, столовой — очень простых, почти бедных. Ему казалось, что он уже отрекся от престола и живет в отставке.

Однажды, после обеда, он сидел один в кабинете у камелька. День был серенький, но иногда из-за туч выглядывало солнце; пламя в камельке бледнело, водянисто-прозрачное, и на замерзших окнах алмазный папоротник искрился. А за окнами, на грифельно-темном небе, белели деревья, одетые инеем; там, в снежном парке — светло, бело и тихо, как за тысячи верст от города: тишина колыбельно-могильная.

Он думал о предстоящем свидании с князем Валерьяном Голицыным.

Помнил обещанье, данное Софье; помнил также лицо князя Валерьяна в тот вечный миг над гробом Софьи, когда вдруг почувствовал, что любовь к умершей соединяет их, и что этот враг его — единственно нужный,

близкий ему человек. Тогда ничего не стоило подойти к нему и заговорить, но потом, чем больше думал об этом свидании, тем труднее казалось оно. Проходили месяцы. Он все откладывал. Голицын ждал и перестал ждать; хотел уехать, просил отпуска. Государь не пускал его, но теперь был уверен, что свидание будет для обоих тягостно, лживо, унизительно и, главное, смешно тем страшным смехом, который всюду преследовал его.

А все-таки думал об этом свидании упорно, жадно и мучительно, как будто растравлял с наслаждением рану свою. Воображал себе весь разговор в мельчайших подробностях, готовил свои вопросы и его ответы,— говорил за обоих, иногда, увлекаясь, вслух,— как актер учит роль свою перед зеркалом.

Сначала — о Софье.

— Я исполняю,— скажет,— ее предсмертную волю, говоря с вами, князь! Она говорила мне, и я знаю, что это так: если вы любили ее, то не можете быть мне врагом. Именем ее прошу вас, говорите со мной, не как с государем подданный, а как человек с человеком, как сын с отцом. Я верю, и мне хотелось бы, чтобы и вы поверили, что она слышит нас...

Помолчит и посмотрит ему прямо в глаза, а тот не выдержит,— потупится.

— Мне известно, Голицын,— заговорит опять,— что вы принадлежите к Тайному Обществу, и цели оного также известны мне: ограниченье власти самодержавной, дарованье конституции. Но разве вы не знаете, что это и моя цель?

Тут усмехнется кротко.

— Вы хотите быть моими врагами, но вы друзья мои, дети, исчадье, плоть и кровь моя. Без меня и вас бы не было. Я всегда думал и думаю, что свобода есть лучший дар Божий. Что же разделяет нас? Почему мы враги?

— Угодно знать правду вашему величеству?

— Правду, Голицын, одну правду.

— Государь, вы сами знать изволите, что Тайное Общество возникло только тогда, когда всякая надежда на дарование России свободы верховною властью была потеряна...

Если бы кто-нибудь заглянул в комнату, то подумал бы, что государь лишился рассудка. Против него стояло

пустое кресло, и он обращался к нему, как будто там сидел кто-то невидимый; ему казалось, что он говорит шепотом, но говорил так громко, что слышно было в соседней комнате; делал знаки руками, кивал головой, изменял голос; то улыбался, то хмурился — настоящий актер перед зеркалом.

— Да неужели же, Голицын, неужели вся вина на мне одном? Таких, как я, как вы,— десятки, ну, сотни в России, а остальных — миллионы. Когда мы со Сперанским только начинали преобразования, то его объявили изменником, и я принужден был пожертвовать им...

«Ну, не совсем так, но все равно, почти так,— подумал.— О Сперанском непременно что-нибудь надо сказать».

— И знаете, Голицын, что писал мне тогда Карамзин? Я до сих пор наизусть помню: «Одна из главнейших причин неудовольствия Россиян на нынешнее правление есть излишняя любовь его к преобразованиям, потрясающим империю, благотворность коих остается сомнительной». Уж если Карамзин, человек просвещеннейший, думал так, то что же другие? Зрелище единственное в мире — государь, дающий вольность народу, и народ, ее не принимающий! Нельзя сделать людей из-под палки свободными. Один в поле не воин. А я — один, помощников нет. Кем я возьмусь? Кругом видишь обман. Можем ли мы, государи, знать все, что у нас делается? Когда об этом подумаешь, волосы дыбом встают! Военная, гражданская, церковная часть — все не так. Но что же делать? Человек не может всего. Надо войти и в мое положение. Войдите же в него, подумайте, что вы делаете, раскайтесь в преступных замыслах, и я приму раскаянье ваше с любовью отеческой. А главное, поймите же, поймите, наконец, что я хочу того же, чего и вы. Будем вместе, соединим усилия наши для блага отечества...

Что скажет еще, хорошенько не знал, но чувствовал, что будет умилительно. И тот не устоит — заплачет, упадет к ногам его. Сначала — он, а потом и другие. Все придут с повинной головой. И он простит их, как отец прощает блудных сынов своих. А если и казнит кого, то, среди ликования общего, никто не заметит.

Ну, а что если не поверят, подумают, что он просто боится, лукавит, играет двойную игру, заманивает их в ловушку, чтобы вернее уничтожить заговор? Что если вспомнят слова Наполеона: «Александр тонок, как булавка, остер, как бритва, фальшив, как пена морская; если бы надеть на него женское платье, то вышла бы прехитрая женщина». Или слова бабушки: «Господин Александр, по природе своей, актер, великий мастер красивых телодвижений». Красивым телодвиженьям и теперь перед зеркалом учится. Но поздно: разбито зеркало. Никого не обманет. Только новый срам, новый смех. «Нет ли у меня сзади чего-нибудь смешного?»

Он — жертва, а они убийцы; или жертвы — они, а он — палач: этого никакими словами не скроешь. Не слова нужны, а дела. Казнить злодеев,— вот что надо. «Надо и нельзя, нельзя и надо»,— опять, как тогда, 11 марта. Ничего не решит, ничего не сделает, пальцем не двинет. Как в летаргии — все слышит, все знает, чувствует и не может дать знак, чтоб его не хоронили заживо.

— А они смеются! А они смеются!..

Камердинер Анисимов давно уже слышал из соседней комнаты, что государь говорит с кем-то. Не вошел ли кто с другого хода? Подойдя к двери, приложил ухо к замочной скважине. Когда государь произнес: «А они смеются! А они смеются!» — «Анисимов! Анисимов!» послышалось ему. Он открыл дверь и вошел.

— Чего тебе?

— Звать изволили, ваше величество?

— Вон! — закричал государь, вскочил и затопал ногами в ярости.

Через несколько минут, в шинели и фуражке, сошел вниз по лестнице.

У крыльца стоял часовой. «И этот смеется?» — подумал государь, остановился и, глядя на него в упор, спросил:

— Ты что?

— Здравия желаю, ваше императорское величество! — гаркнул тот, выпучив глаза, с таким усердием, что у государя отлегло от сердца.

— Как звать?

— Иван Охрамеенко, ваше величество!

— Ну, Иван, скажи ротному, что я тебя унтер-офицером жалую.

«Совсем, как батюшка,— подумал он: — яблочко от яблоньки недалеко падает».

Вошел в парк.

Для прогулок его расчищались дороги от снега и усыпались желтым песком на несколько верст. Густой аллеей дремучих елей под белым саваном, по берегу Большого озера, шел к Баболовской просеке.

Падал снег, сначала редкими звездами, а потом — хлопьями, еще не мокрый, но уже мягкий, липкий, предвещающий оттепель, как будто и сам теплый, удушливый.

Дойдя до просеки, завернул по узенькой тропинке в чаще леса и вышел на площадку, окруженную высокими деревьями. Сел на скамью и долго смотрел, как падает снег — в темнеющем воздухе белая сетка, белая мгла, однообразно снующая, ослепляющая, головокружительная.

«Головокружение...— подумал он.— Что такое? Что я хотел?.. Да...

...Cet esprit de vertige et d'erreur,
De la chute des rois funeste avant-coureur —

Головокружение, которое предвещает падение царей...»

То были стихи из французской трагедии, слышанной им с Наполеоном в Эрфурте.

«У меня голова закружилась бы на такой высоте»,— смеялся однажды над маленькой бронзовой куколкой, кумиром кесаря, на победном столпе Вандомской площади; а когда, после взятия Парижа, побежденные в честь победителя стаскивали веревками ту куколку под буйные клики толпы: «Долой Наполеона, виват Александр!» — закружилась-таки голова у него самого, победителя. Но свой черед каждому: сперва Наполеона, а теперь и его, Александра, спускают, при общем смехе,— маленькую, детскую, на ниточке вертящуюся куколку.

А еще что? Да, после аустерлицкого разгрома, всеми покинутый, лежал ночью, в пустой избе, на соломе, с такой животною болью, что лейб-медик Виллие боялся за жизнь его и отпаивал красным вином, за которым ездил в австрийский лагерь и там на коленях полбутылки

вымолил. А ему, государю, казалось, что эта животная боль — от страха — медвежья болезнь. Вот, когда начался тот страшный смех, от которого он теперь сходит с ума.

И еще, еще что? Самое смешное, самое страшное? Не 11 марта, не Тайное Общество,— это только струпья проказы,— а сама она где, где корень всего? Знает, где; знает, что. Не хочет знать, а знает. Не то ли, о чем он говорил тогда, когда тащили его на кровавый престол, как тащат мясники теленка на бойню, а он упирался, не шел, «теленочек бедненький»? — «Тут место проклятое,— говорил тогда: — станешь на него и провалишься; проваливались все до меня, и я провалюсь». Тогда это знал: потом забыл и вот опять вспомнил. Но поздно: голова под топором, веревка на шее у бедного теленочка. Стал на место проклятое и провалился. Надо было тогда же уйти, бежать без оглядки, а теперь поздно: сложить корону — сложить голову. И все мечты о том — только красивые телодвижения, актерское ломание перед зеркалом — ложь, срам, смех.

Закрыл лицо руками, хотел плакать,— не мог.

Встал, скинул фуражку, сбросил шинель, опустился на колени, сложил руки и поднял глаза, хотел молиться, не мог. О чем? Кому? «Чтобы самодержавно царствовать, надо быть Богом»,— это он сам говорил, это все ему говорили,— говорили и делали,— его, человека, делали Богом.

Опять закрыл лицо руками, повалился на снег и долго лежал так, недвижный, бездыханный, как мертвый.

А снег все падал да падал в темнеющем воздухе и покрывал мертвого саваном.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дневник императрицы Елизаветы Алексеевны хранился в особой шкатулке, всегда запертой. Она вела его тридцать лет, никому не показывая, кроме старого друга своего, Карамзина.

Весною, готовясь к отъезду из Петербурга в Царское, а оттуда — в Таганрог, тяжело больная и, как ей казалось, умирающая, она приводила в порядок свои бумаги: «Чтобы ко всему быть готовой, даже к смерти»,— писала в тот же день матери.

Поздно ночью, оставшись одна в спальне, отперла шкатулку, вынула дневник и стала читать. Он был на французском языке, с отдельными русскими и немецкими фразами. Читала не сплошь, а лишь те страницы, которые были ей особенно памятны. В прошлые годы почти не заглядывала, а только в два последние, 1824—5.

Читала:

«От цветка — запах, от жизни — грусть; к вечеру запах цветов сильнее, и к старости жизнь грустнее.

Карамзин, узнав, что я родилась почти мертвая, сказал:

— Вы сомневались, принять ли жизнь.

Кажется, я до сих пор сомневаюсь; никогда не умела принять жизнь, войти в нее, как следует.

Страдания человеческие — темные, но точные зеркала; надо в них смотреться, чтобы увидеть себя и узнать. Я вижу себя в своем темном зеркале не ее величеством, императрицей всероссийской, а маленькой девочкой, которая не хотела рождаться, или старой старушкой, которая не может умереть.

11 марта. Каждый год в этот день мы ездим с государем в Петропавловский собор, на панихиду по императоре Павле. Государь вспоминает прошлые годы и вот уже много лет говорит мне все с большею грустью:

— Где-то мы будем через год и будем ли вместе?

Годы проходят. Двадцать три года — двадцать три мига. Чем дальше, тем ближе. Все, как вчера.

Мы не говорим, но об одном и том же думаем; вспоминаем тот разговор накануне страшной ночи 11-го марта:

— А если кровь? — спросил он.— Что же ты молчишь? Или думаешь, что мы должны — через кровь?

— Не знаю,— начала я, но он остановил меня.

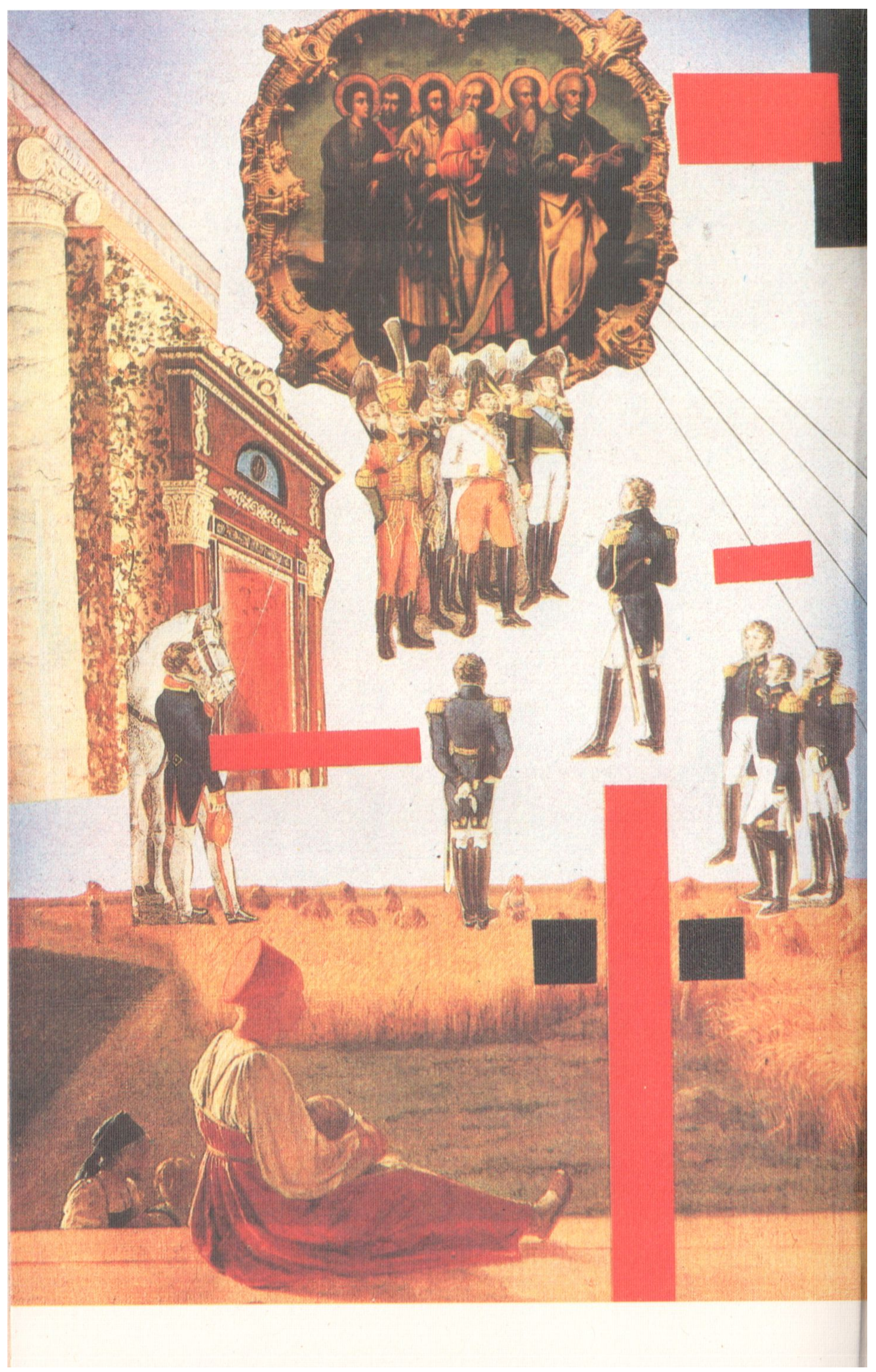
— Нет, нет, молчи, не смей! Если скажешь, Бог не простит...

Но я все-таки кончила:

— Не знаю, простит ли Бог, но мы должны.

Тогда я знала, что должны; теперь не знаю; или, как он тогда говорил: «Должны и не должны, надо и нельзя, нельзя и надо».





А потом в Москве, во время коронации, он сидел целыми часами, не двигаясь, в оцепенении, уставившись глазами в одну точку бессмысленно. Боялись за его рассудок; никто не смел к нему войти; только князь Чарторыжский иногда входил и старался утешить, ободрить его.

— Нет, этому нельзя помочь,— отвечал государь.— Я должен страдать. Как вы хотите, чтобы я не страдал? Это всегда, всегда будет...

Да, всегда было; отступало на время, а потом возвращалось. Вот и теперь возвращается. Двадцать три года — двадцать три мига; чем дальше, тем ближе; все, как вчера.

Меч прошел душу его. Не этот ли меч разделил нас? Хотим сойтись, и не можем. Такие близкие — такие чуждые. Не эта ли кровь легла между нами чертой непереступною?

Если бы я тогда не сказала: «Мы должны», то, может быть, ничего бы не было. Не он, а я виновата во всем,— я одна. Пусть же Бог не его, а меня казнит!

Вспоминаю болезнь его. Теперь, когда опасность миновала, от меня уже не скрывают, что он был на волосок от смерти: рожистое воспаление ноги могло перейти в антонов огонь. Я никогда не видала его таким кротким в страдании; это пугало меня больше всего.

Теперь он почти здоров. Когда выехал в первый раз, 22 февраля, прохожие на улицах, увидев его, становились на колени, крестились и плакали от радости.

Я тоже радуюсь, а все-таки жалею — чего? Неужели того времени, когда он был болен, страдал, и я вместе с ним? Да, мы были вместе, так близко, как уже давно не бывали. Помню, он сказал мне однажды с тою улыбкой больного ребенка, которой у него никогда раньше не было,— я так боюсь ее и так люблю.

— Вот увидите, Lise, если я поправлюсь, то буду этим обязан вам одной.

Как я была счастлива! Даже стыдно, что могла быть так счастлива, когда он страдал.

То было после первой ночи, которую провел он спокойно, благодаря особой подушке моего изобретения. Он должен был спать сидя, потому что делались приливы

крови к голове, только что ложился; подушка моя избавила его от этих приливов. Я придумала также для больной ноги его скамеечку, которая позволяла ему сидеть за столом в кресле.

Проводила с ним дни и ночи; не боялась ему как всегда помешать. Он был весь мой, и мы были одни, как будто за тысячи верст от всех, кто надоедает ему и мучает его, когда он здоров. Никто не смел к нам войти; хорошо, уютно, тихо.

— Как хорошо, Lise, всегда бы так! — говорил он.

Ухаживал за мной, любезничал. Мне казалось, что я не жена, а любовница.

Теперь всему конец. Опять одна, опять — ничто: ни жена, ни любовница. Сиделка, которая получила плату и может уйти. Опять боюсь ему помешать, стараюсь на глаза не попадаться; пробираюсь по стенке, так, чтобы никто не заметил; прихожу ночью украдкой и целую сонного: во сне он все еще мой.

Ну что ж, пусть так! Я ведь привыкла. Наяву — розно, во сне — вместе, может быть, и в последнем смертном сне. Все в жизни разделяет нас, а когда выходим из жизни — соединяемся. Наш союз не от мира сего. Муж и жена — навеки разлученные любовники.

Говорят, ночная кукушка дневную перекукует. Я всегда была для него ночною, но не умела перекуковать дневных. Я — зловещая птица: если я близко,— значит, худо ему; ему худо, а мне хорошо; чем хуже ему, тем лучше мне. Надо, чтобы он был в болезни, в несчастии, в опасности, чтобы я была с ним. Так было 11 марта; так было в 12-м году. Так и теперь. Неужели так всегда?

О, я понимаю, что он меня не любит, боится любить!

Дни проходят и приносят мне все больше горечи, но я не жалуюсь: это в порядке вещей. Все по-старому; все, как должно быть. Стараюсь приучить себя к страданию так, чтобы оно казалось мне естественным. Но это не всегда удается. Софи Строганова права, когда упрекает меня за недостаток христианских чувств. Я хочу верить, что Господь воспитывает душу мою для вечной жизни скорбями здешней; хочу отдаться Ему со связанными руками и ногами. Я говорю: все, что Он захочет; все, как Он захочет,— только бы я знала: что мне делать?

что мне делать? Потому что я иногда не знаю, не понимаю многого. «Но если нельзя понять, значит, и не надо»,— говорит Софи.

Должно быть, есть люди, которым не то что не дано, а *не позволено* быть счастливыми. Когда я счастлива, мне кажется, что я взяла чужое, украла; стыдно и страшно: знаю, что буду наказана.

Не надеяться здесь, на земле, ни на что, от всего отказаться, всему покориться, страдать молча,— мне иного нет спасения.

Я *не должна* быть счастлива,— вот тайна жизни моей,— я должна страдать. Господь знает, зачем это нужно, но Он не хочет, чтобы я это знала.

Да будет воля Его, да примет Он меня последней из последних, только бы не отверг!

Годовщина Лизанькиной смерти. Ей теперь исполнилось бы 18 лет.

Я была на кладбище Александро-Невской лавры, где похоронена Лизанька вместе с Машенькой — Мышкой моей (Mäuschen). Тут же, рядом, Алеша. На его гробнице надпись: «Кавалергардского полку штаб-ротмистр, Алексей Яковлевич Охотников, умер 30 января 1807 года на 26-м году от рождения».

Никто никогда не узнает, что скрыто для меня под этою надписью.

Когда я в последний раз пришла к нему перед смертью, он сказал мне:

— Я умираю счастливый, но дайте мне что-нибудь на память.

Я отрезала и дала ему прядь волос. Он велел положить ее в гроб. Она и теперь там. Пусть Бог меня накажет,— я не раскаиваюсь и не отниму того, что дала.

Долго ходила по кладбищу. В тени еще был снег, а на солнце — трава зеленая и желтые цветы весенние. Я сорвала три пучка: один положила на могилу Лизаньки, другой — Мышки, третий — Алеши.

Не все, кого я люблю, но все, кто любил меня,— здесь. Все трое вместе — на кладбище, так же как в сердце моем.

Говорят, к непогоде старые раны болят. Болят мои старые раны — перед какою бурею?

Вспоминаю смерть Мышки, смерть Лизаньки,— и опять времени нет; чем дальше, тем ближе; все, как вчера.

Мышке было очень плохо, а я все еще надеялась. В последнюю ночь, после ужасной рвоты и судорог, она перед утром затихла, как будто уснула. Я прилегла рядом, на диване, и тоже заснула, потому что не спала много ночей. А когда проснулась,— увидела, что она умирает. Может быть, звала меня, а я не слышала? Уже бездыханная, лежала на руках моих, а я все еще не верила. «Что это? Что это?» — повторяла бессмысленно.

Казалось тогда, что нельзя больше страдать. Но я и в половину не страдала так, как потом от Лизанькиной смерти. Да, вот что страшно: никогда не знаешь, как еще будешь страдать, как еще можно страдать, и есть ли конец страданию? Кажется, нет конца. Если бы я не верила в Бога, я тогда убила бы себя.

Все эти дни брожу по дворцу, как душа нераскаянная. Зашла намедни в Лизанькину комнату и вспомнила все. Ходила по комиате как безумная, повторяла все ее словечки и старалась им подражать. «Не, не», вместо «нет», и по-английски: «Up, up?» — когда хотела быть поднятой на руки. И еще говорила «так», когда я спрашивала ее на ухо: «Ты моя, маленькая Лизанька?» — «Так! Так!» — отвечала с таким хитрым видом, как будто понимала, в чем дело. А когда причащали ее, отвертывалась и кричала тоже по-английски: «No! No!» К государю не могла привыкнуть, боялась его и плакала.

Последние слова ее перед смертью: «Танцуй! Танцуй! Dance! Dance!», потому что любила во время болезни, когда не спала, чтоб ее сажали на подушку, носили по комнате и пели веселую песенку. Сколько раз я пела ей, глотая слезы!

Вот вспомнила это, и через столько лет боль — все такая же. Не первые минуты горя самые страшные,— их горечь опьяняет и заглушает боль,— а потом, когда опьянение проходит, все возвращается к обычному порядку, как будто забываешь — и вдруг вспомнишь.

Лизанька умерла в десять дней от зубов. Доктора все успокаивали и только в последнюю минуту испугались, потеряли голову. Дали ей мускусу. О, этот запах мускуса в полутемной комнате с опущенными шторами!

Началась рвота и судороги, точно такие же, как у Мышки. Потом окоченела, как будто задохлась. Подняли шторы, поднесли ее к окну. Чтобы узнать, жива ли, я позвала: «Лизанька!» — и она, уже вся посиневшая, вдруг подняла ручку, прикоснулась к щеке моей. И в лице ее было что-то такое жалкое, недетское, что у меня до сих пор душа разрывается.

А когда лежала в гробу, любимые птицы ее запели в соседней комнате.

За что дети страдают? Ну мы, взрослые, искупаем грехи свои. А дети за что? Первородный грех, что ли? Нет, ничего, ничего не понимаю.

Как Иов, могла бы я ответить утешителям: «Слышала я много такого; жалкие утешители — все вы бесполезные врачи!»

Да, во мне сейчас меньше покорности, чем в первые минуты горя. Боже мой, Боже мой, какое нужно терпение, чтоб не спросить у Бога: зачем? за что? Вот я твержу себе: мы здесь, на земле, не для счастья, а для страданий, и Бог лучше нашего знает, зачем это нужно. «Все к лучшему, все к лучшему!» — как говорит государь. Но не помогает это.

Софи права: во мне мало христианских чувств. И я не хочу лицемерить, не хочу казаться лучше, чем я есть. Если бы я покорилась, то, может быть, меньше страдала бы; но мне казалось бы тогда, что я изменяю тем, кого люблю.

Не хочу страдать меньше, не хочу покоряться. Хочу спорить с Богом, как Иов.

«О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим. Вот я кричу: «обида!» — и никто не слушает; вопию,— и нет суда».

Зачем я всю жизнь люблю человека, который не любит меня? Зачем полюбила Алешу? Зачем он убит? Зачем умерла Мышка? Зачем умерла Лизанька? Зачем? Зачем?

А иногда кажется — знаю, зачем; знаю, за что.

Я слишком люблю, люблю людей больше, чем Бога, и за это Он меня наказывает. Стоит мне полюбить кого-нибудь, как Бог отнимает его у меня. Уж лучше бы никого не любила. Боюсь любить.

Копаться в душе своей, растравлять свои раны — дурная привычка.

— Вы слишком за собой следите,— говорила мне покойная императрица австрийская.

Лейб-медик Виллие советует вместо всех лекарств «глупо жить».

«Желаю вам покоя и равнодушия здравого, говоря языком философических медиков»,— пишет мне Карамзин. А мой приятель, башкирец, который в Царском Селе готовил мне кумыс, говорил, бывало, поглядывая на меня с сожалением:

— Ты, матка, больна потому, что слишком умна, много думаешь; а лекарство дают,— еще хуже делают.

Ну что же, постараюсь «глупо жить». Фигаро, кажется, прав, что «все умные люди — дураки».

Зачем себе портить жизнь? Надо брать ее, как она есть,— тогда самого горького не чувствуешь. Не надо *принюхиваться* к жизни, как к воздуху в комнате покойника.

Патриотическое Общество, Сиротское училище, Эмеритальная касса, Дом Трудолюбия, лепка, живопись, карты, шашки, бирюльки — вон сколько дел!

А летом — купаться, ездить верхом. Когда ныряю и, открывая глаза под водой, вижу полусвет таинственный, или скачу верхом и ветер мне в уши свистит,— я забываю все горести жизни.

Однажды, в Ораниенбауме, с великою княгинею Анною, бывшей супругой Константина, мы голыми ногами в воде по взморью бегали, смеялись и шалили так, что статс-дама императрице-матери пожаловалась. Это четверть века назад, но есть во мне и теперь та же веселая девочка.

Право, я еще многое в жизни люблю: люблю в Петергофе сидеть на камне у моря вечером и следить, ни о чем не думая, за парусами и чайками; люблю гулять ранним утром на Каменном острове, когда ставни закрыты, все еще спят,— по той пустынной дорожке, где мы так часто гуляли с Алешею; люблю соловьиное пение в белые ночи, такое странное; люблю запах весенних берез под маленьким дождиком, теплым и тихим, как слезы счастья.

Все эти радости Софи называет «цветами у подножья креста». Зачем так пышно?

Давеча нашла я у себя в шкатулке вязальные спицы и долго не могла припомнить, откуда они; наконец вспомнила, что в 12-м году мы вязали шерстяные чулки для солдат.

Петля за петлей, день за днем, буду вязать мою жизнь, как старая добрая немка шерстяной чулок.

Еще одна смерть — Софьи Нарышкиной. Бедная девочка! Она была мне как родная дочь.

Государь очень несчастен и опять со мной. Надолго ли?

Поздно ночью вернулся с дачи Нарышкиных, где простился с умершею. Не зашел ко мне, только прислал записку: «Она умерла. Я наказан за все мои грехи».

А я так боюсь сделать ему неприятное, что не посмела утром послать спросить, как он себя чувствует. Говорят, на больной ноге его опять открылась ранка.

Завтра уезжает в военные поселения с Аракчеевым. Все равно, вернется ко мне; теперь ему деваться некуда.

Нет, есть куда: к госпоже Нарышкиной. Смерть Софьи сблизила их. Мы теперь обе нужны ему: я — сиделка, любовница, она — супруга, мать. Этого еще никогда не бывало, чтобы она была с ним в горе: всегда было так, что или она — в счастье, или я — в горе, но вот мы вместе.

Слежу за ним, узнаю стороной, когда он бывает у нее. Мне, впрочем, не надо узнавать от других — сама знаю: у меня на это нюх собачий. Кажется, слышу от него запах ее, запах мускуса, напоминающий полутемную комнату с опущенными шторами.

Неужели все еще ревную к этой твари? Именно: *тварь;* это — не бранное, а точное слово. Разве можно в лотерею разыгрывать женщину, как он разыграл ее с Платоном Зубовым? Разве можно любить с презреньем? Он-то, впрочем, думает, что иначе нельзя.

— Чтобы любить, надо немного презирать женщину,— сказал мне однажды, давно-давно, когда еще мы с ним о любви говорили.

Это комплимент: он слишком уважает меня, чтобы любить. Всегда, будто бы, казалось ему, что мы —

брат и сестра, близнецы духовные, и между нами плотская любовь — кровосмешение...

Но кто кого из них больше презирает,— я не знаю.

Раз, на придворном балу (лет двадцать назад, а как сейчас помню), я спросила Нарышкину:

— Как ваше здоровье?

— Не совсем хорошо,— ответила она, глядя мне прямо в глаза,— я, кажется, беременна.

Знала, что я знаю, от кого.

А ведь презренье ко мне — и к нему презренье.

— Я давно уже отказался от любви, даже платонической. Пора в отставку,— говорил государь намедни одной даме, за которой когда-то ухаживал.

Любит мне рассказывать о своих сердечных делах и всегда уверен в моем участии.

Если бы он кого-нибудь любил по-настоящему, мне было бы легче. Но ни одной любви, а сколько любвей! Купчихи, актрисы, жены адъютантов, жены станционных смотрителей, белобрысые немки-менонитки [1], и королева Луиза Прусская, и королева Гортензия. Со многими доходило только до поцелуев.

— Мужчины,— говорит,— не умеют останавливаться вовремя. Любовь — не геометрия: тут иногда часть больше целого.

Может быть, не любит женщин, потому что сам слишком женщина. «Кокетка», как называла его королева Гортензия. Неисправимый щеголь, в глазах женщин, как в зеркалах, только самим собой любуется.

В Вене, во время конгресса, явившись на бал в черном фраке, чулках и башмаках, старался, чтобы дамы забыли в нем государя.

— Хотя я северный варвар, но умею быть любезным с дамами.

Любовь заменяет любезностью, как старинные кавалеры Людовика XIV.

Вот голубоглазая немочка Эмилия играет на клавесине, а он рядом стоит, правую ногу отставил вперед с жеманною грацией, держит шляпу так, чтобы пуговица от галуна кокарды приходилась между двумя пальцами, смотрит в лорнет и перевертывает ноты.

---

[1] Мениниты — протестантская секта.

— Ни за что не поверю, что вы меня боитесь,— шепчет ей на ухо.

— Боюсь не угодить вашему величеству...

— О, ради Бога, забудьте мое величество! Позвольте мне быть просто человеком,— я так счастлив тогда.

А вот другая немочка (ему на них везет), Амальхен, перед разлукой поет ему: «Es war ein König in Thule» [1], и роняет слезинку на вязаный голубой кошелек, прощальный подарок.

Однажды все лето ездил верхом на ночные свидания в Парголово, для сокращения пути, прямо по засеянным полям. Крестьяне окопали их канавами. Но он и через них перескакивал. Тогда, не зная, кто этот всадник, они подали жалобу за потраву полей. Он велел заплатить и очень был доволен. Любит смешивать Боккаччо с Вертером, игривое с чувствительным.

В 12-м году, в Вильне, где в госпиталях под кучами сваленных мертвых тел иногда шевелились и стонали живые раненые,— хорошенькая пани Доротея щипала корпию, а он, целуя ей ручки, сказал:

— Чтобы воспользоваться этой корпией, хочется быть раненым.

— Это не может иметь никаких последствий (ça ne tire pas à conséquence),— утешал его Наполеон в Эрфурте, когда он каялся ему в своих любовных шалостях.— Но все же, мой милый, вам следует подумать о наследнике...

И расспрашивал о моем физическом сложении, давал советы врачебные, должно быть, с таким же благосклонным видом, с каким адъютантов своих драл за ухо.

«На свете нет вечного, и самая любовь не может быть навсегда»,— говорила нам, новобрачным, старая сводня, графиня Шувалова; он это запомнил и всю жизнь этому следовал; игра в любовь — игра в бирюльки.

Что же теперь случилось?

«Она умерла. Я наказан за все мои грехи».

Или понял, что это *может иметь последствия*?

Все эти дни душа моя, как сырое мясо.

Он все еще не решил, кто ему сейчас нужнее, я или Нарышкина. От меня — к ней, от нее — ко мне. Сегодня

---

[1] «Жил-был в Фуле король» (*нем.*).

мне говорят: «Вы мой ангел хранитель, главный по Боге!» — а завтра дают понять, что в любви моей не нуждаются. Вечные подъемы и паденья — вот отчего душа моя устала до смерти.

Я терпела, терплю и буду терпеть. Но не бывает ли иногда терпенье подлостью?

Я — как собака во время вивисекции, которая, под ножом издыхая, лижет руку хозяину.

Сегодня ночью, проходя по дворцу, я услышала музыку; остановилась и заглянула в открытые окна соседней залы; вспомнила, что у императрицы-матери — бал.

За мной был Георгиевский зал с царским троном в глубине, а предо мной в освещенных окнах танцующие пары мелькали, как тени, одна за другой. Белая ночь; светло как днем. И ночные огни казались погребальными, а веселые польки унылыми, как песни больных детей.

Если бы могли приходить к людям выходцы с того света, они должны бы чувствовать то же, что я. Бедные люди! Бедные дети! Может быть, *там* мы будем смеяться, над чем плакали *здесь*, и годы печали, годы разлуки покажутся мигами.

Алеша, Мышка, Лизанька были со мной; мы смотрели все вместе *оттуда сюда.* И светла была ночь, как улыбка на лице умершего — отблеск дня невечернего.

«Враги человеку — домашние его»,— это я на себе испытала.

Карамзин говорит:

— Вы — между людьми, как фарфоровая ваза между горшками чугунными.

Ну, положим, не фарфоровая ваза, а глиняный горшок несчастный. Зато те — какие счастливые, какие чугунные! И самая счастливая, самая чугунная — императрица-мать.

С некоторых пор ее не узнать: всегда была чопорной, на этикете помешанной, а тут вдруг на старости лет окружила себя фрейлинами-девчонками, офицерами-мальчишками и резвится с ними, как будто ей не шестьдесят, а шестнадцать лет; балы, пикники, маскарады, ужины, концерты, фейерверки, иллюминации. Сама скачет, и все за нею высуня язык, из Петербурга в Павловск,

из Павловска в Гатчину, из Гатчины в Царское. У меня голова кругом идет, а ей — нипочем.

Выдумала недавно наряжаться для верховой езды в мужское платье: лиловый, шитый золотом кафтан, на голове шапочка с пером, на ногах белое трико в обтяжку. Так как при ее полноте это не очень пристойно, то публику в парк не пускают; дежурный камер-паж бежит впереди, вертя чугунной трещоткой.

Да, не очень пристойно, но зато как вкусно живет! Вкусно пьет свой крепкий кофе и раскладывает гран-пасьянс; вкусно дышит прохладою, открывая форточки и простужая всех; вкусно хозяйничает в Павловском молочном домике, такая румяная, белая, свежая, что, кажется, от нее самой, как от бабы-коровницы, пахнет парным молоком; вкусно говорит: «Мои милые коровки, телятки! мой милый Павловск со всеми добрыми моими детьми!» А всего вкуснее спасает душу свою филантропией: «Я,— говорит,— в жизни своей не скоро могла бы иметь так много удовольствий, когда бы не было бедных!»

Уж не завидую ли я, потому что сама так невкусно живу? Иногда думаю: вот какой надо быть; вот кто вошел в жизнь, как следует; не сомневался, принять ее или нет — рождаться ли? Без сомнения родилась, без сомнения рожала. «Право, сударыня, вы мастерица детей на свет производить!» — говорила ей бабушка. И вот, может быть, истинная религия: так рассчитывать на милость Божию, чтобы не портить себе крови ничем.

А я — какая дура!

Павловск — рай, но меня тошнит от этого рая. Чистильщики прудов вытаскивают иногда из тины у Острова Любви дохлую кошку или газетный листок. В вечных туманах — сладкая гарь торфяного пожара с камфорною гнилью болот. Пахнет розами и пахнет лягушками. Тут царство лягушек. Императрица их любит, и придворный поэт ее Жуковский умеет готовить мясо лягушечьих филейчиков в серебряной кастрюльке под кисленьким соусом. Все облизываются, а меня тошнит.

В Розовом павильоне, за чаем — разговор о крепостном состоянии крестьян.

Жуковский, Карамзин, Крылов, Нелединский, новый

министр Шишков и еще какие-то старые старички, сенаторы, из которых песок сыплется. Все были согласны, что не нужно вольности. Я имела глупость возражать; сказала то, что всегда думала:

— Уничтожить рабство крестьян — есть первая цель всего в России.

Они вдруг замолчали и сконфузились, как будто я сказала что-то неприличное; потом Карамзин начал потихоньку исправлять мою глупость, доказывая, что «народ наш, удален бывши от того, чтобы почитать себя в рабстве, привязан душой к образу своего существования и находит в нем счастье»; когда же императрица-мать мнение сие одобрила, все вдруг на меня накинулись.

В саду — концерт молоденьких лягушек, а в Розовом павильоне — концерт старых жаб.

— Помилуйте, да русские мужики живут, как у Христа за пазухой!— воскликнул Жуковский.— То неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у доброго помещика нет во всей вселенной.

— Для мужиков, одним видом от скота отличающихся, вольность есть тунеядство и необузданность,— подхватил Нелединский.

— Господа помещики в государстве, как пальцы у рук: высвободи вожжи из пальцев, то лошади куда занесут! — прошамкал один старичок.

— Не можно себе представить, какая каша будет из вольности,— прошамкал другой.

Шишков побледнел и затрясся.

— Неужели все ужасы Европы не научили нас, что вольность, сей идол чужеземных слепцов, ведет к буйству, разврату и ниспровержению власти? Десница Вышнего хранит нас; чего нам лучше желать?

А самая толстая жаба, Крылов, молчал, но по лицу его видно было, что́ он о вольности думает.

Я чувствовала, что не выдержу, наговорю еще больших глупостей,— встала и ушла.

Жуковский догнал меня. Он знает, что я его не очень люблю, и это беспокоит его: какая ни на есть, а все же императрица.

Начал извиняться за несогласное мнение о вольности и спросил, не сержусь ли я на него.

— Полноте, Василий Андреевич... Посмотри-ка лучше, какая луна!

Мы шли пустынной аллеей, по берегу озера.

— Ох, уж эта мне луна! — поморщился он: — того и гляди, *Отчет* заставят писать...

О павловских лунных ночах пишет для императрицы отчеты в стихах.

Загляделся, однако, замечтался и зафилософствовал:

— Смерть, в ее истинном смысле, лучше жизни. Нетленного нет на земле: оно нас ждет за дверью гроба. А на земле всего верней — мечтать...

Я слушала и думала: за что я его не люблю? Он добр и умен; его стихи очаровательны. Но вот не люблю.

Толстенький, кругленький, лысенький, как тот фарфоровый китаец в окне чайной лавки, который кивает головой, как будто говорит: «Все к лучшему!» На лице его превосходительства написано: «Слава царю земному и небесному,— а я всем доволен, и жалованьем, и наградными».

Только от застарелой романтической грусти у него завалы в печени, и он, по совету медиков, на деревянной лошадке для моциона качается.

Гёте, когда его спросили, что он о Жуковском думает, сказал: «Далеко пойдет! Кажется, уже действительный статский советник?» О нем же словечко Вяземского: «Хотя Жуковский жив и здравствует, а хочется сказать: славный был покойник, царствие ему небесное!»

Придворный поэт, почивший на павловских розах, придворный повар Овсяного Киселя и лягушечьих филейчиков. Намедни, защищая смертную казнь, он доказывал, что из нее надо бы сделать «христианское таинство».

— Иной философии быть не может, как философия христианства: от Бога к Богу,— говорил он теперь, глядя на луну.— Желать чего-нибудь страстно — значит мешаться в дело Провидения. Середина есть то, что всякий человек избирать должен...

— Серединка-на-половинке? — не выдержала я, наконец,— рассмеялась.— А помните, ваше превосходительство:

Дети, овсяный кисель на столе, читайте молитву...

— Грешен, ваше величество, люблю овсяный кисель, и вы когда-нибудь полюбите!

Я заглянула в его китайские глазки и ничего не ответила. Но он, кажется, понял, что меня тошнит.

Путешествие государя по восточным губерниям назначено осенью. Уедет в августе, вернется в ноябре. Я останусь одна в Царском и думаю об этом с ужасом. С какой бы радостью я поехала с ним! Но он и слышать не хочет.

Эти вечные отъезды — бедствие жизни моей. Если не проехал он за год тысяч двенадцать верст — ему не по себе. А за всю свою жизнь сделал не меньше 200.000. Это настоящая болезнь. «Лучше всего,— говорит,— чувствую себя в коляске: там только я спокоен».

Как будто не находит себе места, от невидимой погони бегает, скачет, сломя голову, так что лошадей загоняет. На малейшее промедление сердится: «Я уже и так,— говорит,— полчаса по маршруту промешкал!»

Вечно торопится, боится опоздать куда-то; уверяет, будто ему надо что-то осматривать; но это предлог: путешествует без всякой цели. Сам над собою смеется:

— Я — Вечный Жид. Ни на что уж не годен, как только скитаться по белу свету, словно на мне отяготело пророчество: *и будет ти всякое место в предвижение.*

Он уехал. Я одна. Живу в Царском. Здесь хорошо осенью — пустынно, тихо. В ясные ночи в окна смотрит луна, моя единственная собеседница. А я, в сорок лет, как глупая девочка, грущу при луне о возлюбленном.

Карамзин тоже здесь. Мы с ним часто видаемся. Я ему читаю дневник. Иные места не хватает духу прочесть; тогда передаю ему, и он прочитывает молча. Иногда вижу слезы на глазах его, но не стыжусь: он меня любит.

— Умею,— говорит,— издали смотреть на вас с тем чувством, которое возьму с собой и на тот свет: для истинной любви здешняя жизнь коротка.

Бродим вдвоем по пустынным аллеям, где желтые листья падают.

«Моя вечерняя жизнь...» — сказал он однажды. Как хорошо сказано: вечерняя жизнь. Оба — старые, усталые, вечерние. Жалуемся друг другу, кряхтим да охаем.

— Я, ваше величество, приобрел в рюматизмах новую опытность. Несмотря на благоприятное действие атмосферического воздуха, чувствую в моих ежедневных прогулках почти болезненную томность,— говорит он, опираясь на палочку и прихрамывая.

И, как два старика, поддерживаем друг друга под руку, а желтые листья падают.

Здесь, в Царском, позднею осенью, как никогда и нигде, вспоминается мне моя молодость. Вот на этом лугу,— он тогда назывался Розовым Полем, потому что весь был обсажен розами,— сиживала императрица-бабушка; ее, уже больную, катали в креслах на колесиках, а мы перед нею бегали взапуски, играли в горелки, в пятнашки, в веревочку. Мой жених — шестнадцатилетний мальчик, а я невеста — четырнадцатилетняя девочка.

Бабушка, недовольная тем, что по ночам крали розы, поставила здесь часового. Прошли годы, розы одичали, а часовой на том же месте, как полвека назад, сторожит несуществующие розы — розы воспоминаний. И кажется мне, что все еще бегает здесь шестнадцатилетний мальчик с четырнадцатилетней девочкой.

Амуру вздумалось Псиxею,
Резвяся, поимать...

Но пусто кругом — последние розы увяли, и лепестки на них осыпались, обнажая черные сердца.

— Все кажется сном, а сердцу больно, как наяву,— говорит Карамзин голосом тихим, как шелест осенних листьев.— Мне и от радости бывает грустно. Свет гаснет для меня, или я для него гасну,— но так и быть: надо покинуть свет, прежде чем он нас покинет. Да здравствует Провидение! Почти хотелось бы сказать: да здравствует смерть!..

Намедни прочел послание к Элизе — ко мне:

Здесь — все мечта и сон, но будет пробужденье!
Тебя узнал я здесь в прелестном сновиденьи,—
Узнаю наяву.

Заплакал и поцеловал мне руку, а я его — в лысую голову.

И, глядя, как светлые паутинки осени соединяют черные сердца увядших роз, я повторяла:

— Все кажется сном, сердцу больно, как наяву...

С Карамзиным в Китайском домике живет камер-юнкер князь Валерьян Голицын, племянник бывшего министра. Он был болен, почти при смерти; теперь поправляется. Иногда я вижу его издали.

Карамзин мне сказал, что Голицын — член Тайного Общества.

— Какое Тайное Общество?

— Разве вы не знаете?

— Не знаю.

Он сперва замялся, не хотел говорить, но я упросила его, и он рассказал мне все.

Существует заговор, здесь, в Петербурге, и в Южной армии, для введения в России конституции. Злодеи намерены произвести возмущение в войсках и, в случае надобности, посягнуть на жизнь государя.

Государь давно уже знает об этом. Как же мне не сказал?

Теперь вспоминаю, что у меня было предчувствие. Я все старалась понять, что у него на душе, чем он мучается, о чем думает. Так вот о чем...

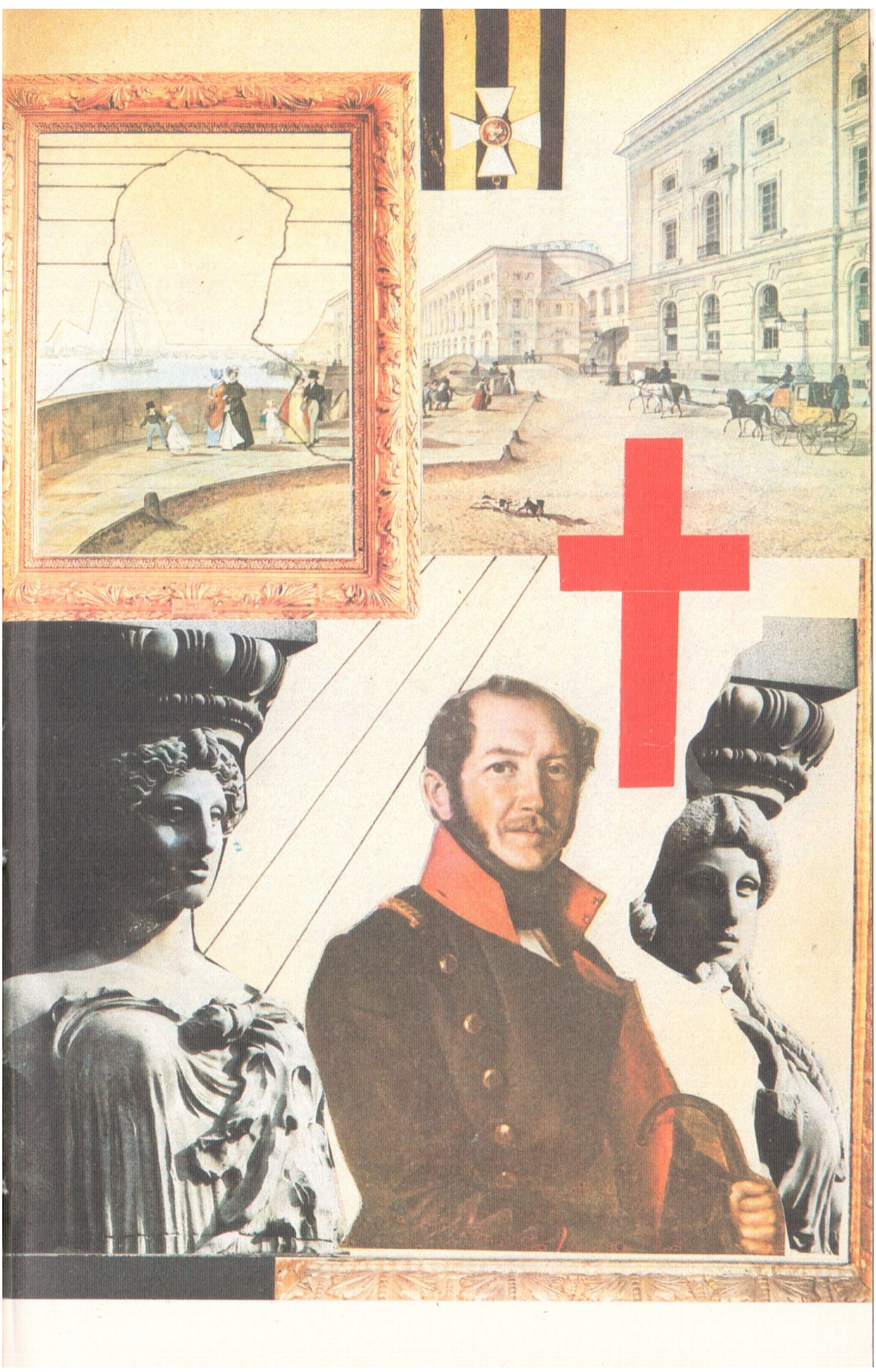
Еще новость: великий князь Николай — наследник престола. Я узнала об этом из случайного разговора Nixe и Alexandrine с императрицей-матерью, в моем присутствии,— вообще мною не стесняются. Императрица спросила меня:

— Разве вам государь ничего не говорил?

Она видела, как мне стыдно и больно: может быть, для того и начала разговор.

Опять Карамзин рассказал мне все под большим секретом: боится, что государь узнает и будет сердиться.

Николай — наследник, это дело решенное; Константин уже отрекся от престола, и государь, может быть, еще при жизни своей, отречется в пользу Николая. Манифест, завещание или что-то в этом роде спрятано где-то, и пока никому ничего неизвестно . . . . По тайному завещанию, передают из рук в руки Россию, как частную собственность. Судьба народа считается делом домашним: после смерти хозяина раскроют завещание и узнают, чья Россия . . . .




1812 ГОДЪ

. . . .

Не могу привыкнуть к этой новости. Николай, Никс — самодержец Российский!

Как сейчас помню драки маленького Никса с Мишелем. Никс был бедовый мальчишка: в припадке злости рубил топориком игрушки, бил палкой и чем ни попало бедного Мишеньку. Однажды, ласкаясь к учителю, укусил его за ухо; был, однако, трусишкою: от грозы под кровать прятался, а когда ему надо было вырвать кривой зуб, так боялся, что несколько дней плакал, не спал и не ел. Зато, еще мальчиком, делал ружейные приемы, как лучший ефрейтор. Я и впоследствии никогда не видывала книги в его руках: единственное занятие — фронт и солдаты.

— Я не думал вступать на престол,— говорит сам,— меня воспитывали, как будущего бригадного.

Уже молодым человеком, в Твери, в саду великой княгини Екатерины Павловны, статую Аполлона взорвал порохом, *в виде забавы*. Он и сам хорош, как Аполлон, только все что-то не в духе: Аполлон, страдающий зубною болью.

Недавно, на ученье, перед фронтом, обозвал офицеров «свиньями» и грозил всех «философов» вогнать в чахотку.

. . . . Кто-то сказал о нем: «Il y a beaucoup de praporchique en lui et un peu de Pierre le Grand» [1].

Как-то будет он царствовать?

Не знаю, впрочем, кто лучше,— Николай или Константин?

У того отвращение к престолу врожденное.

— Меня,— говорит,— непременно задушат, как задушили отца.

Когда я смотрю на это курносое лицо с мутно-голубыми глазами навыкате, с светлыми насупленными бровями и светлыми волосиками на кончике носа, которые щетинятся в минуты гнева,— мне всегда чудится привидение императора Павла.

— Не понимаю,— говаривала бабушка,— откуда вселился в Константина такой подлый *санкюлотизм*!

---

[1] В нем много от прапорщика и мало от Петра Великого (*франц.*).

Однажды сказал он о беременной матери:

— В жизнь мою такого живота не видывал: тут место для четверых!

Я собственными глазами читала письмо его к Лагарпу с подписью: . . . . Это, впрочем, может быть, искреннее смирение «санкюлота», потому что он искренен и добродушен по-своему.

Но когда я думаю о нем, передо мною встает тень госпожи Араужо . . . .
. . . .
и тень Алеши, убитого из-за угла наемным кинжалом злодея.

А все-таки — лучше Константин, чем Николай.

Теперь понимаю, откуда у них у всех эта надменность: царствование императора Александра кончилось, царствование императора Николая началось.

Мне иногда кажется, что государь ими предан и продан.

Что-то будет с Россией?

Все думаю о Тайном Обществе.

У этих злодеев есть правда,— вот что всего ужаснее. И почему «злодеи»? Не мы ли показали им пример 11 марта? Не я ли когда-то проповедовала революции, как безумная? Не говорила ли: «Мы должны — через кровь»?.. Тогда — мы, теперь — они: кровь за кровь.

Может быть, я ничего не понимаю в политике. Но, кажется, в России все идет не так, как следует.

Вспоминаю мой разговор с генералом Киселевым, начальником штаба Южной армии, где главное гнездо заговорщиков. Говорят, будто бы и он — с ними, но я этому не верю: он государю предан.

— В течение двадцати четырех лет само правительство питало нас либеральными идеями,— говорил Киселев: — преследовать теперь за свободомыслие не то же ли значит, что бить слепого, у которого сняты катаракты, за то, что он видит свет? В двенадцатом году свободу проповедовали нам воззвания, манифесты и приказы. Манили народ, и он добрым сердцем поверил, не щадил ни крови своей, ни имущества. Наполеон низринут, Европа освобождена, государь возвратился, увенчанный славою. Но народ, давший возможность к

славе, получил ли какую льготу? Нет. Ратники, возвратясь в домы свои, первые разнесли ропот: «Мы проливали кровь, а нас заставляют потеть на барщине; мы избавили родину от тирана, а нас тиранят господа». Все, от солдата до генерала, только и говорили: «Как хорошо в чужих землях, и почему не так у нас?»

— Вот начало свободомыслия в России,— заключил Киселев: — чтобы истребить корень его, надо истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в нынешнее царствование...

И вот, говорю от себя, основание Тайного Общества.

Да, есть у них правда. Государь это знает,— оттого так и мучается.

Но как же опять не сказал мне? Что он со мною делает?

Я должна говорить с ним, будь что будет...

...Всю зиму была больна; простудилась во время наводнения.

Теперь лучше,— говорят, что лучше. А я не знаю. Мне все равно. Хожу, двигаюсь, но как будто это не я, а кто-то другой. Такая слабость, такой упадок сил, что, кажется, если бы я могла выпить немного жизни с ложки, как пьют лекарство, это бы мне помогло.

Опять — балы, маскарады, концерты, ужины и визиты, визиты и родственники, родственники, сорок тысяч родственников: Вюртембергские, Оранские, Веймарские, Российские — все на меня наседают. Я должна быть любезна со всеми, но только что уйдут, падаю, как загнанная лошадь.

Вчера с головною болью одевалась на бал; стояла перед зеркалом; только что эту бедную голову убрали цветами и бриллиантами, меня начало рвать; вырвало — сделалось легче, и отправилась на бал; просидела до ужина, только от запаха блюд убежала. А когда осталась одна и взглянула на себя в зеркало, то испугалась: краше в гроб кладут.

Сегодня ждала на сквозняке, в холодной приемной у Alexandrine, потом попала некстати с визитом к импе-

ратрице, а ночью — маскарад. И при этом говорят: «Поправляйтесь!»

От государя записка: «Если вам нужна помощь моя, я готов прекратить все эти визиты; но умоляю вас, положите конец вашей пытке».

Лейб-медик Штофреген сказал ему прямо, что меня *убивают*.

Когда я всхожу по лестнице Зимнего дворца — 73 ступени,— у меня такое чувство, что я когда-нибудь тут же упаду бездыханною.

Я — как солдат на часах, который не смеет сойти с места. Не люблю даром есть хлеб, а главное, терпеть не могу, чтобы меня жалели. Сижу иногда с опущенною вуалью даже в собственной комнате, чтобы не чувствовать на себе сострадательных взоров: «Ах, бедная женщина! Какая больная, несчастная!»

Это похоже на пытку, когда голого, обмазанного медом, выставляют на съедение насекомым.

Доктора думают, что у меня чахотка. Я им не верю. Вот уже много лет чувствую биение жилы под сердцем; что-то бьется во мне, как подстреленная птица.

Не помню, кто сказал: «В жизни каждого человека наступает время, когда сердце должно окаменеть или разбиться».

Сердце мое не окаменело и должно разбиться. Бедный глиняный горшок между чугунными!

Доктора думают, что я больна, а мне кажется, что я умираю. Тело мое — как изношенное платье: всякая малость делает новую дыру, а починить нельзя, потому что живого места нет,— еще хуже разлезается, как Тришкин кафтан.

Кажется, повезут меня в Таганрог осенью. Мне все равно. Только бы не в Италию: зрелище больной императрицы, которую возят из города в город, очень противно.

Я не могла бы нигде жить, кроме России, даже если бы меня весь мир забыл. И умереть хочу в России.

Государь отвезет меня в Таганрог и на зиму вернется в Петербург. А я останусь одна, опять одна.

Я хотела бы пустынного зеленого уголка у моря, а главное — с ним. Но это слишком хорошо для меня. Всякий говорит: «Я еду туда и туда»; мой конюх говорит: «Я еду на морские купанья». А я не могу.

Я уже давно была бы здорова, если бы мне дали путешествовать, когда мне этого еще хотелось. Но государь ни за что не соглашался, не знаю почему. А теперь поздно.

Я всегда просила Бога, чтобы Он помог мне сломить себя, уничтожить в себе всякое желание. Я жертвовала государю всем, как в малом, так и в большом. Сначала трудно было, но стоило ему сказать: «Вы такая рассудительная»,— и я делала все, что он хотел. Я смешивала покорность ему с покорностью Богу, и это была моя религия. Я говорила себе: «Он этого хочет»,— и трудное делалось легким, горькое — сладким; все легче и легче, все слаще и слаще.

Ну вот и сломила себя. Во мне больше нет желаний, нет воли, нет ничего, как будто меня самой нет.

Почему же вдруг стало страшно? Почему я не знаю, права ли я? прав ли он?

— У тебя ложный стыд,— часто говорила мне маменька,— когда тебя оттесняют, ты сейчас же сама прячешься, начинаешь стыдиться и по стенке пробираешься, чтобы тебя не заметили. Надо быть самоуверенней. Это необходимо в твоем положении.

Да, всю жизнь пробираюсь по стенке; делаю вид, что меня нет; стараюсь не быть. По Писанию: *жены да безмолвствуют.*

Я только женщина, я слишком женщина.

Права ли я, что сломила, убила себя для него? Может быть, надо было возмутиться? Может быть, я была правее, когда возмущалась?

Но теперь поздно. Теперь я нужна ему; нужнее, чем когда-либо, воля моя, сила, помощь,— но вот ничего не могу ему дать, потому что во мне самой нет ничего. Мертвая рядом с живым. Иногда он подходит ко мне, как будто все еще надеется, хочет что-то сказать и ждет, чтобы я заговорила; но у меня нет слов, и мы оба молчим, а если говорим, то это как беседа глухонемых.

Я не знаю, что с ним, вижу только, что трудно ему, так трудно, как еще никогда. И не могу помочь, ничего не могу сделать. Должна смотреть, как он гибнет,— и ничего, ничего не могу сделать.

Мы — как два утопающих: друг за друга цепляемся и тащим друг друга ко дну.

Если я одна виновата, прости меня, Господи! Ты Сам меня создал такою. Я ничего не могу, ничего не хочу, ничего не знаю — я только люблю.

А если оба мы виноваты,— казни меня, а не его, возьми душу мою за него...»

Кончив читать, закрыла дневник с таким чувством, что конец его — ее конец.

Красные капли сургуча на белую бумагу, как капли крови, закапали; старинной печатью с девичьим Баденским гербом [1] запечатала; сделала надпись: «После моей смерти сжечь».

Спрятала дневник в шкатулку и заперла на ключ.

Закрыла лицо руками. Молилась все о том же,— чтобы Господь казнил ее одну, а его помиловал.

Была и другая молитва в душе ее, но она сама почти не знала о ней, а если бы узнала, то удивилась бы, испугалась: молитва о том, чтобы Бог простил ее, так же как она прощает Бога.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Батюшка, ваше величество! Всеподданнейше доношу вашему императорскому величеству, что посланный фельдъегерский офицер Ланг привез сего числа от графа Витта 3-го Украинского полка унтер-офицера Шервуда, который объявил мне, что он имеет донести вашему величеству касающееся до армии, а не до поселенных войск,— состоящее, будто бы, в каком-то заговоре, которое он не намерен никому более открыть, как лично вашему величеству. Я его более не спрашивал, потому что он не желает оного мне открыть, да и дело не касается военных поселений, а потому и отправил его в Санкт-Петербург к начальнику штаба, генерал-майору Клейн-

[1] Императрица Елизавета Алексеевна — в девичестве Луиза Баденская.

михелю, с тем чтобы он содержал его у себя в доме и никуда не выпускал, пока ваше величество изволите приказать, куда его представить. Приказал я Лангу на заставе унтер-офицера Шервуда не записывать. Обо всем оном всеподданнейше вашему императорскому величеству доношу.

Вашего императорского величества верноподданный

Граф Аракчеев».

Это письмо из Грузина государь получил на Каменном острове, в середине июля. Еще раньше писал ему Шервуд, помимо Аракчеева, через лейб-медика Виллие, прося, чтобы отвезли его в Петербург, по важному, касающемуся лично до государя императора делу.

Государь знал, что Шервуд — агент тайной полиции генерала Витта, главного начальника южных военных поселений, которому, еще лет пять назад, поручено было следить за Южной армией, употребляя сыщиков, и доносить обо всем.

О генерале Витте ходили темные слухи.

— Витт есть каналья, каких свет не производил, и то, что по-французски называется висельная дичь (gibier de potence),— говорил великий князь Константин Павлович.

Проворовался будто бы,— не может дать отчета в нескольких миллионах казенных денег и готов душу черту продать, чтобы выпутаться из этого дела. С Тайным Обществом играет двойную игру: доносит, а сам поступил в члены, замышляя предательство на ту или другую сторону, заговорщикам или правительству,— смотря по тому, чья возьмет.

Государю казалось иногда, что доносчики опаснее заговорщиков.

— Вы знаете, ваше величество, я враг всяких доносов, понеже самая ракалья [1] может очернить и сделать вред честным людям,— вспомнил он слова Константина Павловича.

Всегда был брезглив: «чистюлькой» называла его бабушка; похож на горностая, который предпочитает отдаться в руки ловцов, нежели запятнать белизну свою — одежду царей.

---

[1] Сволочь (франц. racaille).

Один из доносов — капитана Майбороды — намедни бросил в печку, сказав:

— Мерзавец, выслужиться хочет!

А все-таки решил принять Шервуда: сильнее отвращения было любопытство ужаса.

Свидание назначено 17 июля, в пять часов дня, в Каменноостровском дворце.

Дворец напоминал обыкновенную петербургскую дачу. С балкона несколько ступенек, уставленных тепличными растениями, вели в сад. Весною дачники, катавшиеся на яликах по Малой Невке, могли видеть, как государь гуляет в саду, навевая на себя благоухание цветущей сирени белым платочком. Кроме часового в будке у ворот — нигде никакой стражи. Сад проходной: люди всякого звания, даже простые мужики, проходили под самыми окнами.

День был душный; парило; шел дождь, перестал, но воздух насыщен был сыростью. Туман лежал белою ватою. Крыши лоснились, с деревьев капало, и казалось, что потеет все, как больной в жару под пуховой периной. Где-то, должно быть, на той стороне Малой Невки, на Аптекарском острове (звук по воде доносился издали), кто-то играл унылые гаммы. И одинокая птица пела все одно и то же: «тили-тили-ти»,— как будто плакала; помолчит и опять: «тили-тили-ти». Та грусть была во всем, которая бывает только на петербургских дачах, в конце лета, когда уже в усталой, томной, темной, почти черной зелени чувствуется близость осени.

Ровно в пять часов доложили государю о Клейнмихеле с Шервудом. Государь обедал; велел подождать и досидел до конца обеда с таким спокойным видом, что никто ничего не заметил; потом встал, вышел в приемную, поздоровался с Клейнмихелем и, едва взглянув на Шервуда, велел ему пройти в кабинет. Клейнмихель остался в приемной,— соседней комнате.

Войдя в кабинет, государь запер дверь и закрыл окно, выходившее в сад; там все еще слышались гаммы, и птица плакала. Сел за письменный стол, взял карандаш, бумагу и, наклонившись низко, не глядя на Шервуда, начал выводить узор — палочки, крестики, петельки. Шервуд стоял против него, вытянувшись, руки по швам.

— Не того ли ты Шервуда сын, которого я знаю,— в Москве на Александровской фабрике служит?

— Того самого, ваше величество!

— Не русский?

— Никак нет, англичанин.

— Где родился?

— В Кенте, близ Лондона.

— Каких лет в Россию приехал?

— Двух лет, вместе с родителем. В тысяча восьмисотом году отец мой выписан блаженной памяти покойным государем императором Павлом Петровичем и первый основал в России суконные фабрики.

— Говорите по-английски?

— Точно так, ваше величество!

Вопрос и ответ сделаны были по-английски. «Кажется, не врет»,— подумал государь.

— Что же ты хотел мне сказать?

— Я полагаю, государь, что против спокойствия России и вашего императорского величества существует заговор.

— Почему ты так полагаешь?

В первый раз, подняв глаза от бумаги, взглянул на Шервуда.

Ничего особенного: лицо как лицо; неопределенное, незначительное, без особых примет, чистое, как говорится в паспортах.

Шервуд начал рассказывать беседу двух членов Южного Тайного Общества, поручика графа Булгари и прапорщика Вадковского, подслушанную у двери, в чужой квартире, в городе Ахтырке Полтавской губернии. Вадковский предлагал конституцию. Булгари смеялся: «Для русских медведей конституция? Да ты с ума сошел! Верно, забыл, какая у нас династия,— ну куда их девать?» А Вадковский: «Как, говорит, куда девать?..»

Шервуд остановился.

— Простите, ваше величество... страшно вымолвить...

— Ничего, говори,— сказал государь, еще раз взглянув на него: лицо бледное, мокрое от пота, безжизненно, как те гипсовые маски, что снимают с покойников; только левый глаз щурится,— должно быть, в нем судорога,— как будто подмигивает. И это очень

противно. «Экий хам!— вдруг подумал государь и сам удивился своему отвращению:— это потому что я знаю, что доносчик».

Опустив глаза, опять принялся за крестики, палочки, петельки.

— «Как, говорит, куда девать?— подмигнул Шервуд:— перерезать!»

Государь пожал плечами.

— Ну, что же дальше?

Он почему-то был уверен, что слово «перерезать» не было сказано.

— Когда остались мы одни, Вадковский подошел ко мне и, немного изменившись в лице, говорит: «Господин Шервуд, будьте мне другом. Я вам вверю важную тайну».— «Что касается до тайн,— говорю,— прошу не спешить: я не люблю ничего тайного». — «Нет,— говорит,— Общество наше без вас быть не должно».— «Здесь,— говорю,— не время и не место, а даю вам честное слово, что приеду к вам, где вы стоите с полком».

А на Богодуховской почтовой станции, ночью, с проезжею дамою, должно быть, его, Шервуда, любовницей, был такой разговор: «Дайте мне клятву,— сказала дама,— что никто в мире не узнает, что я вам сейчас открою». Он поклялся, а она: «Я,— говорит,— еду к брату; боюсь я за него: Бог их знает, затеяли какой-то заговор против императора, а я его очень люблю; у нас никогда такого императора не было...»

— Кто эта дама?— спросил государь.

— Ваше величество, я всегда шел прямою дорогою, исполняя долг присяги, и готов жизнью пожертвовать, чтобы открыть зло; но умоляю ваше величество не спрашивать имени: я дал клятву...

«Тоже — рыцарь!»— подумал государь, делая усилие, чтобы не поморщиться, как от дурного запаха.

— Это все, что ты знаешь?— сказал он и, перестав чертить узор, начал писать по-французски много раз подряд: «Каналья, каналья, каналья, висельная дичь...»

— Точно так, ваше величество,— все, что знаю достоверного; слухов же и догадок сообщать не осмеливаюсь...

— Говори все,— произнес государь и начал ломать карандаш под столом, кидая на пол куски; чувствовал, что с каждым вопросом будет залезать все дальше в

грязь,— но уже не мог остановиться: как в дурном сне, делал то, чего не хотел.

— Как ты думаешь, велик этот заговор?

— Судя по духу и разговорам вообще, а в особенности офицеров второй армии, заговор должен быть распространен до чрезвычайности. В войсках очень их слушают.

— Чего же *они* хотят? Разве им так худо?

— С жиру собаки бесятся, ваше величество!

«Он просто глуп»,— подумал государь с внезапным облегчением. А все-таки спрашивал:

— Как полагаешь, нет ли тут поважнее лиц?

Шервуд помолчал и покосился на дверь: должно быть, боялся возвышать голос, а что государь плохо слышит,— заметил.

— Подойди, сядь здесь,— указал ему тот на стул рядом с собою: сделал опять то, чего не хотел.

Шервуд сел и зашептал. Государь слушал, подставив правое ухо и стараясь не дышать носом: ему казалось, что от Шервуда пахнет потом ножным,— запах, от которого государю делалось дурно. «И чего он так потеет: от страха, что ли?»— подумал с отвращением.

Шервуд говорил о двусмысленном поведении генерала Витта, который, будто бы, *всего* не доносит,— и генерала Киселева, у которого главный заговорщик Пестель днюет и ночует; о неблагонадежности почти всех министров и едва ли не самого Аракчеева.

— В военных поселениях людям дают в руки ружья, а есть не дают: при нынешних обстоятельствах такое положение дел очень опасно...

«Нет, не глуп; многое знает и меньше говорит, чем знает»,— подумал государь.

— Полагаю,— заключил Шервуд,— что Общество сие есть продолженье европейского общества карбонаров. Важнейшие лица участвуют в заговоре; все войско — тоже. Не только жизнь вашего императорского величества, но и всей царской фамилии находится в опасности, и опасность близка. Произойдет кровопролитие, какого еще не бывало в истории. Ведь *они* хотят — всех...

«Всех перерезать»,— понял государь.

— У них — черные кольца с надписью семьдесят один.

— Что это значит?

— Извольте счесть, ваше величество: января — тридцать один день, февраля — двадцать девять, марта — одиннадцать, итого — семьдесят один. Тысяча восемьсот первого года одиннадцатого марта и тысяча восемьсот двадцать шестого года одиннадцатого марта — двадцать пять лет с кончины блаженной памяти вашего родителя, государя императора Павла Первого,— подмигнул Шервуд.— Покушение на жизнь вашего императорского величества в этот самый день назначено...

«Одиннадцатое марта за одиннадцатое марта, кровь за кровь»,— опять понял государь. Побледнел, хотел вскочить, закричать: «Вон, негодяй!»— но не было сил, только чувствовал, что холодеют и переворачиваются внутренности от подлого страха, как тогда, после аустерлицкого сражения, в пустой избе, на соломе, когда у него болел живот.

А глаза Шервуда блестели радостью: «Клюнуло! клюнуло!»

Перестал пугать и как будто жалел, утешал:

— Зараза умов, возникшая от ничтожной части подданных вашего императорского величества, не есть чувство народа, непоколебимого в верности. Хотя и много времени упущено, но ежели взять меры скорые, то еще можно спастись; только надобно, как баснописец Крылов говорит:

С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой,—

заключил почти с развязностью, и что-то было в лице его такое гнусное, что государю вдруг почудилось, что это — не человек, а призрак: не его ли собственный дьявол-двойник — воплощение того смешного — страшного, что в нем самом?

— Хорошо, ступай, жди приказаний от Клейнмихеля. Ступай же!— проговорил он через силу, встал и протянул руку, как будто желая оттолкнуть Шервуда; но тот быстро наклонился и поцеловал руку.

Оставшись один, государь открыл настежь окно и дверь на балкон: ему казалось, что в комнате дурно пахнет. Вышел в сад, но и здесь в теплом тумане был тот же запах как бы ножного пота, и с мокрых, точно потных, листьев капало. На пустынной аллее долго стоял

он, прислонившись головой к дереву; чувствовал тошноту смертную; казалось, что от него самого дурно пахнет.

На следующий день перешел из кабинета в другую комнату, в верхнем этаже, под предлогом, что сыро внизу, а на самом деле потому, что неприятно было слышать близкие шаги прохожих.

В тот же день увидел часовых там, где их раньше не было, и новую белую решетку в саду, которой запирался ход мимо дворца; должно быть, распорядился Дибич: государь никому ничего не приказывал.

Вспомнил анекдот об уединенных прогулках своих по улицам Дрездена: старушка-крестьянка, увидев его, сказала: «Вон русский царь идет один и никого не боится, видно, у него чистая совесть!» А теперь — белая решетка...

Однажды, ночью, вбежал к нему дежурный офицер с испуганным видом:

— Беда, ваше величество!

— Что такое?

— Не моя вина, государь, видит Бог, не моя...

— Да что, что такое? Говори же!

— Апельсин... апельсин...— лепетал офицер, задыхаясь.

— Какой апельсин? Что с тобою?

— Апельсин, ваше величество, отданный в сдачу, свалился...

У дворца, на набережной, стояли апельсиновые деревья в кадках; на них зрели плоды, и часовой охранял их от кражи. Один упал от зрелости. Часовой объявил о том ефрейтору, ефрейтор — караульному, караульный — дежурному, а тот — государю.

— Пошел вон, дурак!— закричал он в ярости; потом вернул его, спросил, как имя.

— Скарятин.

Скарятин был в числе убийц 11 марта. Конечно, не тот. Но государь все-таки велел никогда не назначать его в дежурные.

Переехал в Царское. Не потому ли, что там безопаснее? Об этом старался не думать. По-прежнему гулял в парке один, даже ночью, как будто доказывал себе, что ничего не боится.

В середине августа, ненастным вечером, шел от каскадов к пирамиде, где погребены любимые собачки императрицы-бабушки: Том, Андерсон, Земира и Дюшесс.

Наступали ранние сумерки. По небу неслись низкие тучи; в воздухе пахло дождем, и тихо было тишиной предгрозною; только иногда верхушки деревьев от внезапного ветра качались, шумели уныло и глухо, уже по-осеннему, а потом умолкали сразу, как будто кончив разговор таинственный. Английская сучка государева, Пэдди, бежала впереди; вдруг остановилась и зарычала. У подножия пирамиды кто-то лежал ничком в траве; лица не видать, как будто прятался. Государь тоже остановился и вдруг почувствовал, что сердце его тяжело заколотилось, в висках закололо, и по телу мурашки забегали: ему казалось, что тот, в траве, тихонько шевелится, приподымается и что-то держит в руке. Пэдди залаяла. Лежавший вскочил. Государь бросился к нему.

— Что ты делаешь?— крикнул голосом, который ему самому показался гадким, подлым от страха, и протянул руку, чтобы схватить убийцу.

— Виноват, ваше величество,— послышался знакомый голос.

— Это ты, Дмитрий Клементьич? Как ты...

Не кончил,— хотел сказать: «Как ты меня напугал!»

— Как ты тут очутился? Что ты тут делаешь?

— Земиры собачки эпитафию списываю,— ответил лейб-хирург Дмитрий Клементьевич Тарасов.

Не нож убийцы, а перочинный ножик, которым чинил карандаш, держал он в руке и с могильной плиты собачки Земиры списывал французские стихи графа Сегюра:

«Здесь лежит Земира, и опечаленные Грации должны набросать цветов на ее могильный памятник. Да наградят ее боги бессмертием за верную службу».

— А знаешь, Тарасов, мне показалось, что это кто-нибудь из офицеров подгулявших расположился отдохнуть,— усмехнулся государь и почувствовал, что краснеет.— Ну, пиши с Богом. Только не темно ли?

— Ничего, ваше величество, у меня глаза хорошие.

Государь, свистнув Пэдди, пошел. А Тарасов долго смотрел ему вслед с удивлением.

И государь удивлялся. Никогда не был трусом. В битве под Лейпцигом, когда пролетело ядро над головой его, сказал с улыбкою: «Смотрите, сейчас пролетит другое!» В той же битве, когда все считали дело проигранным и Наполеон говорил: «Мир снова вертится для нас!» — он, Александр, «Агамемнон сей великой брани», не потерял присутствия духа.

Что же с ним теперь? «С ума я схожу, что ли?» — думал с тихим ужасом.

В Павловском дворце, рядом со спальнею императрицы-матери, была запертая комната. Никто никогда не входил в нее, кроме самой императрицы да камер-фурьера Сергея Ивановича Крылова. Крылов был старичок дряхлый, из ума выживший, в красном мальтийском мундире времен Павловых, с такими неподвижными глазами, что казалось, если заглянуть в зрачки, можно увидеть то, что отразилось в них, как в зрачках мертвеца в минуту предсмертную. Встречая государя, он кланялся издали и тотчас уходил, как будто убегал.

Маленький Саша, сын великого князя Николая Павловича, семилетний мальчик, с немного бледным хорошеньким личиком, проходил всегда с любопытством мимо запертой двери: она казалась ему такой же таинственной, как та страшная дверь в замке Синей Бороды, о которой он читал в сказках. Заглянуть бы хоть в щелку, увидеть, что там такое. Однажды приснилось ему, что он вошел туда и видел что-то ужасное; проснулся с криком, но не мог вспомнить, что это было.

В конце августа, за несколько дней до отъезда в Таганрог, государь приехал в Павловск к императрице-матери и, не застав ее, прошел в кабинет, где никого не было, кроме Саши и старушки статс-дамы, княгини Ливен. У окна, за круглым столом, играли они в солдатики. Государь присел и тоже начал играть; так метко стрелял горохом из пушечек, что Саша кричал и хлопал в ладоши от радости.

В открытую дверь виднелась анфилада комнат. Вдруг в последней из них, в спальне императрицы, мелькнул красный мальтийский мундир. Камер-фурьер Сергей Иванович Крылов стоял у запертой двери. Государь увидел его и быстро пошел к нему.

В соседней комнате послышался голос императрицы-матери. Княгиня Ливен пошла к ней навстречу. Саша,

оставшись один, поднял глаза и, забыв о солдатиках, с жадным любопытством следил за тем, что происходит у запертой двери.

Крылов, увидев государя, поклонился ему издали, и хотел, как всегда, убежать. Но тот окликнул его и, подойдя, сказал:

— Дай ключ.

Старик уставился на него, как будто не расслышал, и забормотал что-то; можно было только понять:

— Ее величество... приказать изволили...

— Ну, давай же, давай скорее, тебе говорят!— прикрикнул на него государь и положил ему руку на плечо.

Старик затрясся, и зрачки его расширились, как зрачки мертвеца, видящие то, чего уже никто не видит; хотел подать ключ, но руки так тряслись, что уронил. Государь поднял, отпер и вошел.

Пахнуло спертым воздухом, запахом старых вещей: вещи покойного императора Павла I из его кабинета-спальни хранились в этой комнате. Государь увидел знакомые стулья, кресла, канапе красного дерева, с бронзовыми львиными головками; знакомые картины — «Архангел Гавриил» и «Богоматерь» Гвидо Рени, висевшие над изголовьем постели; бюро, секретеры, письменный стол с чернильницей, перьями, как будто только что писавшими, с бумагами и письмами,— узнал почерк отца; ночной столик с нагоревшею, как будто только что потушенною свечкою; стенные часы со стрелкой, остановленной на половине первого, и полинялые шелковые, с китайскими фигурками, спальные ширмочки.

Долго стоял, как будто в нерешимости; потом сделал слабый, падающий шаг вперед и заглянул за ширмочки: там узкая походная кровать. Государь побледнел, и зрачки его расширились, как зрачки мертвеца, видящие то, чего уже никто не видит; вдруг наклонился и как будто с шаловливою улыбкой поднял одеяло. На простыне темные пятна — старые пятна крови.

Услышал шорох: рядом стоял Саша и тоже смотрел на пятна; потом взглянул на государя и, должно быть, увидел в его лице то, что тогда, в своем страшном сне,— закричал пронзительно и бросился вон из комнаты.

Над обоими, над сыном и внуком Павловым, пронесся ужас, соединивший прошлое с будущим.

Отъезд государя в Таганрог назначен был 1 сентября, а государыни — 3-го.

Накануне вернулся он в Петербург из Павловска, где простился с императрицей-матерью, и в назначенный день выехал из Каменноостровского дворца, в пятом часу утра, когда еще горели фонари на темных улицах. Один, без свиты, заехал в Невскую лавру и отслужил молебен.

Когда миновал заставу, взошло солнце. Велел кучеру остановиться, привстал в коляске и долго смотрел на город, как будто прощался с ним. В утреннем тумане дома, башни, колокольни, купола церквей казались призрачно-легкими, готовыми рассеяться, как сновидение. Потом уселся и сказал:

— Ну, с Богом!

Колокольчик зазвенел, и тройка понеслась.

В Царском присоединились к нему пять колясок: ваген-мейстера полковника Соломки, метрдотеля Миллера, лейб-медика Виллие, генерал-адъютанта Дибича и одна запасная.

У государя была маленькая маршрутная книжка с названиями станций и числом верст. Всего от Петербурга до Таганрога 85 станций, 1894 $^{3}/_{4}$ версты. Он должен был сделать путешествие в 12 дней, а государыня — в 20.

Маршрут, по Белорусскому тракту, а с границы Псковской губернии — по Тульскому, нарочно миновал Москву: нигде никаких церемоний, ни парадов, ни встреч.

Проехали Гатчину, Выру, Ящеру, Долговку, Лугу, Городец. Государь заботливо осматривал приготовленные для императрицы ночлеги, но сам ехал, не останавливаясь, и спал ночью в коляске.

Стояли лучезарные дни осени. Каждый день солнце ясно всходило, ясно катилось по небу и ясно закатывалось, предвещая назавтра такой же безоблачный день. В воздухе — гарь, дымок из овинов, и нежность, и свежесть, как будто весенние. На гумнах — говор людской и стук цепов, а на пустынных полях — тишина, как в доме перед праздником; только журавлей в поднебесье курлыканье, туда же несущихся, куда и он.

Чем дальше он ехал, тем легче ему становилось, как будто спадала с души тяжесть, которая давила его все годы, и он просыпался от страшного сна. Казалось,

что уже отрекся от престола, покинул столицу и никогда не вернется в нее императором; а там, куда едет,— разрешение, освобождение последнее. Не потому ли в кликах журавлиных — зов таинственный, надежда бесконечная?

В одну из первых ночей, проведенных в пути, приснился ему сон: маленький уездный городок, маленькие желтенькие, с черными оконцами, домики, точно игрушечные, плохо нарисованные. Небо — темно-лиловое, как бывает зимним вечером; но не зима и не вечер, а осень весенняя, утро вечернее; солнце не видно, но оно во всем,— как будто изнутри светится; и все — такое счастливое, милое, детское, райское. А вот и Софья, и князь Валерьян Голицын; что-то говорят ему, он хорошенько не понимает что́, но чувствует радость, какой никогда не испытывал. «Так вот оно как, а я и не знал!» — смеется и плачет от радости; молиться хочет, но молиться не о чем: все уже есть,— всегда было, есть и будет.

Проснулся: «Так вот оно как, а я и не знал!»— думал наяву, как во сне, и плакал от радости.

Оглянулся: темно еще, но по тому, как звезды дрожат, видно, что утро близко. Не узнавал местности: луговые скаты, а за ними — полукруг холмов лесистых в звездном сумраке. Слышится далекий колокол,— должно быть, из Феофиловской пустыни: значит, близко Боровичи.

Коляска въезжала на холм. Вдруг на краю неба, там, куда уходила дорога, увидел он звезду незнакомую, огромную, необычайно яркую; за нею тянулся по небу светящийся след, а сама она как будто стремительно падала вниз. И в этом падении был зов таинственный, надежда бесконечная.

Вспомнилась ему комета 1812 года. Как та казалась — гибели, а была спасения вестницей,— так, может быть, и эта?

Когда коляска поднялась на вершину холма, он велел кучеру остановиться; так же как намедни, на петербургской заставе, прощаясь с городом, встал, снял фуражку и перекрестился.

— «Небеса проповедуют славу Господню, и о делах рук Его вещает твердь»,— прошептал благоговейным шепотом и, радуясь, чувствовал, что радость эта у него уже никогда не отнимется. Ни о чем не молился, только благодарил Бога за все, что было, и за все, что будет.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Князь Валерьян Михайлович Голицын, приехав ночью в уездный городок Васильков, в тридцати верстах от Киева, остановился в скверной жидовской корчме, а поутру нанял хату у казака Омельки Барабаша.

— Вот моя хата, пане добродию,— говорил хозяин с ласковой важностью, приглашая гостя войти. Вот у меня и куры ходят, вот и теля, вот и пасека, вот и жито растет перед хатою,— выйди, да и жни: вся благодать Божья! А жинка моя варит борщ такой, что хоть бы самому городничему: у панов жила и понаучилась всяким панским роскошам.

Когда Голицын оглянул белую хатку под нахлобученной соломенною крышею с гнездом аиста и занесенными ветром пучками полевых цветов,— в уютной тени вишневого садика с рядами белых ульев, то согласился с хозяином, что тут вся благодать Божья.

А внутри еще лучше: выбеленные мелом стены, глиняный пол, расписная печка — под ней воркуют голуби, на ней мурлычит кот; образница с Межигорской Божьей Матерью, убранная сухими цветами — алым королевым цветом, желтым чернобривцем и зеленым барвинком.

Когда смуглолицая Катруся принесла ему студеной воды из криницы, а древняя бабуся Дундучиха, Омелькина мать, вытерла скамью подолом плахты, приглашая гостя сесть, и, глядя на него из-под морщинистой ладони подслеповатыми глазами, спросила:

— А ты хиба не тутешний? — то гость почувствовал себя уже совсем дома.

В тот же день, вечером, узнав о приезде Голицына,— о чем весь городок уже знал,— явился к нему

молоденький, лет двадцати двух, Полтавского пехотного полка подпоручик, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, и пригласил его к директору васильковской управы Южного Тайного Общества, подполковнику Сергею Ивановичу Муравьеву-Апостолу. У Муравьева, по словам Бестужева, два члена нового, никому из Южных не известного, Тайного Общества, так называемых Славян, ведут сейчас переговоры о соединении с Южным; Голицын был бы очень кстати на этих переговорах как представитель Северных.

Муравьев жил на Соборной площади в деревянном ветхом сером домике с облупившимися белыми колоннами. Хозяин с двумя гостями, артиллерийскими подпоручиками Иваном Ивановичем Горбачевским и Петром Ивановичем Борисовым, пили чай на крылечке, выходившем в сад. В саду была заросшая тиною сажалка, а за ней бахча и пасека; душистой вечерней свежестью веяло оттуда — укропом, мятой, медом и зреющей дынею.

— Наш план таков,— говорил Бестужев:— в следующем, тысяча восемьсот двадцать шестом году, на высочайшем смотру, во время лагерного сбора третьего корпуса, члены Общества, переодетые в солдатские мундиры, ночью, при смене караула, вторгшись в спальню государя, лишают его жизни. Одновременно Северные начинают восстание в Петербурге увозом царской фамилии в чужие края и объявляют временное правление двумя манифестами — к войскам и к народу. Пестель, директор тульчинской управы, возмутив вторую армию, овладевает Киевом и устраивает первый лагерь; я начальствую третьим корпусом и, увлекая встречные войска, иду на Москву, где лагерь второй, а Сергей Иванович едет в Петербург. Общество вверяет ему гвардию, и здесь лагерь третий. Петербург, Москва, Киев — три укрепленных лагеря — и вся Россия в наших руках...

Маленький, худенький, рыженький, веснушчатый, то, что называется замухрышка, он, когда говорил, как будто вырастал; лицо умнело, хорошело, глаза горели, рыжий хохол на голове вспыхивал языком огненным. Верил в мечту свою, как в действительность; сам верил и других заставлял верить.

— Конная артиллерия вся готова, и вся гусарская дивизия; и Пензенский полк, и Черниговский — хоть

сейчас в поход. Да и все командиры всех полков на все согласны... Вождь Риего прошел Испанию и восстановил вольность в отечестве с тремястами человек, а мы чтоб с целыми полками ничего не сделали! Да начни мы хоть завтра же — и шестьдесят тысяч человек у нас под оружием...

— Ну, полно, Миша, какие шестьдесят тысяч? Дай Бог и одну,— остановил его Муравьев.— Иван Иванович, у вас чай простыл, хотите горячего?

Эти простые слова вернули всех к действительности.

— Так вот-с, господа, как: у вас все готово, ну, а у нас еще нет,— проговорил Горбачевский с недоверчивой усмешкой на своем широком, скуластом упрямом и умном лице.— Мы потихоньку да полегоньку. Объяснить солдатам выгоды переворота — дело трудное.

— Да разве вы им объясняете?

— А то как же-с? Мы полагаем, что не надобно от них скрывать ничего.

— Наш способ иной,— возразил Бестужев:— солдаты должны быть орудиями и произвести переворот, но не должны знать ничего. Можно ли с ними говорить о политике? Вы сами знаете, что за люди русские солдаты...

— Знаем, что люди как люди, все от ребра Адамова,— перестал вдруг усмехаться Горбачевский.— Мы ведь и сами не белая косточка, в большие господа не лезем. У нас демократия не на словах, а на деле. Равенство, так равенство. С народом все можно, без народа ничего нельзя — вот наше правило,— заключил он с вызовом.

Сын бедного священника, внук казака-запорожца, он имел право, казалось ему, говорить так.

Когда кончил, наступило молчание, и вдруг почувствовали все черту, разделяющую два Тайных Общества: в одном — люди знатные, чиновные, богатые, большею частью гвардейцы, генералы и командиры полков; в другом — бедняки, без роду, без племени, армейские поручики и прапорщики; там — белая, здесь — черная кость.

Петр Иванович Борисов все время молчал, сидя в уголку, потупившись и покуривая трубочку. Весь был серенький, как бы полинялый, стершийся, выцветший, такой незаметный, что надо было вглядеться,

чтобы увидеть худенькое личико, все в мелких морщинках не по возрасту, большие голубые, немного навыкате, глаза, не то что грустные, а тихие; белокурые жидкие волосы, узкие плечи, впалую грудь. Он часто покашливал сухим чахоточным кашлем и закрывал при этом рот ладонью застенчиво.

Когда наступило молчание, вдруг поднял глаза, улыбнулся, хотел что-то сказать, но покраснел, поперхнулся, закашлялся и ничего не сказал.

— Вы, господа, кажется, друг друга не понимаете,— вступился Муравьев.

Голицыну, как это часто бывает, когда слишком много ждут от человека, лицо Муравьева показалось менее значительным, чем он ожидал. Лет тридцати, но по виду моложе. Черты женственно-тонкие и неправильные: глаза слишком широко расставлены; длинный, заостренный, как будто книзу оттянутый, нос, до смешного маленький, как будто детский, рот; слишком полные, пухлые, тоже словно детские, щеки; густые, пушистые, темно-русые волосы, по военной моде зачесанные с затылка на виски, как после бани взъерошенные. Все лицо здоровое, гладкое, белое, круглое, как яичко — ни одной морщинки, ни одной черты страданья. Только вглядываясь пристальней, заметил Голицын что-то болезненное в противоречии между улыбкою губ и скорбным взором никогда не улыбающихся глаз; а также в верхней губе, немного выдающейся над нижнею,— что-то жалкое, как у маленьких детей, готовых расплакаться.

Странное подобие пришло ему в голову: если бы можно было увидеть на снегу, в лютый мороз, ветку с весенними листьями, то в ней было бы то беззащитное и обреченное, что в этом лице.

Впоследствии, думая о нем, он вспоминал стихи Муравьева:

Je passerai sur cette terre,
Toujours rêveur et solitaire,
Sans que personne m'aie connu;
Ce n'est qu'au bout de ma carrière
Que par un grand coup de lumière
On verra ce qu'on a perdu.

«Я пройду по земле, всегда одинокий, задумчивый, и никто меня не узнает; только в конце моей жизни

блеснет над нею свет великий, и тогда люди увидят, что́ они потеряли».

— Вы, господа, кажется, не понимаете друг друга,— заговорил было Муравьев по-французски, но тотчас же спохватился и продолжал по-русски: Горбачевский объявил в начале беседы, что плохо говорит по-французски и просит изъясняться на русском языке.— Что без народа нельзя, мы тоже знаем. Но вы полагаете, что надо начинать с политики: мы же думаем, что рассуждений политических солдаты сейчас не поймут. А есть иной способ действия.

— Какой же?

— Вера.

— Вера в Бога?

— Да, в Бога.

Горбачевский покачал головою сомнительно.

— Не знаю, как вы, господа, но мы, Славяне, думаем, что вера противна свободе...

— Вот, вот,— подхватил Муравьев радостно,— как вы это хорошо сказали: вера противна свободе. Вот именно так и надо спрашивать прямо и точно: противна ли вера свободе?

— Я не спрашиваю, а говорю утвердительно. И кажется, все...

— Все, все,— опять подхватил Муравьев,— так все говорят, все так думают. Это и есть ложь, коей все в христианстве ниспровергнуто. Но ложь все-таки ложь, а не истина...

— Помилуйте, как же не истина, когда в Священном писании прямо сказано, что избрание царей от Бога?

— Ошибаетесь, в Писании совсем другое сказано.

— Что же?

— А вот что, Миша, принеси-ка...

Но прежде чем он договорил, Бестужев побежал в комнату и вернулся со шкатулкою. Муравьев отпер ее, порылся в бумагах, вынул листок, мелко исписанный, и подал Горбачевскому.

— Вот, читайте.

— Я по-латыни не знаю. Да и дело не в том...

— Нет, нет, я переведу, слушайте. Первая Книга Царств, глава восьмая: «собрались мужи Израильские, и пришли к Самуилу, и сказали ему: ныне поставь нам царя, да судит нас. И было слово сие лукаво пред очами

Самуила, и помолился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: послушай ныне голоса людей, что́ говорят тебе, ибо не тебя уничижили они, а Меня уничижили, дабы не царствовать Мне над ними; но возвести им правду цареву.— И сказал Самуилу: вот слова Господни к людям, просящим у Него царя.— И сказал им: сие будет правда царева: сыновей ваших возьмет, дочерей ваших возьмет и земли ваши обложит данями, и будете рабами ему, и возопиете в тот день от лица царя вашего, коего избрали себе, не услышит вас Господь, потому что вы сами избрали себе царя».

— Ну что же ясно,— кажется, ясно, яснее нельзя. . . . . И неужели этого народ не поймет?

— Да то в Ветхом Завете, а в Новом другое,— возразил Горбачевский,— там прямо сказано: царям повинуйтесь как Богу. Я сейчас не припомню, только много такого...

— Как может это быть? Подумайте, как может быть противоречие между откровеньями единой истины Божеской? А если нам и кажется, то, значит, мы не понимаем чего-то...

— Где уж понять! Это-то попам и на руку, что ничего понять нельзя: в мутной воде рыбу ловят,— подмигнул Горбачевский с тем вольнодумным ухарством, которое свойственно молодым поповичам.

— Нет, можно, можно понять!— воскликнул Муравьев еще радостнее, не замечая усмешки противника.— Надо только не буквы держаться, а духа... Вот вы этим шутите, а народ не шутит. Не пустое же это слово: *Мне дана всякая власть на небе и на земле.* Слышите: не только на небе, но и на земле. А ежели Он — Царь единый истинный на земле, как на небе, то восстание народов и свержение царей, похитителей власти, как может быть Ему противным?

— Свержение царей во имя Христа!— покачал головой Горбачевский еще сомнительней.— А знаете что, Муравьев: я хоть сам в Бога не верую, но полагаю, что кто проникнут чувством религии, тот не станет употреблять столь священный предмет орудием политики...

— Нет, вы меня совсем, совсем не поняли!— всплеснул Муравьев руками горестно, и в этом движении что-то было такое детское, милое, что все улыбнулись

невольно, и черта разделяющая на мгновенье сгладилась.— Ну кто же делает религию орудием политики? Да не я ли вам сейчас говорил, что нам думать надо больше всего о религии, а политика сама приложится? Именно у нас, в России, более чем где-либо, в случае восстания, в смутные времена переворота, привязанность к вере должна быть надеждой и опорой нашей твердейшею,— вот и все, что я говорю. Вольность и вера вместе в России погублены и восстановлены могут быть только вместе...

— Нет, господа,— объявил Горбачевский решительно,— никто из Славян не согласится таким образом действовать. Что же меня касается, то я первый отвергаю сей способ и не прикоснусь до этого листка,— указал он на выписку из Библии:— может быть, для немцев оно и годится, но не для нас: кто русский народ знает, тот подтвердит, что способ сей несообразен с духом оного. Я хоть и сам попович, а попов не люблю. И народ их не любит. Взять хоть наших солдат: между ними, полагаю, вольнодумцев более, нежели фанатиков... Да и кто захочет вступать с ними в споры теологические? Кто решится быть новым Магометом-пророком в наш век, когда всякая религия пала совершенно и навеки?

— Ну, это еще доказать надо,— заметил Голицын.

— Что доказать?

— А вот, что религия пала навеки.

— Полно, господа, нужно ли доказывать, в чем все просвещенные люди согласны?— что гибельная цепь заблуждений, человеческий род изнуряющих, идет от алтаря, опоры трона царского; что надежда на воздаяние загробное угнетению способствует и мешает людям видеть, что счастье и на земле обитать может; что разум — светоч единственный, коим должны мы руководствоваться в жизни сей, а посему наш первый долг — внушить людям почтение к разуму, да будет человек рассудителен и добродетелен в юдоли сей и да оставит навсегда младенческие вымыслы религии...

Говорил, как по книге читал, все чужие слова, чужие мысли — Вольтера, Гольбаха, Гельвеция и других вольнодумных философов.

— Одного я в толк не возьму,— посмотрел на него из-под очков Голицын со своей тонкой усмешкой:— веру вы у них отнимете, а чем ее замените?

Когда Горбачевский принялся доказывать, что просвещение заменит веру, и философия — Бога, то Муравьев и Голицын обменялись невольной улыбкой. Тот заметил ее, замолчал и обиделся.

Чтобы скрыть улыбку, Муравьев отвернулся и стал наливать стакан чаю, а когда подал его Горбачевскому, их руки на мгновение сблизились: одна — большая, красная, жесткая, с рыжими волосами и веснушками, с плоскими ногтями и короткими пальцами; другая — белая, тонкая, длинная, полная женственной прелестью.

«Нет, никогда не поймут они друг друга!» подумал Голицын.

Опять, как давеча, наступило молчание, и почувствовали все черту разделяющую; опять Борисов хотел что-то сказать и не сказал.

Заговорил Бестужев. Еще раньше Голицын заметил, что он подражает Муравьеву нечаянно, в словах, в движениях, в выражениях лица и в звуке голоса, как это бывает с людьми, долго жившими вместе. Казалось, можно было видеть и слышать одного сквозь другого; один — звук, другой — эхо, и эхо искажало звук.

— Философ Платон утверждает,— говорил Бестужев,— что легче построить город на воздухе, нежели основать гражданство без религии. Бог даровал человеку свободу; Христос передал нам начало понятий законно-свободных. Кто обезоружил длань деспотов? Кто оградил нас конституциями? Это с одной стороны, а с другой...

Горбачевский встал решительно, прицепил саблю и надел сюртук (было так жарко, что сняли мундиры).

— А столковаться-то нам будет трудненько, господа,— сказал он и, наклонив немного голову набок, сделался похож на упрямого бычка, который хочет боднуть.— Мы люди простые, едим пряники неписаные. Вы вот все о Боге, а мы полагаем, что не из-за Бога, а из-за брюха все восстания народные...

— Неужели только из-за брюха?— воскликнул Муравьев.

— Знаю, знаю: не единым хлебом... А вы-то сами, господин подполковник, голодать изволили?

— Случалось, в походе.

— Ну, это что! Нет, а вот, как последние штаны в закладе, а жрать нечего... Эх, да что говорить! Сы-

тый голодного не разумеет... Петр Иванович, пойдем, что ли?

— Куда же вы, господа? Ведь мы еще ни о чем, как следует...— всполошился Бестужев.

— А вот ужо в лагерях поговорим, там и наши все будут, а мы за них решать не можем,— сказал Горбачевский сухо.

Муравьев подошел к нему и подал руку:

— Иван Иванович, вы на меня не сердитесь? Если я что не так, простите ради Бога...

И опять промелькнуло в улыбке его что-то такое милое, что Горбачевский не выдержал, улыбнулся тоже и крепко пожал ему руку:

— Ну, что вы, Муравьев, полноте, как вам не совестно! Разве могут быть между нами личности?.. Петр Иванович, а Петр Иванович, да будет вам копаться!

Борисов тщательно выбивал золу из трубочки, укладывал табак в мешочек и завязывал на нем тесемочки; вдруг обернулся и, к удивлению всех,— никто еще не слышал его голоса,— заговорил тихо, невнятно, косноязычно, заикаясь, путаясь и прибавляя чуть не к каждому слову нелепую поговорку: «десятое дело, пожалуйста».

— А я вот что, десятое дело, пожалуйста... не надо о Боге. Хорошо, если Бог, но можно и так, без Бога, быть добродетельным. Я, впрочем, не атей. А только лучше не надо... Вот как жиды. Умницы: назвать Бога нельзя; говори о чем знаешь, десятое дело, пожалуйста, а о Боге молчок. И всяк сверчок знай свой шесток...

— Молодец, Иваныч! В рифму заговорил,— смеясь, похлопал его по плечу Горбачевский.— Ну, пойдем, стихотворец, лучше не скажешь!

Гости ушли. Бестужев отправился их провожать.

Муравьев, оставшись наедине с Голицыным, расспрашивал его о петербургских делах. Зашла речь о «Православном Катехизисе». Муравьев принес рукопись и показал ее Голицыну.

«Катехизис» начинался так:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа

Вопрос. Для чего Бог создал человека?

Ответ. Для того, чтобы он в Него веровал, был свободен и счастлив.

Вопрос. Что это значит быть свободным и счастливым?

Ответ. Без свободы нет счастья. Святый апостол Павел говорит: ценою крови куплены есте, не будете рабы человеком.

Вопрос. Для чего же русский народ и русское воинство несчастны?

Ответ. Оттого, что . . . похитили у них свободу.

Вопрос. Что же святый закон нам повелевает делать?

Ответ. Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться: да будет всем един Царь на небеси и на земли — Иисус Христос».

Голицын читал «Катехизис» еще в Петербурге, но теперь, после давешней беседы, все получило новый смысл.

— Скажите правду, Голицын, как вы думаете, поймут? — спросил Муравьев.

— Не знаю, может быть, и не поймут сейчас,— ответил Голицын.— Но все равно,— потом. Хорошо, что это написано. Знаете: написано пером, не вырубишь топором...

И как будто подтверждая то, что прочел, рассказал он о Белом Царе, государе императоре Петре III, в котором пребывает «Сам Бог Саваоф с ручками и с ножками».

— Ну вот-вот!— вскричал Муравьев и всплеснул руками радостно.— Ведь вот есть же это у них! Не такие мы дураки, как Горбачевский думает... Ах, Голицын, как хорошо вы сделали, что приехали! Наконец-то будет с кем душу отвести, а то все один да один...

Когда на прощанье Голицын подал ему руку, тот взял ее и долго держал в своей. Молча стояли они друг против друга.

— Ну, значит, вместе, да? — сказал, наконец, Муравьев, чуть-чуть краснея.

— Да, вместе,— ответил Голицын, тоже краснея.

Муравьев отпустил руку его, с минуту смотрел ему в глаза нерешительно, вдруг покраснел еще больше, улыбнулся, обнял его и поцеловал.

Голицын почувствовал, что ему хочется плакать, как тогда, во сне, когда с ним была Софья. Он знал, что она и теперь с ним.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Наступили счастливые дни. Голицын почти ничего не делал, не читал, не писал, даже не думал, только наслаждался глубокою негою позднего украинского лета. Не бывал в этих местах, но все казалось ему знакомым, как будто после долгих скитаний вернулся на родину или вспоминал забытый детский сон.

Васильков — запустевший уездный городок-слободка, разбросанный по холмам и долинам. Серые деревянные домики, белые глиняные мазанки; иногда крутая улица кончалась обрывом, как будто уходила прямо в небо. Внизу — речка Стугна, обмелевшая и заросшая тиною. Вдали синеющие горы; за ними — Днепр; но он далеко, не видно. Белые хатки — в темной зелени вишневых садиков; хатка над хаткою, садик над садиком, и между ними плетни, увитые тыквами.

В домиках жили хуторяне, мелкоместные панки да подпанки. Ели, пили, спали, играли в преферанс по маленькой, спорили о том, какой нюхательный табак лучше — шпанский, виолетный, бергамотный, рульный или полурульный, и действительно ли умер Бонапарт, или только прикинулся мертвым, чтобы снова напасть на Россию; ходили в церковь, гоняли водку на вишневых косточках, да борова сажали в саж к розговенам. Барышни читали новые романы Жанлис и Радклиф, но старинный «Мальчик у ручья» господина Коцебу им больше нравился.

— Я люблю читать страшное и чувствительное,— признавалась одна из них Голицыну.

У полкового командира Густава Ивановича Гебеля устраивались вечеринки с танцами; дамы сидели за бостоном, а девицы с офицерами плясали под клавикорды. Бестужев на этих балах был веселым кавалером и дамским любезником. Когда, падая на стул и обмахиваясь веером, одна, плотного сложения, дама воскликнула:

— Уф, как устала! Больше танцевать не могу.

— Не верю, сильфиды не устают!— возразил Бестужев.

В такие минуты трудно было узнать в нем заговорщика.

Время текло однообразно — в ученьях, караулах и разводах. Господа офицеры скучали, пили нежинский

шато-марго, за удивительную крепость получивший прозвание *шатай-моргай*; стреляли в жидов солью, таскали их за пейсики; или, сидя под окном, с гитарою в руках напевали:

Кто мог любить так страстно,
Как я любил тебя?

А ночью в еврейской корчме метали банк, стараясь обыграть заезжего поляка-шулера, который как-то раз в полночь вылетел из окна с воплем:

— Панове, протестую!

Каждое утро входила к Голицыну неслышно, босыми ногами, свежая и стройная как тополь, Катруся, приносила студеной воды из криницы, такой же чистой, как ее улыбка, и украшала свежими цветами образа.

Бабуся Дундучиха обкармливала его малороссийскими блюдами. Каждую ночь у него болел немного живот. «Надо есть меньше»,— думал он, а на следующий день опять объедался. За один месяц так пополнел, что дорожный английский каррик, в Петербурге слишком широкий, теперь сделался узким. Так обленился, что целыми часами мог сидеть у окна, глядя, как старый дед-пасечник ходит по баштану, прикрывает лопухом арбузы от зноя; рыжий попович тащит козу, а коза упирается; бабуся Дундучиха, с прялкой за поясом, гонит с горы телку и, медленно идучи за нею, прядет шерсть. Тишина невозмутимая; только рядом, в хозяйской светлице, ткацкий стан шумит, веретено жужжит и прыгает, да ветер за окном шелестит в вершине тополя.

Или, стоя на базарной площади, наблюдал он, как два жида спорят о чем-то, делая друг у друга под носом такие быстрые движения пальцами, как будто сейчас подерутся, а на ослепительно-белой стене их черные тени еще быстрей движутся, как будто уже подрались. Тут же, на площади, перед единственным каменным домом присутственных мест,— привал чумаков; круторогий вол, лежа на соломе, жует жвачку, и с глянцевито-черной морды слюна стекает светлою струйкою. А пьяный чумак, сидя на мазнице у воза, подперев щеку рукою и тихонько раскачиваясь, поет жалобно:

Ой, запив чумак, запив,
Сидя на рыночку;
Той пропив чумак, пропив
Усю худобочку.

И надо всем городком — зной, лень, сон, тишина невозмутимая. Собаки не лают — спят; куры не бродят — в мягкую пыль зарылись и тоже спят. Шестерня волов — под плугом остановилась на улице; хозяин уснул, волы спят, и все недвижно. Прохожий солдатик раскачал хохла; тот зевнул, почесался, выругался:

— Ну тебя к нечистой матери!

Махнул прутом: «цоб-цобе!»— и волы двинулись, но, кажется, опять станут — уснут.

Только иногда в тишине бездыханного полдня надвинется туча, послышится гул. Уж не гром ли? Нет, телега стучит. А туча уходит,— и зной, и сон, и лень, и тишина еще невозмутимее.

— Действия скоро начнутся: нами принято непоколебимое решение начать революцию в тысяча восемьсот двадцать шестом году,— говорил Бестужев.

Голицын слушал и не знал, что это — гром или стук телеги?

Но Муравьев однажды сказал:

— Бездейственность всех прочих членов, особенно Северных, столь многими угрожает нам опасностями, что я, может быть, воспользуюсь первым сбором войск, чтобы начать...

И Голицын сразу поверил, что так и будет, как он говорит. «Да, здесь начнут»,— подумал то, чего никогда в Петербурге не думал. Чем тишина бездыханнее, тем грознее туча надвигается, и он уже знал, что дальний гул — не стук телеги, а гром.

Бестужев рассказывал ему о Славянах.

— Помните, у Радищева: «я взглянул окрест меня, и душа моя страданьями человечества уязвленна стала». Ну, вот с этого все и началось у них. Братья Борисовы жили с отцом на хуторе и видели, как паны бедных людей до крови мучают. А потом на военной службе — палки, плети, шпицрутены; когда забили при них одного солдата до смерти, они поклялись умереть, чтобы этого больше не было... Ну, и книги тоже. «Жизнеописание великих мужей» Плутарха, греки да римляне поселили в них с детства любовь к вольности и народодержавию.

Будучи в корпусе, вздумали составить таинственную секту, коей цель была спокойная и уединенная жизнь, изучение природы и усовершение себя в добродетелях, подобно древним пифагорейцам. Девизом сделали две руки, соединенные над пылающим жертвенником с надписью: gloire, amour, amitié [1], и назвали ту секту Обществом Первого Согласия. Сочиняли иероглифы, обряды, священнослужения. Раз, на вакациях, летом, в селе Решетиловке Полтавской губернии, устроили пифагорейское шествие в белых одеждах, с пением и музыкой, в честь восходящего солнца. А после производства в офицеры основали в Одессе масонскую ложу Друзья Природы, присоединив к прежней цели — очищение религии от предрассудков и основание известной республики Платона. Вот из этих-то двух обществ и вышли Славяне...

— Какая же их цель? — спросил Голицын.

— Соединение всех славянских племен в единую республику.

— Только-то!

— Не смейтесь, Голицын! Если бы вы знали, что это за люди! Настоящие греки и римляне. Кажется, мы нашли в них то, чего искал Пестель, *обреченный отряд*, людей, готовых на всякую жертву для блага отечества...

Когда Голицын узнал, что эти бедные армейские поручики и прапорщики постановили жертвовать десятую часть жалованья на выкуп крепостных людей и на учреждение сельских школ, и что сами Борисовы с хлеба на квас перебиваются, а вносят положенные деньги в кассу Общества, то перестал смеяться.

Ему хотелось поговорить с Борисовым, но каждый раз, как заговаривал с ним, тот улыбался застенчиво, краснел, отвечал невнятно и косноязычно, со своим всегдашним присловьем: «десятое дело, пожалуйста», и, видимо, так тяготился беседою, что у Голицына не хватало духа продолжать ее.

— Чудак! Что, он со всеми такой? — спрашивал он Бестужева.

— Да, такой скрытный, что никакого толку не добьешься. А брат его, Андрей Иваныч, тот еще хуже: стра-

[1] Слава, любовь, дружба (*франц.*).

дает меланхолией, что ли? Сидит, запершись, у себя в комнате и никуда ни ногой; только в поле цветы собирает да бабочек ловит...

Горбачевский, отложив переговоры с Южным Обществом до осенних лагерей, собирался в Новоград-Волынск, где стояла 8-я артиллерийская бригада, в которой он служил вместе с Борисовым. Борисов должен был ехать с ним, но все не мог собраться. Бестужев подозревал, что ему не на что выехать.

Однажды Голицын увидел на перекрестке двух дорог старого слепца-лирника; он играл на бандуре и пел о Богдане Хмельницком, о Запорожской Сечи, о древней казацкой вольности.

Голицын почти не понимал слов, но благоговейное внимание слушателей, все простых казаков и казачек, вдохновенное лицо старика с высоко поднятыми бровями над слепыми, впалыми глазницами и дрожащий голос его, и тихое рокотание бандурных струн, и заунывные, хватающие за душу звуки песни говорили больше слов.

«Теперь бурьяном заросла Сечь, и вольные степи прокляты Богом: травы сохнут, воды входят в землю, и не стало древней вольности.

Было, да поплыло,—
Его не вертати!»

— заключил певец.

Кто-то всхлипнул; кто-то вытер слезы рукавом свитки; старый, седоусый казак, опиравшийся обеими руками о палку, низко опустил голову и так тяжело вздохнул, как будто услышал весть о смерти любимого.

А голос певца зазвучал торжественно:

Полягла казацка голова,
Як от витра на степу трава;
Слава не вмре, не поляже,—
Рыцарство казацке всякому розскаже.

И песня оборвалась. Последние слова Голицын понял, и опять родное, милое, как детский сон, нахлынуло в душу его. Древняя вольность, за которую умирали эти простые люди, не та же ли, что и новая, за которую умрут они, заговорщики?

Подошел к певцу и вместе с медными грошами

положил в руку его несколько серебряных монет. Тот, нащупав их, обернулся к нему:

— Паночку, лебедочку! Нехай тебя так Господь призрит, как ты меня призрел!

— Давно ты слеп, старик? — спросил Голицын.

— Давно, родимый! Уж и не помню, сколько годов по Божьему свету брожу, а света не вижу...

И, уставившись прямо на солнце слепыми глазами, прибавил тем же заунывным голосом, которым только что пел,— казалось, что эти слова продолжение песни:

— Ох, свет, мой свет! Хоть и не видишь тебя, а помирать не хочется.

— Ну, что, князь, как вам понравилось? — выходя из толпы, вдруг услышал Голицын голос Петра Ивановича Борисова.

— Удивительно!

— А я думал, вам не понравится.

— Почему же?

— Да вы в Петербурге-то, чай, итальянских опер наслушались, так нашим певцам где уж до них, десятое дело, пожалуйста...

— Ну, что вы, разве можно сравнивать? Я не променяю это ни на какую оперу.

— Будто? А вы бы нашего Явтуха Шаповаленко послушали,— вот так поет!— начал Борисов и не кончил, как будто испугался чего-то, съежился, пробормотал поспешно:

— Ну, мое почтенье, князь! Нам не по дороге...

И подал ему руку, как-то странно, бочком, точно надеялся, что тот ее не увидит и не возьмет.

— А вас проводить нельзя, Петр Иванович?

— Да уж, не знаю, право, десятое дело, пожалуйста. Я ведь к жидам; нехорошо у них, вам тошно будет...

— Чудак вы, Борисов! Барышня я, что ли?

— Нет, я не к тому, десятое дело, пожалуйста,— окончательно сконфузился Борисов.— Ну, да все равно, если угодно, пойдемте.

Всю дорогу был молчалив, как будто раскаивался в своей давешней болтливости. Но Голицын решил не отставать от него. Борисов повел его в жидовское подворье.

Так же, как во всех украинских местечках, евреи жили по всему городку, но ютились преимущественно

в своем особом квартале. Тут были ветхие деревянные клетушки, едва обмазанные глиною, с острыми черепичными кровлями. Улицы — узкие, еще более стесненные выставными деревянными лавочками и выступами домов на гнилых, покосившихся столбиках. Всюду висящее из окон тряпье, копошащиеся на кучах отбросов, вместе с собаками, полунагие жиденята, и грязь, и вонь.

Борисов с Голицыным вошли в домик, где беременная жидовка с чахоточным румянцем на впалых щеках, с полосатым тюрбаном на бритой голове хлопотала, примазывая глиной деревянную заслонку к жерлу раскаленной печи, куда задвинула шабашевые блюда (была пятница, день шабаша), так как в день субботний прикосновение к огню считается смертным грехом.

— Ну что, как Барух? — спросил Петр Иванович.

— Ай-вай, паночку ясненький, плохо, совсем плохо...

— Ничего, Рива, даст Бог, вылечим,— сказал Борисов и сунул ей что-то в руку.

— Спасибо, спасибо, паночку добренький! Нехай вас Бог милует!— утерла она концом тюрбана глаза и наклонилась, должно быть, хотела поцеловать руку его, но он отдернул ее и поскорее ушел.

По скользким ступеням спустились в темный подвал. На полу валялись кучи тряпья, стояли лохани и кадушки с помоями; от них шел такой смрад, что дыхание спиралось. В красном углу, на восток,— завешанный полинялой парчой кивот, с пергаментными свитками Торы[1]; на крюке — мешок из телячьей кожи с молитвенными принадлежностями; на гвоздике — плетеная свеча зеленого воска для зажигания после шабаша. На сундуке с тряпьем, заменявшим постель, лежал старик с длинной белой бородой, как Иов на гноище.

Барух Эпельбаум, великий ревнитель закона, был богатым купцом, но когда любимая дочка его сбежала с русским приказчиком, он заскучал, забросил дела, разорился и, не имея, где преклонить голову, больной, почти умирающий, приехал в Васильков к дальним род-

[1] Тора — древнееврейское название законов Моисея и книги, в которой они записаны.

ственникам. Барух как-то выручил Борисова из большой беды, дав ему денег взаймы, и теперь, когда все старика покинули, тот утешал его и ухаживал за ним, как самая нежная сиделка.

— Десница Божья отяготела на мне! Нет целого места в плоти моей, нет мира в костях моих! Смердят, гноятся раны мои от безумья моего!— восклицал Барух по-еврейски, заунывно и торжественно, с таким видом, что нельзя было понять, молится он или богохульствует.

— Ну-ка, братец, снимай свитку, мазаться будем,— сказал Борисов, подходя к старику.

— Ох-ох-ох, паночку миленький! — простонал Барух жалобно.— Оставь ты меня, как все меня оставили! Не треба мне мази твоей. Нехай помру, як пес... Проклят день рождения моего и ночь, когда сказали: зачался человек!— прибавил он опять по-еврейски, заунывно и торжественно.

— Ну, брат, полно кобениться! Вот намажу, легче будет.

Борисов помог ему снять грязную, в лохмотьях, свитку. Голицын увидел мертвенно-бледное тело с красными пятнами отвратительной сыпи и отвернулся невольно. «Барышня я, что ли?» — вспомнилось ему.

А Борисов делал свое дело, как хороший лекарь: достал баночку с мазью, засучил рукава и принялся тереть. Жид стонал, корчился от боли, потому что мазь была едкая.

Когда Борисов кончил, больной долго лежал, не шевелясь и закрыв глаза, как мертвый; потом открыл их, посмотрел на Борисова и сказал, как будто продолжая разговор, только что прерванный:

— Вот вы говорили намедни, ваше благородьице: Иешу Ганоцри добро людям сделал, а я говорю: зло. Ай-вай, такого зла никто людям не делал, как Иешу Ганоцри...

— Пустое ты мелешь, Барух! Какое же зло?

— А вот слушайте, ваше благородийце, я вам скажу. Я — пес поганый, жид пархатый, а я лучше вашего знаю все,— усмехнулся он тонкой усмешкой завзятого спорщика; мешал русский язык с украинским, польским и еврейским, но такая сила убеждения была в лице его, в движениях и в голосе, что Голицын почти все понимал.— Вот гляжу я в окошечко: вот идет Лейба из Бердичева, вот идет Шмулька

из Нежина, а вот идет Иешу Ганоцри. Лейба — жидок, Шмулька — жидок, все жидки одинокие, а Иешу кто?

— Иешу Ганоцри — Иисус Назарей,— шепнул Борисов на ухо Голицыну.

— Слушайте, слушайте, я вам все скажу,— продолжал старик, обращаясь уже к обоим вместе, видимо, польщенный вниманием Голицына.— Вы, христиане, не знаете, а мы, жидки, знаем, кто такой Иешу Ганоцри. Мы всю его фамилию знаем, и матку, и батьку, и сестричек, и братиков!— лукаво прищурился он и залился вдруг тоненьким смехом.— В Варшаве паночек один, такой же вот, как ваши милости, добренький да умненький, дал мне Евангелиум. «Читай,— говорит,— Барух, может, твоей душеньке польза будет». Стал я читать, да нет, не могу. «Ну, и что же такое?— говорит,— отчего не можешь читать?». . . . .

. . . .

Вдруг смех исчез. Он сжал кулаки и потряс ими в воздухе. Лицо исказилось, как у бесноватого.

— В Законе сказано: «Слушай, Израиль: Я есмь Господь Бог твой». А Он, человек, Себя Богом сделал! Нет хуже того зла на свете. . . . .

. . . .

— возопил он с тем же святым неистовством, с каким первосвященник Каиафа[1] разодрал некогда одежды свои перед судилищем . . . .

. . . .

— Ну, что? Ведь не глуп мой жид, а?— сказал Борисов, когда они опять вышли на улицу.

— Настоящий философ, в тезку своего, Баруха Спинозу!— ответил Голицын.— Только все они чего-то не понимают главного.

— А что главное?

— Ну, этого я вам не скажу: «тут молчок, и всяк сверчок знай свой шесток»,— усмехнулся Голицын.

— А я боялся, что скажете,— посмотрел на него Борисов, сначала серьезно, а потом вдруг тоже с улыбкой, и спросил:

---

[1] Канафа — один из наиболее ярых врагов Христа — разодрал свои одежды перед судилищем, обвиняя Христа в богохульстве.

— Вы куда?

— Домой,— ответил Голицын, чтобы узнать, не обрадуется ли он, по обыкновению, что его оставляют в покое.

— Заняты?

— Нет.

— Так пойдемте ко мне. Знаете что, Голицын? Я ведь с вами давно говорить хотел, да все боялся...

— Чего же боялись?

— Да вот, как батька мой говорит: с важными господами вишен не ешь, как бы косточкой глаза не вышибли.

— Вы так обо мне думали?

— Ну, не сердитесь. Я теперь не так...

— А как?

— Теперь,— засмеялся Борисов,— как дедуся-пасечник наш говорит: вижу по всему, что вы человек как человек, а не то, что называется пан.

— Ну и слава Богу!

— Не се́рдитесь?

— Да нет же, какой вы, право, чудак!

Голицын вдруг почувствовал, что Борисов тихонько жмет ему руку.

— Вам Бестужев говорил о Славянах?

— Говорил.

— Не поняли?

— Не совсем.

— Да ведь просто?

— Иногда простое понять труднее всего.

— Вот именно,— подхватил Борисов,— самое простое — самое трудное. Но вы понять можете: слепенького поняли и жида поняли; значит, и нас поймете...

Он говорил теперь связно и внятно, как будто совсем другой человек; и лицо — другое, новое. «Какое милое лицо, и как я его раньше не видел!»— удивился Голицын.

Борисов жил на выезде из города, у Богуславской заставы, в крошечной хатке с двумя каморками, почти без мебели. «С хлеба на квас перебивается»,— вспомнилось Голицыну.

Когда они вошли, молодой человек, сидевший у окна и что-то рисовавший, с милым, грустным и больным лицом и с глазами, такими же тихими, как у Борисова,

вскочил в испуге и, не здороваясь, убежал в соседнюю каморку, где заперся на ключ. Это был Андрей Иванович, брат Борисова.

Хозяин показал гостю коллекции бабочек и других насекомых, а также рисунки животных, птиц, полевых цветов и растений.

— Это все — Андрей Иванович. Не правда ли, мастер? — сказал он с гордостью.

В самом деле, рисунки были прекрасные.

— Жарко здесь, и мухи. Пойдемте-ка в сад,— предложил Петр Иванович.

Голицын понял, что он не хочет беспокоить больного брата.

У хатки не было сада, она стояла на пустыре. Перелезли через плетень в чужую дьячковскую пасеку, забрались под густую тень черешен и уселись в высокой траве на сваленные колоды ульев. За плетнем, над белой дорогой, воздух дрожал и мерцал от зноя ослепительно; а здесь, в тени, было свежо; струйка воды журчала по мшистому желобу, и тихое жужжание пчел напоминало дальний колокол.

— Ну, говорите: чего же вы не поняли? — начал Борисов.

— Цель вашего Общества — соединение славянских племен в единую республику? — спросил Голицын.

— Да. Федеративный союз, подобный древнегреческому, но гораздо его совершеннее.

— Какие же у вас средства к тому?

— Средства? Да те же, что и у вас, десятое дело, пожалуйста. Ну, там возмущенье, сверженье династии... ну, и прочее. Вы же знаете...

Говорил, видимо, чужое, заученное и для него самого не важное; помолчал и прибавил уже иначе, с усмешкой печальной и ласковой:

— Мы ведь сначала о средствах почти и не думали, мечтали сделать переворот с такою же легкостью, как парижане меняют старые моды на новые. Ни о чем не заботились, как в раю жили, ждали чудес, верили, скажем горе: «сдвинься!»— и сдвинется. Только впоследствии увидели, как трудно все... Да, многое придется оставить, ежели соединимся с Южными. А жаль. Хорошо было; так уж больше не будет,

Было, да поплыло,
Его не вертати...

Он подал ему тоненькую, в синей обложке, как будто ученическую, тетрадку: захватил ее с собой давеча из дому.

— Вот наши правила. Читайте сами. Может быть, лучше поймете.

Голицын прочел:

«Ты еси Славянин, и на земле твоей при берегах морей, ее окружающих, построишь четыре гавани, а в середине город и в нем богиню Просвещения на троне посадишь, и оттуда будешь получать себе правосудие, и ему повиноваться обязан, ибо оное с путей, тобою начертанных, совращаться не будет.

Желаешь иметь сие,— с братьями твоими соединись, от коих невежество предков отдалило тебя».

Между строк нарисован был восьмиугольный знак с пояснением:

«8 сторон означают 8 славянских народов: россияне, поляки, чехи, сербы, кроаты, далматы, трансильванцы, моравцы; 4 якоря — гавани: Балтийскую, Черную, Белую, Средиземную; единица в середине — единство сих народов».

А в примечании сказано:

«Можно сей знак употреблять на печатях».

Потом отдельные изречения:

«Дух рабства показывается напыщенным, а дух вольности простым».

«Будешь человеком, когда познаешь в другом человеке, и гордость тиранов падет перед тобою на колена».

«Ни на кого не надейся, кроме твоих друзей и твоего оружия; друзья тебе помогут, оружие тебя защитит».

«Свобода покупается не слезами, не золотом, а кровью».

«Обнаживши меч против тирана, должно отбросить ножны как можно дальше».

И, наконец, клятва:

«С мечом в руках достигну цели, нами назначенной. Пройдя тысячи смертей, тысячи препятствий, посвящу последний вздох свободе. Клянусь до последней капли крови вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты. Если же нарушу клят-

ву, то острие меча сего, над коим клянусь, да обратится в сердце мое».

Голицын испытывал странное чувство: что такие люди, как Борисов, за каждое слово, каждую букву этой бедной тетрадки пойдут на смерть,— и не сомневался и, вместе с тем, понимал, что эта славянская республика — такое же ребячество, как пифагорийское шествие в селе Решетиловке.

«А может быть, так и надо? *Если не обратитесь и не станете как дети...*»[1]— подумал Голицын опять, как тогда в Петербурге, на сходке у Рылеева.

Борисов молчал, потупившись, и, взяв у него тетрадку, тщательно разглаживал согнувшиеся уголки листков. Голицын тоже молчал, и молчание становилось тягостным.

— А знаете, Борисов, ведь это совсем не политика,— проговорил он наконец.

— А что же?— спросил тот и, быстро взглянув на него, опять потупился.

— Может быть, религия,— возразил Голицын.

— Какая же религия без Бога?

— А вы в Бога не верите?

— Нет, я... не знаю, я не могу. Я же говорил у Муравьева, помните? Я, как жиды, не могу назвать Его по имени, не могу сказать. Скажешь,— и все пропадет. Вот и теперь: сказал вам о нашем — и все пропало...

Лицо его побледнело, губы искривились болезненно, пальцы, все еще расправлявшие уголки листков, задрожали.

И Голицыну вдруг стало жалко его нестерпимою жалостью, и больно, и страшно, как будто, в самом деле, все пропало.

— Нет, не пропало,— начал он, думая, что обманывает его от жалости; но в то же мгновение, как человек тонущий, прикоснувшись ко дну, чувствует, что какая-то сила поднимает его, так он почувствовал, что не жалеет, не обманывает.— Да, ничего не пропало,— повторил он,— все есть...

— Что же есть?— спросил Борисов.

— Есть главное, вот то, что у вас в клятве сказано:

---

[1] «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея, XVIII, 3).

последний вздох отдать свободе. А если вы назвать Его, сказать о Нем не можете, то сделайте,— другие скажут.

Борисов поднял на него глаза со своей стыдливой улыбкой, но ничего не сказал, и Голицын тоже; как будто заразился от него,— почувствовал, что говорить не надо: «Скажешь — и все пропадет».

Была тишина полдневная, ни ветерка, ни шелеста,— и такая же в ней тайна, близость ужаса, как в самую глухую ночь.

Вдруг почудилось Голицыну, что за ним стоит Кто-то и сейчас подойдет, позовет их, скажет имя Свое тому, кто не знает имени. Дуновение ужаса пронеслось над ним.

Он встал и оглянулся,— никого, только в темной чаще пасеки белела, освещенная солнцем, колода улья, и тихое жужжание пчел напоминало дальний колокол.

И вспомнился Голицыну дальний колокол на пустынной петербургской улице, когда Рылеев сказал ему:

— А все-таки надо начать!

Тогда еще сомневался он, а теперь уже знал, что начнут.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Второй батальон Черниговского пехотного полка, которым командовал Муравьев, считался образцовым во всем 3-м корпусе. Генерал Рот два раза представлял Муравьева в полковые командиры, но государь не утверждал, потому что имя его находилось в списке заговорщиков.

«Предавшись попечению о своем батальоне, я жил с солдатами, как со своими детьми»,— рассказывал впоследствии сам Муравьев о своем васильковском житье. Телесные наказания — палки, розги, шпицрутены — были уничтожены, а дисциплина не нарушалась, и страх заменялся любовью. «Командир — наш отец: он нас *просвещает*»,— говорили солдаты.

В Черниговском полку служило много бывших семеновцев, разжалованных и сосланных по армейским полкам после бунта 1819 года. Случайный бунт, вызванный жестокостью полкового командира, Меттерних представил государю как последствие всемирного заговора карбонаров — начало русской революции.

Государь не прощал бунта семеновцам, не забывал и того, что они были главными участниками в цареубийстве 11 марта. Офицеров и солдат жестоко наказывали за малейший проступок.

— Лучше умереть, нежели вести такую жизнь,— роптали солдаты.

На них-то и надеялись больше всего заговорщики.

До перевода в армию Муравьев служил в Семеновском полку.

— Что, ребята, помните ли свой старый полк, помните ли меня?— спрашивал он солдат.

— Точно так, ваше высокородие,— отвечали те,— рады стараться с вашим высокородием до последней капли крови, рады умереть!

Наблюдая за ними, Голицын убеждался воочию, что восстание не только возможно, но и неизбежно.

— Вот какой семеновцы имеют дух, что рядовой Апойченко поклялся привести весь Саратовский полк без офицеров и при первом смотре застрелить из ружья государя. Да и в прочих полках солдаты к солдатам пристанут, и достаточно одной роты, чтобы увлечь весь полк,— уверял Бестужев.

— Русский солдат есть животное в самой тяжкой доле,— объяснял он Голицыну:— мы положили действовать над ним, умножить его неудовольствие к службе и вышнему начальству, а главное, извлечь солдат из уныния и удалить от них безнадежность, что жребий их перемениться не может.

И на примере показывал, как это надо делать. Когда говорил им о сокращении службы с 25 лет на 15 или о том, что наказание палками «противно естеству человеческому», солдаты хорошо понимали его; хуже понимали, но слушали, когда он толковал им:

— Вот, ребята, скоро будет поход в Москву, где соберется вся армия, чтобы требовать от государя нового положения и облегчения для войск, ибо служба теперь чрезмерно тяжела: вас тиранят, бьют палками, занимают беспрестанными ученьями и пригонкой амуниции, а все это выдумывается вышним начальством, которое большею частью из немцев. Но о вас, так же как вообще о нижнем сословии людей, заботятся многие значительные особы и стараются о том, дабы облегчить вам жребий. Есть люди, кои сами готовы принести жизнь

свою в жертву для освобождения себя, а более вас, от рабства. Если у вас духу станет, то участь ваша скоро переменится. Вам не должно унывать, но быть твердыми, и, в случае нужды, решиться умереть за свои права...

Когда же он доказывал им, что «не всякая власть от Бога», они совсем ничего не понимали.

— Точно так, ваше благородие,— соглашались неожиданно:— один Бог на небе, один царь на земле. Против царя да Бога не пойдешь!

И тут уже все слова как об стену горох. А когда опять спрашивал их:

— Пойдете, ребята, за мной, куда ни захочу?

— Куда угодно, ваше благородье!— отвечали в один голос, воображая, будто командиры задумали поход за рубеж, в Австрию, чтобы там собраться всем бывшим семеновцам, просить у царя милости, и царь непременно их помилует, возвратит в гвардию.

Доказывая, что «природа создала всех одинаковыми», Бестужев нюхал табак с фейерверкером Зюниным, целовался с вахмистром Швачкою, а тот конфузился и утирался рукавом стыдливо, как бы христосуясь.

Рядового Цыбуленко учил грамоте и долго бился с ним, пока не начал он корявыми пальцами выводить в прописи большими кривыми буквами: «Брут. Кассий. Мирабо. Лафайет. Конституция».

Иногда Голицын присутствовал на этих уроках.

— Что такое свобода?— спрашивал Бестужев.

— Свобода есть дар Божий,— отвечал Цыбуленко.

— Все ли люди свободны?

— Точно так, ваше благородие!

— Нет, малое число людей поработило большее. Свободна ли Россия?

— Никак нет, ваше благородие!

— Отчего же!

. . . .

Цыбуленко молчал, краснел, потел и выпучивал глаза.

— Болван! Экий ты, братец, болван!— выходил из себя Бестужев.— Ну что мне с тобою делать?

— Виноват, ваше благородье!— вытягивался Цыбуленко во фронт и моргал глазами так, как будто хотел сказать: «отпустите душу на покаяние!»

— Ну, ступай. Видно, от тебя сегодня толку не добьешься. Приходи завтра.

И, чтобы утешить его, давал ему гривну меди на баню.

— И ребятам скажи, чтоб всегда приходили ко мне, если имеют какую нужду.

— Что за комедия!— смеялся Горбачевский.— Знаете, Бестужев, после французского похода один гвардейский генерал, подъезжая к полку, бывало, здоровался: «bonjour, люди!» Так вот и вы; только не поймут они вашего бонжура.

— Нет, поймут, все поймут!— не унывал Бестужев.

О том, чтобы поняли, старался полковой командир Гебель, выученик знаменитого «палочника», генерала Рота.

Густав Иванович Гебель был родом поляк и ненавидел русских, как будто мстил им за то, что сам изменил родине.

На Васильковской площади, где пролегала почтовая дорога из Бердичева в Киев, проезжие польские паны могли видеть, как соотечественник их бьет русских солдат. Бил сам командир; били урядники и фельдфебели, и эфрейторы; били так, что концы палок от побоев измочаливались.

Гебель ложился на землю, наблюдая, хорошо ли носки вытянуты; щупал у солдат под носом, «регулярно ли усы, за неимением натуральных, углем нарисованы», стягивал ремнями талии для выправки, а когда людям делалось дурно, бил их; бил их и за то, что «приметно дышат или кашляют». Приказывал им плевать друг другу в лицо. Старых ветеранов, чьи ноги исходили десятки тысяч верст, и тело покрыто было ранами, учил наравне с мальчишками-рекрутами.

Мы — отечеству защита,
А спина всегда избита.
Кто солдата больше бьет,
И чины тот достает,—

пели они жалобно и сказывали сказку о том, как солдат душу черту продал, чтобы тот за него срок отслужил; начал было черт служить, но скоро так замучился, что от души отказался.

В последние дни Муравьев был сам не свой. Заме-

тив это, Голицын спросил Бестужева, что с ним, и тот рассказал.

Фланговой первого батальона, старый солдат, испытанной храбрости, бывший во многих походах и сражениях, Михаил Антифеев, начал совершать побег за побегом; а когда ротный командир, после вынесенного им, Антифеевым, за новый побег жестокого истязания, убеждал старика, вспоминая прежнюю службу его, не подвергать себя мучениям,— тот ответил, что, пока не накажут его кнутом и не сошлют в Сибирь, он не прекратит побегов. Случилось, что солдаты убивали первого встречного, даже детей, чтобы избавиться от службы. Антифеев добился своего: за то, что отлучился от полка, напился пьян и отнял у мужика два рубля серебром, приговорен был к кнуту и каторге.

Муравьев хлопотал за него через генерал-майора князя Сергея Волконского, члена Тайного Общества, имевшего большие связи, и просил полкового командира отложить наказание. Но командир написал донос в корпусной штаб и получил распоряжение исполнить приговор немедленно, а Муравьеву сделать строжайший выговор.

Казнь должна была происходить на военном поле, у Богуславской заставы, перед выстроенным полком. Накануне Бестужев послал тайно, через одного унтерофицера, 25 рублей палачу, чтобы «легче бил».

Поутру, в день казни, Голицын занимался в кабинете Муравьева, как часто делывал по приглашению хозяина; у Муравьева была хорошая библиотека. Сидя у окна, Голицын читал рукопись его на французском языке, философское исследование о пространстве и времени.

Голицын погружен был в глубины метафизики, когда подъехала к дому линейка с Муравьевым, Бестужевым и еще несколькими офицерами Черниговского полка. На Муравьеве лица не было. Ему помогли сойти с линейки и ввели в дом под руки. Голицын сначала думал, что он упал с лошади, расшибся или как-нибудь иначе ранен, и только впоследствии узнал все от Бестужева.

Под кнутом палача Антифеев, пока был в сознании, молчал, пересиливая боль, но потом, в забытьи, начал стонать и охать. Муравьев, все время казавшийся спо-

койным, вдруг побледнел и упал без чувств. Произошло смятение. Несмотря на команды и угрозы Гебеля, стоявшие вблизи офицеры и солдаты, забыв дисциплину, бросились на помощь к любимому начальнику. Послышался ропот. Казалось, еще минута — и вспыхнет бунт. Но Муравьев очнулся; его усадили в линейку и увезли. Кое-как порядок был восстановлен, и казнь продолжалась. Антифеев получил все, что ему следовало.

Муравьев был болен. У него сделался сердечный припадок; он вообще страдал сердцем. Бестужев хотел послать за лекарем, но больной не позволил.

— Ничего, пустяки, все прошло,— повторял он со стыдливой, как будто виноватой, улыбкой.

К вечеру стало ему легче. Он позвал к себе Голицына и Бестужева. Лежал на диване. Должно быть, был маленький жар; лицо было бледно, глаза горели. Вспомнилось Голицыну то странное подобие, которое пришло ему в голову при первом свидании с ним: в лютый мороз, на снежном поле, зеленая ветка с весенними листьями.

— Что вы сегодня читали, Голицын?— спросил Муравьев и начал разговор отвлеченнейший о пространстве и времени по Кантовой «Критике чистого разума»; мог говорить о таких метафизических предметах целыми часами, забывая все на свете; но когда Бестужев вышел из комнаты,— посмотрел на Голицына пристально и сказал:

— Как глупо, Боже мой, как глупо! И срам-то какой! Хороши заговорщики: как барышни, в обморок падаем!

— Со всяким может случиться,— возразил Голицын,— кажется, и я бы не вынес.

— Да ведь мы же с вами бывали в сражениях, а там хуже.

— Нет, Муравьев, там лучше.

— Да, пожалуй. А знаете что, Голицын? Это ведь у меня сделалось не от вида страданий, не от вопля истязуемого, а от чего-то другого. Когда тот, под кнутом, начал стонать, я взглянул на Гебеля... Случалось вам видеть во сне черта?

— Случалось.

— То есть, не то что видишь,— продолжал Муравьев,— а вдруг такая страшная, страшная тяжесть,

и по этой тяжести знаешь, что это *он*. Ну, так вот и со мной давеча: когда тот начал стонать, я взглянул на Гебеля и вдруг почувствовал... Мы вот все говорим об убийстве, а ничего не знаем о нем, как о пространстве и времени, то есть, по-настоящему не знаем, что это такое. А ведь это тоже *категория*, как говорит Кант. «Не убий» — одна категория, а «убий» — другая. И можно перейти из одной в другую. Ну, вот я и перешел. Понял вдруг, что можно убить. Все думал, что нельзя, а тут понял, что можно. И не то что когда-нибудь потом, а вот сейчас, брошусь и тут же на месте.

Он привстал на постели, и лицо его исказилось ужасно; что-то в нем напомнило Голицыну жида Баруха, бесноватого.

— И вот еще что, Голицын,— прошептал он задыхающимся шепотом:— я ведь непременно когда-нибудь убью его, убью, как собаку!

— Сережа, голубчик, не надо, ради Бога, не надо!— бросился к нему Бестужев, вбегая в комнату.

Начался новый припадок, но скоро прошел. Ночью он уснул спокойно и к утру был почти здоров; только по просьбе Бестужева дня два не выходил из комнаты и соглашался иногда прилечь на постель.

Солдаты посещали его, особенно те, которых «просветил» Бестужев. Горбачевский, по обыкновению, смеялся над ними.

— Ну, что, брат, в бане был?— спрашивал он Цыбуленку.

— Никак нет, ваше благородие!

— Куда же ты гривну девал, что получил намедни от господина подпоручика? Опять шинкарке снес?

Тот молчал, потел, краснел, выпучивал глаза и переминался с ноги на ногу.

— Он, ваше благородие, свечку поставил Владычице и о. Даниле на часточку подал за здравие их высокоблагородья,— ответил за него Григорий Крайников, бойкий молодой солдат с веселым и умным лицом.

— Правда, Цыбуленко?— спросил Муравьев.

— Так точно, ваше высокоблагородье!

— Ну, спасибо, голубчик. Поди же сюда.

Цыбуленко подошел, и Муравьев подал ему руку.

Он еще больше застыдился, но вдруг лицо его просветлело, как будто он понял что-то; неуклюжей, загорелой, закорузлой мужичьей рукой взял женственно-тонкую бледную руку и крепко пожал. Отвернулся, сморщился, утер глаза рукавом.

И все поняли. Не надо было говорить,— по лицам видно было, что «рады стараться до последней капли крови, рады умереть».

«Это пожатье двух рук — навеки веков: не сейчас, так потом опять соединятся они, и тогда, что надо сделать, сделают»,— подумал Голицын.

Только теперь, во время болезни Муравьева, понял он Бестужева.

— «Кто не азартуе, тот не профитуе»,— как сказала мне одна полька, с которой мы играли в цвик,— любил повторять Бестужев,— нам, заговорщикам, следует помнить это правило...

И сам он помнил его: много ли, мало ли, но все, что имел, ставил на карту.

Когда старуха-мать заболела и, уже при смерти, звала его к себе, он мучился, потому что любил ее с нежностью, но, удержанный делами Общества, так и не поехал к ней, и она умерла, не повидавшись с ним.

— Для приобретения свободы не нужно никаких сект, никаких правил, никакого принуждения,— нужен один восторг: восторг пигмея делает гигантом; он разрушает все старое и создает новое! — воскликнул он однажды, и Голицын почувствовал, что Бестужев весь — в этих словах.

Маленький, худенький, рыженький, огненный, напоминал он герб Франциска I — Саламандру в пламени с надписью: *Горю и не сгораю.*

Понимал Голицын и то, откуда этот огонь.

— Муравьев и Бестужев — близнецы неразлучные, одна душа в двух телах,— говорили товарищи.

Бестужев, «пустой малый», сойдясь с Муравьевым, вдруг поумнел, расцвел, преобразился,— откуда что взялось, как у влюбленной девушки.

В эти дни приехал в Васильков брат Сергея Муравьева, Матвей Иванович. Матвей участвовал в Тайном Обществе и долго был ревностным членом, но потом потерял веру в него и так мучился этим, что хотел покончить с собою.

Братья были похожи обратным сходством, как левая и правая рука, которые никогда не могут сойтись на одной плоскости. Бестужеву, который боялся и ненавидел Матвея Ивановича, казалось, что он — карикатура на брата, дьявольский двойник его, отражение в выпуклом зеркале, нелепо искаженное, раздавленное, расплющенное: что у того ввысь, то у этого вширь; один — весь легкий, тонкий, стройный, стремительный; другой — тяжелый, широкий, ширококостный, приземистый.

Голицын слышал от Катруси сказку о Вие, подземном чудовище с железным лицом и длинными, до земли опущенными веками. «Матвей Иванович — Вий, Сережин бес, бес тяжести,— вот чего боится Бестужев»,— казалось иногда Голицыну.

— Я не могу их видеть вместе; он из него, как паук из мухи, кровь высасывает,— говорил Бестужев.

Что Матвей во многом прав, он понимал; но чем правее, тем ненавистнее.

Когда Сергей поникал, изнемогал под навалившейся Виевой тяжестью брата, а тот, казалось, весь оживлялся, веселился, шевелился, как паук,— Бестужев убил бы его тут же на месте.

Матвей Иванович пробыл в Василькове с неделю, и все это время Сергей был болен.

Наконец Бестужев не выдержал и однажды, при Голицыне, спросил Матвея Ивановича в упор:

— Долго вы еще здесь пробудете?

— Не знаю. Как поживется,— ответил тот и, приподнимая свои сонно-тяжелые, Виевы веки, посмотрел на Бестужева пристально-злобно. Может быть, и ему казалось, что Бестужев — Сережин бес, бес легкости.

— А что?— прибавил он с вызовом.

— А то, что ваше присутствие здесь мне кажется вредным.

— Кому? Не вам ли?

— Нет, не мне, а вашему брату.

— Да вы что, нянька его, что ли?— усмехнулся Матвей Иванович, пожал плечами и чуть-чуть побледнел.— По какому праву, сударь, становитесь вы между мной и братом?

— Не будемте ссориться, Матвей Иванович,— возразил Бестужев.— Позвольте только дать вам совет: уезжайте поскорее...

— Позвольте ваш совет не принять. Я уеду, когда мне будет угодно.

— Не уедете?

— Убирайтесь к черту!— закричал Муравьев и не то что затрясся, а как-то зашевелился весь своим тяжелым и подлым, на взгляд Бестужева,— «паучьим» шевеленьем.

— Не горячитесь, Муравьев,— произнес Бестужев, тоже бледнея.— Уезжайте, когда вам угодно, а только ведь, все равно, один конец. Помните, в Писании: «что делаешь, делай скорее»?

Матвей Иванович помнил, что это сказано об Иуде Предателе. Он вдруг вскочил и схватил Бестужева за руку. Голицыну казалось, что они сейчас подерутся, и он уже встал, чтобы их разнять. Но вошел Сергей. Лицо у него было такое больное, жалкое, что оба взглянули на него и опомнились. Закрыв лицо руками, Бестужев выбежал из комнаты.

На следующий день Матвей объявил, что завтра уезжает. В ночь перед отъездом у него был с братом последний разговор, нечаянно подслушанный Голицыным.

Голицын сидел, так же, как намедни, один в кабинете Сергея. Матвей с братом ходили, разговаривая, взад и вперед, все по одной и той же дорожке сада, от крыльца к сажалке.

Ночь была тихая. Луна так ярко светила, что белые стены хат сияли почти ослепительно, больно для глаз; и все затихло, замерло, как будто ожидая чего-то; только звезды дрожали да верхушки тополей шелестели чуть слышным шелестом. И чем выше луна, тем ярче и ярче, тише и тише. И во всем — ожидание, напряжение, томление почти нестерпимое.

Сидя у окна, открытого в сад, Голицын то слышал, то не слышал разговор в саду, смотря по тому, приближались или удалялись голоса.

— Да, Сережа, дело наше сверх сил, и времени, и всякого вероятия,— говорил Матвей Иванович.— Если бы уверяли меня сорок тысяч Пестелей, что произойдет именно то, чего им хочется, я не поверил бы, потому что знаю, что эти вещи делаются в мире не как люди хотят, а как Бог велит...

Дальше Голицын не слышал, а потом опять:

— Ничего мы не сделаем, потому что и делать нечего... Да имеем ли мы право, наконец, ничтожная часть великого целого, налагать свой образ мыслей почти насильно на тех, кто, может быть, довольствуется настоящим и не ищет лучшего?

Присели у крыльца на завалинке, и теперь Голицыну не только слышно, но и видно было все. Сергей слушал молча, опустив голову на руки в изнеможении, а Матвей Иванович весь оживлялся, шевелился, «как паук, сосущий кровь из мухи».

— И что мы можем обещать?— продолжал он.— Метафизические рассуждения о политике двадцатилетних прапорщиков, которые ведут разговоры вольные не для чего иного, как выказки ума? И это будущие правители, решители судеб народных! Если бы я не знал, что одиночество способствует восторженности чувств, я счел бы вас всех сумасшедшими. Никакая цель не оправдывает средств: кто дерзает на верное зло для неверного блага, тот злодей. Ничего из этого выйти не может, кроме погибели. И даже в случае успеха мы предали бы Россию бедствиям, о коих нельзя себе составить и понятия...

Сначала где-то вдали, а потом все ближе и ближе послышалась грустная песня:

Моя матннька, моя голубонька,
Як мени жити, як доживати?

Голицын узнал Катрусин голос. Омелькина пасека была по соседству. Катруся часто заходила в сад к Сергею Ивановичу; он был с нею ласков; может быть, нравился ей, и она заигрывала с ним, невинно, нечаянно. Вот и теперь зашевелились темные кусты черемухи, замелькала в них белая плахта, и на перелазе через плетень появилась высокая, стройная, как тополь, девушка в венке из маков и барвинка. В лунном свете виден был узор шитья на плахте и каждый лепесток в венке. Плетень скрипнул. Сергей Иванович оглянулся, увидал Катрусю, кивнул ей головой, с улыбкой, и она тоже, улыбаясь ему, крикнула, загадала загадку русалочью:

— Полынь или петрушка?

— Петрушка! Петрушка!— ответил он радостно.

— Ты моя душка!— засмеялась она, соскочила с

плетня и нырнула из света в тень, как в черную воду русалка.

— Сережа, ты меня не слушаешь?— произнес голос Матвея Ивановича.

— Нет, слушаю, мой друг! Все, что ты говоришь, правда, *почти* правда. Я иногда и сам так думаю...

Он хотел еще что-то сказать, но брат не дал ему, опять заговорил уныло, упорно, мучительно, повторяя все одно и то же: «погибнем, погибнем! Ничего не будет! Ничего не сделаем!»

— Мы жестоко ошиблись,— заключил он,— сунулись в воду, не спросясь броду: думали, что народ с нами; но не с нами народ,— я знаю, Сережа, не спорь, я знаю, что это так! Вот, говорят, во время последнего проезда государева народ отовсюду сбегался к нему, становился на колени, бросался под колеса коляски его, так что приходилось останавливаться, чтоб не раздавить людей,— это республиканцев-то наших будущих! Да посмей мы только тронуть царя,— народ нас всех растерзает как извергов, потому что любит его, верит в него, как в Помазанника Божьего, как в Самого Бога!

Он замолчал, потом одной рукой обнял брата за шею, наклонился к нему, заглянул в лицо его и заговорил уже другим, детски-ласковым, вкрадчивым голосом:

— Помнишь, Сережа, как в ту ночь на Бородинском поле лежали мы под одною шинелью, и молились, и плакали, и клялись умереть за отечество? Помнишь, потом, когда мы полюбили вместе Аннет, ты сказал мне однажды: «я люблю ее, но тебя еще больше: ты друг души моей от колыбели». Разве я уже не друг тебе? Разве все, что было,— не было? Сережа, голубчик, ради Христа, ради покойной маменьки, послушай меня: не губи себя, не губи других. Хоть меня пожалей... не могу я больше... Гнусно, тошно, страшно,— не человеческого, Божьего суда страшно. Уйдем от них, уйдем, пока еще не поздно...

Сергей долго молчал, опустив по-прежнему голову на руки, в изнеможении.

— Что тебе сказать?— заговорил, наконец, и голос его звучал сперва глухо, как из-под страшной тяжести, но потом все громче и громче, все тверже и тверже.— Пусть так, как ты говоришь. Но если бы надо было все начинать сызнова,— я начал бы. Вот ты говоришь: на-

род любит царя, верит в него, как в Бога . . . .
Но ведь это погибель . . . .
Не то, что народ темен, беден, голоден, раб, а то, что он сделал человека Богом,— погибель России, погибель вечная! . . . .

— Чем же царь виноват? Ты сам говоришь: народ...— начал было Матвей Иванович, но теперь уже Сергей не дал ему говорить.

— Нет! Народ не знал, что делает, а он знал. «Царство Божие на земле, как на небе»,— это он сказал, а делал что? Благословенный, Спаситель России, Освободитель Европы,— что он сделал с Россией, что он сделал с Европой? Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы и не им ли потом она так жестоко удавлена? . . . .
Самое великое стало смешным, самое святое кощунственным . . . .
. . . .
Этого нельзя простить. Пусть прощает, кто может,— я не могу . . . .
. . . .
Да, да, молчи, знаю сам: «не убий». А вот убил бы, убил бы тут же на месте . . . .

Голицын не видел лица его, но по голосу угадывал, что оно ужасно, так же, как намедни, когда он говорил с ним о Гебеле; и всего ужаснее то, что милое, доброе, детское, оно могло быть таким.

— Сережа, Сережа, что ты? Во Христа веруешь, а можешь так!— воскликнул Матвей Иванович.

Сергей, закрыв лицо руками, опустился на лавку в изнеможении, как будто опять раздавленный тою же, как давеча, страшною тяжестью.

Оба замолчали, потом заговорили шепотом. Матвей Иванович плакал, а Сергей обнимал его, утешал, успокаивал с такою нежностью, что трудно было поверить, что это тот самый человек, который за минуту говорил об убийстве.

Была полночь; луна — в зените; свет еще ярче, тишина еще тише, и ожидание, напряжение, томление еще нестерпимее.

И вдали опять, как давеча, послышалось:

Моя матинька, моя голубоиька,
Як мени жити, як доживати?

Но печальная песнь оборвалась, и вдруг зазвенела — веселая, буйная, звонкая, как русалочий смех:

Та внадився журавель
До бабиных конопель...

И все на земле и на небе, как будто этого только ждало,— вдруг тоже запело, зазвенело, ответило смехом на смех,— весь яркий свет был звонкий смех.

— Ничего не будет! Ничего не сделаем!— плакал плачущий. «Будет! Будет! Сделаем!» — смеялось все над плачущим.

И с такою радостью, как еще никогда, повторил Голицын:

— Будет! Будет! Сделаем!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Предстоящее свидание с государем не давало покоя Голицыну. Получив, наконец, так долго жданный отпуск и уезжая из Петербурга, он был почти уверен, что свидания не будет. Но тотчас же по приезде Голицына в Киев генерал Витт, начальник южных поселений, вызвал его в корпусную квартиру, в Елисаветград, и объявил высочайшее повеление не отлучаться из Киевской губернии, не испросив на то разрешения губернатора, так как государь во всякую минуту может потребовать его к себе. «По всей вероятности,— прибавил Витт уже от себя,— свидание назначено будет во время осенней поездки императора на юг».

Если бы кто-нибудь сказал ему: «Для покушения на жизнь государя ваше свидание с ним случай единственный»,— то он не знал бы, что ответить: «Пусть не я, а другой»,— это не только сказать, но и подумать было стыдно, а между тем, он чувствовал, что на государя рука у него не подымется: никогда не забудет он того взора, которым обменялись они над гробом Софьи; чувствовал, что тут неладно что-то, не решено окончательно, и как в последнюю минуту решится, еще неизвестно.

Вскоре после ночной беседы Сергея Муравьева с братом получена была в Василькове весть о доносе Шервуда и об открытии заговора. Муравьев и Бестужев просили Голицына съездить в Тульчин, местечко Подольской губернии, где находилась главная квартира

2-й армии, чтобы предупредить двух директоров тамошней управы, Юшневского и Пестеля.

Голицын поехал в Тульчин. Пестеля там не застал, а Юшневский, узнав о доносе, сказал:

— Это все от генерала Витта идет. Вы его знаете?

— Знаю.

— Ну, что он, как?

— Претонкая бестия!

— Вот именно. Вы ведь с ним тоже приятели: все лезет к нам в Общество; в удостоверение своей искренности назвал уже нескольких шпионов: в том числе капитана Майбороду, который служит у Пестеля.

— Ради Бога, Юшневский, скажите ему, чтобы не сближался с Виттом: ведь это погибель!

— Да уж сколько раз говорил. Поезжайте сами к нему, Голицын, расскажите все; может быть, вам больше поверит...

Голицын хотел уехать тотчас в местечко Линцы, где стоял Пестель, но Юшневский сообщил ему, что тот уехал в Бердичев,— обещал написать, чтобы скорей возвращался, и просил Голицына подождать в Тульчине.

Юшневский понравился Голицыну: в тонком, с тонкими чертами, лице — невозмутимое спокойствие, тихая ровность, тихая ласковость. Добродетельным республиканцем, древним стоиком называли его товарищи. «Вот на кого положиться можно: за ним, как за каменною стеною»,— думалось Голицыну. Почти все остальные члены Общества казались ему детьми; Юшневский — взрослым; и никогда еще не чувствовал он так зрелости, взрослости самого дела.

Юшневский был любим всеми. В 30 лет — генерал-интендант 2-й армии; начальник штаба, генерал Киселев, был ему приятелем; главнокомандующий, граф Витгенштейн, отличал его за деловитость и честность. Ему предстояла блестящая карьера.

Голицын остановился в доме Юшневского. Дом окружен был садом; перед окнами — свежие тополи, как занавески зеленые; в самые знойные дни свежо, уютно, успокоительно, и, кажется, вся эта свежесть — от свежей, как ландыш, хозяйки, Марии Казимировны.

Все, что нужно для счастья, было у Юшневского,— любовь, дружба, довольство, почести,— и он покидал все это вольно и радостно.

— А знаете, Голицын,— сказал однажды после игры на скрипке (был хороший музыкант) с еще не сошедшим с лица очарованием музыки,— я этому доносу рад: теперь уже, наверное, начнем, нельзя откладывать. Ведь все равно умирать,— так лучше умереть с оружием в руках, чем изнывать в железах...

— А вы в успех верите?— спросил Голицын.

— По разуму, успеха быть не может,— возразил Юшневский,— но не все в жизни по разуму делается. Говорят, на свете чудес не бывает, а двенадцатый год разве не чудо? То была не война, а восстание народное. Мы продолжаем то, что тогда началось; не нами началось, не нами кончится, а продолжать все-таки надо...

«А все-таки надо начать»,— вспомнились опять Голицыну слова Рылеева, и опять подумал он: «Да, здесь начнут».

В первый же день по приезде его Юшневский сообщил ему, что один из старейших членов Общества, Михаил Сергеевич Лунин, желает повидаться с ним по какому-то важному делу.

Лет восемь назад, когда Голицын служил в Преображенском полку, встречался он с блестящим кавалергардским ротмистром Луниным. Много ходило слухов о безумной отваге его, кутежах, поединках и молодецких шалостях: то ночью с пьяной компанией переменял на Невском вывески над лавками; то бился об заклад, что проскачет верхом, голый, по петербургским улицам, и, уверяли, будто бы выиграл; то прыгал с балкона третьего этажа, по приказанию какой-то прекрасной дамы. Но больше всего наделал шуму поединок его с Алексеем Орловым. Однажды за столом заметил кто-то шутя, что Орлов ни с кем еще не дрался, Лунин предложил ему испытать это новое ощущение. От вызова, хотя бы шуточного, нельзя было отказаться по правилам чести. Когда противники сошлись, Лунин, стоя у барьера и сохраняя свою обычную веселость, учил Орлова, как лучше стрелять. Тот бесился и дал промах. Лунин, выстрелив на воздух, предложил ему попытаться еще раз и хладнокровно советовал целиться то выше, то ниже. Вторая пуля прострелила Лунину шляпу; он опять выстрелил на воздух и, продолжая смеяться, ручался за успех третьего выстрела. Но тут секунданты вступились и разняли их.

В удальстве Лунина было много ребяческого, но близко знавшие его уверяли, что он бесстрашием не хвастает. В походе 12-го года слезал с лошади, брал солдатское ружье и становился в цепь застрельщиков, нарочно под самый огонь, для того, чтобы испытать наслаждение опасностью. А в мирное время, когда долго не было случая к тому, скучал, пил, злился, буянил и, наконец, уезжал в деревню, где ходил на волков с кинжалом или на медведя с рогатиной. Ходил и на зверя более страшного.

Однажды великий князь Константин Павлович отозвался так обидно об офицерах кавалергардского полка, в котором служил тогда Лунин, что все они подали в отставку. Государь был недоволен, и великий князь, в присутствии всего полка, извинился и выразил сожаление, что слова его показались обидными, прибавив, что если этого недостаточно, то он готов «дать сатисфакцию». Лунин, пришпорив лошадь, подскакал к нему, ударил по эфесу палаша и воскликнул:

— Trop d'honneur, votre altesse, pour refuser! (Слишком много чести, чтоб отказаться, ваше высочество!)

В 12-м году служил он в ординарцах у государя и сначала пользовался благоволением его, но потом впал в немилость за вольнодумные суждения о Бурбонской монархии. По возвращении гвардии в Петербург, будучи старшим ротмистром, ожидал производства в полковники; но производства в полку не было вовсе. Узнав, что это из-за него, сел на корабль в Кронштадте и уехал во Францию.

Поселился в Париже и провел здесь несколько лет в нужде. Отец его был очень богат, но скуп и не в ладах с сыном. По смерти отца он получил наследство, с доходом в 200 000 рублей. В Париже сошелся с карбонарами и с иезуитами, которые не могли простить русскому правительству своего изгнания из России.

— Такие люди, как вы, нам нужны,— говорили они Лунину:— вы должны быть мстителем за Рим.

Вернулся в Россию так же внезапно и без спроса, как уехал. Государь перевел его тем же чином из гвардии в армию и отправил в Варшаву к цесаревичу.

Здесь Лунин отлично служил и приобрел такое расположение великого князя, что сделался самым близким ему человеком.

— Я бы не решился спать с ним в одной комнате: зарежет, но на слово его можно положиться; человек благородный: я таких люблю,— говорил Константин Павлович.

А наедине происходили между ними беседы удивительные.

— Вы вполне принадлежите к вашей фамилии. Vous êtes bien de votre famille: tous les Romanoff sont révolutionnaires et niveleurs [1],— говорил ему Лунин.

— Спасибо, мой милый, так ты меня в якобинцы жалуешь? Voilà une reputation qui me manquait! [2]

Вскоре по возвращении в Россию Лунин поступил в члены Тайного Общества и предложил выслать на царскосельскую дорогу «обреченный отряд» (cohorte perdue),— несколько человек в масках, чтобы убить государя. Пестель одобрял этот план, и он казался возможным всем, кто знал отвагу Лунина.

— Какое же у него дело ко мне? — спросил Голицын Юшневского.

— Не знаю, не говорит. Об одном прошу вас, Голицын: не обращайте внимания на странности его. Знаете, что он ответил государю, когда тот сказал ему: «Говорят, вы не совсем в своем уме, Лунин?» — «Ваше величество, о Колумбе говорили то же самое». Это шутка, но, кроме шуток, Лунин — человек ума огромного и силы духа беспредельной: что захочет, то и сможет. Такие люди нам нужны,— повторил Юшневский нечаянно слова святых отцов, иезуитов.— В последнее время охладел он к Обществу; другим был занят: говорят, влюблен в какую-то польскую графиню, замужнюю женщину; духовники уговорили ее уйти в монастырь, а его — вернуться в Общество. И знаете, Голицын, вы сделали бы доброе дело, если бы помогли ему в этом.

Юшневский предложил пойти тотчас же к Лунину, и Голицын согласился.

Лунин жил в тульчинском предместье, Нестерварке. Тульчин — маленькое местечко, принадлежавшее графам Потоцким,— расположен был в котловине, у большого пруда-озера, образуемого медленными водами

---

[1] Поистине вы член вашей семьи: все Романовы — революционеры, желающие уравнять все ранги и состояния (*франц.*).

[2] Только такой репутации мне и не хватало (*франц.*).

речки Сильницы, между степными холмами, последними отрогами Карпат, тянущимися от Днестра к Бугу. Кроме военных да чиновников, в городке почти не было русских: все поляки, евреи, молдаване, армяне, греки и множество монахов католических. Вид военного лагеря в чужой стране: беленькие хатки в зелени тополей превращены в казармы; всюду артиллерийские обозы, палатки, ружья в козлах, коновязи и марширующие роты солдат; блеск штыков и тихий свет лампады перед Мадонною в каменной нише; бой барабана и звон колоколов на старинных костелах и кляшторах.

Улицы немощеные; весною и осенью такая грязь, что люди и лошади тонут; а теперь, после долгой засухи, тучи пыли, взметаемые ветром, носились над городом, и солнце висело в них, как медный шар, без лучей, тускло-красное. Люди, истомленные зноем, ходили, как сонные мухи; собаки бегали с высунутыми языками, и прохожие поглядывали на них с опаскою: бешеные собаки были казнью города.

Мимо базара, синагоги, костела, дома главнокомандующего и великолепного, с мраморной колоннадой, дворца графов Потоцких вышли на плотину пруда, с тенистой аллеей вековых осокорей; на конце ее шумела водяная мельница. За прудом начиналось предместье Нестерварк. Тут проходил почтовый шлях из Брацлава и Немирова. У самой дороги стоял деревянный домик, жидовская корчма Сруля Мошки, под вывеской: «Трактир Зеленый». На грязном дворе, с чумацкими возами, еврейскими балагулами и польскими бричками, молодцеватый гусар-денщик Гродненского полка чистил новый щегольской английский дормез.

— Полковник дома?— спросил его Юшневский.

— Точно так, ваше превосходительство! Доложить прикажете?

— Нет, не надо.

Поднимаясь по темной и вонючей лестнице, встретились они с католическим патером.

— Ксендз Тибурций Павловский, духовник Лунина,— шепнул Юшневский Голицыну.

Такой же темной и вонючей галерейкой подошли к неплотно запертой двери и постучались в нее. Ответа не было. Приотворили дверь и заглянули в большую, почти пустую, вроде сарая, комнату. Остановились в

недоумении: в соседней маленькой комнатке, вроде чулана, стоял на коленях перед аналоем с католическим распятием высокий человек, в длинном черном шлафроке, напоминавшем сутану, и громко читал молитвы по римскому требнику:

— Ave Maria, ave Maria, graciae plena, ora pro nobis...[1].

Половица скрипнула, молящийся обернулся и крикнул:

— Входите же!

— Не помешаем?— проговорил Юшневский.

— С чего вы это взяли? Я так надоел Господу Богу своими молитвами, что он будет рад отдохнуть минутку,— ответил тот усмехаясь.

— Князь Валерьян Михайлович Голицын, Михаил Сергеевич Лунин,— представил Юшневский.

— Наконец-то, князь! Мы вас ждем не дождемся,— проговорил Лунин, пожимая ему руку обеими руками, ласково, и с усмешкою (усмешка не сходила с лица его) указывая на стул, продекламировал забавно-торжественным голосом, в подражание знаменитой трагической актрисе Рокур:

— Assayez vous, Néron, et prenez votre place...[2] Нет, нет, на другой: у этого ножка сломана.

— Охота вам, Лунин, жить в этой дыре,— сказал Юшневский оглядываясь.

— Не дыра, мой милый, а Трактир Зеленый. Да и чем плоха комната? Она напоминает мне мою молодость — мансарду в Париже, на улице Дю Бак, у m-me Eugénie, где жили мы, шесть бедняков, голодных и счастливых, напевая песенку:

И хижинка убога,
С тобой мне будет рай.

Я, впрочем, имею здесь все, что нужно: уединение, спокойствие, черный хлеб, редьку и тюрю жидовскую,— рекомендую, кстати, блюдо превкусное...

— Плоть умерщвляете?

— Вот именно. Пощусь. Только постом достигается свобода духа, в этом господа отшельники правы.

— А где же вы спите? Тут и постели нет.

---

[1] Радуйся, благодатная Мария, и моли Бога о нас (*лат.*).

[2] Садись, Нерон, займи свое ты место... (*франц.*).

— Постель — предрассудок, мой милый. Сначала на диване спал, но там клопы заели, а теперь лежу вот на этом столе, как покойник: напоминает о смерти и для души полезно. Да все хорошо, только вот пауков множество: araignée du matin-chagrin[1].

— Вы суеверны?

— Очень. Я давно убедился, что в неверии меньше логики и больше нелепости, чем в самой нелепой вере...

Что-то промелькнуло сквозь шутку не шуточное, но тотчас же скрылось.

— Господа, не угодно ли трубочки? Табак превосходный, прямо из Константинополя.

Благоуханное облако наполнило комнату.

— Жидовская тюря, а табак драгоценный — так-то вы плоть умерщвляете!— рассмеялся Юшневский.

— Грешен: не могу без трубочки!— рассмеялся и Лунин простым, добрым смехом, удивившим Голицына: ему почему-то казалось, что Лунин не может смеяться просто; он вообще не нравился ему, а между тем Голицын вглядывался в него с таким чувством, что, раз увидев, уже никогда не забудет.

Лет за сорок, но на вид почти юноша. Высок, тонок, строен, худ тою худобою жилистой, которая свойственна очень сильным и ловким людям, некомнатным. Голос резкий, пронзительный, тоже некомнатный. Небольшие карие глаза, немного исподлобья глядящие, зоркие, как у хороших стрелков и охотников. От всегдашней усмешки — две морщинки около губ, как будто веселые; а между бровями, чуть-чуть неровными,— левая выше правой,— две другие морщинки, на те, около губ, непохожие, суровые, печальные. И странная в лице изменчивость: то оживление внезапное, то неподвижность, как бы мертвенность, такая же внезапная; а в слишком упорном взоре — что-то тяжелое и вместе с тем ласковое, притягивающее. Голицын все время чувствовал на себе этот взор и не мог от него отделаться: ему казалось, что если бы Лунин глядел на него даже сзади, он тотчас обернулся бы.

Прохаживаясь по комнате и покуривая трубочку, Лунин шутил, смеялся, болтал без умолку или напевал хриплым голосом:

---

[1] Паук предвещает печальное утро *(франц.)*.

Plaisir d'amour ne dure qu un moment[1].

По поводу книжки французских стихов «Часы досугов Тульчинских», только что изданной в Москве и поднесенной Лунину автором, штаб-ротмистром князем Барятинским, зашла речь о стихах.

— Не люблю я стихов,— говорил Лунин:— пленяют и лгут, мошенники. Мысли движутся в них, как солдаты на параде, а к войне не годятся: воюет и побеждает только проза; Наполеон писал и побеждал ею. А у нас, русских, как у всех народов младенческих, слишком много поэзии и мало прозы; мы все — поэты, и самовластие наше — дурного вкуса поэзия.

— А сами вы, Лунин, никогда стихов не писали?— спросил Юшневский.

— Нет, Бог миловал, а прозой когда-то грешил: в Париже начал повесть о самозванце Лжедимитрии.

— По-русски?

— Ну, что вы? Мы и сны-то видим по-французски.

Говорил умно, тонко, чуть-чуть старомодно-изысканно: такие беседы людям прошлого века нравились.

— Вот старичков моих, Корнеля да Мольера, люблю: стихи у них дельные, трезвые, почти та же проза. А романтиков нынешних, воля ваша, не понимаю. Может быть, из ума выжил от старости, что ли?

— Ну какой же вы старик, полноте кокетничать!

— Да я и в двадцать лет стариком себя чувствовал. Помните словцо Наполеона о русских: «не созрели и уже сгнили». В нас, во всех эта гниль «восемнадцатого века», как говорит Карамзин...

«Ломается, юродствует. Знаем мы этих светских чудаков под лорда Байрона»,— думал Голицын с досадою.

Послышался вечерний звон на башне соседнего кляштора. Лунин отошел к окну и забормотал молитвы.

Гости встали, хозяин их удерживал.

— Нет, пора. Князь, должно быть, с дороги устал,— возразил Юшневский.— А вот что, Лунин, приходите-ка завтра ужинать, отдохните от вашего поста жидовского.

— Ох, не соблазняйте! У меия и то от Мошкиной редьки да кваса в животе революция! Ну, ладно, приду. На вашей душе грех, искуситель!

---

[1] Радость любви длится лишь миг (*франц.*).

И уже серьезно, пожимая на прощанье Голицыну руку, опять обеими руками ласково, проговорил с тою, как будто сердечною, любезностью, по которой узнаются люди высшего света:

— А у меня к вам дело, князь. Я столько слышал о вас и так вас ждал, не из пустого любопытства, поверьте. Если бы вы могли мне уделить часок-другой...

— Когда прикажете?

— Ну, хоть завтра, в семь часов вечера.

«Что ему от меня нужно?»— вернувшись домой, и ночью ложась, и утром вставая, и потом весь день думал Голицын, как будто продолжая чувствовать на себе его упорный, тяжелый и ласковый взгляд.

К ужину собрались гости: штаб-ротмистр князь Барятинский, автор «Тульчинских досугов», майор Лорер, поручик Бобрищев-Пушкин, поручик Басаргин и другие члены Тульчинской Управы.

Пришел и Лунин. Опять, как вчера, смеялся, шутил, болтал безумолку, и опять не понравился Голицыну: его утомлял и раздражал этот вечный смех, трескучий огонь мелких искр, похожих на те, что от сухих волос под гребнем сыплются. Когда говорил даже серьезно, казалось, что смеется над собеседником, над самим собою и над тем, что говорит.

— Вы ничего не пьете, Барятинский,— заметил хозяин.

— А еще сочинитель,— подхватил Лунин:— разве не знаете, что атаман Платов сказал, когда ему Карамзина представляли? «Очень рад,— говорит,— познакомиться, я всегда любил сочинителей: они все пьяницы».

— Доктора пить не велят,— извинился Барятинский:— вот разве воды с вином.

— «Кому воды, а мне водки!», как на пожаре некто кричал, должно быть, тоже сочинитель,— подхватил опять Лунин.

Заговорили о политике.

— Общее благосостояние России...— начал кто-то по-французски на одном конце стола.

— А знаете, господа,— крикнул Лунин с другого конца,— как умный один человек переводил: le bien être général en Russie? [1]

---

[1] Общее благосостояние России (*франц.*).

— Ну, как?

— «Хорошо быть генералом в России».

Шутил, а между шутками, с видом серьезнейшим, доказывал Барятинскому, отъявленному безбожнику, истину католической веры; тот сердился, а Лунин донимал его с невозмутимою кротостью:

— Но, мой милый, вы слишком упрямы. Четверти часа достаточно, чтобы убедиться во всем...

И тут же — анекдот о вольтерьянце-помещике, думавшем, что Троица есть Бог Отец, Бог Сын и Матерь Божия; о ямщике, который, вольтерьянцев наслушавшись, на лошадей покрикивал: «ой вы, вольтеры мои!» — о графе Безбородке, глядевшем в лорнет на купальщиц и влюбившемся в одну из них, хотя лица ее не видал (она стояла к нему спиною), но коса была чудесная, и что ж оказалось? отец протодиакон Воздвиженский.

После трех бутылок лафита и двух клико Лунин признался, что, хотя и пил «с воздержанием», так, чтобы на ногах держаться, как поэт Ермил Костров советует, но, должно быть, на Мошкином квасе отвык от вина; и, принимаясь за третью бутылку шампанского, затянул было пьяным голосом:

Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,
По бокалу осушали
И просили мудрость вон.

Вдруг остановился, так же как вчера, прислушался к звону вечерних колоколов, встал из-за стола, пошатываясь, вышел в соседнюю комнату, вынул из кармана требник и зашептал молитвы.

— Обращаете нас в католичество, а сами вот что делаете, — подразнил его Юшневский.

— А что?

— Нашли когда и где молиться!

Голицын тоже подошел и прислушался.

— Э, мой милый, тут-то я и смиряюсь перед Богом, пьяненький, слабенький! — рассмеялся Лунин опять, как намедни, простым, добрым смехом; и, помолчав, прибавил уже серьезно:

— Поверьте мне, люди только тогда и сносны, когда они в бессилии: человек все может вынести, кроме силы. Бог творит из ничего: пока мы хотим и думаем

быть чем-нибудь. Он в нас не начинал Своего дела. Гордыню разума сломить безумием веры, вот главное...

— Как же при таком смирении вы бунтуете?

— Бунт есть долг человека священнейший; смирение перед Богом — бунт против людей,— возразил Лунин все так же серьезно, вернулся к столу, и тут опять начались смешки да шуточки.

«Что значит этот вечный смех?— думал Голицын.— Лунин глубоко таит в себе горечь своей смешной жизни, сказал о нем как-то Юшневский. Это значит: смеется, чтобы не быть смешным. А может быть, и от страха — чтобы успокоить, ободрить себя, как маленькие дети смеются в темной комнате. Чего ж ему страшно?» Ответа не было. Была загадка и в загадке — очарование.

На следующий день, утром, Лунин заходил опять к Юшневскому. На этот раз не болтал, не шутил, не смеялся; сказал два-три вежливых слова хозяйке, сел за рояль и начал играть сонату Бетховена; играл так, что все заслушались; лицо его было тихо и торжественно. Кончив играть, молча встал, попрощался и вышел.

Вечером Голицын отправился в Трактир Зеленый. Лунин сидел на дворе, окруженный кучей жиденят, ребятишек хозяйских; показывал им книжку с картинками и угощал пряником. Ребятишки приставали к нему, называли тятенькой, теребили за серебряные тесьмы гусарского долмана, лезли на колени, вешались на шею, особенно одна маленькая замарашка, кудластая, рыжая, с хорошеньким личиком, должно быть, его любимица.

Увидев гостя, Лунин встал, стряхнул с себя жиденят и пошел к нему навстречу.

— Извините, князь, что не могу вас принять, как следует: у моего почтенного Сруля Мошки по случаю какого-то праздника щука огромная, целый Левиафан, жарится, и такого чада напустили мне в комнату, что войти нельзя. Может быть, прогуляемся?

Вышли на дорогу, спустились к пруду, миновали плотину, дворец Потоцких и вошли в сад.

Сад был огромный, похожий на лес. В городе — пыль и зной, а здесь, в тени столетних грабов, буков и ясеней,— прохлада вечная; аллеи, как просеки; тихие лужайки, дремучие заводи с болотными травами и пугливыми взлетами утиных выводков.

Лунин расспрашивал спутника о делах Тайного Общества, о Васильковской Управе, о Сергее Муравьеве и о его «Катехизисе», но о своем собственном деле не заговаривал; казалось, хотел сказать что-то и не решался. Больше всех прочих неожиданностей удивила Голицына эта застенчивость.

— Вот видите, как я отстал от Общества, почти вышел из него,— заговорил он, наконец, не глядя на Голицына.— А хотелось бы вернуться. Помогите мне...

— Буду рад, Лунин! Но чем я могу?

— А вот чем. Только пусть это между нами останется.

Помолчал, как будто собираясь с духом, и начал, все так же не глядя на Голицына:

— Как вы полагаете, будет ли принято Обществом содействие...

Посмотрел на него в упор и кончил решительно:

— Содействие святых отцов Иисусова ордена?

— Иезуитов?

— Да, иезуитов. А что? Удивляетесь, что умный человек говорит глупости? Погодите, не решайте сразу. Ваш ответ важен для меня,— важнее, чем вы, может быть, думаете. Скажите-ка сначала вот что: почему мы все говорим и не делаем?

— Не делаем чего?

— Главного, чем только и может начаться восстание.

— Вам лучше знать, Лунин! Вы один могли бы...

— Почему один? Почему не все? Не хотят? Или хотят и не могут? Не знаете? Ну, так я вам скажу. На человека можно руку поднять, а на Бога нельзя. Вольнодумцы, безбожники, а как до дела дойдет,— верят все, как отцы их верили,— все православные. А православие — *схизма*, от Христа отпадение, от церкви вселенской, католической. От Христа отпала Россия, от Царя Небесного, и земному царю поклонилась, земному богу — кесарю...

— Россия отпала, а Рим верен, что ли?— спросил Голицын.

— Верен, ежели слово Господа верно: «ты еси Петр — камень». Рим — свобода мира, на всех земных царей восстание вечное. Там, где кесарь Брутом убит, тираноубийство во имя Господне оправдано, знаете, кем? Великим учителем Рима, Фомою Аквинским. И в Dic-

tatus papae[1] Григория VII сказано: «Первосвященник римский низлагает тиранов и освобождает от присяги подданных». Вот камень в праще Давидовой, который сразит Голиафа; имя же камня — Петр...

— Неужели вы думаете, Лунин?..

— Погодите, погодите, не соглашаться успеете, дайте сказать до конца. Ну, так вот: за судьбы мира борются сейчас две силы великие: грядущее восстание народное еще небывалое,— всемирное войско рабочих, le socialisme... не знаю, как сказать по-русски. О Сен-Симоне слышали?

— Кое-что слышал.

— Мы с ним в Париже виделись,— продолжал Лунин,— говорили о России, о Тайном Обществе, он тоже готов нам помочь и ждет нашей помощи. Это — сила человеческая, а другая — божеская: непостижимая мысль, соединившая царство и священство в одном человеке: «да будет един Царь на небеси и на земли — Иисус Христос», как в вашем же «Катехизисе» сказано. А ведь это и наша мысль, Голицын,— мысль Рима...

— Нет, Лунин, мысль Рима не наша: наш царь Христос, а не папа.

— Не все ли равно? Папа — церковь, а церковь — Христос... Ну, потом, потом... Слушайте же: обе эти силы к нам идут, хотят соединиться в нас. И неужели не захотим? Неужели откажемся?..

Говорил еще долго, объясняя свой план. Соединение церквей, и папа — вождь восстания русского, восстания всемирного, глава освобожденного человечества на пути к Царствию Божьему.

Голицын был так удивлен, что уже не пытался возражать, слушал молча и только иногда заглядывал в лицо его: уж не смеется ли? Нет, лицо серьезно, торжественно, как давеча, когда играл сонату Бетховена; глаза горят, как будто ледяная кора спадает с них и ядро обнажается огненное.

Вышли из сада и стали подыматься на один из холмов, обступавших город с запада. Дорога шла по дну размытой дождями балки. Красная глина оползней в лучах заката напоминала кровь; и раскиданные по небу красные тучки казались тоже кровяными, как будто на

[1] Диктат папы (*лат.*).

небе совершилась какая-то казнь; а высокий черный латинский крест *кальвария*[1] посреди дороги напоминал о том, что совершилась и на земле та же казнь.

За плетнем овчарки лаяли, загоняя на ночь овец в степные кошары. Пахло овечьим пометом, дымом кизяка и мятно-полынною свежестью трав.

Старый чабан-пастух окликнул путников, нагнулся через плетень и забормотал что-то невнятно, смешивая слова русские, польские, молдавские и турецкие: все эти племена проходили когда-то по его родным холмам и оставили следы своих наречий в здешнем говоре. Кривым пастушьим посохом он указывал то на злую овчарку, заливавшуюся яростным лаем, то на дорогу, в ту сторону, куда они шли, как будто предостерегал их о какой-то опасности.

— Что он говорит? Не понимаете, Голицын?

— Не понимаю.

— Я тоже. Каким-то зверем пугает нас, что ли? Ну его к черту! Просто, подлец, на водку хочет.

Бросили ему несколько монет и пошли дальше. Но старик продолжал кричать им вслед, и в лице его, и в голосе была такая убедительность, что Голицыну вдруг стало страшно: в этом глухом овраге, в пустынной дороге, и в красной глине, и в красном небе, и в черном кресте почудилось ему недоброе. «Не вернуться ли?»— подумал, но устыдился страха своего перед бесстрашным Луниным.

— Извините, Голицын, я так заговорился, что забыл всякую вежливость. Вы не устали?

— Нет, нисколько.

— Ну так пройдемте еще немного. Я покажу вам место, откуда вид чудесный.

Поднялись на вершину холма, где возвышалась развалина сторожевой турецкой башни: турки когда-то владели Подолией. По крутым ступеням полуразрушенной лестницы взошли на башню. С высоты открылась даль бесконечная; покатые, волнообразные степные холмы, уходившие до самого края неба, а там, на западе, в огненных тучах, видение исполинского города, как бы Сиона Грядущего.

Лунин молча глядел на закат.

---

[1] Кальварий — возвышение, на которое водружается крест.

— Не знаю, как вы, Голицын, а я люблю конец дня больше начала. Запад больше Востока,— заговорил он опять.— «Свете тихий, святыя славы... Придя на Запад солнца, увидя свет вечерний»...— как это поется на всенощной? Когда-то с Востока был свет: ныне же последний свет вечерний — только с Запада. Кажется, моя Европа...

— Как вы это сказали, Лунин: *моя* Европа...

— А что?

— Разве не Россия — ваша?

— Да, и Россия... Ну, так вот: у меня предчувствие, что Европа — накануне благовестья нового, коим завершатся судьбы человечества, и что Россия, *моя* Россия, первая из всех народов, примет это благовестье, первая скажет: да приидет царствие Твое...

«Advenat regnum tuum»,— вспомнилась Голицыну молитва Чаадаева. «Чаадаев и Лунин, какие разные, какие схожие!— думалось ему.— Оба изменили России, но и в этой измене что-то навеки родное, единственно русское».

— Я верю,— говорил Лунин, и в лице его светилась, как отблеск угасающего запада, не то бесконечная грусть, не то надежда бесконечная,— не знаю, откуда во мне эта вера, но верю, что Бог спасет Россию, а если и погибнет она, то гибель ее будет спасеньем Европы, и зарево пожара, который испепелит Россию,— зарей освобожденья всемирного...

Закат потух, померкла степь и разлилась по ней уже иная алость, тусклая, как в темной комнате свет сквозь красный занавес: то всходила в знойной дымке луна.

— Ну, что же, Голицын, поняли?

— Понял.

— И не согласны?

— Нет. Вы на царя восстали, Лунин, а ведь ваш папа — тот же царь; из царства в папство — из огня да в полымя. Когда Наполеон с Пием VII из-за власти над церковью спорили, знаете, что сказал царь: «я и сам папа!» Так не все ли равно, папа — царь или царь — папа?

— Это как у Скаррона, что ли:

Don Pascal Zapata,
Ou Zapata Pascal: il n'importe guère,
Que Pascal soit devant ou qu'il soit derrière? [1] —

[1] Дон Паскуале Сапата//Или Сапата Паскуале: не столь уж важно,//Сперва Паскуале или потом? (*франц.*).

вдруг засмеялся Лунин своим пронзительным хохотом.

— Вот именно,— согласился Голицын:— царь и папа — обратно-подобны, как две руки...

Лунин перестал смеяться так же внезапно, как начал.

— Чьи же это руки?

— Не того ли,— ответил Голицын,— о ком апостолу Петру сказано: *другой* препояшет тебя и поведет, куда не хочешь?

— Так уж не руки, а лапы?

— Да, может быть, и лапы, лапы Зверя...

— Лапа, папа,— в рифму выходит!— опять засмеялся Лунин тем же странным смехом и, помолчав, прибавил:— а если нет церкви ни у вас, ни у нас, то где же она? Или совсем нет?

— Может быть, *еще* нет,— ответил Голицын.

— Еще нет, а будет?— спросил опять Лунин.

Голицын молчал: говорить не хотелось: чувствовал, что он все равно не поймет.

— Ну а сейчас, сейчас-то как?— продолжал допытываться Лунин,— в пустоте, без точки опоры, на чем же строить, на землетрясенье, что ли? И вам не страшно, Голицын?

«Человек беспредельной силы духа»,— вспомнились Голицыну слова Юшневского и слова самого Лунина: «Человек все может вынести, кроме силы». Так вот чего ему страшно; вот почему от страха смеется: чтобы успокоить, ободрить себя, как маленькие дети в темной комнате.

Возвращались по той же дороге. Спустились до половины холма, где возвышался кальварий, и дорога шла по дну оврага. Луна, уже не красная, а желтая, освещала степь.

Вдруг за плетнем послышался лай, крик, топот бегущих людей; сверкнул огонь, и грянул выстрел. С высоты холма по дороге неслось прямо на них что-то маленькое, черное, круглое, быстрое-быстрое, как ядро, из пушки летящее и постепенно растущее. Раздался еще один выстрел. Стреляли, должно быть, в то черное, но не попадали.

— Что это?— спросил Голицын, вглядываясь в лунный сумрак.

— А пастух-то правду сказал,— проговорил Лунин.— На вас оружия нет, Голицын?

— Нет.

— На мне тоже. Вот что значит не по форме ходить... А ну-ка, лазать умеете? Давайте руку.

Схватил его за руку и потащил на обрыв к плетню. Голицын полез было, но рыхлая глина осыпалась; он оборвался и свалился назад на дорогу; очки его упали и разбились.

Лунин стоял уже наверху, у плетня, и мог бы перескочить, но, увидев Голицына одного на дороге, спрыгнул к нему, оттолкнул его ко кресту кальвария и стал перед ним; обмотал левую руку плащом, выставил ее вперед, а правою поднял длинный, острый кол,— из плетня его выдернул. Все его движения были точны, быстры, мгновенны и спокойны; только что-то играло в нем пьяное, как намедни, после третьей бутылки шампанского, или как, должно быть, тогда, когда он принял вызов цесаревича: «слишком много чести, чтобы отказаться, ваше высочество!»

Теперь уже без очков видел Голицын то, что неслось на них; стоявшую дыбом шерсть, поджатый хвост, высунутый язык и тупую паучью морду с клубящейся пеною.

Зажмурил глаза, чтобы не видеть, и прижался спиной к кресту; что произошло потом,— не помнил; только слышал вой, визг, рев и, казалось, чувствовал на лице своем смрадное дыхание зверя.

Когда открыл глаза, люди толпились вокруг огромной издохшей собаки, с торчащим в горле колом. Пастухи восхищались отвагою Лунина.

— А славно вы, молодцы, стреляете!— усмехнулся тот.

— Стреляем, пане добродию, не хуже других, да всем крещеным людям известно, что бешеного зверя надо бить пулею заговоренною; а кто настоящий заговор знает,— и палкою убьет, как ваша милость.

Лунин попросил воды умыться. Пастухи повели их к перелазу через плетень и к степному загону — кошаре, где испуганные овцы толпились кучею при свете костра, и вода журчала, стекая в водопойную колоду по желобу.

Лунин снял с руки плащ, прокушенный насквозь клыками зверя; снял также мундир, засучил рукав и осмотрел тщательно руку. У Голицына волосы на голове

зашевелились от ужаса, а лицо Лунина было спокойно по-прежнему. На руке укусов не было. Бросил плащ в огонь, умылся, оделся, дал пастухам на водку, взял Голицына под руку и вышел с ним на дорогу.

— Испугались, князь?

— Испугался.

— Ну еще бы. Кажется, и я не меньше вашего.

— Этого не видно.

— Мало ли что не видно! Не верьте, мой милый, когда вам говорят, что есть на свете люди бесстрашные: страшно всем, только одни умеют побеждать страх, а другие не умеют. Победа над страхом и есть наслаждение опасностью, и, кажется, нет ему равного: тут человек становится подобным Богу; подобие ложное,— но ничего не поделаешь: человек создан так, что всегда и во всем хочет быть Богом.

Голицын посмотрел на него внимательно: не хвастает ли? Нет, прост и спокоен; убивая и другого, более страшного Зверя, кажется, был бы так же прост и спокоен.

— На ловца и зверь бежит,— усмехнулся Лунин, как будто угадывая мысли его:— мы только что о Звере, а он и тут как тут. Ну как же не быть суеверным? И заметьте, мы победили Зверя под знаменем креста латинского. На Зверя — Крест, не это ли наш *заговор?*

Когда вернулись в корчму, Голицын хотел проститься, но Лунин попросил его зайти к нему. При тусклом свете сальной свечи огромная комната казалась еще более мрачною. На столе была постлана постель, и Голицын представил себе, как Лунин лежит на ней покойником. Чемоданы уложены: он уезжал на рассвете.

Усадив гостя, хозяин закурил трубку и начал, так же как намедни, ходить по комнате, взад и вперед, напевая хриплым голосом:

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment.

— А знаете, Голицын, мне все не верится, что сговориться нельзя. Мы ведь все-таки в главном согласны?

— Согласны, но...

— Но две параллельные линии никогда не сойдутся, так что ли?

— Или сойдутся в вечности,— возразил Голицын.

— Э, мой милый, далеко до вечности; лучше синица в руках, чем журавль в небе!— засмеялся Лунин.

Помолчал, остановился перед ним и заглянул ему в глаза пристально:

— Послушайте, Голицын, это моя последняя попытка вернуться в Общество. Я знаю, что могу быть полезен: у меня — то, чего у вас нет,— точка опоры для рычага Архимедова, которым можно мир перевернуть. Ежели есть малейшая надежда сговориться,— я ваш, и что сказал, то сделаю: на Зверя — Крест. Решайте же. Только сейчас, сейчас, а не в вечности! Да или нет?

Почти мольба была в голосе его; та слабость сильных людей, которая иногда сильнее силы их.

— Нет, Лунин. Если бы я и пошел с вами, никто не пойдет...

— Ну, что ж, на нет и суда нет. Не можем спасаться вместе,— будем погибать розно... Прощайте, Голицын! Я еду далеко.

— В Варшаву?

— Может быть и дальше. Поищу на земле себе места, а не найду, то и под землей люди живут.

— Как под землею?

— Ну да, монахи Трапистского ордена, l'ordre de la Trappe, знаете?

— Вы к ним?

— К ним, если деваться будет некуда.

— Не успеете, Лунин!

— Почему?

— У нас раньше начнется. А ведь, если начнется, вы к нам пристанете?

— Пристану. В России жить нельзя, но умирать можно... Значит, не прощайте, а до свидания... Погодите, вот еще последний вопрос, только уж очень, пожалуй, нескромный. Ну, все равно, не захотите — не ответите. Или лучше так: я первый отвечу, а вы потом. Для меня главное в жизни — любовь, любовь к *Ней*...

Обменялись быстрым взглядом, как сообщники, и Голицын понял, о ком он говорит.

— А для вас, Голицын, что?

— И для меня то же.

— И к вольности любовь — через *Нее*?— спросил Лунин.

— Да, через *Нее*.

Лунин молча стоял перед ним, как будто ждал чего-то.

И нелепая мысль промелькнула у Голицына: что, если опять, как давеча, он рассмеется вдруг своим странным, жутким смехом? Гусарский подполковник и рыцарь Прекрасной Дамы, заговорщик и адъютант цесаревича, друг вольности и друг иезуитов,— да, тут поневоле будешь смеяться, чтобы не быть смешным.

— Как же вы не понимаете, Голицын, почему я ушел к *ним*?— заговорил опять Лунин все так же серьезно и торжественно.— Ave Maria, graciae plena — эта молитва к *Ней* только у них. Чужбина стала мне родиной, потому что где любовь, там и родина. Я оставил веру отцов моих, я полюбил чужую больше родной, невесту — больше матери, как сказано: оставит человек отца своего и матерь свою... Не понимаете? А если понимаете, если мы оба служим Одной, любим Одну, то почему же мы разно?..

Он смотрел на него своим тяжелым, ласковым взором, и никогда еще Голицын не чувствовал так очарование этого взора...

— Почему же не хотите вместе? Не *Она* ли сейчас зовет вас, говорит вам через меня? А вы не хотите?..

— Не могу,— ответил Голицын, с бесконечным усилием побеждая очарование.— И не надо об этом, Лунин, не надо: ведь этого не скажешь, *а скажешь,— и все пропадет*,— вспомнились ему слова Борисова.

Наступило опять молчание. И стало страшно. Так же, как тогда, в первое свидание с Муравьевым, чувствовал Голицын, что *она*, Софья,— с ним; но почему же тогда было легко и радостно, а теперь тяжко и страшно?

Оба молчали.

— Может быть, вы и правы,— проговорил, наконец, Лунин.— Ну, до свидания, до свидания в вечности, мой друг. *Друг* ведь, так?

— Так, Лунин.

Голицын подал ему руку. Тот крепко пожал ее и долго не отпускал, долго смотрел на него, как будто все еще надеясь.

Под этим взглядом и вышел от него Голицын.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Извини, дорогой Юшневский, что не написал тебе из Бердичева. Знаешь, как я писать ленив, и оказии не было, а по почте ненадежно. Скажи Голицыну, что я рад видеть его, но о делах говорить не рад, потому что заранее знаю, что в разговорах толку мало.

Ты спрашиваешь, что я поделываю. Войсковые рапорты отписываю да занимаюсь шагистикой. Отупел от безлюдья, ибо кроме фрунтовиков да писцов никого и ничего не знаю. Устроил себе комнату, из которой почти не выхожу. Жизнь моя не забавна, она имеет сухость тяжкую. И здоровье не очень изрядно. Попроси доктора Вольфа хины прислать.

Спасибо Барятинскому за «Досуги Тульчинские». Я наизусть затвердил посвящение:

Sans doute il te souvient des tranquilles soirées,
Où, par l'épanchement, nos âmes resserées,
Trouvaient dans l'amitié tant de charmes nouveaux[1].

А насчет моих «великих мыслей», кажется, лесть дружеская. Великие мысли рождают и дела великие. А наши где?

Будь счастлив, поцелуй от меня ручки нашей милой разлучнице, Марии Казимировне, и не забудь твоего

Пестеля.

Линцы, 5 сентября 1824 года.

P. S. Рассуди хорошенько, стоит ли приезжать Голицыну. Дела не делать, а о деле говорить — воду в ступе толочь. Впрочем, как знаешь».

После этого письма Голицын колебался, ехать ли. Но Юшневский настоял, и он в тот же день отправился.

Местечко Линцы, стоянка Вятского полка, которым командовал Пестель, находилось верстах в шестидесяти от Тульчина, в Липовецком уезде, Киевской губернии, почти на границе Подольской. Почтовая дорога шла на Брацлав, по долине Буга — на нижнюю Крапивну

[1] Тебе, конечно, вспоминаются мирные вечера,
Когда, изливаясь друг другу, сжимались наши сердца
И открывали в дружбе еще не изведанную прелесть (*франц.*).

и на Жорнище, а отсюда — глухая проселочная — по дремучему, на десятки верст тянущемуся, дубовому и сосновому лесу, недавнему приюту гайдамаков и разбойников. Лес доходил до самых Линцов, а дальше была голая степь с ковылем да курганами.

Линцы — не то маленький городок, не то большое селение; на берегу многоводной, светлой и свежей Соби — хутора в уютной зелени, низенькие хатки под высокими очеретовыми крышами, ветхая церковка, синагога, костел, гостиный двор с жидовскими лавочками, штаб Вятского полка, полосатая гауптвахта, шлагбаум, а за ним голая степь: казалось, тут и свету конец. С полудня степь, с полуночи лес как будто нарочно заступили все дороги в это захолустье, людьми и Богом забытое.

Был ненастный вечер. Должно быть, прошла где-то далеко гроза, и как будто сразу кончилось лето, посвежело в воздухе, запахло осенью. Дождя не было, но порывистый, влажный ветер гнал по небу темные, быстрые тучи, такие низкие, что, казалось, клочья их за верхушки леса цепляются.

Наступали сумерки, когда ямщик подвез Голицына к одноэтажному старому каменному дому — дворцу князей Сангушко, владельцев местечка. Дом стоял необитаемый, окна заколочены, двор порос лопухом и крапивой. За домом — сад с большими деревьями. Их вершины угрюмо шумели, и черная воронья стая носилась над ними в ненастном небе со зловещим карканьем.

Пестель жил в одном из флигелей дома, уступленном ему княжеским управителем.

— Пожалуйте, пожалуйте, ваше сиятельство,— встретил Голицына как старого знакомого денщик Пестеля, Савенко, хохол с добродушно-плутоватым лицом, и пошел докладывать.

Кабинет — большая, мрачная комната, с двумя высокими окнами в сад; во всю стену, от потолка до полу — полки с книгами; письменный стол, заваленный бумагами; огромный камин-очаг с кирпичным навесом, какие бывают в старопольских усадьбах. Князья Сангушко, деды и прадеды, с почернелых полотен следили зловеще и пристально, как будто зрачки свои тихонько поворачивали за тем, кто смотрел на них. Пахло мышами и сыростью. В долгие вечера осенние, когда ветер

воет в трубе, дождь стучит в окна и старые деревья сада шумят,— какая здесь, должно быть, тоска, какое одиночество. «Жизнь моя не забавна, она имеет сухость тяжкую»,— вспомнилось Голицыну.

— Как доехали, князь? Не угодно ли умыться, почиститься? Вот ваша комната.

Хозяин провел гостя в маленькую, за кабинетом, комнатку, спальню свою.

— Вы ведь у меня ночуете?

— Не знаю, право, Павел Иванович. Тороплюсь, хотел бы к ночи выехать.

— Ну, что вы, помилуйте! Не отпущу ни за что. Хотите ужинать?

— Благодарю, я на последней станции ужинал.

— Ну, так чай. Самовар, Савенко!

Старался быть любезным, но Голицын чувствовал, что приехал некстати.

Когда он вернулся в кабинет, почти стемнело. Пестель сидел, забившись в угол дивана, кутаясь в старую шинель вместо шлафрока, скрестив руки, опустив голову и закрыв глаза, с таким неподвижным лицом, как будто спал. «А ведь на Наполеона похож: Наполеон под Ватерлоо, как говорит Бестужев»,— подумалось Голицыну. Но если и было сходство, то не в чертах, а в этой каменной тяжести, сонности, недвижности лица.

Денщик принес лампу. Пестель взглянул на Голицына, как будто очнувшись. Только теперь, при свете, увидел тот, как он изменился, похудел и осунулся.

— Вам нездоровится, Пестель?

— Да, все что-то знобит. Лихорадка, должно быть.

— А я вам хины привез, доктор Вольф прислал.

— Ну вот, спасибо. Давайте-ка, приму.

Налил воды в стакан, насыпал порошок и, прежде чем выпить, улыбнулся детски-беспомощно.

— Сразу?

— Да, сразу.

Выпил и поморщился.

— Экая гадость! Ну, а теперь другую гадость, тоже сразу. Что новенького, князь?

Голицын рассказал ему о доносе Шервуда, о вероятном открытии заговора, о подозрениях на капитана Майбороду и генерала Витта.

Пестель слушал молча, уставившись на него испод-

лобья пристальным взглядом, с тою же окаменелою недвижностью в лице. И казалось Голицыну, как некогда Рылееву, что собеседник не видит его, смотрит на лицо его, как на пустое место.

— Ну, что ж, все в порядке вещей,— проговорил Пестель, когда Голицын кончил:— ждали, ждали и дождались. Вступая в заговор, думать, что не будет доносчиков,— ребячество. «Во всяком заговоре на двенадцать человек двенадцатый изменник»,— говорил мне старик Пален, убийца императора Павла, а он в этих делах мастер.

— Что же вы иамерены делать, Павел Иванович?

Пестель пожал плечами.

— Что делать? Кому быть повешенным, тот не утонет. Вот уже полгода я всякую минуту жду, что меня придут хватать — и ничего, привык. Можно ко всему привыкнуть. А вам не скучно, Голицын?

— Что скучно?

— Да вот обо всем этом думать — о доносах, арестах, шпионах — «шпигонах», как говорит мой Савенко.

— Скучно, но как же быть? От этого зависит все наше дело...

— А вы в наше дело верите?

— Что вы хотите сказать, Пестель?

— Ничего, пошутил, извините... Ну, будемте говорить серьезно. Насчет Майбороды вы, господа, ошибаетесь. Неужели вы думаете, что я его принял бы в Общество, если бы не был уверен...

— А вы его приняли?

— Почти принял.

— Ради Бога, Павел Иванович, будьте осторожны...

— Не беспокойтесь, я людей знаю.

— Людей знаете и не видите, что это — негодяй отъявленный?

— Да, негодяй,— что ж из того? Негодяи-то нам, может быть, нужнее честных людей. Ведь это только на Страшном суде — овцы одесную, а козлища ошую; в сей же юдоли земной все в куче,— не разберешь; тот же человек сегодня негодяй, а завтра честный, или наоборот. Негодяи-то уж тем хороши, что знаешь, чего от них ждать, а от честных, подите-ка, узнайте. «Кто из честных людей не достоин пощечины?»— у Шекспира это, что ли? Я плохой христианин, но помню, что бо-

лее радости на небесах об одном кающемся грешнике, нежели о девяноста девяти праведниках. Вот и генерал Витт тоже грешник и тоже кается; мы ему не верим... ну, а если ошибаемся? 40.000 войска под командою, шутка сказать!

— Что вы говорите, Павел Иванович?

— А что? Не благородно? Ну, еще бы! Только о благородстве и думаем. От благородства погибаем. Какая уж тут политика! В политике нет благородного и подлого, а есть умное и глупое. И мы выбрали глупое: царя убить, революцию сделать в белых перчатках. Убить надо, но никто не хочет сам: перчатки мешают,— и все друг за друга хоронятся, ждут. А пока государь может быть спокоен,— даст Бог, нас всех переживет. Так-то, Голицын: слово и дело не одно и то же; от суждений до совершений весьма далече. Люди говорят легко, а действуют, по мере опасности, если не для жизни, то для чести, для совести. Мы — люди храбрые, жизнью готовы жертвовать; да жизнью-то легко, а вот честью, совестью как? Кто хочет спасти душу свою, тот погубит ее [1],— не о таких ли, как мы, это сказано?..

Он потупился, а когда опять поднял глаза, они засверкали злобным огнем.

— Вы вот все предателей ищете, а главный-то предатель, знаете, кто? Я по ночам не сплю, думаю, думаю и вот до чего додумался: нам другого нет спасенья, как принести государю повинную. Он благородный, *почти* благородный человек, мы тоже *почти* благородные — отчего бы и не сговориться? Открыть ему все и убедить, что лучший способ уничтожить революцию — дать России то, чего мы добиваемся. Вот поеду в Петербург и донесу... Ну, что скажете, Голицын? Подлость, а?

— Не подлость, а сумасшествие,— возразил Голицын.

— А у вас никогда этого сумасшествия не было?— спросил Пестель.

— Если и было, то прошло.

— Совсем прошло?

— Совсем.

— Жаль. А я думал — вместе. Вместе бы легче. На миру и смерть красна...

---

[1] «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Евангелие от Матфея, XVI, 25).

— Думали, что я считаю это подлостью и буду вместе с вами?

— Да, вот и поймали. Заврался, запутался,— усмехнулся Пестель и посмотрел на него с нескрываемым вызовом.

— Так о чем же вы-то с *ним* говорить будете?

— С кем?

— С государем. Ведь у вас свиданье?

— Кто вам сказал?

— Слухом земля полнится. А вам не хотелось, чтобы я знал?

«Подозревает меня, испытывает, что ли?»— подумал Голицын с негодованием.

— Может быть, я и вправду с ума схожу,— продолжал Пестель, и усмешка его делалась все более язвительной:— но у сумасшедших есть ведь тоже логика. Ну так вот, по моей сумасшедшей логике, одно из двух: или уничтожить заговор, или уничтожить царя. Не хотите одного, значит, хотите другого? О другом-то мы с вами, кажется, были согласны, помните, у Рылеева.

— Помню.

— И теперь согласны?

Голицын молчал; сквозь негодование он чувствовал, что Пестель прав.

— Так как же, Голицын? Ваше свидание с государем в такую минуту, когда дело почти проиграно, вы сами понимаете?.. Или не хотите ответить?

— Не хочу. Это дело моей совести, Павел Иванович! Позвольте же мне одному быть в нем судьею,— начал Голицын, бледнея, и не кончил.

Пестель смотрел на него молча, в упор. «Кто из честных людей не достоин пощечины?»— вспомнилось Голицыну, и вся кровь прилила к лицу его, как от пощечины. Пестель опять был прав, и в этой правоте — то неразрешимое, темное, страшное, о чем Голицын старался не думать все эти месяцы: «убить надо, но пусть не я, а другой».

У крыльца послышался колокольчик тройки. Голицын предчувствовал, что не придется ему ночевать у Пестеля, и заказал лошадей на станции.

— Лошади поданы, ваше сиятельство,— доложил Савенко.

Голицын встал и покраснел: чувствовал, что отъезд его похож на бегство.

— До свиданья, Пестель!

— Куда вы?

— Еду.

Пестель тоже встал.

— Прошу вас, Голицын, останьтесь,— проговорил он вдруг изменившимся голосом, с тихой, странной улыбкой.

— Нет, Пестель, наш разговор бесполезен и тягостен. Вы были правы, что мне приезжать не следовало...

— Прошу вас, Голицын, останьтесь,— повторил Пестель все тем же голосом, с тою же улыбкою. Голицын вгляделся в нее и вдруг понял: что-то было в ней такое жалкое, что у него сердце упало.

— Если я обидел вас, простите, Голицын, ради Бога, не сердитесь на меня. Разве вы не видите, что я в таком положении, что на меня сердиться нельзя?..

Что-то задрожало, задвигалось в недвижном лице, как маска, готовая упасть.

— Лежачего не бьют,— прибавил он с усилием, опустился на диван и закрыл лицо руками.

Голицын с минуту подумал, вышел в переднюю, позвал денщика, велел сказать, чтоб лошадей откладывали, вернулся к Пестелю, сел рядом и положил ему руку на плечо.

— Я отвечу на ваш вопрос, Павел Иванович: я знаю, что надо делать, но не могу, и что это подлость — тоже знаю. Как видите, мое положение не лучше вашего...

Пестель посмотрел на него, как будто только теперь увидел лицо его.

— Прошу вас, Пестель,— продолжал Голицын,— ответьте и вы на мой вопрос. Зачем вы сказали мне давеча о вашем предательстве? Вы знали, что я не поверю. Зачем же? Или подозревали меня, испытывали?

— Нет, не вас, а себя испытывал...

— Ну и что же?

— Вы правы: я этого не сделаю. А как я дошел до этого, хотите знать?

— Лучше не надо, Пестель! Потом когда-нибудь, а сейчас вам трудно.

— Думаете, стыдно? Нет, ничего. После того, что вы обо мне знаете,— мне уж стыдиться нечего...

Помолчал, подумал и начал:

— Помните, Гамлет говорит: «совесть всех вас делает трусами». Я имею золотую шпагу за храбрость, но я трус, не перед смертью, а перед мыслью, перед совестью трус. Чтобы что-нибудь сделать, не надо слишком много думать. «Бледнеет румянец воли, когда мы начинаем размышлять»,— это тоже Гамлет сказал,— я теперь все «Гамлета» читаю. А я не могу не размышлять; люблю мысль без корысти, без пользы, без цели, мысль для мысли, чистую мысль. Я только в мысли и живу, а в жизни мертв. Я не злодей и не герой, а обыкновенный человек, добрый, честный немец. Вот книжки читать люблю. Почитываю, пописываю; 12 лет писал «Русскую Правду» и мог бы писать еще 12 лет. Как Архимед, делаю математические выкладки в осажденном городе; пропадай все, только бы сошлись мои выкладки. Говорю, не думая: надо царя убить. И как будто чувствую, что это так; как будто ненавижу его; а подумаю: за что ненавидеть? за что убивать? Обыкновенный человек, такой же, как все мы; средний человек в крайности. И ненависти нет, и воли нет. И так всегда со всеми чувствами. Никаких чувств, один ум; ум полон, а сердце — как пустой орех...

— Вы на себя клевещете, Пестель: одно великое чувство есть у вас.

— Какое? Любовь к отечеству? Я и сам думал, что люблю. Но нет, не люблю. Да и что такое любовь? Полюбить — выйти из себя, войти в другого? Сделать так, чтобы я был не я? Фокус, что ли? Или вера? Чудо? По логике, нельзя верить, нельзя любить: логика — дважды два четыре, а любовь — чудо, дважды два пять. В Евангелии: «любите, любите...» Ну, а что же делать, если нет любви? Это как совет утопающему вытащить себя за волосы. Злая шутка. Хоть убей, не люблю. И чем больше стараюсь, тем меньше люблю... Нет, в самом деле, Голицын, что же делать, что делать, если нет любви? Молиться, что ли? Вы в Бога веруете?

— Верую.

— В какого? Что такое Бог? Говорят, Бог есть любовь. А у нас тут, в Линцах, намедни свинья двухлетней девочке голову отъела. Девочка невинна, и свинья — тоже, а все-таки Бог есть любовь? Мой друг Барятинский — плохой поэт, но он хорошо сказал, лучше Вольтера:

En voyant tant de mal couvrir le mond entier,
Si Dieu même existait il faudrait le nier[1].

Помните, я вам в Петербурге говорил, что умом знаю о Боге, а сердцем Его не хочу? И без Бога довольно мучений. Я видел под Лейпцигом предсмертные мучения раненых: мороз и сейчас продирает по коже, как вспомню. И ведь каждый-то из них знал, что волос с головы его не упадет без воли Отца Небесного... А по взятии Лейпцига нашел я в одной аптеке яд, купил его и с тех пор всегда ношу при себе.

Отпер ящик в столе, вынул пузырек и показал Голицыну.

— Вот свобода, кажется, бо́льшая, чем во всех республиках,— от всего, от всего, а главное — от себя свобода... Я говорил давеча: одно из двух,— уничтожить заговор или уничтожить царя; но, может быть, есть и третье: уничтожить себя. Цицерон полагал в самоубийстве величие духа. И в «Меропе» у Вольтера, помните:

Quand on a tout perdu, quand il n'ya plus d'espoir,
La vie est une honte et la mort un devoir[2].

Да, умереть с достоинством — последний долг... А вы и в бессмертье души, Голицын, верите?

— Верю.

— Я понимаю, что можно верить, но как желать бессмертия, не понимаю,— продолжал Пестель:— так устаешь от жизни, что, кажется, мало вечности, чтобы отдохнуть. Это как ночлег, о котором думаешь, когда трясешься на почтовой телеге в знойный день: на простыни свежие лечь, протянуться, вздохнуть и уснуть...

Полузакрыл глаза, облокотился на стол, опустил голову и сжал ее обеими руками.

— Что я хотел? Погодите-ка, что-то важное, да вот забыл, все забываю. Должно быть, от жара мысли мешаются... Я двадцать лет молчал, и вдруг заговорил. Я с вами говорю, Голицын, потому что вы слушать умеете. Слушать трудно, труднее, чем говорить, а вы умеете. Когда вы так в очки смотрите, то похожи на

---

[1] Если бы Бог и существовал, то мы, видя, сколько в мире зла, должны бы отречься от Бога (*франц.*).

[2] Когда все погибло и больше нет надежды,
Жизнь есть позор, а смерть есть долг (*франц.*).

доктора или на доброго лютеранского пастора. Я ведь лютеранин. У меня был один учитель в Дрездене, господин фон Зейдель, добрый старый немец, гернгутер, большой мистик. Тоже в очках, немного на вас похож. Читал Апокалипсис и говорил, что понимает все до точности. И Лютеров псалом пел: Eine feste Burg ist unser Gott[1]. Так хорошо пел, что нельзя было слушать без слез... А знаете, Голицын, когда жар, и сидишь долго один, уставившись глазами в темный угол, то все кажется, что там кто-то. Видишь, что нет никого, а кажется... Вот и теперь. Думаете, брежу? Нет... только не надо в угол смотреть... А вон там у меня, на столе, портрет: это Софи, сестра моя. Красавица, не правда ли?.. Я вам говорил, что никого не люблю. А ее люблю. Но ведь это не та любовь. Христос говорит: «кто матерь Моя, кто братья Мои?» А кстати, Голицын, или некстати, ну, да все равно, вы ведь в Тульчине с Луниным виделись?..

— Виделся.

— Рассказывал он вам, как умирающий отец его явился к нему в самую минуту смерти? Какой-то магнетизм, что ли? А может быть и шарлатанство. Лунин верит насильно, сломал себя, чтобы верить, а все-таки не очень верит... Больные в жару видят то, чего нет. А по Канту, и здоровые: весь мир — то, чего нет, привидение... А хотел бы я увидеть хоть маленькое привиденьице. Если очень, очень желать, то, может быть, и увидишь... Э, черт, все не о том... А не знаете ли, Голицын, что раньше написано: «Политика» или «Метафизика» Аристотеля? Кажется, надо бы раньше «Метафизику». Eine feste Burg ist unser Gott.[1] У св. Августина политика — Град Божий. А у меня — Град без Бога. По «Русской Правде», попы — те же чиновники. А ведь этого, пожалуй, мало?... Я хоть и немец и лютеранин, а люблю православную службу и ладан и пение. Когда по Киевской лавре хожу, все монахам завидую. О, beata solitudo, o, sola beatitudo![2] После революции в лавру уйду и сделаюсь схимником. Кроме шуток, этим кончу... Только все не о том, все не о том...

Остановился, потер лоб рукою, улыбнулся, помор-

[1] Град крепкий — Господь наш (*нем.*).

[2] О, блаженное уединение, о единственное блаженство! (*лат.*).

щился детски-беспомощно, так же как давеча, когда глотал хину.

— Вам бы лечь, Пестель, вы больны,— сказал Голицын.

— Ничего, маленький жар. От этого мысли яснее, хотя и мешаются. Хотите чаю?.. Ах, да, наконец-то, вспомнил! Вы «Катехизис» Муравьева знаете?

— Знаю.

— Странно. Муравьев думает, что мы против царя со Христом, а царь думает, что он против нас со Христом. С кем же Христос? Или ни с кем? «Царство Мое не от мира сего». А как же Град Божий? Тут что-то неладно. Уж не лучше ли просто по-моему: попы — чиновники, политика — Град человеческий — и дело с концом? Муравьев, кажется, хочет свой «Катехизис» в народ пускать, все о народе хлопочет, о малых сих. А народ ничего не поймет. Да и что такое народ? Я полагаю, что он всегда будет тем, что хотят личности. Вы скажете: плохая демократия? Да, об этом говорить вслух не надо... А что вы думаете, Голицын, Муравьев может убить?

— Думаю, может.

— Удивительно! Любит всех, любит врагов своих, кажется, мухи не обидит, а вот может убить. Убьет, любя. Наполеон говорил: «Такому человеку, как я, плевать на жизнь миллиона людей». Это понятно и просто, слишком просто, почти глупо. Говорят, что я в Наполеоны лезу. Но я бы так не сказал, а если б и сказал, не гордился бы этим. Но это понятно. А убивать, любя? Погубить душу свою, чтобы спасти ее,— так что ли?.. Вы по-немецки читаете?

— Читаю. Но, Пестель, зачем вы?..

— Нет, нет, слушайте.

Он открыл лежавшую на столе большую, в кожаном переплете с медными застежками, ветхую Лютерову Библию.

— Я теперь все Библию читаю — Шекспира и Библию. Говорят, кто Библию прочтет, с ума сойдет. Может быть, я от того и схожу с ума. Слушайте: «Можешь ли удою вытащить Левиафана? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсти его? Крепкие щиты его — великолепие; на шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Железо он счи-

тает за солому, медь за гнилое дерево. Нет на земле подобного ему. Он царь над всеми сынами гордости».— Левиафан был в Наполеоне, когда он говорил: «Мне плевать на жизнь миллиона людей». И в свинье, которая отъела девочке голову. И это верх путей Божьих? Да, можно с ума сойти! Английский философ Гоббс назвал государство свое Левиафаном, а св. Августин — Градом Божиим. А мой учитель, господин фон Зейдель, полагал, что Левиафан есть Зверь Апокалипсиса. Не разберешь, где Бог, где Зверь. Все спутано, все смешано... Это и значит — убивать с Богом, убивать, любя... Так что ли?

— Нет, Пестель, не так. Зачем вы смеетесь? Ну, зачем, зачем вы мучаете себя?

— Я не смеюсь, Голицын, я только мучаюсь, или кто-то мучает меня, убивает, любя... Должно быть, я не понимаю тут чего-то главного... Муравьев однажды сказал обо мне: «есть вещи, которые можно понять лишь сердцем, но кои остаются вечною загадкою для самого проницательного ума». Я ничего не понимаю сердцем, я сердцем глуп. А вот у Муравьева сердце умное. Я мог бы его полюбить. Скажите ему это, когда увидите его. А ведь он не любит меня?..

— Не любит, потому что не знает,— возразил Голицын.

— А вы знаете?

— Знаю. Теперь знаю.

Голицын улыбнулся. Пестель — тоже, и от этой улыбки лицо его вдруг помолодело, похорошело, как будто мертвая маска упала с живого лица, и он сделался похож на портрет шестнадцатилетней девочки, который стоял на столе.

— Вы сами себя не знаете, Пестель,— продолжал Голицын:— вы с Муравьевым очень не похожи и очень похожи.

— И я мог бы убить, любя?

— Нет, не могли бы. Вы не другого, а себя убиваете. Но это все равно. Вы тоже губите, уже почти погубили душу свою, чтобы спасти ее... Слушайте.

Голицын взял Библию, открыл Евангелие от Иоанна и прочел:

— «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому

что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но возрадуется сердце ваше»...

Пестель молчал и улыбался, но лицо его побледнело так, что Голицын боялся, что ему сделается дурно.

— Ну, а теперь давайте спать, Павел Иванович! Мне завтра ехать рано.

Голицын позвал денщика и велел подавать лошадей на рассвете.

— Куда вы едете? — спросил Пестель.

— В Лещинский лагерь под Житомиром. Там сбор Васильковской Управы и Общества Соединенных Славян.

— Зачем сбор?

— Решать, когда начинать.

— И вы думаете, начнут?

— Думаю.

— Как дважды два пять? — усмехнулся Пестель.

— Не знаю,— возразил Голицын: — вы же сами говорите, что не надо слишком много думать, чтобы сделать.

— А если начнут, хотите быть вместе? — спросил Пестель.

— Хочу,— ответил Голицын.

— Скажите же им: пусть только начнут, а мы от них не отстанем,— сказал Пестель.— А из Лещинского лагеря приезжайте ко мне; мне хотелось бы еще увидеться с вами.

— Постараюсь.

— Нет, обещайте.

— Хорошо, Пестель, даю вам слово.

— Ну, спасибо, за все спасибо! Доброй ночи, Голицын!

Хозяин лег на диван в кабинете, а гостю уступил свою постель. Как ни спорил тот, ни доказывал, что Пестелю, больному, нужнее покой, он настоял на своем.

В спальне на стене висела золотая шпага, полученная им за храбрость под Бородиным. Тут же стоял кованый сундук с большим замком. Голицыну казалось, что в этом сундуке — «Русская Правда». Над

изголовьем постели — распятие и другой маленький портрет Софии; здесь она была моложе, лет 12-ти; детское личико с пухлыми, как будто надутыми, губками, с большими черными, немного навыкате, как у Пестеля, глазами и с недетски тяжелым взором. Под портретом подпись по-французски, ученическим почерком: «Моему дорогому Павлу.— Село Васильевское, 13 июля 1819 года». На ночном столике — славянское Евангелие, тоже с надписью, подарок отца. Между страницами — сухие цветы, а на пожелтевшем от времени предзаглавном листе написано рукою Пестеля: «Сегодня, в день моего рождения, 2 мая 1824 года, Софи подарила мне крестик, а матушка — кольцо на память. Я с этими вещами никогда не расстанусь, и они будут со мною до последнего дыханья моего, как самое драгоценное, что я имею».

Из спальни была одна только дверь в кабинет. В пять часов утра денщик Савенко вошел к Голицыну босыми ногами, на цыпочках, принес ему стакан чаю, разбудил, тихонько тронув за плечо, доложил шепотом, что лошади поданы, и пока Голицын одевался, сообщил, что «их благородие, г. подполковник, разбудить себя велели, чтобы проститься с князем, да жаль: первую ночь изволят почивать хорошо»; сообщил также свои опасения о шпионах — «шпигонах» и о капитане Майбороде. Видно было, что он любит, жалеет барина.

Денщик вышел, чтобы уложить вещи в коляску. Голицын вышел в кабинет, стараясь двигаться так же беззвучно, как Савенко. Пестель спал на диване. Проходя мимо, Голицын остановился и взглянул на лицо его. В темном свете утра оно казалось бледным мертвенной бледностью; тонкие брови иногда сжимались, точно хмурились, как будто и во сне думал он упорно, мучительно.

Голицын наклонился и поцеловал его тихонько в лоб. Веки спящего дрогнули. Голицын боялся, что он проснется; но нет, только улыбнулся, не открывая глаз, и от этой улыбки во сне — так же как наяву — лицо его помолодело, похорошело удивительно. Может быть, снилось ему, что Софья с ним.

И Голицын чувствовал, что его Софья тоже с ним.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лещинский лагерь находился в 15 верстах от большой почтовой дороги из Житомира в Бердичев, а 8-я артиллерийская бригада стояла в деревне Млиницах, в 3 верстах от Лещина. Квартиры были тесные: все крестьянские хаты битком набиты, так что большинство офицеров ютилось в палатках и балаганах, легких лагерных строениях, заменявших палатки.

В одном из таких балаганов лежали на койках два молоденьких артиллерийских подпоручика 8-й бригады, Саша Фролов, мальчик лет 19, и Миша Черноглазов, немного постарше. Лежа на спине, высоко закинув ногу на ногу и покуривая трубку-султанку, Миша напевал неестественно-хриплым голосом:

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской.

Балаган, построенный на живую нитку из прутника, обмазанного глиною, имел вид чердака; на земляном полу теснились койки; окон не было, свет проникал сквозь дверцу. Теперь она была закрыта, и в балагане — темно; один только солнечный луч падал сквозь щель в крыше, над Сашиной койкой, и рисовал на стене маленькую живую картинку, опрокинутую, как в камере-обскуре: внизу — голубое небо с круглыми белыми облаками, а вверху — желтое жнивье, зеленые деревья, ветряные мельницы, белые палатки и марширующие вверх ногами солдатики; иногда картинка мутнела, расплывалась, а потом опять становилась яркою, и в темноте распространялся от нее полусвет радужный. Саша любовался ею. «Хорошо бы,— думал он,— если бы и вправду все было так, вверх ногами. Страшно и весело»...

— Пойдем-ка к Славянам, Саша,— сказал Черноглазов.

Если бы он сказал: «пойдем к цыганам», или, «к мадамкам»,— Саша понял бы; но что такое *Славяне*, не знал, а показать не хотел: стыдился не знать того, что знают все и что нужно знать, чтоб быть молодцом.

— Нет, Миша, сегодня у капитана Пыхачева банк; отыграться надо: намедни, после второй талии, поста-

вил я мирандолем, сыграл на руте и все продул,— ответил он с напускною небрежностью и начал напевать, закинув ногу на ногу, точно так же как Черноглазов.— подражал ему во всем:

Напьюсь свинья свиньею,
Пропью погоны с кошельком.

— Пыхачева дома не будет: он у Славян.

— Ну, так в Житомир, в театр, там одна в хоре есть недурненькая...

Саше вспомнились афишки, которые разбрасывали по городу разрумяненные цирковые наездницы: «в семь часов вечера будут пантомимы, игры гимнастические и балансеры». Театр, или цирк — длинный дощатый сарай, освещаемый вонючими плошками, с деревянными скамьями вместо кресел и четырьмя жидами, игравшими на скрипках и цимбалах, вместо оркестра. Но господа офицеры охотно посещали театр, потому что там можно было встретить смазливых уездных панночек.

— Ну его к черту! Пойдем лучше к Славянам,— возразил Черноглазов.

— Какие Славяне? — спросил, наконец, Саша, не выдержав.

— Разве не знаешь? Об этом знают все. Только это большой секрет...

— Как же так? Секрет, а знают все?..

— Ну, да, от начальства секрет, а товарищи знают. Славяне — это заговорщики...

Саша приподнялся на одном локте, и от любопытства глаза его сделались круглыми.

— Заговорщики? Фармазоны, что ли?

— Не фармазоны, а Тайное Общество благонамеренных людей, поклявшихся улучшить жребий своего отечества,— произнес Миша как по-писаному и умолк таинственно.

— Да ну? Врешь?

— Зачем врать? Пойдем, увидишь сам.

— Разве можно так? Меня никто не знает.

— Ничего, представлю. Все наши там. Уж давно бы нужно и тебе по товариществу? Или боишься? Да, брат, за это может влететь. Мамахен—папахен что скажут?.. Ну, если боишься, не надо, Бог с тобою.

Саша покраснел, и слезы обиды заблестели на глазах его.

— Что ты, Миша, как тебе не стыдно? Разве я когда-нибудь отказывался от товарищества? Пойдем, разумеется, пойдем!

Собрание Славян и Южного Общества назначено было в 7 часов вечера на квартире артиллерийского подпоручика Андреевича 2-го. Место уединенное: хата на самом краю села, на высоком обрыве, над речкою Гуйвою, в сосновом лесу. Тут было заброшенное униатское кладбище с ветхою каплицею. Хозяин, дьячок, отдав хату внаем, сам перешел жить в баню на огороде, так что никого постороннего не было в хате; даже денщика своего Андреевич услал в Житомир. Приезжавшие верхом из Лещинского лагеря заговорщики оставляли лошадей на селе и шли по лесу пешком, в одиночку, чтобы не внушать подозрений.

Все приняло новый заговорщицкий вид, когда Саша с Мишей подходили к хате Андреевича. В темноте душного вечера, в предгрозном молчании неба и земли, проносилось иногда дуновение слабое, как вздох, и верхушки сосен шушукали таинственно, а потом все вдруг опять затихало еще таинственней.

Когда они вошли в хату, знакомые лица товарищей показались Саше незнакомыми. «Так вот какие бывают заговорщики»,— подумал он. И тусклые сальные свечи на длинном столе мерцали зловещим светом, и белые стены как будто говорили: «Будьте осторожны, и у стен есть уши»; и в темных окнах зарницы мигали, подмигивали, как будто заговорщики небесные делали знаки земным.

Заседание еще не началось. Черноглазов представил Сашу Петру Ивановичу Борисову, Горбачевскому и майору Пензенского пехотного полка Спиридову, только что избранному посреднику Славян и Южных.

— Милости просим,— сказал Горбачевский.— В какое же Общество угодно вам поступить, к нам или в Южное?

Саша не знал, что ответить.

— В Южное,— решил за него Черноглазов.

— Вот прочтите, ознакомьтесь с целями Общества,— подал ему Горбачевский тоненькую тетрадку в синей обложке, мелко исписанную четким писарским

почерком: «Государственный Завет», краткое извлечение из Пестелевой «Русской Правды» для вновь поступающих в Общество.

Саша сел за стол и стал читать, но плохо понимал, и было скучно. Никогда не думал о политике; не знал хорошенько, что значит конституция, революция, республика. Но понял, когда прочел: «цель Общества — введение в России республиканского образа правления посредством военной революции с истреблением особ царствующего дома». «Да за это может влететь»,— подумал, и стало вдруг весело — страшно и весело.

Притворяясь, что читает,— прислушивался, приглядывался. Много начальства: ротные, бригадные, батальонные, полковые командиры. От одного взгляда их во фронте зависела Сашина участь; каждый из них мог на него накричать, оборвать, распечь, отдать под суд; мог *там*, а *здесь* не мог: здесь все равны, как будто уже наступила республика; здесь все по-другому: старшие сделались младшими, младшие — старшими; все по-другому, по-новому,— в обратном виде, как в той маленькой живой картинке, которую солнечный луч рисовал на стене балагана: земля вверху, небо внизу. Голова кружится, но как хорошо, как страшно и весело! Не жаль, что отказался от карт и пантомим с балансерами.

— Ну, пойдем водку пить,— позвал его Черноглазов.

Подошли к столику с закусками.

— Все благородно мыслящие люди решили свергнуть с себя иго самовластия. Довольно уже страдали, стыдно терпеть унижение,— говорил начальнически-жирным басом полковник Ахтырского гусарского полка Артамон Захарович Муравьев, апоплексического вида толстяк, заедая рюмку водки селедкою. Называл всех главных сановников, прибавляя через каждые два-три имени:

— Протоканальи!

И жирный бас хрипел, жирный кадык трясся, толстая шея наливалась кровью, точно так же как перед фронтом, когда он, бывало, на гусар своих покрикивал: «Седьмой взвод, протоканальи! Спячка на вас напала? Ну, смотри, как бы я вас не разбудил!»

Бранил всех, а пуще всех государя. Вдруг сказал

о нем такое, что у Саши дух захватило, и вспомнилось ему, как тот же Артамон Захарович намедни, на балу у пана Поляновского, хвастая любовью русских к царю и отечеству, повторял слова свои, сказанные, будто бы, перед Бородинским боем: «Когда меня убьют, велите вскрыть мою грудь и увидите на сердце отпечаток двуглавого орла с шифром: *А. П.*» (Александр Павлович). А теперь вот что! Это, впрочем, Сашу не удивило, как не удивило то, что в обратном ландшафте люди ходят вверх ногами.

— Веденяпочка, моя лапочка, налей-ка мне перцовочки,— попросил Артамон Захарович подпоручика Веденяпина, с которым только что познакомился и уже был на «ты».

Выпил, крякнул, закусил соленым рыжиком и перешел нечувствительно от политики к женщинам.

— Намедни панна Ядвига Сигизмундовна сказывала: «В Париже, говорит, изобрели какие-то прозрачные сорочки: как наденешь на себя да осмотришься, так все насквозь и виднехонько...»

И, рассказав непристойный анекдот по этому поводу, засмеялся так, что, казалось, тяжелая телега загрохотала по булыжнику.

Черноглазов представил Сашу Артамону Захаровичу, и тот через пять минут был с ним тоже на «ты», похлопывал по плечу и угощал водкою.

— Какой ты молоденький, а жизни своей не жалеешь за благо отечества! Эх, молодежь, молодежь, люблю, право! Выпьем, Сашенька...

И полез целоваться. От него пахло водкою, селедкою и оделавандом, которым он обильно душился; на руках — грязные ногти и перстни с камнями, как будто фальшивыми; и во всей его наружности что-то фальшивое. Но Саше казалось, что таким и следует быть заговорщику.

— Ужасно мне эта жирная скотина не нравится,— произнес чей-то голос так громко, что Саша обернулся, а Артамон Захарович не слышал или сделал вид, что не слышит.

Поручик Черниговского полка, член Южного Общества Кузьмин Анастасий Дмитриевич, или, по-солдатски, Настасей Митрич, или еще проще «Настасьюшка», весь был жесткий, шершавый, щетинистый,

взъерошенный, жесткие черные волосы копною, усы торчком, баки растрепаны, как будто сильный ветер поддувает сзади; черные глаза раскосые, как будто свирепые,— настоящий «разбойничек муромский», как тоже называли его товарищи, а улыбка добрая, и в этой улыбке — «Настасьюшка».

Рядом с Кузьминым стоял молодой человек, стройный, тонкий, с бледным красивым лицом, напоминавшим лорда Байрона, подпоручик того же полка, Мазалевский.

Когда Артамон Захарович сделал вид, что не слышит, и опять заговорил о политике, Кузьмин покосился на него свирепо и произнес еще громче:

— Фанфаронишка!

— Ну, полно, Настасей Митрич,— унимал его Мазалевский и гладил по голове, как сердитого пса.— Экий ты у меня дикобраз какой! Ну чего ты на людей кидаешься, разбойничек муромский?

— Отстань, Мазилка! Терпеть не могу фанфаронишек...

— А знаете, господа, Настасьюшка-то наша человека едва не убила,— начал Мазалевский рассказывать, видимо, нарочно, чтобы отвлечь внимание и предупредить ссору.

Дело было так. Вообразив, что не сегодня-завтра — восстание, Кузьмин собрал свою роту и открыл ей цель заговора. Солдаты, преданные ему, поклялись идти за ним, куда угодно; тогда, явившись на собрание Общества, он объявил, что рота его готова и ожидает только приказания идти. «Когда же назначено восстание?»— спрашивал он.— «Этого никто не знает, ты напрасно спешишь»,— отвечали ему,— «Жаль, а я думал скорее начать: пустые толки ни к чему не ведут. Впрочем, мои ребята молчать умеют, а вот юнкер Богуславский как бы не выдал: я послал его в Житомир предупредить наших о революции».— «Что ты наделал!— закричали все.— Богуславский дурак и болтун: все пересказывает дяде своему, начальнику артиллерии 3-го корпуса. Мы погибли!»— «Ну что ж, разве поправить нельзя? Завтра же вы найдете его мертвым в постели!»— объявил Кузьмин, взял шляпу и выбежал из комнаты. Все — за ним; догнали, схватили и кое-как уломали не лишать жизни глупца, которого легко уверить, что все это шутка.

— И убью! Пикни он только, убью!— проворчал Кузьмин, когда Мазалевский кончил рассказ.

— Никого ты не убьешь, Настасьюшка, ведь ты у меня добрая...

— Ну вас к черту!— продолжал Кузьмин в ярости:— если не решат и сегодня, когда восстание, возьму свою роту и пойду один...

— Куда ты пойдешь?

— В Петербург, в Москву, к чертовой матке, а больше я ждать не могу!

Саша слушал, глядел, и сердце замирало в нем так, как в детстве, когда он катался стремглав на салазках с ледяной горы, или когда снилось ему, что можно шалить, ломать вещи, бить стекла и ничего не бояться — все безнаказанно, все позволено.

— А откуда, господа, мы денег возьмем, чтобы войска продовольствовать?— спрашивал полковник Василий Карлович Тизенгаузен, щеголеватый, белобрысый немец, с такою вечною брезгливостью в лице, как от дурного запаха.

— Можно взять из полкового казначейства,— предложил кто-то.

— А погреба графини Браницкой на что?— крикнул Артамон Захарович.— Вот где поживиться: пятьдесят миллионов золотом, шутка сказать!

— Благородный совет,— поморщился Тизенгаузен с брезгливостью,— начать грабежом и разбоем, хорош будет конец. Нет, господа, это не мое дело: я до чужих денег не прикоснусь...

— Да уж знаем, небось: немцы — честный народ,— проворчал опять Кузьмин.

— Да, честью клянусь,— продолжал Василий Карлович,— лучше последнюю рубашку с тела сниму, женины юбки продам...

— Люди жизнью жертвуют, а он жениной юбкой!

Тизенгаузен услышал и обиделся.

— Позвольте вам заметить, господин поручик, что ваше замечание неприлично...

— Что же делать, господин подполковник, мы здесь не во фронте, и мне на ваши цирлих-манирлих плевать! А если вам угодно сатисфакцию...

— Да ну же, полно, Митрич...

Их обступили и кое-как разняли. Но тотчас нача-

лась новая ссора. Речь зашла о том, как готовить нижних чинов к восстанию.

— Этих дураков недолго готовить,— возразил капитан Пыхачев, командир 5-й конной роты:— выкачу бочку вина, вызову песенников вперед и крикну: «ребята, за мной!»

— А я прикажу дать им сала в кашицу, и пойдут куда угодно. Я русского солдата знаю,— усмехнулся Тизенгаузен с брезгливостью.

— Да я бы свой полк, если бы он за мной не пошел, погнал палками!— загрохотал Артамон Захарыч, как тяжелая телега по булыжнику.

— Освобождать народ палкой — хороша демократия,— воскликнул Горбачевский.— Срам, господа, срам!

— Барчуки, аристократишки!— прошипел, бледнея от злобы, поручик Сухинов, с таким выражением в болезненно-желчном лице, как будто ему на мозоль наступили.— Вот мы с кем соединяемся,— теперь, господа, видите...

И опять, как некогда в Василькове, почувствовали все неодолимую черту, разделяющую два Общества, в самом слиянии неслиянных, как масло и вода.

— Чего мы ждем?— спросил Сухинов.— Назначено в восемь, а теперь уже десятый.

— Сергей Муравьев и Бестужев должны приехать,— ответил Спиридов.

— Семеро одного не ждут,— возразил Сухинов.

— Что же делать? Нельзя без них.

— Ну, так разойдемся, и конец!

— Как же разойтись, ничего не решив? И стоит ли из-за такой малости?

— Честь, сударь, не малость! Кому угодно лакейскую роль играть, пусть играет, а я не желаю, слышите...

— Идут, идут!— объявил Горбачевский, выглянув в окно.

На крыльце послышались шаги, голоса, дверь отворилась, и в хату вошли Сергей Муравьев, Бестужев, князь Голицын и другие члены Южного Общества, приехавшие из Лещинского лагеря.

Муравьев извинился: опоздал, потому что вызвали в штаб.

Уселись, одни — за стол посреди горницы, другие — по лавкам у стен; многим не хватило места и пришлось

стоять. Председателем выбрали майора Пензенского полка, Спиридова. У него было приятное, спокойное и умное лицо с двумя выражениями: когда он говорил, казалось, что ни в чем не сомневается, а когда молчал, в глазах была лень, слабость и нерешительность.

В кратких словах объяснив цель собрания — окончательное решение вопроса о слиянии двух Обществ! — он предоставил слово Бестужеву.

Бестужев говорил неясно, спутанно, сбивчиво и растянуто. Но в том, как дрожал и звенел голос его, как он руками взмахивал, как бледнело лицо, блестели глаза и подымался рыжий хохол на голове языком огненным, была сила убеждения неодолимая. Великий народный трибун, соблазнитель и очарователь толпы,— маленький, слабенький, легонький, он уносился в вихре слов, не зная сам, куда унесется, на какую высоту подымется, как перекати-поле в степной грозе. «Восторг пигмея делает гигантом»,— вспомнилось Голицыну.

Нельзя было повторить сказанного Бестужевым, как нельзя передать словами музыку, но смысл был таков:

«Силы Южного Общества огромны. Уже Москва и Петербург готовы к восстанию, а также 2-я армия и многие полки 3-го и 4-го корпуса. Стоит лишь схватить минуту — и все готово встать. Управы Общества находятся в Тульчине, Василькове, Каменке, Киеве, Вильне, Варшаве, Москве, Петербурге и во многих других городах империи. Многочисленное Польское Общество, коего члены рассеяны не только в Царстве Польском, но и в Галиции и в воеводстве Познанском, готовы разделить с русскими опасность переворота и содействовать оному всеми своими силами. Русское Тайное общество находится также в сношениях с прочими политическими обществами Европы. Еще в 1816 году наша конституция была возима князем Трубецким в чужие края, показывана там первейшим ученым и совершенно ими одобрена. Графу Полиньяку поручено уведомить французских либералов, что преобразование России скоро сбудется. Князь Волконский, генерал Раевский, генерал Орлов, генерал Киселев, Юшневский, Пестель, Давыдов и многие другие начальники корпусов, дивизий и полков состоят членами Общества.

Все сии благородные люди поклялись умереть за отечество»,— заключил оратор.

Голицын знал, что никто никогда не возил конституцию в чужие края, что ни генерал Киселев, ни генерал Раевский не участвуют в Обществе, а Полиньяку до него такое же дело, как до прошлогоднего снега, и что почти все остальное, что говорил Бестужев о силе заговора,— ложь. «Как может он лгать так бессовестно?»— удивлялся Голицын.

— Слово принадлежит Горбачевскому,— объявил председатель.

— Мы, Соединенные Славяне, дав клятву посвятить всю свою жизнь освобождению славянских племен, не можем нарушить сей клятвы,— начал Горбачевский.— А подчинив себя Южному Обществу, будем ли мы в силах исполнить ее? Не почтет ли оно нашу цель маловажною и, для настоящего блага жертвуя будущим, не запретит ли нам иметь сношения с прочими племенами славянскими? И таковы ли силы Южного Общества, как вы утверждаете?..

Все, что он говорил, было умно, честно, правдиво, но правда его после лжи Бестужева резала ухо, как скрежет гвоздя по стеклу после музыки.

— Нет, Горбачевский, вы ошибаетесь. Преобразование России всем славянским народам откроет путь к вольности: Россия, освобожденная от тиранства, освободит Польшу, Богемию, Моравию, Сербию, Трансильванию и прочие земли славянские; учредит в оных республики и соединит их федеральным союзом,— заговорил Бестужев, и опять зазвучала музыка.—Да, цель у нас одна, и силы наши вам принадлежат, под условием единственным — подчиняться во всем Державной Думе Южного Общества,— прибавил он как бы вскользь.

— Какая Дума? Где она? Из кого состоит? — спрашивал Сухинов.

— Этого я не могу вам открыть по правилам Общества,— возразил Бестужев.— Но вот, взглянуть угодно ли?

Взял карандаш и лист бумаги, начертил круг, внутри его написал: *Державная Дума*, провел от него радиусы и на концах поставил кружки.

— Большой средний круг, или центр, есть Державная Дума; линии, от оного проведенные, суть посредники, а малые кружки — округи, которые сносятся с Думою не прямо от себя, а через посредников...

Все столпились, слушали и глядели на чертеж с благоговением, как в магическое знамение. Саша вытянул шею и широко раскрыл глаза.

— Понимаете? — спросил Бестужев.

— Ничего не понимаю,— заговорил Сухинов опять с таким выражением лица, как будто ему на мозоль наступили.— К черту ваши иероглифы! Извольте же, наконец, объясниться, сударь, как следует! Нам нужны доказательства...

— Не нужно, не нужно! Верим и так!— закричали все.

— Верим! Верим!— крикнул Саша громче всех.— Зачем такое любопытство? Должно поставить себе счастьем в столь общеполезном деле участвовать...

На него оглянулись, и он покраснел.

— А вот о военной революции, десятое дело, пожалуйста,— начал Борисов неожиданно; он все время молчал, сидел, потупившись, точно ничего не видел и не слышал, покуривал трубочку да иногда ловил ночных мотыльков, летевших на пламя свечи, и осторожно, так, чтобы не помять им крылышек, выпускал их в окно.— Вы о военной революции говорили намедни, Бестужев! А что значит военная революция, десятое дело, пожалуйста?

— Военная революция — значит возмущение начать от войск,— ответил Бестужев,— а когда войска готовы, то уже ничего не стоит свергнуть какое угодно правительство. Мы имеем в виду две революции: одну — французскую, которая произведена была чернью со всеми ужасами безначалия, а другую — испанскую, начатую обдуманно, силою военною, но оставившую власть короля. У нас же все это будет лучше, потому что начнется с того, что государь уничтожится...

— Когда один государь уничтожится, будет другой,— заметил Горбачевский.

— Другого не будет.

— Но по закону наследия...

— Никакого наследия: все сие уничтожится,— махнул Бестужев рукою по столу . . . .

. . . .

— Должно избегать одной капли пролития человеческой крови,— заметил полковник Тизенгаузен.

— Кровопролития почти не будет,— успокоил Бестужев.

— Ну зачем глупости, десятое дело, пожалуйста? Нет, будет кровь, кровь будет!— сказал Борисов и, поймав бабочку, выпустил ее в окно так бережно, что не стряхнул пылинки с крылышек.

— По вашим словам, Бестужев,— начал опять Горбачевский,— революция имеет быть военная, и народ устранен вовсе от участия в оной. Какие же ограждения представите вы в том, что один из членов вашего правления, избранный воинством и поддержанный штыками, не похитит самовластия?

— Как не стыдно вам?— воскликнул Бестужев.— Чтобы те, кто для получения свободы решился умертвить своего государя, потерпели власть похитителей!..

— Господа, не угодно ли вернуться к вопросу главному? Время позднее, а мы еще не решили: принято ли соединение Обществ?— напомнил Спиридов.— Голосовать прикажете?

— Не надо! Не надо! Принято!— закричали все, и опять Саша громче всех.

— Господин секретарь,— обратился Спиридов к молодому человеку, тихому и скромному, в потертом зеленом фраке, провиантскому чиновнику Илье Ивановичу Иванову, секретарю Славян,— запишите в протокол заседания: Общества соединяются.

Бестужев попросил слова и начал торжественно:

— Господа! Верховная Дума предлагает, и я имею честь сообщить вам сие предложение: начать восстание с будущего 1826 года и ни под каким видом не откладывать оного. В августе месяце государь будет производить смотр 3-го корпуса, и тогда судьба самовластья решится: тиран падет под нашими ударами, мы подымем знамя свободы и пойдем на Москву, провозглашая конституцию. Благородство должно одушевлять каждого к исполнению великого подвига. Мы утвердим навеки

вольность и счастье России. Слава избавителям в позднейшем потомстве, вечная благодарность отечества!..

Обводя взором лица слушателей, Голицын остановился невольно на Сашином лице; оно было прекрасно, как лицо девочки, которая в первый раз в жизни, не зная, что такое любовь, слушает слова любви. «Не оправдана ли ложь Бестужева этим лицом?»— подумал Голицын.

— Принимается ли, господа, предложение Верховной Думы?— спросил председатель.

— Принято! Принято!

— Не принимаю!— закричал Кузьмин, ударяя кулаком по столу.

— Чего же вы хотите?

— Начинать немедленно!

— Ну что вы, Кузьмин, разве можно?

— Не спеши, Настасьюшка: поспешишь, людей насмешишь,— унимал его Мазалевский.

— Что же вы за душу тянете, черт бы вас всех побрал! Лови Петра с утра, а как ободняет, так провоняет! Голубчики, братцы, миленькие, назначьте день, ради Христа, назначьте день восстания!— кричал Кузьмин, и глаза у него сделались как у сумасшедшего.

— День, час и минуту по хронометру!— рассмеялся полковник Тизенгаузен.

Но остальным было не до смеху. Сумасшествие Кузьмина заразило всех. Как будто вихрь налетел на собрание. Повскакали, заговорили, закричали. Поднялся такой шум, что председатель звонил, звонил и, наконец, устал — бросил. В общем крике слышались только отдельные возгласы.

— Правду говорит Кузьмин!

— Начинать, так начинать!

— Куй железо, пока горячо!

— В отлагательстве наша гибель!

— Лишь бы добраться до батальона, а там живого не возьмут!

— Умрем на штыках!

— Взбунтовать весь полк, всю дивизию!

— Арестовать генерала Толя и Рота!

— Овладеть квартирою корпусной!

— На Житомир!

— На Киев!

— На Петербург!

— Восьмая рота начнет!

— Нет, никому не позволю! Я начну, я!

— Десять пуль в лоб тому, кто не пристанет к общему делу!— кричал маленький, пухленький, кругленький, с лицом вербного херувима, прапорщик Бесчастный.

— Довольно бы и одной,— усмехнулся Мазалевский.

— Клянусь купить свободу кровью! Клянусь купить свободу кровью!— покрывая все голоса, однообразно гудел, как дьякон на амвоне, Артамон Захарович; потом вдруг остановился, взмахнул обеими руками в воздухе и ударил себя по толстому брюху.

— Да что, господа,— угодно, сейчас поклянусь на Евангелии: завтра же поеду в Таганрог и нанесу удар?

— Слушайте, слушайте, Сергей Муравьев говорит!

Он почти никогда не говорил на собраниях, и это так удивило всех, что крики тотчас же смолкли.

— Господа, завтра мы не начнем,— заговорил Муравьев спокойным голосом.— Начинать завтра — значит погубить все дело. Говорят, солдаты готовы; но пусть каждый из нас спросит себя, готов ли он сам; ибо многие исподволь кажутся решительными, а когда настанет время действовать, то куда денется дух? Ежели слова мои обидны, простите меня, но, идучи на смерть, иадо сохранять достоинство, а то, что мы сейчас делаем, недостойно разумных людей... Да, завтра мы не начнем; но вот что мы можем сделать завтра же: дать клятву при первом знаке явиться с оружием в руках. Согласны ли вы?

Он умолк, и сделалось так тихо, что слышно было, как за темными окнами верхушки сосен шепчутся. Все, что казалось легким, когда говорили, кричали,— теперь, в молчании, отяжелело грозною тяжестью. Как будто только теперь все поняли, что слова *будут* делами, и за каждое слово дастся ответ.

Председатель спросил, принято или отвергнуто предложение Муравьева.

— Принято! Принято!— ответили немногие, но по лицам видно было, что приняли не все.

Решив, когда и где сойтись в последний раз, чтобы дать клятву,— завтра в том же месте, в хате Андреевича,— стали расходиться.

— Как хорошо, Господи, как хорошо! А я и не знал... ведь вот живешь так и не знаешь,— говорил Саша; лица его не видно было в темноте, но слышно по голосу, что улыбается; должно быть, сам не понимал, что говорит,— как во сне бредил.

Над светлым кругом, падавшим от фонаря на лесную дорожку с хвойными иглами, нависала чернота черная, как сажа в печи; а зарницы мигали, подмигивали, как будто небесные заговорщики делали знаки земным; и в мгновенном блеске видно было все, как днем: белые хатки Млинищ на одном конце просеки, а на другом — внизу, под обрывом, за излучистой Гуйвою, белые палатки лагеря, далекие луга, холмы, рощи и низко ползущие по небу тяжкие грозовые тучи. Свет потухал — и еще чернее черная тьма. И страшны, и чудны были эти мгновенные прозренья, как у исцеляемого слепорожденного.

Впереди Голицына разговаривали, идучи рядом с Сашею, такие же молоденькие, как он, подпоручики и прапорщики 8-й артиллерийской бригады, только что поступившие в Общество. Голоса то приближались, то удалялись, так что слышались только отдельные фразы, и казалось, что все они тоже не знают, что говорят, бредят, как сонные, и в темноте улыбаются.

— Цель Общества — доставить одинакие преимущества для всех людей вообще, те самые, что назначил Всевышний Творец для рода человеческого.

— Не творец, а натура.

— Только то правление благополучно, в котором соблюдены все права человечества.

— Республиканское правление — самое благополучное.

— Когда в России будет республика, все процветет — науки, искусства, торговля, промышленность.

— Переменится весь существующий порядок вещей.

— Все будет по-новому...

Спустившись с обрыва на большую дорогу, где ждали их денщики с лошадьми, Сергей Муравьев, Бестужев и Голицын поехали в Лещинский лагерь.

Бестужев молчал. Как это часто с ним бывало после вдохновенья, он вдруг устал, потух; светляк — днем: вместо волшебного пламени червячок серенький. Муравьев тоже молчал. Голицын взглянул на лицо его при свете зарницы, и опять поразило его то беззащитное обреченное, что заметил он в этом лице еще при первом свидании: в лютый мороз на снежном поле — зеленая ветка весенняя.

А Саша в ту ночь долго не мог заснуть, все думал о завтрашнем, а когда заснул,— увидел свой самый счастливый сон: золотых рыбок в стеклянной круглой вазе, наполненной светлой водою; рыбки смотрели на него, как будто хотели сказать: «А ты и не знал, что все по-новому?» Проснулся, счастливый, и весь день был счастлив.

Собрание назначили в самый глухой час ночи, перед рассветом, потому что заметили, что за ними следят. Ночь опять была черная, душная, но уже не зарницы блестели, а молнии с тихим, точно подземным, ворчаньем далекого грома, и сосны под внезапно налетавшим ветром гудели протяжным гулом, как волны прибоя; а потом наступала вдруг тишина бездыханная, и странно, и жутко перекликались в ней петухи предрассветные.

Когда Саша, войдя в хату Андреевича, взглянул на лица заговорщиков, ему показалось, что все так же счастливы, как он. Хата прибрана, пол выметен, скамьи и стекла на окнах вымыты; стол накрыт чистою белою скатертью; на столе не сальные, а восковые свечи, в ярко вычищенных медных подсвечниках, старинное масонское Евангелие в переплете малинового бархата и обнаженная шпага: когда-то Славяне клялись на шпаге и Евангелии; Андреевич не знал, как будет сегодня, и на всякий случай приготовил.

На майоре Спиридове был парадный мундир с орденами, а на секретаре Иванове — новый круглый темно-вишневый фрак с белым кисейным галстуком. От вербного херувима, Бесчастного, пахло бердичевским «Па-

рижским ландышем». У Кузьмина волосы, по обыкновению, торчали копною, но видно было, что он их пытался пригладить. «Милая Настасьюшка, ежик причесанный!»— подумал Саша с нежностью.

Говорили вполголоса, как в церкви перед обеднею; двигались медленно и неловко-застенчиво, старались не смотреть друг другу в глаза; стыдились чего-то, не знали, что надо делать. И на лицах была тихая торжественность, как у детей в большие праздники. Черта, разделяющая два Общества, сгладилась, как будто всех соединил какой-то новый заговор, более страшный и таинственный.

Все были в сборе. Только Артамон Захарович да капитан Пыхачев не пришли. А полковник Тизенгаузен пришел, но объявил, что клясться не будет.

— Никакой клятвы не нужно: если необходимо начать, я начну и без клятвы: в Евангелии сказано: не клянитесь вовсе...

Ему не возражали, а только попросили уйти.

— Я никому, господа, мешать не намерен. Сделайте одолжение...

Это значило: «если вам угодно валять дураков,— валяйте!»

— Уходите, уходите!— повторил Сухинов тихо, но так решительно, что тот посмотрел на него с удивлением, хотел что-то сказать, но только пожал плечами, усмехнулся брезгливо, встал и вышел.

Сергей Муравьев сидел, опустив голову на руку и закрыв глаза. Когда Тизенгаузен ушел, он вдруг поднял голову и посмотрел на Голицына молча, как будто спрашивал: «хорошо ли все это?»— «Хорошо»,— ответил Голицын, тоже молча, взглядом.

Бестужев что-то писал на листках, грыз ногти, хмурился, ерошил волосы: должно быть, к речи готовился.

— Ну что ж, господа, начинать пора?— сказал кто-то.

Бестужев перебрал листки свои в последний раз, встал и начал:

— Век славы военной с Наполеоном кончился; теперь настало время освобождения народов. И неужели

русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне Отечественной,— русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеонова, не свергнут собственного ига и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении отечества, счастливое преобразование коего...

«Не то, не то!»— чувствовал он и, не глядя на лица слушателей, знал, что и они это чувствуют. Стыдно, страшно: неужели Тизенгаузен прав?

Вдруг забыл, что хотел сказать,— остановился и продолжал читать по бумажке:

— Взгляните на народ, как он угнетен; торговля упала, промышленности нет, бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки; войско ропщет. При сих обстоятельствах нетрудно было нашему Обществу прийти в состояние грозное и могущественное. Скоро восприимет оно свои действия, освободит Россию и, быть может, целую Европу. Порывы всех народов удерживает русская армия; коль скоро она провозгласит свободу, все народы подымутся...

«Не то, не то!» Робел, глупел, проваливался, как плохой актер на сцене или ученик на экзамене. Бросил бумажку, взмахнул руками, как утопающий, и воскликнул:

— На будущий год всему конец! Самовластье падет, Россия избавится от рабства, и Бог нам поможет...

«Бог нам поможет»,— сказал нечаянно, почти бессознательно,— но когда сказал, почувствовал, что это *то самое*.

— Бог нам поможет! Поможет Бог!— повторили все и сразу встали, как будто вдруг поняли, что надо делать.

И Бестужев понял. Расстегнул мундир и начал снимать с шеи образ. Руки его так тряслись, что он долго не мог справиться. Стоявший рядом секретарь Иванов помог ему.

Бестужев взглянул на темный лик в золотом окладе, лик Всех Скорбящих Матери. И вспомнилось ему лицо его старушки-матери; вспомнилось, как она звала его к себе умирая. Что-то подступило к горлу его, и он долго не мог говорить; наконец произнес:

— Клянусь... Господи, Господи... клянусь умереть за свободу...

Хотел еще что-то сказать:

— Россия Матерь... Всех Скорбящих Матерь!..— начал и не кончил, заплакал, перекрестился, поцеловал образ и передал его Иванову. Образ переходил из рук в руки, и все клялись.

Многие приготовили клятвы, но в последнюю минуту забыли их; так же, как Бестужев, начинали и не кончали, бормотали невнятно, косноязычно.

— Клянусь любить отечество паче всего!

— Клянусь вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты!

— Клянусь быть всегда добродетельным!— пролепетал Саша с рыданием.

— Клянусь, свобода или смерть!— сказал Кузьмин, и по лицу его видно было, что как он сказал, так и будет.

А когда очередь дошла до Борисова, что-то промелькнуло в лице его, что напомнило Голицыну разговор их в Васильковской пасеке: «скажешь — и все пропадет». Не крестясь и не целуя образа, он передал его соседу, взял со стола обнаженную шпагу, поцеловал ее и произнес клятву Славян:

— Клянусь посвятить последний вздох свободе! Если же нарушу клятву, то оружие сие да обратится острием в сердце мое!

— Сохрани, спаси, помилуй, Матерь Пречистая!— повторил Голицын слова умирающей Софьи.

— Да будет един Царь на небеси и на земли — Иисус Христос!— проговорил Сергей Муравьев слова «Катехизиса».

Клятвы смешивали с возгласами:

— Да здравствует конституция!

— Да здравствует республика!

— Да погибнет различие сословий!

— Да погибнет тиран!

И все эти возгласы кончались одним:

— Умереть, умереть за свободу!

— Зачем умирать?— воскликнул Бестужев, забыв, что только что сам клялся умереть.— Отечество всегда признательно: оно щедро награждает верных сынов своих. Вы еще молоды; наградою вашею будет не смерть, а счастье и слава...

— Не надо! Не надо!

— Говоря о наградах, вы оскорбляете нас!

— Не для наград, не для славы хотим освободить Россию!

— Сражаться до последней капли крови — вот наша награда!

И обнимались, целовались, плакали.

— Скоро будем счастливы! Скоро будем счастливы!— бредил Саша.

Такая радость была в душе Голицына, как будто все уже исполнилось — исполнилось пророчество:

— Да будет один Царь на земле и на небе — Иисус Христос.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Будет вам шиш под нос!— воскликнул о. протопоп, накладывая себе на тарелку кусок кулебяки с вязигою.

— Не слушайте его, господа: он всегда, как лишнее выпьет, в меланхолии бывает,— возразил полицеймейстер, отставной гусар Абсентов.

— Врешь,— продолжал о. протопоп,— меланхолии я не подвержен, а от водки пророческий дух в себе имею и все могу предсказывать. Вот помяните слово мое: будет вам шиш под нос!

— Заладила сорока Якова... что это, право, отец Алексей? Даже обидно: мы самого лучшего надеемся, а вы нам шиш под нос,— вступился хозяин, городничий Дунаев.

Жена его была именинница. На именинную кулебяку собрались таганрогские чиновники и толковали о предстоящих наградах по случаю приезда государева.

— За здравие его императорского величества!— провозгласил хозяин, вставая, торжественно.

— Ура! Ура!

Пили сантуринское, пили цимлянское и так нагрузились, что городничий затянул было свою любимую песенку:

Тщетны Россам все препоны,
Храбрость есть побед залог...

и свел нечаянно на «барыню-сударыню». Тут гости окружили хозяина, подняли его на руки и стали качать. А о. протопоп, несмотря на почтенную наружность и белую бороду, собрался плясать, уже поднял рясу, но споткнулся, упал на колени к полицеймейстеру и стал целовать его с нежностью.

— Васенька, а Васенька, почему тебя Абсентовым звать? Absens по-латыни речется *отсутствующий:* у нас-де в городе столь нарочитый порядок, что полицеймейстер якобы отсутствующий, так что ли, а?..

Но язык у него заплелся; он обвел всех мутным взором и воскликнул опять с таким зловещим видом, что стало жутко:

— А все-таки будет вам шиш под нос!

«Почтеннейший братец,— писал в эти дни председатель таганрогского коммерческого суда Федор Романович Мартос,— государь изволил к нам пожаловать 13 числа сего сентября. Редкий день проходит, чтобы не было приказания быть в башмаках и под пудрою, от чего я так устал, что едва держусь на ногах. Говорят, его величеству в Таганроге все очень нравится, и он располагает пробыть здесь всю зиму, а может быть, и долее. Учреждена экстра-почта; фонари поставлены по Московской и Греческой, 63 фонаря — настоящая иллюминация. Вчерашнего дня приехал генерал Клейнмихель, а скоро будет и граф Аракчеев. Что из всего этого выйдет, единому Богу известно. Однако столь неожиданное посещение высоких особ всех нас куражит».

Мартосов дом был окнами в окна с домом бывшего городничего Папкова, на Московской улице, рядом с Крепостною площадью, где жил государь. Хотя Федор Романович запретил домашним выглядывать в окна, но Ульяна Андреевна, госпожа Мартосова, была так любопытна, что не могла утерпеть, взбиралась на чердак, к слуховому окну, и поглядывала в подзорную трубку. По случаю теплой погоды окна дворца открыты были настежь, и можно было видеть, что делается там. Государь хлопотал, устраивая императрицыны комнаты. Сам откупоривал ящики с посудою, вынимал фарфор и хрусталь из соломы, чтобы не разбилось что, не попортилось; расставлял мебель: велит поставить и отойдет, посмотрит, хорошо ли, уютно ли; сам гвозди вбивал для зеркал и картин, шторы навешивал.

— Взлезет, бывало, на лесенку, гвозди держит в зубках, да молоточком в стену тук-тук, как простой обойщик,— рассказывала впоследствии Ульяна Андре-

евна,— и такое у него личико доброе, такое ласковое, что я без слез глядеть не могла. Сущий ангел!

— Мы его иначе не называли, как ангелом,— вспоминали другие таганрогские жители:— аккуратно, от семи до девяти утра, ходил пешком по городу, в лейб-гусарском сюртуке, гусарских сапогах и походной фуражке, а в первом часу изволил ездить верхом в кавалергардском мундире и шляпе с плюмажем, и редко прогулка сия не была ознаменована какою-нибудь помощью бедному семейству, им самим отысканному, или каким-нибудь иным благодеянием; только о том и думал, как бы сделать добро кому, обласкать да обрадовать.

Вспоминали о том, как во время этих прогулок государь любил вступать в беседу с простыми людьми — солдатами, матросами, крестьянами и даже с теми нищими странниками, что ходят по большим дорогам, на построение церквей собирают. Особенно один из них понравился ему, и он долго с ним наедине беседовал; бродяга бездомный, беспаспортный, родства не помнящий, по имени Федор Кузьмич.

Таганрог — уездный город на берегу Азовского моря; на западе — Миусский лиман, на востоке — Донецкое гирло. Город — на мысу, с трех сторон — море, и в конце почти каждой улицы оно голубеет, зеленеет, как стекло бутылки, мутно-пыльное.

Невеселый городишка: пустыри-площади, товарные склады, пакгаузы и рассыпанные, как шашечки, низенькие, точно приплюснутые, домики с облупленною штукатуркою и вечно закрытыми ставнями; а кругом степь — тридцать лет скачи, никуда не доскачешь.

Но государю все это нравилось, как в том счастливом сне, который снился ему в начале путешествия: та же осень весенняя; та же комета, его неразлучная спутница, сиявшая каждую ночь здесь, на ясном небе юга, еще лучезарнее; и в ее падении стремительном — тот же зов таинственный, надежда бесконечная.

23 сентября он выехал встречать императрицу Елизавету Алексеевну на первую от Таганрога почтовую станцию — Коровий Брод, пересел к ней в дормез и прибыл в город в 7 часов вечера. Отслушав молебен

в Греческой церкви, их величество отбыли во дворец.

Дворец — простенький, каменный, с желтым фасадом и зеленою крышею, одноэтажный, напоминавший подгородную усадьбу средней руки помещика. Из окон, выходящих на двор и садик, видно море, а из тех, что на улицу,— пустынная площадь и земляные валы старой Петровской крепости.

Дом разделялся на две половины большим сквозным залом — приемною или столовою. Направо — покои государевы, две комнатки; одна, побольше, угловая — кабинет-спальня; другая, маленькая, полукруглая, в одно окно,— уборная; за нею — темный коридор—закута для камердинера и лесенка вниз, в подвальную гардеробную. Налево — покои императрицы — восемь комнаток, тоже маленьких, но немного получше убранных. Везде потолки низенькие, небольшие окошечки и огромные печи изразцовые, как в домах купеческих.

— Вам нравится, Lise, в самом деле, нравится?— спрашивал государь, показывая комнаты.— Я ведь все это сам устраивал и так боялся, что вам не понравится...

— Как хорошо, Господи, как хорошо!— восхищалась она.— А эта спальня — точь в точь маменькина красная комната...

По каждой мелочи видела, как он заботился о ней: вот любимый диван ее из кабинета царскосельского; на стене старинные ландшафты родимых холмов Карлсруйских и Баденских,— она уже давно хотела их выписать; а на полочке — книги: мемуары Жанлис, Вальтер Скотт, Пушкин,— те самые, которые она собиралась читать.

— А вот и он, он! Где вы его отыскали? Я думала, совсем пропал,— засмеялась она и захлопала в ладоши, как маленькая девочка.

Это был пастушок фарфоровый — столовые часики незапамятно-давние, детские,— подарок матери; лет тридцать назад ручка у него сломалась; вот и теперь сломана, а часики все тикают да тикают.

— Как хорошо, Господи, как хорошо!— повторяла, опускаясь на диван и закрывая глаза с блаженной улыбкой.

К тишине прислушалась:

— А это что?

— Море: в гавани мелко, а дальше глубоко, и там настоящий прибой. Вот увидите, как хорошо спится под этот шум.

Он сидел рядом с нею и целовал ее руки.

— Ну, вот мы и вместе, мой друг, вместе одни, как я обещал вам, помните?

— Не говорите, не надо...

— Отчего не надо?

Не ответила, но он понял, что она еще боится, не верит счастью своему.

В ту ночь уснула так сладко, как не спала уже многие годы; только от тишины просыпалась — и засыпала опять еще слаще, убаюканная шумом волн, как колыбельною песенкой.

Так была больна при выезде из Царского, что доехать живой не надеялась, а тут, с первых же дней по приезде, стала вдруг оживать, расцветать, и доктора глазам своим не верили, глядя на это исцеление чудесное.

Несмотря на конец октября, погода стояла почти летняя: тихие, теплые дни, тихие, звездные ночи. Когда она вдыхала воздух, пахнущий морем и степью, каждое дыхание было радостью. Но не солнце, не воздух были главною причиной исцеления, а то, что он был с нею, и такой спокойный, счастливый, каким она уже давно его не видела.

Не отходил от нее; казалось, ни о чем не думал, кроме нее, как будто, после тридцати лет супружества, наступил для них медовый месяц. Ухаживал за нею, раз десять на дню спрашивал: «хорошо ли вам? не надо ли чего-нибудь еще?» Угадывал ее желания, прежде чем она успевала их высказать.

Гуляя с ним в городском саду, жалела, что моря не видно, а на следующее утро он привел ее на то же место и показал вид на море: ночью велел сделать дорожку. Другое место, за городом, близ карантина, тоже на берегу моря, понравилось ей, и он тотчас приказал поставить там скамейку, сам нарисовал план сада и выписал из Ропши ученого садовника.

Никогда никто из придворных не сопровождал их в этих уединенных прогулках, и если даже видел случайно издали, то спешил отвернуться, не кланяясь, чтобы не мешать «молодым супругам».

Однажды сидели они на той новой скамейке, близ карантина. Вечер был ясный. Солнце зашло, и в золотисто-розовом небе плыл, как тающая льдинка, тонкий серп новорожденного месяца. Внизу шумел прибой; разбивались волны мутно-зеленые, и чайки носились над ними с жалобными криками. С обрыва вела тропинка к морю; иногда они спускались по ней и собирали на песке ракушки. Берег был высокий; море расстилалось бесконечное. Перед ними — море, за ними — степь, и между этими двумя пустынями, здесь, на краю света,— они как будто в целом мире одни.

— Как вам к лицу этот розовый жемчуг, Lise,— сказал государь.

На ней было ожерелье из розового жемчуга, давнишний подарок персидского шаха. Много лет не надевала его; для чего же надела теперь? Уж не для того ли, чтоб ему понравиться? Неужели поверила в медовый месяц, старая, больная, полумертвая? Подумала об этом и застыдилась, покраснела.

— Вечером розовый жемчуг еще розовее, прекраснее; он похож на вас,— сказал государь, посмотрев на нее с улыбкою; помолчал и прибавил:— А знаете, как называют нас господа свитские?

— Как?

— Молодыми супругами.

Ничего не ответила, покраснела еще больше: в самом деле, в бледно-розовеющем лице ее была последняя прелесть, подобная вечернему отливу розовой жемчужины.

— Видите, смеются над нами,— наконец проговорила она.— Это все вы: слишком балуете меня; берегитесь, избалуете так, что потом сами рады не будете...

— Когда потом?

— А вот, когда уедете.

— Не думайте об этом, Lise.

— Не могу не думать. Мне надо приготовиться

заранее, как больные к операции готовятся... Я давно хотела спросить вас: когда едете?

— Не знаю. Говорю всем, к Новому году, а сам не верю. Кажется, никогда. Вот выйду в отставку, куплю тот уголок в Крыму, у моря, Ореанду, и поселимся там навсегда...

Посмотрела на него молча, и в широко раскрытых глазах ее засияла безумная радость, но тотчас потухла: знакомый страх — страх счастья напал на нее, подобно страху смертному. «Когда я счастлива, мне стыдно и страшно, как будто я взяла чужое, украла и знаю, что буду наказана»,— вспомнилось ей то, что писала в дневнике своем.

— Не говорите, не надо, не надо!— сказала так же, как тогда, в первый день свиданья, и он так же спросил:

— Отчего не надо? Отчего вы боитесь, не верите, Lise? О, если бы я мог сказать! Да вот не могу... Надо было тридцать лет назад. А я только теперь... Но как же вы сами не видите? Не видите? Не понимаете?..

Молчала, а сердце падало от страха счастья — страха смертного.

Одной рукой он держал ее руку, другой обнимал ее стан:

Амуру вздумалось Психею,
Резвяся, поймать...

— О, Lise, Lise, как я был глуп всю жизнь! Точно спал и видел во сне, что люблю ее, но не знал, кто она... И вот только теперь узнал...

Здесь все — мечта и сон, но будет пробужденье;
Тебя узнал я здесь в прелестном сновиденьи,—
Узнаю наяву...

— Не надо, не надо,— закрыла лицо руками, заплакала; слезы лились, неудержимые, неутолимые, бесконечно-горькие, бесконечно-сладкие, слезы любви, которых за всю свою жизнь не успела выплакать.

Он опустился перед ней на колени, тоже заплакал и зашептал, как первое признание любви — шестнадцатилетний мальчик четырнадцатилетней девочке.

— Люблю, люблю!..

Повторял одно это слово и больше ничего не мог сказать. Она вдруг перестала плакать, наклонилась к нему, обняла голову его, и губы их слились в поцелуе. Никто не видел этого первого поцелуя любви, кроме степи, моря, неба и новорожденного месяца.

Не хотелось возвращаться в город; сели в коляску и поехали дальше за карантин.

Кругом была степь, поросшая пыльно-сизой полынью да сухим бурьяном; ни деревца, ни кустика; только вдали одинокая мельница махала крыльями, и дрофа длинноногая, четко чернея в ясном небе, на степном кургане, ходила взад и вперед, как солдат на часах. Изредка тянулся по пустынной дороге обоз чумаков с азовской таранью или крымскою солью; перекопские татары шли с караваном верблюдов, нагруженных арбузами; полудикий ногаец-пастух, верхом на лошадке невзнузданной, гнал отару овец; и высоко в небе кружил над ними степной орлан-белохвост с хищным клекотом. И опять ни души — пусто, мертво. Как верная сообщница, степь уединяла их, охраняла от суеты человеческой, в которой оба они погибали всю жизнь.

Наступали сумерки; поднялся холодный ветер с моря.

— Холодно, Lise? Говорил я, что надо взять шубу. Ну что, если простудитесь?

— Да нет же, нет, тепло. Видите, какие руки горячие? Тепло́, хорошо, лучше не надо...

Он обнимал ее, кутал в шинель свою, и, чувствуя теплоту тела его, она прижималась к нему со стыдливой неловкостью. Да, хорошо, лучше не надо: долго бы, долго, вечно так!

— А что, мой друг, давно я вас хотел спросить,— начал он для себя самого неожиданно: — что вы думаете об Аракчееве?

— Об Аракчееве? — удивилась она и, по старой привычке, испугалась, насторожилась, ответила не прямо, а с невольною женскою хитростью.

— Вы же знаете, я плохой политик, ничего не понимаю в делах государственных...

Всегда боялась Аракчеева суеверным страхом. При покойном императоре Павле I, бывало, приходил он к ним

в спальню, рано, когда они еще лежали в постели: батюшка требовал, чтобы наследник был на ногах до зари, а Сашеньке вставать не хотелось; тут же, в постели, принимал он рапорты и подписывал, а она закрывалась с головой одеялом, с таким чувством, что вот-вот Аракчеев залезет к ней в постель, как сороконожка огромная.

— Ну что же, Lise, не хотите сказать?

— Я его так мало знаю...

— Ну, а все-таки, как вам кажется, какой он человек, хороший или дурной?

— А вам очень нужно?

— Очень.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Мне кажется... да нет, не могу. Помогите мне. Что именно вы хотите знать?

— Ну как вы думаете, он меня...

Почему-то язык не повернулся сказать «любит».

— Он мне предан?

— Предан? Да... Нет, не знаю... Мне кажется, он вас не любит, он никого любить не может...

— Значит, злой, фальшивый?

— Нет, не злой и не добрый, а никакой... ну, вот не умею сказать. Никакой... Пустой, ничтожный... Вы на меня сердиться не будете?

Взглянула на него: странная улыбка прошла по лицу его — и она поняла, что он не будет сердиться.

— Он, сам по себе, ничто,— продолжала уже смелее:— он ваша тень; куда вы, туда и он; что вы, то и он,— а его самого нет; кажется, что он есть, а его нет... Ну, вот, видите, какие глупости...

— Нет, Lise, не глупости. Только не знаю, верно ли? Ведь быть чужою тенью тоже великая жертва...

Замолчал и подумал: «да, тень моя; взял на себя все мое дурное, темное, страшное. Когда солнце было высоко, тень лежала у ног моих, а когда солнце зашло, тень выросла»...

Недаром вспомнил об Аракчееве: много думал о нем в эти дни.

10 сентября в Грузине произошло убийство Настасьи Минкиной.

«Батюшка, ваше величество,— писал Аракчеев через два дня после убийства,— случившееся со мною несчастие, потерянием вернаго друга, жившаго у меня в доме 25 лет, здоровье и рассудок мой так расстроило и ослабило, что я одной смерти себе желаю, а потому и делами никакими не имею сил и соображения заниматься. Прощай, батюшка, вспомни бывшего тебе слугу! Друга моего зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю еще, куда осиротевшую голову свою приклоню, но отсюда уеду».

Государь получил это письмо в Таганроге 22 сентября, накануне приезда императрицы, и ответил ему в тот же день:

«Любезный друг, несколько часов, как я получил письмо твое и печальное известие об ужасном происшествии, поразившем тебя. Сердце мое чувствует все то, что твое должно ощущать. Жаль мне свыше всякого изречения твоего чувствительного сердца. Но, друг мой, отчаяние есть грех перед Богом. Предайся слепо Его святой воле. Ты мне пишешь, что хочешь удалиться из Грузина, но не знаешь, куда ехать. Приезжай ко мне: у тебя нет друга, который бы тебя искреннее любил. Но заклинаю тебя всем, что есть святого, вспомни отечество, сколь служба твоя ему полезна и, могу сказать, необходима, а с отечеством и я неразлучен. Прощай, не покидай друга, верного тебе друга».

Отправив письмо, государь вызвал в Таганрог генерала Клейнмихеля, находившегося в то время в южных поселениях, и велел ему скакать в Грузино, разузнать обо всем и уговорить Аракчеева во что бы то ни стало приехать в Таганрог.

Что приедет — не сомневался, но, не получая ответа, написал другое письмо:

«Неужели тебе не придет на мысль то крайнее беспокойство, в котором я должен находиться о тебе в такую важную минуту твоей жизни? Грешно тебе забыть друга, любящего тебя столь искренно и так давно, и еще грешнее сомневаться в его участии. Убедительно тебя прошу, если сам не в силах, то прикажи меня под-

робно извещать на свой счет. Я в сильном беспокойстве».

Беспокойство было, но была и странная беспечность, безболезненность: так параличного в бесчувственное тело колют иголкою, а ему не больно, только жутко смотреть, как иголка в тело втыкается.

Наконец пришел ответ:

«Батюшка, ваше величество! После причастия св. Христовых Таин сего числа, получил отцовское ваше письмо. Приношу за оное сыновнюю мою благодарность. Я, конечно, возлагаю мое упование на Бога, но силы мои меня оставляют: биение сердца, ежедневная лихорадка, и три недели не имею ни одной ночи покою, а единая тоска, уныние и отчаяние,— все оное привело меня в такую слабость, что я потерял совсем память и не помню того, что делаю и говорю: следовательно, какие со мною будут последствия, единому Богу известно. Ах, батюшка! если бы вы увидели меня в теперешнем моем положении, то вы бы не узнали вашего верного слугу. Вот положение человека в мире сем: единым моментом, во власти Божией, изменяется все человеческое положение!

О поездке моей к вам ничего не могу еще ныне сказать: благодарю и чувствую в полной мере ваши милости. Я прошу Бога не о себе, а о вашем здоровье, которое необходимо для отечества в нынешнее бурное время.

Описание о злодейском происшествии пришлю после, если силы мои укрепятся. Легко может быть сделано сие происшествие и от постороннего влияния, дабы сделать меня неспособным служить вам и исполнять свято вашу, батюшка, волю, а притом, по стечению обстоятельств, можно еще, кажется, заключить, что смертоубийца имел помышление и обо мне, но Богу угодно было, видно, за грехи мои оставить меня на мучение.

Обнимая заочно колени ваши и целуя руки, остаюсь несчастный, но верный ваш до конца жизни, слуга».

На следующий день после разговора с императрицей об Аракчееве, сидя у себя один в кабинете, государь перечел это письмо и задумался. Нет, не приедет.

Сколько бы ни звал, ни умолял, ни унижался,— не приедет. Из двух друзей своих — его, государя, и Настасьи Минкиной,— сделал выбор окончательный. «Никого любить не может; не злой и не добрый, а никакой, пустой, ничтожный. Кажется, что он есть, но его нет»...

Так вот кого тридцать лет он считал своим другом единственным. Ну что же, больно? Нет, не больно, а только жутко смотреть, как иголка в бесчувственное тело втыкается. А что, если вдруг почувствует боль? Ведь близко к сердцу? Не слишком ли к сердцу близко?

Да, «время бурное» — это и он, Аракчеев, знает. А вон и Клейнмихель доносит: «Я обращаю особенное внимание на следствие, дабы открыть начальный след злодеяния, уверен будучи, что здесь кроется много важного. Вчерашний день получил я с почтою из Петербурга записку никем не подписанную, под заглавием: «О истинном и достоверном». Записка сия заключает в себе мнение благомыслящих людей о происшествии, в Грузине бывшем, и злодейский разговор подполковника Батенкова».

Батенков — один из *них*, членов Тайного Общества. «Это — они,— начинается!»— подумал государь при первом же известии об убийстве в Грузине.

Что начинается, знал и по другим доносам. Медлить нельзя: не сегодня-завтра вспыхнет бунт. Хотел уничтожить заговор; для этого и звал Аракчеева — и вот Аракчеев сам уничтожен.

Когда еще надеялся, что он приедет, начал писать для него записку о Тайном Обществе; теперь захотелось перечесть. Вынул ее из шкатулки и стал читать.

Был четвертый час пополудни, день солнечный, ясный. Вдруг потемнело, как будто наступили внезапные сумерки. Густой, черно-желтый туман шел с моря. Так темно стало в комнате, что нельзя было читать. Позвонил камердинера, велел подать свечи.

Не заметил, как туман рассеялся, опять стало светло, а свечи горели, ненужные.

Вошел камердинер Анисимов.

— Чего тебе, Егорыч?

— Не прикажете ли свечи убрать, ваше величество? Если кто со двора увидит, нехорошо подумает...

Глядя на дневное тусклое пламя свечей, государь старался что-то вспомнить. «Ах, да, свечи днем,— к покойнику»...

— Ну что ж, убери, пожалуй.

Егорыч подошел к столу, задул свечи и унес.

Государь хотел было опять приняться за чтение, но уже не мог. Вдруг вспомнились ему петербургские чуда и знамения, смешные страшилища.

— А туман-то какой, видели? Совсем как в Петербурге,— сказала государыня, входя в комнату.

— Да, совсем как в Петербурге,— повторил он задумчиво и, взглянув на нее, спросил:— Что с вами?

— Ничего... Я вам помешала? Вы заняты?

— Lise, что с вами? Вам нездоровится?

— Да нет же, нет, право, ничего. Утром гуляла пешком и, должно быть, устала немного...

Стояла перед ним, потупившись, не глядя на него, вся бледная, с поникшей головой, с руками, бессильно повисшими. Он взял их в свои и целовал, и смотрел на нее с тою вкрадчивою нежностью, которой она не умела противиться.

— Ну скажите правду, будьте умницей!

— Вы едете в Крым?— проговорила она и покраснела, как виноватая.

— В Крым? Да, может быть... Так вот что... А кто вам сказал?

— Волконский.

— Дурак, старая сплетница! Я нарочно вам не говорил. Сам еще не знаю наверное... А уж теперь ни за что не поеду!

— Почему теперь? Из-за меня?

— Нет, мне самому не хочется. Не знаю отчего, но я не могу подумать об этой поездке без ужаса...

Посмотрела на него и вдруг поверила, обрадовалась.

— Зачем же едете?

— Да вот глупость сделал. Воронцову обещал, а он поторопился. Все готово, ждут, съемки сделаны, маршруты назначены...

Когда он сказал «маршруты» — слово заветное,— поняла, что он решил ехать.

— Ну, и поезжайте, поезжайте, конечно,— сказала, улыбаясь через силу.

Быть ему в тягость, висеть у него на шее,— нет, лучше все, чем это.

— Не надолго ведь?

— Я думал, дней на десять, на две недели, самое большее...

— Ну вот видите, стоит говорить об этом? Уезжали на месяцы,— и я ничего, а теперь двух недель не могу. Полноте, что за баловство, право! Вы должны ехать, должны непременно, я хочу, чтоб ехали, слышите?

— Хорошо, Lise, только уж это в последний раз: без вас больше никуда ни за что не поеду...

Тень прошла по лицу ее: слово «последний», так же, как все такие слова безвозвратные, внушало ей суеверный страх.

— А знаете, для чего я еще в Крым хотел?

— Для чего?

— Чтобы купить Ореанду, выбрать место для домика.

— Ну вот как хорошо! Ну и поезжайте с Богом!

Положила ему руки на плечи, наклонилась и поцеловала его в лоб. Слезы заблестели на глазах ее. Он думал, что это слезы счастья.

— Ну я пойду, занимайтесь.

— Я сейчас к вам, Lise, вот только письмо допишу.

Никакого письма не было, но не хотел оставлять на столе записки о Тайном Обществе: как бы Дибич не увидел; все еще скрывал от всех эту муку свою, как постыдную рану. Когда запирал бумаги в шкатулку, внезапная, его самого удивившая мысль пришла ему в голову: все сказать ей, государыне. Вспомнилось, как вчера умно говорила об Аракчееве и какой была в ту страшную ночь, 11 марта: когда все покинули его, перетрусили,— она одна сохранила присутствие духа; спасла его тогда,— может быть, и теперь спасет? Хотя бы только не быть одному, разделить муку, хоть с кем-нибудь,— это уже половина спасения.

Обрадовался. Но знакомый стыд и страх заглушили радость,— нет, не сейчас, лучше потом, когда

она поправится,— обманул себя, как всегда обманывал.

Отъезд государя назначен был 20 октября. Последние дни были для обоих тягостны. Она сама не понимала, что с нею, почему ей так страшно: убеждала себя, что это болезнь. Ум убеждался, а сердце не верило. И хуже всего было то, что ей казалось, что ему тоже страшно.

Накануне отъезда была такая буря, что государыня надеялась, что отъезд в последнюю минуту отложат. С этою мыслью легла спать. Проснулась рано, чуть брезжило; вскочила босиком с постели и подбежала к окну посмотреть, какая погода. Густой, черно-желтый туман, такой же как намедни, но тихо, как будто никакой бури и не было. Прислушалась, чтобы узнать по звукам в доме, едут ли. Но было еще слишком рано. Опять легла и заснула. Что-то страшное приснилось ей; сердце вдруг перестало биться, и казалось во сне, что она умирает. Проснулась, посмотрела в окно: туман исчез; голубое небо, солнце. У крыльца — колокольчики: должно быть, тройку подали. Его шаги за дверью; дверь открылась; он вошел.

— Не спите, Lise?

Ничего не ответила, лежала, не двигаясь, глядя на него широко раскрытыми глазами, вся бледная, как мертвая. Сердце опять, как давеча во сне, вдруг перестало биться.

— Что с вами? — проговорил он в испуге.

Сделала усилие, перевела дыхание и улыбнулась.

— Ничего, голова немного болит: ночью душно было, от тумана, должно быть. А теперь какая погода чудесная!

— Lise, ради Бога, позвольте, я позову Виллие...

— Не надо, прошу вас. Не бойтесь, буду умницей... Ну, Господь с вами. Дайте перекрещу. Ну, еще поцелуйте, вот так... А теперь ступайте, вам пора, а я еще посплю.

— Ах, Lise, право же, лучше бы...

— Нет, нет, ступайте, ступайте же!

Оторвалась от него, почти оттолкнула его, упала на подушки и закрыла глаза. Он постоял, посмотрел, по-

думал: «спит», и тихонько на цыпочках пошел к двери, но остановился и еще раз обернулся. Лежала, не двигалась, и широко раскрытыми глазами смотрела на него, вся бледная, как мертвая. Вдруг вспомнилось ему, как он уходил от умирающей Софьи, и она так же смотрела на него, так же в последний раз он обернулся и подумал: «не остаться ли?»

Когда ушел, ей стало легче; как будто очнулась, опомнилась и удивилась, что это было; «болезнь»,— подумала опять и мало-помалу успокоилась. Страх исчез, осталась только тоска привычная. Как всегда, с его отъездом все потускнело, потухло, потеряло вкус, «как суп без соли»,— шутила она.

Только теперь заметила, что Таганрог — прескверный городишка. На улицах — все какие-то заспанные приказные, нищие в лохмотьях, обшарканные солдатики, черномазые греки-маклеры да зловещие турки-матросы с разбойничьими лицами. От сушилен азовской тарани тухлою рыбою несет. В гавани так мелко, что, когда ветер из степи, илистое дно обнажается и наполняет воздух испарениями зловонными. Северо-восточный ветер похож на сквозняк пронзительный. И даже в тихие, ясные дни вдруг находит с моря туман черно-желтый, пахнущий могильною сыростью. А на соседней церкви св. Константина и Елены колокола звонят уныло, как похоронные.

Дворец тоже не так хорош, как сначала казалось. Из окон дует, печи дымят. Множество крыс и мышей. Мышь вскочила на колени к фрейлине Валуевой, и та чуть не умерла от страха. Крысы утащили государынин платок. По ночам возились, стучали, бегали, как будто выживали гостей непрошеных. А под окнами выли собаки; их отгоняли, но не могли отогнать. Валуева была уверена, что к худу: все чего-то боялась, куксилась, плакала, сама выла, как собака, и так, наконец, надоела государыне, что та запретила ей на глаза к себе являться.

Дня через два после отъезда государя императрица получила известие о кончине короля баварского, мужа Каролины, сестры своей. Любила ее, горевала о ней, а где-то в глубине души была радость, как у солдата

в огне сражения, когда просвистела пуля мимо ушей, и товарищ рядом упал: «Слава Богу, он, а не я!» Ужаснулась этой радости. «А что, если бы?..»— начала и не кончила; вдруг сердце перестало биться, как тогда, во сне.

На следующий день получила от государя письмо, из Перекопа:

«Смерть короля баварского, такая неожиданная, еще раз напоминает нам, как всякий из нас, во всякую минуту, должен быть готов. И надо же, чтоб это известие пришло к вам именно тогда, когда меня нет с вами! Я знаю, вы — умница, а все-таки лучше бы, если бы я при вас был. Напишите, как вы себя чувствуете. Я боюсь больше всего, что вы отождествляете себя с Каролиною (vous vous identifierez à Caroline)».

«Буду спокоен только тогда, когда опять увижу вас, что будет, надеюсь, через неделю»,— писал он 30 октября из Бахчисарая.

Она следила по карте за его путешествием: Перекоп, Симферополь, Алушта, Гурзуф, Ореанда, Алупка, Байдары, Балаклава, Георгиевский монастырь, Севастополь, Бахчисарай, Евпатория и опять Перекоп, уже на возвратном пути. По мере того, как он приближался, все опять оживало, освещалось, как будто солнце всходило; опять делалось вкусным,— «посолили суп».

«Нет, нельзя любить так, это грешно, за это Бог накажет!»— думала с ужасом.

Государь должен был вернуться в Таганрог 5 ноября. Накануне был день почти летний, как в конце петербургского августа. Днем по небу ходили барашки, и солнце светило сквозь них, лунно-бледное, а к ночи облака рассеялись и вызвездило так, как это бывает только позднею южною осенью.

Оставшись в спальне одна, перед тем чтобы лечь, она открыла окно и полною грудью вдохнула воздух, свежий и тихий, как вздох ребенка во сне. Дышала, дышала и не могла надышаться. Не только в душе, но и в теле было успокоение блаженное. «Даже плоть моя упокоится в уповании»,— вспомнился ей стих псалма. «Как хорошо, Господи, как хорошо! И отчего это?» Оттого, что он завтра будет с нею? Нет, не только от

этого, а от всего,— от тишины, от моря, от неба, от звезд. Все, что было, есть и будет,— все хорошо. И то, что она всю жизнь так мучилась, и то, что теперь так счастлива,— все хорошо на веки веков.

Стала на колени, подняла глаза к небу, улыбнулась и заплакала. Лучи звезд преломлялись в слезах ее, голубые, острые, длинные, как будто сверкали уже не над нею, а в ней, как будто она и они были одно.

Плакала, молилась, благодарила Бога. «А муж-то у Каролины умер,— вдруг вспомнила.— Ну, что ж, воля Божья. У нее умер»...— «А у меня жив»,— едва не подумала и ужаснулась опять: «что это, что это, Господи! Вот я какая подлая... А ведь все оттого, что слишком люблю — нельзя любить так, это грешно, за это Бог накажет... Ну, прости же, прости меня, Господи!»

Опять улыбнулась и заплакала: знала, что Бог простит, уже простил,— и все хорошо на веки веков.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— У меня маленькая лихорадка, должно быть, крымская...

— С какого времени, ваше величество?

— С Бахчисарая. Приехал туда поздно вечером, пить захотелось; Федоров подал барбарису; я подумал, не прокис ли,— в Крыму жара была,— но Федоров сказал, что свеж. Я выпил стакан и лег, а ночью сделалась боль в животе ужасная; однакоже, прослабило, и я полагал, что этим все кончится. Но в Перекопе опять зазнобило, и с тех пор вот все трясет...

Подумал и прибавил:

— А может быть, и раньше, еще с Севастополя: верхом ездил в Георгиевский монастырь, в одном сюртуке; днем-то жарко, а ночью в степи ветер холодный — ну, вот и продуло.

— Значит, уже с неделю больны?

— Да, с неделю, пожалуй. А впрочем, не знаю...

— Хины принимать изволили?

— Нет, я лекарств не люблю; само пройдет.

— Как же само, ваше величество, помилуйте! Вы все забывать изволите, что, приближаясь к пятому десятку, мы уже не то, что в двадцать лет...

— Да, брат, старость не радость, это я не хуже твоего знаю. А насчет лихорадки не бойся,— пустяки, ничего не будет.

В маленькой уборной, рядом с кабинетом-спальнею, государь переодевался и умывался с дороги. Всегда любил холодную воду для умыванья, но теперь попросил теплой: должно быть, боялся, чтоб озноб не усилился. Волконский, с полотенцем через плечо, лил ему из кувшина воду на руки. Бывший начальник главного штаба, теперешний императрицын гоф-маршал, генерал-адъютант, князь Петр Михайлович Волконский часто служил государю камердинером. Тридцать пять лет был ему дядькою, сопровождал его во всех путешествиях, видел во всех состояниях души и тела, самых торжественных и самых унизительных. Государь не баловал князя. «Что я терплю от него, этого никто себе и представить не может»,— говаривал Волконский и много раз хотел выйти в отставку, но все не выходил; был слаб и добр; любил его, жалел, как старая няня — дитя свое.

Жалел и теперь: видел, что он очень болен и только, по обыкновению, скрывает болезнь, перемогается.

— Эк, начадили!— сказал государь, вытирая руки полотенцем и глядя в окно на дымное зарево иллюминации.

— К приезду вашего величества.

— Верноподданные!— поморщился государь с брезгливостью.— Ну, а тут у вас что?

— Все слава Богу.

— Императрица как?

— Тоже, слава Богу, здоровы, только по вас очень соскучились.

Устал от умывания, присел, держа в руках полотенце, забыл его отдать Волконскому и опустил голову на руку: по этому движению видно было, как он болен.

— Лечь бы изволили, а ее величество я к вам попрошу...

— Нет, что ты? Напугаешь. Пожалуйста, братец, не говори ей.

— Да ведь сами увидят...

— Пусть видит, а ты не говори. Зачем беспокоить? Сказано, вздор: отлежусь и буду здоров... Ну, давай же сюртук. Надо к ней,— ждет небось.

Волконский подал сюртук; государь надел, взглянул на себя в зеркало поспешно и неуверенно, как больные глядят, провел щеткою по волосам, зачесанным вверх, от висков на плешивый лоб, застегнулся, оправил сюртук, чтобы складок не было, и пошел; и по тому, как шел, согнувшись, сгорбившись, опять видно было, что очень болен. Волконский, глядя ему вслед, бормотал себе что-то под нос, как старая няня, которая смотрит на больного ребенка с ворчливою нежностью.

Императрица ждала государя к пяти часам, по маршруту; но прошло пять, шесть, семь, половина восьмого, а его не было; наконец, без четверти восемь увидела в окно коляску, которая ехала шагом, с поднятым верхом. Уж не пустая ли? Нет, вот он, в теплую шинель закутан, ноги прикрыты медвежьей полостью. Никогда не ездил шагом. Не случилось ли чего-нибудь? Не болен ли? Хотела бежать навстречу, но не посмела: он не любил, чтоб здоровались с ним, когда еще не умылся. Решила ждать, сидела одна у себя в кабинете, прислушиваясь, как столовые часики — фарфоровый пастушок со сломанною ручкою — тикают да тикают. Каждая минута казалась вечностью. Наконец позвала секретаря своего, Лонгинова, и велела ему пойти узнать, что случилось. Лонгинов пошел и пропал. Вспомнилось ей, как во время наводнения так же посылала его, и он так же пропал. Сил больше не было ждать; встала, пошла к двери. В эту минуту послышались шаги: он! он!

Ничего не помнила, не видела, не слышала,— только чувствовала, что он с нею.

— Lise, наконец-то! Ну, слава Богу, слава Богу!

Всегда, бывало, чувствовала себя счастливее, чем он, в такие минуты свиданий, и в этом неравенстве была капля отравы; теперь ее не было: первый раз в жизни почувствовала, что оба они одинаково счастливы.

Опомнилась и посмотрела на него внимательно.

— Больны?

— Пустяки, не стоит об этом думать: завтра буду здоров... Ну, а вы как?

Не ответила и посмотрела на него еще внимательнее: «да, похудел, осунулся; но ничего; насколько было хуже в прошлом году, когда начиналась рожа на ноге, а теперь ничего, ничего не будет»...

— Ну, право же, Lise,— ничего не будет,— проговорил он, как будто угадал ее мысли; улыбнулся ей — и она опять забылась, прижалась к нему, закрыла глаза с блаженной улыбкой; не могла быть несчастною: он с нею — и все хорошо на веки веков.

— Ну что же мы? Садитесь же.— увидела вдруг, что ему трудно стоять.— Вот здесь, на диван. Прилягте, хотите подушку? Знобит? Наденьте шаль. Ничего, что гадкая,— никто не увидит. Это шаль моей бедной Амальхен: смешная, гадкая, а я ее люблю: теплая, милая. «Моя милая тетушка»,— так и называется. Всегда в нее кутаюсь, когда озноб. Чаю хотите?

Говорила, сама хорошенько не зная что, только чувствуя, что не надо молчать.

— Да, чайку бы с лимонцем, горяченького,— сказал он детски-жалобно, и промелькнуло что-то в глазах. Что это? Нет, ничего, ничего; только не надо молчать и думать не надо.

— Ну, рассказывайте, как простудились, когда и где? Только правду, всю правду...

Он рассказал ей то же, что Волконскому, но еще успокоительней; торопился кончить о болезни и заговорить о другом.

— Погодите-ка, Lise, я что-то хотел?.. Да, Ореанда: я ведь купил Ореанду...

Вынул из бокового кармана и разложил на столе план маленького дачного домика, только для них двоих; показывал и объяснял:

— Комнатки маленькие, пожалуй, еще меньше этих, но уютные, светленькие, беленькие, большая терраса с колоннами, лестница к морю — все в греческом вкусе — к месту идет. А места-то какие, настоящий рай! Кипарисы, лавры, мирты вечнозеленые, у синего моря, у

самого синего моря, как в сказках говорится. Теперь, в ноябре, еще розы цветут.

Достал из маршрутной книжки и подал ей засушенную чайную розу.

— Понюхайте: до сих пор пахнет. И какая тишина, какая пустыня! Как хорошо нам будет вдвоем...

Помолчал и добавил с тихою грустью:

— А я ведь когда-то думал — втроем. Ну, да ничего, скоро...

Едва не сказал: «Скоро будем вместе»,— слова умирающей Софьи.

Посмотрел на государыню молча, и опять промелькнуло что-то в глазах. Ей стало страшно: хотела заговорить, нарушить молчание, но уже не могла, только чувствовала, что счастье уходит из сердца, как вода из стакана с трещиной.

Вошел князь Волконский и доложил о лейб-медике Виллие.

— Экий ты, братец! Я же тебе говорил, не пускать. Надоел он мне со своими лекарствами,— сказал государь шепотом.— Ну, делать нечего, пусть войдет.

Виллие вошел, поцеловал руку императрицы и спросил государя, как он себя чувствует.

— Отлично, мой друг! Вот чаю напился и согрелся. Озноба, кажется, нет, только маленький жар.

Виллие пощупал пульс и ничего не сказал.

— Сделай милость, Яков Васильич,— продолжал государь,— успокой ты ее, скажи, что пустяки. Не верит мне...

— Пустяки, разумеется. А все-таки лечиться надо, ваше величество! Вы вот лекарств не хотите...

— Ну, знаю, брат, знаю... Поди-ка сюда,— подозвал он князя Волконского.— Ты думаешь, это что? — указал ему на план.

— Дом какой-то.

— А чей дом?

— Не знаю.

— Отставного генерала Александра Павловича Романова. Я ведь скоро в отставку.

— Не рано ли будет, ваше величество?

— Что за рано, помилуй: двадцать пять лет служ-

бы,— и солдату за этот срок отставку дают. Выхолика и ты, брат, будешь у меня библиотекарем...

Говорили спокойно, весело; но почему-то от этого спокойствия государыне опять стало страшно: чувствовала, как вода все уходит и уходит из стакана с трещиной.

Виллие посмотрел на часы и заметил, что государю ложиться пора.

— Так я и знал, что погонишь. А мне здесь так хорошо. Ну, ладно, сейчас,— только вот простимся.

Виллие с Волконским вышли.

— Ну что, Lise, успокоились?— сказал государь, вставая.

Она хотела ответить, но опять не могла.

— Что это, право, Lise? Нельзя же так. Друг друга изводим: то вы больны, и я убиваюсь, то я болен, и вы убиваетесь. Как медведь и коза в той игрушке, знаете?— потянешь направо, медведь на козу валится; потянешь налево, коза — на медведя...

— Да нет, я ничего... А только я была так счастлива...— начала и не кончила; слезы душили ее.

— А теперь несчастны?

Обнял и поцеловал ее с такою нежностью, что дух у нее захватило от счастья: стакан, хоть и с трещиной, опять до краев наполнился.

— Милый, милый!— прижалась к нему и заплакала.— Да наградит вас Бог за всю вашу... дружбу ко мне!

Не посмела сказать: «любовь!»

— Ну, Господь с вами,— хотела перекрестить его.

— Нет, Lise, потом. Зайдите, когда лягу.

Прошел к себе в кабинет, сел за стол и начал разбирать почту. Нашел донесение генерала Клейнмихеля: «Описание злодейского происшествия в Грузине».

Голова болела, в глазах темнело от жара; не мог читать сплошь, только просматривал.

«По показанию смертоубийцы, покойница упала и закричала; в которое время он совершенно перерезал

ей горло и отрезал ей голову, так что оная осталась на одной кости»...

А в заключение: «В делах и думать еще невозможно, но я в полной надежде, что граф не покинет их, лишь бы успеть успокоить его некоторым образом в домашнем быту».

Усмехнулся, подумал: как же его успокоить? Другую девку найти ему, что ли? Да нет, такой не найдешь: вон о. Фотий называет «великомученицей» эту звериху в человеческом образе, которая одной своей горничной за то, что нехорошо подвила ей волосы, раскаленными щипцами обожгла лицо.

Бросил читать; затошнило, и, казалось, тошнит от того, что читает.

Увидел письмо Аракчеева, распечатал и тоже не стал читать, а только заглянул.

«Ах, батюшка, летел бы я к вам в Таганрог, ибо мне ничего так не хочется, как видеть моего благодетеля; но боль в груди так велика становится, что боюсь в сию дурную погоду и в дорогу пуститься; кажется, я не перенесу оного. Обнимаю заочно ваши колени и целую руки».

Опять усмехнулся: как бы встретил он Аракчеева, если бы тот вздумал приехать? А впрочем, за что же сердиться? «Куда вы, туда и он; что вы, то и он, а его самого нет: он ваша тень».— «Да, тень моя: когда солнце было высоко, тень лежала у ног, а когда солнце зашло, тень выросла...» Исполинская тень, смешное страшилище. «Военные поселения суть жесточайшая несправедливость, какую только разъяренное зловластие выдумать могло»,— вспомнился донос Алилуева и тихий плач народа: «Спаси, государь, крещеный народ от Аракчеева!»— Мечтал о царстве Божьем, и вот — царство Аракчеева, царство Зверя... Да, правы *они*...

Голова кружилась, и в глазах темнело так, что казалось вот-вот сделается дурно. Встал, подошел к дивану и лег; закрыл глаза; не спал, но, как во сне, видел: почтовая дорога на станции Васильевке, в 25 верстах от города Орехова, где проезжал третьего дня; тут встретил его фельдъегерь Масков с депешами из Петер-

бурга и Таганрога; государь велел ему ехать за ним, хотел послать вперед со следующей станции в Таганрог с письмом к государыне; сел в коляску и поехал. Дорога поворачивала круто, с горы вниз, к мосту на речке. Благополучно спустился, переехал через мост и подымался шагом на тот берег. Масков тоже сел на курьерскую тройку, крикнул ямщику: «пошел!» и замахнулся на него саблею с тем ошалелым ухарством, которое свойственно фельдъегерям; должно быть, выпил на станции. Ямщик погнал; тройка подхватила с места и понесла с горы; но при повороте на мост ямщик не управил, налетел на кочку, телега подпрыгнула, так что Масков вылетел, кувыркнулся в воздухе и со всего размаха ударился тычком головою о камень. Государь увидел, ахнул и велел Тарасову бежать на помощь к упавшему. А на следующей станции, в Орехове, Тарасов доложил, что Масков умер на месте от сотрясения мозга с переломом черепа. Тогда уже начинался озноб, а при докладе Тарасова усилился так, что зуб на зуб не попадал. «А что, если бы я,— подумал государь,— отправил Маскова вперед с письмом к государыне? Написал бы так: «Je vous envoye Maskoff et je le suis de près. Посылаю вам Маскова и следую за ним тотчас». Ведь было бы то же, как свечи днем,— к покойнику...»

Теперь, лежа на диване с закрытыми глазами, видел, как Масков падает и слышит костяной стук, треск черепа. «Вот отчего голова так болит, от этого костяного треска трещит голова... Какая гадость! Уж лучше встать...»

Встал, подошел к столу и опять начал разбирать бумаги; долго чего-то искал; наконец нашел: безымянное письмо, один из тех нелепых доносов, которых он так много получал в последнее время. Помнил его почти наизусть; не надо бы больше читать; но не мог удержаться.

«Ваше императорское величество! В Священном писании, а именно в 81-м псалме о владыках и царях земных сказано: бози есте и сынове Вышняго вси; вы же яко человецы умрете. Государь! верноподданным вашим известно, что, хотя вы и великий самодержец,

но богом земным себя не почитаете и даже воспретили то указом Св. Синоду во всех церквах, публично, ибо смертный час помните.

Ваше величество, как верноподданный и хотя тайный, но истинный друг ваш и сын отечества, умоляю вас именем Вышнего, помните сей час,— помните ныне больше, чем когда-либо, ибо оный уже наступает: адские замыслы извергов уже совершаются».

До сих пор написано было по-русски, а дальше — по-французски, безграмотно:

— «Долго сомневались убийцы, какое именно оружие избрать,— пулю, кинжал или яд; наконец избрали последнее. Может быть, уже поздно,— уж отрава течет в ваших жилах. Но, если не поздно, берегитесь, берегитесь всех, кто вас окружает; берегитесь вашего камердинера, вашего повара, вашего доктора; никому не верьте; все — изменники, все подкуплены; вы окружены убийцами. Хлеб, который вы едите, отравлен; вода, которую пьете, отравлена; воздух, которым дышите, отравлен; лекарства, которые вам дают, отравлены. Прежде, чем есть или пить, заставляйте отведывать подающих вам. Помните об этом днем и ночью, каждый день, каждый час, каждую минуту; помните, что отрава может быть везде. Мало ли от чего умирают люди? От угара, от нелуженой посуды, от толченого стекла в хлебе. Убьют вас, отравят медленным ядом и скажут потом, что вы естественной смертью умерли.

Пишу сие от чистого и верноподданническим жаром пламенеющего сердца, познав ужас адских замыслов. Да поможет вам Бог!

Раскаявшийся изверг и отныне по гроб жизни верноподданный ваш».

Да, не надо было читать: глупо, гадко, тошно тошнотою смертною. Вдруг вспомнил что-то и удивился: как же так, ведь сжег письмо? Полно, сжег ли? Да, ясно помнил, как это было: получил письмо, а на следующий день, утром, за чаем, нашел в сухаре камешек; послал за Дибичем, показал ему сухарь и велел узнать, что это и как могло попасть в хлеб? «Я не хочу,— сказал,— поручать это Волконскому, потому что он старая баба и ничего не сумеет сделать, как следует». Ди-

бич позвал Виллие; тот нашел, что это простой камешек; а пекарь извинился, что он попал в сухарь по неосторожности. Государь хотел показать Дибичу донос об отраве, но стало стыдно и страшно не того, чем грозил донос, а того, что он мог ему поверить; пошел к себе в кабинет, отыскал письмо и сжег.

Откуда же оно теперь взялось? «С ума я схожу, что ли?» Вертел его в руках, щупал, рассматривал, как будто надеялся, что оно исчезнет; нет, не исчезло. Поднес к свече, хотел сжечь,— не горит; бросил,— не падает; липнет, липнет, не отстает, точно клеем намазано. А свечи тускло горят, как тогда, днем — к покойнику, и черно-желтый туман наполняет комнату; и кто-то стоит за спиной. Не глядя, не оборачиваясь, он знает, кто: старичок белобрысенький, лысенький; голубенькие глазки, «совсем, как у теленочка», как у него самого в зеркале; бродяга бездомный, беспаспортный, родства не помнящий, Федор Кузьмич.

Вскрикнул, очнулся и увидел, что лежит на диване; понял, что не вставал и что все это бред.

Отворилась дверь, вошла государыня.

— Не легли еще?

— Нет, Lise, я вас жду.

— Я стучалась, не слышали?

— Не слышал,— оглох, всегда от жара глохну. Помните, в прошлом году, когда рожа начиналась, тоже оглох? As dief as pots. (Глух, как горшок.) Ну, поцелуйте меня. Сейчас лягу. Мне теперь хорошо, совсем хорошо,— улыбнулся он так искренно, что она почти поверила.— Не беспокойтесь же, мой друг, спите с Богом...

Перекрестила его и поцеловала.

Когда ушла, Егорыч постучался в дверь. Стучался долго, но государь опять не слышал, и тот, наконец, вошел.

— Раздеваться прикажете, ваше величество?

— Раздеваться? Да... нет, потом. Позвоню.

Егорыч подошел к столу и стал снимать со свечей.

— А знаешь, Егорыч, я ведь очень болен,— сказал государь.

— Пользоваться надо, ваше величество!

«Он всегда знает, что надо»,— подумал государь; но спокойствие Егорыча было ему приятно.

— Нет, брат, где уж,— продолжал, помолчав.— А свечи-то помнишь?

— Какие свечи?

— Ну как же, ты сам говорил: свечи днем — к покойнику...

— Избави, Господи, ваше величество!— пробормотал Егорыч, бледнея, и начал креститься.

— Ну чего ты, дурак? Пошутить нельзя. Небось, тебя хоронить буду... Ступай.

Егорыч вышел, все еще крестясь; лица на нем не было: любил государя.

А тот встал и начал ходить взад и вперед по комнате, хотя еще сильней знобило, и каждый шаг отдавался в больной голове; но лечь было страшно, как бы опять не забредить. И надо было что-то обдумать, решить окончательно. Что с ним? Да, болен,— может быть, очень болен. Но чего же так испугался? Смерти? Нет, не смерти. Да и не верит, что умрет. Егорыча только испытывал и удивился, что он так легко поверил. Нет, не смерти, а чего-то страшнее, чем смерть... «Хлеб, который вы едите, отравлен; вода, которую пьете, отравлена; воздух, которым дышите, отравлен; лекарства, которые вам дают, отравлены...» А кстати, был ли донос? Был, конечно, был, и он сжег его тогда же, после камешка в хлебе: это не бред, это он и сейчас, наяву, помнит. Но неужели же, неужели поверил тогда и теперь еще верит? А бумажка-то, видно, в бреду к пальцам прилипла недаром,— вот и к душе липнет... Какая гадость!

Остановился, поднес руки к глазам, посмотрел, как ногти посинели от озноба, а может быть, от чего-нибудь другого; языком почмокал, пробуя, какой вкус во рту: да, все то же, как будто металлический, и слюна, и тошнота, и гнилая отрыжка, и эта медленно-медленно, отвратительно сосущая боль в животе; совсем как тогда, в Бахчисарае, когда выпил прокисший сироп. «Может быть, уже поздно; может быть, отрава уже течет в ваших жилах...» Вдруг злоба охватила его. Неужели

же он, в самом деле, дошел до того? Камешек в хлебе, прокисший сироп,— да ведь это сумасшествие!

Ну, конечно, отравлен. О, какой медленный, медленный яд! Еще тогда, в ту страшную ночь 11 марта, отравился им. И *они* это знают. Правы они — вот в чем сила их, вот чем они убивают его издали; ведь есть такое колдовство: сделать человечка из воска, проколоть ему сердце иголкою,— и враг умирает. Да, яд течет в жилах его: этот яд — страх. Страх чего? О, если бы чего-нибудь. Но давно уже понял, что страх страшнее самого страшного. Не страх чего-нибудь, а один голый страх, безотчетный, бессмысленный, тот подлый животный страх, от которого холодеют и переворачиваются внутренности, и озноб трясет так, что зуб на зуб не попадает. Страх страха. Это как два зеркала, которые, отражаясь одно в другом, углубляются до бесконечности. И свет сознания, как свет свечи между двумя зеркалами, тускнеет, меркнет, уходя в глубину бесконечную — и темнота, темнота, сумасшествие....

Вдруг вспомнилось, как брат Константин, еще мальчиком, из шалости отравил собаку, дав ей проглотить иголку в хлебном шарике. «Ну, что ж, собаке собачья смерть!»— усмехнулся со спокойным презрением. И в этом презрении все потонуло — боль, стыд, страх.

Позвонил камердинера, быстро, молча разделся и лег. Ночь провел дурно, без сна, но к утру сделался пот, и он заснул.

На следующий день встал почти без жара; только был слаб и желт, «желт, как лимон»,— пошутил, взглянув на себя в зеркало. Оделся, умылся, побрился, все, как всегда. Войдя в кабинет, стал у камина греться; Волконский по бумагам докладывал, а государь все просил его говорить громче: плохо слышал. «As dief as pots»,— опять пошутил.

Весь день был на ногах, в сюртуке. К обеду сделался жар. Виллие хотел ему дать лекарства, но он сказал, что примет вечером, а когда тот настаивал,— прикрикнул на него:

— Ступай прочь!

Обедал с государыней; подали суп с перловой крупою; съел и сказал:

— У меня больше аппетита, чем я думал.

Потом — лимонное желе. Отведал и поморщился:

— Какой странный вкус! Попробуйте.

— Может быть, кисло?

— Да нет же, нет, какой-то вкус металлический. Разве не слышите?

Велел позвать метрдотеля Миллера, заставил и его попробовать.

— Я уж не в первый раз замечаю. Смотри, брат, хорошо ли лудят посуду?

После обеда дремал на диване, а государыня читала книгу. Виллие опять завел речь о лекарстве.

— Завтра,— сказал государь.

— Вы обещали сегодня.

— Экий ты, братец! Ну, что мне с тобою делать? Ведь если на ночь приму, спать не буду.

— Будете. До ночи подействует.

Государыня смотрела на него с умоляющим видом.

— Вы думаете, Lise?..

— Да, прошу вас.

— Ну, ладно, давай.

Виллие пошел готовить лекарство и через полчаса принес 8 пилюль.

— Что это?— спросил государь.

— Шесть гран каломели и полдрахмы корня ялаппы. Ваше обыкновенное слабительное.

— Каломель — ртуть?

— Да, сладкая ртуть.

— Яд?

— Все лекарства суть яды, ваше величество: по русской пословице, одно дерево другим деревом...

— Клин клином вышибай?

— Вот именно, яд — ядом: яд болезни — ядом лекарства.

Проглотил пилюли и пошел к себе. Вечер провел опять с государыней. Болтали весело, или как будто весело, о таганрогских сплетнях, о председательше Ульяне Андреевне, которую поймали с подзорною трубкою на чердаке, когда она в окна дворца заглядывала; вспомнили, что сегодня — 6-е ноября, канун

годовщины петербургского наводнения.— «Даст Бог, этот год будет счастливее!»

Вдруг встал и попросил ее выйти.

— Что с вами?

— Ничего. Кажется, лекарство действует.

Отлично подействовало; стало легче, жар уменьшился.

— Ну вот видите, Lise, говорил вам, что вздор, ничего не будет.

— Слава Богу! А вы еще принимать не хотели.

Но на следующий день признался ей, что вчера просил ее уйти не потому, что лекарство подействовало, а такая тоска вдруг напала, что не знал, куда деваться, и не хотел, чтобы кто-нибудь видел его в этом состоянии.

Приехал в Таганрог в четверг; пятницу, субботу, воскресенье все еще был болен; ни хуже, ни лучше, или то хуже, то лучше; а когда спрашивали, как он себя чувствует, отвечал всегда одно и то же:

— Хорошо, совсем хорошо!

Не изменял порядка жизни. Весь день — на ногах, в сюртуке; а если уж очень знобило, кое-как примащивался на диване, укрываясь одеялом или старой меховой шинелью. В те же часы вставал, ложился, обедал, ужинал. Садясь за стол, чтобы выпить стакан хлебной или яблочной воды с черносмородинным соком, крестился, как перед настоящим обедом; пил и похваливал:

— Прекрасный напиток, освежающий! Волконский мне дал, а ему сестра, а ей какой-то знакомый, в дороге. Очень, говорят, от желчи пользует, лучше всех лекарств...

А на Виллие смотрел волком; когда тот предлагал ему самое невинное слабительное,— молчал, хмурился или отшучивался.

— Эх, Яков Васильич, надоел ты мне хуже горькой редьки!

И, наконец, сердился:

— Оставьте меня в покое! И как вы не видите, что я от ваших лекарств болен? Стоит принять, чтобы сделалось хуже...

Продолжал заниматься делами или притворялся, что занимается.

— Поменьше бы бумаг читали, ваше величество! Вам хуже от того,— говорил Волконский.

— Рад бы, мой друг, да не могу: привычка. Как не позаймусь,— пустота в голове. Если выйду в отставку, буду целые библиотеки прочитывать, а то с ума сойду от скуки.

В обычные часы отсылал государыню гулять.

— Отчего вы не гуляли сегодня? Погода такая прекрасная. Вам надо пользоваться воздухом.

Она не смела сказать, что ей страшно уйти от него. Когда несколько часов не видела его и вдруг вглядывалась в лицо его,— страх жалил ей сердце не очень больно, тупо: так злые осенние мухи кусаются. А потом опять надежда; то страх, то надежда,— как летнею ночью в тихом воздухе, то теплая струя, то холодная. Но и сквозь страх — знакомое счастье, та особенная уютность, которую всегда испытывала во время болезни его: точно он маленький, а она нянчится с ним.

Приносила ему газеты, журналы. Особенно любил он модные: понимал толк в женских модах. Рассматривали вместе картинки; раскладывали ракушки, которые собрали на морском берегу, у карантина.

— Вы приносите мне игрушки, как ребенку, моя милая маменька!— смеялся он.

Только что становилось легче, болтал, шутил, строил планы, как они будут жить в Ореанде, или рассказывал анекдоты таганрогские: о депутации калмыцких князей, которые, услышав клавесин у полковника Фредерикса, дворцового коменданта, сначала испугались, а потом пришли в такой восторг, что нельзя было на них смотреть без смеха; об уездном лекаре, французе Менье, хвастунишке ужасном, который носит какой-то персидский орден вместо звезды и зеленую ленту через плечо, уверяя, будто бы лечил самого шаха и весь его гарем, «et que peut-être on verra un jour un chach de ma façon»[1].

---

[1] «И что, быть может, в один прекрасный день увидят шаха в моем стиле» (*франц.*).

Однажды зашла у них речь о Байроне; государыня в то время читала последние песни Дон Жуана, где говорится о русском царе не совсем уважительно.

— Гений его уподобляется блеску зловредного метеора,— сказал государь:— поэзия Байронов родит Зандов и Лувелей. Прославлять ее есть то же, что восхвалять убийственное орудие, изощренное на погибель человечества. Такое употребление таланта не заслуживает чести, приписываемой гению, и достоинства иметь не может, особенно между христианами...

Она возражала, доказывала, что Байрон — заблудший, но не злой человек.

— А кстати,— заметил он:— нынче завелись и у нас свои Байроны. Ваш любимый Пушкин...

— Да, любимый! А вы его за что не любите? Он — слава России, слава вашего царствования...

— Ну, полно, мой друг, избави нас Бог от этакой славы! Наводнил Россию стихами возмутительными. Этот человек на все способен. Говорят, отца своего чуть не убил...

— Неправда! Неправда! Клевета презренная! Как вы можете? Ведь вы же сами знаете, вам Жуковский говорил!..— закричала она и вдруг испугалась: «Что это я? На больного кричу!»— испугалась и обрадовалась; значит, не очень болен.

А когда делалось хуже,— уходил к себе в кабинет, прятался от нее или, ложась на диван, просил ее читать книгу и не обращать на него внимания. Она делала вид, что читает, но смотрела на него из-за книги, украдкою, и опять страх жалил ей сердце не очень больно, тупо, как злая осенняя муха

Однажды он спал, а она сидела рядом, с книгою; вдруг он открыл глаза, поглядел вокруг, как будто с веселою улыбкою, и тотчас же опять закрыл их, заснул. Только впоследствии, в ужасные минуты, поняла она, что значила эта улыбка.

В ночь с воскресенья на понедельник был сильный пот, так что несколько раз пришлось менять белье. На следующий день лихорадки не было. Виллие торжествовал и объявил, что болезнь можно считать пресеченною: если даже вернется лихорадка, то сделается пере-

межающейся и скоро совсем пройдет. «*Febris gastrica biliosa* — лихорадка желудочно-желчная»,— назвал он болезнь, и все успокоились.

Государь запрещал писать в Петербург о том, что он болен.

— Боюсь я экстрапочт, как бы не напугали матушку.

Последняя почта была задержана, а со следующей, в понедельник, когда ему стало лучше, он велел написать императрице Марии Федоровне и цесаревичу, что был болен и что болезнь проходит; велел также Дибичу послать курьера за князем Валерьяном Михайловичем Голицыным.

«Слава Богу, ему гораздо лучше,— писала в тот же день государыня матери своей, герцогине Баденской.— Даст Бог, когда вы получите это письмо, не будет больше и речи о его болезни».

Но в тот же день к вечеру опять сделалось хуже. Все еще бодрился, начал рассказывать анекдот о калмыках,— должно быть, забыл, что она уже знает.

— А почему вы не носите траура по короле Баварском?— спросил неожиданно.

— Я сняла по случаю вашего приезда, а потом не захотелось надевать.

— Почему не захотелось?— опять спросил и посмотрел на нее так, как на Егорыча, когда спрашивал его о свечах.

Покраснела; сама не понимала, почему,— не думала об этом и только теперь, когда он спросил, поняла.

— Я завтра надену,— сказала поспешно.

— Нет, все равно...

Вошел Виллие, и по тому, как лицо его вытянулось, когда он взглянул на больного, она увидела, что плохо.

Ночь провел без сна, в жару. Утром принял опять шесть пилюль слабительных. Сделались ужасные схватки в животе, тошнота, рвота, понос; ослабел так, что едва на ногах держался.

Лежал на диване, под старой шинелью, с фланелевым набрюшником на животе, и, закрыв глаза, думал, надо ли будет еще раз вставать за нуждою или так обойдется. Думал об этом и смотрел на выплывавшее

из мутно-красной мглы воспаленных век недвижное, как из меди изваянное, лицо Наполеона; оно приближалось к нему, и крепко сжатые, тонкие губы раскрывались, шевелились, говорили; он знал, что что-то важное, нужное, от чего зависит его спасение или погибель, но расслышать не мог: был «глух, как горшок».

Вдруг лицо Наполеона исчезло, и на месте его появилось лицо Егорыча. Губы его так же раскрывались, шевелились беззвучно.

Очнулся и понял, что Егорыч, действительно, стоит перед ним.

— Ну, чего тебе? Громче, громче! Что это, право, все вы шепчетесь?

— Полковник Николаев, ваше величество! Принять прикажете? — прокричал Егорыч.

Государь вспомнил, что вчера, когда ему лучше было, велел прийти Николаеву. Но теперь чувствовал себя так плохо, что не знал, хватит ли сил. Наконец сказал Егорычу:

— Принять.

Еще в первые дни по приезде в Таганрог заметил государь лейб-гвардии казачьего полка полковника Николаева, командира таганрогского дворцового караула; ему понравилось лицо его, обыкновенное, не очень красивое, не очень умное, но такое открытое, честное, доброе, что когда, представляясь государю, крикнул он по-солдатски: «Здравия желаю, ваше императорское величество!» — государь невольно улыбнулся и подумал: «какой молодец!» И потом, встречаясь с ним, всегда улыбался, а Николаев смотрел ему прямо в глаза с тою восторженно-преданной влюбленностью, которую государь ценил в людях больше всего.

В конце сентября, получив от Аракчеева письмо Шервуда с просьбой выслать в Харьков надежное лицо для принятия окончательных мер к открытию заговора, — решил послать Николаева; но все откладывал, а потом, уже больной, мучился, что не успеет, пропустит назначенный срок — 15 ноября. Вот почему принял его теперь: сегодня 10-е — только 5 дней до 15-го.

Когда Николаев вошел, государь велел ему запереть дверь на ключ и сесть поближе; начал расспрашивать,

кто его родители, где он воспитывался, где служил и в каких походах участвовал; чем больше вглядывался в него, тем больше он ему нравился.

— У меня к тебе важное дело, Николаев!

— Рад стараться, ваше величество!

Государь закрыл глаза и вдруг почувствовал, что говорить не может. Кровь застучала в виски. и в глазах потемнело так, что, казалось, вот-вот лишится чувств. Долго молчал; наконец с таким усилием, как смертельно раненный вытаскивает железо из раны, начал:

— В России существует политический заговор...

И рассказал все, что нужно было знать Николаеву о Тайном Обществе.

— Поезжай в Харьков; надобно быть там не позже 15-го, дабы схватить бумаги, посланные в Петербург прапорщиком Вадковским с поручиком графом Николаем Булгари; в бумагах найдешь список заговорщиков. А что делать потом, Шервуд скажет.

Подумал и прибавил:

— Советы и объяснения Шервуда принимай с осторожностью... Ну, что еще? Да, смотри, чтоб никто не узнал. Никому не говори, слышишь?

— Слушаю-с, ваше величество!

Государь встал и пошатнулся. Николаев бросился к нему, поддержал его и помог дойти до стола. Он отпер шкатулку, вынул деньги, подорожную на имя Николаева и предписание начальника главного штаба, генерала Дибича, унтер-офицеру Шервуду. Со вчерашнего дня все было готово. В предписании сказано:

«По письму вашему от 20 сентября к господину генералу-от-артиллерии графу Аракчееву, отправляется, по высочайшему повелению, в город Харьков лейб-гвардии казачьего полка полковник Николаев с полною высочайшею доверенностью действовать по известному вам делу».

Отдал ему все, вернулся на диван и лег.

— Понял?

— Точно так, ваше величество!— ответил Николаев и, подумав, спросил:— Заговорщиков арестовать прикажете?

Государь ничего не ответил, опять закрыл глаза; знал,

что стоит ему произнести одно слово: «арестовать».— и все сделано, кончено, железо из раны вынуто — и он спасен, исцелен: знал — и не мог сказать этого слова; чувствовал, что железо перевернулось в ране, но не вышло.

— Заговорщиков арестовать прикажете, ваше величество?— повторил Николаев, думая, что государь не расслышал.

Тот открыл глаза и посмотрел на него так, что ему страшно стало.

— Как знаешь. Я тебе верю во всем...

— Слушаю-с,— проговорил Николаев, бледнея.

— Ну, с Богом... Нет, погоди, дай руку.

Николаев подал ему руку, и государь долго держал ее в своей, долго смотрел ему в глаза молча.

— Верный слуга?— произнес наконец.

— Точно так, ваше величество!— ответил Николаев, и в глазах его засияла восторженно-влюбленная преданность.— Об одном Бога молю: жизнь положить за ваше величество...

— Ну, вот ты какой хороший... Спасибо, голубчик! Помоги тебе Бог! Дай перекрещу.

Николаев стал на колени и заплакал; государь обнял его и тоже заплакал.

В тот же день вечером он лежал у себя в кабинете. Государыня сидела рядом, как всегда, с книгою и, как всегда, не читая, смотрела на него украдкою.

— Отчего у вас глаза красные, Lise?

— Голова болит. Рано закрыли печку в спальне; должно быть, угорела.

Сконфузилась, лгать не умела; глаза были красны, потому что плакала. Он посмотрел на нее и подумал: «Не сказать ли всего? Нет, поздно... И зачем мучить? Вон у нее какие глаза,— как у той загнанной лошади с кровавою пеною на удилах. Бедная! Бедная!»

— Дайте руку.

Поцеловал руку и улыбнулся.

— Ну, полно, полно, будьте же умницей!

Виллие готовил питье в стакане, подошел к нему и подал.

— Что это?

— Несколько капель acidum muriaticum [1]. Вы на дурной вкус во рту жаловаться изволите, так вот, прочистит.

Государь молча отвел руку его; но Виллие опять подал.

— Извольте выпить, ваше величество!

— Не надо.

— Прошу вас, выпейте...

— Не надо! Ступай прочь!

Виллие продолжал совать стакан. Государь схватил его и бросил на пол.

— К черту! Убирайтесь все к черту! Убийцы! убийцы! отравители!— закричал он, и лицо его, искаженное бешенством, сделалось похоже на лицо императора Павла I.

Государыня выбежала из комнаты. Виллие отошел и закрыл лицо руками. Егорыч, ползая по полу, подбирал осколки стекла.

Государь упал в изнеможении на подушки и несколько минут лежал, не двигаясь; потом взглянул на Виллие и сказал:

— Яков Васильич, а Яков Васильич, где же ты? Поди сюда. Ну, не сердись, помиримся... Как же ты не видишь, что я имею свои причины так действовать?

— Какие же причины, ваше величество? Если вы мне не доверяете, позовите другого врача. Но не могу, не могу я видеть, как вы себя убиваете...

Заплакал. Государь посмотрел на него с удивлением: никогда не видел его плачущим.

— Послушай, мой друг, я не хуже твоего знаю, что мне вредно и что полезно. Мне нужно только спокойствие...

Помолчал и прибавил по-французски:

— Обратите внимание на мои нервы, они очень расстроены. Не раздражайте же их пустыми лекарствами...

Виллие ничего не ответил и задумался.

— Замучил я тебя, Яков Васильич,— улыбнулся государь своей доброй улыбкой и пожал ему руку.— Скажи Тарасову, пусть посидит у меня, а ты ступай отдохни.

---

[1] Соляная кислота (*лат.*).

«Не верит мне»,— подумал Виллие и обиделся; но заглушил обиду: любил, жалел его, так же как Волконский и Анисимов.

— Ваше величество, лечитесь у кого угодно,— только, ради Бога, лечитесь! Ну, если не хотите лекарств, можно кровь пустить...

— Кровь пустить?— повторил государь и посмотрел на него, усмехаясь.— А тебе не страшно?

— Что же тут страшного? Пустое дело...

— Пустое дело — кровь?— продолжал государь усмехаться.— Страшно видеть кровь человеческую, а кровь царя — еще страшнее? Или все равно — одна кровь?.. Знаю, брат, ты мастер кровь пускать. Дело мастера боится, но есть дела, которых сам мастер боится... Нет, не надо крови!

Сложил руки молитвенно и прошептал:

— Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасения моего!

И опять посмотрел на него.

— Какое дело, мой друг, какое ужасное дело!— произнес так, что Виллие подумал: «бредит»,— потихоньку встал, вышел и послал к нему Тарасова.

— Я ни за что не отвечаю,— говорил Виллие Волконскому.— Все идет худо, и надо ждать самого худшего. Никого не хочет слушаться. Упрям...

Едва не повторил слова Наполеона: «упрям, как мул».

— Самодержавный,— да ведь болезнь еще самодержавнее. И что с ним? Что с ним?— прибавил задумчиво:— если бы только знать, что с ним такое?..

— Не лихорадка, вы думаете?— спросил Волконский.

— Нет, я не о том,— возразил Виллие:— тут не болезнь, не только болезнь...

Говорили в проходной зале-приемной, рядом с кабинетом государевым. Было темно, и в самом темном углу государыня, стоя лицом к стене, плакала. Они ее не видели. Она прислушалась и вдруг перестала плакать; вышла потихоньку из комнаты и прошла к себе в кабинет; легла ничком на диван, уткнув лицо в подушку. Все застыло в ней, окаменело, замерло.

«Что с ним? Что с ним? Заговор! Тайное Общество,— вот что. А я и забыла, о себе думала, а о нем

забыла. Он умирает от этого, и я ничего, ничего, ничего не могу сделать!»

Вдруг вспомнила, как в ту последнюю ночь перед его возвращением из Крыма была счастлива и, глядя на звезды, плакала, молилась, благодарила Бога. Да, Бог наказывает ее, за то что она слишком любит. Но зачем же именно тогда, когда она была так счастлива? Зачем? За что?

Следующие три дня, от 11 до 13 ноября все было по-прежнему; опять ни хуже, ни лучше, или то хуже, то лучше. Болезнь играла с ним, как кошка с мышью. Все еще утром вставал, одевался, но уже ходил с трудом и бо́льшую часть дня лежал на диване. Видимо, слабел. Жар не прекращался. Лихорадка из перемежающейся сделалась непрерывной. *О febris gastrica biliosa* доктора уже не говорили, боялись горячки; особенно пугала их сонливость больного; не позволяли ему много спать, будили.

— Не будите меня, дайте поспать,— просил он жалобно.— Оставьте меня в покое, ради Бога, оставьте! Мне нужно только спокойствие. И мне так хорошо, спокойно...

И опять засыпал.

«А ведь это смерть? — подумал однажды.— Ну, что ж, смерть так смерть, и слава Богу!»

Страха не было, а было разрешение, освобождение последнее; была надежда бесконечная, тот зов таинственный, который слышался ему когда-то в кликах журавлиных и в падении кометы стремительном.

В одну из редких минут полного сознания позвал Дибича и спросил:

— Послан ли курьер за Голицыным?

— Точно так, ваше величество,— ответил Дибич и хотел еще что-то сказать, но государь был так плох, что он вышел, ничего не сказав.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром, в субботу, 14 ноября, в обычный час, в половине седьмого, государь встал, оделся, перешел из кабинета в уборную с помощью Егорыча, потому что был

очень слаб, сел за маленький туалетный столик с круглым зеркалом и велел подать бриться. Егорыч подал теплой воды, тазик с мылом и бритвы. Государь начал бриться: руки у него тряслись от слабости; сделал порез на подбородке, увидел кровь, побледнел, пошатнулся, не удержался на стуле и свалился на пол. Столик опрокинулся, зеркало разбилось.

Егорыч, вышедший на минуту из комнаты, вбежал на грохот падения и, увидев государя, лежавшего на полу без чувств, бросился из уборной в кабинет, залу и дальше по всем комнатам.

— Помогите! Помогите! Государь кончается!

Весь дом всполошился. Люди закричали, забегали, заметались без толку.

Прибежал Виллие; увидев кровь на подбородке и шее государя, подумал, что он зарезался, и так перепугался, что сам едва не лишился чувств.

А государь все еще лежал на полу, и никто ничего не делал, только ахали да охали. Анисимов крестился и всхлипывал. Императрицын лейб-медик, старичок Штофреген, старался откупорить склянку с одеколоном, но все не мог. Волконский, в одном белье, в шлафроке, стоя в дверях и остолбенев от ужаса, загораживал вход. Государыня, вбегая в комнату, должна была оттолкнуть его. Полураздетая, в сбившемся ночном чепчике, только что вскочила она с постели. Взглянув на государя, подумала, что он умирает, но не потерялась, как все: лицо ее сделалось вдруг спокойным и решительным. Велела поднять его и перенести в спальню.

Перенесли и уложили на узкую походную кровать, на которой он всегда спал. Когда Виллие стер мыло с подбородка и увидел, что кровь сочится из ничтожной царапины, сделанной бритвою, то успокоился и успокоил государыню, что это простой обморок от слабости. В самом деле, государь скоро очнулся.

— Что это было, Lise?

— Ничего, мой друг, вам сделалось дурно, и мы перенесли вас на постель.

— Напугал я вас? Какие глупости... Зачем?..— говорил он, видимо еще не совсем понимая, что говорит.— А где же он?..

— Кто он?

Но государь ничего не ответил и оглянулся, как будто только теперь пришел в себя.

— Ступайте же, ступайте все! Скажите им, Lise, чтоб ушли. Никого не надо. Я хочу спать...

Закрыл глаза и впал в забытье. Оно продолжалось весь день. Был сильный жар. Тяжело дышал, стонал и метался, жаловался на головную боль, особенно в левом виске. Кожа на затылке и за ушами покраснела; лицо подергивала судорога; глотал с трудом.

Доктора опасались воспаления мозга; предложили поставить за уши пиявки, но он и слышать не хотел, кричал:

— Оставьте, оставьте, не мучьте меня, ради Бога!

В тот же день ночью, в приемной зале, рядом с кабинетом, доктора совещались в присутствии государыни и князя Волконского.

— Он в таком положении, что сам не понимает, что говорит и что делает. Надо употребить силу, иного средства нет,— говорил Виллие.

— Есть еще одно,— возразил Волконский.

— Какое же?

— Предложить его величеству причаститься, наставя духовника, дабы старался увещевать его к принятию лекарств.

Все замолчали, ожидая, что скажет государыня.

— Вы думаете, Виллие?— начала она и не кончила.

— Да, если бы, ваше величество...

— Сейчас?

— Чем скорее, тем лучше.

Лицо ее сделалось таким же спокойным и решительным, как давеча. Перекрестилась, вошла в комнату больного и села к нему на постель. Он посмотрел на нее внимательно.

— Что вы, Lise?

— У меня к вам просьба,— заговорила она по-французски:— так как вы отказались от всех лекарств, то, может быть, согласитесь на то, что я вам предложу?

— Что же?

— Причаститься.

Он знал, что умирает, а все же удивился.

— Разве я так плох?

— Нет, мой друг,— ответила она, и лицо ее сделалось еще спокойнее:— но всякий христианин употребляет это средство в болезнях...

— Позовите Виллие,— сказал государь.

Виллие вошел.

— Разве я так болен, что причаститься надо? Говори правду, не бойся.

— Не могу скрыть от вашего величества, что вы находитесь в опасном положении...

— Хорошо, позовите священника.

Послали за соборным протоиереем, о. Алексеем Федотовым, тем самым, что на именинной кулебяке у городничего Дунаева предсказывал: «Будет вам всем шиш под нос!»

Отец Алексей любил выпить, и в эту ночь, после четырех купеческих свадеб в городе, был пьян. Когда пришли за ним из дворца, мать-протопопица долго не могла его добудиться; когда же, наконец, он очнулся и понял, куда и зачем его зовут, то испугался так, что руки, ноги затряслись: «кондрашка едва не хватил»,— рассказывал впоследствии. Вылив себе ушат холодной воды на голову, кое-как оправился и поехал во дворец.

В это время у больного сделался пот с такой изнуряющей слабостью, что доктора сочли нужным подождать с причастием.

В пять часов утра он спросил:

— Где же священник?

Отца Алексея ввели в комнату.

— Поступайте со мною, как с христианином, забудьте мое величество,— сказал ему государь то, что говорил всем духовникам своим.

Началась исповедь.

Сколько раз думал он об этой минуте и хотел представить себе, что будет чувствовать, когда наступит она, но вот наступила, и ничего не почувствовал. Говорил о самом стыдном, страшном, тайном в жизни своей и, глядя на седую, почтенную бороду о. Алексея, замечал, как она гладко, волосок к волоску, расчесана; смот-

рел на жиром заплывшие, всегда веселые и плутоватые, а теперь испуганные глазки его и думал: «Нет, не забудет он мое величество»; заметил также, что петельки на темно-лиловой шелковой рясе его неровно застегнуты, должно быть, второпях: самый верхний крючок остался без петельки; смотрел на красно-сизые жилки на носу его и думал: «Должно быть, пьет». И вдруг опомнился: «Что это, что это я, Господи! в такую минуту!..» Хотел ужаснуться, но ужаса не было,— ничего не было, кроме скуки и желания поскорее отделаться.

Когда исповедь кончилась, все вошли в комнату, и государь причастился.

Подходили, поздравляли его. И, глядя на торжественные лица, он чувствовал, что надо сказать что-то, чтоб соблюсти приличие. Оглянулся, нашел глазами государыню и произнес внятно, раздельно, нарочно по-русски, чтобы все поняли.

— Я никогда не был в таком утешительном положении, как теперь. Благодарю вас, мой друг!

«Ну, кажется, все? — подумал.— Нет, еще что-то?»

Отец Алексей опустился на колени, держа в одной руке крест, в другой — чашу. Государь посмотрел на него с недоумением.

— Что еще? Что такое? Встаньте же, встаньте! Разве можно на коленях с чашею?..

Коленопреклонение перед ним священников всегда казалось ему кощунственным. Сколько раз приказывал, чтоб этого не было,— и вот опять, в такую минуту.

— Вы уврачевали душу, государь; от лица всей церкви и всего народа молю вас: уврачуйте же и тело,— говорил о. Алексей, видимо, слова заученные.

— Встаньте, встаньте,— повторял государь с отвращением.

Но отец Алексей не вставал.

— Не отказывайтесь от помощи медиков, ваше величество, извольте пиявки...

— Не надо, не надо, оставьте!— начал государь и не кончил, махнул рукою с бесконечною скукою:— ну хорошо, делайте, что знаете...

Духовник отошел, и врачи приступили. Поставили 35 пиявок к затылку и за уши; к рукам и к бедрам — горчичники; холодные примочки на голову; поставили также клистир и начали давать лекарства внутрь. Возились часа два. Он уже ничему не противился. Когда кончили, так ослабел, что впал в забытье, похожее на обморок.

Поздно ночью дежурный лекарь Тарасов вышел посоветоваться о чем-то с Виллие; в комнате больного никого не было, кроме Анисимова. Государь очнулся и велел Егорычу снять горчичники.

— Доктора не велят, ваше величество! Потерпите...

— Сам потерпи! — крикнул государь и начал срывать горчичники.

Егорыч помог ему; он опять забылся; потом вдруг открыл глаза и заговорил изменившимся голосом:

— Егорыч, а Егорыч, где же *он*?

— Кого изволите, ваше величество?

— Кузьмич, Федор Кузьмич, будто не знаешь? — шептал государь быстрым, слабым шепотом: — На базаре тут старичок один, странничек; по большим дорогам ходит, на построение церквей собирает, — Федор Кузьмич... Сходи, узнай. Да поскорей, поскорей, а то поздно будет. Поговорить с ним надо, Егорыч, голубчик, ради Бога! Только чтоб никто не знал, слышишь? Сохрани Боже, Дибич узнает — плетьми запорет, скажет: бродяга беспаспортный...

Егорыч бледнел и крестился; понимал, что он бредит; но казалось, что это неспроста и что не все в этом бреду бред.

— Ну чего ты? Чего боишься? — продолжал государь. — Сказано: человек Божий. Куда лучше нас с тобой. Вот бы кого на царство-то! Помазанник Божий, воистину... Да нет, не пойдет, что ему? Он и без царства царь. Нищий, да царь. Ну как этакого-то плетьми? Царя-то плетьми! Все равно, что меня бы... Ведь и лицом похож на меня. Не так, чтобы очень, а сходство есть. Белобрысенький, лысенький, голубенькие глазки, совсем как у теленочка, как у меня самого в зеркале... В зеркале-то давеча, как брился да со стула упал, я ведь его увидел, ты что думаешь? — его, его, Федора

Кузьмича, право! Только ты, брат, никому не говори, я тебе по секрету...

— Ваше величество! Ваше величество!— лепетал Егорыч в ужасе.

Государь хотел еще что-то сказать, приподнялся, но упал на подушки и закрыл глаза в изнеможении; потом опять раскрыл их и посмотрел на Егорыча, как будто с удивлением.

— Ну, что, что такое? Что ты на меня так смотришь? Что я сейчас говорил?..

— Не могу знать, ваше величество! О Федоре Кузьмиче...

— Вздор! А ты зачем слушаешь? Дурак! Ступай вон, позови Тарасова.

Всю ночь бредил, стонал и метался. Спрашивал о Софье, как о живой, и о князе Валерьяне Михайловиче Голицыне,— скоро ли приедет?

К утру сделалось так худо, что думали,— кончается. Четвертый день не принимал пищи,— все время тошнило,— только съедал иногда ложечку лимонного мороженого; почти не говорил, но когда подходила к нему государыня, улыбался ей молча, брал ее руку в свои, целовал, клал себе на голову или на сердце.

— Устали? Отчего не гуляете?— сказал однажды в два часа ночи: должно быть, дни и ночи для него уже спутались.

Иногда складывал руки и молился шепотом.

Утром, во вторник, 17 ноября, доктора ставили ему на затылок мушку. Он кричал; потом уже не мог кричать и только стонал однообразным, бесконечным стоном:

— Ох-ох-ох-ох!

Государыня не узнавала голоса его: что-то было в этом стоне ужасное, похожее на вой собаки. Заткнула уши, бросилась вон из комнаты. Но и сквозь стены слышала. Выбежала в сад.

Было ясное утро; лучезарное солнце, голубое небо, голубое море с белым парусом; тишина, прозрачность и звонкость хрустальная. Она смотрела на все с удивлением. Между этим ясным утром и тем воющим, лающим стоном противоречие было нестерпи-

мое. Подняла глаза к небу, вспомнила: «*просите и дастся вам*».— «Ну, вот прошу, прошу, прошу! Сделай, сделай, сделай!»— как будто не молилась, а приказывала.

Вернулась в комнаты. Стон затих. В приемной Виллие говорил что-то дежурным лекарям, Тарасову и Добберту. Подошла и прислушалась:

— Кажется, мушка действует; смотрите же, чтоб не сорвал, как намедни горчичники. А если надо будет, в крайнем случае...

Кончил шепотом. Она не расслышала, но поняла. «Руки ему свяжут, что ли, как сумасшедшему? Нет, нет, лучше я сама»...

Вошла в кабинет. Лицо у него было как у ребенка, которого обидели, и который только что перестал плакать. Узнал ее и как всегда улыбнулся ей.

— Est-ce que cela ne vous fatiquera pas, chère amie? [1]

Шторы на окнах были спущены. Он взглянул на них и сказал:

— Подымите шторы.

Подняли. Солнце залило комнату.

— Какая погода!— сказал он громко, внятно, почти обыкновенным своим голосом.

Хотел поднять руку к затылку. Она удержала ее.

— Что это?— спросил он.— Отчего так больно?

— Вам поставили мушку, чтоб кровь оттянуть.

Опять поднял руку, она опять удержала,— и так много раз. Умоляла, ласкала, боролась; и в этом нежном насилии было что-то давнее-давнее, напоминавшее первые ласки любви:

Амуру вздумалось Психею,
Резвяся, поймать...

Увидел Егорыча и тоже улыбнулся ему:

— Что, брат, устал? Поди, отдохни.

— Ничего, ваше величество, только бы вам полегче...

— Мне лучше, разве не видишь?

— Слава тебе, Господи!— перекрестился Егорыч.— Выбаливается, здоров будет!— шепнул он государыне с такою верою, что и она вдруг поверила.

---

[1] Вас это не утомит, мой друг? (*франц.*).

«Сделай, сделай, сделай!»— молилась и уже знала, что сделал,— чудо совершилось.

«Дорогая матушка,— писала в тот день императрице Марии Федоровне,— сегодня, да будет воздано за то тысячи благодарностей Всевышнему,— наступило улучшение явиое. О Боже мой, какие минуты я пережила! Могу себе представить и ваше беспокойство. Вы получаете бюллетень; следовательно, должны знать, что было с нами вчера и еще сегодня ночью. Но нынче сам Виллие говорит, что состояние больного удовлетворительно. Я едва помню себя и больше ничего не могу вам сказать. Молитесь с нами»...

В 5 часов вечера сидела у него на постели и держала руку его в своей; рука его опять пылала: жар усилился. Он забывался и говорил с трудом:

— Ne pourrait-on pas, dites moi um peu...[1]— начинал и не кончал; потом — по-русски:— Дайте мне...

Пробовали давать чаю, лимонаду, мороженого, но по глазам его видели, что все не то. Наконец подозвал Волконского.

— Сделай мне...

— Что прикажете сделать, ваше величество?

Государь посмотрел на него и сказал:

— Полосканье.

Волконский начал делать, хотя знал, что государю уже нельзя полоскать рта от слабости. Он, впрочем, опять забылся.

Еще несколько раз начинал:

— Ne pourrait-on pas?.. Il faudrait...[2]

Наконец прибавил чуть слышно:

— Renvoyer tout le monde.[3]

Но никого не было в комнате, кроме государыни и Волконского, который стоял в углу, так что больной не мог его видеть.

— О, пожалуйста, пожалуйста!..— повторял он с мольбою, как будто не хотели сделать того, о чем он просил.

---

[1] Не могут ли, скажите мне... (*франц.*).
[2] Не могут ли?.. Надо... (*франц.*)
[3] Удалите всех (*франц.*).

И вдруг опять, как давеча, внятно, громко, почти обыкновенным своим голосом:

— Я хочу спать.

Это были последние слова его, которые она слышала.

Он лежал высоко на подушках, почти сидел; когда сказал: «я хочу спать»,— опустил голову и закрыл глаза, попробовал сложить руки, как для молитвы, но уже не мог: руки упали на одеяло, бессильные. Улыбнулся, как тогда, в начале болезни, когда она еще не понимала, что значит эта улыбка,— теперь поняла. Лицо тихое, светлое и такое прекрасное, каким она никогда не видела его. «Ангел, которого мучают,— подумала.— И как я сделаю, чтоб его еще больше любить, когда...» Хотела подумать: «когда он будет здоров»,— и вдруг поняла, только теперь, за всю болезнь, в первый раз поняла, что не будет здоров, что это — смерть.

Он открыл глаза и посмотрел на нее. Она увидела, что он хочет ей что-то сказать, и наклонилась.

— Не страшно, Lise, не страшно...— прошептал так тихо, что она не расслышала: хотел сказать: «не страшно впасть в руки Бога живаго», но, взглянув на нее, понял, что говорить не надо,— она уже знает все.

В это время в приемной Волконский шептался с Дибичем.

— Положение мое, князь, весьма затруднительно: мне, как начальнику штаба, необходимо знать, к кому относиться в случае кончины его величества,— говорил Дибич.

— Я полагаю, к государю наследнику, Константину Павловичу,— ответил Волконский.

Об отречении Константина оба ничего не знали, но и у них, как у всех, при этом имени, мелькало сомнение.

— Да, к Константину Павловичу,— продолжал Дибич:— однако, последняя воля его величества нам неизвестна.

— О чем же вы раньше думали?— проговорил Волконский с нетерпением.

— Позвольте вам напомнить, князь, что я неоднократно о сем имел честь докладывать вашему сиятельству,— возразил Дибич тоже с нетерпением.

— Отчего же мне докладывали, а сами не делали?

— Я полагал, что неприлично...

— И хотели, чтобы я за вас неприличие сделал?

Стояли друг против друга, как два петуха, готовые к бою. Волконский смотрел на него свысока, потому что иначе не мог: голова Дибича приходилась едва по плечо собеседнику; карапузик маленький, толстенький, с большой головой и кривыми ножками; когда маршировал в строю, должен был бегать вприпрыжку; движения кособокие, неуклюжие, ползучие, как у краба; вид заспанный, неряшливый; на сюртуке вечно какой-нибудь пух или перышко; рыжие волосы взъерошены; лицо налитое, красное: уверяли, будто бы пьет. Но наружность его была обманчива: неутомимо-деятелен, горяч, кипуч, вспыльчив до самозабвения (недаром впоследствии, в турецком походе, солдаты прозвали его: «самовар-паша») и, вместе с тем, хладнокровен, тонок, умен, проницателен. Государю потакал во всем, а тот почти боялся его. «Дибичу пальца в рот не клади»,— говаривал.

Дибич и Волконский друг друга ненавидели. Один — русский князь, вельможа с головы до ног; другой — прощелыга, выскочка, сын бедного капрала из Прусской Силезии, пришедший в Россию чуть не пешком, с котомкой за плечами. Дибич называл князя «старой калошей», а тот его — «Аракчеевской тварью, порождением ехидниным». Но как ни презирал он Дибича, а втайне чувствовал, что не ему, русскому князю, а этому немецкому выскочке принадлежит будущее.

— Чего же вы от меня желаете, ваше превосходительство?— проговорил, наконец, Волконский, едва сдерживаясь.

— Не будете ли так добры, князь, доложить ее величеству?

— Ну, нет, слуга покорный! Сами извольте докладывать...

Стальные глазки Дибича сверкнули злобою, лицо вспыхнуло, «самовар» закипел.

— Воля ваша, князь, но если что случится,— не моя вина. Обращаясь к вашему сиятельству, я полагал, что в такую минуту следует оставить всякие лич-

ности, памятуя токмо о долге службы перед царем и отечеством. Но видно ошибся... Честь имею кланяться!

— Погодите,— остановил его Волконский,— хотите, сделаем так: вместе войдем, и вы при мне доложите ее величеству?

Дибич согласился. Вошли в кабинет. Больной лежал в забытьи. Государыня стояла на коленях, опустив голову на край постели и закрыв лицо руками. Когда вошли, обернулась и встала: по лицам их увидела, что хотят ей что-то сказать, и подошла к ним.

Дибич заговорил, но она долго не могла понять.

— Бог один может помочь и спасти государя; однако же, спокойствие и безопасность России требуют, чтобы, на всякий случай, приняты были надлежащие меры. Прошу ваше величество сказать мне, к кому, в случае несчастья, должно будет относиться?..

Поняла, наконец, и почувствовала такое оскорбление, что хотелось закричать, затопать ногами, выгнать, вытолкать его из комнаты: казалось, что он снимает с государя мерку гроба заживо.

— Разумеется, к наследнику Константину Павловичу,— проговорила, едва сознавая, что говорит, только бы от него отделаться. При имени Константина ей что-то смутно вспомнилось, но не могла теперь думать об этом.

— Слушаю-с, ваше величество,— сказал Дибич и хотел еще что-то прибавить, но она остановила его:

— Прошу вас, оставьте меня...

И отошла к постели больного. А Дибич все еще стоял, как будто ждал чего-то; смотрел на государя, и ему казалось, что тот на него тоже смотрит. «Не спросить ли?»— подумал, но махнул рукою и вышел из комнаты.

Пятую ночь никто во дворце не ложился. Виллие был болен от усталости; Волконскому несколько раз делалось дурно; Егорыч едва на ногах держался. Одна государыня казалась бодрою; всегда больная, слабая, теперь была сильнее всех.

В окнах светлело, в окнах темнело; огни зажигались, огни потухали,— но для нее уже не было времени.

Больной всегда чувствовал ее присутствие; говорить уже не мог, только шевелил губами беззвучно, и она тотчас понимала, чего он хочет: клала ему руку на сердце, на голову и целыми часами держала так. Однажды почувствовала на щеке своей два слабых движения губ: то был его последний поцелуй.

В другой раз, увидев Волконского, он улыбнулся ему; а когда тот стал целовать ему руки,— сделал знак глазами: не надо целовать руки.

С минуты на минуту ждали конца. 18 ноября, в среду утром, начались опять судороги в лице. Дышал так тяжело и хрипло, что слышно было из соседней комнаты. Лицо помертвело, кончик носа заострился, глаза ввалились и заткались паутиною смертною. Думали — конец. Позвали священника читать отходную. Но судороги мало-помалу затихли. Часы пробили 9. Он перевел на них глаза, и взор был полон жизни; потом взглянул на дежурного гоф-медика Добберта, которого не привык видеть у себя в комнате, и долго смотрел на него с удивлением, как будто хотел спросить, зачем он здесь.

И вдруг опять начали надеяться. Чтобы не умер от истощения, так как давно уже глотать не мог,— поставили два клистира из бульона, сваренного на смоленской крупе.

Но недолго надеялись: в тот же день, около полуночи, началась агония.

Государыня держала голову его в руках своих, иногда мочила пальцы в холодной воде и проводила ими внутри воспаленных губ его, чтоб освежить их. Он сосал пальцы ее, и она улыбалась ему, как мать ребенку, которого кормят.

Агония длилась всю ночь до утра. Утро в четверг, 19-го ноября, было пасмурное. Во всех церквах служились молебны об исцелении государя. На площади перед дворцом толпился народ.

Умирающий был в полном сознании; часто открывал глаза и смотрел то на распятие в золотом медальоне, висевшее на стене, благословение отца, то на государыню. Дыхание становилось все реже и реже, и с каждым разом слабее, короче; несколько раз совсем останавли-

валось и потом опять начиналось; наконец в последний раз вдохнул в себя воздух и уже не выдохнул.

Виллие пощупал пульс и молча взглянул на государыню. Она перекрестилась. Было 10 ч. 47 м. утра.

Все плакали, не плакала одна государыня. Опустилась на колени, поклонилась в ноги усопшему, встала, закрыла ему глаза и долго держала пальцы на веках, чтоб не открылись; сложила носовой платок тщательно, подвязала покойнику нижнюю челюсть, перекрестила его и поцеловала в лоб, как всегда делала на ночь; еще раз поклонилась в ноги, вышла из комнаты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, благочестивейшего государя императора Александра Первого всея России!— слышалось надгробное пение, и никто не удивлялся, что царя называют рабом.

Обмытый, убранный, в чистом белье и белом шлафроке, он лежал там же, где умер, в кабинете-спальне, на узкой железной походной кровати. В головах икона Спасителя, в ногах — аналой с Евангелием. Четыре свечи горели дневным тусклым пламенем, как тогда, месяц назад, когда он читал записку о Тайном Обществе. В лучах солнца (погода разгулялась) струились голубые волны ладана.

Нижняя челюсть покойника все еще была подвязана, чтоб рот не раскрывался; узелок затянут тщательно, и на макушке торчали два белых кончика. Лицо помолодело, похорошело, и такое выражение было в нем, как будто он сделал то, что надо было сделать, и теперь ему хорошо,— «все хорошо на веки веков».

На первой панихиде присутствовала государыня; все еще не плакала; лицо ее было так же спокойно, как лицо усопшего.

На другой день, 20 ноября, в пятницу, в семь часов вечера, в присутствии начальника штаба, генерала Дибича, генерал-адъютанта Чернышева и девяти докторов, в том числе Виллие, Штофрегена и Тарасова, произведено было вскрытие тела.

Доктора нашли, что мозг почернел с левой стороны,

именно там, где государь жаловался на боль. В протоколе было сказано: «по отделении пилою верхней части черепа из затылочной стороны вытекло два унца венозной крови, а при извлечении мозга из полости онаго найдено прозрачной сукровицы (serositas) до двух унцов. Сие анатомическое исследование очевидно доказывает, что августейший наш монарх был одержим острою болезнью, коею первоначально поражена была печень и прочие к отделению желчи служащие органы; болезнь сия, в продолжении своем, постепенно перешла в жестокую горячку с воспалением мозга и была, наконец, причиною смерти его императорского величества».

Чтобы тело перевезти в Петербург, почти за две тысячи верст, надо было набальзамировать его. Дибич поручил бальзамированье лейб-хирургу Тарасову, когда же тот отказался «из сыновнего чувства и благоговения к покойному императору», то — гоф-медикам Рейнгольду и Добберту.

Тотчас по вскрытии, тут же, в кабинете государя, приступили к делу: велено было кончить в ту же ночь до утра.

Во втором часу ночи Дибич отправил своего адъютанта, молоденького штабного офицера, Николая Ивановича Шенига, во дворец, чтобы узнать, как идет бальзамированье.

Шениг не нашел во дворце никого, кроме стоявшего на часах у входа казачьего офицера. На время бальзамированья и установки катафалка государыня выехала в соседний дом Шихматова.

Пройдя по пустынным и темным комнатам, Шениг подошел к двери кабинета, дверь была заперта; постучался; изнутри окликнули, опросили и, наконец, отперли.

Когда он вошел, на него пахнуло удушливым запахом лекарств, ароматических трав, уксуса, спирта и еще чем-то тяжелым — только потом понял он, что это трупный запах. Посередине комнаты стоял большой кухонный стол; вокруг него толпились люди в запачканных фартуках; что-то длинное, белое лежало на столе. Он знал, что, но не хотел вглядываться; зажмурив глаза, стараясь не дышать носом, подошел к гоф-

медикам, Рейнгольду и Добберту. Они сидели у пылавшего камина и варили что-то на огне в двух котелках, иногда снимая пену и помешивая варево оловянными ложками. Курили сигары. Рейнгольд — худой, длинный, Добберт — низенький, толстенький; освещенные красным пламенем, похожи были на двух колдунов, которые варят волшебное снадобье.

— Честь имею явиться от его превосходительства, генерала Дибича, дабы узнать, в каком положении находится тело покойного государя императора,— отрапортовал Шениг.

Рейнгольд ничего не ответил и продолжал мешать в котелке, а Добберт вынул изо рта сигару, держа ее между двумя пальцами, большим и безымянным,— руки у него были запачканы,— и посмотрел из-под очков брюзгливо.

— В каком положении тело? А вот взглянуть не угодно ли,— кивнул на стол, где лежало то белое, длинное.

Шениг делал вид, что смотрит, но опять невольно зажмурил глаза и потупился.

— Говорите по-немецки?

— Говорю.

— Ну, так вот, господин офицер, генерал Дибич требует, чтобы мы кончили все в одну ночь — раз, два, три — по-военному. Но это невозможно, это против всех правил науки. Бальзамирование — дело трудное: для того, чтобы произвести его, как следует, должно погрузить все тело в спирт на несколько суток, а мы для сего и спирта не имеем в потребном количестве: скверной русской водки сколько угодно, а хорошего спирта нет, не говоря уже о прочих специях. Тут ничего достать нельзя, даже чистых простынь и полотенец. Во дворце — ни души: все разбежались. Давно ли трепетали одного взгляда его, а только что закрыл глаза,— покинули его...

— Русские свиньи!— процедил сквозь зубы Рейнгольд и засосал, зажевал свой вонючий окурок.

— Я доложу обо всем его превосходительству немедленно,— проговорил Шениг и хотел раскланяться: его все больше мутило от запаха.

— Нет, погодите, извольте сами взглянуть.

Добберт взял Шенига под руку, подвел к столу, и он должен был увидеть то, чего не хотел видеть: бесстыдно оголенное тело покойника. Хотя выражение лица очень изменилось, когда, при наложении отпиленной верхней части черепа на нижнюю, натягивали кожу с волосами, он тотчас же узнал его,— узнал, но не поверил, что это он.

С таким ученым видом, как будто читал лекцию, Добберт объяснял, как производится бальзамирование. По вскрытии вынули мозг, сердце и прочие внутренности и уложили в серебряный круглый ящик, похожий на обыкновенную жестянку из-под сахара, с крышкой и замком, почему-то называвшийся *кивотом*. Добберт тут же запер ящик и отдал ключ Шенигу для передачи генералу Дибичу.

— Ключик от сердца его величества,— пошутил он и спохватился, насупился, продолжал лекцию.

По удалении внутренностей, вырезали мясистые части и начали набивать образовавшиеся полости бальзамическими травами, тщательно разваренными (их-то и варил в котелке Рейнгольд с Доббертом), и забинтовывать широкими полотняными тесьмами, наподобие свивальников.

Фельдшера, возившиеся над телом, остановились на минуту, когда подошли к столу Добберт с Шенигом.

— Ну, живо, живо, господа!— прикрикнул на них Добберт.— Эй, Васильев, крепче стягивай, аккуратнее: две тысячи верст не шутка для покойника!

Фельдшера опять принялись за работу, начали бинтовать, как будто пеленать покойника.

— А посмотрите-ка, какое тело прекрасное,— сказал Добберт.

— Да, здоров был покойник,— заметил Рейнгольд, тоже подойдя к столу:— сложение атлетическое; если бы не эта глупая горячка, еще сорок лет прожил бы.

— Никогда я не видывал человека, лучше сотворенного,— продолжал Добберт:— руки, ноги, все части могли бы служить образцом для ваятеля. А кожа-то, кожа,— как у молодой девушки.

Шениг тоже смотрел, и страх его исчезал: нет, не страшно это голое, чистое мертвое тело,— живые люди в их грязных одеждах, с их беспокойными лицами — страшнее.

Когда перевертывали тело, рука покойника, упав со стола, бессильно свесилась. Шениг взглянул на нее, и вспомнилось ему, как однажды, на военном смотру, государь скакал перед фронтом, и когда тридцатитысячная громада войск кричала «ура!» — он, здороваясь, поднял руку к шляпе со своей прелестной улыбкой. О, как Шениг любил его тогда и как хотелось ему, чтобы эта рука одним мановением послала их всех на смерть! И вот теперь сама она — мертвая.

Слезы подступили к горлу его; он поскорей распрощался и вышел из комнаты.

В темных сенях зашел за угол, закрыл лицо руками и заплакал. Плакал не от горя, не от жалости, а от умиления, от восторга, от влюбленной нежности.

Обряда царских похорон никто из придворных не знал. К счастью, в бумагах покойного нашли церемониал погребения императрицы Екатерины II, взятый государем по секрету, перед отъездом в Таганрог, из церемонийместерского департамента. Думал ли он, что государыне живой не вернуться, или свою собственную смерть предчувствовал?

Большую приемную залу, рядом с кабинетом, обили черным сукном, воздвигли высокий, со ступенями, в виде трона, катафалк и поставили на нем гроб. Первый, внутренний — свинцовый; за неимением свинца в достаточном количестве сделали гроб из домовой крыши, купленной покойным для ремонта дворца: кровля дома послужила домовиной вечною; второй, внешний гроб — дубовый, обитый золотою парчою. С орлами двуглавыми.

Тело, по окончании бальзамирования, одели в парадный общий генеральский мундир, с андреевской звездой и прочими орденами в петлице, только без ленты и шпаги, с царскою порфирою на плечах и с золотою короною на голове,— положили в гроб и покрыли кисеею.

Днем и ночью дежурили у гроба донского лейб-гвардии казачьего полка один генерал, один штаб-офи-

цер и два обер-офицера, с обнаженными шпагами. Священники все время читали Евангелие. Екатеринославский архиерей с греческим архимандритом из монастыря Варвация и с прочим духовенством служили панихиды соборне, два раза в день, утром и вечером.

После каждой панихиды гофмаршал князь Волконский уводил из залы всех, кроме священника и двух караульных офицеров, которым велено было стоять, не шевелясь и не подымая глаз. В залу входила государыня вся в черных плерезах и с длинною черною вуалью на лице, неслышно, как тень, подымалась на ступени катафалка, молилась и целовала тело сквозь кисею гробовую. За несколько дней похудела и осунулась так, что живое над гробом лицо казалось мертвее мертвого.

В эти дни писала она матери своей, герцогине Баденской:

«Пишу вам только для того, чтобы сказать, что я жива. Но не могу выразить того, что чувствую. Я иногда боюсь, что вера моя в Бога не устоит. Ничего не вижу пред собою, ничего не понимаю, не знаю, не во сне ли я. Я буду с ним, пока он здесь; когда его увезут, уеду за ним, не знаю, когда и куда. Не очень беспокойтесь обо мне, я здорова. Но если бы Господь сжалился надо мною и взял меня к Себе, это не слишком огорчило бы вас, маменька, милая? Знаю, что я не за него, я за себя страдаю; знаю, что ему хорошо теперь, но это не помогает, ничего не помогает. Я прошу у Бога помощи, но, должно быть, не умею просить...»

Когда из дома Шихматова вернулась она во дворец, такая тоска напала на нее, что, казалось, не вынесет, сойдет с ума. Ходила по комнатам, так же как тогда, с ним, по приезде своем в Таганрог: «Вам нравится, Lise, в самом деле, нравится? Я ведь все это сам устраивал и так боялся, что вам не понравится»... Вот ее любимый царскосельский диван, на котором они тогда сидели вместе: «Ну, вот мы и вместе, Lise, теперь уже навсегда вместе!» А вот и он, он, пастушок фарфоровый со сломанною ручкою,— столовые часики все тикают да тикают. Слушала их и вдруг забывала все; он жив, здоров; только что вышел из комнаты и сейчас

войдет; видела лицо его, слышала голос: «Хорошо ли вам, Lise? Все ли у вас есть? Не надо ли чего-нибудь еще?..»

— Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего!— доносилось надгробное пение, и ей казалось, что она спит и видит дурной сон,— вот-вот закричит и проснется.

И ночью, в постели, думала, глядя широко раскрытыми глазами в темноту: «Ну, вот опять, опять этот сон! Когда же, наконец, проснусь?..»

Как человек, у которого отняли ногу, очнувшись, хватается за нее, и, увидев, что нет ноги, удивляется,— так она удивлялась; и от этого удивления сходила с ума. Но никогда не теряла сознания; напротив, чем сильнее боль, тем яснее сознание; чем яснее сознание, тем сильнее боль,— и этому нет конца. Вспоминала то, что писала в дневнике своем: «никогда не знаешь, как еще будешь страдать, как еще можно страдать и есть ли конец страданию...» Теперь знала, что нет конца.

Целовать мертвое тело, чувствуя холод на губах своих сквозь кисею гробовую,— вот все, что ей оставалось от любимого здесь, на земле, а что там, на небе,— об этом старалась не думать: знала по опыту, что это не помогает.

Иногда хотелось поднять кисею, чтоб увидеть лицо, но не смела: казалось, что ему, который при жизни так заботился о своей наружности, был таким щеголем, неприятно, чтоб видели, как он изменился, а что изменился, так что почти узнать нельзя,— это и сквозь кисею было видно. «Что с ним сделали? — думала,— не он! Не он!..»

Однажды, подойдя к гробу и почувствовав сквозь привычно-приторный запах спирта, уксуса, бальзамических трав еще какой-то другой,— долго не могла понять, что это,— и вдруг поняла; не потеряла сознания, не сошла с ума, но, казалось, что если бы могла сойти с ума,— было бы легче.

В тот же день сидела у себя одна в спальне, поздно вечером. Слушала, как ветер воет в трубе, стучит косым дождем в окна, как деревья сада шумят, и где-то рядом, должно быть, на крыше садовой беседки, флюгер, не-

истово под ветром вертящийся, скрипит, визжит и стонет ржавым железом: «comme une âme en peine (как душа в муках)»,— подумала и почему-то вспомнила тот давешний запах. И как тогда долго не могла понять, что значит этот запах, и вдруг поняла,— так и теперь долго слушала этот бесконечный стон железа, все не понимая,— и вдруг поняла.

— Сейчас! Сейчас! Сейчас!— как будто ответила на чей-то зов; заторопилась, подошла к столу, выдвинула ящик, вынула два ключа, сорвала с головы длинную черную вуаль, накинула старый платок Амальхен, тот самый, который назывался «милой тетушкой», взяла свечу, вышла из комнаты на цыпочках, остановилась, прислушалась,— все тихо, только за стеной слышится тонкий храп, должно быть, фрейлины Валуевой, и далеко гудит, как пчела, однообразный голос священника; пройдя еще несколько комнат, вошла в сени с отдельным, нарочно для нее устроенным ходом в сад; поставила свечу на подоконник, выбрала из висевшего на вешалке платья самую старую, облезлую шубенку одной из своих камер-медхен, надела ее, отперла дверь, вышла на крыльцо и сошла в сад. Неистовый ветер охватил ее и едва не свалил с ног; где-то очень близко, как будто над самым ухом ее, завизжало, заскрежетало ржавое железо флюгера. В темноте, оступаясь и натыкаясь на цветочные клумбы, кусты и стволы деревьев, добралась до забора, нащупала калитку, вставила ключ, отперла и уже хотела переступить порог, когда кто-то схватил ее за руку.

— Ваше величество! Ваше величество!— проговорил голос князя Петра Михайловича Волконского.

Ноги у нее подкосились; тихо вскрикнула и почти упала на руки его.

Когда опомнилась,— опять сидела у себя, одна, в спальне, как будто ничего не случилось. Волконского не было с нею: поспешил уйти; ничего не говорил, ни о чем не расспрашивал, когда вел ее, почти нес на руках домой. Неужели понял, куда и зачем она шла? Ну все равно: не сейчас, так потом, а это будет; только не здесь, не рядом с ним, лежащим в гробу, а где-нибудь подальше, чтоб никто не увидел, не помешал; хорошо

бы в такую ночь, как эта, или потом, когда наступит зима и начнутся вьюги,— идти, идти, без дорог, без следа, по голой степи, по снегу, пока не упадет и не замерзнет где-нибудь на дне оврага, под сугробом, так чтобы никто никогда не нашел, не узнал; или с кручи над морем — прямо вниз головой в волны прибоя... Да, все равно, когда и где, и как, но это будет,— что решила, то сделает; только об этом и не страшно думать, только это и спасает от того, что страшнее, чем безумие, чем смерть, чем его смерть,— от мысли, что все, во что она верила,— ложь, проклятая ложь, и что единственная правда в том давешнем запахе и в этом стоне, плаче, скрежете ржавого железа под бурею: «там будет плач и скрежет зубов», и *там*, как *здесь*,— вечная мука, вечная смерть...

Долго смотрела на пламя свечи невидящим взором, потом опустила взор и что-то увидела. На столе — книга старая, в потертом кожаном переплете, хорошо знакомая — французский перевод Библии.

Государь уже много лет никогда не расставался с нею, брал ее с собою всюду, в походы, в путешествия, и каждый день прочитывал одну главу из Ветхого и одну из Нового завета, по расписанию, составленному князем Александром Николаевичем Голицыным.

Вспомнила, что намедни Волконский обещал ей отыскать и принести эту книгу; должно быть, и приходил для этого давеча, несмотря на поздний час: спешил, думая, что ей хочется поскорей иметь ее.

Открыла книгу. Уголки страниц потемнели от перелистывания; на полях — отметки его рукою и кое-где строки подчеркнуты. Читала, не понимая и не думая о том, что читает.

«Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и услышавши оживут».

— Что это? Что это?— хотела и не могла вспомнить; закрыла глаза, прислушалась к дальнему, однообразно, как пчела, гудевшему голосу,— и вдруг вспомнила.

Он лежал тогда уже в гробу, но еще не в зале, на катафалке, а у себя в комнате; служили панихиду; был

ясный день, и лучи солнца падали прямо в окна, так же, как за два дня до смерти, когда, очнувшись, он взглянул на окно и сказал:

— Какая погода!

И она тогда, на панихиде, тоже в окно взглянула: «это для него такой праздник на небе!» — подумала и прислушалась к тому, что читает священник:

— «Аминь, аминь глаголю вам, яко грядет час и ныне есть, егда мертвии услышат глас Сына Божия и услышавше оживут».

И вдруг увидела, что стоит между гробом и крышкою гроба, прислоненной к стене: с ним и в гробу — в смерти, как в жизни. Обрадовалась, начала молиться, чтоб в день воскресения так же стоять, как сейчас. Молилась и знала, что молитва услышана: так будет.

«Так будет!» — хотела сказать и теперь, когда прочла эти подчеркнутые строки в книге, — но уже не могла, только спрашивала: «Будет ли, будет ли так?» Ответа не было, а все-таки ждала ответа и знала, что теперь уже не долго ждать.

С каждым днем доктора убеждались все более, что бальзамированье плохо удалось, и что тело разлагается. Неотлучно дежурили при нем один из двух гоф-медиков, Рейнгольд или Добберт, чтобы смачивать лицо покойника губкою, напитанной остропахучим уксусом; чаши, наподобие урн, с тем же составом стояли у гроба. Но это не помогало. Все окна и двери были заперты, и от горящих свечей жар в комнате доходил до 20 градусов. Тяжелые испарения бальзамической жидкости, смешанные с еще более тяжелым трупным запахом, наводили дурноту; даже мундиры караульных офицеров пропахли так, что потом недели три сохраняли запах.

Лицо покойника темнело, чернело и делалось неузнаваемым: сами доктора, глядя на эту страшную черную куклу в царской порфире и золотом венце, думали: «кто это?»

Однажды стоявший на карауле Шениг указал Доб-

берту, когда тот поднял кисею для примочки лица, что из-под воротника торчит кончик галстука. Долберт потянул, увидел, что это не галстук, а кожа, и в ужасе бросился к Виллие.

Думали, думали, и решили заморозить тело. В это время, после осенних бурь, сразу наступила зима. Открыли окна и двери настежь, поставили под гроб корыто со льдом и на стене повесили градусник, чтобы стужа была не менее 10 градусов. Только для панихид, вечерних и утренних, на которых присутствовала императрица, согревали комнату.

После смерти государя бедный Егорыч начал выпивать с горя. На выпивке сошлись они с о. Алексеем Федотовым. После каждой панихиды заходил он подкрепиться к Егорычу, в темный, рядом с бывшею государевой уборною, коридор-закуту, где всегда накрыт был столик. Выпивали, закусывали, поминая покойника, и вели беседу шепотом.

— Говорил я, будет вам шиш под нос!— начинал о. Алексей своим любимым изречением:— не верили мне, а вот на мое и выходит...

— Отчего же вы так полагаете, батюшка, и какой такой шиш под нос?

Отец Алексей отвечал не сразу: сперва выпивал рюмку перцовки, закусывал горячим блином поминальным, выпивал еще рюмку дуливки, вторым блином закусывал; прищуривал глаз, подмигивал и, наконец, шептал, наклоняясь к самому уху Егорыча:

— А во гробе кто лежит, ты как думаешь, а?

Егорыч, видимо, предчувствуя этот вопрос, начинал дрожать и бледнеть уже заранее.

— Ну, что это, право, отец Алексей, опять вы за свое! Кому же в гробе лежать, как не его величеству, ангелу нашему и благодетелю? Надрываете вы сердце мое, не жалеете меня, сироту...

— Нет, я тебя жалею, я тебя даже очень жалею, потому и говорю: смотри, говорю, кого хоронишь, того ли самого?..

— Как же не того? Как же не того? Отец Алексей, помилосердствуйте! Сами же исповедовать, причащать изволили...

— Ну, нет, ты это, брат, оставь, оставь, говорю, в это дело не путай меня. В ту ночь, как за мной из дворца-то пришли, я того... на третьем взводе был: у купца Вахрамеева на свадьбе здорово клюкнули. Ежели меня о чем спросят, я так и скажу: ничего, мол, не помню, знать не знаю, ведать не ведаю...

— Что вы говорите? Что вы говорите, отец Алексей?..

— Не я говорю, а поди-ка, послушай, что народ говорит; глас народа — глас Божий: в гробу-то не тело, кукла-вощанка лежит, аль беглый солдат из гошпителя здешнего острожного, а государь будто жив; извести его хотели изверги, а он убежал и неизвестно, где скрывается, ныне скрывается, а может быть, и явится некогда... О Кузьмиче-то, отце Федоре, слышал?

— О каком, о каком еще Федоре?..— начал Егорыч и онемел, раскрыл рот, вытаращил глаза от удивления, от ужаса: вдруг вспомнил предсмертный бред государя.— Господи, помилуй! Господи, помилуй! Матерь Царица Небесная!..— шептал, крестясь; ему казалось, что он сходит с ума.

— Ничего, брат, не робей: наше дело — сторона, только знай, помалкивай,— утешал его о. Алексей.— А ведь ловкую штуку удрали, а? «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего...» А где раб, где царь,— не поймешь. По Писанию, значит, из крепкого вышло сладкое, а может, и опять из сладкого выйдет крепкое да горькое... Вот тебе и фокус-покус! Вот тебе и шиш под нос!

На третий день по кончине государя в таганрогском Успенском соборе присягали государю наследнику, Константину Павловичу. В тот же день отправлен был к нему в Варшаву курьер с рапортом от начальника главного штаба, генерала Дибича. На пакетах надписано: «Его императорскому величеству, государю императору Константину Первому».

В Таганрог со дня на день ждали прибытия нового императора; особенно ждал Волконский.

«Я так ослабел, быв тринадцать дней и ночей без пищи и без сна, что едва шатаюсь,— писал он одному из своих петербургских приятелей.— Совершенно один,

в ужасной горести, занимаюсь учреждением печальной церемонии. За две тысячи верст от столицы, в углу империи, без малейших способов и с большою трудностью доставать самые необходимые вещи, по сему случаю нужные, за всякою безделицею принужден посылать во все стороны курьеров. Ежели бы меня здесь не было, не знаю, как бы сие пошло, ибо все прочие совершенно потеряли голову. С нетерпением ожидаю прибытия императора Константина Павловича, и не знаю, чем все это кончится».

В не меньшей тревоге был Виллие.

Однажды, осмотрев тело и выйдя из ледяной комнаты, грелись они с Волконским у камина в бывшем кабинете государевом.

— Довезем, Яков Васильевич, как вы полагаете?— спрашивал Волконский.

— Ежели морозы будут, довезем, пожалуй; ну, а ежели оттепель, то дело дрянь.

День был солнечный; белые цветы мороза на окнах чуть-чуть оттаяли. Виллие взглянул на них с досадою: все боялся, что начнется оттепель.

— Вот тоже гроб,— заговорил он опять:— едва втиснули покойника; извольте-ка упаковать на две тысячи верст. Того и гляди, свинец раздавит голову... Ну, можно ли делать гроба из домовых крыш?

— Ох, не говорите!— простонал Волконский.— Что-то будет, что-то будет, Господи!..

— Давно я хотел вам сказать, князь,— продолжал Виллие, помолчав:— тут по городу ходят слухи возмутительные.

— Какие слухи?

— Повторять гнусно...

— Это насчет куклы?

— Вы тоже слышали? Да, насчет куклы, и будто бы государь не своею смертью умер...

— Ах, мерзавцы!— воскликнул Волконский с негодованием.— Но что же с ними, дураками, делать?

— Как что? Схватить, в острог посадить, выпороть, особенно этого святого-то ихнего, как его? Федора... Федора Кузьмича, что ли?

— Да, пожалуй... А вы говорили Дибичу?

— Говорил.

— Ну, что же?

— Да вы сами знаете его. Дует свой пунш и ухом не ведет. «С меня,— говорит,— и так дела довольно: некогда мне заниматься бабьими сплетнями». Но посудите, князь: это чести моей касается и памяти моего благодетеля. Я этого так оставить не могу. Прошу ваше сиятельство, по прибытии государя наследника, доложить немедленно...

— Да, да, конечно... Только бы приехал! Только бы приехал!— простонал опять Волконский.

— А что, разве не скоро?

— Ничего не известно. Курьера за курьером шлю, и все ответа нет. Сегодня и Дибич с минуты на минуту ждет. Хотел быть здесь, да что-то не идет. Уж не послать ли за ним?.. А вот и он, легок на помине.

Открылась дверь из погребальной залы, и повеяло оттуда ледяною стужею, как будто замороженная мумия дохнула смертным холодом.

— Ну что, ваше превосходительство, какие новости?— поднялся Волконский навстречу Дибичу.

Тот ничего не ответил, подошел к столу, где всегда стояла для него бутылка рому, налил, выпил и тяжело опустился в кресло у камина. В движениях его, кособоких, ползучих, как у краба, который под камень прячется, в искаженном лице («вся рожа накосо»,— вспоминал впоследствии Волконский), в рыжих волосах взъерошенных и в бегающих глазках было что-то зловещее.

«Уж не пьян ли?»— подумал Волконский.

— Какие новости?— проговорил, наконец, Дибич сдавленным голосом и расстегнул воротник мундира, как будто задохся.— А вот какие: курьер из Варшавы вернулся ни с чем...

— Как ни с чем?

— А так, что поворот от ворот: депеш моих не распечатали и курьера не приняли, тотчас же ночью спровадили вон из города, запретив, чтобы с кем-нибудь виделся...

— Что вы говорите? Что вы говорите?— воскликнули вместе Виллие и Волконский.

— Не верите, господа? Я и сам не поверил. Да вот прочесть не угодно ли?

Дибич подал письмо. Волконский стал читать и побледнел.

— Что такое? Что такое, Господи?

Виллие тоже прочел, и лицо у него вытянулось.

Письмо было от великого князя Константина Павловича. Он сообщал, что, с соизволения покойного государя императора, уступил право свое на наследие младшему брату, великому князю Николаю Павловичу, в силу рескрипта его величества от 2 февраля 1822 года.

«Посему ни в какие распоряжения не могу войти, а получите вы оные из С.-Петербурга, от кого следует. Я же остаюсь на теперешнем месте моем и нового государя императора таким же, как вы, верноподданным. А засим желаю вам лучшего».

— Какой же рескрипт? — спросил Виллие, опомнившись.

— Не могу знать,— ответил Дибич.

— Государь ничего не говорил вам?

— Ничего.

— Но последняя воля?..

— Последняя воля его не известна.

— Как же перед смертью не вспомнил?

— Да вот не вспомнил,— должно быть, забыл.

— И вы забыли?

— Я? Нет, я не забыл, я имел честь докладывать его сиятельству неоднократно,— злобно посмотрел Дибич на Волконского. Но тот ничего не ответил: сидел, как в столбняке.

— Что такое? Что такое, Господи?..— шептал, точно бредил; вдруг вскочил, всплеснул руками и вскрикнул:— А присяга-то как же, присяга-то?..

— Ну, что ж. Вчера присягнули одному, завтра присягнем другому. С присягой, видно, не церемонятся,— усмехнулся Дибич, и лицо его еще больше перекосилось.— Только вот примет ли Николай Павлович корону, это ведь тоже еще не известно... Ну, а пока — междуцарствие. Государь умер, наследника нет, и не известно, чья Россия...

Дибич встал, подошел опять к столу, налил и поднял стакан:

— Честь имею поздравить, господа, с двумя государями... или ни с одним...

И выпил. Виллие хотел что-то сказать, но Дибич остановил его:

— Стойте, еще не все, это сюрприз — номер первый, а вот и номер второй. В бумагах покойного я нашел донос о политическом заговоре обширнейшем, распространенном в войсках по всей империи. Не сегодня-завтра начнется революция. Может быть, уже и началась где-нибудь, а мы тут сидим и не знаем...

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!— пролепетал Волконский и хотел еще что-то прибавить, но язык отнялся, голова закинулась, лицо помертвело: он лишился чувств.

— Э, черт! Этого еще недоставало,— проворчал Дибич.—Что с ним? Удар, что ли?

Когда Виллие смочил ему виски водою, развязал галстук и дал понюхать соли, Волконский очнулся, но размяк, раскис окончательно.

«Калоша старая!»— подумал Дибич с презрением.

Вдруг обе половинки двери из уборной с шумом распахнулись, высунулась голова Егорыча внезапно, как будто нечаянно, но тотчас же спряталась, и, шурша шелковой рясой, вошел в комнату о. Алексей, такой величавый, благообразный и торжественный, что никто не подумал бы, что он с пьяным лакеем у дверей подслушивал. Проходя мимо сидевших у камина трех собеседников, поклонился низко, почтительно. Не до него им было, но если бы вгляделись пристальней в лицо его, то увидели бы, что он усмехается в свою белую бороду такой язвительной усмешкой, как будто хочет сказать:

— Ну, вот вам и шиш под нос!

В тот же день и час выходил за таганрогскую заставу, по большому почтовому екатеринославскому тракту человек лет под пятьдесят, с котомкой за плечами, с посохом в руках и образком Спасителя на шее, белокурый, плешивый, голубоглазый, сутулый, рослый, бравый молодец, какие бывают из отставных сол-

дат; лицом на государя похож, «не так чтобы очень, а сходство есть», как сам покойный говорил Егорычу; бродяга бездомный, беспаспортный, родства не помнящий, один из тех нищих странников, что по большим дорогам ходят, на построение церквей собирают.

Имя его было Федор Кузьмич.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Похоронили?

— Похоронили.

— Как же это произошло, Голицын, расскажите?

— А вот как. Вы знаете, Пестель, что «Русскую Правду», вместе с прочими бумагами, взял к себе на хранение подпоручик Заикин?

— Знаю: я сам их отдал ему, когда стало известно, что заговор открыт, и я всякую минуту ждал, что меня придут хватать. Куда же он их спрятал?

— Под пол, у себя в доме, в местечке Немирове, а потом зашил в подушку и привез в Тульчин. «Делайте,— говорит,— с ними, что знаете, а у меня ненадежно: шпионы завелись и мыши»...

— Мыши «Русскую Правду» едят, это аллегория, что ли, Голицын?

— Да, Пестель, пожалуй, аллегория...

— Как же вы решили?

— Долго решить не могли: одни говорят: «сжечь», а другие: «помилуйте, можно ли этакие бумаги сжечь? Надо зарыть в землю». На том и решили. Думали сперва, на Тульчинском кладбище; да тут народу много и к начальству близко. Опять упаковали, отвезли в село Кирнасовку, что по Балтской дороге от Тульчина верстах в пятнадцати; хотели на огороде или в поле зарыть, но тут опасно: мужики увидят, подумают — клад (все кладов ищут), выроют и отнесут к начальству. Опять думали, думали и решили: на пустыре, подальше за околицей. Собрались в Шлемкину корчму на выезде, за полночь, точно контрабандисты или фальшивомонетчики, и когда жид со своей жидовкой заснули, заперлись в горнице и начали укладывать бумаги в

ящик, сначала свинцовый артиллерийский, из-под пороха, а потом — деревянный...

— Значит два гроба, как для важных покойников?

— Вот именно. Ящик продолговатый, не очень большой, так, вроде детского гробика; как забивать стали крышку гвоздями, очень похоже было, что гроб заколачивают. А я к «Русской Правде» и «Катехизис» Муравьева приложил, на всякий случай: пусть вместе найдут...

— Вот как,— значит, мы с Муравьевым вместе в гробу?

— Да, вместе... Ну, ящик тяжел, на руках не снести, положили в тележку и поехали. Фонарей взяли: ночь темная, зги не видать; снег валил; заблудились... Вы в тех местах бывали?

— Бывал.

— Пустырь — по левую руку от Балтского шляха, так, в полуверсте, за поповой левадою, у речки Козярихи. Место дикое, все буераки да чертополох. Когда-то тут, говорят, разбойники вельможную панну зарезали; крест над нею стоит; мужики обходят, боятся: по ночам, будто бы, панночка из гроба встает. Недалеко от креста и вырыли ямку, тоже вроде детской могилки, опустили ящик, да как засыпать землею начали и первые комья о крышку ударились,— опять совсем точно гроб. Вот бы панихидку спеть: «упокой, Господи, душу усопшея рабы Твоея!»— пошутил кто-то. А как зарыли, снегом замело, ровно, гладко,— ничего не видать,— только крест...

— Вы, Голицын, аллегории любите?

— Люблю — не люблю, да куда от них денешься?.. Ну, так вот, рядом со мною поручик Бобрищев-Пушкин стоял; перед тем как уходить, снял шляпу, перекрестился и пожал мне руку; ничего мы друг другу не сказали, но поняли: обещали, что сделаем все, чтобы мертвая встала из гроба...

— Как та зарезанная панночка?

— Нет, живая.

— Ну, не скоро дождетесь.

— Пусть не скоро, а все-таки... Помните, Пестель,

о горчичном зерне: когда сеется,— меньше всех семян, а когда вырастает,— больше всех злаков?

— Опять аллегория? Ну, полно, давайте-ка лучше о другом...

Разговаривали там же, в кабинете Пестеля, во флигеле опустелого княжеского дома, в Линцах, где и тогда, в первый раз, два с половиной месяца назад. Голицын исполнил свое обещание — заехать к Пестелю после Лещинского лагеря — только теперь, в последних числах ноября.

В кабинете все было по-прежнему: князья Сангушко, деды и прадеды, с почернелых полотен следили так же зловеще и пристально, как будто зрачки свои тихонько поворачивали, за тем, кто смотрел на них; так же пахло мышами и сыростью; такая же тоска и одиночество.

Лампа тускло горела. Камин потухал. На дворе мела метелица; снежные столбы проносились мимо окон, как бледные призраки, и старые деревья сада шумели, гудели, махали ветвями, как руками — в отчаянии.

Слушая вой ветра в камине, Голицын вспоминал, как, едучи в Линцы, заблудился, едва не замерз, а ямщик, старый казак Радько, под вой бурана, а может быть, и волчий вой, сказывал ему сказку о св. Юрке — Егорье, волчьем хозяине, который бьет нечистую силу громовыми стрелами, а волки ему помогают,— жрут дохлых чертей: «а если бы их гром не бил, да волки не ели, то их бы таково расплодилось, что и свету не было б видно»...

— Как бы не забыть, кстати: тут у меня еще кое-какие бумажонки есть,— проговорил Пестель и, выдвинув ящик стола, вынул пачку бумаг.— Ну, уж эти без похорон обойдутся,— прямо в огонь!

Начал кидать в камин, одну за другою. Пламя вспыхнуло, и бледные призраки прильнули к стеклам, как будто заглянули в комнату слепыми очами. Ветер выл в трубе, как стая голодных волков. «Юркины волки жрут дохлых чертей»,— подумал Голицын.— Какая тоска, какое одиночество!

— Вы тут всю зиму пробудете, Пестель?

— Всю зиму.

— Не скучно?

— Нет, ничего, привык. Нынче зима, слава Богу, стала ранняя. Вот заметет сугробами,— ни мы никуда, ни к нам ниоткуда. Хорошо, спокойно: как медведь в берлоге, буду сидеть, лапу сосать, себя познавать, по совету оракула. Новую «Русскую Правду» сочинить можно: я буду сочинять, а вы — хоронить,— так жизнь и пройдет, не заметишь.

Голицын посмотрел на него внимательно: здоров, лихорадки нет, но как будто еще больше осунулся, и лицо опять, как тогда,— недвижное, застывшее, похожее на маску.

Разговор не клеился: каждый думал о своем и чувствовал, что другой тоже о своем думает. И обоим было неловко, как в одной постели двум раненым: не пошевелиться бы, не сделать себе или другому больно.

Пестель вяло расспрашивал о Лещинском лагере, о соединении Славян с Южными, о клятве.

— И вы клялись, Голицын?

— Клялся.

— Зачем же, если нельзя исполнить?

— Почему нельзя.

— Вы сами знаете: нельзя сделать второго шага без первого,— пока государь жив, никто не начнет... А вы опять торопитесь, Голицын, погостить у меня не хотите?

— Не могу, ехать надо.

— Экий непоседа! Куда же теперь?

— В Киев.

Пестель посмотрел на него в упор, как будто хотел что-то сказать, но не сказал. Голицын потупился. Опять замолчали с осторожностью, с неловкостью.

— Одного я в толк не возьму,— начал Пестель после молчания:— почему не арестуют нас? Мы тут сидим и дрожим, бумаги жжем, хороним, а может быть, все попусту. Ведь вот уже три месяца, как заговор открыт, и сколько доносчиков — Шервуд, Витт, Майборода (да, и он, вы были правы),— а все целы, ни одного ареста. Чего ж они ждут? О чем думают? Ловушка, хитрость или... или сумасшествие?.. Помните, Голицын, вы говорили тогда, что идти к государю с

повинною, ждать от него милости — не подлость, а просто сумасшествие?..

Опять не кончил, замолчал, как будто о чем-то задумался, и начал о другом:

— А государь очень был болен?

— Он и теперь болен.

— Кажется, лучше теперь?

— Нет, опять хуже.

— Разве? Ну, все равно, будет здоров. Маленькая лихорадка, пустяки...

Пестель бросил в огонь последний листок; он догорел; догорала и лампа: должно быть, масло кончилось. Все чернее черные тени в углах, все бледнее бледные призраки в окнах.

Дверь из кабинета в соседнюю большую темную комнату была открыта, и оттуда слышались, как всегда по ночам в опустелых домах, слабые шорохи, шепоты, шелесты, треск и скрип половиц, как будто ходил по ним кто-то, крадучись.

— Мыши да дерево сухое от погоды скрипит,— сказал Пестель, когда Голицын оглянулся на один из этих шорохов.— Савенко говорит,— привидения, но я ничего не видел. А дверь открываю нарочно: ежели закрыть, то кажется все, что кто-то подслушивает... шпионы, «шпигоны». Должно быть, от нечистой совести...

А лампа все гасла да гасла; пламя задрожало, вспыхнуло в последний раз и потухло; только слабый отблеск догоравшего камина освещал комнату.

— Эй, Савенко, Савенко!— крикнул Пестель.— Сколько раз говорил я тебе, чтобы на ночь лампу доливал! Не слышит, подлец, теперь его не разбудишь и пушками...

— Послушайте, Пестель,— вдруг начал Голицын, как будто в темноте легче стало говорить, чем при свете,— я вам давеча неправду сказал: я еду не в Киев...

— А куда же?

— В Таганрог.

— В Таганрог? К государю?

— Да, к государю.

— Вот что!— удивился Пестель, но как будто не

очень. Лица его Голицын почти не видел, но слышал по голосу, что он усмехается.

Курьер, отправленный Дибичем по повелению государя, долго не мог отыскать Голицына, потому что тот все время был в разъездах — в Тульчине, в Житомире, в Киеве, а когда отыскал наконец, в селе Кирнасовке, то не хотел отпустить, требуя, чтобы он ехал с ним. Но генерал Юшневский поручился за него, и курьер поскакал вперед, а Голицын выехал вслед за ним тотчас же и, хотя Линцы были ему не по дороге,— не захотел нарушить слова, данного Пестелю, заехать к нему еще раз перед началом действий, а что теперь начало или конец всего,— предчувствовал.

— Так вот что, в Таганрог, к государю,— повторил Пестель все с тою же усмешкою в голосе.— Отчего же раньше не сказали? Чудаки мы с вами, право: точно в жмурки играем. А ведь я знал, Голицын, что вы в Таганрог едете...

— Знали, Пестель?

— Ну, пожалуй, и не знал, а так, будто предчувствовал. С этим и ждал вас, все думал об этом, только об этом и думал. Ведь мы того разговора не кончили, о подлости... или сумасшествии. А надо бы кончить,— не подлецы же мы с вами, в самом деле, и не сумасшедшие. А уж если непременно одно из двух, так пусть лучше сумасшедшие, не так ли, а?..

Голицын молчал и, не глядя на Пестеля, чувствовал, что взор его тяжелеет на нем невыносимою тяжестью.

— Ну, так вот что, Голицын,— начал он вдруг изменившимся голосом:— поедемте вместе...

— Вместе? Куда?

— В Таганрог.

— Зачем?

— Будто не знаете?..

Голицын знал,— но вдруг стало ему страшно, как во сне: все хотел и не мог вспомнить что-то о Софье, о государе и о том, что мучило все эти месяцы: «Убить надо, но пусть не я, а другой».

— Вы тогда сказали,— продолжал Пестель,— что мы с вами квиты: оба знаем, что надо делать, и не дела-

ем, не можем,— значит, подлецы оба. Но ведь это вы сказали мне из жалости, а себе не скажете?.. Ну, не надо, не надо, ничего не будем решать,— только вместе поедем, посмотрим, попробуем... Не отказывайте, Голицын, не отказывайте! — повторял он с мольбою грозящей, и взор его все тяжелел, тяжелел невыносимою тяжестью.— Не хотите?..— прошептал и приблизил лицо к лицу его.

«Если он сейчас в лицо мне плюнет, то будет прав»,— подумал Голицын.

— Хорошо, поедемте,— сказал и почувствовал, что не только сказано, но и сделано что-то невозвратимое: убьет или не убьет,— все равно что убил.

— Ну, слава Богу, слава Богу! Я так и знал, что не откажете,— вздохнул Пестель с облегчением.

И опять молчание, только волчий вой в трубе да в соседней комнате — шелесты, шорохи, шепоты, треск и скрип половиц, как будто ходит кто-то крадучись. Шаги послышались так явственно, что оба вдруг оглянулись и увидели, что кто-то весь в белом стоит в дверях: не один ли из тех бледных призраков, что проносились мимо окон, вошел в дом?

— Кто это? Кто это? — вскрикнули оба.

— Это вы, Пестель? — сказал по-французски стоявший в дверях.

— Э, черт тебя побери, мой милый! Вот напугал... Я уж думал, привидение,— смеясь, ответил Пестель тоже по-французски.

Голицын узнал князя Александра Ивановича Барятинского, лейб-гвардии гусарского полка штаб-ротмистра, члена Тульчинской Управы Южного Тайного Общества.

Внезапному появлению гостя хозяин не удивился. «Он и стакана воды не может выпить иначе, как с видом заговорщика»,— говорил в шутку о Барятинском. Приезжая в Линцы к Пестелю, тот всегда останавливался в том же доме, но в другом флигеле, с отдельным ходом; у него был свой ключ. Только что приехал и вошел потихоньку, чтобы не будить прислуги.

— Ну, входи же, входи, раздевайся. Ты очень кстати:

я уж хотел посылать за тобою. Знакомы, господа? Князь Валерьян Михайлович Голицын...

— Как же, у Юшневского встречались,— ответил Барятинский, снимая шапку, шубу, шарф и валенки,— все запушенное снегом так, что в самом деле похоже было на привидение.

Барятинский был красавец несколько восточного облика; человек светский, адъютант главнокомандующего, графа Витгенштейна, поэт, математик, философ-безбожник и республиканец отъявленный; очень добрый и не очень умный, Пестелю был предан так, что если бы тот и вправду мечтал «сделаться императором», как многие думали, Барятинский не возмутился бы.

— Что это вы, господа, в темноте сидите? — удивился он.

— Да вот лампа потухла, а денщик спит,— не разбудишь. Тут где-то свеча, посмотри,— сказал Пестель.

Барятинский отыскал свечу на столе, вышел в переднюю и осторожно, так, чтобы не будить храпевшего Савенко, зажег свечу о теплившийся в углу ночник.

— Господа, важные новости! — начал он, вернувшись в кабинет. Вообще заикался (его так и прозвали Заика, Le Bègue), а теперь особенно, должно быть, от волнения. Долго не мог выговорить, наконец, произнес: — скончался... государь скончался...

— Что ты говоришь? Не может быть! — воскликнул Пестель с тем удивлением, которое всегда рождает в людях внезапная весть о смерти.

— Государь скончался? — все еще не верил и удивлялся он.— Да правда ли? Откуда ты знаешь?

— Вчера, в девять часов вечера, в штабе получено известие с курьером из Таганрога от генерала Дибича.

— Странно, странно! — сказал Пестель тихо и как будто задумчиво.— Мы тут только что о нем,— и вдруг... Уж не аллегория ли тоже, Голицын, а?

Голицын ничего не ответил, побледнел и закрыл лицо руками.

Наконец-то вспомнил он то, что хотел и не мог вспомнить.

Дача Нарышкиных по Петергофской дороге; ясное утро; тишина, какая бывает только раннею весною

на пустынных дачах; щебет птиц, скрежет граблей, далекий-далекий топор,— должно быть, рыбак чинит лодку на взморье. Уютная комнатка — «настоящее гнездышко любви, nid d'amour для моей бледненькой, бедненькой девочки», — как говорила Марья Антоновна. Открыта дверь на балкон; запах весеннего утра, березовых почек, смешанный с душным запахом лекарств. Он стоит перед Софьей на коленях; она наклонилась и шепчет ему на ухо:

«Намедни-то что мне приснилось. Будто мы входим с тобой в эту самую комнату, а у меня на постели кто-то лежит, лица не видать, с головой покрыт, как мертвец саваном. А у тебя в руках будто нож, убить хочешь того на постели, крадешься. А я думаю: что, если мертв?— живых убивать можно,— но как же мертвого? Крикнуть хочу, а голоса нет, только не пускаю тебя, держу за руку. А ты рассердился, оттолкнул меня, бросился, ударил ножом... саван упал... Тут мы и увидели, кто это...»

— Убить мертвого, убить мертвого!— прошептал Голицын, очнулся, медленно-медленно поднял руку,— она была тяжела, как во сне,— и перекрестился.

Барятинский, в волнении, бегая по комнате и заикаясь отчаянно, рассказывал.

Еще накануне жиды в Тульчине, на базаре, говорили о кончине государя. Никто им не верил, но что происходит что-то неладное, чувствовали все, потому что не было дня, чтобы в Варшаву и обратно не проскакало три-четыре фельдъегеря. Когда же, наконец, известие получено было в штабе с курьером от Дибича,— велено приводить войска к присяге Константину. Но это еще не верно: ходят слухи, будто бы Константин отрекся, и, по секретному завещанию императора, законный наследник — младший брат, Николай. Ежели войска присягнут и потом присяга объявлена будет недействительной, то неизвестно, чем все это кончится.

— Такого случая и в пятьдесят лет не дождемся,— заключил Барятинский:— если и его потеряем, то подлецами будем!

— Вы что думаете, Голицын?— спросил Пестель.

— Думаю, что всегда думал: начинать надо.

— Ну, что ж, с Богом! Начинать, так начинать!— проговорил Пестель и улыбнулся; лицо его, как всегда, от улыбки помолодело, похорошело удивительно.

И, взглянув на него, Голицын почувствовал, что неимоверная тяжесть, которая давила его все эти месяцы, вдруг упала с души.

Принялись обсуждать план действий. Решили так: Пестель с Барятинским едут в Тульчин, чтобы приготовить членов тамошней Управы; Голицын — в Петербург, чтобы постараться соединить Северных с Южными, что теперь нужнее, чем когда-либо. Пестель был уверен, что в Петербурге начнется.

— Вы, господа, там начинайте, а мы здесь: когда в Тульчине караулы займет Вятский полк, арестуем главную квартиру, начальника штаба и главнокомандующего,— этим и начнем...

— Мятежные войска пойдут сначала на Киев, потом на Москву и Петербург. С первыми успехами восстания Синод и Сенат, если не подчинятся добровольно, принуждены будут силою издать два манифеста: первый — от Синода, с присягой временному верховному правлению из директоров Тайного Общества; второй — от Сената, с объявлением будущей республики.

Проговорили всю ночь до утра. К утру вьюга затихла; солнце встало ясное. Замерзшие окна поголубели, порозовели; солнце заиграло в них,— и вспомнилось Голицыну, как на сходке у Рылеева, слушая Пестеля, он сравнивал мысли его с ледяными кристаллами, горящими лунным огнем: не загорятся ли они теперь уже не мертвым, лунным, а живым огнем, солнечным?

В передней денщик завозился: топил печку и ставил самовар.

— Хотите чаю?— предложил Пестель.

— Шампанского бы выпить на радостях,— сказал Барятинский.— Эй, Савенко, сбегай, братец, отыщи у меня в возке кулек с бутылками.

Савенко принес две бутылки. Откупорили, налили. Барятинский хотел произнести тост.

— За во-во...— начал заикаться; хотел сказать: «за вольность».

— Не надо,— остановил его Голицын:— все равно, не сумеем сказать, так лучше выпьемте молча...

— Да, молча, молча!— согласился Пестель.

Подняли бокалы и сдвинули молча.

Когда выпили, Голицын почувствовал, что без вина были пьяны еще давеча, когда говорили о предстоящих действиях; не потому ли говорили о них с такою легкостью, что пьяному и море по колена? «Ну, что ж, пусть,— подумал он,— в вине — правда, и в нашем вине — правда вечная...»

Солнце в замерзших окнах играло, как золотое вино. Но он знал, что не долог зимний день и скоро будет золотое вино алою кровью.

— Лошади поданы, ваше сиятельство,— доложил Савенко.

Голицын стал прощаться. Пестель отвел его в сторону.

— Помните, как вы прочли мне из Евангелия: «женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости». Наш час пришел. Я себя не обманываю: может быть, все, что мы говорили давеча,— вздор: погибнем и ничего не сделаем... А все-таки радость будет, будет радость!

— Да, Пестель, будет радость!— ответил Голицын.

Пестель улыбнулся, обнял его и поцеловал.

— Ну, с Богом, с Богом!

Вынул что-то из шкатулки и сунул ему в руку.

— Вы сестры моей не знаете, но мне хотелось бы, чтоб вы вспоминали о нас обоих вместе...

В руке Голицына был маленький кошелек вязаный, по голубой шерсти белым бисером вышито: Sophie.

Вышли на крыльцо.

— Значит, прямо в Петербург, Голицын?— спросил Барятинский.

— Да, в Петербург, только в Васильков к Муравьеву заеду.

— По первопутку, пане! На осьмушечку бы с вашей милости,— сказал ямщик.

Пестель в последний раз обнял Голицына.

— Ну, с Богом, с Богом!

Голицын уселся в возок.

— Готово?

— Готово, с Богом!

Возок тронулся, полозья заскрипели, колокольчик зазвенел.

— Эй, кургузка, пять верст до Курска!— свистнул ямщик, помахивая кнутиком.

Тройка понеслась, взрывая на гладком снегу дороги неезженой две колеи пушистые. Беззвучный бег саней был как полет стремительный, и морозно-солнечный воздух пьянил, как золотое вино.

Голицын снял шапку и перекрестился, думая о предстоящей великой скорби, великой радости:

— С Богом! С Богом!

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Сергеевич МЕРЕЖКОВСКИЙ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том III

Редактор тома
Е. Н. Любимова

Оформление художника
А. И. Неровного

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 2236

Сдано в набор 09.01.90. Подписано к печати 23.04.90. Формат 84×108 1/32. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Академическая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,82. Усл. кр.-отт. 31,08. Уч.-изд. л. 33,49.
Тираж 1 700 000 экз. (8-й завод: 1 300 001—1 500 000).
Заказ № 137. Цена 3 руб. 20 коп.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151 г. Свердловск, проспект Ленина, 49.

Индекс 70655

